



Библиотека журнала "Голос Эпохи"

Елена Семенова

ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА

Том I

Annotation

XX век стал для России веком великих потерь и роковых подмен, веком тотального и продуманного физического и духовного геноцида русского народа. Роман «Претерпевшие до конца» является отражением Русской Трагедии в судьбах нескольких семей в период с 1918 по 50-е годы. Крестьяне, дворяне, интеллигенты, офицеры и духовенство — им придётся пройти все круги ада: Первую Мировую и Гражданскую войны, разруху и голод, террор и чистки, ссылки и лагеря... И в условиях нечеловеческих остаться Людьми, в среде торжествующей сатанинской силы остаться со Христом, верными до смерти. Роман основан на обширном документальном материале. Сквозной линией повествования является история Русской Церкви означенного периода — тема, до сих пор мало исследованная и замалчиваемая в ряде аспектов. «Претерпевшие до конца» являются косвенным продолжением известной трилогии автора «Честь — никому!», с героями которой читатели встретятся на страницах этой книги.

- [Елена Владимировна Семёнова. Претерпевшие до конца. Том 1](#)
 - [ОМУТ](#)
 - [Глава 1. Дом](#)
 - [Глава 2. Аглая](#)
 - [Глава 3. Не от мира сего](#)
 - [Глава 4. Встреча](#)
 - [Глава 5. Милосердная барышня](#)
 - [Глава 6. Званный обед](#)
 - [Глава 7. Бастард](#)
 - [Глава 8. О любви](#)

- [Глава 9. Лидия](#)
- [Глава 10. В саду](#)
- [Глава 11. Спящий герой](#)
- [Глава 12. Воскресение](#)
- [Глава 13. Измена](#)
- [Глава 14. Бездна](#)
- [ПОЛЫМЯ](#)
 - [Глава 1. Живой](#)
 - [Глава 2. Воскрешение Лазаря](#)
 - [Глава 3. Матвеич](#)
 - [Глава 4. Помрачение](#)
 - [Глава 5. Мать](#)
 - [Глава 6. Опоздано](#)
 - [Глава 7. «Мы восходить должны...»](#)
 - [Глава 8. Новая жизнь](#)
 - [Глава 9. Один день](#)
 - [Глава 10. Постижение смыслов](#)
 - [Глава 11. Восстание обречённых](#)
 - [Глава 12. Пепелище](#)
 - [Глава 13. От судьбы не уйдёшь](#)
- [ГОРНИЛО](#)
 - [Глава 1. Плач юродивой](#)
 - [Глава 2. Близ есть...](#)
 - [Глава 3. Двойник](#)
 - [Глава 4. В театре](#)
 - [Глава 5. Встреча](#)
 - [Глава 6. Страдная пора](#)
 - [Глава 7. Отражения истории](#)
 - [Глава 8. Экспедиция](#)
 - [Глава 9. Тайна](#)
 - [Глава 10. Мука](#)
 - [Глава 11. Прощание с Родиной](#)
- [КАНУН](#)
 - [Глава 1. Мария](#)
 - [Глава 2. Польшья](#)
 - [Глава 3. В аду](#)

- [Глава 4. Встреча](#)
 - [Глава 5. Соперница](#)
 - [Глава 6. Парастас](#)
 - [Глава 7. Побег](#)
 - [Глава 8. Отпущение грехов](#)
 - [Глава 9. Примирение](#)
 - [Глава 10. Ссылка](#)
 - [Глава 11. Поединок](#)
 - [Глава 12. Свобода](#)
 - [Глава 13. Белая борьба](#)
 - [Глава 14. «Пирушка»](#)
 - [РАСКОЛ](#)
 - [Глава 1. Отмежевание](#)
 - [Глава 2. В Москве](#)
 - [Глава 3. Никита](#)
 - [Глава 4. В изгнании](#)
 - [Глава 5. Покаяние](#)
 - [Глава 6. Одиночество](#)
 - [Глава 7. Тая](#)
 - [Глава 8. Без выбора](#)
 - [Глава 9. Расплата](#)
 - [Глава 10. Дно](#)
 - [Глава 11. Аксиос!](#)
 - [Глава 12. Мария](#)
-

**Елена Владимировна
Семёнова. Претерпевшие до
конца. Том 1**

ОМУТ

Глава 1. Дом

Ничего нет прекраснее июньского утра. Самого раннего, когда, лишь немного вздремнув короткой ночью, солнце дарит свои первые, ещё робкие, ещё матерински-нежные, не обещающие дневного жара лучи. Когда воздух чист и пропитан росистой свежестью и ароматами трав настолько, что не хватает лёгких, чтобы вобрать его, и, кажется, что лопнет грудь от восторженно-упоённого вдоха. Когда дневная суэта ещё не вторглась разноголосым гомоном в величавую тишь первозданного царства природы, и лишь щебет птиц услаждает слух...

— Бог ты мой, как же хорошо! — шумно выдохнул Родион, ненасытно озираясь кругом, оглядывая дорогие сердцу места. — Ну, что молчишь? — толкнул локтём сидевшего подле приятеля.

— Да... Красиво у вас... — только и ответил Никита. И явно не было ему никакого дела до раскинувшихся кругом красот, а лишь до одного — добраться бы скорее до дома и окунуться лицом в подушку. И проспять до обеда, а то и далее. И то сказать — почитай сутки без сна. И который час мчали и мчали по ухабистым дорогам. Предлагал Никита заночевать в городе, прежде чем в дальнейший путь пускаться. Но Родион упёрся — ни мгновения не хотел терять. Домой! Как можно в городе ночевать, когда до дома, вон — рукой подать? Да уже бы и там были, кабы не полетела рессора у чёртовой коляски. И не пришлось ожидать починки. Ах, и не стоило б вовсе с коляской возиться — верхом давно бы уже дома были! Но... Но такой прогулки Никита бы уж точно не одобрил. Это Родион, с малых ногтей к лошадям приученный, мог сутки мчать во весь опор, а Никита — дело другое. В артиллерии

родимой, пожалуй, и потолковее Родиона он, но наездник никудышный. Вот, и пришлось в коляске трястись.

— Красиво... — фыркнул Родион. — Ты б хоть глаза разомкнул. Офицер! Сутки лишь без отдыха, и уже спишь на ходу!

— Поди теперь не война, — зевнул Никита.

Родион махнул рукой: безнадежен был друг закадычный, совершенно безнадежен. И снова вбирал сладость утреннего воздуха. Вот, мелькнут дни июньские, и уже помину от этой сладости не останется — спеши, лови мгновенья эти! И трепетало сердце от вида родных поворотов, перелесков, лугов. Ничего-то не менялось здесь! Та же милая безмятежность... И всё-то знакомо, и со всем-то дорогие сердцу воспоминания связаны.

Вон, в том лесу, что на горизонте в молочной дымке синееет непреступной крепостной стеной с острыми башнями, однажды наспор провёл одну целую ночь. Якобы случайно отстав от сельской ребятни, с которой пошёл по грибы, укрылся в чаще так, что едва не заблудился на самом деле. По счастью, сумел развести костёр, а то бы, пожалуй, замёрз ночью или стал волчьей добычей. Волки-то кружили всю ночь, завывали. Так страшно было, что вскарабкался на дерево и просидел до света без сна на ветке, обхватив руками ствол. Правда, после о страхе своём никому не обмолвился, а держался героем. Мол, что нам ночь в лесу! Что нам звери дикие! Подумаешь! Пусть их девчонки боятся, а Роде Аскольдову всё нипочём!

Мальчишки деревенские уважительно смотрели, зато отец такого задал жару, что волки и впрямь меньшим страхом показались. Грозил всю ночь искавший непутёвое чадо родитель посадить его под замок — книжной премудрости обучаться вместо того, чтобы по лесам да болотам, как мужицкий сын, целыми

днями пропадать. Но, по счастью, от такой страшной кары избавила мать, всегда умевшая смягчить крутой нрав отца.

Николай Кириллович Аскольдов был человеком суровым и властным. Подчас до деспотизма. Эти качества, однако, сочетались в нём с широтой кругозора, благодаря которой ещё задолго до столыпинской реформы он не боялся нововведений и успешно внедрял их на своих землях. Отец был убеждённым консерватором в политике, но в вопросах экономических отличался взглядами передовыми. А его суровость ничуть не мешала ему быть доступным для всякого нуждающегося и без малейшей заносчивости общаться с мужиками. В его отношении с ними никогда не было показного либеральничания, панибратства, а всегда сохранялась дистанция, сопряжённая с неизменно уважительным отношением отца к человеческой личности.

В молодые годы Николай Кириллович мечтал о карьере на поприще военном. Но едва дослужившись до поручика, вынужден был оставить службу из-за сильнейшего ревматизма, который с той поры уже не покидал его в протяжении всей жизни. Как ни жаль было утраченной мечты, а не таков был отец, чтобы погрузиться в тоску. Его энергичный, волевой характер требовал действия. Требовал живой, серьёзной работы.

Дела.

Делом этим стало имение Глинское, унаследованное от бабки и порядком запущенное, когда Николай Кириллович с молодой женой и новорожденной Лялей обосновались в нём.

Первым делом отец перестроил дом. Старого, полуразрушенного, Родион уже не застал. В его памяти жил лишь один Дом. Бревенчатый, облицованный тёмсом, выкрашенным тёмно-коричневой краской, с высоким крыльцом, украшенным затейливым кружевом резьбы,

по которой нашлись в деревне дюжие мастаки. Точно так же разукрашены были ставни и наличники.

Дом походил на средневековый русский терем. Именно таким желал видеть его отец. Он не был просто кровом, местом обитания, стенами и крышей, а живым, одушевлённым существом. В нём всегда царил уют и теплота. От изразцовых голландок, от кремовых занавесок на широких окнах, благодаря которым комнаты всегда были залиты светом, от массивной мебели тёмного дерева и старых портретов...

Двухэтажный дом венчала небольшая мансарда, где хранились массивные сундуки со старыми вещами, и где так чудно было прятаться в детстве, мечтая о приключениях и зачитываясь романами Жюль Верна, Вальтера Скотта, легендами о рыцарях круглого стола, дивными шотландскими балладами, в которых всё было проникнуто завораживающей ребячью душу тайной!.. Роде представлялось, что и в лесах, раскинувшихся вокруг усадьбы, непременно должны жить духи и другие существа, о которых повествовали легенды. Он даже пытался тайком искать их, но, увы, безуспешно.

Отец желал, чтобы Родя больше времени уделял литературе серьёзной, наукам. Но науки были нестерпимо унылы, и нерадивый ученик снова скрывался на чердаке, уносясь в чудесные, неведомые миры. Он то грезил о морских путешествиях, то представлял себя благородным рыцарем, буквально задыхаясь от жажды подвигов и приключений.

Прочитав очередную книгу, Родя пересказывал её деревенским приятелям, и начиналось не менее упоительное — игра! На ролевые игры его фантазия была неистощима. Ведь только в этих играх он, мальчишка, мог почти взаправду превратиться в доблестного рыцаря или отважного следопыта.

Отца сердили подобные легкомысленные забавы. Николай Кириллович считал, что сыновья с малых

ногтей должны приучаться к порядку, к труду. Старший, Митя, радовал его, унаследовав серьёзность и вдумчивость. Он не носился с сельской ребятнёй, не пропадал целыми днями в поисках приключений, не бродил по болотам в компании верного пса... Зато всегда сопровождал отца в поездках. Во время жатвы вместе с ним целыми днями мог проводить в поле. Не отлынивал от уроков. О Роде же отец говорил безнадежно:

— Пустопляс! Не будет из него толку!

Помощники Николаю Кирилловичу были нужны. Широко был его размах. Отставной поручик, он весь свой воинский огонь, несомненно выведший бы его в генералы, тратил на устройство хозяйства. Самолично вычитал все труды по агрономии, какие смог достать, пристально изучил зарубежный опыт, совершив даже поездку в Германию, и твёрдо, последовательно начал внедрять разнообразные новшества. Закупленные им сорта зерновых культур и овощей, обещавшие наилучшие урожаи, уже в первые два года с лихвой оправдали надежды. Обработка земли, уход за растениями, удобрение почвы — всё было отныне поставлено на научную основу. Удалось и труд людей организовать наилучшим образом.

Позднее свой опыт отец изложил в специальной докладной записке, которую составил для комиссии по земельной реформе.

Не доверяя управляющим, он предпочитал всем заниматься лично. Несмотря на преследовавшие его суставные боли, Николай Кириллович не давал себе отдыха. Он вникал во всё, и, казалось, ничего не могло укрыться от его острого, зоркого глаза. Мужики побаивались его, но уважали. За отсутствие барства, за то, что работал не менее их, не гнушаясь подчас и тяжёлого, «небарского» труда, за ум и справедливость. Никто из мужиков не смел обманывать отца, точно зная,

что никакой подвох от него не укроется. И что сам он никогда не удержит причитающегося им по праву.

Крестьянам было, за что уважать отца. Это его трудами появилась в Глинском школа. Поддержание самого здания, его отопление и прочие хозяйственные заботы взяли на себя по уговору сами мужики, а жалование учителю положил Николай Кириллович.

Так, в Глинском появился молодой, приятной наружности, интеллигентный человек. Алексей Васильевич Надёжин. Он часто бывал в доме, где всегда был званым гостем. Его подвижный ум, начитанность, остроумие и природное благородство манер располагали к нему. Родион любил, когда Алексей Васильевич приходил в гости. Любил слушать его всегда содержательные, яркие рассказы. Молодой учитель был не лишён литературного таланта. Мать не раз спрашивала его, не пишет ли он тайком. Алексей Васильевич отвечал отрицательно, но при этом отчего-то смущался...

Надёжин любил музыку, а потому никогда не пропускал музыкальных вечеров, которые регулярно устраивала мать. Родион удивлялся тому, как отрешённо слушал он играемые матерью или тётёй Мари композиции. Не шевелясь. Как будто и не дыша. Весь обратившись в слух. Сам Родион, к стыду своему, слушал музыку лишь из вежливости. Не обладая слухом вовсе, он не мог постичь её красоты и скучал в ожидании окончания «концерта», после которого неизменно следовал чай и долгие беседы, слушать которые было куда интереснее музыкальных этюдов...

Однажды за рояль по многочисленным просьбам сел и сам Алексей Васильевич. Оказалось, что он не только прекрасно играл, но и обладал замечательно красивым, бархатным голосом. Оценить исполнение Родя, впрочем, порядочно не мог, зато поразился теперь уже тому, как внимала романсу тётя Мари... словно вся душа её

переворачивалась в этот момент. Никто кроме Роди не заметил тогда этого, а он потом не раз вспоминал лицо тётки и смутно догадывался, отчего оно было таким.

Вскоре тётя Мари покинула имение, отправившись сестрой милосердия на Русско-Японскую войну. В Глинское она возвратилась лишь годы спустя и устроила здесь медицинский пункт для крестьян, работая в нём ежедневно сама. Так, с её помощью была разрешена ещё одна задача: налаживание медицинской помощи. Теперь людям не нужно было, кроме как в случаях тяжких недугов, требующих операций и нахождения в стационаре, ездить в отдалённую больницу.

Неудивительно, что пользующийся заслуженным авторитетом Николай Кириллович был избран предводителем уездного дворянства. Работы прибавилось. Теперь совсем мало оставалось времени у него на музыкальные вечера и прочие радости. Вечно он был погружён в свои заботы, никогда не оставаясь праздным. И в годы эти, вне дома проведённые, так и вспоминался: сосредоточенный, хмурый, сидящий в небольшом, немного темноватом кабинете с постукивающими старинными английскими часами с боем, за массивным тёмного дерева столом со множеством ящиков... Перед ним расходная книга, какие-то бумаги. И что-то пишет он, и нервно передёргивает плечами, случись кому-то отвлечь его. И морщится время от времени от редко покидающих его болей.

Иногда, впрочем, обычная отцовская суровость и собранность смягчалась и рассеивалась. В те редкие часы, когда он позволял себе отдых. Например, на охоте. Или за вечерней беседой и шахматной партией, которую приходил с ним разделить Алексей Васильевич.

Охоту отец любил всегда. Большой собачей, он держал в доме по пять-шесть собак, в обращении с

которыми был куда нежнее, чем с людьми. С этими псами он верхом отправлялся в лес два-три раза в год. Сразу словно молодея, обретая юношескую удаль. Брал с собой и сыновей. Однажды уехали втроём далеко — ночевали в чистом поле, под открытым небом. И отец, преображённый вольным воздухом, на который вырвался от своих нескончаемых дел, рассказывал о своих кадетских и юнкерских годах. Когда бы всегда он был таким! Но, увы, весёлого, удалого охотника вновь сменял «помещик Костанжогло»...

Гораздо чаще отца вспоминалась мать. Полная противоположность мужу, она вся была — радость жизни. Лето её. В ней, матери четырёх детей, жило что-то детски-весёлое, лёгкое. Может, поэтому она так редко бранила детей, понимая их и живо откликаясь на различные придумки. Когда отец уезжал, Дом наполнялся весельем и безудержными играми. И никто не одёргивал, не требовал порядка, не подавлял чеканными командами. Отец был воплощённым порядком. Законом. Мать — любовью. Никогда ни на кого не повысила она голоса, ко всем была участлива и добра. И этой любовью укрощала она даже самые сильные вспышки гнева Николая Кирилловича. Спасая от него тех, на кого этот гнев был обращён, и успокаивая, утишая его самого. Мать с детства являлась для Роды образом миротворицы. И её огорчённое лицо было для детей куда более серьёзной укоризной и наставлением, нежели гневные тирады отца.

Мать... Вот, она идёт по весеннему саду, утопающему в пене нежно-розовых и белых яблоневых соцветий... На ней лёгкое белое платье и ажурная белая же шаль, словно сотканная из цветочных лепестков. А в руках её ветка сирени. Она задумчива и чему-то тихо улыбается. И столько ласки, столько высокой, чистой красоты в её образе, что четырёхлетний Родя подбегает

к ней, обнимает её ноги, прижимается щекой к шёлковому подолу. И, вот, он уже на руках её, и она кружит его, говоря что-то и целуя...

И отчего счастье, словно хищник добычу, всегда подкарауливает беда? Та беда налетела неожиданно, всех больнее ударив отца. Забрав у него главную надежду. Любимого старшего сына...

Митя заболел неожиданно и, несмотря на старания врачей, угас в один год. В этот год он должен был по воле отца поступать в кадетский корпус. Теперь Родиону надлежало заменить его. Мать не хотела расставаться с единственным оставшимся сыном, но Николай Кириллович, почерневший от горя, но не потерявший стальной твёрдости характера, уже принял решение. А решение отца являлось неоспоримым, как приговор высшей инстанции.

Так, в 1904 году Родион не без горечи покинул родной Дом. Отец сам отвёз будущего кадета в Москву, где жил его младший брат Константин. Дядю Котю отец не жаловал за богемный, оторванный от почвы образ жизни, который тот вёл. Дядя был известен, как большой ценитель искусств и литератор, поэт, писавший под псевдонимом довольно неплохие вирши. Он был своим человеком среди московских и столичных писателей, заядлым театралом. Ходили слухи о его бурном романе с некой артисткой, что особенно возмущало отца, видевшего в этом позор семьи. Немногим меньше возмущала его страсть брата к азартным играм. И всё же, несмотря на размолвки, приезжая в Москву, Николай Кириллович останавливался в просторной квартире брата на Большой Спасской.

Впервые переступив порог этой квартиры, Родя был поражён её убранством. В квартире преобладал восточный стиль. Ковры, подушки, оттоманки, всевозможные орнаменты и разные затейливые

безделицы. Отец морщился, сквозь зубы ругая дядю мотом и пустоплясом. Сам дядя, кажется, вполне искренне радовался гостям.

Несмотря на столь рассеянный образ жизни и слабый характер, Константин Кириллович был весьма милым человеком. Высокий, плотный, с приятно округлым, холёным лицом, облачённый в длинный до пола восточный халат, он излучал довольство и безмятежность. Был весел, радушен и хлебосолен. Гостей тотчас водворили в лучшую комнату, расторопный лакей был послан за угощениями, и вскоре стол уже ломился от яств, к которым Николай Кириллович едва притронулся. За обедом дядя Котя говорил, не умолкая. О новостях культурной жизни обеих столиц, о том, как давно мечтает наведаться в Глинское, о том, какова была погода этой зимой в Париже... Обо всём-то знал этот бонвиван. Со всеми-то был знаком. А только делать что-либо сам не желал и не умел, находя удовольствие в прожигании жизни.

За неделю отец показал Роде главные московские достопримечательности: Кремль, Третьяковскую галерею, Симонов и Новодевичий монастыри, Воробьёвы горы... Большой театр, балет в котором смотрели из ложи...

— Карсавина! Богиня! — восторженно говорил дядя, готовый в ближайшем антракте бежать с огромным букетом роз к знаменитой танцовщице, гастролировавшей в те дни в Москве.

А отец всё морщился. То ли от приступов ревматизма, то ли от неумеренности восторгов по адресу «какой-то артистки»...

Родя был едва в себе от нахлынувших впечатлений. Москва поразила его своей красотой, пестротой, величием, сочетавшимся с домашностью, с чем-то глубоко родным. Никогда не видел он столь людных улиц, такого количества церквей, такой разнообразной

публики. И года не хватит, казалось, чтобы все чудеса перевидать в этом чудном городе!

А, меж тем, неделя, положенная на знакомство с городом, пролетела, и отец повёз Родю в Первый Московский кадетский корпус, где ему предстояло держать вступительные экзамены.

Корпус, основанный фаворитом императрицы Екатерины Великой Зоричем, располагался в Лефортово, в Головинском дворце, перед которым зеленела чудная Анненгофская роща, вскоре безжалостно уничтоженная обрушившимся на Москву ураганом.

В дверях новоприбывших приветствовал старый швейцар в красной, украшенной гербами ливрее с многочисленными крестами и треуголке.

Отчего-то вдруг оробев, Родя вошёл следом за отцом в огромный, двухсветный вестибюль, в обе стороны из которого тянулись две широкие, мраморные лестницы, украшенные висевшими на стенах касками французских кирасир, захваченными в 1812 году. Пройдя в приёмную комнату, Родя стал с любопытством рассматривать писанные масляными красками портреты царей и других высокопоставленных лиц. Кроме них стены украшали белые, мраморные доски с именами бывших кадет, получивших высшее боевое отличие — Орден св. Георгия Победоносца.

Всё в корпусе было исполнено величия минувших славных веков. И это величие само по себе заставляло подобраться, оставив за порогом детское озорство.

Вступительный экзамен по Закону Божьему, арифметике, русскому, французскому и немецкому языкам не был сложен, но отец серьёзно беспокоился, зная недостаточную подготовленность Родю, вечно отлынивавшего от занятий и предпочитавшего урокам игры с мальчишками. Сам же Родя относился к испытанию вполне беспечно, что ещё больше

нервировало Николая Кирилловича. Однако же, всё разрешилось благополучно. До высоких баллов было, конечно, весьма далеко, но набранных всё же достало для поступления. Отец вздохнул с облегчением и впервые за прошедшее со смерти Мити время повеселел. Впереди был ещё целый месяц воли в родном Глинском, и в этот месяц Родя, не обращая внимания на родительский гнев, всецело отдавался играм и любимым романам, напрочь забыв о величественном корпусе. Отец, в конце концов, смирился:

— Ладно уж, тешься напоследок. В Корпусе-то тебя быстро порядку научат...

Пятнадцатого августа кадет Родя Аскольдов снова ступил в стены Корпуса, чтобы остаться в них на долгие семь лет. В первый же день он получил свою первую форму: мундир чёрного сукна с красным воротником и золотым галуном на нём, такого же сукна шинель с красными петлицами и брюки, кожаный лакированный пояс с медной бляхой, на которой был изображен государственный орёл, окруженный солнечным сиянием, и фуражку с красным околышем и черным верхом. Надев полученную амуницию, Родя окончательно почувствовал, что начинается совсем новый этап его жизни, что беззаботное детство осталось в прошлом.

Первое время Родя чувствовал себя в Корпусе крайне неудобно. Если с такими неудобствами, как огромная холодная спальня на тридцать человек с жёсткой кроватью и тонким одеялом, он легко мирился (к физическим лишениям надо привыкать, чтобы быть таким, как любимые герои), то вечная муштра и строгая дисциплина угнетали его. Ведь даже в мелочах не оставляли никакой свободы: руки ночью и то требовали держать поверх одеяла! А ещё эта барабанная дробь или вой сигнальной трубы, беззастенчиво прерывавший

сладкий сон... И ведь по команде этой нужно было молниеносно вскочить и успеть до второго сигнала умыться, одеться, начистить до блеска сапоги и пуговицы... За малейшую неряшливость следовало наказание в виде стояния под лампой во время «перемен». Сколько бесценных минут было проведено под этой ненавистной лампой!

Привыкшему к вольной сельской жизни мальчику нелегко было мириться с бессмысленным, как ему казалось вначале, диктатом. Он отличался превосходной физической подготовкой, хорошей усидчивостью, замечательной находчивостью, но полную дисциплинированность не смогли привить ему даже семь лет кадетства. Офицер-воспитатель усмехался в усы:

— Вам бы, Аскольдов, в партизанский отряд, а не в кадеты!

Так чем худо? Денис Давыдов тоже партизаном был. А от сухого регулярства какая польза? Мертвечина и только!

Качества, сердившие педагогов, помогли Роде снискать большую любовь и уважение товарищей. В Корпусе наибольшим уважением неизменно пользовались кадеты, отличавшиеся физической силой и ловкостью. Если силой кое-кто и мог превзойти кадета Аскольдова, то уж в ловкости он мог дать фору любому. Слабосильных и жаловавшихся в Корпусе презирали, открыто недолюбливали «зубрил», примерно налегающих на науки, щёголей, любимцев начальства. Самым большим преступлением считалось выдать товарища, донести. За такое уличённому устраивали «тёмного»: набрасывали сзади шинель, били и разбегались, оставшись неузнанными.

Зато обмануть преподавателя считалось изрядным удальством. Поэтому дерзость и независимость Роди также принесли ему почёт в кругу друзей. Правда, его

слава первого озорника служила ему худую службу, так как добрую половину совершавшихся в Корпусе проделок немедленно приписывали ему. Зачастую Родя знал подлинных виновников, но выдать товарищей было никак нельзя. И во имя товарищества утекали новые и новые минуты под лампой, терялись отпуска.

К счастью, не всё время в Корпусе было отнято занятиями. Оставались ещё прогулки и свободное время. Гуляли в дворцовом парке, упирающемся в Язу, и прилегающим к дворцу большим плацам. Летом играли в лапту и городки, зимой катались на санках с высоких гор, построенных на берегу ближайшего пруда, ходили на лыжах, бегали на коньках.

А после прогулок желающие могли по выбору обучаться музыке и пенью, переплётному, столярному, токарному и другим ремёслам. Родя избрал ремесло столярное. Работа с деревом напоминала ему родное Глинское. К тому же выяснилось, что он обладает весьма недурными способностями резчика.

По субботам и в предпраздничные дни кадет, имевших родных или знакомых в городе, отпускали в отпуск. Родя отправлялся в эти дни либо к дяде Коте, либо вместе с другом Никитой Громушкиным — к его матушке Прасковье Касьяновне, жившей на знаменитой своими церквями Ивановской горке, аккурат на стыке Петропавловского переулка и Яузского бульвара. Прасковья Касьяновна сама пекла кулебяку или расстегаи, покупала им разных сладостей: миндального печенья, фиников, винных ягод и пастилы, медовых пряников и конфет — и начинался пир горой. Иногда просто отправлялись в кондитерскую, либо ехали на Воробьёвы горы, любимое место гуляний москвичей. Сюда приходили семьями со своими самоварами, закуской, удобно устраивались на траве и проводили по целому дню. Под горой слышались песни, играла гармоника, водились хороводы.

Прасковья же Касьяновна вела мальчиков к Крынкину, где круглый год подавалась свежая зелень и клубника, вызревавшая в специальных теплицах. А к тому — артишоки, дыни, арбузы... Всё это диво выращивалось здесь же, на другом берегу Москвы-реки, на Пышкинских огородах, расположенных на богатых пойменных землях. Хозяин в белой черкеске лично встречал гостей при входе, а с ним — половые в белых же поддевках. Сама ресторация представляла собой большой деревянный терем, неуловимо напоминавший Роде родной дом. С террасы открывался прекрасный вид, полюбоваться на который можно было сквозь подзорные трубы и бинокли. Весело было наблюдать за гуляньями внизу по склону. Среди деревьев мелькали маленькие яркие фигурки, взлетали на качелях, играли в горелки и прятки... Прасковья Касьяновна непременно и сама спускалась по склону в лес, где мальчики могли вдоволь нарезать. А ещё при ресторане держались катера и моторные лодки, на которых можно было переправиться на другой берег и Болотную площадь. Поездки к Крынкину особенно полюбились Роде и Никите.

Прасковья Касьяновна была очень набожна, её хорошо знали во многих московских монастырях и храмах, встречали, как родную. Однажды, на пасхальной неделе, поехали в Кремль и, помолившись в Успенском соборе, поднялись на звонницу Ивана Великого.

У Роди захватило дух. Москва лежала перед ним как на ладони — где-то там, внизу. Шумливая, разноцветная, хлебосольная и тёплая — словно кустодиевская купчиха в цветастом полушалке... А кругом струилась небесная синева, разбавленная рыхлым пухом облаков. И хотелось взмыть в неё, и всю землю оглядеть с этой высоты! И ноги не держали уже, и, казалось, ещё миг — и оторвутся они от земли!

А что за диво было — перезвон колоколов московских! В Глинском лишь колокола Успенского храма гудели, а тут — все сорок сороков переливались! Никита-то и ухом не вёл — ему вся эта лепота сызмальства родной и обыденной была, а Родя не уставал удивляться, забывая на это время о проказах. Именно Прасковья Касьяновна открыла ему ту Москву, которую он преданно полюбил, которая стала для него второй после Глинского родиной.

Совсем иными бывали дни, проведённые у дяди. Здесь тоже бывал накрыт замечательный обед, но сам Константин Кириллович был неизменно поглощён собой. Он то декламировал стихи свои, или чужие, то рассуждал о передвижниках и театре. И всё-то перескакивал с одного на другое так стремительно, что Родя терял нить его рассуждений. Несколько раз дядя, впрочем, возил его в театр и на выставки, кои с благословения Великого Князя Сергея Александровича, большого ценителя и покровителя искусств, проходили в им же учреждённом Историческом музее. Здесь Родя впервые увидел работы Поленова, Коровина, Левитана и многих других. При этом дядя сердито бранил генерал-губернатора, не считаясь с его вкладом в развитие культурной жизни Москвы. Дядя был большим либералом и сочувственно относился к любым антиправительственным выступлениям. Единственным человеком из царской фамилии, о ком он отзывался с уважением, был Великий Князь Константин Константинович:

— Замечательный решительно поэт, хотя и Романов!

Однажды к дяде пришли какие-то странные люди. О чём-то шептались с ним в коридоре. Затем один из них ушёл, оставив бумажный свёрток, который дядя поспешил спрятать. Другому он дал своё платье, деньги и какой-то адрес. Несмотря на малые лета, Родя догадался, что это — *революционеры*. Причём

скрывающиеся от полиции. А дядя отправил одного из них в некое убежище и взял на хранение их бумаги. Вернее всего, прокламации. Любопытство терзало Родю. Впервые он видел вживую настоящих революционеров, которых так неистово проклинал отец...

— Я надеюсь, ты понимаешь, что не должен рассказывать о том, что видел? — спросил дядя.

Ещё бы Роде не понимать! Никогда он доносчиком не был. За товарищей под лампой стоял, неужто родного дядю выдать? Доносить — бесчестье!

— Вот и молодец! Честь — превыше всего! — пафосно изрёк дядя Котя, потрепав его по плечу.

Через некоторое время недалеко от Кремля был взорван Великий Князь Сергей Александрович, незадолго до того сложивший с себя полномочия генерал-губернатора. Взрыв был слышен в стенах Корпуса. Строевая рота кадет несла почётный караул в Чудовом монастыре у гроба мученика. Рассказывали, что его жена, Великая Княгиня Елизавета, сама по кусочкам собирала его останки, прибежав на место трагедии. В храме она стояла, словно окаменев, пугающе бесслёзная. Опасались даже за её рассудок.

Весть об убийстве Великого Князя потрясла Родю. Великокняжескую чету он видел лишь однажды. Тонкий, до неестественности выпрямленный, гордо держащийся князь с худощавым, продолговатым и, как показалось Роде, страдальческим лицом, и воплощение подлинной женской красоты, из глубины души высвеченной — княгиня... Родя представил её на месте трагедии, и у него, не плакавшего даже в глубоком детстве от боли и обид, выступили слёзы.

А ещё зачем-то вспомнились дядины визитёры. И шевельнулось болезненное подозрение — а если они были связаны с убийцей?.. Всю неделю он ходил подавленный, притихший. Офицер-воспитатель даже осведомился, не болит ли у него что-нибудь.

Болела всего-навсего душа... Среди других кадет он был у гроба несчастного князя, от которого мало что осталось. И раз и навсегда возненавидел террористов и революционеров. Революция — бессмысленная жестокость. Кровь, разрушение и всегда — *преступление*. Так глубоко осознавала детская душа, и это осознание с годами обратилось в твёрдое убеждение.

У дяди Коти Родя побывал ещё раз. Тогда он застал у Константина Кирилловича незнакомую женщину и, по его смущению, догадался, что это именно та, связи с которой не мог простить дяде отец. Женщина была необычайно хороша собой. Особенно восхитили Родю её густые рыжие локоны, кольцами спадавшие на плечи, покрытые тонкой зеленоватой туникой, в которую она была облачена.

— Это... Это Рива... — пробормотал дядя. И тотчас поправился: — Рива Балтер... Актриса...

Женщина присела в шутовском реверансе и весело улыбнулась:

— Рада познакомиться с вами, Родион Николаевич!

От неё приторно, слишком душно пахло парфюмом. А голос оказался глуховатым, грудным. Она осталась в тот день на обед. Шутила, смеялась, рассказывая какие-то истории из закулисной жизни. А ещё пила много шампанского и курила папиросы через изящный мундштук. Родю хотелось спросить дядю о том, что так нестерпимо жгло его душу последнее время. Неужели он, этот добродушный, весёлый, просвещённый человек поддерживает бессудные и жестокие расправы? Поддерживает убийц?.. Но при Риве задавать подобных вопросов он не мог. Напоследок она поцеловала Родю в щёку, и уже дорогой он оттирал платком след её помады. Эта женщина не понравилась ему. Не понравилась тем, как бесцеремонно и развязно вела себя. Не понравилась манерами, чуждыми миру, в

котором вырос Родя. И почему-то стало жаль дядю, который в присутствии этой женщины выглядел не уверенным в себе, довольным жизнью бонвиваном, а её... пажом... Боящимся хозяйского окрика и млеющим от ласкового взгляда. Будто бы даже внешне делался он мельче. Большую власть имела над ним эта рыжая красавица...

Больше он не бывал у дяди, проводя выходные или у Прасковьи Касьяновны или у директора училища, на обед к которому приглашались все кадеты, которые не могли уехать к родным или друзьям.

Тянулись и тянулись бесконечные дни учёбы. Особенно тоскливо бывало по вечерам, когда перед глазами, как наяву, вставал Дом... И уютная мансарда... Хорошо ж было Гаврюшке, сыну Великого Князя Константина! Он, хоть и числился кадетом Московского корпуса, а продолжал себе жить в родном Мраморном дворце, приезжая лишь недели на две — сдавать экзамены.

Сам князь, Главный Начальник Военноучебных Заведений, бывал в стенах Корпуса по долгу службы. Именно он подарил ему бронзовый памятник молодой Императрицы Екатерины Великой, который был установлен в огромном Тронном зале, украшенном гербами всех губерний Российской Империи и царскими портретами в полный рост.

Тронный зал примыкал к помещению первой роты, в которой состояли кадеты младших классов. Он имел в длину шестьдесят метров без единой колонны и арки, а тяжёлый потолок его висел на цепях. Здесь проходили официальные приемы высокопоставленных лиц, парады и балы в день Корпусного праздника.

Корпусный праздник, отмечающийся двадцать четвёртого ноября был главным в году. На него привозили множество декоративных растений: деревца в кадках, цветы, цветочные гирлянды и прочее.

Столовая, спальни, сам Тронный зал превращались в зимние сады. На праздник собирались юнкера Петербургских и Московских Военных училищ, приезжали генералы и офицеры, в разное время учившиеся в этих стенах. Накануне праздника на всеобщей в корпусной церкви пел хор Чудова монастыря. Обедню в переполненной церкви служил архиерей. После в Тронном зале проходил церемониальный марш и награждение кадет. Во время обеда бывшим и нынешним Екатерининцам играл оркестр Александровского Военного училища. К столу каждому кадету подавали гуся, фрукты, бутылку мёда и конфеты.

А на следующий день устраивался корпусный бал, на который мечтали попасть многие барышни Первопрестольной. Зимний сад с беседками и гротами, полными сладостей и прохладительных напитков, музыка в исполнении оркестра Московских Гренадёр, промельки белых, воздушных платьев и разруганных, прехорошеньких от юности и волнения девичьих лиц — эти вечера, переходившие в ночи, были незабываемы.

Именно здесь, в Тронном зале Родя танцевал свой первый настоящий танец. С очаровательной юной девушкой, в которую в тот момент чувствовал себя почти влюблённым, но которую забыл уже через несколько дней. Нечуткость к музыке не мешала ему неплохо танцевать — выручала природная ловкость и память тела.

Хоть так и не получив золотого галуна на погон, Родя всё же благополучно выдержал выпускной экзамен и, получив благословение Корпуса — серебряную, позолоченную, овальную иконку с выгравированными на её обратной стороне своим именем и надписью «от 1. Московского Императрицы Екатерины II кадетского корпуса), а по ранту — «Спаси и сохрани» — вместе с неразлучным другом Никитой отправился в

Михайловское артиллерийское училище. Именно его они избрали для продолжения обучения.

Три года, проведённые в стенах Михайловского, не оставили по себе каких-либо ярких воспоминаний. Любимым предметом Роди здесь стала военная история. Для артиллериста этот предмет казался не столь важным, но было обстоятельство, по которому именно он вызывал особенное внимание юнкеров. Всё дело было в преподавателе, а им был молодой офицер, капитан Сергей Марков, яро ненавидевший формализм и регулярство и всемерно старавшийся пробудить в своих подопечных творческий подход к любой задаче, развить в будущих офицерах воображение и смекалку. Он говорил живо, увлечённо, неожиданно приводя примеры из повседневной жизни, задавая необычные вопросы и тем самым заставляя юнкеров не просто зубрить и исполнять команды, но *МЫСЛИТЬ*.

В качестве своего курса по истории Марков издал «Записки по истории Русской армии. 1856–1891», в которых давал анализ проводившихся в России в XIX веке военных реформ. Немало места было уделено и русско-турецкой войне 1877–1878 гг. При этом капитан затрагивал не только военный анализ событий, но и политическую обстановку, а также причины, вызвавшие войну. Особое внимание он обращал на «самобытные национальные черты нашей армии и русского солдата, гибкие формы боевого порядка, развитие духа». Многомного пометок поставил Родя на полях этого учебника. Взгляды молодого преподавателя были ему в высшей степени близки. Ведь именно это-то и отталкивало его всё время — глупая муштра, лишённая творческого подхода! Да ни один великий полководец не был сухим педантом! Чем испокон веку брала русская армия? Боевым духом, находчивостью, внутренней (не внешне выстроенной) сплочённостью перед лицом врага. Благодаря находчивости и инициативности, малым

числом одолевали многократно превосходящего врага, города брали! А находчивости-то вовсе не оставляло места регулярство, парализуя мысль.

Как-то не удержался Родя, высказал со времён кадетства засевшие в голове мысли. Марков слушал со вниманием, и тёмные, зоркие, таящие вспыхивающие в моменты возбуждения огоньки глаза его выражали согласие. Это придало Роде уверенности, и закончил он горячо и уверенно:

— Русская партизанская вольница всегда оказывалась сильнее любого врага! Они по науке воевали, по системе, а мы их системы опрокидывали!

Капитан чуть улыбнулся, постучал пальцами по столу:

— Партизанская вольница, не объединённая единой стратегией, единой волей, осуществляющей верховное руководство, превратится в табор, в ватаги образца Стеньки Разина и Емельки Пугачёва, которые могут превосходно действовать в локальных направлениях, но войны не выиграют никогда. Для войны, Аскольдов, нужна стратегия. А стратегия — наука. Другое дело, что эта наука не имеет права стоять на месте, жить прошлым веком, а должна меняться вместе со временем и даже опережая его. Нужно непрерывное развитие творческой мысли: не только учёт опыта на победах и поражениях, но и проникновение в будущее, создание новых методов и способов в ведении боев и сражений. Стратегия и тактика не могут оставаться неизменными: новое оружие — новая тактика, но и новая тактика — новое оружие. Однако, большая доля правды в ваших словах есть. При пассивном выполнении задач и даже при полумерах невозможен решительный успех; чаще это приводит к неудаче и лишнему пролитию крови. Инициатива необходима как на верхах командования, так и на всех его ступенях, до самой низшей включительно, — вот, уже и сам капитан взволновался,

оседлав любимого конька. Заходил взад-вперёд, энергично жестикулируя. На Японской войне он вдоволь насмотрелся на плоды регулярства, стоившие России поражения и всемирного позора. И с той поры во всех книгах своих и с преподавательских кафедр двух военных училищ и Николаевской академии старался донести до армейской верхушки элементарные истины, достучаться до отравленных тем самым регулярством душ армейской бюрократии и наполнить нужным содержимым души своих учеников. — На верхах командования — когда ставятся задания и проводятся с намерением заставить противника действовать в зависимости от принятых ими решений. На низах — когда инициативой начальников разрушаются планы и намерения противника на тактических участках боя, когда захватываются тактические рубежи, когда противник становится в менее удобное положение и когда это используется для развития успеха. Инициатива — это постановка задач, диктуемых обстановкой в каждый момент боя. Активность — это выполнение этих задач!

— Да ведь это и есть партизанство! — заметил Родя.

Марков остановился, заложил за спину руки:

— Что же, и хорошо! Активное партизанство всегда предпочтительней пассивного регулярства! История нам с вами это показывает! Но отсюда не следует вывода, что всякая партизанская ватага предпочтительнее регулярной армии! Единое командование, единая стратегия наверху при достаточной степени гибкости на низших ступенях — вот, что требуется.

С той поры между Родей и капитаном Марковым сложились добрые отношения, которыми юнкер очень дорожил, видя в своём учителе образчик истинного Офицера, равняясь на него во всём.

Незадолго до выпуска Марков подозвал его к себе:

— Читаете ли вы газеты, Аскольдов?

— Никак нет. Времени не достаёт.

— Очень плохо. Офицер должен иметь широкий кругозор и знать, что происходит в мире. Вот, что теперь происходит в мире?

Родя смутился. Стыдно было признаться, что мысли его были куда как далеки от мира, вращаясь все последние дни вокруг любимого Глинского, по которому стосковалась душа.

— Молчите? Так, вот, я вам скажу, Аскольдов. Мы стоим на пороге войны. И эта война начнётся в самое ближайшее время.

— Вы полагаете, что Германия всё же осмелится на нас напасть?

— Не сомневаюсь. Равно как не сомневаюсь, что вы в этом случае не станете искать покоя в тылу, а отправитесь искать свою синюю птицу на передовую. Другого счастья офицеру не дано, Аскольдов. Наше счастье не в шарканье по паркету, не в тепле семейного очага, а в подвиге! Так что думается мне, что с вами мы ещё свидимся. И не в душном классе нашего училища, а среди дыма и огня. До встречи на войне, господин подпоручик!

Через несколько дней подпоручик Аскольдов покинул стены училища и, на неделю завернув в Москву, отправился, наконец, в родные края, прихватив с собой Никиту и накупив гостинцев сёстрам и матери.

Коляска со скрипом повернула. С этого поворота начинались владения Аскольдовых. Вон, защебетала вдали берёзовая роща, а напротив неё небольшой сосновый лесок. А позади них — ещё невидимый — яблоневый сад, обнесённый старым забором! Каменная кладка в одном месте осыпалась, и через неё легко можно было перемахнуть и, пройдя по тропинке, оказаться прямо у крыльца отчего дома.

Родион покосился на дремлющего товарища, тряхнул за плечо возницу:

— А ну стой!

Мужик попридержал лошадей, остановившись аккуратно на взгорье, внизу которого журчал ручеёк. Родион спрыгнул на землю и, как бывало когда-то в детстве, бегом сбежал с пригорка по свежей росистой траве, остановился у ручья. Нагнулся, зачерпнул в ладони ключевой воды, сделал несколько глотков — нет этой воды слаще! Омыл пыльное с дороги лицо. Махнул рукой ожидавшему вознице:

— Езжай без меня дальше! А я — напрямик!

И пошёл, пошёл размашисто, загребая ногами ещё не тронутую косой траву. И хотелось крикнуть на весь Божий мир, но и жаль было нарушать его соборную, святую тишину.

Родион расстегнул мундир, на несколько минут растянулся на траве, вбирая грудью силу земли. Правы были древние, считавшие Землю живым существом. Воистину даёт она силы! Укрепляет усталого, исцеляет больного... Припадали к ней былинные богатыри и, силой этой напитавшись, разили врага... Неужели и впрямь скоро снова придёт топтать русскую землю враг? Не хотелось теперь думать об этом.

Поднялся Родион, пошёл, посасывая сорванную травинку, в звенящее листвою божелесье — заповедную рощу, которой никогда не касался топор. Уже приблизившись к нему, остановился, услышав плеск. Кто-то купался в омуте. Приблизился Родион и остановился, притаясь за деревьями. И грешно было подсматривать, а и сил не находилось тотчас уйти. Уж больно прекрасна была та, которую он увидел. Какая изумительная белизна и нежность кожи, какая точёная фигура, какая плавность и мягкость движений... А волосы! До самых колен косы размётаны! Платье на

берегу оставила и в воду сошла. Юная совсем... Заплескалась, резвясь в прохладной водице.

Крык... Хрустнула предательски ветка под сапогом. И всполошилась прелестная купальщица, углядела его. Спряталась стремительно за камышами, закричала испуганно:

— Уходите! Уходите сейчас же!

А личико-то совсем детское у неё — успел разглядеть. Чистое, нежное.

— Простите! Я не знал, что здесь... кто-то есть! — откликнулся смущённо. — Не бойтесь, пожалуйста, я уже ухожу.

Он, действительно, ушёл, не желая пугать милую девушку. Уходя, споткнулся о торчавший из-под земли корень, чертыхнулся сердито.

И стыдно было, что, как мальчишка какой-то подглядел недолжное, но и весело оттого. И вдруг захотелось непременно вновь эту юную красавицу увидеть. Поговорить с нею. Для чего, зачем — не откликался рассудок, а непререкаемое желание влекло. Решил Родион, к знакомому пролому в стене приближаясь, непременно на другое утро снова к омуту придти. Если судьба, так окажется там она, а нет — так и искать не стоит.

Ловко перемахнув через стену, он не спеша прошёл по тропинке, то и дело оглаживая ладонями стволы раскидистых яблонь, некоторые из которых помнил ещё совсем молоденькими и слабыми. А вот и Дом выглянул из-за раскидистых ветвей. Терем боярский с крылечком резным! Тихо-тихо ещё всё в нём — знать, не ждут гостей в такую рань. Душа исполнилась умиления — как при виде родного любимого человека, с которым долго не виделись. Вздохнув глубоко, Родион отвесил в сторону Дома земной поклон, всей ладонью коснувшись земли:

— Ну, здравствуй, ваше величество Дом!

Застучали копыта лошадей у парадных ворот. И вот уж заморгал Дом очами-ставнями! И раздался младшей сестрички Варюшки крик пронзительный:

— Приехали!!!

Глава 2. Аглая

Она ещё долго таилась, не решаясь выйти из камышовых зарослей, напряжённо вслушивалась в удаляющиеся шаги и, лишь когда они затихли, выбралась на берег и стала поспешно одеваться. И стыдно было, что он увидел её такой, какой разве что мужу одному видеть надлежало, а не удержалась — прыснула и рассмеялась звонко, вспомнив его смущённое:

— Простите! Я не знал, что здесь... кто-то есть!

И как поспешно уходить стал, споткнулся даже, точно сам испугался собственного озорства.

По мелькнувшему за деревьями мундиру угадала Аглая: это барин молодой приехал! И жаль было девичьему любопытству, что не успела рассмотреть, каков он стал из себя. С детства запомнился высокий, сильный мальчик в русых, непокорливых кудрях — необузданным озорством и отвагой своей деревенским шалопутам фору дававший. Хоть и барский сын, а барчуком никто не звал его. Какой уж там барчук! Разве что книжки почитывал да пересказывал разное. С мальчишками в ночное ходил да на дальние омуты, где, по бабкиным сказам, черти водились. Девчонок в такие походы никогда не брали — мужицкое дело. И Аля обижалась. Она-то бы не сомлела, если б и правдой бабкины рассказы оказались. Несхарная сиротская после смерти матушки доля многому научила...

Бегом добежала Аглая до деревни. Ещё только пробуждалась она. Ещё только дядька Захар погнал на поле понурое стадо. Прыснуло солнце — залило золотистым светом дорогу, над которой поникли, роняя беззвучные слёзы, серебристые вёты. У крайней избы

на лавке сидела, опершись на клюку, древняя бабка Лукерья.

Никто доподлинно не знал, сколько ей годков. Она служила ещё бабке нынешнего барина. А отец её «воевал Бонапарта». Говаривали старожилы, будто в молодости Лукерья была очень хороша собой, и как будто бы даже роман был меж ней и старым барином. Но что могли помнить они, бывшие в те поры детьми или не родившиеся вовсе? Недолго была Лукерья замужем. Один сынок её сгинул в Крымскую войну, другой помер сам, не успев нажить семейства...

Оканчивала свои дни старуха одиноко. Сельские бабы помогали ей по хозяйству, а барыня назначила ежемесячный пенсioen, которого Лукерье хватало с избытком. Ноги её уже слушались плохо, но едва занималась заря, она выходила из дому, садилась на лавку и смотрела слезящимися глазами на дорогу, словно ожидая кого-то. Время от времени заговаривала с прохожими, радуясь, если у кого-то находилось время посидеть подле неё и послушать её рассказы.

Вот и теперь, иссохшая, маленькая, она неподвижно сидела на своём месте и смотрела, смотрела...

Аглая подошла к ней, окликнула:

— Доброе утро, бабушка!

Старуха беззубо улыбнулась, протянула дрожащую руку:

— Ну-ка, зареница моя, приблизься, посиди со мной хоть недолго!

Аля послушно подошла и села рядом:

— Всё-то ты словно ждёшь кого-то, бабушка?

— Жду, милая. Гришу моего жду... Как ушёл он на ту распроклятую войну, так и жду... Вот, по этой дороге вводили его в солдаты... А я следом шла, насмотреться на него пыталась... С той поры всякий день я на эту дорогу смотрю. И жду, что, вот, появится он. Я ведь ни весточки о нём не получила. Что с сыночком моим

поделалось. Увели его от меня — только и видела... Иной раз помстится, словно он идёт. Встрепенусь вся — бежать бы навстречу! А оказывается, что это не он вовсе. А нынче я ещё и другую гостью жду... Доколе уж Господь меня с земли-то не отпустит, не призовет в чертоги свои... Или уж слишком черна я для них... — Лукерья пожевала губами. — Опять тебя давеча мачеха бранила?

Всё-то знала старуха, что в деревне происходило. Всё-то видела и слышала, сидя до захода солнца у дороги. Вся-то жизнь, такая далёкая и чужая ей давно, текла мимо её усталого взора. Вот, и мачехину брань услышала... Да и чему удивиться? Зычный голос у Катерины Григорьевны — как повысит его, так на всю деревню слышать. А повышает она его — не приведи Бог часто. С той поры, как отец, десять лет перебив вдовцом, решил жениться вторично, жизнь Аглаи сильно переменилась. Точь-в-точь, как в сказках, в которых злые мачехи непременно измываются над беззащитными падчерицами.

Никогда раньше, несмотря на сиротство, не чувствовала себя Аля беззащитной. С отцом жили душа в душу, и сызмальства управлялась она по дому и со скотиной. А коли случалось с ребятнёй поиграть, так уж тут постоять за себя умела. А против мачехи — никак. Любил её отец. Да и двоих ребятшек родила она ему уже, и третьего ожидала. То-то утеха была родителю к старости. Словно вторая жизнь началась. Подобрался он, целыми днями работал, мечтая, как подросшие дети станут ему опорой, как унаследуют его трудами накопленное. Души не чаял в них. И уж конечно, в домашних склоках принимал сторону жены, а не Али, а чаще — просто отмалчивался:

— Ваше дело, бабье! А меня не путайте!

И жаль было огорчать его... Ведь столько лет один-одинешенек маялся после матушкиной смерти.

Заслужил он позднее счастье своё. А только куда бы Аглае от этого счастья голову спрятать?

— Двум хозяйкам под одной крышей трудно ужиться, — задумчиво произнесла старуха, не дождавшись ответа. И добавила: — Замуж тебе надо, девонька. Так-то.

— Да за кого ж я пойду, бабушка?

— А разве ж не за кого?

Ох, ничего-то не укрывалось от старухиною глаза. Вроде глядит — как не видит. Глаза пеленой слёз затянуты. А на самом деле — за всем следит.

Уже второй годок ходил за Аглаей Тёмка, кузнеца Антипа сын. По серьёзности и основательности нрава не так ходил, не для шалости, как Стёпка-гармонист за Анюткой, а замуж звал. Кивни ему только, и зараз бы сватов прислал, и хоть завтра под венец. Но не решалась Аля.

— Кузнец — человек важный. А Артёмушка — парень с головой. Ты бы за ним как за стеной каменной была, — словно мысли читала Лукерья.

— Так и мачеха хочет, чтобы я шла за него. От меня избавиться...

— А ты что же? Или не люб он тебе?

— Не знаю... — растерялась Аля. — Хороший он, добрый... А только как понять, бабушка, любовь ли это или так?

Старуха еле слышно рассмеялась:

— О таком, милая, не спрашивают. Когда она приходит, так никаких вопросов не бывает. Вертит она сердечком так и сяк, а ты и рвёшься супротив, а подчиняешься. Хозяйкой она тебе делается, а ты у ней крепостной бессловесной...

— Сегодня молодой барин приехал, — зачем-то сказала Аглая.

— Никак видела?

— Мельком... — смутилась Аля. — В роще...

— Красив ли?

— Не рассмотрела, бабушка.

— Старый барин хорош был собой... — вздохнула старуха. — Так хорош, что только воду с лица пить да любоваться... — она качнула головой, словно отгоняя призрачное воспоминание своей уже никому не памятной молодости. — Значит, не любишь...

— Кого? — не сразу поняла Аглая.

— Артёмушку. Тогда терпи, девонька. Много тебе терпеть придётся.

— Я к тебе, бабушка, жить перейду. Буду ходить за тобой. Не прогонишь?

— Я-то не прогоню, да, вот, только ты ко мне не перейдёшь.

— Почему?

— Батюшка твой огорчится, а ты его огорчать пожалеешь.

А верно ли, что огорчится? Может, только вздохнёт облегчённо — прекратятся в доме бесконечные ссоры. Да нет... Куда уж идти... Мачехе рожать скоро, и малыши ещё совсем крохи. Ведь нужно же и за ними следить, и за домом, и за скотиной... И об отце заботиться. Куда уж мачехе одной без Алиных умелых рук... Не дай Бог стрясётся что — не простила бы себе Аглая.

— Права ты, бабушка. Не могу я их одних оставить. Разве что поплакаться к тебе приходиться буду...

Лукерья вдруг вздрогнула, всматриваясь в утекающую за горизонт дорогу:

— Как на Гришу моего похож...

По дороге шёл невысокий, худощавый человек с длинными до плеч волосами и чемоданом в руке.

— Только у Гриши узелок был махонький, а сапог не было...

— Да ведь это Серёжа! — воскликнула Аля, с удивлением узнав старшего брата, учившегося в

московском Университете. Кинулась к нему опрометью, разом забыв о размолвках с мачехой и прочих горестях: — Серёжа! — и через миг уже висла у него на шее. А он что-то бормотал растерянно: то ли дивился, как похорошела сестра за этот год, то ли пытался объяснить свой столь неожиданный приезд. А, вернее, как бывало с ним всегда, когда он волновался, разом говорил о нескольких предметах, путаясь в словах и сбиваясь с мысли. Впрочем, какая важность была, что именно он говорил! Главное, что не забыл в Москве родной дом, что приехал!

Глава 3. Не от мира сего

Что такое боль, он узнал очень рано. Узнал, когда не стало матери. Но та боль, пережитая в далёком детстве, успела позабыться, и теперь эта, новая, постигалась с неведомой прежде остротой.

Никакая физическая, даже нетерпимая, самая сильная боль не может сравниться с болью души. Ни одна рана тела не терзает так, как рана душевная. А душу мало что ранит так глубоко и страшно, как предательство. Предательство близких. Хотя иных предательств и нет. Чужой предать не может. Только близкий. Кому веришь. Кого любишь. И один только стон остаётся тогда: за что? Зачем?

А, может, просто сам виноват... Просто негоден оказался к этой непонятной, беспощадной, бесчестной жизни? Негоден... С самого рождения... Когда бабка-повитуха сказала матери, что младенчик слаб и нежилец. А он почему-то выжил. Только первые годы свои был так слаб и болезнен, что почти не ходил. Сверстники играли и резвились, а Серёжа мог лишь завидовать им. Он, и чувствуя себя лучше, не выходил к ним. Дети жестоки и не прощают слабости. Да к тому обладал он печальным умением набить себе шишку даже на самом ровном месте. И за что так природа тешилась?..

Тем не менее, уже в самом раннем возрасте Серёжа начал проявлять большие способности к учению. В то время, когда другие дети ещё едва ли способны сложить букву с буквой, он бойко читал и умел писать. Барыня Анна Евграфовна, бывшая крёстной Серёжи, узнав о его способностях, приняла в нём самое живое и деятельное участие.

Дни напролёт Серёжа проводил в господском доме, в библиотеке, в которой разрешалось ему брать любые книги. Анна Евграфовна самолично занималась с ним иностранными языками и музыкой. Материнская нежность её и забота действовали на болезненного мальчика, как солнечный луч на цветок. С её мягкого голоса он легко запоминал различные английские, французские, немецкие выражения, а так же многое другое, что с такой щедростью рассказывала она. А что за счастье было играть с нею в четыре руки! Когда она сидела рядом и ласково улыбалась... А под конец матерински целовала в лоб:

— Если б у моих детей была хоть десятая доля твоих способностей и прилежания!..

Пару раз даже сам барин изволил проэкзаменовать Серёжу, задав несколько вопросов из области истории и точных наук, и был удивлён, получив правильные ответы на все:

— И впрямь золотая голова! Родьке бы такую...

— Ты будешь учёным, — уверенно говорила Анна Евграфовна. — Может, новый Ломоносов из тебя вырастет. Только бы укрепнуть тебе маленько. Для наук тоже силы нужны. И немалые.

Её заботами он, действительно, окреп, оживился. Но так и оставался одинок, не умея найти общего языка со сверстниками и предпочитая их обществу учение. Он сам, без помощи крёстной, выучил итальянский язык. Сам, изучая том за томом, добрался до сочинений Гессе, Манна, Карлейля и, хотя не всегда понимал написанное, а всё-таки что-то выхватывал из него, складывая в памяти. Увидев у него как-то одну из подобных книг, барин только развёл руками:

— В твои годы, юноша, «Робинзона Крузо» впору читать!

«Робинзона» он прочёл давно. Но, мало впечатлённый им, углубился в чтение Толстого,

Тургенева и, наконец, Достоевского, чьи произведения потрясли его до глубины души, доводя до слёз. Анна Евграфовна даже опасалась, что столь тяжёлые книги могут дурно сказаться на нервах впечатлительного мальчика. Он и в самом деле не мог помногу читать Достоевского, Гюго, Диккенса и сродных им авторов, буквально заболевая от слишком сильного погружения в горькую атмосферу их произведений.

Серёжа рос немногословным и замкнутым. Дичился чужих людей. Даже присутствие кого-то из детей крёстной стесняло его. Особенно — старшей дочери Ольги. Ольга очень походила характером на отца. Такая же строгая и сдержанная. Подчёркнуто взрослая. Она увлекалась живописью и часто уходила в сад на этюды, где просиживала часами, сосредоточенно выводя на бумаге избранные пейзажи. Иногда она делала карандашные наброски в альбоме. Садилась, где придётся, и быстро набрасывала эскизы. Однажды Ольга зашла в библиотеку и, заметив Серёжу, неожиданно велела:

— Сиди так и не двигайся!

Серёжа покорно замер, и барышня принялась за работу. Лицо её заливал румянец, она покусывала нижнюю губу, то и дело окидывала взглядом полководца на поле брани замершего перед ней «натурщика». Наконец, махнула рукой:

— Всё! Готово! — и показала рисунок, на котором Серёжа увидел хрупкого, задумчивого мальчика, склонившегося над книгой — себя самого.

— Нравится? — спросила Ольга, заметно довольная собственной работой.

Серёжа, всегда с трудом справлявшийся с волнением, пробормотал что-то мало разборчивое, но принятое за одобрение.

— Тогда дарю! Смотри не потеряй! — с этими словами барышня вырвала лист из альбома и протянула

ему.

Рисунок Сергей хранил со всей бережностью, как реликвию. Самой же Ольгой он тайно любовался, когда она работала. В эти моменты её от природы не очень красивое лицо дышало вдохновением и становилось очаровательно. Он наблюдал за ней, укрывшись где-нибудь так, чтобы она, чего доброго, не заметила его. Отчего-то ему казалось, что если заметит, то непременно засмеёт, надумает себе что-нибудь этакое, расскажет барыне...

По счастью, увлечённая работой Ольга никогда не замечала его. Зато иногда оказывала честь, показывая свои лучшие работы. С одной стороны, Серёжа был счастлив тому, что она показывает их ему, интересуется мнением, а с другой — страшно боялся сказать что-нибудь невпопад. И снова сбивался от смущения, снова говорил невнятно. И напряжённо следил за выражением её лица: не омрачится ли? Не усмехнётся ли? Но она не смеялась. А слушала внимательно, и это ободряло. И, в конце концов, Серёжа научился преодолевать стеснительность и говорить с нею свободно и ровно. И, осознав это, мысленно поблагодарил её. За её терпеливость и чуткость. Позже, перед самой разлукой Ольга подарила ему свой автопортрет с дарственной надписью: «Первому и незаменимому критику моих работ...» Эту реликвию Сергей хранил ещё более ревностно, хотя свой портрет у юной художницы получился много хуже, нежели его...

Разлука пришла не вдруг. Ещё задолго прежде говорила крёстная:

— Вот, в возраст войдёшь — отправлю тебя в Москву, в Университет. С твоей золотой головкой ты многое сможешь сделать.

И учитель Надёжин, помогавший ему в освоении наук, то же твердил:

— С такой головой — хоть теперь в Университет! Первым бы учеником был!

Москва... Университет... И манили слова эти, но и страх брал. Как же? Одному? В чужом городе?

Золотая голова... Приятно было похвалу такую слышать. Да только это золото отдал бы он за ту беззаботную жизнь, какой жили его сверстники. Золото слишком тяжело для слабых плеч. Знания и мысли переполняли голову, и от этого не было ей, многострадальной, покоя. Терзали её то и дело боли. И никакие отвары и снадобья не могли утишить их.

К моменту вхождения в возраст Серёжа уже окончательно свыкся с мыслью о скором отъезде в Первопрестольную. На первых порах поехал с ним сам Алексей Васильевич Надёжин. Сказался, будто по делам и давненько не проводывал старых знакомых, но Сергей чувствовал, что учитель решился на эту поездку по расположению к нему. А, может, и барыня попросила помочь. Хоть и не ребёнок он был, а по неопытности и впервые в Москве мог легко в неприятную историю попасть.

С собой Анна Евграфовна дала Сергею рекомендательное письмо к своей доброй приятельнице с тем, чтобы та помогла ему наняться в какой-нибудь дом репетитором по иностранным языкам, тремя из которых он успел овладеть в совершенстве.

Поначалу всё складывалось как нельзя более удачно. Экзамены Сергей выдержал блестяще. Не без помощи Надёжина нашёл и жилище: маленькую комнатку в квартире какой-то старой вдовы, кроме того сдававшей молодому художнику просторную гостиную, в которой тот жил и работал.

Художника звали Степан Антоныч Пряшников. Было ему чуть за двадцать, и весь он лучился здоровьем и жизнелюбием. Высокий, жилистый, он своей смуглостью и чернокудростью немного напоминал цыгана. Степан

любил жизнь во всех её проявлениях. Отдавал дань хорошему вину и обильной пище, на которую, правда, далеко не всегда имел довольно средств. Не оставался равнодушным и к хорошеньким женщинам, немало которых бывало в его мастерской в качестве натурщиц. Любил он и хорошую шутку, и добрую песню. Страстный во всех своих проявлениях, он ненавидел лишь рутину и скуку, развеять которую знал массу вернейших способов.

Несмотря на совершенную противоположность характеров, Сергей неожиданно легко сошёлся с художником, сдружился с ним. Быть может, помогла открытость последнего. Его неподдельная искренность во всём. Распахнутость всему миру. От таких людей не ждёшь подвоха, удара в спину. Они могут в лицо наговорить разного сгоряча, но быстро остынут, и никогда не поставят подножку.

Поначалу Сергей жил на деньги, присылаемые из дома отцом, но вскоре ему повезло: удалось устроиться репетитором французского и английского языков при двух ленивых недорослях из благородного семейства. Недоросли, разумеется, не желали слушать робкого и мягкого учителя, совсем недавно бывшего столь же юным, сколь и они, но жалование их мамаша платила исправно. И за это можно было перетерпеть все неудовольствия, доставляемые сорванцами.

Жалование было небольшим. Видимо, у семейства Голубицких финансовые дела обстояли скверно, и потому они ухватились за возможность обучения детей за умеренную плату. Молодой студент, крестьянский сын не мог претендовать на большее. А его знания, согласно рекомендациям, нисколько не уступали знаниям более образованных и опытных преподавателей.

Всё шло хорошо целый год, пока из Феодосии, где она дотеле гостила у родни, не возвратилась старшая

дочь Голубицких Лара... О ней Сергей знал лишь, что семнадцати лет она вышла замуж за какого-то офицера наперекор родительской воле, и что сам офицер через полгода после свадьбы трагически погиб.

Лара, однако же, не производила впечатления убитой горем вдовы, несколько месяцев назад лишившейся любимого супруга. Одета по последней моде, изящная, насмешливая...

Она неожиданно вошла в комнату, где Сергей занимался с мальчиками, и, увидев её на пороге, он от неожиданности уронил книгу, покраснел, растерялся, пытаясь одновременно поднять её и приветствовать Ларису Евгеньевну. А она рассмеялась, обнажив свои ровные зубы. Позвала братьев:

— Бросайте вашу зубрёжку! Идите лучше посмотрите, что я вам привезла!

Мальчики молниеносно выскочили из комнаты, не обращая внимания на своего учителя.

Сергей почувствовал обидный укол. И сказал Ларе с укоризной:

— Зачем же вы это делаете?

— Что? — пожалала плечами она.

— Зачем вы учите братьев такому отношению к занятиям? Они же дети, они ещё не могут понимать сами... Но вы же... Взрослая...

По губам Лары пробежала непонятная усмешка. Она прошла в комнату, бросила на стол свою огромную, тёмно-синюю шляпу, украшенную пышными лентами, расположилась в кресле и некоторое время с любопытством разглядывала стоящего перед ней Сергея.

— А сколько вам лет, господин учитель? — полюбопытствовала с иронией.

Сергей отвёл глаза. Конечно, сейчас эта спесивая юная барынька постарается поставить его на место.

Показать своё мнимое превосходство. Она же — хозяйская дочь! А он — кто?

— Вы что, обиделись? — спросила она, словно перехватив его взгляд. — Не обижайтесь, пожалуйста. Я лишь хотела удивиться, как можно заниматься всеми этими скучными науками, когда вокруг, — широкий развод рук, — такая огромная, такая прекрасная жизнь! Целый мир! И как же можно сидеть над книгами, когда тебе двадцать, когда так много интересного и нового кругом! Читайте, что я вам выражаю восхищение! Заниматься науками вместо того, чтобы радоваться жизни, это подвиг!

— Нет, Лариса Евгеньевна, — отозвался Сергей. — Это нормальная жизнь человека, который в отличие от светских щёголей и щеголих не может себе позволить проводить жизнь в безделии.

— А вы хотели бы?

— Нет, не хотел бы. Ведь это скучно.

— Вы полагаете, что и мне скучно?

— Я в этом уверен, — неожиданно для самого себя ответил Сергей.

Лара сняла тонкие, сетчатые перчатки, заметила:

— Станный вы человек. Жаль, что такой учитель достался моим братьям, а не мне. Хотя — ваше счастье.

— Отчего же?

— Оттого, что мои братья в сравнении со мной ангелы. А от меня вы, пожалуй, сбежали бы, милый странный человек.

Сергей немного смутился от странного её обращения. Ему хотелось, чтобы она скорее ушла вслед за братьями, но она не спешила. Размышляла о чём-то. Сергею подумалось, что Степан, вероятно, был бы счастлив написать её портрет. Что-то было необычное, неуловимо влекущее в её лице. Насмешливом и одновременно таящем какую-то печаль, временами тенью прорывающуюся сквозь маску весёлости.

— Зачем же вы всё стоите? Садитесь рядом... Вы спиной к окну стоите, и мне вашего лица не видно.

— Зачем вам, Лариса Евгеньевна, моё лицо видеть? Оно не столь привлекательно, сколь ваше.

— О! Вы, оказывается, умеете говорить комплименты! — Лара встала и, слегка покачиваясь, будто танцуя, приблизилась к Сергею. — Что же, тогда я подойду к вам. Нет, всё-таки жаль, что я уже выросла из лет моих братьев! Кто знает, может, вам бы удалось научить меня чему-то такому, отчего моя жизнь была бы иной.

— Вряд ли я смог бы научить вас чему-то жизненному... Я слишком мало знаю жизнь сам.

— Жизнь — единственная наука, которую необязательно знать, чтобы научить... Вы сказали, что уверены в том, что мне скучно. Вы угадали. Мне смертельно скучно! Если бы у меня были деньги, то я бы уехала куда-нибудь! В другую страну, потом в третью, в четвёртую... Стран на земле много, и они бы дали необходимое разнообразие. Но мой муж ничего не оставил мне, кроме карточных долгов... — Лара хмыкнула. — Что вы так смотрите? Ищите во мне горя по утраченному мужу? Не ищите... Знаете, мне был очень противен родительский дом. Просто потому, что за семнадцать лет он мне опостылел. А ещё мне был страшно противен старый индюк, которому мой милый папочка меня просватал, польстившись на его миллионы. У меня был выбор. Сбежать с моим красавцем-гусаром или сбежать с театральной труппой... Я выбрала первое. Спросите, почему?

— Не спрошу.

— Вам не интересно?

— Я не понимаю, зачем вы это рассказываете мне.

— Читайте, что у меня сегодня такая блажь. Так вот, театр казался мне слишком мал и тесен. Жизнь

неизмеримо больше! В ней гораздо больше ролей можно сыграть!

— К чему играть что-то?

— Потому что иначе скучно! Ах, Боже мой, как скучно! — Лара взмахнула руками. — Вдобавок театр мой наречённый ещё простил бы мне, но побега с мужчиной...

— Значит, вы не любили его?

— Кого?

— Мужа...

— Я была увлечена... Он был настойчив, горяч... Я ведь не предполагала, что уже через месяц такая же настойчивость и горячность будет обращена к другим. И эти другие также будут полагать себя единственными. Впрочем, я ни о чём не жалею. Это было... забавное приключение. Которое дало мне независимость.

Нет, она не просто скучала. А больше. Где-то в глубине души очень несчастлива была. Только сама себе в том признаться боялась. Сергею стало жаль Лару. Ему представилось, что своего гусара она, в самом деле, любила, потому и бежала с ним. А он посмеялся над этой девичьей любовью, презрел её, оскорбил, растоптал, унизил. И чтобы боли этой не признать, она, гордая, пытается себя представить такой, какой быть не может. Играет роль в театре под названием Жизнь.

— А вы всё молчите... — теперь уже она стояла спиной к окну. — Вы всегда столь немногословны?

— Всегда... — отрывисто отозвался Сергей.

— Я скажу мальчикам, чтобы они были внимательны к вашим урокам... Я сама буду следить за ними. При мне они не посмеют вести себя недолжным образом.

Она сдержала слово и с того дня приходила на каждый урок, щедро раздавая подзатыльники маленьким лоботрясам, которые вскоре приучились

вести себя прилежно. Время от времени Сергей встречался с Ларой глазами и всё отчётливее понимал, что эта женщина начинает притягивать его, завораживать. Ему хотелось говорить с нею вновь, но она не оставалась с ним наедине... Зато наезжали к ней молодые щёголи, и с ними она пила чай в гостиной, либо уезжала куда-то. Смеясь, благосклонно принимая их ухаживания. Это болезненно уязвляло Сергея. И он втайне тосковал и уже жалел, что попал в этот дом.

Но однажды зимой в квартире раздался звонок... И хозяйка сообщила изумлённому Сергею, что его спрашивает молодая дама.

Предстал перед ней — худо и наспех одетый, едва пригладив волосы, взволнованный неожиданным её визитом. Смущённо провёл в комнату:

— Вы простите великодушно... Не прибрано... А я сейчас... чаю...

— Нет-нет, не стоит! — остановила его Лара, присаживаясь на край стула и озирая убогое жилище. Румяная от мороза, в алом полушубке, отороченном мехом, в шапочке навроде кубанки, повязанной поверх пуховым платком — она была ещё прелестнее обычного! — Что же вы не поможете мне шубу снять? — а сама уже платочек развязывала.

Бросился к ней, извиняясь за нерасторопность. Она рассмеялась звонко, как бы невзначай коснулась его плеча.

— Удивлены?

— Удивлён, — честно признался Сергей.

— А я, вот, вспомнила, что, рассказав вам про себя так много, вовсе не поинтересовалась вашей жизнью. Может быть, вы расскажете мне? Про себя? Вы странный человек, мне хочется узнать о вас больше...

Почему-то эти слова задели его.

— Я, Лариса Евгеньевна, не причудливый зверь, с которым иногда забавно возиться от скуки...

Она посмотрела на него удивлённо, взмахнула длинными ресницами:

— Опять обиделись? И что за манера! А я-то думала, вы мне обрадуетесь...

И вздохнула. И сразу Сергей себя виноватым почувствовал. Он ведь, и в самом деле, рад был ей. Как виденью небесному рад...

— Простите... Да мне, признаться, нечего о себе рассказывать. Я занимался тем, что вы так презираете: науками. Перед вами всего-навсего книжный червь.

— Неужели даже книги вы читали — только скучные?

— Отчего же? Я читал и романы. И стихи.

— Стихи? Стихи я люблю. Мы с Жоржем и Кларой часто ездим на поэтические вечера... Сейчас так много прекрасных поэтов! Бальмонт, Брюсов, Блок... И их стихи... Так необычно! Так будоражит кровь!

— Стихи современных поэтов будоражат низменное в человеке. Поэзия — язык вышних. И обращён он может быть только к душе. А всё прочее кощунство... А к душе модные поэты не обращаются. Только к животному инстинкту.

— Инстинкты естественны.

— Возможно. Но слепо подчиняясь им, подменяя ими то высокое, что ещё сохранилось в душах, человек унижает себя, низводит до зверя. Поэзия — язык небес. И нельзя низводить его на грешную землю.

— В следующий раз поедете со мной на поэтический вечер... Выскажетесь там! Думаю, у вас найдётся немало оппонентов.

— Их мнение мне безразлично, и говорить перед ними мне не о чем.

— А передо мной — есть, о чём?

— Перед вами — да.

— Значит, я вам небезразлична?

Сергей промолчал. Зачем эта женщина пришла? Посмеяться? Развеять скуку живой игрушкой? Только душу выматывает...

— Выходит, вы хорошо знаете современную поэзию?

— Я, вообще, достаточно неплохо знаю литературу.

— И она вам не нравится?

— Увы.

— А что же вам нравится? Я хочу, чтобы вы мне прочли! Прочтите самое любимое. Поэзию небес прочтите!

И он прочёл, на удивление не забыв и не спутав строк:

— Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует...

Он к свету рвется из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит...

И сознает свою гибель он,

И жаждет веры... но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,

Как ни скорбит перед замкнутой дверью:

«Впусти меня! — Я верю, боже мой!

Приди на помощь моему неверью!...¹

Лара помолчала, затем поднялась и, подойдя к Сергею, вновь коснулась его плеча, произнесла тихо:

— Вы правы... Это... лучше... выше...

— Но вы опять поедете в салон, где читают стихи, не являющиеся поэзией?

— Поеду, конечно.

— Зачем?

— Потому что там весело... — Лара пожала плечами и снова села на стул. — А про себя так и не рассказали... Неужели в вашей жизни не было ничего, о чём бы стоило вспомнить?

— Вспомнить — возможно. Но рассказать... То, что дорого мне, вряд ли будет вами сочтено весёлым и интересным.

— А были ли вы влюблены, господин учитель?

— Да... был... — не сразу ответил Сергей.

— Кто же она была?

— Загадка, которую я не могу постичь...

В этом миг дверь отворилась, и на пороге возник взъёрошенный, перепачканный красками Степан. Увидев Лару, он отвесил ей низкий поклон:

— Прошу покорнейше извинить! Я не знал, что мой друг не один!

Сергей представил Пряшникова и Лару друг другу. Раскланявшись ещё раз, Степан лукаво спросил:

— А не позволит ли божественная Лара запечатлеть свой неземной облик на холсте?

— С удовольствием... Но только как-нибудь в другой раз. Теперь мне уже пора.

И исчезла гостя негаданная. Только шлейф тонких, чуть терпковатых духов остался на поминанием, что она не во сне приходила под этот кров. Хозяйка покачала вслед головой:

— Экая барынька! Соболя-то какие, соболя!

— Прости, брат, что помешал... — извинился Степан. — Это что, она, да? Дочка хозяйская?

— Да, это Лара, — отозвался Сергей, невольно проводя рукой по спинке стула, о которую только что опиралась она.

— Хороша bestия, — кивнул Пряшников, раскуривая трубку. — Только послушай дружеского совета: держись от неё подальше.

Сергей вспыхнул. Столь бесцеремонное вторжение в его личную жизнь показалось почти оскорбительным. Бросил раздражённо:

— Я, кажется, не спрашивал твоих советов!

Степан усмехнулся:

— Да не кипятись, горячка. Я ж не в обиду тебе. Знаю, что говорю. Я-то их брата повидал!

— Ты ничего о ней не знаешь!

— Ты прав, — спокойно кивнул Пряшников. — Зато тебя я знаю.

— Вот как?

— Послушай, ты, конечно, пошлешь меня ко всем чертям с моими советами, я понимаю. Но всё-таки послушай, что я тебе скажу. Послушай спокойно и не оскорбляйся. Ты, Серёжа, мне друг, а потому не предупредить тебя я не могу.

Сергей почувствовал усталость от волнения и, присев на край постели, приготовился слушать. Степан поскрёб курчавую бородку:

— Серёжа, такие женщины, как твоя Лара, могут быть прекрасны и замечательны, но они не созданы для тихой домашней жизни. Тебе нужна женщина, которая бы любила тебя и жалела, заботилась бы о тебе, создавала уют в твоём доме, растила ваших детей. Жена-мать. Жена-друг. Которой крылья даны не для того, чтобы парить всю жизнь по свету в поисках самой себя, а чтобы беречь очаг и укрывать ими близких. Понимаешь ли, что я тебе говорю? А Лара никогда не станет такой. Изведёшься ты рядом с такой женщиной. Заработаешь себе нервную горячку или что-нибудь подобное. Поэтому послушайся доброго совета, не гляди в её сторону.

— А ты?

— Что — я?

— Тебе бы такая женщина подошла?

— Мне, как и любому нормальному мужчине, нужна жена, а не райская птица. Но для меня все эти Лары не опасны.

— Почему же так?

— Потому что меня им не окрутить, — Степан самодовольно улыбнулся. — Сходить с ума по женщине — это не для меня. Женщину можно боготворить, но — рассудок свой я оставляю при себе. Пригодится! А, вот, ты не выдержишь. Зачарует тебя эта райская пташка своим голоском. Помнишь, что ли, как оно в сказках наших? Добро, коли живой от таких птах бедолага уходит. Испепелит она тебя, дотла сожжёт.

Сергей потрянул головой:

— Вздор какой-то! С чего ты, вообще, взял, что я питаю какие-то чувства к Ларе! Нас слишком много разделяет с ней! И всё это... вздор... вздор! И не говори со мной больше об этом!

— Воля твоя, — пожал плечами Пряшников.

А на другой день он видел её вновь...

Был канун Рождества, и вся Москва принарядилась к празднику, бойко шла праздничная торговля, пахло апельсинами, хвоей и ещё чем-то душистым, веселящим душу. Сновал народ, тащил коробки и свёртки, кульки с конфетами, пастилами, заливными орехами и прочими сладостями. Проносились, взметая снежную пыль, сани разных фасонов... Светились праздничные витрины, к которым липли дети, любясь на выставленные в них игрушки... А ещё мелькали кругом — разряженные, как генералы на параде, ели...

Рождество! В радостный этот праздник на Сергея отчего-то находила тоска. Так повелось с детства. В праздничные дни он особенно горько ощущал своё одиночество и неопределённость своего положения. Проводивший большую часть время в барском доме, воспитанный барыней-крёстной, он чувствовал себя чужаком в родном доме, рядом с родным отцом. И в то

же время в барском доме он, при всей доброте к нему барыни, оставался всё же — сыном простого мужика, сиротой, милостиво привеченным господами. Эта грань не могла исчезнуть. И хотя ни крёстная, ни даже барин никогда никоим образом не напоминали ему о его месте, он не забывал его. А в праздники ощущал особенно резко. Праздник господа отмечали семьёй. А Серёжа не был членом её. Ему дарили прекрасный, с любовью выбранный подарок, его, как и других крестьянских ребят, приглашали на детский утренник, но на господский праздник допущен он не бывал. А в родном доме было ему нестерпимо тоскливо...

Лишь однажды, в последний год его жизни в Глинском, барыня нарушила обычай и пригласила Серёжу на праздник, на котором были также учитель Надёжин с женой. И это было самое счастливое Рождество. И за него Сергей был благодарен крёстной не меньше, чем за все о нём заботы. Правда, даже толком поужинать за праздничным столом не удалось. Слишком стеснялся Серёжа, что манеры его не таковы, как принято в благородном обществе. Слишком боялся по вечному «везению» своему что-нибудь обронить, разбить. Но барыня смотрела ласково, и Ольга — тоже. И сестра крёстной, Марья Евграфовна. И от этих трёх взглядов сердечных, ободряющих — так светло и хорошо было на сердце...

А на это Рождество Сергей был приглашён к своему университетскому наставнику, профессору Кромиади и его дочери Лидии. Подобный визит требовал подарка, и в поисках оногo он отправился блуждать по улицам Первопрестольной, несмотря на мороз и нараставшую метель. К сумеркам, продрогнув до костей в худой своей шубе, Сергей всё-таки подыскал не очень дорогую, но весьма симпатичную музыкальную шкатулку, играющую «Оду к радости», «Коль славен» и «Лучинушку» для Лидии Аристарховны.

Он уже возвращался домой, когда увидел Лару. Вернее не её, а единый только промельк в снежном безумии. Вернее, не столько увидел, а услышал. Голос её. Смех залиvistый. Как виденье пронеслось. Тройка коней, лёгкие, быстрые сани, а в них — она... И двое с нею. Один — военный... Обнимал её за плечи, склонялся к ней... А она — смеялась! Как-то дурно смеялась...

И кольнуло болезненно под самое сердце. Остановился в оцепенении, глядя вслед тройке, и едва не выронил шкатулку. Ничего-то ещё не было между ним и этой женщиной, а уже терзала она его, мытарилась безвинно душу. И не то от ветра, не то от горечи набежала пелена на глаза.

Следующий вечер, проведённый в обществе Аристарха Платоновича и его дочери, немного рассеял его тоску, отвлек от больного и томящего. Снова окутало той ласковой теплотой, как на минувшее Рождество в Глинском. От неспешного говора старого профессора, от участливого взора его дочери. Лидии едва исполнилось восемнадцать, но уже была в ней несвойственная этим летам основательность, серьёзность, рассудительность. Всполошилась, едва он порог переступил:

— Да что это за шуба на вас? Ведь она же совсем-совсем холодная!

И не было в этом возгласе снисходительности богатства к бедности, а одно лишь живое до испуга беспокойство:

— Вы же простудитесь! Никак нельзя в такой шубе!

И уже несла откуда-то — другую. Ношеную, но ещё весьма приличную и, главное, тёплую:

— Вот, носите, пока не справите новой! Это кузена Николая. Он давно в Петербурге живёт, а вещи кое-какие бросил у нас.

У других подобное требование могло бы выйти унижительным, но Лидия Аристарховна была исполнена

такой горячей заботой, таким негодованием на холодную шубу гостя, что обидеться было невозможно. Всё же Сергей стал отнекиваться, уверяя, что ему вовсе не холодно. Тогда старый профессор засмеялся и махнул рукой:

— Берите, Сергей Игнатьич, берите. Не то она на вас эту шубу, пожалуй, силой наденет, либо за вами следом пойдёт вовсе без шубы, пока не убедит. Если ей что в голову втемяшилось, так уж сражаться бесполезно.

А потом весь вечер хлопотала Лидия, как бы получше угостить отца и гостя. Сама она окончила Алфёровскую гимназию и курсы стенографисток, работала, прекрасно разбиралась в литературе, благодаря филологу-отцу. При этом в ней не было ничего от эмансипе, тех жутких девиц, словно нарочно уродующих свой облик и бравирующих грубостью, которые с важным видом ходили на новомодные курсы и бредили революцией. Зато был уют. И теплота, сочетавшаяся с решительностью и твёрдостью. Может быть, немного не доставало мягкости и застенчивости, столь идущих юным девушкам...

На зимние праздники Сергей был предоставлен себе. Голубицкие вместе с детьми отбыли на три недели за границу и возвратились лишь к концу января. Через несколько дней Сергей навестил своих подопечных. Его встретила Лара, удивившая разительной переменой своего облика. В это день она была одета в простенькое серовато-зелёное платье, личико её не тронута было румянами и помадами, а волосы убраны просто и безыскусно. Совсем девочка ещё! — поразился Сергей. А в глазах — обида. И тоже — как будто детская.

— Почему вы не приходили всё это время? Ведь я вас ждала...

Как огнём полыхнуло в груди от этих слов. Она — ждала!..

— Я присылал открытку... Поздравительную...

— А я ждала вас, — повторила Лара.

— Для чего вы ждали меня, Лариса Евгеньевна? Разве у вас мало друзей, с которыми вы могли весело провести это время?

— Они не друзья.

— А кто же?

— Так... — Лара неопределённо повела рукой. — Прохожие, провожатые... *Случайные*...

— Так зачем же вы ждали меня?

— Наверное, для того, чтобы продолжить наш спор о поэзии, — грустно откликнулась Лара. — Что вы делали всё это время, милый странный человек?

— Я... читал... — неуверенно ответил Сергей.

— Расскажите?

— О чём?

— О том, что читали? Я сама не люблю читать. А слушать — люблю...

— Расскажу, если прикажете. Но после урока...

— Какой же вы скучный! — взмахнула руками Лара. — Что же, ступайте к моим братьям. А я сегодня не расположена присутствовать на уроке.

Сергею показалось, что он невольно обидел Лару. Стало совестно, но он не знал, как исправить положение. А она — ушла...

После урока он неуверенно отправился к её комнате. Дверь в неё была приоткрыта, и Сергей увидел Лару, разговаривающую с неким пожилым господином. Последний ходил вокруг неё, что-то страстно говорил, целовал её руки выше запястий... А она не противилась, принимала назойливые ухаживания с выражением снисходительным, но, как показалось Сергею, почти безразличным. Он быстро отошёл от двери, но Лара успела заметить его. Нагнала уже в гостиной и, желая удержать, порывисто схватила за руку. От

прикосновений её пальцев к своей ладони Сергей вздрогнул, обернулся, спросил страдальчески:

— Что вам от меня нужно, Лариса Евгеньевна?

— Почему вы хотели сейчас сбежать от меня? Из-за этого старикашки? Да? Да?

— Я видел, как он целовал вас.

— Неужели? И что же?

— Мне кажется, Лариса Евгеньевна, у вас слишком много друзей, и я буду лишним в их числе.

— Гордость? — Лара усмехнулась. — С чего бы вдруг? Если угодно вам будет знать, этот человек сейчас делал мне предложение!

— Вас можно поздравить?

— У него в одной Москве шесть домов. А ежегодный доход...

— Зачем мне знать его доход?

Лицо Лары исказилось, она, наконец, отпустила руку Сергея:

— Мой дражайший папочка банкрот. Нет, конечно, маман с мальчиками не пойдёт с протянутой рукой по миру... Но, скорее всего, им придётся уехать в деревню. Это в Могилёвской губернии. Грязь. Нищета. Бессмысленное и серое существование. Вы представляете меня в таком месте?

— По-моему, это не ночлежка на Хитровом рынке.

— Да! Это несколько лучше! — Лара разволновалась и готова была заплакать. — Только я не хочу там жить. Я буду жить в Москве. Или в Петербурге. И неважно, каким образом это устроится! Пусть бы даже с этим старым прохвостом... С ним мне никто и ничто не будет страшно. И ни о чём не надо будет думать. Неужели вы не понимаете?

— Отчего же. Я всё понимаю. Могу ли я идти?

— Ничего вы не понимаете... Ну, что, что я должна сделать, по-вашему? Чтобы вы не смотрели на меня так?

— Какое вам дело до моих взглядов? Я ведь не имею шести домов... Я и гроша-то за душой не имею.

Лара на мгновение поникла, но быстро распрямилась и, подойдя вплотную, провела рукой по его лицу:

— Ну, зачем вы такой? — спросила одними губами и поспешно вышла, оставив Сергея в полной растерянности.

Миновал ещё месяц. Близился Великий Пост. Москва жадно и размашисто догуливала Святки. Вернувшись вечером из Университета, Сергей замер на пороге, не веря своим ушам. Из мастерской Пряшникова доносился голос Лары...

Она сидела перед Степаном в расшитом узорными орнаментами в форме цветов и птиц гранатовом платье, подол которого спереди был чуть приподнят, что позволяло созерцать стройные ножки в изящных сапожках. Пряшников, закусив губу, яростно чиркал карандашом по картону, то и дело поглядывая на расположившуюся на его тахте гостью.

Сергей нерешительно переступил порог и в то же мгновение встретился взглядом с её глазами. Она не двинулась, но всем чувством подалась навстречу:

— Здравствуйте, господин учитель!

— Здравствуйте, Лариса Евгеньевна. Не ожидал вас...

— Я ведь обещала позировать Степану Антонычу.

— Ах, да. В самом деле...

Сергей всё силился понять, что за странную игру ведёт с ним эта женщина. То поманит вдруг, то оттолкнёт, ударит больно... Прав был Пряшников: держаться бы подальше от неё! Да мочи нет. Приворожила птаха райская. Вынимает душу... Как кошка с мышкой играет. Истерзать норовит...

После сеанса уже на пороге она сказала:

— Родители с братьями уезжают на несколько дней в Петербург. У дедушки юбилей...

— А вы?

— А я не люблю юбилеев и семейных собраний. Я вас очень прошу быть у меня завтра вечером. Будете? Пожалуйста, это ведь просьба моя.

И как было отказать? Не осмелился даже спросить, для чего зовёт его. Кивнул молча.

— Я вас буду очень ждать...

На другой вечер он был у неё. Сразу поразило, что не только родных её не было дома, но и слуг тоже. Отпустила их на этот вечер. А сама взволнована была. Будто бы в лихорадке даже. А одета вновь не как обычно. Платьичко белое, придающее ей девичью нежность, чистоту. Локоны тяжёлые сзади подобраны, шейка стройная обнажена. И лицо опять чистое. Свежее. И почему-то жалко её стало. Подумалось, что такая она и есть: чистая, душой невинная, несчастная... А всё прочее — наносное. От отчаяния и обиды. Как наряды пышные — нацепленное сверх подлинного.

И отважился руку поданную не пожать, как обычно, а поцеловать. А она вдруг наклонилась порывисто и уткнулась лицом в его волосы, и в ответ на удивлённый взгляд обеими ладонями провела по лицу:

— Необыкновенный вы... Никогда мне дела не было, кто и как судит обо мне. А от вашего осуждения так обидно и больно стало! Подумала тогда, это всё оттого, что он жизни не знает. Не может понять...

— Как я смею вас судить, Лариса Евгеньевна? Никогда! — Сергей уже готов был сам каяться перед ней коленопреклоненно, не знал, что говорить, как оправдаться и чем утешить её. — Я вашим рабом быть готов...

Но и царапнуло снова недоверчиво. Не смеётся ли и теперь? Не играет ли? Робел перед нею... А она никла к его плечу, касалась душистой ладонью волос, целовала:

— Вам — и рабом... Милый странный человек, так вы ничего и не поняли...

Закружил, кружил, подобно метели февральской, вечер этот. И безумная женщина с сияющим взглядом тёмных глаз. И робел прикоснуться к ней, и не мог чарам её противостоять. Да и не хотел вовсе. Хоть и стыдно признаться, а в мыслях, в ночных метаниях бессонных, в бредовых полуснах — уже был с нею. И распалало желание грудь. Жаром жгло который месяц. А теперь неудержимо влекла она к себе, лишая разума, вместо которого говорила теперь одна только страсть.

Утром Сергей проснулся с ощущением полного, всеобъемлющего счастья и чуда. И на миг испугался, похолодел: да не пригрезилось ли? Но нет. Лара спала рядом. Прильнув щекой к его плечу, едва прикрытая длинными, разметавшимися прядями шелковистых, каштановых волос, которых он тотчас коснулся губами, вдохнув их пряный аромат.

А за окном занимался новый день. Солнечный. Морозный. Хрусткий. Прекрасный день! День, в который можно обратить реки вспять и воспарить до самых небес! И Бог с ним, с Университетом! Для занятий довольно будет других дней, а пока надо успеть допить счастье это, не обронив ни единой драгоценной капли!

Утром необычайно возбуждённая Лара пожелала ехать кататься. Куда? Да не всё ли равно! По Москве! Арбат, Поварская, Пречистенка, Охотный ряд, Зубовский... Мелькали стремительно улицы, бульвары, переулки. Нахлёстывал «Ванька» нетерпеливых своих коней, рвущихся вперёд навстречу крутеню.

— Н-но! Балуйся!

И Ларин крик, на взвизг восторженный срывающийся:

— Быстрее! Ещё быстрее!

— А не боитесь, барышня, перевернуться?

— А хоть бы и так!..

И, действительно, ничуть не страшно было от этого безумного бега. И не чувствовался холод, обжигающий пылающие щёки. Ничего не чувствовалось, кроме незнакомого прежде упоения. Замолчала душа, как в народе говорят, и страсть властвовала безраздельно, как метелица на московских улицах.

Лара была одета в простую шубку и барашковую шапочку, а поверх повязала по-бабьи тёмно-малиновый платок, спадавший на плечи. Уже иней покрыл её ресницы, а глаза светились звёздами, и всё гнала и гнала она дальше сани... Смеялась звонко и никла к груди Сергея. А он обнимал её крепко, уже вовсе не замечая, какими улицами и закоулками они летели.

Обедали дома. Из ресторана по заказу Лары принесли роскошные кушанья. Лара отпила вина, вздохнула глубоко:

— Думала, в городе отобедаем, а потом... Публика там по ресторациям гуляет, а я теперь никого видеть не хочу. Ни чужих, ни знакомых. На тебя насмотреться лишь... Так ты непохож на них... Ни на кого непохож... И зачем ты так на них непохож? Был бы похож, как бы мне легче было...

— Отчего же легче?

— Оттого, что муки никакой... Ведь ты совесть моя, понимаешь? Поп на исповеди меня пронять не мог, а ты, вот, посмотрел, и такой я себя чёрной почувствовала...

Сергей опустился перед ней на колени, сжал обе её руки, уткнулся пылающим лбом в колени:

— Ты светлая... Самая светлая! А я... Прости меня!

Она скользнула к стоявшей в углу тёмно-зелёной софе, поманила к себе:

— Иди сюда...

Так продолжалось десять дней. Уже миновала масленица, начался Великий Пост, в храмах звучал скорбный канон Андрея Критского, и все православные сокрушались о своих грехах... А они были поглощены

друг другом. Дурманом эдемского яблока, испепеляющим, ослепляющим, парализующим дух чувством.

— Завтра мои возвращаются, — сказала Лара в какое-то утро.

— И как же теперь?.. — почти с испугом спросил Сергей, для которого мысль о разлуке была непереносима.

— Не знаю, милый... Не бойся, выход ведь всегда найдётся, правда?

И они находили этот выход ещё целый месяц затем. Вернее — выходы. Встречались тайком и спешно. А на людях она не достаивала его взглядом. Стеснялась его... На Страстной Сергей почувствовал на сердце страшную пустоту, доходящую до глухого отчаяния. Он ей не нужен. Он для неё — очередная игрушка. Домашний питомец... Никогда она не унижится до того, чтобы явиться с ним перед своими лощёными друзьями, чтобы объявить родителям, чтобы... Кто он для всех них? Полунищий студент и только. Крестьянский сын. До способностей его — какое дело им? Способности эти не подтверждены ещё учёными званиями и материальным благополучием. Даже гения Пушкина третировала родня из-за скудного материального положения... А тут!.. И как мог размечтаться так? Поверить? Забыться? В омут головой нырнуть... Наивный глупец... Но и как же жить без неё?.. Нельзя, невозможно... Хуже смерти...

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..²

В этот день у неё были гости. Два молодых франта и завитая по последней моде щеголиха. Танцевали, пили шампанское, смеялись. Он проходил мимо, случайно споткнулся, обронил папку, из которой вылетели листки. Это развеселило их. И Сергей услышал, как один из франтов шепнул ей довольно громко:

— Вы, Ларочка, одним взглядом с ног человека сбиваете!

Она расхохоталась...

Это было настолько обидно, настолько неожиданно, что на глазах Сергея закипели слёзы. Он поспешно сложил листки в папку и вышел. Неподалёку гордо высилась старая церковь — Никола Большой Крест. Едва чувствуя под собой ноги, Сергей вошёл в неё и в изнеможении опустился на колени перед образом Богородицы. Он вспомнил, что уже — Страстная. И что весь Великий Пост провёл он во грехе, в наслаждении грехом. И хотя вера никогда не была главным в его жизни, а всё же опалило душу стыдом. Почувствовалось явственно, что негоже вышло. Да, вот, и не за то ли расплата? Как несчастный заблудший, околдованный

чарами лесовух и брошенный ими в чаще, распластан он теперь, измождён и не ведает, куда же идти?

Сергей чувствовал, как столь непривычное напряжение всё больше расстраивает его некрепкие нервы, доводя до болезни. Ночами его изводила бессонница, а сны стали пугающими, безумными. Это сказывалось на учёбе, и даже Аристарх Платонович выразил обеспокоенность состоянием здоровья любимого ученика. Хмурился и Пряшников, отвлекаясь от своих картин, ворчал:

— Заездит тебя твоя ведьма, как панночка Фому Брута, заездит. Возьми и брось! — встряхивал за плечи. — Женщин вокруг тьма! Выбирай любую, женись, живи себя счастливо!

Сергей лишь вздыхал в ответ. Так может рассуждать лишь человек, никогда по-настоящему не любивший... И тем уже счастливый...

— Тебе, Стёпа, не понять...

— Где уж нам! Бродишь, как приведение, как полоумный... Ведь смотреть же больно!

На Страстной он всё же исповедался и приобщился, но боль не проходила. Менее всего теперь ему хотелось переступить порог рокового дома. Но и не ходить туда не мог. И не только из-за службы, но и потому, что не мог не видеть её.

В тот день у неё был очередной визитёр. Бравый гусар с пышными усами. К его приезду Лара оделась особенно нарядно и сразу увела его в свой будуар. Гусар пробыл у неё долго, но на обед не остался. Сергей видел в окно, как она вышла провожать его. Они долго стояли на крыльце, а затем пылкий визитёр обнял её и расцеловал. И она не оттолкнула его. Более того — ответила взаимностью...

Не слыша и не чувствуя самого себя, Сергей сошёл в гостиную, где вскоре появилась Лара. Появилась и посмотрела вопросительно:

— Что это с вами, Сергей Игнатьич?

У него кружилась голова. Он смотрел на неё страдальчески, пытаясь понять, что же происходит в ней, и за что она так нещадно с ним обходится. Говорить не было сил, но всё же он спросил хрипло:

— Зачем?..

— Что — зачем?

— Зачем ты такая?..

Она гордо вскинула голову:

— Ты забываешься! Какое право ты имеешь меня судить? О, я давно заметила, такие, как ты, всегда наделены больным самолюбием!

Сергей не ответил. Сделал шаг к двери, у которой стояла Лара, но остановился. Ещё раз взглянул на неё пытливо, ища проблески той девочки, которую увидел некогда. Но она смотрела на него надменно-презрительно, с насмешливой улыбкой, кривившей губы.

— Что, господин учитель, хотите ещё что-то сказать? — осведомилась вызывающе, глядя чужими, жестокими глазами...

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!³

Сергей вздрогнул и дал ей звонкую пощёчину...

Из дома Голубицких он выбежал, как ошпаренный. До ночи мыкался по городу, пил горькую в каком-то кабаке, ища облегчения, откровенничал с нетрезвым подмастерьем...

А потом наступил провал. Чёрный, как бездна. Ему то и дело виделась она. Уходящая, манящая, которую он не в силах догнать и не в силах умолить стать другой. А то вдруг огненно нежная, пленительная, страстная. А то — гонящая, смеющаяся над ним. Одна или в компании своих друзей...

Очнулся Сергей измученным морально и физически, не имея сил даже подняться. Он нашёл себя в своей комнате, на чистой постели, рядом с которой громоздились аптекарские склянки. Попытался встать, но не достало сил.

— Лежи уж пока, — услышал над собой голос Степана.

Пряшников обогнул кровать, сел верхом на стул, тот самый, на котором некогда сидела она, покачал головой:

— Да, брат, перепугал ты нас!

— Вас?

— Ну да. Меня, Платоныча, Лидию.

— Постой... Что со мной было?

— То, что и должно было быть, — пожал плечами Степан. — Горячка в лучшем самом виде. А я ведь предупреждал! — он наставительно поднял перепачканный красками палец. — Добрую неделю без памяти прометался. Спасибо ещё Лидии: прислала врача и всё необходимое. Сама, между прочим, хлопотала у твоего одра. Каждый день приходит.

— А я?

— Что — ты?

— Говорил при ней что-нибудь? — Сергей почувствовал смущение.

— Ты, брат, много чего говорил. Да кой чёрт — что? Мало ли кто что в бреду несёт...

— Неловко, однако...

— Неловко... — Пряшников усмехнулся. — Вздор! Погоди-ка, сейчас Мавре скажу, чтобы бульон тебе

согрела. Доктор сказал: как опомнишься, так непременно чтоб бульон. Вон ведь на кого похож стал! Чисто кощей! Э-эх...

Он болел долго, терзая себя горькими мыслями, сокрушая воспоминаниями о Ларе. То винил её, бездушную кокетку, играющую чужими чувствами, то проклинал себя... Быть может, будь он другим, так и смог бы её из этого омута вырвать. Ведь живо же в ней ещё то настоящее, что раскрылось в те несколько дней, когда они были вместе. Тогда, именно тогда всё же она настоящей была! Так сыграть невозможно! И будь он сильнее, умнее, смелее, так и настоящее это смог бы удержать, не дал бы ему вновь уйти на дно, уснуть. Но не смог... И чья же вина? Разве её?..

Совсем случайно Сергей узнал, что Лара выходит замуж. За старого богача. Ещё едва держась на ногах, он тайком от Степана оделся и, взяв извозчика, поехал к церкви. Как раз зазвенели радостно колокола, и молодые вышли на улицу. Оборвалось сердце, подпрыгнуло, забилось гулко. Как прекрасна она была в белом, пышном платье! Мужайся, сердце, до конца... Сергей зажмурился, словно ослеплённый. Голова закружилась, растеклась вязкая темнота перед взором. Велел слабо извозчику:

— Домой...

А дома дожидались его Степан и Лидия.

— Никак поздравлять ездил? — сердито бросил Пряшников и мгновенно подскочил, подхватил под руку, помог дойти до кровати. — Нет, ну, посмотрите, а! Куда тебя понесло-то? Лидия Аристарховна, душа моя, да образумьте хоть вы его! Ведь измордует себя!

Степан ушёл на кухню за чаем, а Лидия приблизилась, взяла Сергея за руку:

— Это очень неразумно было с вашей стороны — так уехать. Я уже собиралась ехать следом, но Степан Антоныч сказал, что вы скоро вернётесь.

— Вы знали, где меня искать?

— Знала... — Лидия опустила глаза.

— А он почему решил, что я быстро вернусь?

— Нельзя быть долго там, где больно и горько...

Она говорила что-то ещё. Негромко, вкрадчиво, но при этом твёрдо. И выходило у неё успокаивающе, утешительно. Под её-то неторопливый говор и уснул он, истомлённый поездкой и переживаниями.

Через две недели доктор заявил, что для поправки здоровья пациенту необходима смена обстановки и длительное пребывание на свежем воздухе. Во исполнение этого указания ничего не оставалось, как только уехать в Глинское. Но туда — всего мучительнее было. Как и показаться там? Перед всеми? Учёбу пришлось прервать, а, значит, этот год потерян безвозвратно... Стыдно! И от того ещё тоскливее...

— А вы не говорите им ничего, — надоумила Лидия. — Какая в этом необходимость?

— Так ведь потом всё равно узнают...

— С тем, что будет потом, потом и разберёмся. А пока к чему спешить? Всё образуется, вот увидите!

И опять с такой неколебимой твёрдостью и уверенностью прозвучало это, что и самому поверилось.

На перроне тепло простились со Степаном и Лидией. Подумалось, что всё же грешно роптать на судьбу. Ведь не оставлен он был один, и оказались рядом два друга верных, не бросивших в беде. Когда бы не их забота, пропал бы... Попытался высказать им всё это, от души растроганной. Да Пряшников только руками замахал:

— Ну тебя, ей-Богу! Не люблю этих реверансов! — и сгрёб длинными, мускулистыми руками в охапку, обнял, расцеловал троекратно. — Осенью жду тебя, брат, окрепшим и здоровым!

И Лидия руку подала:

— До скорой встречи, Сергей Игнатьич, — как-то значимо сказала, по-особенному.

— Я вам писать буду... — пообещал Сергей. — Обоим вам...

И, вот, застучал колёсами поезд, набирая скорость, унося в родные пенаты, где, Бог знает, ждал ли кто...

Глава 4. Встреча

Мачеха ещё с вечера уехала в соседнее село — проведать родных. Прихватила и малышей — соскучились по ним дед с бабкой. Аглая с облегчением дух перевела. Хоть денёк-другой тишь да гладь в доме будет. Совсем как прежде.

Отец с утра затеялся с дровами. На палящем солнце, в почерневшей от пота рубахе, колол их, укладывал чурки под навес. И поругивался сквозь зубы, косясь в сторону дома:

— Приехал «барчук»... Ишь, зелье какое выросло! Понабрался от бар дури-то! Хотя чёрт знает и от кого! На барина поглядишь — весь день отдыха не знает, чуть свет подымается. Да и молодой барин тоже никогда ледащим и неженкой не бывал. А этот!.. Тьфу! Антиллегенция... Экую моду взял: до полудня спит, потом весь день в потолок пялится, а то шатается без дела! Где это видано?! Нет бы помочь отцу... Учёный... Знать, науки эти душу-то дюже разлаживают! Грусть-тоска его, видите ли, гложет... Мать пресвятая! В его-то лета! Да я в его лета... Э-э-эх!..

В сущности, прав был отец. Как приехал Серёженька, так и маялся всё время. К полудню подымется, отхлебнёт кваску и ляжет вновь, смотрит перед собой, думает о чём-то. А то ещё полотенчико мокрое на голову положит. Объясняет, что мигрень у него, голова сильно болит. И бледнее обычного становится, страдалец. И словечка не вытянешь из него. Спросишь о чём, отвечает односложно. Да невпопад. И ясно — даже не слышит, о чём спрошено. Обидно! А Аглае страсть как хотелось братца порасспросить про московскую жизнь! Да где уж...

Особливо нервировали Серёжу дети. На целый день, бедный, прочь из дома уходил, пропадал где-то — только бы плача их не слышать. Конечно, непривычный... И ни с кем-то говорить не хотел. Даже в усадьбу, к барыне, только раз ходил. Да к Надёжину ещё. И не улыбался вовсе... Какую-то тяжёлую думу думал. Переживала Аглая. Уж не болен ли братец? Уж не приключилось ли что? Ведь так ясно было, что гнело его что-то, мучило. И от этого неведомого худел он и бледнел. Но не делился им. Таил про себя. Или считал сестру ещё ребёнком? Считал, что не сможет понять? Да уж, чай, поболее его понимала уже. Не в науках витала ведь, а на земле жила...

— Глашка! Нукася, пособи отцу!

Припустилась Аглая. Что? Чем? Дрова помочь носить и укладывать... Это ничего, это нетяжко. Да и что ей тяжко было? По хозяйству всё умела она. Всему выучилась. Вздыхал отец:

— И почему ты у меня девкой родилась? Была б парнем — то-то счастье мне! Э-эх... Дал бы Бог времечка младших поднять — может, хоть они людьми будут. На Серёжку-то надежд никаких! Пропадающая душа! Вот же подарила мать твоя, покойница, наследничка... Прости Господи! Всё одному тащить приходится!

И это правда была. Тащить отцу приходилось многое. Никогда не знала семья, что такое голод и нужда. Отец хозяйствовать умел. Считая всякую копейку, где можно было экономить, но не скаредничая в необходимом. Земли, правда, маловато было, не развернёшься. Зато скотины довольно: лошадок две, три коровы, чушки, куры. А к тому был отец знатный плотник, что давало дополнительный заработок. Женившись вновь, сумел он в последние годы старую избу подновить, расширить, покрыть железом. Меж тем, семья росла, и хозяйство требовало расширения. Так и надрывался отец день за днём, с надеждой глядя на

младших детей — уж их-то он людьми вырастит, приучит к труду.

К полудню на крыльце показалась худощавая фигура брата. Сонный, как всегда в это время дня, раздражённый после скверно проведённой ночи, стоял, прихлёбывая квас. Щурился близорукими глазами на палящее солнце.

— Серёжа, ты завтракать хочешь? Хочешь картошечки с лучком? — спросила Аглая.

— Обождёт, — сухо сказал отец. — Сейчас закончу работать — обедать будем.

Вслух он никогда не высказывал сыну упрёков. То ли жалея, то ли считаясь с его учёностью. А перед соседями так и вовсе — хвастал. Что сын у него не лоботряс какой, а учёный будущий, сама барыня его за способности приветила и в Москву учиться отправила! Он ещё всю семью, всю деревню прославит! А уж коли случилось заложить за воротник — то и совсем раздувался от гордости за сына-учёного, давал волю фантазии...

— Батя, может, помочь? — робко предложил Серёжа.

— Спасибо, сынок, но уж я сам управлюсь, — усмехнулся отец. — Ты отдохнуть приехал — вот, и отдыхай. Погода ноне добрая, сходи в лес прогуляйся. Воздухом подыши. А то вона бледный какой!

— Да... Я пойду, правда... — рассеянно отозвался братец, вздохнул глубоко и, закурив папиросу, вышел за калитку.

Отец сердито сплюнул, ухватил очередное поленце.

— Что же ты помочь ему не дал? — спросила Аглая. — Сам ведь сердился, будто он не хочет.

Отец усмехнулся вновь, отёр пот с загорелого лица:

— Дай блаженному топор — так он или пальцы себе посечёт, или инструмент покалечит. Инструмент жалко, за него деньги уплочены.

В это время у калитки остановился шарабан, в котором, укрывшись от солнца голубым зонтиком, сидела молодая девушка в белой воздушной блузке, коротком жилете, голубой юбке с широким поясом и соломенной шляпке с голубой же лентой.

— Кого это лешак принёс? — нахмурился отец.

Девушка, меж тем, сложила зонтик, сошла, опираясь на него, на землю и направилась к калитке.

— Сюда идёт! По виду барышня... — отец ринулся в дом. — Глашка, встретить!

Аглая оправила подол юбки, поправила волосы и, подойдя, отворила гостье калитку. Девушка была ростом чуть повыше Али, фигура её не отличалась хрупкостью, но была стройна. Смуглое лицо казалось открытым, хотя немного суховатым. Сухость, впрочем, растворяла приятная улыбка и добрый взгляд выразительных тёмных глаз.

— Здравствуйте! — приветливо кивнула барышня. — Здесь ли проживает Сергей Игнатьевич?

— Здесь, — кивнула Аглая, с любопытством разглядывая гостью.

— А вы, должно быть, его сестра? Аля?

— Да...

— А я — Лидия, — барышня протянула Аглае крупную, тёплую ладонь и сама пожала ей руку. — Лидия Кромиади. Мы с вашим братом знакомы по Москве... А дома ли он?

— Да! — Аглая всполошилась. — То есть не совсем! То есть... Он вышел прогуляться... Он придёт скоро! Нет, я сейчас сама за ним сбегаяю! А вы... Вы здесь вот! Вы подождите!

— Да-да, конечно, — кивнула Лидия. — Вы не беспокойтесь...

Аля хорошо знала привычки брата. Знала, где искать его. Конечно, на реке! Там где вётлы сплелись ветвями так, что образовали укромный шалаш,

невидимый стороннему прохожему. В этом убежище Серёжа мог проводить целые часы. Здесь никто не тревожил его, не отвлекал от мыслей.

Пока добежала до реки, запыхалась. Позвала брата ещё издали, и он, раздвинув ветви, вынырнул ей навстречу, взъерошенный, удивлённый:

— Ты что бежишь, заполошная?

— Там барышня к тебе! Лидия! А фамилию забыла... — выпалила Аглая останавливаясь.

Продолговатое лицо брата выразило изумление. Он нервно потеревил недавно отпущенную щётку усов.

— Лидия? Здесь? У нас?..

Аглая кивнула.

— Зачем?..

Нашёл, о чём спросить... Вот уж, в самом деле, блаженный! Откуда Але это знать?

— Идём, сам спросишь.

Она спешила. Хоть и любопытно ей было, зачем приехала барышня к брату, а совсем другое волновало теперь. Её — ждали. Ей пора было бежать. А тут неожиданная помеха не ко времени. И не сбежишь так вдруг. Ах ты Господи! Да ещё же и Серёженька мялся, не шёл домой. Оглядел себя:

— Да ведь я одет худо... Да ведь... — приглаживал лихорадочно непослушные волосы. Затем сбежал к реке — умылся наскоро.

А Аля изнывала. Если так пойдёт, так не дождутся её! А ведь она думала раньше прийти...

— Да хватит же! Она же ждёт! — поторопила брата и, ухватив его за руку, потянула за собой.

Лидия сидела в саду на скамейке и о чём-то беседовала с отцом, успевшим обрядиться в праздничную рубаху, дабы не ударить лицом в грязь перед московской гостьей.

— Глашка, чаю барышне подай! — распорядился и вслед за стремительной Аглаей прошёл в дом.

Ах, как хотелось послушать, о чём это братец будет говорить с барышней! Думалось Але, что между ними могло что-то быть в Москве. Может, поэтому таким хмурым был Серёженька? Поссорились? А теперь помирятся! Как бы славно было!

За чаем Лидия призналась, что не хотела бы сразу уезжать в Москву, проделав такой путь. Отец пожал плечами:

— Мы были бы счастливы оказать вам гостеприимство, Лидия Аристарховна, но не покажется ли вам жизнь у нас слишком стеснительной? Тут, знаете ли, жена, дети... И вообще... А вы — барышня. Наверное, к другому привыкли.

Серёжа умоляюще посмотрел на Аглаю, шепнул ей на ухо:

— Придумай что-нибудь!

Придумать — для чего? Чтобы она уехала или чтоб осталась? Поди пойми! Задал задачку братец... А время-то — ускользает! А у самой-то сердце из груди вылетает — туда! Где ждут...

— А, может, вы остановитесь у бабки Лукерьи? — предложила первое, что пришло на ум. — Она одна живёт, почитайте, вся изба свободна. Вам только рада будет! И вам у неё уютно и спокойно будет! А обедать все вместе будем! Я назавтрева обед праздничный в честь вашего приезда сготовлю!

По благодарному взгляду брата Аглая поняла, что придумала хорошо. Гостья тоже оживилась. Она, оказывается, всегда любила деревню. В детстве жила летом у старой тётки. И, конечно, с радостью остановилась бы у Лукерьи. Не дармоедкой, конечно, ни в коем случае. За комнату она заплатит.

Вот, и славно. Осталось лишь с самой Лукерьей сговориться. Но да тут, уверена была Аглая, опасаться нечего. Приветит гостью старуха. Только рада будет.

Не откладывая, повела Лидию к ней. Шепнула бабке тихонечко, что это, может статься, серёжина невеста, и что очень надо помочь. Лукерья закивала понимающе. Сказала устроить постоялицу в горнице, а прежде рассмотрела её слезящимися глазами, закивала опять:

— Хорошая!

Серёжа смущённо мялся чуть поодаль. Аля подтолкнула его:

— Иди, помоги гостье устроиться.

— А ты?

— А у меня дела ещё сегодня! По хозяйству — кому ж? — солгала, не устыдившись. Да и гостье-то самой к чему нужна была она, Аглая? Чай, не к ней в такую даль ехала. И не с тем, чтобы деревенской жизнью наслаждаться. Серёженька-то, правда, может и искренне не догадывается... Но да Але-то ясно всё, как день. И так понимала она барышню Лидию! Таящую такую же тайну, как сама она... И за эту тайну нежданную гостью уже любила, как родную.

Оставив барышню на попечение брата, Аглая бегом помчалась к белоствольному божелесью. Не было времени даже косы уложить, как следует — повязала их наспех косынкой. А когда бы шляпку, как у барышни! Красивая такая шляпка... Да и платье тоже.

Бежала, спотыкаясь, мимо матерински-нежных берёз, против обыкновения, не касаясь их руками, не здороваясь с ними. А перед глазами уже стоял — *он*. Её тайна.

В тот день, когда он ненароком увидел её, купающуюся, она загадала, что, если завтра он придёт в это место вновь, то это — судьба. Так взволновалась, что не могла уснуть всю ночь, а с первым рассветным проблеском устремилась к омуту. И ещё не доходя, углядела за деревьями сидящего на берегу офицера. Вот он поднялся, прошёл взад-вперёд. Ждал! Неужели — её?..

Он красив был, молодой барин. Высокий и ладный, русоволосый, а лицо — словно вылепленное... Вспомнилось Лукерьино: с такого лица только воду пить. И захолонуло сердце. Для чего пришла? Нельзя было приходить! И хотела бежать обратно, но ноги сами вынесли её на берег. И он увидел её. Обрадовался. Шагнул навстречу.

— Так, стало быть, вы не видение? И не русалка? — пошутил приветливо.

— Стало быть, и вы не лесовик? — сразу нашлась Аглая.

Рассмеялись оба, весело, точно давно знакомы были.

— Это с вашей стороны очень дурно было вчера — подглядывать, — укорила Аля.

— Бог с вами, я и в мыслях не имел! Просто шёл к дому, и вдруг — вы...

— А сегодня?

— Что — сегодня?

— Тоже — не имели в мыслях? Тоже шли к дому и замечтались?

— Шёл, — подтвердил Родион. — Только из дома. Шёл и замечтался.

— О чём же?

— О неземном, по-видимому, создании, которое мне вдруг явилось вчера... Замечтался и загадал, что если сегодня увижу её вновь...

— То — что? — Аля дрогнула.

— То это судьба...

Зашлось сердце, подкосились ноги. Не мог же он мысли её прочесть! Да разве так бывает?.. Присела на траву, стараясь глядеть не на него, а на воду. Молчала. Насвистывали птицы свою радостную мелодию, каждое утро новую, перекликались зычно лягушки, и отчего-то стало легко и спокойно. Точно не было никакой иной жизни вокруг, ничего вообще не было. Только этот омут и они двое возле него.

— Вы даже не сказали мне вашего имени...

Говорил с ней, точно с барышней. На «вы». Никто и никогда так прежде не говорил... И приятно было.

— Аглая, Аля... — откликнулась. — Мы ведь с вами, Родион Николаевич, когда-то в горелки играли, не помните? А братец мой, вашей матушки крестник, в вашем доме подолгу живал.

— Так вы сестра Серёжи? — оживился Родион. — Надо же... Как время быстро летит... Горелки... — он улыбнулся. — Вроде бы так недавно было! Правда, мне больше памятливы игры в индейцев. Луки... Стрелы...

— Кажется, этим играм вы решили посвятить всю жизнь?

— В каком-то смысле. Только луки и стрелы мне заменят снаряды и гаубицы, — он помолчал. — Говорят, скоро начнётся война. Тогда наиграемся вдоволь...

— Неужели война вам кажется забавой?

— Честно? Не кажется. Поэтому вряд ли мне суждено стать генералом!

— Почему?

— Потому что для этого войну нужно любить, войной нужно жить. А я, в сущности, человек мирный. Впрочем, война, должно быть, довольно любопытное занятие, если исключить тот нюанс, что на ней убивают. Причём достаточно бездарно и буднично. Будь моя воля, я предпочёл бы судьбу путешественника!

— Кто же вам мешает?

— Отец.

Аглая улыбнулась:

— Оказывается, и вы подневольный.

— Все мы, наверное, подневольны в разной степени... Хотя, глядя на вас, мне не верится, что вы подневольны. В вас столько лёгкости и свободы... Настоящей, внутренней. Не нарочитой, как у некоторых светских кукол. Вы свободны, как сама природа!

— Природа, Родион Николаевич, зависит от времени года и погоды. Какая же тут свобода?

Так непринуждённо беседовали они в утро своего знакомства. Только глаза его говорили неизмеримо больше, нежели губы. И совсем иное. Глаза говорили о том, о чём и сладко, и страшно было думать. Что будоражило, пугало, томило и... наполняло невместимым счастьем!

Они стал видеться всякий день. Тайком ото всех. Гуляли по лесу, подолгу сидели на берегу омута... Аля понимала, что эти встречи не имеют доброго исхода. Но об этом не хотелось думать. Не хотелось думать, что будет дальше. А только хоть час-другой в день быть в ином мире, сказочном, как прекрасный сон.

Родион ждал её на этот раз долго. Так долго, что стал волноваться, что она не придёт. И услышав её шаги, бросился навстречу, и от радости, что она всё-таки пришла, обнял её, поцеловал горячо в щёку. Впервые поцеловал.

Аглая отпрянула, но приблизилась вновь. Так хорошо и тепло стало от его прикосновения... Потёрлась лбом о его плечо:

— Прости... Я не могла раньше. К нам приехали гости...

— Тогда вдвойне спасибо, что смогла вырваться и пришла, — прошептал Родион ей на ухо, касаясь его губами. — Ты чудо... Неземное создание... — он всё крепче сжимал её в объятьях, лаская, лишая воли, подчиняя себе. И всё же она нашла в себе силы высвободиться:

— Не надо... так... Или вы думаете, Родион Николаевич, что если я сирота и не барышня какая-нибудь, то и так можно?..

— Прости, — Родион виновато погладил её по волосам. — Я забылся, потерял голову... Ни одна

барышня не сравнится с тобой! И ни одна не нужна мне. Мы ведь оба загадали с тобой. На судьбу... А судьбу не обминешь.

— Полно... — Але вдруг стало грустно. Она села, обхватила руками колени. — Твой отец никогда не позволит, чтобы я тебе законной стала. А беспутной сама становиться не хочу... Срама не хочу...

Родион вздрогнул, порывисто схватил её руку, прижал к губам:

— Ты — и беспутная?! Нет! Так не будет. Обещаю тебе. Я люблю тебя, Аля, а не утечи ищу. Мы обвенчаемся, обещаю тебе.

— Твои родители не позволят.

— А хоть бы и так! — вспыхнул Родион.

— Полно... Ведь ты сам назвал себя подневольным.

— Я был таким, пока не знал тебя. А для тебя я через любую волю переступлю! — он говорил жарко, убеждённо, и Аля залюбовалась им. Его горячностью. Блеском любящих глаз. И сама руку его поцеловала:

— Не обещай ничего. Обещания — неволя. Не нужно. А я тебя всегда любить буду. Что бы ни было, душа моя тебе принадлежит. А теперь прости, милый, бежать мне пора. Ждут меня. Хватятся — искать станут!

— Пстой! — Родион вскочил следом за ней. — Завтра и к нам приезжают гости. Я обязан буду быть дома...

— Не сможешь прийти?

— Это близкие друзья отца. И к тому — рождение сестры...

— Да-да, конечно, — закивала Аглая. — Ты должен быть. А у нас тоже гости... Я праздничный обед обещала... Но ничего... Тогда послезавтра? Да? Да?

— Конечно, неземная... Послезавтра... — Родион бережно обнял её за плечи, долго целовал, прежде чем отпустить. Она не противилась, боясь расстаться с ним, жадно ловя краткие мгновения счастья.

А заспешила не домой. Ещё утром обещалась — к Марье Евграфовне. В амбулаторию. Помочь прибраться и разложить накануне привезённые лекарства. А с этой канителью — завертелась, не успела. И совестно было. Марья-то Евграфовна — святая. Праведница. У неё только ноги целовать, край подола. Следочки, что на земле от стоп её остаются. Частенько помогала ей Аля в амбулатории, поднаторела по санитарной части. Это кстати было: малыши болели часто, и сама лечила их. Марья Евграфовна Аглаю хвалила. И, вот, впервые подвела её. И даже боязно идти было. Не потому, что ругаться станет. Святая ведь. Она и за тяжкий проступок худого слова не скажет, простит. А — угадает. Оком прозорливым, каким только праведники наделены, прозрит её тайну...

А всё-таки надо было идти...

Глава 5. Милосердная барышня

С утра шли и шли люди. За помощью врачебной, но и не менее того — душевной. Серьёзных больных, слава Богу, не было. Ангины у деток, нарыв, больной зуб, вывих... Кажется, всё? Да, вот, пожалуй, старичок один на глухоту жалобился, а всего-то и надо было — ухо промыть. Под вечер молодку привели. В поле работала, и, зная, с жары удар солнечный хватил. А ещё частили старухи. У них никакой хвори и не было, а — скучали. Хотелось поговорить. Пожаловаться на тяжкую долю. Это многим хочется, да где ж слушателей благодарных найдёшь? Всякий свою боль поведать норовит, а не чужую слушать. А иному-то вперёд всех лечений именно это и нужно — выговориться. Чтобы выслушали. И поняли. И посочувствовали. Это давно Мария поняла. Ещё в детстве. И поняв, покорно, словно добровольно взятое на себе послушание исполняя, слушала всякого, кто нёс к её порогу свою беду. А несли — многие... К батюшке не так ходили, как к ней. Батюшка был человек добрый, но слишком занятый собственным год от года растущим семейством. А к тому водился за ним грех зелёного змия. Послушать-то он по долгу службы мог, коли на исповеди, а слова, а тона утешительного найти — не умел. Отпустит грехи и спешит, спешит по делам своим...

Тяжко иной раз становилось Марии от всех этих каменье-бед, горей-гор, что на слабые её плечи переваливали. И так хотелось хоть кому-то самой больное выплакать. Вот, являлся на пороге человек, и чудилось: вот, сейчас ему — и распахнуть душу, излиться... А человек, не замечая того, начинал уже своё изливать. И смирялась Мария. Зная, ему тяжелее. Не привык в сердце своём пережигать всё, его не

жалая. А она — привыкла. Да к тому ведь всегда есть, кому излиться... Ночью, у образа Богородицы распостёршись, Ей одной, Заступнице и Милостивице, поверить сокровенное. И легче станет. И утихнет сердце болящее.

В Глинском шла о Марии слава, как о святой жизни подвижнице. С благоговением смотрели ей вслед, земно кланялись. А она страдала от этого. Знали бы они все, какие помыслы за праведностью этой кроются! Знали бы, какое греховное влечение заставило облик этот благочестивый принять. Не к Богу любовь на стезю эту вывела, а — к человеку... И в мыслях своих чаще не с Богом разговаривала она, а с ним. С тем, кого так хотела изгнать из своей души, истязая тело, и кого любила по сей день.

...А знаете ли вы, самый дорогой на свете человек, что встреча с вами перевернула всю мою жизнь? Знаете ли, что и теперь, когда я вижу вас, слышу ваш голос, всё во мне трепещет? Что, закрывая глаза и читая заученно Иисусову молитву, я вижу перед собой ваше лицо, вспоминаю ваш смех, каждое ваше словечко? Что никогда и ни о ком я не молилась так жарко, как о вас? Вы не знаете... И не узнаете никогда. И слава Богу. Знание разрушило бы мир и теплоту меж нас. То единственное земное, чем я, грешная, ещё дорожу. Поэтому я не позволю, чтобы вы узнали...

Десять лет минуло, давно примирилось сердце со всем, а всё так же дрожало, когда ласковый голос его доносился:

— Марочка, что-то вы печальны сегодня?

Да, в отличие от сестры, барыни, Анны Евграфовны, она никогда не была для него Марией Евграфовной. Ни даже Мари, как называли все. Марочкой. Марой. Никто больше не звал так. А так ласково выходило, так тепло... Что слёзы наворачивались.

Когда на сестриных вечерах он садился за рояль, у неё перехватывало дыхание. Ночами она лежала в жару, металась, бредила. Но днём не подавала виду. И лишь с особенным участием стала относиться к вопросам просвещения крестьян. Это, впрочем, никого не удивило. Мария с детских лет отличалась добросердечностью, старалась помогать больным и обездоленным. Вот и теперь стала она помогать... Словно бы — Христа ради. А на деле — для кого ж? Для чего ж? Ему напрямую чем-либо не могла помочь. Это значило бы — себя выдать. Так — вокруг, всем. Чтобы та лепта, что ему дастся, среди других затерялась.

И за такое-то — в праведницы записали... Стыд, стыд...

Он не замечал ничего. Земская школа тогда лишь отстроилась, и у него с Николаем Кирилловичем много идей было, как просвещать окрестное население. Мария старалась участвовать во всех начинаниях, что сближало её с ним. А ещё она любила иногда приходить на его уроки. Подолгу сидеть в углу класса, слушая его приятный, тёплый голос, глядя на оживлённое, вдохновлённое лицо.

...Ах, Алексей Васильевич... Будь я какой-нибудь беспутной, то не удержалась бы. До преступления бы дошла. Но меня воспитали иначе... Прелюбодейцей я не стала... Или же стала всё-таки? В душе — стала! И не раз... И ею, каюсь, остаюсь. А то, что не стала наяву ею, так не моя, а единственно только ваша заслуга. Вы выше меня. Меня, к стыду моему, во святые возвели, а святым-то были вы. Я и взглянуть-то на вас боялась — так... Только снизу вверх взирала робко и тянулась за вами...

Алексей Васильевич был женат. Жена его приехала в Глинское следом за ним. Это была молодая, но очень болезненная женщина, хрупкая, почти прозрачная. Алексей Васильевич очень переживал за её здоровье. А

она — за то, что Бог не давал им детишек. Забрал одного, родившегося мёртвым, а больше не посылал. А Сонечка, несмотря на слабость, мечтала о большой семье.

Это в романах, если у героини возникает большая любовь, то объект её вожделений непременно каким-нибудь образом соединяется с ней, а, если имеет жену, то уж непременно её не любит, потому что она не достойна любви.

В жизни всё бывает иначе. Или же просто не Мария была героиней печального романа, в который оказалась вплетена нить её судьбы. Сонечка была, как никто, достойна самой верной и преданной любви. И именно такой любовью к ней был исполнен её муж, жалеющий её и оберегающий. Других женщин для него не существовало.

Мария нашла в себе силы подружиться с Сонечкой, искренне полюбила эту чистую, светлую душу. Но всякий раз, видя их вместе, отводила глаза... Если бы хоть толика этой любви досталась ей! Если бы была она на месте Сонечки... Не было бы счастливее её на всём свете.

Эта сладкая мука длилась несколько месяцев, пока не грянула война. Весть о ней Мария приняла, как избавление. Вдруг нашёлся выход из того безумия, в котором она пребывала, из которого не имела сил вырваться. Разом стало легко на душе. Сомнений не осталось.

Собрав небольшой саквояж, Мария объявила родным, что намерена отправиться на фронт сестрой милосердия. Сестра, конечно, плакала. Высокий порыв всех восхитил, но не удивил. Патриотизм и милосердие всегда были свойственны Марии, а, значит, порыв её естественен.

Вскоре она была уже далеко от родного дома. В безопасности от соблазна, разъедающего душу.

На фронте, чтобы не осталось времени и сил на мысли, Мария работала практически без отдыха. Вывозила раненых с поля боя, ходила за ними в переполненных лазаретах, ассистировала при операциях...

В каком-то бою было много раненых. А сразу после него, как назло, зарядил проливной дождь. Всё размыло, и приходилось идти, увязая в грязи. В своём «непромокаемом» плаще Мария вымокла до нитки, неподъёмными гирями тяготили усталые ноги огромные мужские сапоги, но она держалась. Наконец, дошли до наполненной до краёв канавы. Переправы никакой... Замялись санитары: как же теперь?

Мария, недолго думая, сошла в воду. Пожилой солдат, лежавший на носилках с разбитой ногой, крикнул хрипло:

— Барышня, куда ж вы?! Простынете! — и на санитаров. — Что ж вы, барышню-то, не бережёте?!

Мария уже посреди грязного потока стояла. Вода оказалась ей по пояс. Махнула рукой санитарам:

— Переносите раненых!

И ничего не оставалось им. Раз уж сама барышня в реку сошла, то на берегу мяться не годится.

— Почто же вы, сестрица, сами-то? Мы бы и без вас...

— Ладно-ладно! Перетаскивайте живее! Ночь скоро — до лазарета добраться не успеем!

Так и переправились...

После этого Мария стала тяжело и надсадно кашлять. Тело изнемогало, а на душе водворился покой. «Томлю томящего мя» — так, кажется, писал фиваидский аскет? Даже на письма домой сил не оставалось. Засыпала на краткие часы, наконец, не видя безумных снов, и снова спешила работать.

Сестёр одну за другой косил тиф. Мария держалась. В огромном бараке она медленно переходила от одра к

одру, искала для всякого страждущего ласковое слово. Почему-то представлялось: а ну как *он* бы был одним из них? Даже в это дело благое прокралось кощунственное. Спаситель завещал обо всяком заботиться, как если бы то был Он. Во всяком страждущем — Его видеть. А она видела того, кто так и владел её сердцем...

Какой-то ночью к лазарету приблизились японцы, объявили срочную эвакуацию. Был страшный переполох. Стрельба, крики, сумеречный дрожащий свет фонарей... Всё перемешалось в голове Марии. На какой-то момент она словно потеряла рассудок. Её нашли идущей по дороге, повторяющей бессмысленно:

— Ради Бога, дайте мне телегу и лошадь... Там в окопах остались раненые...

— За горой давно японцы, сестрица. Куда вы собрались?

— Что мне за дело до японцев... Если нет телеги, я пешком пойду...

Это было тяжёлое нервное истощение, помноженное на сильнейший жар, вызванный двусторонней пневмонией. Врачи опасались развития чахотки, но молодой, сильный организм справился с болезнью.

Поправлять здоровье сестру Кулагину отправили домой. Первые недели она почти не разговаривала, сидела на крыльце в кресле-качалке, положив ноги на подушку, глядя вдаль и перебирая чётки. Часто приходила Сонечка, подолгу сидела рядом, рассказывала что-то, либо читала вслух. Читала по просьбе Марии, большей частью, литературу духовную. Многие — из недавнего, только что изданного. Алексей Васильевич исправно выписывал новые книги из столиц и неизменно привозил их из паломнических поездок. Помнила Мария, что читала ей Сонечка чудные очерки Сергея Нилуса из книги «Сила Божья и немощь

человеческая» и труды батюшки Иоанна Кронштадтского, Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря и сравниваемый многими с творениями батюшки Иоанна дневник архимандрита Иосифа (Петровых) «В объятых отчих», все одиннадцать томов которого издаваемые в Троице-Сергиевой лавре, последние годы заботливо собрал Алексей Васильевич.

Струилось богомудрое слово, читаемое вкрадчивым сонечкиным голосом, в больную душу, живило её, наполняло новым смыслом. Запомнилось из «Объятий...»: «Сколько счастья, утешения и самого тонкого возвышенного наслаждения вызывает радость на лице бедняка от души искреннею и необходимою ему помощью! Какое великое сокровище, может быть, покупаешь на презренный поистине металл, обыкновенно или безразлично скопляемый без всякого употребления, или расточаемый на дела суетные, бесцельные и недостойные. О, богачи! Какого блаженства не цените вы в ваших руках, не умеете извлечь и губите своею безрассудною жизнью!» И ещё: «Не надо слишком преувеличивать то, что может человека делать счастливым. Неудовлетворенность счастьем бывает и по достижении его. Можно быть счастливым, как желалось, и чувствовать самую жгучую тоску по другом, высшем счастье и идеале его. Но это не значит — не иметь вовсе никакого счастья. Я думаю, нам и блаженство райское сразу не даст всего, но с мудрою постепенностью будет всегда выдвигать новые и новые горизонты и пределы пожеланий, но от этого нечего еще впадать в ад неудовлетворенности, тоски и отчаяния. Смотрите на жизнь проще. Она — вообще тоска по высшем счастье. И во всяком положении и состоянии тоска эта заявляет себя по-своему. Позвольте вам поставить диагноз. Вы счастливы, насколько этой сейчас нужно для вас. Вы не видали еще и не имеете понятия о настоящих несчастьях, и обижаете Бога,

жалуясь на свою жизнь... После диагноза дают лекарство. Вот вам и оно: приведите на память все страдание и зло человеческое: обманутых мужей, разведенных жен, идиотов или уродов детей, злых тещ и змей-свекровей и снох; приведите на память жен с пьяницами мужьями, истаскавшимися во развратах и кутежах, наконец, всяких бездомных лохмотников, пропащих людей — не по людскому лишь суду и впечатлению (ибо и под рубищами очень часто скрывается золотая душа и сердце благородное), а действительно пропащих и по суду Божию (если есть и такие?), — и... пролейте Господу слезы благодарности за все!.. А то Он покажет вам, какие люди действительно несчастны — на вас самих».

Попросила Сонечку выписывать в отдельную тетрадь. Та выводила старательно округло-детским почерком. Хоть и муж её учительствовал, а в грамоте не сильна была она. Рано осиротевшая, Сонечка до совершенных лет жила в семействе сельского священника — няней при его многочисленных детках. Худо-бедно выучилась грамоте, пристрастилась к чтению духовных книг. Думала в монастырь идти, Богу служить да встретила Алексея Васильевича... Так уже пятый годочек вместе...

Об Алексее Васильевиче, которого она всегда уважительно величала исключительно так — по имени и отчеству, Сонечка рассказывала много. А Мария слушала с болезненным любопытством, тая повышенное внимание и откладывая в сердце каждую выявляющуюся чётточку любимого образа. И снова заходила душа в тоске: какая же Сонечка счастливая! Хоть бы толику счастья этого узнать...

Алексей Васильевич не раз порывался навестить её, но она отказывала, ссылаясь на то, что не хочет, чтобы кто-то, кроме родных и близкой подруги Сонечки, видел её в больном и разбитом состоянии. На деле же она

просто боялась встречи с ним. Боялась, что ослабленные болезнью нервы не выдержат, и она выдаст себя.

Поправившись, Мария наведалась к нему сама. В школу. После уроков. Рад был видеть... Вскочил стремительно, бросился навстречу, под локоть подхватил, чтобы она не оступилась. Сиял радостью. Согривал теплотой лучистых глаз. Да не согривал... Плавил... Как солнце красное снег...

Вспомнилась почему-то сказка о Снегурочке. Какая же, оказывается, глубокая сказка! Да-да, именно так и должно было быть... Ледяная дева должна была растаять, познав главное... Растаять от самых ласковых и нежных лучей — весенних. Отдать жизнь за право любить. За право испытать это неизмеримое счастье. Вочеловечиться в этом чувстве, которое прежде всего отличает человека от животного, возводит его на недостижимую высоту.

Отчего так высока цена? Вот и Русалочка платила её... Голосом, болью ног... Жизнью... Мудрые, мудрые сказки. Такие пронзительно-грустные. Почему-то читая их в детстве, Мария знала, что именно так и будет с нею. Снегурочка должна растаять. Или же должна отказаться от права вочеловечиться — любить...

Сидя рядом с Алексеем Васильевичем, рассказывая ему о пережитом на войне, Мария поняла, что не сможет оставаться в Глинском. Что это будет выше её сил. Иначе — быть преступлению...

Она долго думала, куда уехать на этот раз. Какое страшное место найти, чтобы там забыть всё. Место вскоре нашлось. Место, о котором она ничего не сказала родным, чтобы их не пугать.

Лепрозорий...

Прокажённых в России помещали в колонии, находившиеся вдали от людей. В Якутии, Приморье и других северных краях. Несчастные оказывались

погребены заживо. Нищенские суммы, выделяемые на их содержание, разворовывались. Ухода не было никакого, лишь изредка наведывались врач и фельдшер. У людей подчас не было даже тёплых вещей, мыла и еды, кроме лепёшек и чая. Мир живых в страхе отторг их. Мир живых мертвецов существовал по своим законам. Вернее без них. Отчаявшиеся люди забывали себя. В колониях процветало пьянство и разврат, от которого рождались дети. Подчас совершенно здоровые... Это был подлинный ад, в сравнении с которым война была детской игрой.

Если врач и фельдшер имели квартиры в городе, то Марию никто не пожелал приютить, узнавая, где она работает. Ей пришлось самой поселиться в колонии. Живой среди полумёртвых. Быт страдальцев повергал в ужас, и необходимо было сделать хоть что-то, чтобы его облегчить. Полетели письма в газеты с призывом о помощи. И сама ездила Мария по области, собирая деньги, вещи и продукты для своих несчастных. Иногда становилось нестерпимо тяжело. От безысходности, царившей в колонии, от её духовного наряда с физическим разложением, от страданий больных, которым она не могла помочь, и жестокости здоровых, не имеющих жалости... Находило уныние, хотелось бежать прочь из этого ада. Но вспоминала, вразумляясь, из иноческого дневника архимандрита Иосифа: «Что унываешь, душа моя! Почто думаешь, что все для тебя кончено? Господь близ тебя, ты в Его попечении. Его рука забросила тебя сюда, для твоего очищения, исправления, обновления, обогащения духовными силами и опытностью. Исполни волю Его. Будь неустанен в трудах, непоколебим в терпении, несокрушим в твердости».

Редкие письма Мария отправляла родным, приезжая в город, где её сторонились, как зачумлённой. Писала коротко, тая страшное. Лишь ему одному, ему и Сонечке

она написала правду, предупредив, чтобы не говорили родным. Ответное письмо было исполнено такого преклонения перед подвигом, что Марии стало стыдно. И всё же она рада была, что открылась им. Теперь меж ними явилось ещё одно общее. Алексей Васильевич озаботился присылкой на остров книг. В том числе, духовных в укрепление страждущих. Тайно изыскивались деньги, тайно закупалось необходимое, тайно отправлялось в далёкий край...

Именно там, в «аду», Мария, наконец, обрела искомый душевный покой. Её более не страшила встреча с Алексеем Васильевичем. Между ними завязалась самая дружеская, тёплая и полная взаимопонимания переписка. И уже к нему прибегала Мария, когда возникали у неё вопросы и сомнения духовные. И он разъяснял, наставлял. Как не всякий священник мог бы. Подумалось тогда: почему он стал учителем, а не священником? Хотя... Что-то сродное есть в этих двух служениях. Воспитание душ человеческих — их суть.

По прошествии нескольких лет истомлённая физически Мария вернулась на большую землю. Бог не попустил ей заразиться смертельной болезнью, но силы её были предельно истощены, и она решила вернуться домой.

Оказалось, что и здесь, в Глинском, работы был непочатый край. Многие переменилось в её отсутствие. Экономический и хозяйственный подъём, начавшийся в России с подавлением революции и её последствий, дошёл и сюда. Богатели крестьяне, строя новые дома, улучшая свой быт. Рост благосостояния умножал жажду просвещения и культуры. Свояк, Николай Кириллович, всемерно старался поддерживать и удовлетворять эту народную тягу. Но не враз же было повернуть всё! Вот и в родном Глинском — школу выстроили, а «к дохтуру» со всяким пусяком приходилось сельчанам за многие

вёрсты ездить. Решил Николаша срочно заводить амбулаторию и выписывать фельдшера. Тут-то и пришлось кстати Мария со своим опытом врачебной деятельности. Конечно, оперировать сама она бы не отважилась, на то в больнице был врач, но первую помощь, но помощь при заболеваниях лёгких всегда могла оказать. Так и вверил ей свояк амбулаторию, и радовалась Мария, что нашлось для неё дело.

Врачам люди не очень-то доверяли. Особливо, если случались эпидемии. Тогда именно врачей винили в беде. Два года назад вспыхнула эпидемия холеры в уезде. Больных помещали в бараки, где многие, увы, умирали. И, вот, к этим-то баракам и полыхнула ненависть в народе. Каким-то утром ринулись толпой жечь их. Мария навстречу выбежала, на колени пала, подняв руки:

— Одумайтесь, люди добрые! Христом Богом прошу!

Мелькнула мысль тогда: растерзают, не вспомнив, скольким из них она помогала... Но нет. Утихли мужики, разошлись.

А из уездного начальства в бараки никто носа не казал, боясь заразы. Только свояк, желая примером своим успокоить народ, приезжал. Обходил вместе с Марией больных. Одаривал выздоравливающих, ободрял. А в результате слёг сам. Слава Богу, выходила его Анята...

Как-то ещё Алексей Васильевич порывался приехать. Но Мария запретила. В тот год у него родился долгожданный сын, и Сонечка ещё слаба была после родов. Только такого риска и не доставало!

А сама, как под бомбёжками в лазарете, как на острове прокажённых, день за днём ходила за страждущими, привыкая к смраду и боли... И на сей раз пощадила судьба. Смерть Марию не брала. И не приближалась, держась на почтительном расстоянии.

Значит, зачем-то нужно было жить и нести на плечи взваленное.

Она успела забыть, что когда-то прекрасно танцевала, и не имела ни одного свободного танца на балах. Что любила красивые наряды. Что три года жила с мамой в Италии... На острове прокажённых однажды вспомнился Рим. Как сон невозможный. Неужто наяву было? Неужто, в самом деле, где-то есть это не знающее тоски, сияющее небо, и вечный город под ним? Может, всё это так, химера и наваждение...

В сущности, что есть Рим? Париж? Суэта, до времени тешащая взор и душу, а в итоге истомляющая её и оставляющая пустотой. Декорации никогда не дадут полноты. Полнота рождается изнутри. Полноту, не надрывно-страдальческую, военную, лепрозорную, а счастливо-возвышенную, светло-безмятежную она узнала год тому назад, когда Алексей Васильевич взял её с собой на Валдай. Хотела и Сонечка ехать, но Мишенька прихварывал, и она не решилась. Сомневался и Алексей Васильевич, но Сонечка настояла: надо ехать. И сам собирался давно, и Марочке — святыньке поклониться. Как раз Иверская к празднику Своему в обитель родную должна вернуться, посетив за лето иные города и веси.

Валдай! Никогда не видела Мария такой красоты. Как горный град Иерусалим на иконах предстал взору в закатных отблесках Иверский монастырь, словно поднявшийся из волн подобно граду Китежу. Сменяло тона небо, сменяло их следом пламенеющее озеро, а между ними нимбами светились купола, и на много вёрст струился колокольный звон. Захватило дух, навернулись слёзы. Слово бы на порог небесного Царствия ступила, заглянула за него...

На Валдае в то время уже год жил писатель Сергей Нилус, всегда почитавшийся в семье Надёжиных, имевшей с ним знакомство. Именно к нему отправился

Алексей Васильевич по приезде, разумеется, взяв с собою и Марию.

Дом, в котором жил Нилус с женой, прежде занимал писатель-историк Всеволод Соловьев, написавший здесь свои известные романы. Он был расположен в живописном уголке: в диковатом парке, спускавшемся по косогору к самому озеру, на которое открывалась калитка сада. У самой калитки располагалась небольшая пристань, от которой женщины-лодочницы перевозили богомольцев на остров, где в окружении высоченных сосен возвышался белокаменный Иверский монастырь. Дивный вид на сияющее в солнечных лучах озеро и поднимающийся из его вод монастырь открывался с балкона дома.

Сам хозяин произвёл на Марию сильное впечатление. Это был уже пожилой, но сохранивший память былой красоты, статный человек с окладистой, белой бородой и выразительными карими глазами. Несмотря на крестьянское одеяние, он всей колоритной фигурой своей походил на древнерусского боярина. Притом оказался Сергей Александрович человеком необычайно радушным и открытым. Была в нём какая-то немного детская, чистая восторженность, удивительно сочетавшаяся в нём с глубочайшим умом и даже прозорливостью.

Не менее мужа радушна и приветлива к гостям была и Елена Александровна, буквально излучавшая теплоту и участие. Эти два человека, Богом даденные друг другу, создали в своём доме удивительную атмосферу добра, искренности, живой любви к каждому. В этих стенах царил подлинно евангельский дух, от которого хорошо и уютно делалось на душе, и необычайно легко было разговаривать с ласковыми без натянутости хозяевами, словно не только что познакомились, а знали друг друга много-много лет.

В доме Нилусов было множество икон. Половина спальни их была обращена в молельную. Здесь был дивной лик Христа в терновом венце работы неизвестного итальянского мастера, от которого получил исцеление калека-ребенок. А также большой образ-портрет Преподобного Серафима, написанный Дивеевскими монахинями. В старомодном кабинете Сергея Александровича, отгороженном от двери китайскими ширмами, висел огромный образ Божией Матери Одигитрии. Здесь же развешены были и собственные работы хозяина и его жены: портреты и этюды, изобиловавшие светом, дышавшие жизнью...

Нилус рассказывал Алексею Васильевичу об обнаруженном им на Валдае дневнике выдающегося схимника-затворника, подобно знаменитому старцу Илиодору Глинскому, предсказавшего грядущую судьбу России, близкую погибель её...

Тяжелы были пророчества, но рассеяло навеянную ими печаль явление Иверской. Встречали её в самом монастыре, добравшись туда на лодке. Крестный ход встречал Владычицу на берегу. Уже стемнело, когда на фоне чернеющего водного пространства показались цветные огоньки, — фонарики, которыми была украшена лодка с иконой. Когда она причалила, крестный ход с пением понёс её в зимний храм, дорогой пронося над коленопреклонёнными богомольцами. Здесь, в полумраке, озарённом пламенем свечей, среди сотен верующих, выводящих псалмы, за высокими древними стенами, под покровом Богородицы казалось, что никакая беда не страшна Святой Руси...

Затянули, навеяв светлый сон, счастливые воспоминания, и не сразу расслышала Мария лёгкие, быстрые шаги, раздавшиеся на крыльце. Но, вот, приоткрылась дверь, и в амбулаторию вошла Аля, иногда помогавшая Марии во время приёмов. Ей

навилась эта живая и умелая девочка. Старалась научить её азам медицинским, чтобы в случае нужды сама могла бы в этой амбулатории работать. Девочка схватывала налету. Хоть и не обладала она выдающимися способностями своего брата, но зато обладала усидчивостью, волей и памятью. Правда, последние дни что-то случилось с ней. Необычно рассеянна она была, невнимательна. И, вот, впервые не явилась в обещанное время... Стояла в дверях, виноватая. Косы размётанные по плечам до самых колен висят, глаза-вишни под ресницами длинными прячутся, а притом светятся тайной думой. А ведь — похорошела она? Всё вроде тоже, а неуловимая прелесть явилась. Лучик какой-то. Что же, не так уж плохо знает Мария человеческую природу, чтобы лучик этот не узнать. Кто бы мог подумать! Вчера ещё девочка была... Сама ей иногда косы заплетала, любясь богатыми, пшенично-огнистого цвета волосами. Выросла девочка... Дай Бог, чтобы её история не была похожа на Снегурочку. Впрочем, вряд ли. Это она, Мария, боялась любить, боялась слишком сильного чувства, а Але страх неведом.

— Ты припозднилась сегодня. Что-то случилось?

— К Серёже гостя приехала из Москвы. Дочь его профессора. Я должна была помочь...

А глаза прятала. Лгать ещё не научилась. Ничего, научится. Когда душа живёт одной, главной страстью, то всеми премудростями, помогающими оной, овладеваешь быстро...

— Помоги мне, пожалуйста, расставить склянки. Нет, лучше просто расставь сама. Я что-то устала сегодня, спина болит.

Спина и впрямь разболелась не на шутку. Напоминала о себе после той ледяной переправы в пятом году... Иной раз щемило так, что и вздохнуть нельзя — пронзительная боль через всё тело.

Мария полулегла на диванчик, следя, правильно ли Аля расставляет склянки. Любопытно, кто же герой наших грёз? Уж ясно, что не Антипа-кузнеца сын. Он-то за нею второй год, как привязанный, ходит. Кто бы мог быть? Добро бы кто из своих, а то не вышло бы худо.

Внезапно мелькнула догадка. Вспомнилось, как накануне обедали в усадьбе. Родя всё спешил куда-то. Путано объяснял, по какому-такому неотложному делу должен уйти. Друг его, Никита, хотел было с ним отправиться, но и его не взял. Мол, хочет прогуляться один. А глаза-то прятал. Точь-в-точь, как Аля теперь, хоть и подпоручик. А в глазах этих — светилось что-то...

Да, нетрудно два и два сложить... Вот ещё печали не было! Если только угадала, а не головой неразумной выдумала, то беда. Николай никогда такого мезальянса не допустит. А сам Родя? Всерьёз у него или решил порезвиться в отпуске? Нет, знала Мария племянника. Не такой он человек, чтобы сердцем невинной девушки играть для своей забавы. Стало быть, всерьёз? А про неё и не спрашивать можно. Сияет вся. Скляночки ставит, а перед глазами его видит. Бедные, бедные дети...

Закончила Аля работу, подошла:

— Что-нибудь ещё, Марья Евграфовна?

— Нет, ничего, — покачала головой Мария. — Садись-ка рядом. Приберу твои кудри, как прежде бывало. Вон, как разметались они — не годится!

Аля послушно присела на угол дивана, распустила густые локоны. Пахли они лесной свежестью, и запутались в их богатстве пара мелких веточек.

— Ты как лесная царевна, Аля.

— Я нынче в рощу ходила. В божелесье. Хорошо там... Как в церкви...

Стало быть, божелесье. Роща, примыкающая к разрушенной стене, которую Родя ещё мальчиком предпочитал воротам. Всё сходится... Жаль детей.

Обоих жаль. А не упредить, не помочь. Коли уж пошёл пал по сухой траве, жди пожара.

Попросила Алю растереть спину лечебной мазью, а с тем отпустила домой. Справилась ещё подробнее, какая-то гостя к Серёже приехала. А о главном не спросила... В чужую душу что в воду — не зная брода, лучше не соваться. Захочет — сама расскажет всё. К тому же советы в таком деле давать всё равно бессмысленно. Тут сердце решает. Не рассудок. И уж паче того не чужой рассудок...

Солнце медленно клонилось к заходу, когда Мария заперла за собой дверь амбулатории и неспешно пошла по просёлочной дороге, вдыхая свежий к вечеру воздух. Непокойно было на душе, и хотелось поделиться с кем-то. Да с кем же ещё, как не с ним? О своём, главном, нельзя ни с кем. О прочем — завсегда с ним можно.

Инстинктивно угадала Мария, что Надёжин не дома, а в избе-читальне. Читает свежие газеты и журналы, с запозданием доходившие до Глинского. Там и нашла его. Со стаканом остывшего чая в жестяном подстаканнике и газетой.

— А, Марочка! Плохо дело, — ткнул пальцем в газету. — Пишут, что война неизбежна. Не дадут России двадцати лет покоя, о которых покойный премьер мечтал. А ведь только-только начало всё устаканиваться! А война... Мы уже видели, к чему привела она в пятом... — Алексей Васильевич хрустнул пальцами. — Неужели этих пустоголовых там ничего не учит? С семидесятых годов прошлого столетия, если не раньше, вся эта бесовская стая ждёт войны, зная, что она принесёт им власть. Ждёт, не таясь. Заявляя прямо. А дураки в высоких ведомствах словно не слышат того! Грезят о маленькой победоносной, хотя подлинно победоносных мы уже целый век не знавали. В пятом году Бог ещё потерпел грехам и глупости, ещё подал

горемычным последний шанс... И вот его-то теперь готовы отместить! Сорвать печать последнюю... А вокруг все словно бы и не замечают, у края какой бездны мы стоим.

Надёжин отбросил газету, глубоко вздохнул.

— Простите, Марочка... Вы, должно быть, устали? Много ли было больных?

— Больных — нет. А всё больше скучающих, — Мария присела на лавку. — Знаете, Родя, кажется, влюблён.

— В самом деле? А отчего вы так печально говорите об этом? Или его чувство не взаимно?

— Взаимно. Увы.

— Увы?

— Это Аглая. Игната-плотника дочка.

— Ах, вот оно что... — протянул Алексей Васильевич. — Что ж... Вы знаете, Марочка, я человек консервативный, но, ей-Богу, эти сословные строгости — по-моему, чистой воды атавизм.

— Хорошо, что вас не слышит Николай. Он не допустит неравного брака.

— Не допустит? — Надёжин чуть усмехнулся. — Милая Марочка, даже в стародавние времена любящие сердца изыскивали возможность соединиться. Маленькая церковка, попик... А потом — перед родителями на коленки.

— Вас ли я слышу? — улыбнулась Мария. — А как же почитание отца и матери?

— Грешен! — развёл руками Алексей Васильевич. — Но не велик этот грех, если только настоящее чувство на него толкнуло. Дальнейшая честная супружеская жизнь его изгладит. И к тому же не хочу быть лицемером. Если бы мой покойный батюшка запрещал мне жениться на Сонечке, я бы взял грех на душу. Потом бы, конечно, мы с нею покаялись, поговели... Нет, надо быть честными перед самими собой. И не

осуждать ближних за то, в чём могли бы провиниться сами. Хотя бы за это не осуждать. Я вам откровенно скажу, Марочка, что, более того, если бы эти дети пришли ко мне и попросили моей помощи, то я бы им не отказал.

— Всё с вами ясно, вы скрытый либерал, — пошутила Мария.

— В наш проклятый век во всё мешается политика! Ну, а вы?

— Что?

— Вы, смиренная и богомольная милосердная сестра, как бы поступили, приди они к вам?

Мария опустила глаза. И ответила, не раздумывая:

— Помогла бы...

Как бы иначе... Зная, какая это боль не иметь возможности соединиться с тем, кого любишь, не помочь страждущим так же? Может быть, ко греху большему подтолкнуть их?

— Помогла бы... — повторила тихо. — Христианство — не набор мёртвых правил... А жизнь... А жизнь нельзя измерить шкалой догматов... Такой шкалой, если использовать бессмысленно, убить можно...

— Вот, — кивнул Надёжин. — Христианство — не закон буквы, а закон любви. А все самые большие трагедии на земле происходят именно оттого, что живая любовь в сердцах иссякает, её закон забывается и перестаёт действовать, и остаётся только палка. Жезл железный... Скоро все мы ощутим его прикосновение, Марочка.

Алексей Васильевич был погружён в свои думы, и маленькое горе двух любящих сердец, видимо, оставалось для него в тени надвигающейся мировой трагедии, которую чувствовал он с болезненной остротой.

И всё же Мария dokonчила:

— Завтра в усадьбу приезжают Клеменсы. Дмитрий Владимирович и Ксения.

— И что же?

— Николай считает, что Родя должен жениться на Ксении. Это их, отцов, давняя мечта — породниться. Для того-то этот званый обед и даётся, чтобы их свести. А Ксения — ангел... И её мне жалко тоже.

— Глупость какая-то, — поморщился Надёжин. — Отцы решили... Свести... А не кажется ли отцам, что молодые люди способны сами разобраться в собственных сердечных делах?

Мария пожала плечами.

— Ладно, Марочка, не переживайте. Уладится. Смотрины ещё не помолвка. Мы с Сонечкой, кстати, тоже приглашены на обед. Сонечка, правда, вряд ли сможет прийти... В её положении, сами понимаете... Да и за детьми пригляд нужен. Девочку-помощницу мы взяли, но материнский глаз надёжнее. Так что буду я один. И буду, вероятно, скучать.

— В таком случае, предлагаю скучать вместе, — ответно пошутила Мария. — Так веселее.

— С удовольствием принимаю ваше предложение! А сейчас не откажитесь ли заглянуть к нам? На вечерний чай? Сонечка будет вам так рада! И малыши... Вы же знаете, они всегда радуются крёстной.

Как мечтала она быть матерью его детей... И стала. Крёстной. И обоих их, и Мишутку, и Машеньку, в честь неё названную, и ещё не рождённого малыша, полюбила, как родных детей. Ведь это же были *его* дети. А потому не упускала случая побыть с ними, позаниматься, повозиться, помочь Сонечке. И так вошла в семью, стала самым близким человеком, родной... И отошли, истребились сжигавшие сердце страсти. А осталась радость. За него. За его детей. И ещё радость оттого, что ему нужна оказалась, и близка. Чем, в сущности, не счастье? Быть рядом с ним... Заботиться о

нём, о дорогих ему людях... Делить с ним печали и радости... Читать благодарность и теплоту в любимых глазах... Тихое, ото всех таимое счастье. И всё-таки счастье, за которое — слава Всевышнему.

Так думала Мария, сидя у пузатого самовара, весело играя с крестниками, пытавшимися вскарабкаться на неё, отнять её чётки. Переговариваясь с Сонечкой, отважившейся, несмотря на остережения врачей, на уже немолодые свои лета, рожать в третий раз. Слишком долго мечту о семье лелеяла, и теперь ничего не боялась. Уверена была, что сынок родиться. А сама бледненькая была, слабая. Пошатнулось некрепкое здоровье её. И знала Мария, что глубоко переживает за неё Алексей Васильевич. И боится. Но при ней не показывает виду, бодрится, изображает весёлость. А с Марией, отдушиной, делился самым больным:

— А что если не выдержит она? А что если с ней что? Как я без неё останусь? И дети?..

— Она выдержит, — успокаивала Мария. — Она слишком любит вас всех, чтобы оставить. И я помогу, чтобы Сонечка могла отдохнуть. Ближе ко времени к вам переберусь. И за ней ходить буду, и за детьми. И всё будет хорошо.

Это как будто успокаивало его, но Мария знала, что только видимо. И сама боль его перенимала. Его тревогами жила. Так и сроднились душами. А родство такое не дороже ли, чем незаконные утехи, опустошающие и разрушающие близость подлинную?

В этот вечер Сонечка была на редкость весела и бодра. И от этого сразу посветлел Алексей Васильевич. И Марии на душе покойнее стало. Чудно просидели вечер вместе, вспоминая что-то весёлое. А под конец усталая Сонечка попросила мужа почитать ей что-нибудь. И он читал. Мягким, поставленным голосом. «На берегу Божьей реки» Нилуса... Сонечка скоро уснула, и

Алексей Васильевич уже потемну проводил Марию до усадьбы.

— До завтрашнего скучания, Марочка?

— Доброй ночи, Алексей Васильевич.

Мягкая улыбка, мягкое рукопожатие, и дорогой силуэт, растворяющийся в ночной мгле. А завтра — совместное скучание на званом обеде... Пожалуй, это всё-таки счастье. Такое кроткое и тихое. Когда бы подольше задержалось оно...

Глава 6. Званный обед

Аскольдовы нечасто устраивали званые обеды. Уездному предводителю и отцу двух дочерей пристало бы чаще. Но Николай Кириллович презрительно относился к подобного рода развлечениям, считая их пустой и бестолковой тратой драгоценного времени. Однако в честь приезда сына решено было отступить от правил. Кроме ближайшего друга Дмитрия Владимировича Клеменса с дочерью, из-за которых во многом и затевалось празднество, приглашены были и другие соседи. С утра в распахнутые ворота усадьбы потянулись экипажи. На крыльце гостей встречал сам Аскольдов в старомодном сюртуке, который он категорически не желал обновлять. Такова была ещё одна причуда этого незаурядного человека. Он не был скуп, но в отношении себя придерживался крайнего, подчас чрезмерного аскетизма. Подобно императору Николаю Первому, он спал у себя в кабинете на узком диванчике, укрывшись жёстким одеялом из плохонькой шерсти. Пользовался лишь самыми простыми и дешёвыми вещами — никаких золотых перьев, часов с бриллиантами и прочей «чепухи», выходящей за пределы жизненно необходимого. Аскольдов крайне бережно относился к одежде, служившей ему многие годы. Векания моды в расчёт не принимались. Для официальных мероприятий у Николая Кирилловича был парадный мундир, всё прочее почиталось им ненужной роскошью. Всем видом своим этот прогрессивный хозяин, приветствующий новшества в работе, одобряющий разумные реформы, походил на осколок времён Государя Александра-Освободителя. Заметная то была фигура: пышные усы, переходящие в густые бакенбарды, седыми кистями свисающие со скул,

накрахмаленный до поранения кожи ворот белоснежной сорочки, горбоносый профиль с тонкими губами и цепким взглядом глубоко посаженных глаз, красивой формы крупный череп, гладкий и лишь сзади полукружьем обрамлённый седыми волосами. А ко всему этому безупречная военная осанка, молодцеватая подтянутость. При этом ходил Аскольдов с заметным трудом, тяжело оседая на массивную чёрного дерева трость.

Рядом с суровым мужем расточала свет и ласку Анна Евграфовна, отчего-то ассоциировавшаяся у Надёжина с цветком белой лилии, чистой, прекрасной, благоухающей. С образом Мадонны. Нет, не Богородицы, не иконы, а именно Мадонны, какой пишут её западные мастера. Светлой, но земной, женственной. В противоположность сестре, после подвигов своих до прозрачности высушенной и приблизившейся к иконописному образу, к облику Христовой невесты, какой написал её на своём знаменитом полотне г-н Нестеров...

Суетились вокруг девочки: Ольга и Варвара. Строгая, сдержанная, таившая всё про себя молчаливая Ольга, холодом отпугивающая всех женихов и словно готовящаяся повторить судьбу тётки. И Варвара — тринадцатилетний, необычайно живой и весёлый ребёнок, всеобщая любимица. Это очаровательное создание невозможно было не полюбить. Разлетались светлые искорки от неё и, попадая в души окружающих, освещали и согревали их. Вот, теперь развлекалась она тем, что заставляла приехавшего с братом молодого подпоручика играть с нею. Сдёрнула с головы его фуражку, надела на свою хорошенькую головку, припустилась бежать — а он за нею. Нет, не сердясь ничуть, а уже попав под обаяние детской непосредственности, уже забывая о собственной взрослости и чине, увлекаясь игрой, веселясь искренне.

Посмеивался Родион, наблюдая за их забавой, грозил сестре пальцем, а притом видно было — маялся. Знал ли уже об отцовских планах на свою будущность?

Эта будущность прибыла ровно в полдень. Милая барышня в розовато-кремовом платье с рюшами. Милая... Хотя восемнадцать лет очень редкая барышня кажется дурнушкой. Ксения Дмитриевна была, впрочем, куда лучше «милой». Её можно было признать красивой. Даже очень недобрый глаз не отыскал бы в её безукоризненно правильном лице изъяну. Но изъян всё же был. И заключался он именно в этой правильности, лишённой загадки, искринки, манкости. Идеальная правильность и только. Иная не-красавица куда прекрасней кажется, потому что имеет озарённость внутреннюю, обаяние имеет. А обаяние — это не вторая красота. Это куда большее. А его-то и не досталось Ксении. И держалась она стеснённо, боясь отпустить локоть отца...

Алексей Васильевич с любопытством наблюдал за гостями, пробовал на язык рифмующиеся строчки вертящегося в голове стихотворения. Так ли лучше или наоборот? Стихов своих он не показывал даже Сонюшке, писал для себя, таил ото всех тоненькую тетрадь. И мечтал написать большее. Повесть. На евангельский сюжет о Марфе и Марии. И образы его также то и дело являлись перед глазами.

— Скучаете? — Мария подошла неслышно. Ради праздника сменила своё полумонашеское одеяние на скромное тёмно-синее платье с белым воротничком и манжетами. Уложила волосы косами на затылке. Было в ней теперь что-то от девочки-институтки.

— Заждался вас, — Надёжин улыбнулся, чуть пожимая её руку. — А ваши гости, по-моему, уже заждались обеда. Молодёжь, правда, веселится, а старикам явно недостаточно рюмки ликёра или коньяку для аппетита.

— Когда мы с матушкой жили в Риме, в моде были рауты. Никаких застолий вообще! Напитки, закуски подаёт лакей. Танцев тоже никаких. Люди ходят по залу и разговаривают...

— Должно быть, страшно уныло.

— Не то слово. Матушка говорила, что посещать их — обязанность светского человека.

— В таком случае, слава Богу, что я не светский человек.

Последним прибыл двоюродный брат Анны Евграфовны и Марочки Юрий, бравый гусар Сумского полка. Надёжин Юрия недолюбливал. Своим образом жизни он всецело оправдывал ту сомнительную славу, какой пользовались гусары у благовоспитанных семейств. Самой большой страстью капитана Кулагина были лошади, которых он разводил в Глинском с милостивого разрешения Аскольдова. О лошадях он мог говорить часами и был с ними нежен, как с женщинами... Женщины также играли в жизни Юрия большую роль. Этот щедрый и весёлый красавец, прекрасно поющий под гитару жгучие романсы, легко завоёвывал женские сердца. Его репутация повесы была известна не только в уезде, но и в столице. При этом был Кулагин не зол и, в сущности, неплохой малый, а только «без царя в голове», без стержня твёрдого. Без характера. Жила в нём какая-то детскость. Но не та, наивная, чистая, а детскость балованного, капризного ребёнка, не ведающего, что шалость может быть наказана. Юрий жил весело, размашисто. Кроме лошадей и женщин в круг постоянных его занятий входили карты и вино. Кутежи, цыгане, дуэли — таков был досуг этого человека. В то же время был он обидчив и раним. Кузины не умели сердиться на него, прощая ему всё за весёлый и беззаботный нрав. Правда, мечтали, что найдётся, наконец, женщина, которая образумит его, возьмёт в

свои руки. Но хотя капитану перевалило за тридцать, такой отчаянной он ещё не встретил.

Появлению Юрия, как всегда, сопутствовал шум.

— Белянка-то наша — ишь! Купца Томилова Бурана вчистую обошла! Представь, брат, два круга — морда к морде! А тот, шельмец, рвётся вперёд! Ноздри раздул, весь в пене, глаза кровавые! А то как же ему? Обидно, поди, победу отдать! Да ещё и бабе! Тысяча извинений, ме дамс! На последнем круге, кажись, Белянка-то запалилась совсем, обошёл её этот дьявол! Томилов уже и ящик шампанского получить сготовился, а на последних минутах умница-то наша — как рванёт! И обошла Бурана! Вот ведь кобыла! Во всей губернии второй такой нет!

— Ваш брат в своём репертуаре, — заметил Надёжин, следя за быстрыми передвижениями среди гостей яркого ментика и вспоминая помещика Ноздрёва. С кем говорил этот гуляка теперь? То ли к деверю обращался, то ли к той полной матроне... А вернее, ко всем разом, со всеми жаждая разделить бушующую в нём радость.

— Ребёнок... — покачала головой Марочка. — Он, наверное, никогда не повзрослеет...

Обед был подан прямо в саду, где под сводами яблонь и вишен лакеи ещё с утра накрывали длинный стол с разнообразными угощениями. Едва успели утолить первый голод, как начались разговоры. И не о делах уездных, не об урожаях, а о главном, о том, что носилось в воздухе всё последнее время — о войне. Молодёжь, как водится, горячилась. Каждый желал показать себя героем уже теперь, за этим столом, не дожидаясь боя.

— Война — это прекрасно! Война освежает силы, молодит нацию, живя её отворением крови! — витийствовал какой-то юнец. — Как гроза оживляет землю, так война оживляет нацию! Заставляет

пробудиться все инстинкты, дремлющие в мирное время!

— Например, инстинкт убивать, разрушать, грабить? — неприятно усмехнулся Замётов, невзрачный инженер лет тридцати, снимавший в это лето флигель в усадьбе Аскольдовых. Злые языки утверждали, будто бы он — незаконный сын Константина Кирилловича, которому Николай Кириллович считает своим долгом оказывать определённую помощь.

— Инстинкт защищать свою землю! Сражаться за правое дело!

— Да вы поэт, кажется? — в тоне Замётова звякнула издёвка. — Что ж, отправляйтесь в таком случае на войну. Думаю, она вас быстро освежит. Особенно отворением крови путём попадания в собственный живот неприятельского штыка.

— Отправлюсь, не сомневайтесь! А вы, должно быть, рассчитываете занять белый билет?

— Мне он не нужен. Мне полагается бронь.

— Вы трус!

— Попрошу воздержаться от столь резких выражений, господин поэт. Я хоть и не дворянин, но понятия о чести имею.

Молодой романтик явно стушевался от неожиданной отповеди желчного инженера. Между тем, тот закашлялся и, поднеся к губам платок, отошёл от стола. Надёжин успел заметить его тоскливо-озлётанный взгляд. За столом шушукались, порицая столь непатриотичный подход к войне, а Николай Кириллович, потерев бок, сказал негромко, но отчётливо, перекрыв гомон прочих голосов:

— Всякому русскому сердцу сегодня надлежало бы не тешиться грёзами будущих побед, а слёзно молиться, чтобы не по нашим винам, а только лишь по своему неизмеримому милосердию Господь отклонил от нас эту чашу, не попустил России вступить в войну.

— Помилуйте, Николай Кириллович, вас ли я слышу? — удивился Клеменс. — Россия теперь не та, что в пятом! Мы находимся на невиданном подъёме! Народный дух... вооружение... Давно пора, ей-Богу, поставить на место зарвавшегося Вильгельма. Всех этих пруссаков, окончательному разгрому которых помешала в своё время глупость третьего Петра. Надо закончить начатое, и Россия сможет вздохнуть спокойно! Это, я полагаю, наш исторический долг. Счёт, который требуется закрыть. Вы не согласны?

— Нет, не согласен. Внешней политикой Европы стали управлять шулеры. А политика эта стала походить на игорный дом, где можно выиграть много, но скорее проиграть всё. Те, кто ввяжутся в эту гибельную, затягивающую, как омут, игру потеряют всё. А в выигрыше останутся те, кто будет стоять в стороне и говорить: «Делайте ваши ставки! Ставки сделаны! Ставок больше нет!» Я не хочу, чтобы Россию постигла участь проигравшегося до исподнего профана.

— Прости, но ты недооцениваешь фортуны, а главное боевую силу нашей армии! И патриотизм народа! — воскликнул Юрий. — Неужели ты, Николя, думаешь, что наши чудо-богатыри уступят этим заносчивым бюргерам, которых ещё Александр Невский перетопил, как слепых котят?

— Современная война, Юра, решается не солдатами. И даже не генералами. Мы, как ты помнишь, выиграли глупую балканскую кампанию, стоившую нам стольких жизней. И что же? На берлинском конгрессе нам утёрли нос так, как если бы мы проиграли. От крымского поражения больше было славы, чем от этой победы. Неужели ты думаешь, что что-то переменялось?

— Как ты можешь называть глупой балканскую кампанию? — возмутился Кулагин. — Кампанию, в которой просиял гений Скобелева?! В которой весь наш народ в высоком порыве стал на защиту своих братьев?!

— Я назвал её так потому, что считаю глупыми все построения вне дома в то время, когда внутри нет порядка.

— Ну, теперь-то порядок есть! — заметил один из гостей.

— Теперешний порядок держится миром, — ответил Аскольдов. — *Миром!* Сотряси его, и рассыплется всё, потому что не затвердели стены, выстроенные убитым зодчим, не дали им времени на то. Достроить-то времени не дали... Неужели вы полагаете, что мужики будут рады, если их снова погонят серой скотиной в неведомые края устилать своими телами неведомые земли за неведомые же им интересы? Война разорит народ, неужели это не ясно?

— По-вашему, пусть себе кайзер вытворяет, что хочет? И даже — над сербами? Так? — осведомился Клеменс.

— Да, так, — ответил Николай Кириллович.

— Честь русского не может допускать подобной низости! — воскликнул Юрий.

— Это всё высокие слова. Для русского правительства не должно быть ничего более ценного, нежели жизнь русского. И жертвовать этими жизнями допустимо лишь в тех крайних случаях, когда речь идёт о жизни государства российского. А наше правительство расточает русскую кровь так, точно это вода, созданная для тушения европейских пожаров. Довольно-с! Пускай попробуют без нас!

— Кайзер всё равно не остановится и пойдёт войной на Россию!

— Это будет великая беда для нас.

— Неужели ты так боишься немцев? — присвистнул Юрий. — Помилуй Бог! Бонапарта выпроводили! А уж Вилли-то сухорукого!

— Шапками закидываете?

— Зачем шапками? У нас и шашки найдутся! И снарядики! Верно, артиллерия? — Кулагин лукаво подмигнул племяннику. — Надерём этим супостатом что положено, не сомневайся!

— Смотри, как бы вам самим чего не надрали. Шашки и пушки и у кайзера имеются.

— У кайзера нет главного! Русского народа нет! А народ наш — это, брат, такая силища, что пушки и шашки перед ней — тьфу! Игрушки! А патриотизм...

— Патриотизм народа, Юрий, это порох. Вспыхнет ярко, заискрит, бессмысленно разбрасывая искры, а смочит его водой — и сгаснет, и отсыреет.

— Это пораженчество какое-то! Что за страх у тебя перед этими бюргерами, я не понимаю?

— Немцев я не боюсь, — Аскольдов закурил трубку. — Если бы речь шла об обычной войне, то и я бы был квасным патриотом. Но эта война будет другой. В ней у нас будет не один фронт. Немцы — что ж? Случись им вторгнуться в наши пределы, мы бы их возвратили восвояси. Но они своим ударом развяжут руки другому врагу, куда более страшному и коварному. Самому опасному из всех. И этот враг не даст промаха, как уже не дал его в Киевском театре... А против него штыки, господа, бессильны. Против него действует лишь твёрдая, дальновидная и сильная государственная власть. А в ней всё меньше остаётся светлых голов...

Звякнуло где-то в конце стола приглушённое: «Распутинщина!» Аскольдов приподнял голову:

— Распутинщина — чушь. Не будь Гришки, нашёлся бы кто-нибудь ещё, к чему бы цеплялись, что бы раздували до масштабов невероятных. Не было бы распутинщины, была бы петровщина, сидоровщина... Дело не в отдельном человеке, а в системе. Неужели вы не понимаете? Гришки лишь крохотные гайки в сложнейшем механизме... А война — огромный маховик

в том же механизме. А сам этот механизм... По сути своей, это бомба, которая уничтожит старый свет. Не только Россию... А весь привычный нам мир. Поэтому я против войны.

— То, что вы говорите, дорогой Николай Кириллович, отдаёт нилусовщиной, — заметил Клеменс.

«Нилусовщина», — для просвещённого либерала, кадета по убеждениям Клеменса это был штамп, произносимый со смесью насмешки и презрения. Нилусовщина, меньшековщина... Черносотенство, одним словом. Люди, не имевшие порядка ни в душах, ни в домах собственных, расточавшие себя на фетиши и слова, потерявшие ориентиры в бушующем потоке жизни, обдавали презрением человека высочайшего духовного уровня, талантливого художника и замечательного музыканта, писателя, философа... Они, помрачённые духом, считали себя просвещёнными. А просветлённые духом виделись в их тёмных очах — помрачёнными разумом. Они витийствовали о просвещении народном, а сами несли ему — помрачение. Просвещение — свет. Свет — Бог. Нести просвещение, значит, нести свет. Один единственный. Божий. О каком же просвещении твердили люди, Бога не знавшие и отвергавшие? Вот она, роковая подмена, произошедшая ещё в минувшем веке. Набор знаний поставили выше духовного воспитания. И, вот, духовно невежественные полужайки стали почти безраздельно господствовать в том, что именуется «общественным мнением». И яростно травить всякого, кто обличал их не словом даже, но уже фактом своего существования.

В чём господа насмешники могли уловить Нилуса? Ещё на пороге первой революции он, как редко кто в России, понимал суть происходящего. Не экономическую. Не политическую. А главнейшую — духовную. И подобно Исаии, возглашал: «Гнев Божий — над головами нашими; но как бы ни был близок он, от

нашего покаяния и обращения на путь истинный зависит преклонить к себе чашу милосердия на весах правосудия Божия и отвратить гнев Господень, праведно на ны движимый.

Но возможно ли искреннее покаяние пред Богом современного нам отступнического мира?

Невозможное для человека возможно для Бога; невозможное для мира возможно еще для верующей России, донныне еще наполняющей храм Божий в праздники Господни, Богородичные и великих святых Православной Христовой Церкви.

Не то на Западе, в Европе и в ее мировых колониях: там современное политическое положение государств и нравственное состояние их граждан в массе уже достигло меры возраста, предуказанной Первоверховным апостолом языков. В стремлениях усовершенствовать свою временную жизнь и в поисках за лучшим осуществлением идеи государственной власти, могущей обеспечить каждому его материальные блага, а обществу — царство всеобщей сытости, обезверенное человечество, признав с чужого голоса своих патентованных учителей христианство будто бы дискредитированным и не оправдавшим возложенных на него надежд, обратилось к новым путям исканий. Повергая старые кумиры, изобретая новые, воздвигая на пьедесталы новых богов и создавая им храмы один другого роскошнее и грандиознее, вновь их повергая и разрушая недосозданные храмы, человечество на Западе вытравило уже из своего сердца образ Царя Истинного и с ним идею Богодарованной власти Царя-Помазанника, обратившись в состояние, близкое к анархии. Еще немного, и держатель конституционно-представительных и республиканских весов перетрется — весы опрокинутся и увлекут в своем падении все мировые государства на дно бездны мировых войн и

самой разнузданной анархии. Из бездны этой анархии и должно, по Преданию святых Отцов, явиться антихристу.

Последний оплот міру, последнее на земле убежище от надвигающегося бешеного урагана — некогда Святая Русь, дом Пресвятыя Богородицы: еще в сердцах многих сынов и дочерей нашей матери-Родины жива и горит ярким пламенем их святая, непорочная Православная вера, и стоит на страже своего царства неподкупный и верный его хранитель и оберегатель, Божий Помазанник, Самодержавный Царь Православный.

Все усилия тайных и явных, сознательных и бессознательных слуг и работников антихриста, близ грядущего в мір, устремлены теперь на Россию. Причины понятны, цели известны; они должны быть известны и всей верующей и верной России.

Чем грознее надвигающийся исторический момент, чем страшнее скрытые в сгущающемся мраке громы грядущих событий, тем решительнее и смелее должны биться безтрепетные благородные сердца, тем дружнее и безстрашнее должны они сплотиться вокруг священной своей хоругви — Божьей Церкви и Престола Царского. Пока жива душа, пока бьется в груди пламенное сердце, нет места мертвенно бледному призраку отчаяния.

Ниневия падет. Ниневия идет к своему разрушению, но от нас, от нашей веры, любви и верности зависит преклонить к нам Божие милосердие и отсрочить час Страшного Суда на неопределенные сроки, которые положит во власти Своей Божественная Премудрость, безконечная любовь и безпредельная сила Честнаго и Животворящего Креста Господня».

В те поры Нилус искал возможности предупредить соотечественников, пробудить задрёманные души. И набатную книгу свою «Великое в малом» с помещёнными в ней «Протоколами» послал

несчастному князю Сергею Александровичу, желая заручиться его поддержкой. Пожалуй, никто в Императорском Доме не мог лучше понять суть полученного материала, чем Великий Князь Сергей. Человек глубоко духовный, он вдобавок в совершенстве знал Писание, богословские труды, церковную историю, а также историю еврейского народа. Его знания были столь серьёзны, что однажды молодой князь сумел одержать победу в споре с Римским Понтификом, так как лучше последнего, как выяснилось, знал историю Церкви.

Подобно самому Нилусу, Сергей Александрович был ненавидим и очерняем «прогрессивной» общественностью. Еврейство же ненавидело его особенно. Едва став московским генерал-губернатором, Великий Князь обнаружил, что, несмотря на существующую черту оседлости, лица иудейского вероисповедания, пользуясь попустительством прежнего генерал-губернатора, заселяли древнюю столицу, обзаводились доходным делом, обходя многочисленные законы. Всему этому способствовал крупнейший банкир Поляков, пользовавшийся протекцией генерал-губернатора Долгорукого. В пору правления последнего прямо по соседству с собором Василия Блаженного выросли две синагоги, еврейские кварталы расположились возле Кремля, ближайшая набережная в дни иудейских праздников чернела от скопления молящихся.

Что же сделал новый генерал-губернатор? Всего-навсего потребовал соблюдения закона и, следуя закону, в полугодовалый срок выселил из Москвы незаконно проживающих на её территории лиц иудейского исповедания, коих насчитывалось порядка двадцати тысяч, и резко ограничил запись евреев-купцов в первую купеческую гильдию, куда из-за высоких налогов не стремились русские купцы, зато

стремились иудеи, коим членство в первой гильдии давало право на жизнь в Москве.

Само собой, соблюдение закона в данном вопросе вызвало всемирный гевалт. Москву тайно посетили американские инспекторы и на весь мир прокричали о «чудовищных гонениях», Ротшильды пригрозили прекратить кредитование России, прогрессивная общественность клеймила генерал-губернатора тавром «антисемитизма». Но ничто не заставило его отступить от решённого, и дело было доведено до конца...

Прочтя книгу Нилуса, Великий Князь велел передать автору одно слово: «Поздно!» Вскоре его жена собирала то, что осталось от его тела, разорванного бомбой... Бомбы разрывали верных слуг престола, а главная бомба была уже заложена под самый фундамент России, и тикали роковые часы, приближая взрыв. Только огонь оставалось поднести к адской машине, которую не хватило времени обезвредить... И, вот, теперь готовились поднести его.

Война будет организована сатанинской силой с тем, чтобы сокрушить православную Россию, разорить и подчинить её себе. Так предрекал Сергей Александрович Нилус. Но «просвещённое общество» отмахивалось. И брезгливо морщилось. И клеймило. И зубоскалило. Над невежественным черносотенством... И «Протоколы» не воспринимали всерьёз. Что ж, их подлинность, действительно, не имела фактических подтверждений. Но суть-то — не вот ли на глазах исполнялась?

— Господь сотворил чудо, открыв России этот страшный документ, написанный не человеком, а самим дьяволом. С сатанинской злобой написанный. Чтобы все христиане через это предупреждение очнулись ото сна и сплотились между собой для спасения достояния Христова, оставленного в наследие

людям и так небрежно ими хранимого! И что же? Который год я не могу добиться, чтобы к ним отнеслись хоть сколько-нибудь серьёзно! Слепцам кажется, что подобные человеконенавистнические цели фантастичны! Как будто бы они не являются всего лишь органичным развитием тех идей, какие мы в зародыше находим в Ветхом Завете... — с горечью говорил Сергей Александрович в первую встречу с ним Надёжина.

Встреча эта случилась несколько лет тому назад в Оптиной, куда Алексей Васильевич приехал с Сонюшкой молиться о даровании детей. Нилус с женой в ту пору жил там, составляя жизнеописания святых этого благодатного места. Случайно встретились у могилки старца Амвросия, особенно почитаемого и Алексеем Васильевичем, и Сонюшкой. Гостеприимные Нилусы сразу пригласили новых знакомых зайти в гости — до вечерней службы как раз оставалось время.

Жили они в расположенной в нескольких шагах от стен обители Ювеналиевской усадьбе, названной так по имени некогда жившего здесь архиепископа Виленского, где прежде обитал крупнейший русский мыслитель Константин Леонтьев. Позади дома простирался приятный сердцу родной русский пейзаж: луг, деревенька и светлоструйная Жиздра...

Этот вид открывался из широкого итальянского окна просторной трапезной, тянувшейся во всю ширину дома. Именно здесь, за длинным столом хозяева принимали своих гостей, от простых крестьян до сановных лиц, объединяя всех своей искренней, овевающей каждого любовью.

Недолог был тот памятный разговор. Расспросили гостеприимные Нилусы прибывших об их нужде и обещали поминать в молитвах. Не умолчал, конечно, Алексей Васильевич, какое влияние имела на него нилусовская книга, прочитанная в пятом году и окончательно отрезвившая его от революционного

безумства студенческой поры. Именно тогда вызрела в душе Надёжина идея, каким должно быть подлинному просвещению, именно тогда осознал он доподлинно, для чего перед тем, ещё оцупью, инстинктивно бросил столицу и отправился в деревню. Отчего спрашивается, едут в глушь просвещать народ люди, заражённые химерами революции? Отчего именно они становятся учителями сельских школ? Ретрограды грезили решить вопрос просто: к псам школы такие. Жил без них народ и дальше проживёт. Без грамоты. Меньше ереси! Тут-то — ошибка корневая! Тёмный человек — лёгкая добыча. Падок на соблазн такой человек. Чтобы народ жив был и развивался, не отставая на столетия от других, чтобы мог отвечать за себя, необходимо просвещение. Ведь человека самостоятельного, разумного не вот споят по кабакам и корчмам разные вёрткие проходимцы. Иное развитие у него. И способен он уже противостоять соблазну. А потому просвещение необходимо. Но отдать его «народникам» — погубить народ. Значит, нужно перехватить у них инициативу. И срочно. Нужны учителя, способные воспитать вверенные души в духе христианском. Этой-то идеей и жил Надёжин в Глинское, чувствуя себя одним из ратников на идущей духовной войне. Да вот только других ратников мало оказалось...

— Да, редок наш строй, Алексей Васильевич, — согласился Нилус. — Но, — твёрдо звучал красивый баритон, — отчаяние не должно посещать нас! Мы знаем, чему надлежит быть. Сам Спаситель открыл нам это. Мы гонимы — да! Оклеветаны — да! Но ведь в этом и есть исповедничество. Мы гонимы за Него... Сейчас мы уже вплотную подошли к роковому пределу. Но тем крепче нам надо держаться друг друга. И так, друг друга держась, защищать Христа. И Его Помазанника. И чем гуще мрак, обступающий нас, тем светлее должны

становиться наши сердца, дабы не позволить тьме сгуститься окончательно.

Казалось бы, так очевидны были подспудные механизмы происходящего, так ясно, к чему всё шло. Но... Очами смотрели и не видели. И напоминали лежащего на рельсах безумца, отмахивающегося от приближающего поезда и отвечающего остерегающим его: «Не верю я в ваш поезд!»

Вот и теперь, за этим столом, не считая Аскольдова, кто же понимал это? Юнцы-офицеры, юнцы-студенты грезили о маленькой победоносной войне. О доблестях, о подвигах, о славе... И отцы их не дальше ушли. Почему-то всем им верилось, что война будет быстрой. Разгромит наша победоносная армия немцев и пройдёт по Берлину торжественным маршем. А ещё, пожалуй, Босфор и Дарданеллы будут нашими. И наш герб украсит врата Цареграда.

Больше всех Юрий горячился:

— Да плевать и на немчуру, и на жидов! Враг! Коварный! Так всем врагам врежем — не очухаются! Верно я говорю? — апеллировал к племяннику и прочей молодёжи. — Что они сделают, опасные? Россию к рукам приберут? Да кто им её даст! Русский народ не даст им! Ни России, ни Царя, ни Господа Бога!

— Русский народ, Юра, вы в окопах сгноите...

— Да когда мы сгноим-то его? Война, если она и будет, в считанные месяцы кончится! Нашим маршем в Берлине!

— Япония тебя ничему не научила?

— Это — дело прошлое! А теперь — другое всё! Это я тебе, как боевой офицер, заявляю! Мы, русские офицеры и патриоты, ни Отечества, ни Государя в обиду разным там врагам не дадим!

— Вы ещё гимн исполните, — усмехнулся Клеменс.

— А почему бы и нет? С каких это пор русскому человеку русский гимн стыдно исполнять? —

нахмурился Юрий. — Я, Юрий Кулагин, за Россию и Государя всегда жизнью пожертвую, а врага не допущу! Уверен, что и все присутствующие офицеры скажут тоже! Не так ли, господа офицеры? Готовы ли вы пожертвовать всем ради России?

Эта бравурная риторика вызвала усмешливые взгляды многих, но капитан не замечал этого, упиваясь высотой собственного патриотического порыва. Задав свой сакраментальный вопрос, он переводил торжественный взор с одного офицера на другого, ожидая ответа. Наконец, Родион отозвался:

— Я не хочу давать никаких клятв и зарок. Когда придёт час испытаний для нас, тогда и выяснится, кто на что годен, и кто чем и за что готов пожертвовать. У нас в училище был один кадет... Ничем не выделявшийся. Даже слабый какой-то. Не уважали его у нас. Как-то летом он поехал домой и не вернулся. Оказалось, проезжал какую-то деревеньку, а там изба горела. А в избе дети оставались. И никто не решался внутрь броситься, в огонь, чтобы их вытащить. А Санька бросился. Спас их... Вытащил, успел толкнуть вперёд себя и на миг замешкался... Тут-то на него горящие балки и посыпались. Так и сгинул... Вот, когда он в избу-то горящую кидался, о чём он думал? А ни о чём... Не рассуждал он, чем и за что может пожертвовать. А просто так, не раздумывая, положил живот за други своя. Я не знаю, как бы поступил на его месте. Смог бы, не рассуждая, в огонь броситься или же стал бы рассуждать, стоит ли это делать, и тогда бы уж точно остался стоять на месте. Поэтому и теперь промолчу. Человек поступком определяется.

Родион говорил взволнованно, отрывисто. За столом притихли, слушая его рассказ. А когда он закончил, Надёжин протянул ему через стол руку:

— Отлично сказано, Родион Николаевич!

Юрий мгновение помялся, сбитый столь неожиданным ответом, но затем снова оседлал любимого конька:

— И всё-таки, господа, за Россию! — поднял бокал.

И вот уже вновь развивали победные планы. И пили за русское оружие. Не обращая внимания на мрачный взор Николая Кирилловича. Недёжин не стал вмешиваться в спор. В светском собрании он, простой школьный учитель, чувствовал себя чужевато. Да и кто бы здесь внял ему? Если уж Аскольдову не вняли...

— Опутал бес патриотизма толпу пиитов и невежд, — это Замётов желчно скрипнул, когда гости после обеда разбрелись по саду.

Вот уж и в самом деле... Бес... Бесы ведь и святых изображать могут, и ангелов света... И даже Господа... Что уж стоит им патриотизм отравой прелести наполнить?

— А знаете, я рад буду, когда пророчества почтенного дядюшки исполнятся, и все декорации, составляющие их жизнь, растопчут новые гунны. Тогда они узнают жизнь настоящую. Срамную в своей наготе.

— За что вы, Замётов, так ненавидите людей? — спросил Надёжин.

— За глупость, Алексей Васильевич. Вот, вас, я не ненавижу. Вы умны. И честны. Только зря вы ко всему этому отживающему обществу прикрепляетесь. Дядюшка-то ведь прав. Крахнется их мирок. И вскорости.

— А вы полагаете, что построите нечто лучшее?

Замётов поскрёб приплюснутый нос:

— Моё дело — строить дороги. А у миров слишком сложная проекция. Миры только сумасшедшие строят. Богочеловеки и человекобоги.

— Стало быть, и новый мир вам заранее не по нутру?

— Стало быть. Старый ли, новый ли... Скука-то одна и та же. Хотя понаблюдать иногда презабавно. Я, знаете ли, всё последнее время больше наблюдаю. Здесь в Глинском тоже есть, за чем понаблюдать. Поначалу-то думал, с тоски сопьюсь, пока буду здесь лечиться по предписанию эскулапов. А последнее время, знаете ли, происходит здесь разное... Помяните слово, большой скандал здесь скоро будет. И даже не один.

— Это вы о чём? — спросил Надёжин.

— А, вот, когда случится, вспомните меня, — Замётов прищурился. — Только уж я скоро уеду отсюда.

— Отчего же?

— О оттого, что слишком женский пол здесь в злобу меня вводит, — что-то неуловимо переменялось в жёлтом лице. — И отчего это, скажите, девицы сплошь на мундиры падки? Что благородные, что дурёхи деревенские. А мундиры-то потешатся и в сторону. Только им-то тешиться можно, пожалуйста! Это для других у них честь да стыд девичий! Только уж знаем мы цену их стыду... Попомнят...

Алексей Васильевич заметил, что Замётов уже изрядно пьян. Однако же, и не общо теперь говорил он. А о том, что явно жгло его, не давало покоя, оскорбляло и без того оскорблённое положением бастарда естество. Знать, болезненно уязвила его некая красавица. Отдавшая предпочтение офицеру...

— А ведь я бы с нею не так, знаете ли... Я ведь не такая скотина, как папашенька мой... И она же ведь мне казалась не такой лярвой, как папашенькины... А, может, он-то и прав... А мне, подлец, ни фамилии, ни денег... Эти здесь все вид делают, будто бы не знают... Будто не родня... Ли-це-ме-ры...

Чувствуя, что скандал может выйти уже теперь, если не в меру захмелевший инженер станет говорить громче, Алексей Васильевич беспокойно думал, как бы

увести его подальше от других гостей. Но Замётов неожиданно поднялся сам, усмехнулся:

— Что волнуетесь-то, Алексей Васильевич? Думаете, я теперь буянить буду? Дядюшкин обед испорчу? Ну, а хоть бы и так? Вам-то что за дело? До их разбитой посуды?

— А я вообще бережно отношусь к посуде. Даже к чужой.

— Да не стану я их посуду теперь бить, — махнул рукой Замётов. — Время ещё не пришло...

Он ушёл, пошатываясь, бранясь сквозь зубы. А Надёжин подумал, что не следовало бы Николаю Кирилловичу допускать близко такого человека. Селить его у себя. Хотя бы даже и впрямь был он роднёй. Того хуже, коли так. Родня — так признай и не унижай неравенством. Ничего нет дурнее в таких щекотливых ситуациях, как извиняющиеся подачки... Только распаляют и злобят человека. А человек ещё к тому и непростой. Наделённый умом. И умом недобрым. И глазом наблюдательным. Вот и наблюдает теперь. Все у него, что у старой Лукерьи, на ладони. А в свой час выбросит из рукава накопленные козыри, покажет себя, отомстит.

Глава 7. Бастард

О том, кто на самом деле его отец, Александр знал с детских лет. Вернее, ещё не знал наверное, а лишь наслышан был от людей. Перешёптывались слуги: погулял, де, барин с Анисьей. Всего-то на месяцок летний в имение закатил поскучать, а уж не обошлось без худа. Анисья тот год совсем молодка была, взяла её барыня в горничные. Хороша девка! Яблочко наливное, спелое. Всякий бы полакомиться не отказался! Да и барин был не какой-нибудь завалящий — орёл! Анисья-то и сомлела, закружилась головушка бедовая. А барин скуку развеял и в город уехал — только его и видели. Барыня как про грех узнала, так сильно огорчалась. Богобоязненная старушка была, старых правил. Споро выдала замуж девку за старого лакея Порфирия. Тот в почтенные свои лета и не помышлял как будто о женитьбе. Но, однако же, как-то сговорила его барыня. Анисья в ту пору, сказывали, уже брюхата была. Так, видать, сердобольный Порфирия грех её покрыть решил, избавить от сраму и её, и дитё.

Каждый раз, заслышав эти сплетни, Саша чувствовал себя униженным. Стыдно и обидно было за мать. Но ещё оскорбительнее были вскользь пускаемые замечания: мать — смотреть любо, отец — орёл, в кого же такой невзрачный уродился? Ни стати и дебелости отцовой не унаследовал, ни благородства черт. Сморщенный весь, жёлтый... Словно больной.

Больным он и вправду был. Ещё в детстве нечаянно придавило его шкапом — мужики тащили в дом, а мальчонку не заметили, прижали к стене. После того насилу дышать мог Саша, кровью харкал. Доктора думали нежилец, а он, что трава сорная, живуч

оказался. Выжил. Да только совсем чахлым стал. И жёлтым.

Проход растил его как родного. Старик, доселе не познавший семейного счастья, всецело растворился в молодой жене и сыне. Жили в покое и достатке — барыня по смерти своей назначила верному слуге солидный пенсион. Саша не помнил, чтобы Порфирий хоть раз чем-либо укорил мать или дурно бы обошёлся с ним самим. Старик был набожен. Не пропускал церковных служб, соблюдал посты, читал домочадцам вслух четы-минеи и Писание. Образом детства осталось в памяти: запах ладана, разноцветные лампадки у многочисленных икон и скрипучий голос, читающий минеи...

От домашних Порфирий требовал такого же правильного жития. И это изводило Сашу. Бога он не знал и не верил в него. Не верил инстинктивно, видя в родительской набожности неуместный пережиток прошлого, вызывающий разве что жалость. Учась в гимназии, Саша нашёл достаточно подтверждений своей правоте в книгах немецких философов, которые он старательно прятал от Порфирия.

Хоть и достаточна была их жизнь, а Сашу изводило — признай его барин своим сыном, совсем другая бы жизнь была!

Отца он видел лишь раз. Холёного, дебелого, вальяжного... Да, так держать себя невозможно научиться. Это природный талант. Пластика, осанка, манера... Саша одновременно ненавидел его и восхищался им. Восхищался благородной красотой и, как ни стыдно было в этом признаться, литературным талантом: отец печатался в журналах и даже издал книгу. И ненавидел за то, что сам не имел ни красоты, ни таланта. Ни даже имени. Ни даже положения. Того, одним словом, что мог дать ему отец, но что давать и не помышлял.

В имени устраивали детские праздники с подарками. Саша никогда не ходил на них. Унизительно было ему, Аскольдову, получать кулёчки со сладостями и игрушками наравне с холопами.

Перед смертью мать открыла ему правду... Подтвердила и без того известное. В то время Замётов жил уже в Москве. Служил в ведомстве путей и сообщений, а на досуге пытался изобретать. Чертил, вычислял. А ещё сблизился с революционным подпольем. Вначале — с эсерами. Но они в ту пору уже миновали пик своей террористической славы, погрязли в скандалах с провокаторами. К тому же в их рядах обнаружилось слишком много полоумных и истериков, доходивших до того, что воспринимали террор, как богоугодное дело и слёзно молились, готовясь совершить свой «подвиг». Революционеров подобной конструкции Александр презирал. Иное дело были большевики, не расточавшиеся в истерических скачках. С ними можно было работать. Делать дело...

Однажды ему было приказано отнести важные бумаги на квартиру некого высокопоставленного соратника, где оные должны были оказаться в безопасности. Каково же было удивление Замётова, когда дверь ему открыл... собственный отец! Не узнал, конечно. Да и не мог узнать — и в глаза не видал прежде. Взял переданное, укрыл в кабинете. Простился учтиво, назвав «товарищем».

Смешно вышло. Нет, если и погубит что человечество, так это глупость. Зачем, спрашивается, этому холёному барину, модному писателю революция? Чего не хватает ему? Зачем ему, лентяю, никогда в жизни не работавшему руками, рабочая партия? Рабочая власть? Скуку тешит... Со скуки-то чего не отчебучишь? И девицу невинную опозоришь, и с революционерами снюхаешься. И собственный мир

предашь огню. То-то весело будет на пламень посмотреть!

Пожалуй, и сам Александр по той же причине впутался в политику. От скуки. От пустоты бездарной жизни. Одни от такой вешаются. Другие спиваются. Каждый развлекается, как может. Впрочем, любезному папашеньке и без того развлечений должно было бы хватать. Знать, гурману захотелось остренького.

В эту весну Замётов безошибочным звериным чутьём угадал приближение охраны. Нет, они не следили ещё. Не обыскивали. Ничем не проявили себя. Но он уже знал — они рядом. И потому взял длительный отпуск, сказавшись больным, и отправился в Глинское. Самая безопасная ниша. Никто не станет искать большевика под кровом предводителя уездного дворянства, известного своими монархическими убеждениями...

Здесь-то и произошло то, чего никак не мог ожидать Александр. Не мог ожидать от себя такой слабости. Не мог ожидать, что какая-то глупая химера сможет так вдруг вторгнуться в годами отлаженный механизм и всё в нём разладить. Как вредный микроб, ничтожный по виду, проникнув в организм, обращается тяжкой болезнью...

А «микроб» был так прекрасен...

Дожив до тридцати, он, разумеется, знал женщин. Но разве это были женщины... Так, шушера продажная... Никто и никогда не любил его. Не дарил ласки даром... И, вот, теперь вдруг до спазмов сердечных, до слёз постыдных захотелось этого. Обладания женщиной своей, которую любишь, а не которой платишь за удовлетворение инстинкта.

Он забросил свои чертежи и замыслы, не думал о политике, набившей оскомину. А день за днём распался себя, рисуя в своём воображении разнообразные картины — то нежные, то страшные...

И ничего не могло быть больнее и унижительнее, нежели увидеть предмет своего обожания с другим. И с каким другим! С собственным двоюродным братом! Который, в отличие от него, так насмешливо обделённого природой, унаследовал фамильное благородство черт.

Уж конечно, этот подлец, как и его дядька, не имел иных намерений, как поразвлечься во время отпуска. А она... Лучше бы вовсе не рождаться на свет таким. Не томить чужие души. Не оскорблять чужих чувств собственной низостью и пошлостью, так несходственной с невинностью облика. Так и поделом же им! И иного не заслужили они, нежели помыкания!

Этим днём Замётов выпил много. Тянуло устроить какой-нибудь скандал в благородном обществе. Но удержался. Наскандалить — значит, привлечь к себе внимание. Выдать себя. А это вредно для дела. Ещё не все винтики изломал злокозненный микроб... Удалился прочь от греха. Но и не пошёл к себе во флигель отсыпаться. Слишком взбулгачен был. Надо было вперёд дурь из ног выбить, чтобы голове легче стало. Шатаясь, добрёл до реки, бухнулся на колени, опустил голову в холодную воду а, подняв её, увидел перед собой свой «микроб»...

Она полоскала бельё, что-то напевая негромко. Даже в глазах потемнело, и представилось на мгновение невозможное... Шагнул к ней, облизнув пересохшие губы. Она подняла голову. Посмотрела без испуга, но настороженно.

— Что это с вами, Александр Порфирьевич?

— Да вот смотрю на тебя... — отозвался хрипло. — Какая ты...

— И какая же?

— Да уж не стану говорить... А что, Аглаша, ты ко всем ли такая ласковая? Или только к их благородиям?

Так, может, и меня приласкаешь? Я ведь тоже благородие, не смотри, что рябой!

Аглая поднялась, отступила на шаг:

— Что это вам такое на ум взбрело? Вы бы лучше к себе пошли, отдохнули бы.

— Брезгуешь, значит, ласковая? — усмехнулся Замётов. Он уже не владел собой, не чувствовал себя, словно бы из себя вышел. Одним шагом-прыжком оказался возле неё, рванул рубашку с её плеча, так что затрещала ткань, успел поцеловать жадно. И тотчас получил удар мокрой тряпкой. И, ещё нестойкий с перепоя, рухнул навзничь.

Раскрасневшаяся Аглая судорожно оправила рубашку, выпалила гневно:

— Только тронь попробуй! Так закричу — вся деревня сбежится!

— Не грози, ласковая, — покривился Александр. — Ты ещё моей будешь... Попомни моё слово! Офицерик твой на благородной женится! Сосватали уже! А ты со мной ласковой будешь... Да... Добром или силком, а не будет у тебя другой судьбы! Никогда не будет!

Она не ответила. Смерила лишь полным отвращения взглядом, словно мерзкое насекомое. Подхватила корзину с бельём и побежала прочь.

— Попомни слово... — прошептал Замётов вслед и, с трудом поднявшись, побрёл назад. В усадьбу.

Глава 8. О любви

Пока домчалась до дома, едва не задохнулась. В прохладных сенях зачерпнула ковшом воды из кадки, сделала несколько глотков крупных, прыснула на лицо. Какой же страшный человек этот Замётов! Протёрла и плечо ещё, пытаюсь водой отмыть то мерзко-липкое, лёгшее на душу... Откуда он узнал?.. Неужто следил? И принял за такую, что и облапать можно, не совестясь. Сраму-то! Правда, что взять с пьяного? И себя, гляди, не вспомнит.

Но всего хуже пронзило: «Офицерик твой на благородной женится! Сосватали уже!» Со зла ли, с пьяных глаз бросил? Или..? Сжалось тоскливо сердце. Уж не с ней ли милуется теперь? Вон их сколько, благородных, в усадьбу понаехало нынче... Но неужели же так можно было обманывать? Смотреть такими глазами, такие слова говорить, обнимать так, а притом думать о другой? И с ней готовиться под венец идти? Немыслимо! Невозможно!

Но если иначе рассудить... Ведь не ровня она ему. Ведь он — барин... Может и вправду любить, а жениться на другой обязан. Разным птицам — разные небеса. Но если так, то как же жить? Если вся душа лишь им одним полна теперь? Да ведь это — нельзя. Дышать нельзя. В омут головой — и только!

Скрипнула половица. Выглянула в сени Лидия. Спросила участливо:

— Что с тобой, Алечка? Ты такая бледная...

Рванулась было душа к ней. Уж с нею-то и не поделиться? Она-то, вон, стыд девичий забыв, за братцем из Москвы приехала. И только такой чудак, как он, может не понимать, не видеть причины... Ей ли не понять?

Но сдержала порыв. И, скрепя сердце, откликнулась:

— Так... Устала маленько. Душно нынче.

— В самом деле? А я не заметила...

Где уж тут заметить, коли труда не знать. Поди весь день у Лукерьи в горнице, либо в саду с братцем просидели, покуда отец в поле работал. Чудно, что теперь здесь.

— А ты что это? Здесь? Братец-то дома?

— Он отдохнуть прилёг. Слабый он ещё от болезни... И ночью всё, говорит, работал.

— Ночью-то спать надо, тогда и болестей меньше будет, — вздохнула Аглая. Ей, за день наломавшись, к ночи одного хотелось — до постели доползти. — Давай-кошь самоварчик поставим, чаю попьем... — и спохватилась: — А мачеха-то что ж? Дома нет?

— Она Игната Матвеевича проведать пошла с детьми. Обед снести... Не возвращалась пока.

Добро бы дольше не вернулась. Успела бы Аля в спокойе все намеченные на сегодня дела закончить. Нарочно с отцом в поле не пошла, чтобы с делами домашними разгрестись. Мачехе рожать вот-вот — полов не намоешь уже. Да и на реку не надо б — простынуть недолго. Успела уже Аглая сладить и со стиркой, и с приборкой, а ещё надо было варенье поставить — крыжовенное. Отцово любимое. Ягоды уже собраны стояли, а надо их было перебрать теперь, передырявить да затем и варить. Не до самоварчика тут, зря предложила гостье...

А Лидия словно мысли её угадала:

— Чаю не хочется, спасибо. Может, я помогу чем? Мне ведь белоручкой сидеть совестно. Да и скучно.

А и то дело. Вдвоём-то куда быстрее управится. Ведь и собирались — вдвоём. С мачехой. Да, вот, ушла она...

За работой отпустила немного недавняя боль пронзительная, отвлекал от неё разговор с Лидией. Говорили сперва о пустяшном. Вспомнилось Але, как впервые ей, совсем крохе, отец, уйдя работать в поле, доверил поставить самовар. Всё, как надо, сделала она — натолкала щепы, огонь затеплила. И проворно всё — торопилась очень. У околицы пожар в самсонихином амбаре полыхнул, и уж вся деревня, кто не в поле был, сбежалась глазеть. И Але страшно не хотелось пропустить такое зрелище! Припустилась туда же. Поглазела сколько-то, как амбар тушат, и домой побежала — самовар проверить. Прибежала, а уж из собственного дома дым валит! Оборвалось всё внутри: вспомнила Аля, что забыла главное — налить воды в самовар... Он уж красный весь был! Зачерпнула воды ледяной, стала заливать — а вода из самовара, что из решета, наружу хлещет. Расплавился... Тут и отец с поля вернулся. Так стыдно перед ним было! Что доверия не оправдала. С тех пор никогда больше не убегала никуда, прежде чем по дому всех дел не оканчивала. Как бы ни звали друзья-подружки, как бы ни рвалась сама.

Вспоминала и гостя отроческие годы. Как у тётки в деревне жила. Как варили варенье у неё. Яблочное с рябиной. Да как пироги с яблоками пекли. Большая мастерица тётка была по ним. Кухарку к священнодействию этому не допускала. Что ж, варенье яблочное и Аглая варит. И печь тоже знатно умеет. Вот, после Яблочного спаса покажет искусство своё.

Говорила, говорила с гостьей, а мысли прочь летели. Как заноза в сердце свербил. Тянуло поделиться больным, совета спросить. Но робела. О самом сокровенном своём говорить всегда тяжело. Не находится слов... А потому спросила о другом:

— А что, ты Серёжу сильно любишь?

Просто спросила. Не ища окольных путей. Почему-то чувствовалось, что с Лидией так можно говорить. Без обиняков.

Та не смутилась ничуть, не перестала перебирать крыжовник, ответила спокойно, спрятав мимолётную улыбку, мелькнувшую по немного тонким губам:

— Сильно. Кабы не сильно, так не приехала бы...

— Я так и подумала. А за что ты его полюбила? Нет, Серёжа хороший, конечно... Добрый. Ласковый. Но ведь ты видишь, какой он... Чудной, сложный. Блаженный словно. Намаешься ты с ним.

Лидия улыбнулась, отчего сразу похорошела:

— Какая бы счастливая маята была! Да ведь за то и полюбила, что он такой. Особенный человек... И... беззащитный...

Это последнее с такой нежной ноткой в глуховатом голосе сказано было, что Аглая почувствовала умиление. Да, вот бы хорошая жена брату была. Аля хоть и младше его, а всегда пеклась о нём, словно старшая.

— Скажи, а если бы у него другая была? — спросила ещё, ища ответа на жгущие собственную душу сомнения.

— А она и была, — неожиданно ответила Лидия. — И незримо, видимо, будет теперь всегда.

Даже работу забыла Аля. Изумлённо смотрела на Лидию. Так легко и невозмутимо говорить о сопернице? Разве так бывает?

— А если бы он с ней? Если бы её предпочёл?.. — и стыдно стало за такой вопрос. Чай, не товарка близкая, чтобы в душу лезть.

— Если бы он с нею был счастлив, то была бы счастлива и я. За него.

— И ты смогла бы жить с этим? Без него — жить?

— Какой ты ещё ребёнок, Алечка... — это с лёгкой грустью было сказано. И с ласковостью старшей сестры.

Спрашивать ещё о чём-то было неловко. К тому же на крыльце показался Серёжа, и озарившаяся радостью Лидия помахала ему рукой, зовя пособить...

Глава 9. Лидия

Само собой, профессор Кромиади не пришёл в восторг, узнав о намерении дочери ехать невесть куда. Выговорил, нервно крутя белоснежный ус:

— Запомни, мужчины не любят тех женщин, которые бегают за ними сами. А любят тех, кто заставляет их бегать за собой, добиваться их!

Это совершенно справедливое наставление Лидия пропустила мимо ушей. Мужчины... Не любят... Речь ведь не об абстрактных мужчинах, а о *нём*...

— Вдобавок мне совершенно непонятен твой выбор. Нет, этот юноша, конечно, исключительно одарён. Пожалуй, у меня не было более одарённого ученика... Но Лида! Одарённый учёный, если он сможет таковым стать, ещё не есть хороший муж. Из этого юноши может выйти выдающийся учёный, но путного мужа из него не выйдет, не жди. У него же мозги набекрень... Ну, что это за фортели, скажи на милость? Ведь год учёбы насмарку из-за какой-то там романтической истории! Куда это годится?

— Просто... он человек... ранимый... Тонкий.

— Конечно! Все-то лыком шиты! — развёл руками отец.

— Некоторые стреляются из-за несчастной любви!

— Зачем тебе нужен ненормальный, готовый застрелиться из-за несчастной любви не к тебе? Дочка, я ведь тебе счастья желаю. А что ждёт тебя с таким человеком? Ты представь только! Нянькой при нём станешь! Добро, если он ещё не сорвётся и всё-таки сделает себе имя... Тогда хотя бы ты будешь нянькой при гении. А если сорвётся? С такими-то заходами!

— Вот я и не позволю ему сорваться, — уверенно ответила Лидия. — А без меня он пропадёт.

— Решила добровольно обречь себя на кабалу?

— Кабала, папа, неизбежна. Та или иная. Но лучше кабала при том, кого любишь, нежели при нелюбимом.

— Если бы хоть он-то тебя любил. А ведь он тебя не любит.

— Зато я стану ему необходима...

От отца Лидия не скрывала ничего. Так повелось с самого детства. Единственную дочь, появившуюся на свет, когда ему уже перевалило за сорок, Аристарх Платонович любил самозабвенно. Он не допускал к ней гувернанток и нянек, воспитывая её сам. Он никогда не бранил её, но его укоризненный взгляд действовал на неё сильнее наказаний. Отец всегда понимал её, но его любовь никогда не была слепой. Он сумел воспитать Лидию одновременно в строгости и простоте. А, главное, сумел установить с дочерью абсолютно доверительные отношения. Отец доверял ей, не отягощая её жизнь бессмысленными запретами, порождающими лишь скрытность. А она в свою очередь никогда и ничего не таила от него, будучи уверенной, что он поймёт её.

Вот и теперь ничего не скрывает Лидия. Ни того, что любит странноватого отцовского ученика, ни того, что тот в свою очередь связан с другой женщиной. Долго ворчал отец. Но уже понимал, что переубедить дочь невозможно.

— Бесполезно и говорить с тобой! Упрямая ты ослица. Всё равно ведь по-своему сделаешь?

Лидия обняла его, ткнулась носом в щёку:

— Если ты запретишь мне ехать, я не поеду. Ты знаешь. Но тогда я буду страдать...

Она, действительно, не поехала бы, если бы отец запретил. Слишком высок и непререкаем был для неё его авторитет. Но тем и крепок был этот авторитет, что отец никогда не обращался деспотом. Он знал, что дочь наделена и умом, и характером, и, даже если

отправится одна в такое путешествие, то не натворит глупостей и соблюдет приличия. Махнул рукой:

— Поезжай уж. Раз так тебе надо... И скажи этому гениальному оболтусу, чтобы не вздумал впадать в отчаяние и забрасывать занятия. Я устрою так, что его переведут на следующий курс, несмотря на его фортели, если только он подготовится и выдержит экзамены за нынешний курс. Только не думай, пожалуйста, что я собираюсь унижать свои седины хлопотами об этом чуде природы по случаю того, что он приглянулся моей дорогой дочурке. Я сделаю это только лишь из-за его таланта, который не должен пропасть из-за каких-то там обстоятельств и настроений.

Лидия радостно расцеловала отца в обе щеки:

— Всё-таки я ужасно счастливая! У меня самый добрый и понимающий отец в мире!

На следующий день она уже ехала в Глинское. Теперь у неё был законный повод для столь экстравагантного визита. Она ехала, чтобы лично сообщить новость о том, что появилась возможность поправить пошатнувшиеся дела в Университете. Телеграммой не пояснишь, как должно, а письма долго идут. К тому же такая радость сообщить добрую весть лично! Конечно, белыми нитками шит предлог, но для Сергея вполне сгодится. Уже давно поняла Лидия, что к нему нельзя подходить с меркой обычного человека. А нужен особый подход...

Никогда раньше Лидия не испытывала никакого подобия романтического увлечения. Предполагала даже, что всё это книжные выдумки, которые возбуждают впечатлительные натуры, и те любят, как заметил Ларошфуко, лишь потому что наслышаны о любви. Лидия не искала любви. Не грезила о семье, хотя ни в коей мере не относилась к категории эмансипе. Просто, благодаря отцу, была она совершенно

самодостаточным человеком, не ведающим скуки и одиночества. Ей хорошо жилось с отцом. В их просторной квартире на Маросейке, в старом доме с чудной лепниной. И ничуть не тяготило, что день был похож на день, потому что все эти дни были спокойны и светлы. И не надоедали друзья отца, пожилые учёные мужи, ведущие глубокомысленные беседы в зелёной гостиной. Она любила слушать их. И запоминать. Сидела тихонько в углу, вышивала или вязала, чтобы руки были при деле, и — слушала. Может, оттого, что именно в такой атмосфере прошло её детство, Лидия практически не имела друзей среди сверстников. Ей было с ними неизъяснимо скучно. Рядом с ними она чувствовала себя почти старой. А с Сергеем всё было иначе. Такой замечательный ум это был! Ум, кругозор, талант...

Но всё-таки не это оказалось главным...

В первый раз Лидия увидела Сергея поздней осенью, когда снег уже забелил улицы. Невысокий, зябко поёживавшийся в плохонькой шубейке молодой человек, до подбородка закутавший шарфом шею, он беспрестанно переминался с ноги на ногу, а при разговоре не сводил взгляда с собеседника. А взгляд был тревожный, ищущий, болезненный и в то же время светящийся умом, живой мыслью. И болезненно бледным было тонкое лицо, обрамлённое тёмными прядями беспорядочно лежавших волос. Обычно печальное, оно мгновенно преобразалось от улыбки, открытой и в то же время робкой. Что-то глубоко ранимое было во всём облике Сергея. Это был человек, лишённый покрова. Самой кожи. И от того так чутко воспринимающий окружающее. И первое движение души было при виде него — взять за руки, укутать теплее, утишить растревоженность. Приласкать. Приголубить. Обогреть... Как ребёнка...

Спросил тогда отец:

— Ну, как тебе молодое дарование?

И Лидия ответила к его удивлению одно только, запавшее в сердце:

— Какие у него глаза... беззащитные...

И так захотелось — защитить.

Она слишком тактична была, чтобы навязываться. Слишком воспитана, чтобы сделать первый шаг, проявить чувство. Но с того самого дня уже не выпускала из виду странного студента, ревниво следя за ним, но не из любопытства, не из каких-то корыстных целей, а всего лишь с одной — быть рядом, если ему понадобится помощь.

О том, что есть другая, Лидия знала. И горько было не от факта наличия соперницы, но от того, как эта соперница изводит Сергея. За его обиду больно было. И от того ещё, что не находилось средства — защитить.

Лидия предчувствовала, чем закончится дело. Болезнью, естественно. Потому что не под силу хрупкой натуре, лишённой покровов, выдержать столь долгое и сильное нервное напряжение.

Когда предчувствие оправдалось, она сделала всё, чтобы обеспечить больному надлежащий уход. Сделала, не афишируя, чтобы Сергей не чувствовал себя, Боже сохрани, обязанным ей. Лидия часто навещала его, подолгу просиживала рядом, рассказывая что-нибудь весёлое, чутко угадывая, когда и о чём говорить, а о чём лучше молчать вовсе. За это время она, кажется, успела узнать и понять его совершенно. И окончательно уверилась, что её место — рядом с ним. При нём. Быть ему опорой, поддержкой. Оберегать, укреплять. Такому, как он, ни в коем случае одному быть нельзя. А необходимо верное и понимающее сердце рядом. Иначе быть беде...

Вот и поехала за ним, очертя голову. Просто чтобы рядом быть и выхаживать. Сергея она нашла физически здоровым, но духовно разбитым и оттого ослабевшим.

Начала с того, что передала щедрое обещание отца, а затем принялась за «лечение». Важно было соблюсти такт, не позволить себе неосторожного слова, которое могло бы быть по-своему воспринято мнительной душой, играть естественность и непосредственность, весёлость и беззаботность, вовлекая в неё и его, а, между тем, внимательно следить и за ним, и за собой, чтобы не допустить оплошности.

Как будто бы удавалось всё. Сергей быстро привык к ней, поверил и, видимо, привязался. Он посвежел и ободрился. Усердно занимался, во время прогулок показывал Лидии места своего детства, с увлечением рассказывал многочисленные истории из самых разных областей... И эти перемены в нём, и временами находившая на него весёлость становились для Лидии самой желанной наградой, наградой её трудам. И ради этого можно было терпеть всё. И деревенскую жизнь, вовсе не столь близкую ей. И повинность по вечерам слушать долгие монологи Лукерьи, сплошь повторявшиеся, так как старица была не в ладах с памятью. И любые иные неудобства. Какие, в сущности, всё это были мелочи! Ведь она бы на любые жертвы пошла, лишь бы он был счастлив. И многое перенесла бы, лишь бы рядом быть. В этом было её счастье... А ещё счастье было — читать благодарность в его поясневших, успокоенных глазах. Слышать её в нотках голоса. Угадывать в нечаянном пожатии руки...

Отцу Лидия всякий день писала письма, сообщая ему обо всём, что происходило в её жизни. Из Москвы пришло краткое письмо. Совсем в духе профессора Кромиади: «Когда твой юродивый гений, наконец, созреет до понимания, какую непревзойдённую сиделку и просто-напросто сокровище обрёл в твоём лице, бери хомут и вези его сюда. Так и быть, благословлю. Что с тобой, дурёхой, делать. Живите! Глядишь, под твоим приглядом и из него человек получится...» Прочтя

письмо, Лидия весело рассмеялась. Она и не сомневалась в понимании отца. Теперь дело осталось за «малостью»: чтобы понимание пришло к Сергею...

Глава 10. В саду

Высоко-высоко взлетали увитые бледно-розовым вьюном качели, а покрасневшая Варюшка восторженно кричала:

— Выше! Ещё выше!

— Да ведь не удержитесь, Варвара Николавна! — смеялся Никита, ещё сильнее толкая тяжёлые качели.

— Это я-то?! Да я лучше вашего на лошади держусь! — запальчиво откликнулась Варюшка.

— Неужто?

— Не верите? Хотите пари?!

— Не спорь с ней, Никита! — подал голос Родион. — Она и впрямь как чертёнок в седле держится. Хоть без сбруи её на коня посади, так она в его гриву так вцепится, что не оторвёшь. Дядьке спасибо — обучил.

— А что сразу дядя? — обиделась Варюшка и кивнула на сестру. — Лялю-то, вот, и он научить не смог! Едва на смирной кобылке ездит. А всё потому что лошадей боится!

— Не всем же быть амазонками, — мягко улыбнулась Ольга.

— Ну, сильнее же, сильнее!

— Вам бы, Варвара Николавна, в Москву! Зимой на Девичье поле! Знаете, какие там качели? А горки? На санях-то да с высокой горы — ух! Дух захватывает!

— Я непременно упрошу матушку поехать зимой в Москву! Вы мне покажете Девичье поле, правда? И мы с вами покатаемся с гор?!

Никита рассмеялся, отчего его неправильное, но необычайно доброе лицо стало ещё добрее.

— Милая Варвара Николавна, у меня же служба. Я понятия не имею, где буду этой зимой! Но обещаю вам,

что когда-нибудь мы с вами непременно прокатимся с горы на Девичьем поле.

— Вы даёте слово? — загорелась Варюшка.

— Слово офицера!

— Ты совсем замучила Никиту Романыча, — заметила Ольга, близоруко щуря небольшие серые глаза. — Отдохнула бы и сама.

— Вечно я тебе мешаю! — насупилась Варюшка. Она ловко соскочила с качелей, ещё не успевших остановиться, и Никита галантно поддержал её. Варюшка качнулась: — Что-то голова кружится... — и Никите с сияющей улыбкой. — Спасибо!

— Выпей лимонада, — посоветовала Ольга. — Такая жара сегодня...

— Да, пожалуй, — согласилась Варюшка.

— И прикажи подать мороженое в беседку. И крюшон...

Варюшка бегом помчалась к дому, а Никита, утерев испарину, опустился на траву рядом с креслом Ольги. Очень рослый, крепко сложенный, широкоплечий, он походил на доброго богатыря из русских сказок. И оттого было особенно забавно наблюдать за тем, как вилась вокруг него маленькая, юркая Варюшка, вовлекая его в свои игры.

— Вы очень понравились моей сестре, — заметила Ольга.

— Ваша сестра — чудо, — весело отозвался Никита. — Никогда не видел столь очаровательного ребёнка! Какая жалость, что у меня нет такой сестры.

— Через год-другой этот очаровательный ребёнок станет очаровательной девушкой. Впрочем, у неё и теперь голова забита романтическими мечтаниями. Поэтому, она сочла, что вы очень похожи на рыцаря из её фантазий.

— В самом деле? — Никита ловким прыжком-кувырком перевернулся через голову и теперь сидел,

подогнув колени, лицом к Ольге. — Что ж, не удивлюсь, если через два-три года ваша сестра станет похожа на царевну из моих сновидений.

Он как будто бы шутливо это сказал, а в то же время серьёзно. Полусерьёзно отшутилась и Ольга:

— В таком случае, вы будете как раз таким мужем, который станет носить свою жену на руках.

Родион краем уха прислушивался к разговору сестры и друга. Он с удовольствием присоединился бы к нему, но в его обязанности входило развлекать гостью... До чего же унылая обязанность! Нарочно не придумаешь...

Ксения полулежала в гамаке. Красивая отточенной красотой фарфоровых статуэток, выполненных искусным мастером. Красотой скульптур. Картин... Но не той живой и тёплой красотой, которая притягивает и располагает к себе. О чём говорить с нею и то непонятно было. На всё отвечала она робко и односложно. А большей частью, молчала, потупив очи долу. Возможно, отнюдь и неглупа была Ксения, и добра душой. Но так глубоко запрятаны были в ней эти качества, что не отыскать. Не пробудить. Да и будить, по чести признаться, желания не возникало...

Ещё поутру осторожно уведомил родитель, что они с Дмитрием Владимировичем надеются, что Родион и Ксения в будущем составят счастье друг друга. Так дословно и объявил, огорошив. И принялся всячески расхваливать достоинства суженой. И умна-то, и набожна, и добра, и скромна, и красива, как античная богиня. А, самое главное, её отец владелец многих гектаров земли к западу от Глинского. Дмитрий Владимирович, правда, хозяин некудышный, и потому мужики окрест распустились, воруют и обманывают незадачливого помещика на каждом шагу. А уж Николай-то Кириллович порядок бы там навёл! Будьте здоровы, какой! И земля бы цвела, и мужики бы нужды

не ведали, и хозяевам доход изрядный был. А тогда бы как развернуться можно! Фабрику наладить, машины закупить... Да совсем на другие рельсы поставили бы дело!

Родион ошалело слушал мечтания отца. Всё продумано и умно в них. Во всём была хозяйская хватка и рачительность. Только одно вовсе забыто оказалось, что для исполнения грандиозных планов требуется подчинить им жизни двух взрослых, разумных людей, чьи планы могут быть совсем иными. Но последнего отцу и в голову не приходило. Клеменсы, ко всему, род знатный. И Ксения весьма достойная партия для сына Николая Аскольдова.

Так сразил его отец неожиданно решением этим, словно из гаубицы точной наводкой позиции уничтожил, что и не сразу нашёлся Родион ответить. К тому же гости начинали прибывать. Совсем не время для семейного скандала. Выслушал терпеливо отцовы прожекты и решил отложить серьёзный разговор на вечер. Конечно, говорить ему об Аглае сразу лучше не стоит. Знал Родион крутой нрав родителя. Добро бы ещё оказался у него роман в Москве или Петербурге. Хоть бы и с той девицей с памятного бала. Одним словом, с ровней. Тогда бы отец поворчал, погрозил, но принял бы. Но с мужицкой дочерью... Нет, не поймёт и не примет. Никогда не примет. Оскорблением фамильной чести сочтёт. В этих вопросах прогрессивный хозяин оставался крайним ретроградом. И не спасёт даже то, что брат Алин — матушкин крестник и любимец, долгое время живший в доме почти за родного. И впервые с такой отчётливостью понял Родион тяжесть своего положения. А всё-таки надо было объясниться с отцом. По крайней мере, для того, чтобы не давать надежд Ксении и не вводить в заблуждение Дмитрия Владимировича.

— Отчего вы всё молчите, Ксения? Расскажите что-нибудь о себе?

— Что же рассказать? — удивлённый пожим грациозных плеч, покрытых старомодной пелериной.

— Не знаю... Вы живёте вдвоём с отцом?

— Сейчас — да. Мой младший брат болен. Врачи предписали ему южный климат... Он теперь живёт в Батуме. И матушка с ним.

— Вам, должно быть, тоскливо без них.

— Да, мы с папой очень скучаем. Но отец не может оставить дом... А я — отца... А мама не может оставить Лёню.

Даже говорила она медленно, без интонаций, не меняясь в лице. Родион старательно поддерживал едва теплящуюся беседу, следуя правилам хорошего тона, а сам неотступно думал об Аглае. Так и стояла она перед взором. Живая, тёплая, с крупными глазами, чуть раскосыми, что придавало лицу задорное выражение. Какое счастье было бы теперь бродить с нею по лесу, либо сидеть у омута, зарываясь лицом в шёлк её медовых волос... В третью встречу он подарил ей янтарные бусы, привезённые сестре, но не отданные сразу с другими подарками. Янтарь — этот солнечный камень как нельзя более подходил Але. Не серебро, не золото, не алмаз, не топаз... А скромный, но самый солнечный, налитый солнцем янтарь. Она и сама была — янтарной. Солнцем напитанной. И без солнца этого всё казалось погружённым в тень, в сумрак.

Вернулась Варюшка, а с нею старый, важный лакей Ферапонт, нёсший поднос с мороженым. Переместились в беседку, укутанную хмелем. За столом стало веселее от шуток Никиты и проказ Варюшки, от смеха прочей молодёжи и от песен всегда предпочитавшего это общество чинным посиделкам старших Жоржа, которого племянники разве что шутейно именовали дядей, так как летами годился он им лишь в старшие

братья. Только Ксения оставалась меланхоличной и словно застывшей. И рядом с ней становился таким же Родион, тяготившийся мыслью о предстоящем разговоре с отцом.

Гости разъехались вечером. Ещё звучали в саду аккорды дядькиной гитары. Ещё звенел Варюшкин смех и отвечающий ей Никитин тенорок, плохо гармонировавший с его крупной фигурой. Ещё говорили о чём-то неспешно, укрывшись в прохладном гроте, мать с тётушкой Мари и Надёжиным. А отец в сопровождении двух элегантных борзых уже скрылся в своём кабинете. И, набрав побольше воздуха в лёгкие, Родион последовал за ним.

— Ну-с, что скажешь? — спросил отец, едва Родион переступил порог.

— О чём?

— О нашей гостье, разумеется.

— Скажу, что, несмотря на её красоту, эта женщина совсем не такова, какой желал бы я видеть свою жену.

— Что так? — отец надломил бровь.

— Я должен объяснять подробно? Просто Ксения не та женщина, которая могла бы составить моё счастье. А я вряд ли смогу составить счастье её.

— Основательное объяснение! Как это ты так скоро определил?

— Я взрослый мужчина, отец, и вполне знаю, что мне нужно.

— Даже так? — отец откинулся на спинку кресла, прищёлкнул пальцами по крышке золотой табакерки, украшенной эмалевой миниатюрой. — И что же тебе нужно, позволь узнать?

— Иное!

— Краткость не всегда сестра таланта. Если уж начал говорить, так договаривай, будь столь любезен.

Тон отца не предвещал ничего хорошего, но Родион решился.

— Одним словом, я люблю другую женщину.

— Вот как? И кто же она? Какая-нибудь артистка, может быть? Решил последовать примеру своего беспутного дядюшки? Так я и знал, что не стоит и представлять тебя этому паршивцу.

— Дядя Котя здесь вовсе не причём. И она не артистка.

— Кто же тогда?

— Что тебя интересует, отец? Её родовитость? Наличие земель у её родителей? У неё нет ни того, ни другого! Она не нашего круга. Но я люблю её. А остальное не имеет значения!

— Родительское благословение также не имеет для тебя значение? Или, виноват, может, ты собираешься жить с нею запросто, как твой дядя со своей подлой?

— Я собираюсь венчаться с нею.

— Никогда, — ледяным тоном отчеканил отец. — Я не потерплю мезальянсов в своей семье. Если ты желаешь связать свою жизнь с особой без рода и племени, то изволь забыть дорогу в этот дом. Тебе придётся сделать выбор. Она или твоя семья.

— Отец, слышишь ли ты сам себя? — вспыхнул Родион. — Разве на дворе шестнадцатый век? Ты приветствуешь прогресс, а сам держишься за обветшавшие обычаи, давно отжившие! Мы живём в век автомобилей, аэропланов... синематографа! В век, когда, наконец, всякий человек признан личностью, свободной и имеющий права...

— Личностей развелось немерено, это ты верно сказал! А люди-то перевелись! — отец резко поднялся, опершись на трость. Следом вскочила лежавшая у его ног борзая. — Личности всегда руководствовались долгом, обязанностями, а не похотью, которую разные шаромыжники покрывают красивым именем «прав личности». Права теперь стали на всё! Право на блуд, право на грабёж... Скоро пойдут в дома убивать и

станут заявлять, что этим реализуют своё законное право! Вся риторика о правах сводится к одному единственному праву — праву на грех. Кто же дал тебе такое право?

— Мой единственный грех, что теперь я иду против твоей воли. Прости! Но идти против воли несправедливой не всегда грешно.

— Даже так? А ты, часом, не революционер ли? Сегодня отцову волю нарушить не грех, а завтра, глядишь, и приказ Государя не грех будет нарушить?

— Я прошу не оскорблять меня! Я Государю присягал, и присяге своей не изменю никогда! Но и женщине, которой я дал слово, я не изменю также. Помилуй Бог, отец! Даже в Августейшей фамилии не новость браки...

Отец не дал Родиону докончить, хватив тяжёлым набалдашником трости по столу:

— Дурак! Эти морганатические браки великих князей губят династию! Разрушают и подрывают её!

— Скорее её разрушают бесконечные браки между родственниками, коими являются все представители европейских царственных родов!

Лицо отца побелело от гнева, но он подавил в себе его вспышку. Глубоко вздохнул, снова опустился в кресло, указал тростью на дверь, велел, едва разжимая губы:

— Выйди вон. И хорошенько обдумай свою дальнейшую судьбу. Дай Бог тебе не ошибиться с выбором.

— Я уже сделал выбор, отец. Честь имею! — Родион щёлкнул каблуком и вышел из кабинета. Удаляясь, он услышал охрипший, раздражённый голос отца:

— Ферапонт! Капли мне!

И где-то зашаркали шаги старого лакея, слышавшего зов барина в любом конце дома.

Как ни тяжел был разговор, как ни тяжел выбор, а легче стало. Теперь уж никаких тайн! Как там у Ростана? «Приятно быть самим собой, а притворяться тягостно и тошно!» Теперь всё решено окончательно и бесповоротно. Отрезано. Завтра он увидит свою янтарную девочку. И скажет ей... О родительском гневе немного смягчит, чтобы она не слишком переживала о приносимой ради неё жертве... А потом они обвенчаются. И он увезёт её с собой... Слава Богу, он не конногвардеец. Там бы не простили мезальянса. Не простили ведь даже Бискупскому, хотя его избранницей была сама прима Вяльцева. Но в артиллерии всё проще... И Але, знавшей много лишений, не покажется чрезмерно тяжкой гарнизонная жизнь. Даже если гарнизон будет дальним, глухим. Как тот, что описал г-н Куприн в своём сочинении. Але не привыкать к тяготам, а, значит, не придётся разлучаться с нею.

Эти мысли подействовали на Родиона успокаивающе. Он вышел на крыльцо, с удовольствием вдохнул посвежевший вечерний воздух. Лишь бы дождаться теперь утра. А утром увидеться с нею, как сговорились накануне. И всё решить...

— Ты Жоржа не видел?

Не заметил Родион за мыслями своими, как Ляля подошла. Подслеповато щурила глаза с длинными веками, придававшими своеобразие её всегда спокойному лицу, выскивала запропастившегося дядьку.

— Нет... Ты в конюшне поищи. Где ему ещё-то быть?

— Правда, посмотрю там...

Ушла сестра, опираясь на изящный зонтик. Английская леди — ни дать, ни взять! Родион опустил на ступени, устремил взгляд на звёздное небо. Несмотря на утомительный день, спать вовсе не хотелось. Ум будоражили мечты и планы, и всё существо переполняло чувство неограниченной

свободы, словно спутанного жеребца пустили, наконец, погулять вволю. Ах, только бы утро скорее!

Глава 11. Спящий герой

Жоржа Ольга нашла мирно спящим на длинных, как лавка, качелях. Оные были, впрочем, маловаты высокому гусару, и ему пришлось подтянуть к животу ноги. Господин капитан, как водится, «устал» от обильных тостов... И теперь отдыхал, почивая сном праведника. В стороне лежала повязанная голубой ольгиной лентой гитара. Ольга подняла её, заботливо прислонила к дереву — отсыреет ещё от росы. Надо бы в дом отнести. А то, чего доброго, гроза выдастся. Как-то тревожно нагнетались тучи, погромыхивало вдали. И комары были особенно злы, как всегда бывает перед дождём. Правда, Жоржу кровососы вовсе не мешали...

Ольга остановилась над ним, разглядывая безмятежное во сне лицо. Вздохнула. И почему он такой? Совсем не такой, как отец... Как его собственные сёстры... Ни надёжности в нём, ни ответственности. Гуляка, мот... Разгильдяй, как говорит отец. Но зато — так весело с ним! Даже ей, такой строгой и хладной, весело... И легко...

Разгильдяй... Может быть. Однако же, в Японскую трижды был он ранен. Имеет Станислава с мечами. И Георгия. Георгия... Он и сам — Георгий. Так окрестили его. Победоносец. На поле брани он, вероятно, прекрасен, как... как... Александр? Антоний? Не очень сильна была Ольга в военной истории. Да суть ли важно! Если бы хоть толика этой доблести на войне досталась и мирной жизни. А то... Уже тридцать пять ему, а он всё капитан. Капитан «по второму разу». А всё потому, что разжаловали в своё время в поручики за дуэль. Из-за дамы, разумеется... Таких историй у Жоржа не одна была. Но дотоле сходило с рук. А здесь не сошло. Добро ещё не уволили из полка...

Тридцать пять! У других уже в эти лета — семейства, свой дом, карьер... Основательность. А Жорж и теперь мальчишкой оставался. Не жил, а словно только лишь репетировал жизнь, черновик писал. И не думал вовсе о дне завтрашнем. «Без Царя в голове» жил.

Война — вот, где, по-видимому, он был на своём месте. А в мирном времени скучал и оттого дурачился, развеивал скуку, как умел. Щекотал себе нервы. Широкая душа требовала яркой жизни. А как сделать её, серую и однообразную, яркой? Да вот так: бесшабашной лихостью, озорством...

Иногда Ольга завидовала Жоржу. Вот, забыться бы, как он, и вырваться прочь из скучной обыденности, чтобы запестрела жизнь, заиграла разными красками! Хоть ненадолго... А там — не всё ли равно? Не жаль уже жизни этой будет.

Ей самой уже двадцать пятый шёл. Чуток ещё — и старая дева. Синим чулком, поди, и теперь за глаза называют. Яркая жизнь! Нашла о чём мечтать, бледная моль, мышка серая... Варюшка подрастает — загляденье, а не девочка. А Ольга? Эти белёсые волосы, эта бледная кожа, эти блёклые, близорукие глаза... Господи, да разве можно и мечтать о чём-то с такой внешностью? Да и с характером... Это Шура, подружка детских лет, из дома укатила учиться да и «пропала» — ушла в революцию. Стала жить с каким-то эсером, сойдясь «из любопытства». Невенчанная — Бога окончательно объявила предрассудком. И все прочие основы к той же категории отнесла. Чем не яркая жизнь? Потом, правда, эсерик её бросил. Не то она его. И появился у неё новый полумуж — тоже из соратников по борьбе. С ним и сосланы были. И в Швейцарию сбежали (кто из этих ссылок не бежал?). А в Швейцарии его законная с двумя детками уже давно проживала. Так и ничего. Вместе стали жить. Без предрассудков!

Мать законной за детками ходила, а они втроём спасали Россию от векового гнёта... Потом на время и ещё один «спаситель» присоединился к ним, и Шурочка «стала от него почти без ума»... Яркая жизнь! И без предрассудков! Это тебе не картинки рисовать и перед образами поклоны класть бесцельно, блуждая мыслями далеко-далеко, так подчас далеко, что на исповеди язык костенеет признаться... А только тошнѣхонько от той яркой жизни... Ни любви в ней, ни веры. А физиология и одержимость. Это Ольга, подругины письма читая, явственно почувствовала. И дело не в предрассудках. Не в венчаниях и прочих законах. Пожалуй, и Ольга в душе не строгих правил на этот счёт была, чувствовала, что и сама в такой грех могла бы впасть. Да ведь не из любопытства же! И не из идейных соображений...

Двадцать четыре года... Что-то это да значит. Для женщины — особенно. Женщины взрослеют раньше. И стареют — тоже... И знакомые, и родные считали Ольгу слишком холодной и рассудительной, бесстрастной, скупой на ласку. Считали, что с таким темпераментом она не может всерьёз увлечься, полюбить. Считали, что просто недоступны её сердцу такие чувства. Подруги удивлялись такому душевному устройству, негодовали, жалели и даже завидовали: не знать тебе, Ляля, наших мучений, счастливая! Этим своеобразным устройством объясняли и отказы нескольким претендентам на её руку. Такое холодное сердце попросту никто не способен завоевать.

И лишь сама Ольга знала, что сердце её давным-давно завоёвано, а холодность — всего лишь маска, призванная скрыть тайну...

Конечно, это страшно банально — полюбить красавца-гусара, сердцееда и удальца. Таких женское обожание окружает и в жизни, и в романах. Но обожание такое — удел дурочек. А Ольга всегда

считалась умницей. Ну, знать, на всякий ум своя глупость сыщется.

С детства памятно было: самый большой праздник, это когда «дядинька» приезжал! Прилетал на изумительном сером в яблоках коне. Такой подтянутый и ловкий! В таком изумительно нарядном мундире! Пропахший флёрдоранжем и дорогим табаком. Шумливый, весёлый, рассыпающий шутки и уморительно смешные истории, которые он умел показывать в лицах! Да с неизменно щедрыми подарками всем членам семьи... Для мамы двоюродный младший брат был всегда, как любимый племянник, к которому относилась она с материнской теплотой. А для Ольги...

Восемь лет назад он приехал в Глинское с войны. Впервые подавленный. Впервые лишённый обычной быстроты и подвижности из-за серьёзного ранения. Вынужденное соблюдение режима страшно тяготило его. Рвалась беспокойная душа в город, к цыганам, просто проскакать галопом несколько вёрст... А к тому тошно было от поражения, от унижения России. Словно зверь в клетке, Жорж не находил себе места, тосковал. А пятнадцатилетняя Ольга старалась его чем-нибудь развлечь. Да только худо выходило... Что она, девчонка, знала тогда? Что понимала? Что умела? Кроме главного..... Двоюродный дядька — чай, не такой близкий родственник, чтобы нельзя было в брак вступать? Правда, о браке и думать не приходилось — какая уж она ему пара? Он на неё иначе, как на девчонку, и не поглядит... А всё-таки думалось. И о том думалось, что будет, если он женится на другой. Ольга заранее ревновала и оплакивала свою участь.

Однажды Жорж учил её ездить верхом. Ах, оказаться бы ей хоть такой же ловкой амазонкой, как Варюшка! Так нет... Ольга боялась лошадей. Боялась ездить верхом до головокружения. И лишь для того,

чтобы побыть рядом с Жоржем, преодолевала этот страх. Боролась с собственной неловкостью. Но малы были успехи, ничтожны... И учитель рукой махнул:

— Лучше картины рисуй! Для лошадей характер нужен. И любить нужно лошадей!

Ольга только виновато потупилась и вздохнула. А ночью горько плакала в подушку от досады на себя...

Ни одна живая душа не знала об этих слезах. Восемь лет, а то и дольше, Ольга хранила свою тайну. На это твёрдости и бесстрастности хватало. Её внутренняя жизнь шла своим чередом, неведомая никому, не имеющая отражения в жизни внешней.

А Жорж оставался прежним. Не женился, не остепенялся. Всё чаще схватывались они с отцом, не терпевшим праздности и беспорядка. Вот, и за обедом схватились опять. Из-за войны. И не впервой на эту тему. Любил «дядинька», что греха таить, красивые и пафосные речи говорить. А отец таких речей на дух не выносил. Ругал свояка пустобрёхом. А тут начал Жорж своими доблестями хвастать и о патриотизме народном говорить. Отец бросил желчно:

— Ты свой патриотизм в кабаках прокутил да у девок подлых в постелях оставил!

Умел-таки словом припечатать хуже кулака... Жорж от него весь красный выскочил. Добро ещё отходчивый был, не злопамятный. На другой день уже с отцом как ни в чём не бывало говорили...

Только Ольге от этих слов, случайно услышанных, обидно было. Что станет с ним, если и дальше так жить будет? Беспутно? Не доведёт такая жизнь до добра... А ведь хороший он. Душа у него хорошая, добрая, незлобивая. И храбр. И щедр. Только стержня нет. Вот, и болтает его. И души нет близкой... А разве возможно, чтобы и не нужна была? Всем такая душа нужна. Может, ещё не понял этого, не ощутил. Но придёт время — ощутит. Лишь бы не слишком поздно.

Ольга осторожно отбросила завитой вихор со лба Жоржа. Он лениво шевельнулся, проворчал что-то неразборчивое. Но не проснулся. Ольга покачала головой и вздохнула вновь. Неисправим! Взяла гитару, взглянула на небо, с которого сорвались первые капли дождя, направилась к дому. Наказала встреченному Ферапонту:

— Юрий Алексеевич в саду задремал...

— Известное дело! — кивнул понимающе старый слуга, шевельнув белыми, клочкастыми бровями.

И снова обидно стало. И стыдно даже. Прислуге и то — «известное дело»! Господи, ну, почему именно этот человек так безраздельно занял её «холодное» сердце? Ведь стыд, стыд...

— Я к тому, что дождь... Простынет... Ты распорядись, чтобы...

— Не беспокойтесь, барышня. Сейчас скажу Гавриле: он барина живёхонько в дом переместит.

— Спасибо, Ферапонт.

Стыд... Стыд... И никакого исхода этому!

Глава 12. Воскресение

Чудным образом иногда оборачивается жизнь. То задавит так, что вздохнуть нельзя, и на каждом, даже самом малом и робком шагу норовит подножку поставить, и раздаёт тычки с щедростью злой мачехи. А то нежданно в тот самый миг, когда уже идёшь ко дну, и не осталось сил, чтобы позвать на помощь, и лишь отчаянно ловят воздух губы — кто-то неведомый протягивает тебе спасительный багор, а то и руку и вытягивает на берег... И что за чувство неопишное — спасённого утопленника, оказавшегося на берегу! Какими радужными гранями сияет для него всё вокруг! Он лежит неподвижно, глядя на небо, которого уже не чаял увидеть и жадно-жадно дышит, понимая впервые, какое это великое счастье — просто дышать. Просто жить. Просто видеть солнце над головой, и траву, и лес... Господи, как же велик Ты! И как мы ничтожны, что всё это необъятное, прекрасное, Тобой, многощедрым данное, смеем не замечать, не ценить, не славить за него Твоё Имя денно и ночью, а вместо того погружаемся в суету и оскорбляем Тебя унынием наших слабых душ...

Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит — и жизнь, как камней гряда,
Лежит на нас, — вдруг, знает бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.⁴

Нечто подобное испытывал теперь Сергей. После мрака и безысходности последних месяцев он, наконец,

вновь научился различать окружающие предметы, дотоле бывшие словно в тумане, радоваться погожему дню и иным светлым моментам. И не надо было больше прятать взгляд от отца. От прочих. Лгать и терзаться мыслью: что же дальше? Как же выйти из этого тупика? Добрый гений тихо устроил всё без его ведома, ни о чём не спрашивая, не тревожа и ничего не прося взамен. Полнилась душа чувством благодарности, не находившем выхода. Ах, какое славное чувство оказывается! Быть *благодарным*... Не должным. А именно благодарным. Долг тяготит и угнетает. Благодарность возвышает и согревает. Благодарность — радость сердца. Его тепло и свет. Долг — кабала...

Словно после тяжёлой болезни, Сергей снова осторожно нащупывал почву под ногами, приводил в равновесие душу. И всё это время рядом был человек, заботливо поддерживающий его под локоть на столь трудных первых шагах. Словно Ангел-Утешитель с неба сошёл...

Он всегда трудно и долго сходилась с людьми. А с нею сошёлся легко и как-то сразу. Может, оттого, что она не пыталась показать себя, настоять на своём, выставить напоказ свою самость... И, главное, не пыталась его переделать по образу и подобию своему, подгоняя под идеал. Принимала его таким, какой он есть. Непритворно сочувствуя, но не ударяясь в то слезливое жаление, которое только хуже расстраивает. На такое жаление щедры бывают деревенские бабёнки. И не вот взаправду сочувствуют, а такой плач подымут, так зажалуют тебя, что ты, и самую малость занедужив, почувствуешь себя на последнем издыхании.

Лидия тонко чувствовала грань. Чувствовала меру. Во всём. Всегда. И никогда не покидала её спокойная рассудительность, умиротворительно действующая и на Сергея. Чувство меры и такт, умение слышать другого, а не себя даже без слов, умение вчувствоваться в

другого человека — великий дар. Важный для всех, но для женщины особенно. Женщина должна нести мир... Быть мироносицей. В этом высшая её суть. Неисказённая. Но не так часто можно встретить таких...

Ни с кем и никогда не было Сергею так легко, как с Лидией. С ней естественно было говорить обо всём, делиться наболевшим, не стесняясь, не ожидая тычка. Так делимся мы лишь с самыми близкими и родными душами. А у Сергея таких и не было никогда. Ни с крёстной, ни с отцом, ни с сестрой не мог он быть откровенен. Никого ближе их не было, но не было и с ними той степени духовного родства, когда не остаётся преград. Оттого-то всю жизнь не покидало Сергея чувство глубокого сиротства и одиночества в этом мире. И, вот, нашлась душа, которая одиночество эту поделила, сняла печать молчания с сердца и уст. И словно тяжёлый камень с груди отвалила...

Теперь она сидела на траве, прислонившись спиной к толстому стволу кряжистой сосны, а он лежал, положив голову на её колени и чувствуя, как её мягкие пальцы ласково ерошат его рассыпчатые волосы, то зарываясь в них, то просто глядя. На душе царил мир и покой, казавшийся подлинным счастьем после стихий прошлых месяцев...

Впереди расстилалась равнина уже скошенного луга, на котором высились высоченные снопы, смётанные столь крепко, что казались ровно прилизанными, монолитными, как холмы. Плескался весело ручеёк в ложбине, поблёскивал на солнце искрами. Вдали по тропке проковыляла старуха с несколькими козами. Молодая серенькая козочка отбилась от других, приблизилась, и Лидия поманила её рукой. Но та, помявшись несколько мгновений и попробовав листвы росшего неподалёку куста, припустилась догонять своих. Бабка сердито ругалась

на них и то и дело с любопытством покашивалась на Сергея с Лидией, наверное, в душе ругая их, как и своих питомиц, дармоедами. Или как мачеха — дачниками.

Сергей теперь лишь на ночь приходил домой да и то ночевал в амбаре, подальше от шумливой мачехи и малышни. Благо ночи стояли тёплые, сухие. В душном доме в такие не выспишься. Да к тому когда крики и плач вечно слышатся. Не выспишься, не помечтаешь. Вот и стервилась мачеха:

— Приехали! Дачники! Люди в поле спин не разгибают, а эти...

Отец осаживал жену. Сын после болезни приехал, ещё не поправился. Да и уезжать ему скоро к наукам своим. Пусть уж отдыхает. Нам-то, мать, его наукам не научиться, так уж не требуй с него нашего труда. А сам, когда раз Сергей расфилософствовался на тему справедливого устройства жизни в деревне, отрезал:

— Ты, сынок, сперва поживи-кось в деревне, да хозяйство не языком, а руками своими белыми да нежными пошшупай, а там и рассуждение имей, что здесь справедливо. Вот, нагорбишься цельными днями без продыху, не одну рубаху потом и кровью вымочишь, а потом и рассудишь справедливо, что надобно бы своим кровным добром с неимушшими делиться, которые ворон шшитают! А я, лапоть, послушаю! А куда зелен ешшо суждение иметь! И запомни. Учёный муж — это вот тот, что, как агроном, которого барин привёз, об улучшении земель и растений радеет. А как справедливо чужим хлебушком распорядиться — на это охотников и умельцев хоть отбавляй. Один чугунок сварит, а десяток ужо с ложками бежит! Она! Авдотьин дурак, Тришка, мычит только, ничегошеньки не смыслит, не умеет, а и тот сообразил, как ложку себе вырезать! Шшоб чужие шши хлебать! Постучит убогой и ложкой своей уже в чугунок лезет! Тем и сыт! Дурак

дурак, а о пузе-то своём соображение пушке умного имеет. Вот и вся тебе наука про справедливость!

Обидна была немного такая отповедь, но признал Сергей: прав отец. Не ему, земли не знавшему, здесь распоряжаться. И больше подобных разговоров не заводил.

Лидия смотрела то вдаль, то на Сергея. И он, быть может, впервые внимательно рассмотрел её лицо. Особенное было это лицо. От отца Лидия унаследовала смуглую, матовую кожу, тёмные с рассеянной грустью глаза и продолговатость правильных, породистых черт. Нос был с едва приметной горбиной, а губы немного тонки. Пожалуй, отчасти портил лицо излишне волевой, тяжёлый для женщины подбородок.

И для чего такой женщине понадобилось бросать все дела и знакомства, ехать в глушь и столько времени тратить на него, злополучного? Дружеское участие? Веление милосердного сердца? Скреблось в душе робкое предположение, что не в этом причина. Но в настоящую так трудно было поверить. Она, дочь известного московского профессора, может найти себе отличную партию! А он? Что может дать ей он? И не решался заговорить, боясь показаться смешным, прочесть недоумение в лице Лидии, нарушить тишину их простых и откровенных отношений...

— Скоро уже август, — вздохнул Сергей. — Надо будет возвращаться в Москву...

— Тебе так тяжела эта мысль? — спросила Лидия с лёгкой, неизменно ласковой иронией.

— Не скрою, немного боюсь. Что там будет? В Москве?

— Ничего не будет. Будешь учиться, потом станешь работать вместе с отцом, если захочешь, конечно. С твоими-то способностями — чего же бояться? Ты ещё будешь самым молодым профессором и порадуешь нас замечательными работами по русской словесности.

— Ты так думаешь? — с сомнением спросил Сергей.

— Ни мгновения не сомневаюсь. И тебе не советую.

— Не знаю...

— Чего ты, собственно, боишься? Отец в тебе уверен, а уж он-то ошибиться не может. Он говорит, что ты уже теперь при желании мог бы окончить полный курс экстерном и приняться за магистерскую диссертацию.

— Откровенно говоря, боюсь я самого себя... — признался Сергей. Никому другому не стал бы поверять сокровенное. Но ей-то — можно? Она-то поймёт? — Несчастливая у меня звезда, Лида. Меня однажды Анна Евграфовна в огорчении «двадцать два несчастья» назвала. Помнишь, в «Вишнёвом саде» у Чехова? Всё-то нескладно у меня, всё невлад. Вот и боюсь. Сам спутаюсь, тех, кто поверил в меня, подведу. Уже раз подвёл твоего батюшку... Признаться, думал, он и видеть меня не захочет. Совестно на глаза показаться.

— Ты плохо знаешь папу. Он для своих учеников всегда был отцом родным. А уж с теми, в ком искру видел, возился подчас и больше отца.

— Я в неоплатном долгу перед ним... перед тобой...

— Мы должников не любим, Серёжа, так что оставь эти глупости. Не хочешь же ты нас, в самом деле, обидеть?

Сергей благодарно пожал руку Лидии. По её губам скользнула тонкая улыбка:

— Это всё, что тебя тревожит?

Нет, не всё. Было ещё другое. Страшился Сергей снова встретить в Москве Лару. Так сильна была боль, что, казалось, одной единственной случайной, мимолётной встречи достанет, чтобы вспыхнула она с новой силой. Но об этом неловко было сказать даже Лидии... А она вдруг проронила тихонько, глядя в сторону:

— Её теперь нет в Москве. Они уехали... С мужем. В Париж.

— О ком ты?..

— О той женщине... Ты ведь о ней подумал сейчас.

— Ты права, Лида... Спасибо, что сказала...

— Теперь тебя более ничего не страшит в Москве?

— Страшит... — Сергей, наконец, собрался с духом. Признался, издав издали подступая к главному. — Одиночество...

Лида помолчала немного, откликнулась с приглушённым вздохом:

— Одиночества и я боюсь... Человек не должен быть один. Если только он не святой жизни пустынный... — она помолчала ещё. Затем сказала: — Ты остановись на сей раз лучше у нас с папой. Мы тебя приглашаем. Как гостя. Как друга. Ты же видел, какие у нас хоромы. Поселишься в одной из комнат. Например, в угловой. Она небольшая, но светлая, уютная. Никто бы тебя не тревожил там. Ты сможешь пользоваться нашей библиотекой. Ну, и я, если что-то нужно, всегда буду рада помочь.

Осторожно последнюю фразу сказала, обдуманно, взвешенно. Не перегибая. И в то же время давая знак... Или никакого знака не было? Дружеское участие отзывчивого сердца?

— Мне неловко злоупотреблять вашим гостеприимством... Это же уже... иждивенчество какое-то...

— Ну, если не желаешь быть гостем, то можешь снимать у нас комнату за ту же плату, что в Брюсовом. Я тебя очень прошу, Серёжа, не отказывайся! Ну, хотя бы из уважения, из дружбы ко мне... Ведь, если ты поселишься в другом месте, то мне придётся постоянно ездить к тебе. Даже в дожди и морозы.

— Для чего же тебе так себя утруждать?..

— Да уж для того, чтобы спокойной быть за тебя. Знать, что ты благополучен. Не имеешь ни в чём нужды. Я ведь без такого знания и заснуть покойно не смогу.

Вроде бы снова иронично, нарочито легко это сказано было. И опять заскребло на сердце: не шутит ли? Боязно обжечься... Особенно теперь...

— Для чего же тебе так тревожиться обо мне? Я этого не стою. Впрочем, вряд ли ты стала бы долго меня навещать.

— Отчего так?

— Тебе бы скоро надоело это. Я бы тебе наскучил. Я ведь не слишком весёлый собеседник, ты уже заметила.

Тоже тон ироничный поддержал, боясь раскрыться. Но при этом нечаянно крепче руку её стиснул. Ловил тревожно всякую тень на её лице. А оно вдруг погрустнело. Лидия покачала головой:

— Ничего-то ты не понимаешь... Ты мне не наскучишь. Разве что я тебе своей навязчивостью надоем, и ты меня с порога погонишь.

И эти слова она пыталась лаком иронии покрыть, но худо вышло. В них и волнение прорвалось, и боль затаённая. И Сергей решился довести разговор до конца. Он нарочно не смотрел на неё, не принимал подходящих моменту поз, лишь не отпускал из своей ладони её крупную, мягкую руку.

— Лида, а что если бы я сказал тебе, что хочу, чтобы ты и впредь рядом была? Как последние дни эти...

— Я бы ответила: слушаюсь и повинуюсь!

Кольнуло снова: всё-таки шутку шутила?

— Лида, да ведь я же серьёзно...

— И я не шучу, — серьёзно откликнулась Лидия.

— Ты, в самом деле, не шутишь?..

— Господи! — вырвался вздох. — Вот уж я сама приехала к тебе, забыв все правила хорошего тона. Живу здесь столько времени, не обращая внимания на

косые взгляды... А ты всё не можешь поверить. Какой же ты...

— Какой? — спросил Сергей, неумело пряча улыбку.

— Да уж какой есть... Вот, и опять договорить не решаешься...

Он и впрямь не находил слов, какие следовало дальше сказать. Говорить о любви не мог ей. Костенел язык, и без того для таких речей негодный. А она и без слов понимала всё.

— Значит, самой мне придётся... Ты не любишь меня, Серёжа, я знаю. И её ты никогда не забудешь. Это я тоже знаю, и лучше тебя. Но для меня это всё маловажно... Если хочешь, я просто при тебе буду... Не знаю, кем... Другом, сестрой, помощницей... Это ни к чему не обяжет тебя. И если ты решишься... В общем, если встретишь другую, то я не буду претендовать... Отойду в сторону. Пойми, мне ведь только то важно, чтобы ты счастлив был... А кем при этом быть мне... — Лидия развела руками и, прежде чем она закончила на редкость сумбурную для себя речь, Сергей выдохнул, приподнявшись:

— Я хочу, чтобы ты была мне женой! — и добавил: — Хоть я ничем и не заслужил такой жены...

Лидия склонила к нему лицо, так что её волосы коснулись его щеки. Затем отстранилась на мгновение, глядя испытующе. Покачала головой, улыбаясь и лаская взглядом:

— Неужели дождалась... — и рассмеялась радостно.

Сергей чувствовал, как и по его лицу растекается счастливая улыбка. Подумал, что, должно быть, имеет теперь глупое выражение. А Лидия уже порывисто обхватила ладонями его голову, и он почувствовал тёплое прикосновение её губ к своему лбу... В этот миг Сергей поверил, что его и в самом деле ждут большие свершения, а пережитые невзгоды были лишь школой, закалкой, трамплином для будущих достижений. И кто

знает, может, его ожидает поистине выдающаяся судьба. Всё возможно, если рядом будет такая спутница...

Глава 13. Измена

Она не пришла. Ни в это утро, ни на следующее. Ни на третий день... Родион не находил себе места, строя всевозможные предположения, ища разумные объяснения. Но их не находилось. Вдвойне мучительно было от невозможности с кем-либо поделиться тревогами. Он хотел уже идти в деревню, искать Алю, но вспомнил, как она боялась пересудов. А ведь как не возникнуть им, если ни с того, ни с сего барин начнёт разыскивать одну из девушек? Честь женщины превыше всего...

На четвёртый день Родион отправился в амбулаторию к тёте Мари, зная, что Аля помогала там. Но, увы, тётка была одна. И возилась с беспрестанно орущим ребёнком, рядом с которым суетилась молодая, явно с трудом понимающая слова тётки, мамаша. Ребёнок видимо задыхался и весь посинел. Родион вышел на крыльцо, ожидая, когда процедура закончится. Наконец, крики прекратились, раздался благодарный бабий говор, и тихий, усталый голос тёти Мари. Когда баба с ребёнком вышла, Родион вновь зашёл внутрь. Тётка с утомлённым лицом, время от времени подёргиваемым пробежавшей от боли судорогой, полулежала на кушетке.

— Рыбья кость... — сказала она.

— Что?

— Ребёнок у неё подавился рыбьей костью. В горле застряла. Такая большая и острая... Думала, не смогу извлечь... А он бы до больницы не дожил, бедняжка...

— Ты совсем изморилась. Где же твоя помощница? — осведомился Родион, как будто невзначай.

— А она как раз в больницу поехала.

— Заболела?..

— Нет. Просто лекарства у нас кончаются. Я и отправила её...

— И что же, она до больницы три дня едет? — спросил Родион и осёкся, поняв, что выдаёт себя этим вопросом.

Тётка не шевельнулась.

— Почему три дня? — уточнила.

— Нет... Это так... К слову... Я хотел сказать, что до больницы не три дня езды, должно быть, к вечеру обернётся твоя помощница.

— Может быть... — неопределённо отозвалась тётя Мари.

А может и не быть? До больницы и назад одним днём завсегда оборачивались. А что же с остальными днями? Почему вдруг исчезла? И даже предупредить не улучила возможности? Терялся Родион в догадках и подозрениях. Впору было занять наблюдательный пункт рядом с амбулаторией и ждать приезда Али. Но и этак тоже нельзя. Больно видное место, не затаишься...

Решил Родион последний день выждать, прежде чем к крайнему средству прибегнуть.

На другое утро он снова ждал Алю у омута. С надеждой вслушивался в каждый шорох, всматривался в белоствольную чащу — не мелькнёт ли родной силуэт? Но напрасно... До самого заката прождал Родион и, словно в бою подстреленный, побрёл домой, где предстояло снова делать вид, будто ничего не происходит.

— Ну, вот, на охоту пошёл, а ничего не принёс! — Варюшка насмешливо встретила. — Аль стрелять из ружья разучился? Только из пушки теперь можешь?

— Да-да, только из неё родимой... — ответил ей рассеянно, боясь, что теперь сестра увяжется за ним и не отстанет до самой ночи. По счастью, та вновь была

занята Никитой, потакавшим её детским проказам, и Родион поднялся к Ляле.

Ляля была одна в своей комнате. По прикрытому тряпицей мольберту, едва уловимому запаху красок и небрежно брошенной в углу балахону, красками перепачканному, Родион догадался, что сестра посвятила этот день живописи. Должно быть, стояла у окна и работала. Или, правильнее сказать, творила? Сама Ляля всегда говорила — «работала». Творили по её мнению одни только гении, а ремесленники — работали.

— Посмотреть ещё нельзя? — Родион кивнул на мольберт.

— Если бы было можно, то и тряпицы бы не было, ты же знаешь, — отозвалась сестра.

— Но это пейзаж или портрет? Или, может быть, натюрморт?

— Увидишь, когда закончу. Ты что-то хотел или просто зашёл поболтать на сон грядущий? Вы с отцом сами не свои эти дни. Что между вами вышло? Это из-за матримониальных планов?

— Уже знаешь?

— И раньше знала. Слышала случайно разговор отца с матерью.

— И не предупредила?

— Прости...

— Ладно, теперь это неважно. Не пойму, как это он тебя ещё замуж не выдал!

— Считаешь меня старой девой?

— Молодой, — пошутил Родион.

— Отец слишком знает, что я унаследовала его характер, чтобы пытаться в чём-либо давить на меня. Я ведь, если что, и в монастырь уйти могу. Или ещё куда.

— Скажи, ты давно видела Серёжу? — перешёл Родион к главному.

— Недавно видела. Он приходил к матушке, когда приехал. А что?

— Я подумал, может, заглянуть к нему? Всё же мы росли вместе... Да и вообще... Я бы хотел повидать его.

— За чем же дело стало? Пойди. Повидай. Я слышала, к нему из Москвы приехала невеста. Дочь самого профессора Кромиади! Можешь себе представить? Кто бы мог подумать, что наш тихий Серёжечка найдёт себе такую жену! Признаться, не ожидала от него. И очень за него рада.

— Так, может, и ты составишь мне компанию? Помнится, ты называла его своим первым критиком?

— Почему бы и нет? — пожала плечами Ляля. — Завтра поутру и навестим. Если только застанем... — она чуть улыбнулась. — В самом деле, я бы хотела повидать моего первого критика. И на неё посмотреть любопытно. Серёжечка чудный человек, но я отчего-то никогда не могла себе представить женщину, которая бы стала его женой...

Серёжу они застали. Правда, не дома, а у старухи Лукерьи, у которой квартировала его наречённая и куда направила их его мачеха. Сама хозяйка не стала мешать молодёжи и, пригласив проходить в дом, так и не стронулась со своей лавки. Серёжа был явно рад гостям. Особенно Ляле, с которой его связывала детская дружба. И, как всегда, чересчур суетился от собственной застенчивости... Зато Лидия Аристарховна тотчас по-хозяйски стала накрывать на стол. Родиону сразу понравилась эта спокойная, исполненная внутреннего достоинства молодая женщина, каждое движение которой дышало размеренностью. Что-то общее было у неё с Лялей. Только Ляля хрупче была, трепетнее. И белокожа, белокура в отличие от смуглой южанки. И не было в ней ещё той хозяйственной основательности, которая присутствовала в Лидии. Да и ростом последняя была повыше. Для женщины,

пожалуй, лучше бы и сбавить чуть. Не то с Серёжей они почти вровень.

Как ни занят был Родион своими мыслями, а заметил, как смотрит Lidия Аристарховна на Серёжу. А смотрела она с материнской нежностью и предупредительностью, словно удостовериться желая, не нужно ли что, не беспокоит ли что-нибудь?

За столом с нехитрым деревенским угощением потекла оживлённая беседа. Вначале больше разговаривали женщины. Рассказывала Lidия Аристарховна о московской жизни, прежде всего, культурной. Выспрашивала Ляля о новом в мире живописи. А тут и Серёжа подтянулся. Поведал о своём добром друге Степане Пряшникове, молодом многообещающем художнике. О его работах. Ляля смеялась:

— Кажется, мой первый критик нашёл новый объект для своей критики? Ай-ай-ай! А меня-то, Серёжа, совсем позабыли? Непременно навестите меня до отъезда — я вам хочу мои новые работы показать и ваше мнение услышать. Это же надо! Матушку навестили, а меня забыли? Я бы на вас обидеться должна, а, вот, мы с Родей сами к вам пожаловали!

— Простите великодушно! Признаюсь, виноват! — Серёжа смущённо улыбался.

— А мы к вам зашли — Катерина нас сюда отослала, — сказал Родя. — Гляжу, семья-то у отца твоего всё растёт?

— Слава Богу, — кивнул Серёжа. — Отец всегда говорил: один сын — не сын, два сына — полсына, а три — сын. Теперь, глядишь, сбудется мечта его.

— Небось, тяжело ему теперь приходится? Одному такой воз тянуть?

— Не без этого. Да ведь не чужой же воз... Да и сестра помогала ему крепко.

— А теперь что же? Перестала? — Родион старался говорить безразличным тоном, но почувствовал, как пересохло в горле, отхлебнул чаю с ежевикой, не почувствовав вкуса.

— Ей теперь не до того! — Серёжа пожал плечами. — Замуж наша Аглаша вышла! Вот такой вот фортель! — он усмехнулся. — Чудная девка! Столько времени парня морочила, он уж и голову повесил, а тут вдруг враз решилась! Да как! Нет, чтобы по-людски, чин чинном. Ну да сестрица моя всегда оригинальность любила. Вот и замуж без того не могла. Представляете, в ночь сбежали и обвенчались тайно! Будто бы родители супротив были! Нет, подумать только! И добро бы она у нас книжная какая была, романы читала. Так нет! Откуда только набралась таких фантазий? Письмо нам прислала поутру. Отец взбеленился поначалу, но потом остыл. Слишком он этого брака желал. И мачеха возрадовалась! Подобрела даже. А чего радоваться, спрашивается? Не рот ведь сбывают, а руки золотые, без которых в дому-то ей же куда тяжелее станет. Нет, не понимает!

Говорил, говорил Серёжа, варенье в чае размешивая да краюху хлеба свежего, с хрустящей корочкой, и маслом намазанного откусывая. А у Родиона перед глазами алые круги растекались. В ушах стучало. Мочи не хватало спросить, кто же счастливец? А Ляля спросила:

— И какой же купец удачливый руки золотые приобрёл?

— Так кузнеца Антипа сын. Артёмка. Вот уж тоже хват, каких поискать! И что твой бык здоровый! В ручищах-то сила какая! С ним Аглашка наша как у Христа за пазухой будет. И кузня там, и земля, и всё... А крёстный у него — Фома Мартынович, знаете? Самый зажиточный хозяин в наших краях. Был батраком, а стал кулаком. Он-то устроить всю эту фантазию и

пособил. Они теперь на заимке у него. Когда вернутся, не доложились. А отцы, побранясь, решили, что свадьбу всё-таки сыграют. После Успенского гулять хотят. А то что же? Обвенчались по-воровски и всё? В деревне так не положено. Тут весь мир созвать и угостить требуется. Традиция! Артёмка-то жених из первых на деревне был. Ну и Аглашка не из последних вовсе. Такой красавицы и умницы поискать ещё. Повезло Артёмке.

— Романтическая история, — с улыбкой сказала Ляля. — Рада за твою сестру. Артёма я хорошо помню. Парень справный. Дай Бог, чтобы у них всё сладилось!

Родион судорожно глотнул чаю, закашлялся. Пожалелось, что ничего более крепкого на столе не оказалось. Теперь бы напиться до бесчувствия... Никогда не пробовал ещё. Был бы в Москве, так махнул по-гусарски к Яру... А здесь... Разве что с дядькой кутнуть. Этот-то мастак погусарить! Ему и Москва ни к чему. Да Никитку прихватить с собой...

Но как?! Как могла такая перемена за считанные дни произойти? За один, фактически, день?! Что в этот проклятый день произошло? Не могла же она лгать?.. Это чистое, неземное создание — и лгала? Собиралась уже замуж за другого — и лгала? И это та, ради которой он твёрдо решил порвать с отцом? С родным домом?!

Что-то рассказывал весёлое Серёжа, вдруг обнаруживший вкус к непринуждённой беседе, дополняла его Лидия, смеялась, прыскавая в кулачок, Ляля. А Родион окаменел словно. Не слышал их. Не различал слов. И ждал лишь, когда завершится этот визит, принёсший ему такой удар.

А, может, всё-таки ошибка?..

Нет. Она сама объявила.

И тот давно подбивал клинья.

Значит?..

Ночь Родион провёл у цыган, стоявших табором в нескольких верстах от Глинского. Сюда его с Никитой привёз Жорж, посулив, что отпотчуют здесь не хуже, чем в Яре. Дядьку цыгане любили. За весёлый нрав, за щедрость. А ещё больше за знание лошадей. В этом Жорж любому цыгану мог дать фору. В таборе он был частым гостем, и встретили его здесь, как родного. С песнями и водкой... Нашлось и шампанское.

И, вот, дядька, в ярком ментике и начищенных до блеска сапогах, сидел у костра. Длинный, красивый, с белокурыми вихрами и лихо закрученными усами, с лукавыми зеленоватыми глазами, маслянисто смотрящими на красавицу-цыганку... Звенела переливисто, то замирала, то вздыхала рыдающе его гитара, а приятный баритон выводил:

— Ах, зачем ты меня целовала,
Жар безумный в груди затая,
Ненаглядным меня называла
И клялась: «Я твоя, я твоя!»

И подтягивала низким, бархатным голосом цыганка:

— И клялась: «Я твоя, я твоя!»
— В тихий час упоительной встречи
Только месяц в окошко сверкал,
Полон страсти, я дивные плечи
Без конца целовал, целовал.

А теперь беспредельные муки
Суждены мне злодейской судьбой.
И не слышны мне дивные звуки:

«Милый, как я счастлива с тобой!»

Неожиданно дядька вскочил, кинул гитару рослому цыгану с серьгой в ухе:

— Ну-ка вжарь плясовую! Душа ноги размять желает!

И уже совсем по-другому зашлись струны. И расправила округлые плечи цыганка, зазвенела браслетами, затрясла подолом цветастой юбки. Закружились две тени в отблесках пламени. И, наконец, Жорж упал перед ней на колени, откупорил ещё одну бутылку шампанского, глотнул прямо из горлышка:

— Вот так хорошо! Вот так развернись душа! — и совал ассигнации цыганке за края лифа, целуя одновременно её шею.

Родион уже мало что замечал. От непривычно много выпитого, от зелья, которое набили в поданную ему длинную трубку, сладко мутило. Кружилась голова, утрачивая память, а с нею и боль. И всё расплывалось перед глазами, и счастливое нечувствие охватывало душу и тело. Виделись лишь сполохи пламени и тени. И слышался — шёпот ли, шелест ли? И чьи-то руки обнимали, манили, влекли за собой...

Он очнулся утром в одном из шатров не в силах припомнить практически ничего из того, что было ночью. Лишь тяжёлый осадок остался, как от чего-то стыдного, грязного. И нестерпимо болела голова. Дядька, веселый и свежий, как огурец, заботливо протянул ему бокал шампанского, посочувствовал:

— Эх вы! Молокососы — одно слово! Учить вас ещё и учить!

— Нет уж, оставь эту науку себе. А я до неё больше не охотник...

— Тяжело в ученье, легко в бою! — хохотнул Жорж. — Настоящий гусар и в бою не осрамится, и в

попойке не оплошает. А вы! А ещё «боги войны»!

— Скажи, ты когда-нибудь любил? — спросил Родион. — Не этих своих... шлюх... А по-настоящему?

Дядька озадаченно пожал плечами, покрутил ус:

— Чёрт его знает. Должно быть, нет. Знаешь ли, друг ты мой, я человек весёлый. Жить привык весело. А — «по-настоящему»... Мерехлюндия это, вот что. И на кой оно мне? Мне и так неплохо.

— А мне, вот, плохо...

— От «настоящего», надо полагать?

— Только не язви, будь добр! — рассердился Родион.

— Как скажешь!

— Вот, что мне делать, а? Что делать, если женщина, по которой сходишь с ума, обманула?

— Роль Отелло тебя не устраивает?

— Я же просил оставить колкости! Я сейчас не в том настроении, чтобы их воспринимать!

— Изволь! Тогда у тебя два варианта: погрязнуть в разврате с милейшими существами, которых ты только что оскорбил грубым словом, или...

— Или?

— ...жениться! Клин клином, как говорится.

— Ну, спасибо за совет.

— Всегда пожалуйста!

Дома ещё все спали, когда Родион возвратился после «ночи грехопадения», как язвительно окрестил её дядька. Лишь отец уже бы на ногах, успел выпить большую чашку кофе, который он органически не мог употреблять приличествующими сему напитку крошечными чашечками, и работал в кабинете в ожидании завтрака. Родион решительно прошёл к нему.

Отец отложил газету, смерил Родиона изучающим взглядом, повёл носом, отвесил:

— Хорош! Небось, с этим бездельником, моим своячком, цыган развлекали? Вот уж они таких шутов не навидались!

— Этого больше не повторится, — сказал Родион, опершись о косяк двери, чувствуя слабость в ногах.

— Неужели? Отчего так?

— Я выбор сделал...

— Даже так? И каков же твой выбор, позволь осведомиться?

— Я женюсь. На Ксении... Это окончательное решение! — с этими словами Родион попытался изобразить что-то вроде шарканья шпорой, но вышло худо и, безнадежно махнув рукой, он развернулся и, покачиваясь, вышел из кабинета.

Глава 14. Бездна

Той ночью Катерине стало плохо. Неудачно спотыкнулась она ещё днём, но к ночи такие сильные боли начались, что подумали — схватки. Малыши, сидевшие на печке, испуганно высовывались из-за занавески, смотрели, как крючится на кровати, стена, мать. Отец метался, не зная, то ли бежать за бабкой-повитухой, то ли быть рядом с женой. Хотел уже бежать, да она не пустила, застонала отчаянно, чтобы он не оставлял её, посидел рядом. Велел отец Серёже к повитухе бежать. Тот закружил по избе потерянно, нервно ища сапоги, плащ, спрашивая, где находится дом повитухи и не лучше ли к Марье Евграфовне...

Глядя на брата, Аглая поняла, что придётся идти самой. Забрала у него найденные сапоги:

— Сиди уж дома, Серёжа. Чего доброго, заплутаешь в таком мороке, да простынешь. Я сама мигом обернусь!

Серёжа замялся, пытаясь возразить. Неловко было ему, чтобы сестра вместо него в этакую грозу из дома в ночь шла. Да Але привыкать разве? Аля в барских хоромах не жила, в московских университетах не училась. А ему-то, болезненному и рассеянному, в такую шальную ночь идти куда-то одному никак не годится. Точно не обойдётся без худа.

А ночь, не приведи Господь, лютая выдалась. Всё ревело, рычало, грохотало со всех сторон. Гнулись к земле старые вётлы, трещали вдали сосны и ели. А ливень хлестал, превращая деревенские улочки в бурные, грязные потоки. По таким в сапогах хлюпать — беда! Да к тому ещё сапоги-то не свои, отцовские. С ног слетают, не давая идти. Да и на кой они, сапоги? Не зима, чай, и водица не ледяная. И до Марьи-то Евграфовны, если бежмя бежать — подать рукой. Не

нужны тут ни сапоги, ни плащ! Добежать скоро, а там вытереться насухо, чаю горячего выпить с травами — и никакая простуда не страшна.

Перекрестилась Аглая, подоткнула подол юбки и бросилась бежать. Вмиг намокшая рубашка прилипла к телу, ноги сводило от ледяной воды. А, главное, ни зги не разглядеть было в кромешной мгле! Только изредка заливала её жутковатым сиянием молния. Точно бы заплутал Серёжа в такой темени! А Але что? Она и с завязанными глазами здесь всё отыщет.

Она пробежала примерно полпути, как вдруг перед ней на дороге выросла тень, в которую Аля едва не врезалась. Тень крикнула:

— Вот так встреча! — и широко раскинула руки. — Не ко мне ли на свидание бежите, Аглая Игнатьевна?

В яркой вспышке молнии Аглая с испугом увидела лицо Замётова и отступила на шаг. Прошептала дрожащими губами:

— Пропустите меня. Моей мачехе плохо, и нужно позвать Марию Евграфовну.

— Что вы говорите? — в голосе Замётова прозвучала недобрая усмешка. — Какая жалость! Ну, ничего! Я вас надолго не задержу, — с этими словами он резко шагнул к Але и, грубо притянув её к себе, с какой-то злостью впился в её губы.

Аглая отчаянно рванулась из его рук, но поскользнулась и упала в ледяное месиво. Замётов возвышался над ней с победным видом, подобно охотнику над попавшей в ловушку дичью. Снова вспыхнула молния, и Аля увидела его лицо. Исступлённое, с мутным взором и бескровными дрожащими губами. Страшное и безумное. Она отчаянно закричала, но гром бури поглотил её крик. Рванулась бежать, но Замётов крепко схватил её, поволок в сторону от дороги, жала губами, хрипя:

— Я же говорил, что ты моей будешь!

...До Марьи Евграфовны она всё-таки доползла. Потом. После кошмара. Теряя память от боли и стыда, но не забыв главного: Катерине помощь нужна, отцу нужна помощь... О кошмаре она не обмолвилась ни словом. Сказала, что заплутала в темноте и, оступясь, свалилась в придорожную канаву. Поэтому такая грязная и в ссадинах... Марья Евграфовна стала быстро одеваться, попутно наказывая, как обработать ссадины и ушибы и где взять травы для отвара от простуды. Будто бы Аглая за время работы в амбулатории сама того не знала...

— Там в моей комнате возьмёшь в шкафу мою одежду. Отвару выпьешь и ложись немедленно в мою постель. Укройся и не вставай, пока не вернусь! Не нравишься ты мне....

Побежала милосердная барыня под ливнем проливным, в плащ закутавшись... А Аглая бессильно опустилась на пол и горько, надрывно заплакала. Через какое-то время она заметила, что вокруг неё на чистые половицы натекла уже целая лужа грязной воды, и, преодолевая боль во всём теле, поднялась. Раздевшись донага, она с ненавистью посмотрела на своё тело. Прежде чем омыться самой, вытерла пол — не Марье же Евграфовне заниматься этим по возвращении. Кое-как смыв грязь, Аля прошла в комнату барыни. Отворила шкаф, в котором висело несколько скромных, простеньких платьев, и лежало грубое бельё. Одежда была совсем простой, но даже такую Аглая не смела теперь надеть на себя. Чистые вещи милосердной барыни да на себя, такую... Всё-таки выбрала что поплоче — собственную изорванную, перепачканную одежду уже не восстановить, да и прикоснуться к ней, вновь одеть мочи нет.

Облачась в чистое, она подошла к постели. Та разобрана была. Постель подстать одежде — узкая, жёсткая кровать, тонкое одеяло, низкая подушка. Не

комната, а келья монашеская. И образа, образа кругом. И ярко-ярко лампада розоватая горит перед Казанской. Рухнула Аля перед ней, стиснула голову руками, закачалась из стороны в сторону, завывая. А молиться не могла. И не могла смотреть на светлые лики. Что-то померкло в душе. И в очах померкло...

Марья Евграфовна, вернувшись, нашла её на полу без памяти. Дала соли понюхать, напоила какой-то терпкой микстурой, уложила в постель и велела лежать. Сообщила, что с Катериной всё хорошо. Боли прекратились, и ни ей, ни будущему ребёнку ничего не грозит. Аля выслушала эту новость холодно. В душе вдруг всколыхнулась почти ненависть к мачехе. Из-за неё всё... Небось, и не больна была вовсе... Только так — отца пожалобить да над ней, Аглаей, поизмываться... Из-за неё... И из-за братца ещё... Не был бы он таким... Нет, нет! Серёжа-то чем виноват? Неотмирный он, чистый... Он бы и пошёл за барыней, да ведь сама же сапоги у него из рук вырвала, сама велела дома остаться... Нет, здесь только Катерина виновата... И сама... Сама... Сама...

Двое суток она лежала, не поднимаясь. Мечтая о горячке, в бреду которой всё забудется. А, быть может, ею и вовсе всё кончится. И мука кончится. Но природа, так поскупившаяся на здоровье для Серёжи, с избытком дала оное Але. Не было ни горячки, ни бреда. Лёгкая простуда и слабость. Тем не менее, Марья Евграфовна оставила её у себя и по её просьбе никого к ней не допускала.

Покинув амбулаторию, Аглая пошла не домой, а в божелесье. На их место... Каждый шаг ногу жёг. Каждое дерево смотрело презрительно. И сама себя презирала Аля. Его она завидела издалека и затаилась. Он бродил у омота, печальный, подавленный. То и дело останавливался, прислушиваясь. Ждал её... А она не смела отныне приблизиться к нему. Посмотреть ему в

лицо, в глаза. Она беззвучно плакала, глядя на него, пока он, наконец, досадливо преломив и бросив ветку, не ушёл...

Тогда Аглая, едва держась на ногах, спустилась к омуту. Вживе вставали в памяти мгновения, проведённые здесь вместе. Больше не повториться им. Никогда больше не посмеет она поднять на него глаз. Никогда не оправдается в его глазах. Невозможно рассказать ему о случившемся. Ему! Высокому... Благородному... Об этом стыде и ужасе... Лучше умереть. И пусть забудет её. И будет счастлив с достойной его... Если уж горячка не взяла, так омут холодный удружит. Исцелит навсегда от муки...

Через мгновенье ледяные воды уже сомкнулись над её головой, но в следующую секунду чьи-то сильные руки вытащили её на поверхность. Из бесчувствия Алю вывела несильная, но крепкая оплеуха и крик:

— Ты что, ошаломутила совсем?! Дура чёртова! Убить бы тебя за такое!

— Зачем убивать... Просто не надо было мне мешать... — отозвалась Аглая, тускло глядя на Тёмку. Тот стоял перед ней, насквозь мокрый, жилистый, грозный. А лицо его выражало смесь испуга, злости и жалости.

— Ты, что ли, следил за мной, Артёмушка?

— Не за тобой, — хмуро отозвался Тёмка. — За ним... Думал, увижу, как вы с ним милуетесь, так и пришибу его.

Аля поднялась и горько, отчаянно расхохоталась. Тёмка с тревогой посмотрел на неё:

— Ты чего, а?

Аглая перестала смеяться, шагнула к нему:

— Ударь меня ещё раз.

— Чего?

— Побей меня, говорю. По-настоящему побей. Как мужья неверных жён бьют.

— Ты дурь свою брось, слышь! Я тебе пока что не муж!

— Всё равно побей. Может, мне легче станет, если кровью изойду...

— Бросил, что ль, тебя твой барчук? Ты и бесишься? Вестимо дело! Эх, взять бы вожжи да отодрать тебя! Чтобы дурь из башки вышла!

— Так возьми. Вожжей нет, так, вон, сколько прутьев кругом растёт.

Тёмка зло сплюнул:

— Да поди ты!.. Помешанная!

Аглая опустила голову, всхлипнула. Ей было нестерпимо жаль себя. Тёмка нахмурился, опустил свою тяжёлую лапищу ей на плечо:

— Ну, чего ревёшь-то? Дурёха ты, дурёха... Эх-х... — помолчал немного. — Вот что, реветь ты брось. И дурить брось. Топиться опять соберёшься — выволоку, не сомневайся. Мне ведь без тебя жизни нет.

Аля подняла голову:

— Что говоришь-то? Жизни нет... Ты же не знаешь ничего...

— И не хочу знать, — резко ответил Тёмка. — Что там промеж вас было... Твоё дело. А я своего слова назад не возьму. Иди за меня замуж. Прошлого тебе напоминать не стану, слово даю. Будем жить, как все. Жизнь всё на места и расставит.

Какое-то смутное, болезненное чувство шевельнулось в душе Аглаи. Что ж, может, так и лучше... Пусть тварью считает, легче забыть ему будет. А Тёмка — парень горячий, руки, что твои лопаты. Глядишь, душу-то и выбьет. Не то так тело истерзает, что душа забудется.

— Поцелуй меня, Артёмушка...

— Чего? — опешил Тёмка.

— Поцелуй меня, — попросила Аглая, подаваясь вперёд.

Тёмка оправил усы, робко привлёк её к себе и поцеловал коротко, но жарко. И что-то полыхнуло внутри, толкнуло словно. Прошептала Аля, точно в лихорадке:

— Вот что, Артёмушка, если хочешь, чтоб я твоей была, так теперь же вези меня, куда хочешь, и обвенчаемся! Сейчас я с тобой куда хочешь поеду, а завтра, гляди, опамятуюсь и слово своё назад возьму!

Глаза Тёмки вспыхнули, он крепко стиснул её запястья:

— Не дам я тебе слова твоего назад взять. Сегодня же всё чин чином будет. С попом и свидетелями. К дядьке Фоме покатым. Он всё в два счёта устроит! Айда! — с этими словами он подхватил Аглаю на руки, понёс к лугу, куда уже выгнали ребятишки лошадей в ночное. Здесь, отличив своего гнедого трёхлетка, проворно усадил её ему на спину, вскочил следом сам, не смущаясь отсутствием седла, крикнул что-то гортанно, и конь поскакал, оставив позади изумлённо разинувших рты мальчишек.

Аля не сопротивлялась, всецело отдав себя во власть Тёмки с той отчаянностью, с какой только что бросалась в омут.

Вскоре были уже у Фомы Мартыновича. Тот, нежданно разбуженный, вначале осерчал, но, узнав в чём дело, и окинув Аглаю взглядом, каким бывалый коневод оценивает породистую кобылу, заключил довольно:

— Знатную ты себе жену отхватил, крестничек! Таковую и украсть — святое дело! А что же мне вам попа тоже посреди ночи поднять и подать?

Тёмка молча кивнул.

— Экой ты! — ухмыльнулся Фома, снова окинув Алю плотоядным взглядом. — Поди невтерпёж? Понимаю! — шепнул крестнику на ухо так, что Аглая расслышала: — А я бы в твои годы такую кралю, пожалуй, и без попа...

А там бы уж и замолили грешок... Прости Господи! — перекрестился размашисто. И уже громко произнёс, поскребя рыжеватую бороду: — Ладно уж, будет вам поп. Только давеча сидели с ним — чаи распивали да в пьяницу играли со скуки. Мадерцею угощал его. А с урожая завсегда и пшенички ему, и сенца для его коров — ничем не обижаю. Чай, и он моего крестничка не обидит. Скажите ему, что грех покрыть хотите.

Фома Мартынович повёз неожиданных гостей к священнику, самолично заложив для того коляску.

Отец Кондратий, дородный, средних лет батюшка высунулся на осторожный стук в ставню и, увидев знакомое лицо, приложил палец к губам:

— Сейчас выйду, не шумите. Дети спят.

Через несколько минут он появился на крыльце в одном подряснике, зевая и на ходу натягивая сапоги. Фома Мартынович коротко изложил ему суть дела, кивнул на Алю с Тёмкой:

— Вот, батюшка, соедините сего голубя с сей голубицей!

— Без родительского благословения? — робко нахмурился отец Кондратий.

— Родители благословят, не сумлевайтесь.

— Тогда зачем же такая спешка? Неужто даже до утра потерпеть нельзя было?

— Ну, так ведь дело молодое, батюшка. В такие годы кровь горяча, и ночь не в ночь, и день не в день. Это нам с вами теперь печку бы теплую да перину мягкую, а по молодости-то — эхма!

— Да будет вам! — махнул рукой священник. — Бог с вами. Сейчас разбужу матушку и нашего старшенького и как-нибудь... Хотя не дело вы затеяли, не дело... Что за блажь? Будто тати ночные под венец идти...

А потом было венчание. Маленькая церквушка, специально открытая в неурочный час. Заспанный, беспрестанно зевавший мальчонка, прислуживавший

отцу Кондратию. Дородная подстать мужу, румяная матушка, смотрящая добрыми, безмятежными, словно у коров, глазами — свидетельница Аглаи. И Фома Мартынович — свидетель Тёмки.

— Артемий, берёшь ли ты в жёны сию Аглаю?

— Аглая, берёшь ли ты в мужья сего Артемия?

И свечи... И строгие лики, безмолвно взирающие со стен... И Архангел Михаил с обнажённым мечом — грозный, пугающий. И — Страшный Суд. В последний момент Аглая разглядела его. Спас на облаке в окружении ангелов с мечами, праведники восстающие, а внизу преисподняя. На дне её — страшный змей. И туда, в бездну эту мерзкие чёрные существа сталкивают грешников. Але вдруг почудилось, словно это её саму толкают в неё, прямо к зловонному змею, на вечную погибель и проклятье... Она едва не лишилась чувств, но Тёмка подхватил её, бережно вывел на воздух, усадил в коляску. Тронулись в путь крупной рысью. От свежего ветра стало легче, недавнее наваждение рассеялось и откуда-то вдруг явилось странное, незнакомое ей чувство, совсем слабое и оттого неопределённое.

Ещё не занялось солнце, когда они достигли заимки. Фома Мартынович проводил их в маленький домишко в две комнаты с крошечной летней терраской и, лукаво подмигнув крестнику и похлопав его по плечу, укатил восвояси.

Аглая присела на кровать, посмотрела на застывшего в нескольких шагах от себя Тёмку. Тот судорожно сглотнул, сказал, отводя глаза:

— Не зябко тебе здесь, жена?

Аля мотнула головой.

— И то правда. Лето ж... — Артём нерешительно приблизился, подёргивая рукой и неровно дыша. — Да... Неплохое лежбище у дядьки Фомы. Вот же... Простым батраком был, да... А теперь! Даже домишко охотничий

заимел. Чисто барин, — он осмелел и, сев рядом с Аглаей, приобнял её за плечи: — Ну ты, жена, обожди! У нас ещё не такие хоромы будут! Я ж, ты знаешь, работать умею! Я так работать стану, что ты у меня как барыня жить станешь!

Он страстно говорил, смотрел обжигающим, томящимся взглядом, и то чувство, которое родилось по пути сюда, усилилось, стало теснить грудь, распалая её не любовью, как бывало у омута, а тёмным вожделением. И прикосновения мужа не стали ей нисколько противны, как ожидала она. Но оказались желанны и приятны... Значит, поделом... Значит, такая и есть она, за какую её принял страшный человек, какой сама себя она не ведала, а теперь, пробуждённая, узнала. И не место ей рядом с Родионом Николаевичем. Негожа она, подлая, ему, такому благородному, самому лучшему человеку на свете. Только бы забыл он её скорее, проклял бы в сердце своём и забыл. А ей теперь по своей худой дорожке брести... Простите, Родион Николаевич... Не поминайте лихом... И дай Бог хоть вам настоящего счастья...

Утром Але привиделся кошмар. Будто бы она, нагая, стоит на краю бездны, на дне которой лежит, испуская смрад, змей. А черти толкают её вниз, колют вилами, жгут огнём. В отчаянии она поднимает взгляд к небу, умоляя о спасении, но Тот, Кто восседает на облаке сокрыт от неё, не достойной видеть Пречистого Лица. И один из чертей с лицом страшного человека со смехом толкает её в грудь, и она летит вниз, в бездну...

Аглая проснулась в ужасе и уткнулась лицом в мускулистое плечо мужа, ища защиты...

На заимке они провели несколько дней, пребывая словно в угаре. Удивлялась Аля себе новой, незнакомой. И боялась себя. А Тёмка счастлив был. Лицо его всё это время лучилось блаженством. И снова и снова обещал он ей почти барскую жизнь, построенную своим трудом.

От Фомы Мартыновича наезжал посыльный — привозил еду, которая поглощалась с большим аппетитом. Аглая ходила по дому полуодетая, не стесняясь. Время от времени рассматривала себя в небольшом зеркале, ища, как отразились перемены, случившиеся в душе, во внешности. А Тёмка смеялся, не понимая:

— Экая ты! Не налюбуйешься на себя! Не глядись, я и так тебе скажу, что красней тебе нет!

Однако же, пора было и возвращаться. Летом один день год кормит. Работать надо.

— Ничего! — бодро говорил Тёмка. — Мы своё возьмём! Нас и на день хватит, и на ночь силёнок занимать не придётся!

В Глинское выехали затемно, чтобы со ртами раскрытыми не встречали и глаз не пялили. Сперва в мужнин дом прошли. Антип Кузьмич встретил сурово, но быстро отмяк, махнул рукой:

— Ладно уж! Совет вам да любовь, дети! Живите.

Засуетилась обрадованная Марфа Григорьевна, расцеловала сына и сноху, утёрла платком слёзы:

— И детишков чтоб побольше! И дом полная чаша! И чтоб душа в душу, как мы с Антипушкой...

— Полно молоть! Самовар ставь! — велел Антип Кузьмич.

Покуда завтракали, уже и белый день расцвёл. Жаркий, какие только в июле бывают. Того гляди сожжёт тебя солнце. Засобирались теперь к Игнату Матвеичу на поклон. Прошли немного и заметили вдали какое-то необычное оживление у церкви, словно бы сход. Да шумливый такой.

— Что это наши там собрались? — прищурился Тёмка. — Конокрада, что ль, поймали? Орут уж больно. Пойти поглядеть...

Но Аглая потянула его в другую сторону:

— Сперва моего отца уважим, а потом на погляд пойдёшь.

— И то верно.

Едва несколько шагов сделать успели, как навстречу им выбежал Серёжа. Вид у него был смятённый, растрёпанный, совершенно растерянный. Аля кинулась к нему:

— Что, Серёжа? Что-то случилось?

Брат посмотрел на неё как-то шало, словно пытаюсь собраться с мыслями. Ответил со странной гримасой:

— Д-да... Брат родился... И... война началась!

Аглая отступила на шаг, покосилась на вытянувшегося, точно уже скомандовали ему «смир-рно!», мужа и поднесла руку к сердцу. Теперь уже отчётливо слышала она сквозь доносившийся от церкви разноголосый гомон одно непрерывно повторяющееся слово:

— Война! Война! Война!

ПОЛЫМЯ

Глава 1. Живой

Война есть зло. Зло априори. Зло, потому что несёт с собой разорение и страдание людям. Ожесточает нравы. Стирает грани дозволенного, разнуздывая инстинкты. Теоретики, впрочем, полагают, что без войны нация растлеваются, что война мобилизует силы нации, омолаживает кровь. Что за нелепица! Разве не лучшая часть нации гибнет в войнах? Лучшая во всех смыслах? В смысле физическом, ибо калек на войну не берут. В смысле духовном, ибо трусы, шкурники, хороняки на войну не идут, а сидят в тылу. И рассуждают. О патриотизме! И о высоте подвига! И о красоте войны!

В первые месяцы безумия заливались поэты наперебой:

Когда Отечество в огне
И нет воды — лей кровь как воду...
Благословение народу.
Благословение войне!⁵

Но, благословляя войну, отнюдь не спешил автор этих виршей лить собственную кровь в имя благословляемого народа. А ему вторил, завывая от имени мнимой «простой бабы» другой «храбрец»:

Но не страшно бабьему
Сердцу моему,
Опяшусь саблюю
И ружьё возьму,
Выйду я на ворога,
Выйду не одна,

Каждой любо-дорого
Биться, коль война.⁶

Определённо, последний стыд потеряли господа поэты! Подобную белиберду не совестно ли было писать самим? Поэзией величать? Хотя какое там! Если уж Сологуб Фёдор до такого «гениального» дописался:

Да здравствует Россия,
Великая страна,
Да здравствует Россия,
Да славится она!

Самый отсталый гимназист младших классов такой пошлости не сочинил бы. А ведь это «поэзия» мэтра!

Надёжин отбрасывал газеты с гримасой. На фронт вас, господа белобилетники — там и пишите подобную чушь.

Бальмонт был откровеннее. Бродила по рукам мерзость, адресованная «русскому офицеру»:

Грубый солдат! Ты ещё не постиг
Кому же Ты служишь лакеем?
Ты сопричислился — о не на миг! —
К подлым, к бесчестным, к злодеям.
Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.
Низкий. Как пал ты! В трясине! В глуши!
Труп Ты — в гробе червивом!
Кровью Ты залил свой жалкий мундир,
Душою Ты в пропасти тёмной.
Проклят ты. Проклят Тобою весь мир.
Нечисть! Убийца наёмный!

За такое бы в приличные времена приличные люди поучили господина пиита хорошим манерам у барьера... А тут — читали. Обсуждали. В салонах, знать, и соглашались. К гадалке не ходи. А почему бы и нет? Коли в офицерских собраниях позволяли себе похабные анекдотцы о Царе? Об Императрице?..

Сколько наивных глупцов славили войну в её первые дни... И негодовали на скептицизм! Война — гибель нации? — зашикают, как на крамольника. Исторический факт: французскую нацию убила революция и война. Вернее, войны столь чтимого всеми военного гения Бонапарта. Нацию русскую должна была теперь свести в могилу война и... революция.

Омоложение, оздоровление крови! Ох и изрядно оздоравливалась она, когда цвет нации гиб на передовой. Гибли те, кто первыми шли в бой за Веру, Царя и Отечество. Не зная, что этот бой не столь уж и важен. Что главный, самый страшный бой впереди. И в нём-то как понадобятся все эти верные Богу и Престолу! А их — не будет. Потому что они останутся лежать в чуждых землях, на которых невесть ради чего лилась русская кровь. А шедшие следом уже не будут иметь того незыблемого чувства, уже поколеблены будут... И бой главный окажется проигран.

То, что будет именно так, Алексей Васильевич знал настолько твёрдо, как будто всё уже произошло. И то, что война — сугубое зло, не вдруг для себя открыл, а убеждён был издавна. Но когда полыхнула она, когда потянулись к западным рубежам вагоны с протяжно поющими солдатами, а назад — с убитыми и ранеными, когда первый вдовий плач огласил деревню, не позволила душа уклониться. Никакой логики, никакого рассудка не было в его решении. А что же тогда? Глупая сентиментальность, присталая восторженному юнцу, но не умудрённому учителю? Патриотизм, о котором из-за опошления понятия и заикнуться-то стало

неловко? Некий инстинкт, дремавший в мирную пору? Он и сам затруднялся сформулировать точно. Просто не мог отсиживаться в тишине и мире, когда другие проливали кровь. Не позволяла душа...

Сонюшка благословила. Хотя и невероятно тяжело ей было. Да и самому покинуть её с тремя малышами — куда как невыносимо. Но она — поняла. Как понимала всегда. Во всю их трудную, щедрую на испытания жизнь. Не удерживала, не отговаривала, не плакала, боясь огорчить...

Марочки уже не было к тому времени в деревне. Она уехала на фронт в первые недели войны. Оставила амбулаторию на попечение Аглаши, собрала маленький саквояж и, простясь со всеми, отправилась. В третий раз покинула кров, чтобы служить страждущим там, где более всего это служение требовалось. А ведь могла же и она остаться. После всех мытарств... Устроить госпиталь здесь, как многие сердобольные дамы. Но это было естественно для них, а Марочка не могла делать что-то наполовину. Только отдаваясь своему служению целиком...

У Надёжина такого максимализма не вышло. Хотя он и попал на фронт в чине вольноопределяющегося, но в самих боевых действиях не участвовал, будучи определён на штабную должность. Бумажная работа тяготила его своей рутинной, зато оставалось довольно времени для размышлений и дневниковых записей, которые Алексей Васильевич взялся исправно вести. Он немало времени проводил с солдатами, разбирая их нужды, помогая писать письма, по желанию обучая грамоте. «Учитель» — это прозвище закрепилось за ним и произносилось с уважением. Находить общий язык с солдатами было несложно. Суть те же мужики, среди которых он жил, чьих детей пестовал. Сложилась отношения и с офицерами, ценившими надёжинскую начитанность. Длинными дождливыми вечерами во

время затяжных позиционных боёв, выматывающих силы и душу, чем было скоротать время? Картами. И разговорами. Для последних Надёжин был незаменим.

Война неумолимо затягивалась. На австрийском фронте случались славные победы и прорывы, но велика ли честь одолеть австрияков? Труссы искони. Немцы — дело иное. Эту железобетонную стену никак не удавалось прошибить. Хуже того, эта стена теснила. Заставляла отодвигать линию фронта. Что-то тягостно бессмысленное было во всём этом нескончаемом действе. Тут уж не сражения, не доблести военные решали исход, а — выносливость. Чьи силы и нервы измотаются раньше. Почему, в сущности, русским должно было измотаться раньше? Враг ведь ещё и не ступил, по крупному счёту, на русскую землю. Вся Россия лежала за спиной воюющей армии, живя своей обычной, лишь отчасти измененной войной жизнью. И какая силища могла эту громаду одолеть? Между тем, германские ресурсы были на исходе. Но... Почему-то ощущалось, что дрогнут вперёд именно наши ряды. Может, и вернее была бы победа, когда бы немцы прошли вглубь страны... Тогда бы заговорил народный дух, и народ встал на защиту своей земли. А так... Война оставалась для народа чужой, идущей за чужие земли и интересы, приносящей лишь напрасное разорение. За что была эта война? За что была война Японская? За что-то вовсе неведомое народу. Да и многим ли ведомое? Конечно, горячие патриоты вспомнили бы в ответ на это о Босфоре и Дарданеллах. Но это — аргумент для политиков, полководцев и романтиков. Не для «серой скотинки», загнанной в окопы. Не для народа.

Подолгу разговаривая с солдатами, Надёжин видел, что в них нет того боевого духа, который даёт победу. А есть усталость. И желание вернуться домой, к семьям, к труду. И раздражение против тех, из-за кого оно не

могло осуществиться. Скоренько и подсказывали из-за кого — из-за собственного правительства и Царя. Показывали Алексею Васильевичу соответствующие листовки. Объяснял он, что стоит за подобными призывами, но, как доходило дело до правительства, присыхал язык к гортани. Как прикажете *этих* защищать? Ведь ни единого почти человека путного не осталось в кабинете! Один другого краше! Как могло так случиться? Какая злая сила наворожила? Чтобы в богатейшей умными и талантливыми людьми стране министрами поголовно оказались серости и бездарности? А то и хуже...

Да ведь их — не Государь ли назначал?..

Но Государь — помазанник Божий. Опутали его, как сеть, разные тёмные личности, и... А он — не понимает? Не видит?

Вот, и пойдя растолкуй мужику, отчего всё так происходит... Ну разве что про большевичков и им подобных знатно пояснить сумел. И по программам их, и по личностям.

Но как пробудить монархическое чувство? А ведь прежде не нужно было пробуждать его. Или прежние цари были лучше? Да нет. Мужикам, по крайности, ни при одном Царе не жилось вольготнее. Так отчего же монархическое чувство уснуло? Нет, для большинства монархия, царь-батюшка было нечто незыблемое, само собой разумеющееся. Но незыблемость эта мёртвая была. Вроде бы так установлено. Но измени установку — и подчинятся новой. И быстро подчиняться. Лишь плечами пожмут...

Так и вышло в проклятом марте 17-го. Когда зачитан был манифест об отречении... Всё кипело в груди Надёжина. Отрёкся! Отказался от борьбы! Как? Почему? Боялся пролить кровь... Предпочёл пожертвовать собой... Но... до чего же глупо!.. Да, некогда праведные Борис и Глеб предпочли смерть усобице с братом. Но на

них не лежала ответственность за судьбу целой страны, целого народа! Мог Государь не защищать себя, смиренно принимая испытания, вверяясь в Божию волю, но защищать народ неужели не обязан был? Или же те тати, что потребовали у него отречения, оказались в его понимании изъявителями народной воли? Не вмещалось ни в голову, ни в сердце...

А тёмный вал всё поднимался. Доходили жуткие подробности расправ над офицерами... Приехавший из отпуска штабс-капитан Десницын рассказывал о столичной вакханалии, которую прославляли теперь, как торжество свободы. Кровь невинных — это свобода? Убийства офицеров и городских — это свобода? Грабежи и насилия — это свобода? Свобода! Что призрак ненасытный! Крови жаждущий... Свобода! С пулемётной лентой через грудь и штыком наперевес, с озверевшей мордой пьяного мерзавца — в таком обличи пришла она к нам, долгожданная! И то ли будет ещё...

— Алексей Васильевич, солдаты хотят, чтобы вы у нас стали комиссаром.

Закашлялся Надёжин, когда румяный ефрейтор из Саратовской губернии заявился к нему с таким предложением. Это насаждали теперь не имеющие власти калифы на час — комитеты, комиссары... Аж передёргивало от самого названия. Комиссар! Ему, Алексею Надёжину — да на революционную должность? Вроде как на передовую революции?

— Нет, неверно вы рассуждаете! У нас это нововведение — по приказу. Солдаты вам оказали доверие, зная ваши убеждения, не смущаясь ими. Рассудили благоразумно, что великая редкость теперь, и нужно поощрять. В кругу офицеров — вы свой человек. Да лучшей кандидатуры быть не может, чтобы всё осталось на своих местах, и не было безобразий! А если другого выберут? Из революцион-нэров? Кому же,

помилуйте, лучше будет? Тогда прощай дисциплина, и шабаш!

Эти-то доводы штабс-капитана Десницына, поддержанного другими офицерами, и заставили Надёжина скрепя зубы принять сомнительную должность. В ней он, впрочем, не чувствовал особого себе стеснения. Только всё бессмысленней становилась и без того бессмысленная война. Тыл стремительно разлагался, заражая трупным ядом и фронт. Откатывались назад деморализованные русские части. А утратившие чувство реальности калифы кричали о войне до победного, о верности союзникам. Союзники! Вот, кто в первую голову волновал их. Как Франция посмотрит, да что скажет Англия. Но что взять с них? С заискивающих похвал от западных дипломатов, добрую часть карьеры своей расшаркивавших перед ними... Но не то же ли, пусть и не в таком постыдном виде, было прежде? Не русской ли кровью была куплена французская победа под Верденом? Что нам был тот Верден... И Франция... Что столько русских жизней не пожалели... Верность союзникам! Союзникам, которые сами не способны к верности. Во всяком случае, нам... Но химера эта так околдовала умы, что только и слышалось отовсюду — *союзники!* Да не шут бы с ними? Сколь бы меньше позора от сепаратного мира было...

В августе, в самые горячие дни, когда в Москве отгремело знаменитое совещание, и высоко-высоко зажглась пробуждающая во многих надежду звезда генерала Корнилова, Алексей Васильевич был тяжело ранен осколками разорвавшегося рядом снаряда. Ранение было столь тяжёлым, что врачи сомневались, удастся ли ему выкарабкаться. Приходилось почти заново учиться ходить, говорить... Когда он немного пришёл в себя, то оказалось, что Временного правительства больше не существует. Большевики взяли власть...

Он лежал на больничной койке лазарета Софийского монастыря, вслушиваясь в перезвон колоколов, созывавших на службу, и мучительно вспоминал. Вспоминал, что было с ним в долгие недели полубреда. Помнилось, что сперва лежал он в другом лазарете. Ближе к передовой. А потом был санитарный поезд... И в какой-то момент, придя в себя, он увидел над собой лик... Марию... Марочку... И что-то говорила она, касалась пылающего лба прохладной ладонью. Сон ли то был или явь? И где было это? На передовой или в поезде? Или в каком-то другом лазарете? Ах, как не хватало её теперь! И узнать бы, что с ней... И дома — что? Почта стала работать по-революционному: письма шли месяцами, а то и не доходили вовсе.

Слава Богу, что привёл именно сюда. В Покровскую обитель. Поручил заботам дорогой матушки Софии.

Далеко-далеко от матери городов русских случилась их первая встреча. В незабвенной Оптиной, куда матушка, духовная дочь оптинских старцев, приезжала, как могла, часто. В ту пору она была настоятельницей одной из беднейших обителей — «Отрады и утешения», расположенной на живописном берегу Оки в Тульской губернии. Когда несколькими годами прежде две молодые монахини, ищущие места, где обосноваться самостоятельно, устроив свою общину, приехали туда, там высилась лишь заброшенная церковь во имя Иоанна Милостивого с выбитыми окнами и проваленной крышей. Окрестные жители, большей частью, рабочие Дугинского завода, были людьми духовно одичавшими и встретили сестёр весьма недоброжелательно.

Однако, с Божией помощью мало-помалу жизнь стала налаживаться. Маленькая община жила по строгому уставу, пребывая в труде. Постепенно возрождался заброшенный храм, а с ним — и помрачённые души людей. И вот уже приезжали туда из столиц. Интеллигенция. Иные и вовсе неверующие. Но

пожив среди сестёр, приобщась духу обители, обращались ко Христу. Матушка София имела великий дар влиять на людские души. Влиять, никогда ничего не навязывая...

Удивительна была судьба этой женщины, в которой решительно всё оказывалось промыслительно. Рано лишившись отца, маленькая Соня воспитывалась в Белёвском женском монастыре. В детских играх она часто изображала игуменью: облачалась в длинную пелерину, становилась на возвышение и благословляла брата и сестру, которые кадили ей, размахивая катушками, привязанными на нитках.

Позже, гостя в калужском имении бабушки, Соня часто бывала в Оптиной. Однажды после службы старец Анатолий (Зерцалов) вышел с крестом и подозвал девочку:

— Пропустите игуменью!

Когда она, удивлённая, подошла, он подал ей крест, чтобы она приложилась, погладил по голове и добавил:

— Какая игуменья будет!

Старец же Амвросий при встрече с Соней поклонился ей в ноги...

Однажды во время молотьбы в овине к матери Софии подошла калека-крестьянка и сказала, кивнув на неё:

— Ты свою дочь замуж не выдавай. Я сегодня сон видела. В иконостасе вместо иконы Божьей Матери была твоя дочь!

Однако, несмотря на эти пророчества, сама София в юные годы ещё не думала о монашестве. Обладая прекрасным голосом, она поступила на певческое отделение Киевской консерватории, педагоги которой прочили ей большое будущее. Однако, этому не суждено было сбыться. София сильно простудилась и полностью лишилась голоса. Вдобавок последствия болезни оказались столь серьёзны, что врачи

заподозрили чахотку и рекомендовали ей лечение за границей.

Прежде чем уехать, София отправилась в Свято-Троицкую обитель, где ей было даровано чудесное исцеление — впервые после десяти месяцев молчания она смогла говорить... Это чудо решило судьбу девушки. Вскоре она приняла постриг...

В первую же встречу в Оптиной матушка пригласила Надёжиных навестить свою маленькую обитель. Приглашение было с благодарностью принято.

Монастырь «Отрада и Утешение», получивший это имя в честь хранившегося в нём образа Богородицы, был расположен на высоком холме и окружён рощей по-ужному белостволых берёз. Дивный вид открывался отсюда: прекрасная долина, покрытая ковром полевых цветов, позади неё извивающаяся меж берегов Ока...

Обитель была крайне бедна и жила одним днём, но в этой бедности особенно проникнуто всё было духом подлинного, исконного христианства. Здесь жили по заповедям буквально, следуя им всякое мгновение. Такими, должно быть, были первые общины христиан, в которые не вкрался ещё мирской дух попечения о внешнем. Восхитительны были и богослужения в восстановленном, с любовью украшаемом в праздники руками насельниц храма. Более сотни душ спасалось в беднейшей обители, не имея никаких доходов и при этом помогая нуждающимся, заботясь о полусотне сиротах созданного при монастыре приюта. Чем жили они? Откуда что бралось? Словно бы ежедневно повторялось здесь чудо насыщения семью лепёшками и двумя рыбицами...

А ещё матушка, обладавшая даром слова и большой мудростью, публиковавшая стихи и прозу под инициалами «И.С.», часто устраивала беседы с сёстрами и приходившими на них мирянами. Беседовали обычно о жизни великих подвижников, эпизодах Святого

Писания, жизни самой обители... Сколько подлинной просвещённости было в этих беседах! Подлинным духовным счастьем было слушать игуменью Софию.

— Знойно и душно стало в мире от усилившегося развращения обычаев и нравов. Вместо имени Божия и Его власти, призывается имя и власть Его противника и исконного человекоубийцы, вместо истины царствует ложь, вместо чистоты ума и сердца — распущенность. Ныне, более чем когда-либо, исполняются слова Спасителя: Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку — домашние его⁷. Ныне жена не стала понимать мужа, занятого только пустыми материальными расчётами, муж — жену, ищущую Бога; ныне брат восстаёт на сестру за её любовь к целомудрию, а мир презирает, гонит и попирает решительно всё, что может напомнить ему о Христе и Его заповедях. Теперь именно настал тот великий духовный голод, о котором предсказал великий Псалмопевец и Царь словами: Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими⁸. Душа задыхается в миру, одурманивается и, если не убежит от мира, скоро умирает мучительною смертью или самоубийства, или конечного отпадения от Бога и сатанинской вражды на Него. Жалкая, чуткая душа, ещё не успевшая оскверниться в чаду угара мирской жизни и грехов человеческих, стремится вырваться из мира, уйти туда, где небо чисто, где дышится ей легко, где воздух не заражён изменой Богу, чтобы там вздохнуть легко и набраться сил для борьбы со злом, грехом, со своею плотью, воюющей на душу, и с пакостником её, богоборцем-диаволом...

Позже не раз порывался Алексей Васильевич с женой снова навестить полюбившуюся обитель. Но не судил Господь. А затем и матушка София покинула её, став игуменьей киевского Покровского монастыря.

И вот теперь нежданно свидеться привелось.

Колокола всё пели, и Надёжин с трудом, преодолевая мучительное головокружение, поднялся с постели, опёрся на костыль, зажмурился от роящихся в глазах разбуженным ульем точек.

— Куда это вы собрались, Алексей Васильевич? — осведомился лежащий на соседней койке поручик, отложив книгу.

— В церковь... Надо... — слабо отозвался Надёжин.

— Не дойдёте, полноте. Вы же чуть на ногах стоите.

— Дойду... — твёрдо отозвался Алексей Васильевич. — С Божией помощью... Надо с чего-то начинать.

Едва переставляя отвыкшие от ходьбы ноги, он медленно спустился на улицу. Впервые за проведённые здесь дни. В лицо ударило сыровой прохладой и прелью. Осень! Монастырский сад уже увял, заметя потемневшей листвой дорожки, поникнув скорбными в своей наготе ветвями. Ветер тащил по небу неряшливые обрывки туч, изредка, будто обиженно, брызгавшие дождём, но тут же уступавшие место лазури и солнечным лучам. Мерцали в вышине кресты великолепного Никольского собора.

Ещё четыре десятилетия тому назад здесь, в Лукъяновке, и помину не было о монастыре. Вековые деревья шумели, стекая вниз по кручам Вознесенского холма. Но волей Великой Княгини Александры Петровны была созиждена эта обитель, «живой монастырь», как именovala его сама основательница. Живой, потому что призван был к доброделанию, к служению страждущим.

Тяжело больная княгиня слишком хорошо знала, что такое страдания, а потому стремилась облегчать их

другим. Большая часть монастыря была отведена под больничные нужды: здесь располагались большая больница, амбулатория для приходящих больных, образцово устроенная аптека, училище для девочек-сирот, приют для слепых, приют для неизлечимых хронически больных женщин, барак для заразных больных, анатомический покой для нужд больницы, прачечная, странноприимница, куда мог прийти всякий бездомник и найти не только приют, но и заботу...

В считанные годы был устроен этот град милосердия. Принявшая постриг княгиня боялась не успеть того, что считала себя должной сделать. Всё подчинялось здесь её воле. От проектировки, которой занимался её сын, до церковных служб. В монастыре введён был строгий Студийский устав, и Александра Петровна сама следила за совершением богослужения, сама писала расписание церковных служб и старалась присутствовать на всех, подчас сама читая шестопсалмие, часы, канон... Ела она лишь обычную скудную монастырскую пищу из деревянной монастырской утвари.

С таким же смирением служила княгиня больным. Она жила в одной из больничных палат, никогда не закрывая двери, чтобы и в ночное время слышать стоны и жалобы страждущих и идти им на помощь. К тяжёлым больным она вставала по нескольку раз за ночь, мыла, давала лекарства, утешала... И всё это — с видимой лёгкостью, радостностью. Забывая недуги собственные.

Больница Покровского монастыря не имела себе равных нигде в Империи — в монастырской лечебнице могли принимать по пятьсот больных в день, а уже спустя год после её открытия в этих стенах были сделаны первые рентгеновские снимки. Смертность при операциях не превышала 4 процентов, что в те времена было просто невообразимо. Из трёхсот сложнейших операций в год лишь десять оказывались неудачны. В

монастырской аптеке любой малоимущий мог бесплатно получить выписанные ему лекарства, так как производились они в самой обители.

Александра Петровна несла свой подвиг почти два десятилетия. А не минуло и того срока с её кончины, как монахини со слезами вынуждены были отбивать её имя с надгробного камня — чтобы «борцы за народное счастье» не осквернили дорогого праха за принадлежность к Августейшей династии...

Надёжин стоял, прислонившись спиной к стене, собираясь с силами. Вроде и рукой подать до Никольского, а как же тяжело, оказывается! И шагу ступить сил нет! Мелькнула мысль: а не возвратиться ли? Но отринул решительно: надо дойти. Необходимо.

Пошёл медленно, шатко. Был бы поблизости из сестёр кто — помогли бы. Но они — на службе все...

Долог оказался путь. Когда, наконец, переступил, дрожа от слабости, порог храма, была уже середина службы. Алексей Васильевич, стараясь не обращать на себя внимания, прошёл в придел преподобного Серафима Саровского, перекрестился на образ чтимого святого. Присел в изнеможении на лавку у стены. Смотрел подёрнутым пеленой взглядом на светлый лик. Молился без слов. О Сонюшке и детях. О Марочке. Обо всех дорогих сердцу людях... И тоскливо защемило в груди: когда бы домой теперь! К ним!.. Да когда ещё силы вернуться, чтобы столь дальний путь одолеть? Да в революционной круговерти этой? Батюшка Серафим, пособи! Доведи до дома! И как-то потеплело на душе, точно бы отозвался преподобный на слёзную мольбу...

Служба окончилась, а Надёжин всё сидел неподвижно, погружённый в своё, полубесчувственный от изнеможения, но успокоенный, просветлённый. Впервые за всё это время явилась в душе уверенность, что скоро он всё-таки будет дома и обнимет своих.

Чья-то рука тронула его за плечо, и вкрадчивый голос произнёс укорливо:

— Что же вы не сказали, что хотите на службу пойти? Рано вам ещё выходить было. К тому же одному.

Матушка София качала головой, а глаза её радовались. Радовались ему, тому, что он смог этот краткий путь преодолеть.

— Да я ведь по наитию, — отозвался Алексей Васильевич. — Ничего, дошёл. Теперь бы обратно ещё...

— Раз сюда дошли, то и назад сможете, — ободрила игуменья, помогая ему подняться. — Слава Богу, силы к вам возвращаются. Знать, сильно молятся о вас... Иначе бы уже не встать вам. Даже в нашей больнице не выходили бы. Ведь позвоночник! Очень я боялась паралича... А ещё, знать, Александра Петровна помогла вам. Она же, когда в Киев приехала, параличная была. И нежилица... А Почаевская её на ноги поставила. С того наша обитель и началась.

— Жизнь богата чудесами, — проронил Надёжин, щуря отвыкшие от света глаза на небо.

Они медленно шли по сырой дорожке. Матушка София бережно поддерживала Алексея Васильевича под локоть, чуть улыбалась, ободряла ласково:

— Да вы молодцом совсем! Залежались, вижу, на койке больничной. Будем теперь всякий день с вами совершать небольшие прогулки. Покажу вам обитель нашу... Вы ведь ничего ещё у нас не видели тут. Вот, посмотрите, окрепнете, а там найдём способ вас отправить домой...

— Скорее бы! — вздохнул Надёжин. — Стосковался по своим... Так бы и побежал бегом! Да где уж! — стукнул досадливо костылём о землю.

— Ничего-ничего. Вы и не заметите, как быстро время пройдёт. Скоро увидите их... А пока, чтобы отвлечься вам, не хотите с ещё одним чудом ознакомиться?

— Ознакомиться с чудом? Это как же?

— В нашей Ржищевой пустыни, что здесь недалеко, одна из послушниц в конце февраля впала в летаргический сон. Как раз на второй неделе Великого Поста...

— В самые дни отречения?..

— Именно! Сорок дней её не могли добудиться, а в Великую субботу очнулась сама. И рассказала, что сподобилась узреть в это время. Алексей Васильевич! Это потрясает! Сон её был о судьбе Государя... И... о всех нас... Она видела Антихриста, облачённого в алые одежды, и ангелов, и мучеников за Святую веру... — игуменья взволновалась, бледное лицо её зарумянилось, заблестели вдохновенно лазоревые, лучистые глаза, как бывало ещё в «Отраде...», на памятных беседах, когда говорила она о предметах особенно дорогих её сердцу. — Она видела сидящих за столом святых в разноцветных одеяниях, источавших чудный свет. А над этим сонмом в ослепительном сиянии сидел на престоле дивной красоты Спаситель! — матушка прервалась, указала на стоящую рядом скамейку. — Может быть, хотите присесть? Передохнуть немного?

— Да, пожалуй, — кивнул Надёжин, не спешивший возвращаться в опостылевшие стены больничной палаты. — Но продолжайте же, матушка! Что было дальше?

Усадив его и присев рядом, игуменья продолжила рассказ:

— Одесную Господа сидел... наш Государь в окружении светлых Ангелов. Он и сам был подобен ангелу! В полном царском одеянии, в блестящей белой порфире и короне, со скипетром в правой руке. Господа наша Олинька едва могла рассмотреть из-за ослепительного света, но Государя видела отчётливо... Святые мученики беседовали между собою и

радовались, что последние времена уже близко, что скоро верные сподобятся пострадать за неприятие печати Антихриста. Они говорили, что церкви и монастыри будут уничтожены, а перед тем из монастырей будут изгонять живущих в них. И все верующие будут гонимы и мучимы... В ту пору Государя уже не будет среди них, ибо земное время его иссякает. Когда же придёт сам Антихрист, то Святая Лавра и все верные будут взысканы на небеса...

Алексей Васильевич слушал заворожено, забыв даже о головокружении и ломоте во всём теле.

— Поразительно! — только и сумел выдохнуть он.

— Сёстры записали дословно её рассказ, — сказала матушка София. — Хотите прочесть?

— Непременно! Я очень благодарен вам за такое предложение, — Надёжин покачал головой. — Отчего мы так глухи? Ведь на каждом шагу даются нам указания, предупреждения... А мы ничего не замечаем! Кажется, расступись теперь море, сдвинься горы — и то бы не произвело впечатления ни малейшего! Став лишь предметом для учёных споров о свойствах материи, которой теперь пытаются объяснить то, что объяснить невозможно. Люди жалуются, что Бог больше не говорит с ними, как бывало в древние времена, сокрыл лик свой от них... А ведь он всякий миг не просто говорит, но вопиёт к нам! А мы заградили уши и зажмурили глаза... Да, матушка, наступают времена предречённые. Остаётся лишь уповать, что дни эти будут сокращены.

— Они и без того кратки, как миг, — заметила игуменья, взглянув на небо. — Вот, и солнце уже сходит... Ещё один день позади. И слава Богу!

Ещё много дней осталось позади, пока силы возвратились к Надёжину. Наступил 1918-й год, начало которого сковало Киев леденящим ужасом. Хоть и ненадолго пришли большевики в город, а страшной

зарубкой остались эти дни в его летописи... Сотни расстрелянных офицеров и штатских, горы изуродованных тел в городском саду, куда родные ходили искать своих мертвецов, терпя глумления палачей, кровавая бойня в киевском театре... Был разорён госпиталь княгини Барятинской, врач которого повредился рассудком от созерцания происходящего. Врывались звероподобные «борцы за народное счастье» и в обитель, пугая сестёр и больных, среди которых было немало офицеров, скрывавшихся в монастырских стенах от неминуемой расправы. Но, видно, сама Царица Небесная охранила от беды своим покровом...

Большевики властвовали над городом считанные дни. Вскоре вся их разбойничья ватага вынуждена была убраться, уступив город победительной германской армии...

Тяжко было от позора, что враг, с которым сражались столько времени, хозяйничал теперь в самом Киеве, но и успокаивало это: кайзерова армия не красная банда, она, по крайности, даст истерзанному городу порядок... Офицеры переживали позор особенно остро. Но Алексей Васильевич всё же глубоко чужд оставался войне, офицерской закваске. Поэтому вид немецких касок на улицах Киева не приводил его в отчаяние. К тому же он, наконец, ощущал себя достаточно окрепшим для того, чтобы пуститься в путь на родину...

Но прежде, несмотря на всю тоску по дому, Надёжин решил истратить лишние сутки на важный для себя визит... От матушки игуменьи он знал, что совсем недалеко, на Черниговщине, в усадьбе князей Жеваховых Линовица живёт Сергей Николаевич Нилус. Живёт уже без малого год, покинув Валдай, где после революции жизнь стала слишком опасной и трудной. Сама матушка навещала его летом, спеша повидать дорогих людей, пока не пришли грозные дни. Теперь

она не решалась оставить обитель, и Надёжин отважился ехать один. Он не мог не навестить человека, которому чувствовал себя обязанным, перед которым склонял голову. Быть может в последний раз в этой земной жизни увидеть...

Черниговщина! В отличие от центральной России, где не хватало продовольствия, здесь ещё царило радующее глаз изобилие. И мужички местные не тревожно глядели на чужака, а с привычной хитрецей — словно надкусывая. Один говорливый старичок любезно согласился подвезти Алексея Васильевича три версты от железной дороги до «жеваховщины» на запряжённой чалой кобылкой телеге. Всю дорогу слушал Надёжин напевно-переливистую малоросскую речь, любовался первой листвой, окутавшей стосковавшиеся за зиму деревья, с удовольствием подставлял солнечным лучам землистое после болезни лицо. Вбирал в себя торжествующую в природе жизнь...

Наконец, со взгорка открылся вид на усадебный парк.

— Вона она, «жеваховщина»! — кивнул старик.

— Ну, спаси тебя Христос, дед! — поблагодарил Алексей Васильевич, любясь стройными дубами и ясенями, раскидистыми липами... Вот уж должно быть здесь летом хорошо! В таких куцах! Да под южным солнцем... Ах, как хотелось теперь этого солнца! Напитаться им, отогреться в его лучах...

Позади кущ скромно прятался двухэтажный домик светлого дерева, от которого веяло уютом и приветностью.

Иные гости угадывают к обеду, а иные — к обедне. Надёжин принадлежал к числу последних. В Линовицу он прибыл ровно к началу домашней службы Нилусов. Ещё от матушки Софии он знал, что с благословения архиепископа Феофана Полтавского в усадьбе была освящена домовая, как бы катакомбная церковь во имя

Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Серафима. В её устройстве деятельное участие принимала сама игуменья со своими монахинями, а освящал её отец Димитрий (Иванов), настоятель Покровского храма монастыря. Теперь Алексей Васильевич сподобился увидеть эту церковь воочию.

Располагалась она на втором этаже дома. Угол комнаты был отделен перегородкой, образуя алтарь. Сама перегородка была обтянута синим атласом с позументами по краям. Этот же позумент обрамлял иконы Спасителя и Божией Матери. Над ними висели лампы. Царских врат не было, висел лишь голубой атласный занавес. По бокам стояли подсвечники. За престолом висела семейная икона Сергея Александровича, изображавшая Спасителя в терновом венце. Рядом с нею — большой образ преподобного Серафима...

Молились супруги Нилусы по дивеевскому уставу: читали акафист преподобному и параклис Царице Небесной. Вторил им и Алексей Васильевич, не сводя взгляда с лика батюшки Серафима. Вспомнилось, как гостили с Сонюшкой в Дивееве. Что-то там теперь? И даст ли Бог вновь побывать там, поклониться святыне? Но да на всё воля Его... Церковь не в брёвнах, а в сердце человеческом... Всё может отнять и порушить бесовское полчище, но молитвы сердечной отнять не сумеет. И в том единственное спасение в злую годину...

— Сергей Александрович, а встречались ли вам указания о грядущей судьбе России в дивеевских архивах? Не рассказывали ли что-нибудь знавшие преподобного? — спросил Надёжин за ужином. Этот вопрос — предсказания — крайне занимал его последнее время. И Сергея Александровича, по-видимому — нисколько не меньше. Заволновался он, заходил широко по комнате, поглаживая обрамляющую

похудевшее лицо белоснежную бороду. Но не сразу ответил. Лишь собравшись с мыслями.

— Я вам одно только скажу... Батюшка часто говорил близким о грядущих страшных днях. Говорил, что по времени Господь даст еще некий срок России на покаяние. Но если Россия все же не покается, то гнев Божий изольется на нее в еще больших размерах... А иначе и быть не может! У нас всё спорят об идеях... О политике! Экая важность! Политика, может, и имеет значение, но лишь вторичное. Потому что никакая политика не поможет, если Россия, народ русский не возродится духовно, сердцем своим не обратится ко Христу. Если погибнет Православная Россия, то на земле утвердится царство тьмы, что повлечёт неминуемую гибель всего человечества. Мы — последний рубеж... А они... — Нилус повёл рукой, — не понимают того! У них на уме партии, лозунги...

Надёжин задумчиво слушал. Партии, лозунги... В самом деле. Даже в больнице все споры сводились к этому. К политике. Керенский, Корнилов, учредилка, всевозможные «измы»... Звонкие, как всё полое, идеи, столь же звонкие их разносчики. Упавали на кого угодно, искали вождей, и об одном только не вспоминали... Или изредка лишь. И без сердца. А ведь то не большевики были. И не временщики. Всё, большей частью, вполне патриотично настроенные русские люди. Многие — офицерского звания.

До глубокой ночи длился разговор. Напоследок процитировал Сергей Александрович из мотовиловских записок:

— Во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась никакая плоть, если бы, избранных ради, не сократились оные дни, в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда Самим Господом, когда Он на кресте вися, будучи совершенным Богом и

совершенным Человеком, почувствовал Себя Своим Божеством настолько оставленным, что возопил к Нему: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? — Подобное же оставление человечества благодатию Божиею должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое короткое время, по миновании коего не умедлит вслед явиться Господь во всей славе Своей и вси Святии Ангели с Ним. И тогда совершится во всей полноте все от века предопределенное в Предвечном Совете.

Словно напутствовал на путь многотрудный, на испытания грядущие. Расставались на утро, словно родные. Да и как иначе? В малом-то стаде среди зла густеющего, клокочущего, стадо это рассеивающего и сокращающего, как овцам его друг другу родными не быть? Тут-то, когда несколько овец того малого стада сойдутся, и постигается: где трое соберутся во Имя Моё, там Я посреди них. И потому нет ощущения малости, но наоборот полноты... Потому что Он — посреди. И в нём все верные — одна семья...

Покинув гостеприимную Линовицу, Надёжин отправился в дальний путь. Он был наслышан о том, в какой ад обратилась такая обычная прежде езда по железной дороге. Сумасшедшая давка, чудовищная грязь, всевозможные бесчинства. Но не страшило это. Если уж от ранения смертельного поднялся, то неужто до родного дома не доберётся? Да и на кой он «товарищам»? Не офицер, не буржуй, не мешочник... Заурядное лицо в толпе. Да и у преподобного благословения на дорогу испросил. И верилось — охранит, не попустит беды.

В Глинское Алексей Васильевич добрался в радостный день. В праздник. В самую Лазореву субботу. Шёл по селу и краем глаза примечал, как крестятся бабы, завидя его. Поди схоронили уже! А ныне взирают, как на Лазаря, из гроба восставшего. А Сонюшка что

же? Тоже схоронила уже? Или ждала? Верила? Так вдруг волнение разобрало, что в дрожь, в пот кинуло. И хотелось нестерпимо бегом припуститься, но удерживался.

Наконец, на крыльцо родное ступил. Слава Богу, дом не пуст, не заколочен, видно, что уход за ним. Изнутри щебет детский слышался. Вздохнул глубоко, постучал. Раздались шаги мягкие... Не Сонюшкины шаги...

Миг, и открылась дверь. Нет, не бредовое было виденье там, в лазарете... Её лицо он видел над собой! Как лик в окладе убруса-платка...

— Марочка...

Она только руку к груди подняла. И вдруг осела на пол, закрестилась часто:

— Жи-вой... Господи... Жи-и-вой...

Глава 2. Воскрешение Лазаря

Более страшного мгновения в её жизни не было. Более страшного дня. Чем тот... Когда среди привезённых в полевой лазарет раненых, беспорядочно сваленных санитарями на телегу, она увидела его лицо. Неживое... Так показалось в первый миг. Но он дышал ещё. Едва-едва. Опытному глазу нетрудно было определить — с такими ранениями из двадцати один выживает.

И хирург, он же начальник госпитальный, отмахнулся сразу:

— Этот нежилец, ни к чему и время тратить. Тащите следующего, кому ещё можно помочь.

Всегда-то еле притиралась Мария с ним. Был доктор Торопенко хорошим специалистом, но жестоким человеком. А врач, даже на войне, даже видя ежедневно десятки смертей и бездну человеческих страданий, не имеет права ожесточаться. Относиться к больным, как к материи для своего искусства. Врач — это не набор знаний и медикаментов. Это работа души. Не может быть хорошим врачом тот, кто словом готов убить... А Торопенко на такое слово щедр был. Натерпелись от него и больные, и санитары с сёстрами.

В отчаянии бросилась Мария к Валерию Никаноровичу. Молодой врач, он не был ещё таким признанным специалистом, как Торопенко, но отличался большой аккуратностью, а, главное, умением обходиться с людьми. Несмотря на убеждённый атеизм и романтическое сочувствие революции, он, действительно, любил людей. Жалел их. Такое подчас встречается в жизни: в атеисте оказывается больше христианского духа, нежели в ином «христианине». *Да любите друг друга! По тому, как вы относитесь друг к*

другу, мир узнает, что вы Мои ученики. Именно восхищённые духом любви, царившим среди христиан, обращались к истинной вере язычники. Но, вот, до того оскудела она, что иной язычник может служить примером. Не зная Христа, он по духу своему более чадо Его, нежели именующие себя таковыми, а на деле давно отвернувшиеся Отца...

Мария любила Валерия Никаноровича за его чуткость, мягкость, незлобивость. За то, что даже на несправедливо гневные выпады Торопенко не отвечал он тем же. Говорил, что спор с человеком глупым неизбежно принижает умного. Внутреннее чувство собственного достоинства не позволяло ему сходить на уровень обидчика.

Поначалу Валерий Никанорович тоже лишь развёл руками:

— Вы же понимаете, Мари, тут ничего нельзя...

И тогда она упала перед ним на колени, не стесняясь сторонних взглядов:

— Богу всё возможно! Только вы помогите!

Доктор испугался такой горячности прежде тихой сестры:

— Встаньте, встаньте! Я всё сделаю, что в моих силах! Успокойтесь!

Милый, добрый Валерий Никанорович, он, действительно, сделал всё, что мог. И даже более. Но по окончании операции всё-таки предупредил:

— Шансов у него почти нет. Хотя... Чудо, что он жив до сих пор.

— Он выживет! — твёрдо сказала Мария.

— Ну, разве что вашими молитвами! — развёл руками доктор.

Молитвами... Да вся душа её обратилась тогда в одну непрестанную молитву. Один непрестанный вопль к небесам. Чтобы он жил... Чтобы, если надо, её жизнь была взята, или обречена на муки. Какая в сущности

малость... На костёр бы взошла счастливо, если бы он поднялся здоров со своего одра.

И он выжил. Валерий Никанорович удивлённо покачивал головой, поглаживая маленькую бородку:

— Торопенко бы теперь сказал, что его золотые руки и мёртвого оживят. Хотел бы и я так сказать о своих, но по совести не могу приписать своему искусству этот редкий случай... Жаль, что не смогу наблюдать вашего протеже до его выздоровления. Если он встанет на ноги, то, признаюсь, я буду всецело посрамлён в моём скептицизме.

Жаль и Марии было, что не сможет находиться при нём неотлучно... Раненых увозили в тыл, а ей должно было ещё оставаться на фронте. С болью в сердце проводила его, так и не дождавшись осмысленного взгляда, слова, до безумия тревожась, что станет с ним. Когда бы знать, куда везут!.. Да где там...

А через некоторое время из Глинского пришло каким-то чудом дошедшее письмо. Писала сестра. О делах семейных. А среди прочего о том, что заболела Сонюшка. Да по всему видать, серьёзно. И того гляди останутся малыши без призора. Чего, конечно, Анна Евграфовна не допустит...

— Стало быть, не моими молитвами... — проронила Мария, прочтя письмо. Не могла Сонюшка беду не почувствовать. Слишком любила его...

— Что-то случилось? — осведомился проходивший мимо Валерий Никанорович.

— Да. Письмо из дома... Там у нас случилось кое-что. И я должна ехать... Незамедлительно.

— Так вы нас покидаете? — доктор был огорчён.

— Вряд ли и вы долго задержитесь здесь. Фронта уже почти нет...

— Ваша правда. Что ж, позвольте в таком случае от всего сердца пожелать вам доброго пути.

Мария сняла с шеи ладанку, подала Валерию Никаноровичу:

— Вы не верите, я знаю. Но у меня больше нет ничего... Поэтому примите! В благодарность, что тогда не отказали в помощи. И на память... Я за вас всегда молиться буду.

Доктор принял подарок и даже надел на себя, крепко пожал Марии руку:

— Поверьте, мне очень дорог ваш дар. Бога я не знаю... Но в вас впервые увидел Его мир... Другой... И признаться, мне немного жаль, что он мне недоступен. Должно быть он, реальный или вымышленный, не суть важно, прекрасен.

В путь она пустилась, менее всего думая о том, сколь небезопасен он стал. А следовало бы и об этом подумать. Молодой женщине одной среди пьяной орды дезертиров, оккупировавших поезда и запрудивших станции — как путешествовать? Немало страхов натерпеться пришлось за дорогу. Однажды какой-то подвыпивший солдат стал отпускать грязные шуточки по её адресу и делать непристойные намёки. Дружки его лишь похохатывали вокруг. Но всё же и среди них нашёлся один, пресёкший «веселье». Отшвырнул в сторону обидчика, погрозил и ему, и притихшим остальным:

— Я офицеров и прочую сволочь ненавижу, но, если хоть один из вас гад сестру тронет, башку откручу. Такие, как она, нашего брата из-под пуль выносили, от смерти выхаживали! Или шишимор вам мало?!

А сколько ещё приключений выпало — не пересказать. Всё же обминула беда. Добралась Мария до родного Глинского. И прежде чем своих проведать, напрямик к Сонюшке поспешила. А та и не поднималась уже... Лежала на высокой подушке восковая, измученная. Встрепенулась порывисто к ней:

— Марочка! Вернулась! — и помедлив. — Ты Алёшу не видела? Не знаешь ли что о нём? Так давно писем нет... А сон ещё видела... Страшный! Тут и слегла... Видишь, что со мной... Спасибо ещё Анна Евграфовна не забывает, да Аглаша каждый день приходит помогает...

Рассказала ей Мария, что знала. От себя приукрасив немного, желая уверить больную, что с её мужем уж точно всё благополучно, и совсем скоро он будет дома. Поверила, засветилась. Попыталась даже подняться — собрать на стол. Но не достало сил.

Прибежали со двора дети, повисли на высокой, тонкой крестной. Расцеловала их по очереди и принялась налаживать самовар. С того дня она поселилась у Сони, ухаживая за нею, приглядывая за детьми и скудным хозяйством.

А морок всё гуще становился. Истерия зла охватывала землю, называвшуюся уделом Пресвятой Богородицы. Даже крепкие умы и души мutilись от бесовской круговерти, смущаемые вездесущей, нахрапистой ложью. Вот, и в Глинском закрутилось недобро. Столько лет миром жили, а теперь решили мужики, что баре их теснили и грабили. Да не решили даже... А несколько безобразников, из пришлых, да из фронтовиков вчерашних, с фронта давших дёру, да из голыдьбы — крикнули. И подхватили, не размыслив. Одним лишь и руководясь — поживиться от барского богатства. В такие моменты и разумные люди, втянутые в общий водоворот, забывают себя, разбуженному инстинкту зверя следуют. После, когда прочнутся, может, и плакать-каяться станут, но не в этот час! Тут уж людей нет, народа нет, а есть толпа, стадо... Свора... Стая... Инстинкты которой зверины. Такая стая едва не растерзала Марию в холерный год. И ведь тоже в ней не разбойники были, не злодеи. А большей частью добрые люди... Лишь одним только можно стаю остановить — прежде преступления пробудить в ней человеческое.

Пробудить разум, мороком помутненный. Иначе — пропадёшь...

Пропадёшь, как пропал бедный Клеменс, ставший гневно бранить явившихся к его дому мужиков, грозить им. В этой брани и угрозах звериный инстинкт услышал слабость. И лишь рассвирепел. Впрочем, могло и обойтись, если бы не нашлось среди толпы горячей головы из дезертиров. Он-то и застрелил барина. Так. Для забавы. И для утверждения себя в глазах окружающих. До того, как зверь увидел кровь, с ним ещё можно сладить, но после — никак. Запах крови пьянит... Теперь уж не дознаться, кто именно глумился над телом убитого, кто громил усадьбу, кто просто тащил из неё плохо лежавшее (не пропадать же добру!) — ещё и лоб крестя за упокой хозяина, кто в итоге пустил красного петуха... Миром разграбили... Но убили всё-таки не миром. А потому, прочухавшись, осознав грех собственный во извинение его в собственных же глазах разгневались на стрелка. Мол, кабы не он, так они бы с барином без крови поладили. Он хоть и дрянь-человек был, а убивать его не хотели. А к тому глумиться... стыдно было мужикам. Но что поделать? Не добро же растащенное возвращать наследнице. А вот убивца попросили из деревни прочь. Выдать — не выдали. Покрыл мир лиходея от закона, но от себя отторг.

Пришла и к дому Аскольдовых ватага. Одни в подпитье изрядном. Другие трезвые вполне. Здоровые, разумные. Свои глинские мужики, с которыми столько лет трудились вместе. Молодёжь швыряла в окна камни — побили стёкла. Старики осаживали, но перевес был за молодняком. Да и старшие, коим бы удержать, на поводу шли. Чужое добро — великий соблазн! А к тому распалили их — в доме два офицера! Хозяйские сын и брат! Родиона в ту пору в Глинском не было, а Жорж и

впрямь лишь днями возвратился. Кто-то и подзудил фронтовичков-дезертиров...

Николай Кириллович велел жене и дочерям запереться в комнатах. А сам вышел к мужикам. Один. Не выпуская изо рта трубки. Прихрамывая — мучил его ревматизм. И держа наготове заряженное ружьё. Увидев направленный на себя ствол, крикуны немного поутихли.

— Я понимаю, что вас много, а я один, — произнёс Николай, — а, значит, вы, если пожелаете, меня, конечно, убьёте, как Клеменса. Но учтите, что прежде того, все патроны, которые есть в этом ружье, найдут свои цели. Как многим из вас известно, промахов я не делаю. Если есть желающие связать меня, или моего свояка, или кого-либо ещё в этом доме, шаг вперёд.

Толпа замерла. Никто не решался двинуться с места. Слишком знали барина. Знали, что шутить он не любит, а рука у него твёрдая, и глаз не даёт осечек.

— Стало быть, нет желающих? Превосходно-с! — Аскольдов опёрся рукой о перила, не сводя ружья с толпы. — В таком случае, поговорим, как разумные люди. Я вижу среди вас немало зрелых мужей. К ним и обращаюсь. Мы жили бок о бок почти четверть века. Я знаю вас и ваши семьи, равно как вы знаете меня. Я когда-либо обманул вас в чём-либо?

— Не бывало такого! — крикнул за всех один Матвеич, Аглашин отец.

— Я разорил кого-то из вас? Не заплатил кому-либо за работу?

— И того не бывало... — прогудело в ответ.

— Не моими ли заботами явились в Глинском больница и школа? Не моя ли жена давала содержание больным, увечным и выжившим из сил? Не её ли звали вы крестить ваших детей, и она никогда не отказала и не забыла заботой ни одного из своих крестников? Не наша ли сестра лечила многих из вас? Теперь несколько

негодяев, не имеющих за душой ничего, не ведающих ни чести, ни совести вздумали поживиться барскими харчами. Почему бы нет? Ведь у нас нынче не проклятый царизм, а революционная законность! Всё дозволено-с! С них спрос невелик. Они оглашенные. Но вы-то! Вы!.. Неужели вы не понимаете, что эта революционная законность завтра придёт в ваши дома? За вашим добром? За вашими жёнами и дочерьми? Придёт, знайте это уже сейчас! Я знаю вас, как людей разума и дела. Людей основательных. Значит, готовьтесь, что грабители придут и к вам. Потому что, разорив «буржуев», они не смогут остановиться. Грабитель не способен к труду, он может только грабить. Грабить тех, кто нажил добро своим трудом. С каких же пор вам стало по пути с татями и отщепенцами? Кто застрелил Клеменса? Кто был вожаком там? Конокрад! Шельма, которую прилюдно лупцевали на площади! И за конокрадом-то пошли! И не стыдно ли? Куда вас конокрады заведут — поразмыслили? Ну, что молчите?!

Молчали мужики. А некоторые и отходили прочь тихонько. Пьяно рявкнул один из вожаков:

— Да что вы уши-то поразвесили! Кого слушаете?! Контру слушаете! Как он наших братьев честит!

— Замолчь, Миколка! — грозно осёк его кузнец. — Тебя ещё не слышали, орателя... А Николая Кирилыча не замай. Не тебе чета, чай!

— Ах ты, кулацкое отродье, ужо мы тебе! — зло прорычал побагровевший Миколка, и тотчас получил тяжёлую оплеуху от Матвеича.

Разошлись мужики, а на другой день несколько из них, включая и Матвеича с кузнецом Антипом, пришли к Николаю делегацией. Аскольдов принял их в кабинете, не чинясь и не поминая вчерашнего. Говорил за всех Матвеич, недавно избранный старостой:

— Мы, стало быть, Николай Кирилыч, повиниться пришли за давешнее. Бес смутьянов наших попутал. А мы с ними на тот случай пошли, чтобы удержать от безобразия, если что. Не со злым умыслом пошли, верь слову. Ты сына моего в люди вывел, нешто я тебе такой монетой отплатил бы?

— Верю, Матвеич. И зла ни на кого не держу. Кроме разве что... конокрадов...

— Мы к тебе, Николай Кирилыч, ешшо и совет держать пришли. Как жить дальше будем. Окрест сам знаешь, что творится. Помещичьи земли сплошь захватывают, безобразят... Ты-то что делать полагаешь?

— А что делал, то и полагаю делать, — отозвался Николай. — Работать.

— А не боишься?

— Все под Богом ходим. А насчёт земли скажи мужикам, что они могут пахать её этот год. Закона о помещичьих землях пока нет, кто станет завтра у власти — бабушка надвое сказала. Я не хочу смуты. И одному мне с моими домочадцами этой земли не возделать. Поэтому пусть мужики работают. Если наша власть установится, и помещичьи земли признают нашими, то даю слово, что урожай с мужиков не требую. Но если кто-либо посмеет снова посягать на мой дом, то разговоров я более разговаривать не буду. Так и передай всем.

Тем и закончилось дело до времени. Голод пока не тянул к Глинскому своих костлявых дланей. Жизнь шла своим чередом. Разве что тревога висела в воздухе. Тревога перед грядущим днём...

Для Марии же и Сони превыше всех тревог оставалась одна. Неотступная. С *ним* — что же? Ни письма, ни весточки... А Сонюшка таяла день ото дня. Словно свеча. Вздыхала иногда тоскливо, когда детей не было рядом:

— Не дожидаться мне моего Алёши... Ты, Марьюшка, сирот-то моих не оставь. Они тебя любят. Ты им меня заменишь... Мне спокойно будет, если я буду знать, что они с тобой.

Мария обещала. Неужто бы оставила сирот? Сониных детей? *Его* детей? Да ведь ей они — как родные. Души в них не чаяла. Обещая, всё же ободряла больную:

— Он приедет. Он уже совсем скоро приедет.

Вот и Пасха приблизилась. Посветлело на душе, как всегда в эти дни бывало. Скоро запоют по церквям радостно: «Христос воскрес из мертвых, смерть поправ...» Один этот тропарь душу ликованием наполняет, живит. А в преддверье — Вербное... В пятницу наломала веточек, освятила. Теперь стояли они на окошке — скромные, светлые... Чистые. Читала детям Евангелие о воскрешении Лазаря. Любимое наряду с исцелением кровоточивой и воскрешением дочери Иаира. Словно наяву видела она это: выходящий из пещеры обвитый пеленами Лазарь, встречаемый самим Господом и сёстрами... Хвалящие Бога и радующиеся великому чуду люди. И — безумные. Озлобленные. Мрачными очами своими не способные видеть света. Ненавидящие его. Эти — сговариваются убить Господа. А с ним и Лазаря. За то лишь, что он, воскресший мертвец, своим существованием своим обличал их. Как всякий, кто не вмещается в узкие рамки материи, того, что можно объяснить... Пожалуй, фарисеи были, в своём роде, материалистами. Они знали лишь форму. Лишь внешнее. Знали обряды. А Духа не ведали... Поэтому ярились и истребляли носителей Духа. Так и теперь истребляют праведных, как свидетельство о бытии Божиим. Но... «смерть, где твоё жало?»

В этот-то момент и забарабанил кто-то в дверь. И что-то толкнуло изнутри в грудь. Кинулась отворять. И

великим усилием воли удержалась, чтобы от избытка нахлынувших чувств не повиснуть на шее у него, не разреветься по-бабьи, уткнувшись лицом в его грудь, не поцеловать хотя бы руки его...

— Живой! — повторила несколько раз сквозь слёзы и перекрестилась счастливо: — Слава Богу!

Глава 3. Матвейч

Матвейч морщился, то и дело пощупывая жилистыми пальцами впалую грудь. Прихватывало в последнее время, придавливало вдруг, когда особенно густо стягивались тучи, чернея непроглядно в гнилом углу.

— Быть дождю! Как пить дать... Ещё Светлая неделя... Прости Господи!

А ещё суетилась непрестанно Катерина. Экая ж бабища стала! Не подумаешь, что когда-то девчонкой-соплюхой была. Теперь вона — силища какая! Иной раз и втянешь опасливо голову в плечи, как она развопится, осерчав на что-нибудь. Того гляди огреет чем. Раздобрела Катя, огрубела. Голос-то и прежде зычный у ней был, а ныне — хоть солдатней командуй! Хотя с ватагой ребятишек — как ещё? Только гляди за бедокурами и одёргивай голосом, а то и тяжёлой рукой, когда расшालятся.

Дети... Никакого покою от них. Счастье-то оно, конечно, счастье. Но ему, Матвейчу, по летам бы уже внуков тетешкать, а тут... Внуки — вот это, пожалуй, действительно, счастье. Вон, скажем, Филимона взять. Он Ваньку своего потихоньку ремёслам обучает, в поле с собой берёт. Но всё ж главное ярмо — на сыне лежит. Ему Ваньку кормить-поднимать. А деду что? Тетешкать да опытом делиться. Подспорьем быть.

А детей ещё поди подыми. Мал мала меньше... Старшой-то пока в помощники не вырос, а про остальных и говорить нечего. А ведь без него, Матвееча, что с ними станет? По миру пойдут, как нищоброды. Только в нынешнее время собачье, пожалуй, и подаяния не выклянчишь...

Одолевали Матвеича мрачные думы. Даже по ночам не спалось от них. Ворочался по-стариковски. Как, как это лихолетье пережить? Как детей через него провести? Как их на ноги поставить? И как ставить и вообще жить, если и сам чёрт не знает, что завтра на белом свете поделается?

Вона, явились бузотёры. Съездили, мать их так, повоевали. Ещё теперь не знаешь, что лучше: чтобы лежать во сырой земле там остались, или такими явились домой... Ведь, калеками пришли. Не физическими, то бы горько, но не так. А по душе. Ни Бога им, ни Царя... Но ладно бы Царя, но ведь ничего святого! Словно чужие на чужую землю пришли. И вот желали новый уклад учреждать. Декретами. Не все, конечно, таковы. Из тех, что с фронта дёру не дали, многие просто и не вернулись ещё. А — дезертиры. Молодцев этих на каждую деревню по пальцам счесть, но сколько же бед от них!

Сёмка Гордеев в своём доме какую-то морду повесил. Оказалось, Карла Маркс. Кто таков спросишь, только молчит важно, и смотрит презрительно. Точно бы он с этим Карлой водку вместе пил... Вот и шастают такие «красавцы», руки в брюки, сигарка в зубах, по деревне. И вещают, что все старые порядки надо долой, а новые они, головачи, установят. Да ещё пришлое какие-то, плюгавые, носы свои кривые суют. Устроили тут какую-то сходку, орали разно. Де, мол, крепостной гнёт, да крепостное рабское нутро, да нужно-то всё менять и свободную жизнь учреждать под руководством класса-гегемона... Откуль такой гегемон? Старики, знамо дело, орателя на смех подняли с его гегемоном.

Ишь ты! Свободу они, сукины дети, дадут, вишь...

А, вот, он, Игнат Матвеев, всегда свободным был. И предки его были свободными. Вольными. Никто в крепости не состоял. А потому жили всегда порядком.

Отец Игната никогда не бывал празден. Лето землю пахал, зиму ремесленничал. На все руки мастер был Матвей Тихоныч. Мог корзины плести, мог плотничать, мог валенки валять, мог сани с телегами ладить. Даже шить умел. Тулупчики всем детям исправно шил сам. Потому ни холода, ни голода не знали. Такими же и четырёх сыновей с дочерью растил. Чуть на ноги становились, как уже свою работу получали. Пусть малую и вовсе подчас не нужную, а зато приучались, впитывали с младенчества привычку к труду. До сих пор помнил Матвеич свои первые грабли, какие ему, трёхлетнему, дал отец. Маленькие. Несколько зубчиков всего. Конечно, в работе пользы никакой — но Игнат, работая ими, чувствовал свою сопричастность труду старших.

Сестры уже давно не было в живых, а братьев разбросала судьба розно. Старший, Гришка, недалече с семейством обосновался. Трофим, страдая от малоземелья, решил попытать счастье в дальних краях.

В 70-е годы в столичных департаментах придумали заселять Дальний Восток финнами. Размашисто начали дело. На специально приобретённых парусных судах повезли переселенцев в Уссурийский край. И всё-то дали им: прекрасные дома, склады по американским образцам, инвентарь, при виде которого у русского мужика только глаз завистливо заблещет. Только не в коня корм. Очень потом Трофимка потешался в письмах — какой же это дурень удумал финнов переселять? Да разве ж им там выдюжить? Сбежали финны. Восемь десятков к Трофимкину приезду едва ли насчитывалось.

Трофим же с семейством был в числе второй волны переселенцев. Русской. После неудачи с финнами решили головачи столичные, что такие края только русскому мужику обжить возможно. А русский мужик — известное дело — где наша не пропадала? Своим-то, знамо дело, ни судов, ни сладов не дали. Сами на

лошадках и лодчонках добирались. Но добрались же! И с неизменным русским трудолюбием и основательностью за дело взялись. В считанные годы за сто тысяч душ число русских переселенцев в крае перевалило.

Невзгод вначале немало хлебнули. Но и одно великое преимущество. Не головач какой-нибудь, земли не нюхавший, её, матушку, распределял. Дозволили самим мужикам выбрать. А земля-то в тех суровых краях плодородная оказалась! Радовался Трофим. Так и осел там с семьёй.

Сам Игнат, оженясь, в отцовском доме остался — стариков допокаивать. Друг за другом ушли они. А следом и Грушу увели, осиротив детей. Матвеич тогда с горя, как головёшка, чёрный ходил. На Груше он по любви женился. До того славная и пригожая была... Лучше всех под гармонь выплясывала, звонче всех частушки певала. И Игнат не уступал ей. Ох, и выписывали вместе кренделя! Кто кого перепляшет! Прочая молодёжь разойдётся, кругом стоит и глазеет, и спорит-галдит, чья переважит.

На свадьбе пожелал кто-то долгие годы так жить — весело, словно кадрили отплясывая... Ан не вышло...

Когда Груши не стало, многие молодухи клинья подбивали. Знали, что Игнат мужик работающий, правильный. А он и не смотрел на них. Не мог смотреть. Братья с друзьями тоже советовали: женись! Нельзя мужику одному жить. И детям без матери нельзя. Детям оно конечно. Да только когда бы мать им найти, а не мачеху. Жалел Серёжку с Аглашкой. Да вроде и приноровился уже один. От отца унаследовал рукодельность и трудолюбие. В Глинском и окрест, почитай, половина саней и телег его руками сделана была. А резные наличники? А беседки? Крылечки? Воротца? Мог Игнат и корзины плести и валенки валять,

но к плотницкому делу особую любовь питал. Дерево в его руках жило.

Даже на земельный вопрос грешно бы жаловаться было. Ещё отец много сокрушался, что не имеет своей земли. Вся земля — общинная. И для обработки выделяется кусками в разных местах — треклятая чересполосица, столько напрасного труда стоящая. Горевал родитель: как в табуне живём! Столько бы доброго можно было на земле сделать, а что сделаешь, если она не своя и не в один надел сведена? Просто саму землю жаль...

Поговаривали и другие мужики, что пора на хутора разделяться и хозяйствовать по уму. Эти стремления находили горячую поддержку у предводителя уездного дворянства Аскольдова. В 1906 году, едва затеплилась реформа, с его подачи крестьяне уезда составили приговор, в котором выражали своё желание расселиться отдельными хозяйствами. Желание это было вскоре осуществлено. Приглашённый землемер разбил земли на участки, согласно количеству душ каждого хозяйства. Если кому-то по жребию выпадала плохая земля, то надел увеличивался.

С той поры и совсем ладно зажились. Надел был, правда, невелик, но куда больше при столь малом семействе? Для жизни в самый раз. А большего и не нужно.

Не успел Матвеич и глазом моргнуть, как дети выросли. А сам он обнаружил первые седые волосы в жидкой бороде. И точно по поговорке именно в эту пору случилась на его пути Катя. Ничем не была она на Грушу схожа. Худенькая, беленькая девчушка, моложе своих лет глядящая. Соплюха, одно слово. А почему-то запала в душу. Жила она в той же деревне, что и брат Гришка, соседка его была. И заезжая проведать брата, Матвеич, стал, словно невзначай, заглядывать и к Кате.

По тому, как часто он стал гащивать, Гришка (а, вернее, евонная Клавдия) смекнул, что дело нечисто. Напрямки так и врезал:

— К Катюхе, что ль, женихаешься, старый?

— С чего это ты придумал? — вскинул острый подбородок Игнат.

— А чего ж придумывать-то? Который раз вижу, как вы яблочки мочёные с нею хрумкаете.

Правда. Всегда Катерина его мочёными яблочками угощала, когда он заходил. И сама так и хрустела ими, чмокала. Девчонка совсем.

— Ну, чего скис-то, увалень? — брат насмешливо лыбился. — Катюха девка справная. Только ты того, соображай, чего тебе хочется. Если люба она тебе, так я твоим сватом быть готов. Всё улажу в лучшем самом виде. А коли блажишь на старости, то того, извиняй, но я тебя на порог на пуцу, пока ты дурь эту не оставишь. Неча девке голову морочить.

Больше месяца не ездил Матвеич к брату. И за это время понял, что не в силах больше жить бирюком. Монахом. С Грушиной смерти больше десяти лет минуло. А ещё через десять лет он, поди, стариком станет. А что у него есть? Сын — отрезанный ломоть. Аглашка тоже того гляди замуж выйдет. Ни приласкать, ни обиходить некому. Да и просто — изголодался по теплу бабьему. Прежде не чувствовал так остро, а тут хоть волком вой от одиночества.

И решился. Съездил на ярмарку, купил чудной работы шаль, не постояв за ценой, а к тому ещё нарядные бусы, собственноручно вырезал искусной работы ларчик и, приодевшись, приосанившись, отправился свататься, в глубине души дрожа, что Катя может оказаться просватана. Теперь казалось ему, что готов он на всё, чтобы на ней жениться.

Однако, ничего не потребовалось. Родители Катерины сразу согласились на брак, да и сама невеста

как будто искренне привечала будущего мужа.

Не откладывая в долгий ящик, сыграли и свадьбу. Казалось Игнату, словно вторая молодость пришла к нему. Знать, многолетний пост сказывался. Так и народились друг за дружкой четверо ребятишек. Тяни теперь возок и не покрхтывай...

А тут ещё Яшка-брат на голову свалился. Из четырёх братьев он один не связал судьбу с землёй, предпочтя ей воду. Год за годом ходил он лоцманом вначале по Волге, а затем — на «тихвинках» по каналам от Волги до Ладоги, до самого Петербурга. Возил хлеб на Калашниковскую хлебную биржу, откуда растекался он по всей Европе...

А теперь вернулся, вот, на берег сошёл братец. И пожаловал в родительский дом, своего не нажив. И не выставишь же на улицу родного брата. Хоть бы уж к делу пристроился. Что дальше поделается, Бог знает, а лето не за горами. Полевые работы на подходе. А Яшка всё трубку курит, морского волка балаганит... Вот, и прокорми ораву эту!

А в деревне, меж тем, вовсю лихо красное устанавливалось. Это во времена «самодержавного гнёта» старосту миром избирали, равно как и писаря. А тепереча извольте получать сверху! Ревком! Уездный ревком волостного комиссара назначает, волостной — сельского. А к сельскому комиссару в пару ещё и другой начальник полагается — председатель комбеда! И кого же на должности эти ставить взялись? А, вот, молодец этих! Сёмка Гордеев в комиссары выпятился, а дружок-собутыльник его неразлучный Ерёмка, Акишки Сивого сынок — председателем комбеда! Ерёмка, как и родня его, всю жизнь разут-раздет шлялся, а ныне не скажешь! Ныне они с Сёмкой — в сапогах и в галифе, в кожанках новёхоньких. Как-то надрались до чертей, ходили по деревне, наганами размахивали. Ерёмка орал ещё во всю глотку:

— Законов больше нет! Все старые законы товарищ Ленин отменил! Мои приказы — вот закон!.. Это вам не фунт изюму, а всамделишная диктатура пролетариата и сельской бедноты! Потому — у кого оружие, у того и власть!..

И то сказать. У сельчан-то они оружие по декрету конфисковали. Под угрозой расстрела. Само собой, кое-что успели припрятать мужики, но сиди дрожи теперь, кабы не вскрылось.

Власть! Неразлучная эта пара с группой своих родичей и приятелей ходила теперь по дворам и грабила безнаказанно. «Изымала излишки». Напророчил барин Николай Кириллович! У кого хоть что-то ценное имелось — забирали себе. Веялки, молотилки, хозяйственный инвентарь... Тряпьём бабьим и то не брезговали! Своих баб рядили в него. Вон, Ерёмкина Антонина в шальке новой щеголяет. А шалька эта — Катина! Та самая, которую подарил ей Матвеич при сватовстве...

Ох, и настало времечко! Всё здоровое, сильное застыло, онемело в страхе, а кучка проходимцев распорядилась, не ведая удержу. И как жить, спрашивается?

К вечеру, когда гнилой угол всё-таки разразился противным, по-осеннему унылым дождём, в доме Матвеича собралась компания. Сперва заглянул недавно возвратившийся в деревню Алексей Васильевич. Сели ужинать с ним да с Яшкой. Катя тоже рядышком примостилась, но помалкивала. При людях она себя всегда справно мужниной женой держала. И вдруг ещё одного гостя нелёгкая принесла. Господина инженера. Замётова. С начала войны не видали его. А тут — эвона! И с чего бы заявился? Прежде вроде в барской усадьбе живал... Пригляделся Матвеич. Не изменился Ляксандр Порфирьич. Так же жёлт, бур даже. Тужурочка на нём кожаная, сапожки,

фуражечка... Поди, новой власти представитель? Но отчего-то в повадке властной наглости нет, какая у них обычно бывает. Вроде растерянность даже? И что-то озирается всё, словно ищет кого-то.

— Присаживайтесь, Александр Порфирьич, — пригласил Игнат. — Откушайте с дороги, согрейтесь.

Замётов почему-то помедлил, словно решая, но затем всё-таки сел. Опорожнил рюмку, занюхал огурчиком.

— Сыто живёте. А в столицах-то голод!

— Так города, вестимое дело, — фыркнул сильно подвыпивший Яшка.

— Почему же?

— В городах тунеядцы живут да шельмы вроде тебя.

— В городах, к вашему сведению, рабочий класс живёт.

— Эт ты, что ли, рабочий? Руки кажь! То-то! А на мои погляди! — Яшка поднял свои лопаты. — Я четверть века по Волге ходил!

— Вот, стало быть, вы рабочий класс и есть. А города, да будет вам известно, оттого голодают, что разные саботажики хлеб по подполам прячут, а в города не везут.

— А ты заплати полным рублём, так привезут! Я по Волге тысячи пудов возил! Она, как торговля шла! А теперь ни хрена не стало! Потому что шельмы поналезли, куда их не звали. Как лопать знают, а как добыть — ни в зуб ногой. Разве что из чужого рта стащить. Так, товарищ хороший?

— Помолчал бы ты, Яша, — нахмурился Матвеич. Ещё не хватало, чтобы такие речи до известных ушей дошли... Хоть бы знать, кто этот господин-товарищ Замётов есть теперь. И зачем явился. Хотя... Ясно зачем. Тут Яшка, хоть и пьяный, а как в воду глядит. Из чужого рта тащить. Хлеб для своих гегемонов... А не выкусили

бы? Сидит. Бегают льдистые глазки. А про себя-то держит что-то. Одно слово, сволочь...

— А вы, Александр Порфирьич, по какой нужде теперь в Глинском? — спросил Надёжин.

— В Глинском я проездом. Я, собственно, по делам службы еду.

— А где же вы теперь изволите служить? Уж не в ЧК ли?

— Нет, не в ЧК...

Принёс же чёрт... Виляет ещё нагло! Вот напоить тебя сейчас, тюкнуть тяжёлым и прикопать на заднем дворе...

— ЧК, не ЧК, один хрен... — махнул рукой Яшка.

— Что-то я не пойму, — прищурился Замётов. — Вам не по нутру новая власть?

— А с какого перепоя твоя власть мне должна быть по нутру? Чай, пока не озолотила!

— Советская власть войне конец положила!

— Это ты про «похабный» мир, что ль?

— Что-то я в толк не возьму. Вас мир не устраивает? Да не крестьяне ли его больше других желали?

— Мы ничейный мир желали, — подал голос Матвеич. — Без аннексий и контрибуций, по-вашему. Справедливого мира! А не позорного, по которому немцы победителями вышли. Его вы заключили без нашего согласия. А расплачиваться за него теперь должны мы!

— Мы были вынуждены заключить такой мир, потому что солдаты устали воевать и бежали с фронта! Фронт был оставлен!

— Ах, вот оно в чём дело! Стало быть, дезертиры виноваты? — усмехнулся Надёжин. — А кто же призывал солдат: бросать фронт и уходить домой? Не вы ли?

— Да полно! — махнул рукой Матвеич. — Много ли было дезертиров от общего числа солдат? У нас в

Глинском большинство ещё в армии! А дезертиров — по пальцам счесть! Комиссар, комбед и члены комбеда! За родину воевать они не захотели. Зато как с бабами здесь сражаться во время разверсток — так «герои»! Так что нечего с больной головы на здоровую сваливать!

— Странно вы рассуждаете, — протянул Замётов. — Вы, трудовой эле... человек, и вдруг против власти трудящихся...

Яшка хватил ещё рюмку, махнул лапищей:

— Эле... Элемент ты хотел сказать? То-то ж! Прежде люди были, а теперь *элементы*! Элементы трудящимися не бывают, вот что! Элементы — вона! Сёмки с Ерёмками! А трудящиеся — лю-ди! Понял, что ль? Я — трудящийся! Игнат, вона, трудящийся! Мы, что ли, власть?! Вы зачем хутора ломать взялись? Помещиков нашли! Люди за свои кровные по двадцать десятин прикупили себе, своим потом их поливали день и ночь, а вы их теперь с земли сгоняете?! Постройки их ломаете?! Хутора — это и есть трудовые хозяйства! Хозяйства трудящихся! А не элементов ваших с гегемонами! Сменили одних паразитов на других, а валят на трудящихся!

— Кого это вы паразитами честите?

— Да всех! От царька до этого вашего... как его там? А! К псу, неважно!

— Царя-то бы уж не замал ты, Яков, — покачал головой Надёжин. — При нынешнем государе крестьяне, наконец, своим хозяйством зажить смогли.

— Что верно, то верно, — подтвердил Матвеич. — Худого говорить не стану тоже.

— Да ладно вам обоим! — развернулся Яшка. — Царь... Царь... Был бы Царь один, так вокруг же него вся эта орда дармоедская. А в ней, между прочим, одна немчура да полячишки! Да ещё разные черти. И барона этого соседнего поэтому и пришибли, вот что я скажу!

Матвеич поморщился:

— Не был Клеменс бароном.

— Да хоть бы и не был! Вы мне, дурню, скажите, — Яшка всем корпусом повернулся к Надёжину. — Мы немца били? Били! Поляка били? Били! Всяких там татар да кавказцев били? Били! А оне нас? Хренушки! А что в итоге? Как ни взглянешь, что ни полячешка, так знать и помещик! Мужички у него русские в крепостных! То же и с немчурой! Она Клеменс тот же! С какого-такого перепоя в нашей-то губернии его предки именьеце с русскими крепостными душами заимели? И чванятся! Де оне не мужворье там какое-нибудь! А благородных народов потомки! Это — как? Мне, вона, один учёный человек рассказывал, что прежде ханам татарским, что под московскую руку шли русских же мужиков дарили — володейте! Нашим батюшкам-царям не жалко! И вона, князья-то наши, сплошь из татарвы! Вот, и скажи ты мне, господин учитель, как это так поделалось, что покорённые народы оказались господами над народом их покорившим?

Игнат слушал брата с удивлением. Не ожидал он от взбалмошного Яшки-лоцмана таких политических речей. Ещё, вот, оратор выискался, прости Господи! Хоть теперь на сход, на трибуну! Кто это науськал его? Ясно ведь, что с чужого лая брешет. Сам бы не докумекал. А, в сущности, правду, подлец, режет. Если вдуматься. Что-то учитель ему ответствует?

Надёжин поскрёбывал мягкую бородку, не спешил с ответом, взвешивал. Наконец, вымолвил, размеривая:

— Немало горькой правды в твоих словах есть. Народ у нас не щадили никогда. И перед «благородными» народами чересчур заискивали. Да и не очень «благородными»... Почему-то у нас всегда кичатся предками инородцами... Между тем, не представляю себе инородца, так кичащегося русским

предком. Конечно, царская политика на протяжении веков имела много изъянов...

— Изъянов? — вскинул бровь Замётов. — Это вы многовековое рабовладельчество к изъянам относите? Хорошенький изъян! Целый народ в рабстве у какого-то ничтожного его процента!

— Вы, Александр Порфирьевич, глупости говорите, — спокойно отозвался Алексей Васильевич. — То ли от незнания, то ли, чтобы людей смущать да друга на друга натравливать.

— И в чём же моё незнание?

— А в том, что никакого всего народа в крепости не состояло. Более того, ко времени отмены крепостного права половина всех крестьян были уже вольными.

— Защищаете крепостничество?

— Ни в коей мере. Крепостничество, как и любая несвобода, угнетает жизненные силы человека, народа.

— О, да мы, оказывается, единомышленники!

— Отнюдь, Александр Порфирьевич, мы с вами как раз антиподы.

— Отчего же?

— Оттого, что вы желаете свободы людей лишить.

— Мы? — Замётов привстал. — Вот так поворот! Мы помещика гоним!

— Какого помещика? Который уже давным-давно не владел никакими душами и никого не угнетал? С ним заодно и хуторян, о которых тут было помянуто? — голос Надёжина зазвучал резче. — Вы умный человек, Александр Порфирьевич. Поэтому предлагаю обойтись без митинговых лозунгов. Я ведь не пролетариат, чтобы их слушать. Поговорим, как серьёзные люди?

— Извольте, — Замётов нервно повёл плечом.

— Чего не хватало крестьянину накануне войны? Земли? Пожалуйста! Бери! Помещичьей? Так и без того её Крестьянский банк у нерадивых помещиков выкупал и наделял ею работающих мужиков. А у радивого, как,

скажем, Аскольдов, зачем же её забирать? В голодный год только помощь всем окрест была от барских угодий! А хуторяне? Веками крестьяне своей земли добивались, а вы их опять чересполосицей задавить хотите? Это ли ваша «свобода»? Какой, скажите, свободы не хватало мужику ещё недавно? Хочешь, хозяйствуй, богатей себе и государству на пользу. Хочешь, продай землю и ступай в город работать. Хочешь, бери подъёмные и поезжай за Урал счастье пытаться. А хочешь, вон, как Акишка, пей да попрошайничай, не стыдясь людей. Вольному воля! Так какой же ещё воли вы можете дать? Да и не собираетесь вы её давать. Что там ваши идеологи веками писали? Коммуны?

— Да, коммуны, — подтвердил раздражённый неожиданным натиском Замётов. — И что же?

— А то, что вы сейчас обещаете крестьянам землю. А ваши идеологи отрицают частную собственность.

— Так чья ж тогда будет земля? — всколыхнулся Матвеич, почуяв корень дела.

— Ничья, — развёл руками Надёжин. — Общественная!

— На чёрта ешшо? Общины мы налопались, хватит!

— Алексей Васильевич искажает наши идеи, — сухо сказал Замётов. — Никакой общины мы возродить не собираемся. Это тёмное царство должно быть забыто!

— А коммуна — это царство света, по-вашему? — осведомился Надёжин.

— Что ещё за коммуна такая? — насупился Яшка.

— А такое... стойло. Где всё общее. И всё регламентировано. Кто и когда, что делает. А на стойле, знаете ли, вывеска: Дом Свободы!

— А вы, оказывается, шутник, Алексей Васильевич, — криво усмехнулся Замётов. — А настаивали на серьёзном разговоре!

— А чем же не серьёзен наш разговор? Будете доказывать, что коммуна — это рай для крестьян? Что

это — свобода?

— Мы никого не собираемся загонять в коммуны насильно! Дело добровольное.

— Добровольное? — Надёжин прищурился. — А нынче вы с хуторов мужиков гоните — тоже добровольно? Революция никогда не допустит доброй воли.

— Это почему ещё?

— Потому что молодой системе всего важнее удержать власть. И самый верный и простой способ в таких случаях — тотальное порабощение и насилие. Тем более, когда во главе угла стоит идея... Идол... С жертвами не считаются.

— Что ж, вероятно, на какой-то момент определённая диктатура неизбежна. На Дону, как вы знаете, раздувается пламень Гражданской войны. Идёт борьба. Кругом разруха. И чтобы преодолеть всё это, необходима сила!

— Тогда к чему же крики о свободе? Обольщаете наивных?

— Свобода будет потом! Когда преодолеем негативные последствия царизма и разрухи!

— Да не будет свободы, Александр Порфирьевич. Вашими идеологами она не предусмотрена.

— А вы, Алексей Васильевич, часом, не последователь князя Кропоткина? Раньше я не замечал вас в такой ревности по свободе!

— А я не по свободе, а по воле ревную, — чуть улыбнулся Надёжин.

— В чем разница?

— Свобода — это что-то из области политики. А воля — жизнь.

— Ну, и какую же концепцию предложили бы вы?

— Да никакой особенной. Просто дать человеку спокойно и вольно жить и хозяйствовать. Ведь нашу страну вольные люди строили и расширяли. Это ваши

полуграмотные идеологи пытаются изобразить народ забитым, невежественным, ни к чему не способным. Да какой иной народ смог бы обжиться и умело хозяйствовать в условиях нашего климата? А в Сибири? На Дальнем Востоке? Поезжайте в Уссурийск к брату Игната — посмотрите, как живёт там народ-раб. Раб, да будет вам известно, не способен самостоятельно устроить свою и своей семьи жизнь. Да ещё во враждебных условиях. Это дар вольного человека! Трудолюбием, смекалкой, умелостью, находчивостью созидать и развивать. Человек вольный ответственен, предприимчив. Посмотрите, как живут наши крестьяне! Сколько всевозможных промыслов у них! От корзин до палехских шкатулок! А ваши идеологи норовят сбросить это богатство в мусорную корзину за ненадобностью! Кто осваивал Сибирь? Строил там первые крепости? Рабы? Или, может, начальство? Нет! Вольные люди. Первейшая задача — освободить энергию русского человека, его творческие силы, дать простор его деловым качествам! А для этого нужна воля. А не коммуна с идиотскими декретами, писанными деятелями, чьи познания в крестьянском вопросе не превосходят товарища Горького. Сохрани Бог от таких распорядителей! Немцев-управляющих ещё благодарно вспоминать будем!

Замётов не ответил. Смотрел своими цепкими, льдистыми глазами на учителя, точно изучал. Кривил тонкие губы. Крутил в пальцах папиросу, не зажигая. Наконец, произнёс, недобро сощурясь:

- А не боитесь вы такие вещи высказывать?
- А что, уже надо бояться? Ваша свобода уже торжествует до такой степени?
- Вы, Алексей Васильевич... враг советской власти.
- Слава Богу, вы правы.
- А если я об вас в ЧК доложу?
- Будет Божия воля, — пожал плечами Надёжин.

— Интересный вы человек, Алексей Васильевич. Уважаю я таких, как вы. Поэтому докладывать не буду...

— Премного обязан. А скажите всё-таки правду, Александр Порфирьевич, ведь вы не верите их идеям? Вы умны и расчётливы. Вы слишком прагматик, чтобы верить в такую чушь. Думаете, при новой власти сделать карьер? Смотрите... Лесенка больно тёмная, а ступеньки на ней все кровью залиты. Поскользнётесь.

— Мои резоны до вас касательства не имеют. А на будущее мой вам совет: будьте осторожнее в словах и поступках. Прощайте!

Замётов резко поднялся, шагнул к двери.

— Вы бы заночевали, дождь там, — подал голос Матвеич, поднимаясь следом. Совсем не хотелось ему, чтобы неприятный гость задерживался, но и нельзя же было не предложить остаться... Чай, всё-таки человек.

— Благодарю, но мне нужно ехать. Я ведь проездом... Так, решил на огонёк заглянуть. Кстати, вот, и не спросил. Как жизнь-то в Глинском?

— Да как же... Идёт своим чередом... — пожал плечами Игнат, недоумевая, чего это хочет выпытать у него уполномоченный. Неспроста ведь спрашивает.

— Добро, добро... А что-то Аглаи Игнатьевны я не увидел? Припоминаю, встречались случайно пару раз у реки... Замужем, должно?

— Вдова, — сухо ответил Матвеич, менее всего желавший отвечать на вопросы о дочери.

Распрощался гость незванный. Зачем приходил? Чего хотел?

Катя стала проворно убирать со стола. Осоловелый Яшка задремал на лавке, поджав ноги и время от времени раскатисто всхрапывая. Надёжин, невозмутимый, сидел под убранными расшитым рушником иконами, катая в руках маленькие чётки.

— Экий дождь-то... — заметил, глядя за окно. — А надо идти. Там Соня ждёт...

— Зря вы этому собакиному сыну всё это выговорили, — хмуро сказал Матвейч. — Неспроста он пришёл. Сам-то вон, спорить не полез. А ваши речи не позабудет. Кабы какой гадости не сделал.

— Что суждено, того не обминёшь. Впрочем, Замётова я не боюсь. Да и не по мою душу он приходил.

— Знать бы, по чью...

Знать бы! Принесла ведь нелёгкая клопа... Да ещё и про Аглашку спрашивал. Что ему Аглашка? Разбередил только рану. Об Аглашке в доме, как об упокойнице, ни слова не говорили. Что только поделалось с девкой! Ведь ягодка наливная была, ни единой червоточкины! И вдруг... Точно бес вселился! Знакомых-то стыдно из-за неё. И её жаль. Ведь ближе с уходом Груши никого не было. Душа в душу жили. Отцова радость была... А тут подменили словно. Или это Тёмкина гибель ей так разум помутила? Горе, конечно, что и говорить. Но разве у ней одной такое? Беда... Не раз порывался поговорить с ней, а не находил сил. На улице повстречать боялся. Не заходила и она, стыдясь своего нынешнего. А тут ковырнул болячку этот мухомор. Что ему Аглашка? И засосало под сердцем от недоброго чувства... Или знал он всё, как есть? И нарочно спросил? И вовсе не с тем ушёл, чтобы в дальнейший путь в ночь пуститься?..

Сползла неслышно с печи рябуха Любаша. Любимица Игнатова. Точно кошка почуяла, что тяжко у отца на сердце. Вскарabкалась на колени, залепетала что-то. Улыбнулся Матвейч, поцеловал дочурку, щекоча щёткой усов:

— Эх ты, рябуха моя, рябуха... — укутал её, прижав к груди, вздохнул. Вот, так же и Аглашку когда-то баюкал. Господи, что-то станет, когда Любушка в её лета войдёт?

Глава 4. Помрачение

Большинство офицеров отбыли в свои части, едва было объявлено о начале войны. И он среди прочих. Об этом Аглая узнала от свёкра. Тот между делом обмолвился, как о мало значащем. За завтраком, жуя краюху ржаного хлеба, присыпанную солью.

— Нонче молодого барина провожают в усадьбе. На фронт отправляется... Дай Бог удачи.

Насилу удержалась Аля, чтобы прямо из-за стола опрометью не выбежать. А руки так задрожали, что всё валилось из них.

— Ты никак, дочка, нездорова? — обеспокоилась свекровь. — Лица на тебе нет!

— Так что-то, матушка... Мне бы на воздух... Сразу и полегчает.

— Ну, поди-поди, вдохни.

На Тёмушку не взглянула Аглая. Без того его тяжёлый взгляд чувствовала, когда из дома выходила. Только всё равно было. Чуть из-за калитки вышла, так и припустилась, себя не помня. Через родное божелесье, спотыкаясь, задыхаясь... Хоть раз бы увидеть ещё! Ведь на фронт едет! Обрывалось сердце от мысли. Может, в последний раз...

Но не привелось увидеть Родиона Николаевича. Лишь взбежав на холм, углядела удаляющуюся в клубах пыли коляску, а в ней три фуражки... Мгновение, и исчезла она за горизонтом. Аглая бессильно повалилась на траву, забилась в конвульсиях, до крови кусая губы. Почему? Почему? Почему всё так?! Боль, которая как будто притупилась в дурмане последних дней, вновь разрывала её ещё беспощаднее, чем раньше.

Когда она возвратилась, муж был дома один. Он сидел за столом и сосредоточенно занимался починкой

прохудившегося сапога. Аглая остановилась перед ним, не произнося ни слова. Тёмка, наконец, поднял голову. Аля ожидала, что сейчас последует увесистый удар, но муж не шевельнулся.

— Что стоишь-смотришь? — спросил с досадой. — Я ведь слово дал, что пальцем тебя не трону.

— Нешто не тронешь? Даже если далеко зайду?

— Не доводи до греха. И вот что! Довольно того, что я знаю, какую тебя взял, но никому больше знать об том необязательно. Тем более, моим! Так что впредь будь добра, потрудишься хотя бы вести себя, как подобает! — он в сердцах отбросил сапог.

Аглая подняла его, отложила в сторону и, подойдя к Тёмушке, обвила его руками за плечи, оглаживая:

— Прости меня. Это всё пройдёт... Обязательно пройдёт... Ты только потерпи немного, и всё у нас будет хорошо, — зашептала, волнуясь.

Муж податливо обмяк на ласку, притянул к себе Алю:

— Идтить бы надо... Пособить нашим... Я ведь только тебя дожидаться задержался. Нехорошо...

Но и не мог противиться уже.

— Чёрт знает, что ты за баба! Присушила ты меня, всю душу забрала.

Должно быть в безудержных, страстных ласках её в те дни находил Тёмка не без гордости проявление любви к себе, внутренне праздновал победу и тешил самолюбие: не сравниться с ним всяким там барчукам. Скоро и не вспомнит его! А Аля просто искала забвения. Дурмана искала, отшибающего память и чувство.

Может, оно и притёрлось бы, склеилось. Да только следом за Родионом и Тёмушка покинул Глинское, будучи наряду с другими призван на воинскую службу. Провожая его, искренне горевала Аглая, но боли, утраты сердце не чувствовало. Не обрывалось от мысли, что, может быть, последний раз видит она кормильца...

А раз-то был и впрямь последним. Тёмушка погиб в первом же своём бою. Погиб, не зная, что жена в его отсутствие пала ещё ниже...

Оставшись без мужа, она не находила себе места. Что-то беспощадно злое и тёмное терзало и мутило её душу. Что-то замкнулось в ней, что-то, что осветляло прежде. И неудержимо рвалось наружу разбуженное тёмное, гася сознание.

Филька, Тёмкин старший братец, на Аглаю заглядывался и прежде. И живя с ним под одной крышей, она не раз примечала, что смотрит он на неё совсем не по-родственному, не по-братски. Даже брюхатой жены не стесняясь. Покуда Тёмушка рядом был, Аля лишь взгляд отводила, внутренне негодуя на деверя. При своей жене на жену брата смотреть, как кот на сметану — есть ли в нём стыд? Впрочем, Филька не на одну Аглаю заглядывался. Известный был на всю деревню охотник до женского полу. Особливо как заложит за воротник. Был Филька невысок, неказист, но бабам отчего-то нравился. Видать, за весёлый бесшабашный нрав. Весел был Филька, что и говорить! И на гармони сыграть, и сплясать, и спеть — на всё мастак. Ещё в жениховскую пору на всю деревню песни распевал. А подчас, расшалясь да разогревшись, скромные частушки горланил да шутовал озорно, за что бывал не раз бит. Но Филька не обижался, продолжая чудить. Даже женитьба несильно его остепенила. Всё так же постреливал он плутоватыми, озорными глазами на чужих жён и невест, норовя подчас ущипнуть иную. И всё так же они, хотя и ругались для виду, а не могли рассердиться всерьёз. Чем-то брал их этот балабол и хвастун.

С отъездом брата Филька осмелел. Всё чаще начал заглядываться на Аглаю. А она в нахлынувшем томлении одиночества уже не отворачивалась, не сторонилась, как раньше. И, вот, как-то, когда никого из

родни не было дома, скользнул он за нею в амбар, а с того дня и пошло... Уже сама Аля поджидала Фильку, уже сама искала встреч.

Время от времени ещё находил на неё ужас от того, какой она стала. Вспоминала кошмарную ночь... И чувствовала, что вся жизнь обращается этой ночью. Что теперь уже сама душа её грязна, как то изорванное тряпье, что срывала она тогда с себя в доме Марьи Евграфовны... Вот только душа нага. С неё так просто грязного покрова не сорвёшь, не отмоешь горячей водой и мылом...

Но ужас отступал, и всё катилось по-прежнему. Филька умел тяжкую думу прогнать. Поняла Аля, почему так льнули к этому неказистому мужичонке бабы... Известие о гибели Артемия ничего не изменило. Вздохнул Филька:

— Вот, ты и вдовушка теперь. Эхма! И для чего это я, дурак, на Нюрке жениться поспешил? Теперь бы свободен был, на тебе б женился.

— И так же от меня с чужими бабами по углам таился?

— От тебя нет! — ухмылялся щербатым ртом Филька. — Они тебе все в подмётки не годятся. Вот же Тёмка! Такой рохля был, а такую бабу заобортал! Таких, как ты, нет. Ты... как зелье какое-то. Раз пригубил, уже не отстанешь. Ведьма ты, вот что. Я ж из-за тебя Нюрку свою позабыл вовсе.

— Полно молоть-то, — поморщилась Аглая, лениво натягивая рубаху и прибирая волосы. — Дитё у вас скоро будет, а ты всё...

— Так ведь то ж до тебя ещё! Вот, знаешь, — Филька приподнялся, — скоро отстрою я свой дом, заведу заимку... У лугов, где покосы у нас. Вот, будем туда с тобой закатываться. Ты только смотри! — пригрозил. — Брюхатеть не вздумай! А то вся деревня прознает про нас... Когда бы Тёмка жив был...

Аглаю передёрнуло от такой рассудительной подлости. Ответила сурово, резко скинув с плеча горячую филькину лапищу:

— Кабы муж был жив, я бы с тобой, чёртом, не спуталась!

Только посмеялся Филька — чувство стыда было ему явно незнакомо.

Деревня не прознала про их грех. Зато прознал Антип Кузьмич, застукав как-то на заре всё в том же амбаре. Зарычал благим матом, не давая волю голосу, чтоб не побудить домочадцев и соседей.

— От я тебя сейчас, с-сукиного сына! — вытянул сына батоном по спине.

Филька вскочил, запрыгал в чём мать родила, ловко уворачиваясь от новых ударов и прикрывая рукой срам:

— Бать, остынь! Покалечишь же!

— Я б тебя, гада, покалечил! Так, чтоб чужих баб не портил!

— А дед Макар из Писания читал, что долг брата восстановить семя усопшего брата! Святое дело!

— Я тебе покажу святое дело, отродье ты этокое! — всё-таки настиг Кузьмич Фильку, огрел ещё дважды батоном. С тем и унёс тот ноги, едва прикрывшись прихваченной одежкой.

Теперь навис грозно свёкор над Аглаей, успевшей кое-как одеться. Замахнулся было и на неё, но потом сплюнул только:

— Не стану об тебя руки паскудить. Но чтоб ноги твоей в доме моём больше не было. И если прознаю, что ты с Филькой опять блудишь... — покачал головой. — Сама как хочешь живи — слава Богу, детей с Тёмушкой не нажили — а в моём дому не паскудь. Уразумела, что ль?

— Уразумела... Сегодня же уйду, — покорно кивнула Аля.

Замялся старик, растратив гнев, сменил тон:

— Вдовой в твои годы, едва мужа узнав, быть тяжко. Дело понятное. А Фильке своему я цену знаю. Но взяла бы ты себя в руки, девка. У тебя жизнь вся впереди.

— Что это вы, батя? Никак пожалели меня?

— А что ж я зверь, по-твоему? Ты же на моих глазах росла, и не чужая, чай...

— Зря вы это, — Аглая тяжело поднялась.

— Что — зря?

— Пожалели зря... Не знаете вы ничего. А я ведь подлая... Тёмушка святой был, а я подлая. И в руки меня взять некому, батя. И обратной дороги мне нет. В трясину-то только ступи — так и затянет. Так что не жалейте меня. Я того не стою.

— Что мелешь-то, дура? Бога побойся!

— Никого я теперь не боюсь, батя... Пропавшая я!

Аля прошла мимо поражённого её словами свёкра и в тот же день покинула его дом. В отцовский она не вернулась. Там в её отсутствие окончательно утвердилась на хозяйстве мачеха. Да и не хотелось свою грязь на отцовский порог, под отцовскую крышу нести. Не смела и глаз на него поднять.

Попросилась к Лукерье жить. Старуха совсем сдала, обезножела. Прощамкала с печи:

— Живи, мне что. Допокоишь меня и за хозяйку оставайся...

Так и зажили.

А с Филькой Аглая порвала, как обещала свёкру. Хотя тот то и дело подкарауливал её на улице, уговаривал, грозил и даже умолял. Видно, и впрямь присушила его. Даже такого... Блазнило снова поддаться искусству, но держалась. Свёкру обещала. Да и Нюрку жаль с её уже просящимся на Божий свет ребёнком. До которого собственному отцу никакого дела... И что он за человек? Но пусть, пусть... Как ему жить, дело его. А она, Аля, какой бы подлой не была,

семьи рушить не станет. Глядишь ещё, сойдёт с него дурман этот, заживёт с женой по-людски...

Марья Евграфовна уехала на фронт. Стала Аглая вместо неё в амбулатории работать. Хоть и мало знала, но всё лучше, чем ничего. Чему-то же и научилась за несколько лет, что рядом с барышней трудилась.

Вот только скоро перестали к ней люди ходить. Шушукались бабы меж собой, что мужикам их Аглашка в своей амбулатории совсем не врачебную помощь оказывает. Это, конечно, наветы были. Не до того ещё позабыла себя Аля, чтобы в амбулаторию, в дом праведницы Марии для греха кого водить. Да только Филька оскорблённый расстарался. С женой замиряясь, наврал ей про Аглаю разного, вымещая обиду. А та, известная болтушка, своим товаркам наплела небылиц, и поползли такие слухи, что и пересказать у доброго человека язык не повернётся.

Так и последнего удержу не стало. Коли всё равно такая слава пошла, что бабы стороной обходят из презрения, а мужики из опасения, кабы бабы что не заподозрили, то и вовсе терять нечего. Живи, оправдывай «славу»...

Тут ещё и Лукерья преставилась. Отошла тихонько, как не жила вовсе. Стала Аля одна в её маленькой, покосившейся избёнке жить. Стояла та избёнка на краю деревни, чуть на отшибе. Здесь земля поднималась, и оттого возвышалось лукерьино жилище на юру, всем ветрам и взорам открытое.

Скоро засудачили в деревне, что зачастили к молодой вдовице гости. Ходят, крадясь огородами, поворовски. Всё больше в ночное время. И на сей раз уже не ввали. Приезжавшие в отпуск солдаты из тех, кого ещё не обженили, знали, куда идти, чтобы ночь скоротать.

Катились дни в забвении. Словно бы солнце погасло, и воцарился вечный сумрак. Сладко-удушливый,

хмельной... Проходила Аглая по деревне, высоко подняв голову, нарочито медленно, поглядывая на воротящих лица баб с насмешкой, мстя им за их гордое презрение. Мужики косились ей вслед, одни усмехались, другие сплёвывали:

— Этакую лярву бы да плетьми по заду! Чтоб до мозгов проняло!

— Такую уже ничем не проймёшь! Вона как пошла! Чисто барыня! Сучье вымя...

Мачеха, случись повстречаться, пугливо переходила на другую сторону улицы. Отца Аля обходила стороной сама. Боясь встретиться с ним глазами... Случись увидеть лишь издали его мосластую фигуру, она мгновенно утрачивала свою выработанную для всех прочих нахальную повадку, сникала, придавленная стыдом. А потом горько плакала, вернувшись к себе, вспоминая светлую и безмятежную жизнь с отцом. Бедный-бедный отец... Разве он заслужил под старость лет такой позор? Лучше бы уехать вон из деревни, чтобы и не напоминать о себе. В город, например. Найти работу... Хоть бы самую чёрную. Да и сгинуть, наконец. Ни самой не страдать, ни хороших людей не позорить... Отца, Тёмушку, дядю Антипа...

Как-то в такой именно покаянный час поскрёбся кто-то слабо в дверь. Вздрогнула Аля. Неужто принесло опять кого? Но и усомнилась. Обычные её гости не так стучали. А тут — точно мышшь скребётся. Открыла и замерла в удивлении. На крыльце стояла согбенная, едва держащаяся на ногах, закутанная по-старушечьи в шушун Софья. Гостья бледно улыбнулась:

— А я думала, нет тебя... Стучу, стучу...

— Так громче бы надо, не слышала я.

— Не могу я громче, — виновато ответила Софья. — И крикнуть голоса не стало... Хвораю я. Шибко...

— Так к доктору бы вам, — смутилась Аглая, вдруг почувствовав, что совсем разучилась говорить с

людьми. Просто с людьми. Хорошими. Для которых всегда и ласковый взгляд находила, и доброе слово. Привыкла лаять — на тех, кто презирал и плевал вслед. Привыкла грубить и говорить развязно. А, вот, понадобилось совсем другие слова сказать, а тон оставался всё тем же... И от несоответствия его и положения покоробило.

А Софья точно и не замечала. Стояла-колыхалась. Прозрачная, слабая. Как бледный мотылёк на осеннем ветру. Ответила, качнув головой:

— Не нужен мне доктор. Я и без него про себя знаю... Мне бы только по хозяйству... Не управляюсь сама. И за сорванцами моими приглядеть. Чтоб не баловали... Не откажешь? — голос Софьи звучал смущённо-просительно.

У Аглаи ком подкатил к горлу. Не сразу нашлась с ответом.

— Почему ко мне?.. Разве вы не знаете, к кому пришли? Какая я?

Она, учительская жена, уважаемый на селе человек, сама праведность — и в её-то дом не погнушалась прийти! Да ведь ей бы в помощи никто не отказал! В усадьбу бы вместе с детьми взяли — барыня бы сама ходить стала. Для чего же — сюда?..

— Знаю, Аленький. Ты же у моего Алёши училась... Как же мне не знать, какая ты? Поэтому и пришла к тебе. Помощи просить. Прости, что утруждаю...

Не помешалась ли она, часом? Нет, ясно смотрела. Спокойно. Аглая всхлипнула, закусила губу:

— Да ведь вам вся деревня пальцем вслед показывать будет! Косточки ваши белые перемывать! Из-за меня!

— Стало быть, отказываешь? Что ж, прости, что потревожила, — Софья шагнула с крыльца, но Аглая схватила её за руку:

— Я сейчас приберусь и к вам приду. И всё, что скажете, для вас сделаю!

— Спасибо! — Софья троекратно поцеловала её и побрела к своему дому.

С того дня Аля стала жить на два дома. Больше времени, впрочем, проводила она теперь у Софьи, возясь с малышами, хлопоча по хозяйству. Лукерьиной же изба встречала разочарованных гостей амбарным замком и закрытыми ставнями.

В деревне, действительно, недоумевали, зачем учительская жена поселила у себя в хожалках подлюю. Шептали злые бабы языки:

— Вот, муженёк с фронту явится, так поймёт, юродиха, кого на груди пригрела!

— Полно молоть! Учитель человек порядочный!

— Да хоть какой бы ни был! Жена в землю глядит, а в доме этакая краля хозяйствует! Тут и святой соблазнится!

Любая сплетня приедается. Приелась и эта. Свыкся мир с тем, что подлая Аглая у Софьи в хожалках подвизается. Даже и сочувствие пробиваться начало в иных сердобольных:

— Глядь, за ум баба взялась. Может, просто умом повредилась тогда после Тёмкиной смерти?

— Бедовая...

Меж тем, и Софья как будто оживала вновь. Отлежалась маленько, отдохнула от непосильных при её слабом здоровье трудов. Уже меньше времени проводила у неё Аглая, хотя и заходила всякий день проведать да поиграть с ребятишками. Прежде, когда у отца жила, с младшими детьми возилась как-то без радости, надоедали сорванцы подчас. А теперь тосковалось по ним...

Из Москвы весть дошла: обвенчался там Родион Николаевич с красавицей Ксенией Клеменс, дочерью соседа-помещика. В Глинское не поехал по причине

краткости полученного из действующей армии отпуска. Сюда новоиспечённая барыня приехала уже одна. Аля видела её мельком. Не лгали люди, когда говорили, что красавица... И хотя сама желала Родиону счастья с другой и скорейшего забвения о себе, а весть о его свадьбе ожгла пребольно. Представляла себе снова и снова их двоих в церкви, как обводит их священник вокруг анаоя, как он обнимает её... Изводила себе душу этими видениями и ничем не могла отогнать их. Снова металась и не находила себе места.

В ту пору преставился скоропостижно дядька Григорий, и решила Аля пойти в соседнюю деревню, проводить его. И боялась идти из-за неизбежной встречи с родными, но и не идти невозможным казалось. С дядькой у неё всегда были самые добрые отношения. Утром, одевшись потеплее, пошла по хрусткому, ещё неутоптанному после ночного снегопада насту. Вроде и идти недалече, а по сугробам, да в тулупе и валенках — мигом из сил выбиваешься. Неожиданно окликнул сочный голос:

— Далёко ли собралась, красавица?

И в тот же миг остановились рядом маленькие, лёгкие саночки, запряжённые мускулистым, разгорячённым конём гнедой масти. В саночках стоял, натягивая вожжи, брат барыни, Юрий Алексеевич. Был он одет в гусарский мундир и долгополую дорогую шубу нараспашку. Улыбался белозубо, поблёскивая синеватыми задористыми глазами. И, кажется, как и конь его, готов был хоть теперь мчаться по любым яругам, вслед за алой зарёй...

— Далёче. В Балашово, — отозвалась Аглая, невольно любясь и конём, и саночками, и возницей.

— Гляжу, запыхалась ты совсем. Садись в сани — домчу с ветерком!

— Не стоит, дойду и так — не привыкать.

— Али брезгуете моим экипажем? — рассмеялся Юрий Алексеевич. — Садись-садись. Или я на разбойника похож?

Подумала Аля и легко вспорхнула в предложенный «экипаж». Садиться не стала, а лишь ухватила крепче под руку гусара:

— Только уж вы шибче гоните, Юрий Алексеевич! С ветерком — как обещали! Чтобы только ветер один, и ничего больше!

Снова рассмеялся зычно гусар:

— Ну, тогда крепче держись, раз отважная! Этот конёк птиц быстрее!

Свистнула плеть, сорвались с места саночки. Да так быстро, что захватило дух. Всё слилось в глазах в одну снежную кутерьму, в которой ничего нельзя было разобрать. И от этого стремительного бега-полёта переполнял душу восторг.

Наконец, остановились на лесной дороге. Ещё больше раздумянился от морозного ветра возница, но шубы не запахивал — нипочём ему, знать, холод был.

— Что, не напугалась, красавица?

— Нисколько! — возбуждённо ответила Аглая, точно захмелевшая от поездки.

— Прекрасно! Тебе всё-таки очень нужно в Балашово?

Нужно, конечно... Хотя совсем не хочется... А, может, и вовсе не нужно? Только косые взгляды ловить. Пожалуй, скажут ещё, как посмела явиться — на позор семье. Ещё и прогонит тётка.

— Нет... Пожалуй, не нужно...

— Тогда, может, покатаемся ещё?

— Только шибче гоните! Чтобы я всё-всё позабыла!

И снова летели то ли по земле, то ли по небу, и ослепительно сиял снег, отражая солнечные лучи, и всё казалось ненастоящим, словно бы сон, дурман...

— А хочешь, поедем к цыганам? Они здесь недалеко табором стоят, знаешь?

Конечно, знала Аля про цыган. Деревенские частенько бранились. Стали, де, табором и ни с места. Только коней воруют. Бабы к тому разных страстей добавляли, пугали цыганами малых детей. Оттого Аглае всегда было любопытно взглянуть на табор. Но почему-то не приводилось ещё. Согласилась ехать туда легко и весело, что очень обрадовало Юрия Алексеевича.

В таборе их встретили песнями, танцами и шампанским, которое с непривычки сразу бросилось Аглае в голову. Никогда ещё не приходилось ей гулять так весело, забыв обо всём.

Аля и не заметила, когда цыгане исчезли, и они остались с Юрием Алексеевичем наедине. А он, кажется, только и ждал этого мгновения. Или сам и отправил цыган? Засыпал поцелуями и горячими, полубредовыми словами. Называл какими-то неведомыми именами... От солдатиков таких речей не услышать. Даже Филька-балабол не придумает ничего схожего. И уж конечно не будут они становиться на колени, долго-долго смотреть в глаза. Такому деликатному обращению они не обучены. А ведь приятно оно... Даже зная, что все слова эти ничегошеньки не стоят.

Ей хорошо было в ту ночь. Не мучили видения, не снедала тоска. А наутро Жорж съездил в усадьбу и, наврав, что его срочно вызывают в полк, повёз Аглаю на оставшуюся неделю отпуска в город.

В городе Аля жила, как барыня. Жорж снял номер в лучшей гостинице, одел её в лучшие одежды, не поскупившись на дорогую шубу и украшения, водил в лучшие рестораны и синематограф... Впервые одев новое платье, Аглая долго и неотрывно смотрела на своё отражение в зеркале. Как когда-то в первую ночь с мужем. Ища перемен в себе. А Жорж полагал, как

Тёмушка, что она любит себя и подаренным платьем. Платье и впрямь было удивительно красиво и шло ей. И странно было носить такое. Как будто неловко.

— Да, Аглаша, бежать тебе надо из этой дыры. Деревня не для тебя, — говорил Юрий Алексеевич. — С такой красотой можно столицу покорить! Пошла бы в артистки, например. Нет, в самом деле! Одевшись должным образом, освоив манеры высшего общества, ты, войдя в него, затмила бы любую светскую красавицу.

— Кто же меня в него пустит? С парадного не отворят, а с чёрного провести некому.

— Придумаем что-нибудь, — улыбнулся Жорж. — Вот, прикончим мы немца, а потом я займусь устройством твоей судьбы. Жениться не стану, честно говорю. Другой бы соврал, но ты, я вижу, умница, поэтому с тобой разговор иной. Будешь ты ещё в столице блистать. А в тутошнем болоте зачахнешь.

— А вам не всё ли равно?

— Мне? Представь себе, не всё равно. Жаль, если жемчужина пропадает в навозе.

— Знаю я, Юрий Алексеевич, кем вы меня в столице сделать хотите! — усмехнулась Аглая. Но Жорж не смутился, отозвался, как о само собой разумеющемся:

— А здесь у тебя разве иное? Так уж лучше в столице! Там на тебя шипеть не будут, и шарахаться, как от прокажённой, тоже. А наоборот всё будет — ложа в театре, выезд, лучшие рестораны, синематограф, деньги... Всё, что только пожелаешь!

— Какое же грязное место в таком разе ваша столица... — вздохнула Аля. — И как только вы там живёте... Жалко мне вас...

Жорж посмотрел на неё недоумённо.

— Не по-людски так жить. Человеку нужен дом... И человек... Который бы... любил его. Хоть немного. Его,

понимаете? А не ложу... выезд... синематограф... Как же можно жить без родной души? Это же страшно.

— А ты зачем же, в таком случае, не живёшь по-людски?

— Видать, не про меня людская-то жизнь оказалась.

Ровно через неделю Аглая провожала Юрия Алексеевича на вокзале. Стояла под снегом в роскошной шубе и шапке — настоящая барыня. Не мог же он показываться на людях со скромной крестьянской девушкой. стыдно. А так — любой прохожий позавидует! Простились, однако, тепло. И жаль было Але, что он уезжает. Весело с ним было, легко... А без него снова маяться.

Отошёл поезд, и хотела было Аглая уже уходить, когда к платформе подошёл состав с беженцами. Люди выглядели измученными, дети испуганно тарасились. Они выходили на перрон, неся котомки и узлы, у кого были, озирались потерянно.

— Жить у нас будут, пока не отвоюют у немца назад их дома, — пояснил наблюдавший за происходящим старичок-железнодорожник.

Между тем, на платформе началась суета. Подошли представители городских властей, земгора, благотворительных организаций, простые граждане. Кто-то предлагал беженцам поселиться у себя. Тут же организовали для них сбор вещей и денег.

Аля оставила старичка и, подошла к женщине, собиравшей пожертвования.

— Хотите пожертвовать что-нибудь, барышня? — спросила та, блеснув стёклами больших очков.

— Да... — отрывисто отозвалась Аглая и, снова взглянув на несчастных беженцев, стала лихорадочно снимать с себя подаренные Жоржем драгоценности: серьги, кольцо, кулон, который едва-едва удалось расстегнуть под одеждой.

На неё смотрели с удивлением. Старичок покачивал головой, глядя бороду. Часто моргала глазами сборщица пожертвований. А какая-то беженка сказала:

— Спасибо вам, барышня! Доброе сердце у вас. Век за вас Бога молить будем!

Домой Аглая возвратилась в том же тулупе, в котором увёз её Жорж. Шубу она также отдала беженцам, оставив себе на память о поездке лишь прекрасное платье, которое заботливо свернула и спрятала в старом лукерьином сундуке.

Миновало ещё полгода. Софья слегла вновь, и опять приходилось жить на два дома. В конце лета приехал в Глинское Родион. Уже капитан. Посуровевший в боях. Мрачный, как грозовая туча, от происходившего вокруг. Должно быть, как и его отец, он переживал, как трагедию, падение Царя. Вон и Софья, когда узнала, плакала навзрыд, будто кто близкий помер. Трудно было понять это Але.

Родиона видела она лишь мельком, боясь встречи. В это время она уже чувствовала, что тяжела. Вот и ещё позор не за горами ждал... Безмужняя мать, понёсшая невесть от кого... На Родиона-то Николаевича и глянуть — со стыда сгореть. Даже и Софьи совестно. Не говорила ей ничего, таилась. А когда барышня Марья Евграфовна возвратилась и поселилась у неё, так и вовсе ходить перестала — есть теперь, кому пособить больной.

Все месяцы беременности скрывалась Аглая от сторонних глаз. Хотя как скроешься в деревне? Дознались, конечно, в свой срок. И ещё больше презирали. Лишь Марья Евграфовна пришла незамедлительно и, убедясь, что сплетни не лгут, упредила:

— Чуть что почувствуешь, меня зови. И не бойся. Обычное дело. Ребёнку твоему я крестной буду.

— Не нужно вам, Марья Евграфовна, возиться со мной. Руки об меня пачкать...

— Ты глупости эти оставь, — нахмурилась барышня. — А не оставишь, так я к тебе сама каждый день ходить стану — проведывать.

Она, действительно, стала приходить всякий день. А ближе к сроку и по два раза на дню. Вот, только окрестить новорожденного было не суждено. Ребёнок родился мёртвым... И это ничуть не поразило Алю, не причинило боли. Только опустошило ещё больше.

А три дня спустя Марья Евграфовна неожиданно прибежала к ней ночью, взволнованная, запыхавшаяся. Позвала с порога:

— Собирайся скорее и идём со мной.

— Куда? — безразлично спросила Аглая.

— К нам! В усадьбу.

— Зачем?

— Ксения сына родила. Раньше срока... Два дня промучилась — думали, уже не разрешится. Плохая она сейчас. Молока у неё нет. Кормилица нужна ребёнку.

Не сразу и сообразила Аля. Ксения? Какая Ксения? И вдруг пронзило. Да ведь это же барыня молодая! Родиона Николаевича жена! И ребёнок — его... И к нему-то зовут её?

— Неужто меня в ваш дом пустят?..

— Малышке нужно молоко, — непривычно строго ответила Марья Евграфовна. — Собирайся, пожалуйста!

Аглая наскоро оделась и последовала за ней. В усадьбе их уже ждали. Для кормилицы даже успели приготовить комнату. Нерешительно ступив в неё, Аля напряжённо искала в лицах Анны Евграфовны и её дочерей презрения или брезгливости к себе. И не находила. Ей, предавая забвению её черноту, прощая её, доверяли теперь самое дорогое — крохотную наследницу, внучку хозяина, дочь Родиона... Але казалось, что помрачение, длившееся дольше трёх лет,

было вовсе не с ней, что это приснилось ей в каком-то кошмаре, что теперь эта страница жизни перевернута и вырвана вовсе, и открывается новая, чистая. Наверное, нечто схожее чувствовала грешница, когда услышала от Спасителя: «Ступай и не греши!»

Глава 5. Мать

Первое острое сознание того, что произошла трагедия, и что вся жизнь отныне пойдёт по-другому, к Анне Евграфовне пришло не тогда, когда белый от волнения Николай зачитывал вибрирующим голосом текст Отречения, а затем скомкал газету дрожащими руками и швырнул её в камин. Умом поняла, что случилось несчастье, и встревожилась за сына (в той же газете писали о нападениях на офицеров), и за мужа (слишком близко к сердцу принял — отпаивать сердечными каплями пришлось). Но не проняло, как следовало бы. Душа не верила, что жизнь может вдруг повернуться коренным образом. Обрушиться.

Первое время в Глинском всё оставалось прежним, и это успокаивало. Но вскоре грянул гром. Убили соседа и друга Клеменса, Ксеньиного отца. Для неё, бедняжки, это было страшным ударом. Чудо, что не потеряла она ещё тогда, на первых неделях, ребёнка. Порывалась ехать в родной дом, но Николай не пустил. Не хватало ещё бедной девочке увидеть пепелище...

Сам муж ездил туда. Возвращался чернее самого пепелища. А ведь ему не в новость было подобное зрелище. Ещё в Пятом году кое-где в окрестностях красный петух показал свою ярость. Николай, по служебному своему положению, самолично ездил в беспокойные места, проводил расследование, разговаривал с бунтовщиками. Он не боялся их. Считал ниже своего достоинства — бояться. А они ведь как-то стреляли в него. Только Анна Евграфовна о том узнала лишь через несколько лет случайно. Николай берёт её от таких волнений...

Правда, в Пятом обошлось без крови. А тут... Несчастный Дмитрий Владимирович! Его хоронили в

закрытом гробу. Ксении сказали, что отца убили, а потом начался пожар, и поэтому тело сильно обгорело. А на деле его просто изуродовали, глумясь... Но об этом не сказали бедняжке. И без того слишком страшно случившееся.

— А ведь окажись я с отцом, они бы и меня... Так же... — с расширенными от ужаса глазами повторяла она.

А когда через несколько дней толпа подошла к дому, сидела, словно окаменев. И ждала. Когда ворвутся... И напрасны были все попытки успокоить, что Николай Кириллович никогда не позволит, чтобы случилось страшное. В то, что муж сумеет обуздать обезумевших людей и защитить от них дом и семью, Анна Евграфовна верила твёрдо. Сама она вместе с дочерьми всё то время, что Николай говорил со смутьянами, молилась перед образами, прося Пречистую оборонить их дом.

Николай мужиков утихомирил. Умел он говорить с ними, как никто. А окрест по многим усадьбам красный петух прошёлся... И во многих угрозами натравливали большевики крестьян на помещичьи гнёзда: «Не пойдёте — так всю деревню сожжём!» И если старался кто в грабеже не участвовать, так наседали: «Хоть щепку да возьми из имения: чтоб отвечать — так всем, скопом!..» В усадьбе князей Лохвицких — ещё одна трагедия! Приехали туда что-то забрать из города двое старших сыновей князя. Отговаривала их мать да без толку! Не верили бедные юноши опасности — всегда в ладу с крестьянами жили. А те пришли. Предводительствуемые комиссаром. «Милосердие» проявили, дав князьям помолиться перед смертью. А потом убили. Заколов вилами...

В Глинском же ещё несколько месяцев прошли мирно. Когда прогрелась земля, сами насадили огород. Это нисколько не в тягость было. Всю жизнь Анна

Евграфовна разводила цветы в просторной оранжерее и на многочисленных клумбах. Ухаживала за ними сама, не щадя рук. Так что не привыкать было к такому труду. Не сложнее сажать картофель и редис, чем астры и левкои... Помогали и девочки, и Жорж, и старый верный Ферапонт, и Аглаша. Николай из-за ревматизма опасался подобных работ.

Как-то утром пошла Анна Евграфовна навестить могилу старшего сыночка Мити. Свежих цветов посадить, прополоть старые. Пришла и пошатнулась. Чья-то ненавидящая рука уже навела «порядок». Все цветы были оборваны или просто вырваны с корнем и брошены рядом, сломанный крест также валялся поодаль.

В первый раз за весь этот многотрудный год дала Анна Евграфовна волю слезам. Не вмещалось в сердце такой бессмысленной злобы ко много лет назад умершему мальчику-страдальцу. Рвалось оно от обиды. Добро бы украли что из дому, но вот так... надругаться над могилой ребёнка...

— Что им сделал мой бедный мальчик? Откуда такая ненависть к нам? — всхлипывала она позже, когда кликнутой Николаем Матвеич принялся выстругивать новый крест.

— Полноте вам убиваться, Анна Евграфовна, — отозвался Игнат, сердито отгоняя назойливых кровососов, мешавших его работе. — Мало ли дураков и разной гнили шныряется! Поди пьяные до последней возможности были. Найти бы да отодрать хорошенечко, чтоб долго хребтиной помнили...

— Да ведь прежде-то никогда не бывало такого!

— Что говорить, Анна Евграфовна, оскотинился народ. Время такое... Бесятся. Глядишь, перебесятся — да за ум возьмутся. Нельзя ж всю жизнь только безобразить и кровь ближних пить. Образуется!

— Так уж и нельзя? — усмехнулся Николай. — Вон, сколько разных кровососов в природе встречается! И ничего!

— Так то ж насекомые...

— А иные люди почище клопов будут. Вон, Акишка! Всю жизнь живёт — пальцем не шевельнёт. Со своей Кобылой.

— Сивые-то? Сивые-то — да... — раздумчиво почесал в затылке Матвейч. — Но это дело другое. Рвань, пьянь... Паразиты — одно слово. Такие везде попадают и всегда. И что! На кой сеять-жать, если можно к соседу поскрестись и кусок слёзно выклянчить? Кобыла по энтому делу большая мастерица! Ей и не хочешь давать ничего, да так привяжется, так заскулит, что сунешь, скрепя зубы, чего ни на есть. А им много ль надо? Оборвыши их всю дорогу без порток и босы бегали — чумазые, что твоя чушка. Сами — самогонка есть, корка на закуску тоже. Сынок их ещё... Выродок шестипалый... Тоже пьянь хорошая. А форсу! Он, видите ли, на хвронте в партию большевиков записался! Будем, говорит, тутотка новую жисть устанавливать! Гадёныш сивый... Комбед... Установили новую жисть! Соли и то не добудешь при ней... Потому как всё по распределению! И ведь, главное, когда берут продразверстку, то это с нас, а не с бедноты. А когда что-либо дают, то это — бедноте, а нас — мимо. Распределение! Вот уж, действительно «коммуна»: кому — на, а кому... — Матвейч покосился на барыню и махнул рукой, не докончив.

— И такие, по-твоему, образумятся?

— Да нет, конечно. Горбатых только могила исправит, знамо. Я о тех, которые сейчас сгоряча лютуют. Ну... как во хмелю, что ли, которые.

— За что они нас так ненавидят? — снова спросила Анна Евграфовна, заботливо расчищая могилку, чтобы посадить принесённые маргаритки.

— За всё, Аня. За всё, что есть у нас, и нет у них.

— Верно, Николай Кириллович. Больно уж зёнки завистливые у людей на чужое добро. Это и не только у Акишек, это и у вполне себе порядочных людей. Своего ить завсегда мало кажется, а чужой кус — больше и слашше.

— А ты, Матвеич, тоже другим завидуешь?

Игнат тонко ухмыльнулся в седеющие усы:

— А Бог меня разберёт, Николай Кириллович. Не без греха, что уж. Но и не помню такого, чтобы чужой кусок мне ум мутил, как псу оголодалому. Эх, чудные люди у нас. С одной стороны для погорельца какого исподнее снимут, последним поделятся, а с другой — если вдруг погорельцу этому свезёт подняться, так ему же сердобольцы в душе красного петуха сулить станут. И пустят неравён час! А потом опять пожалеют! — Матвеич рассмеялся. — Вот как объяснить это, а? Ведь любого юрода приветят, калек любят, бродяг всяких и нишших, а, вот, деловых людей не любят. Тех, что их богаче, во всяком случае. Меня, вон, намедни, один чушка кулаком обругал. Хотел было ему по-отечески пояснить его заблуждение. Да уж больно прыток оказался! Не дотянулся я до него дубинушкой. Оскотинился народ, озверел...

— А, по-моему, это уже просто... не народ, — покачала головой Анна Евграфовна. — Не русский народ... Разве может русский человек извергом быть? Нет, это не русский он, значит. Душой не русский.

— Боюсь, Аня, что именно и как раз русский, — ответил Николай, покручивая меж ладоней трость. — Только... перевёрнутый!

— Как ты можешь так говорить? Ведь они всё русское презирают и ненавидят! Церковь ненавидят! Христа!

— Именно! Дорогая моя, так неистово презирать что-либо только наш человек способен! Мы, русские,

максималисты! У нас — или всё, или ничего! У нас в Бога верят так, что и людей за бесов чтить начинают, у нас святые иконы и мощи почитают так, что на пути к ним любого ближнего готовы смести и растоптать! У нас, если уж любят Россию, то лишь свою собственную, а, кто любит иную, тот уж и враг для нас! А уж если ненавидят, то всею душой! Так ненавидят, что не могут не разрушать! Но даже в этой ненависти остаются русскими. Только, повторюсь, перевёрнутыми. Добродетель, если её перевернуть, обращается в страшное зло. Так и русский человек. Коли он прямо стоит, так столп, так гений, так святой, на которого только молиться! Ну, а переверни его? Такая мразь получится, что хоть криком кричи. Нигде больше не увидишь такой жажды разрушения, уничтожения и даже самоуничтожения! Русский человек страстен! Он страстями одержим! Они его разрывают буквально! И, заметь, заметь, страсти-то что означают? Страдания! И как верно это! Ведь мы же первые и страдаем от страстей своих! Может именно оттого мы, русские, великие страдальцы... И вся Россия — страданица. У нас ведь всё — страдальческое. Иначе не можем... Даже и отменнейшие мерзавцы страдают... Достоевский прав был, когда говорил, что первейшая наша потребность — страдать! А, вот, тот, кто страдать разучается, вот, тот уже, пожалуй и не русский... Не тот, кто все основы низвергает, Бога хулит, жжёт и убивает (этакий-то наш как раз), а тот, кто страдания не испытывает уже. Душевного страдания, страдания совести. Она в любом негодяе нашем сидит, а иной раз и пробуждается... Русский негодяй не бывает уж совсем без совести. Если без совести, то не наш... Не нашей души... Наша душа всегда свою черноту понимает... Коли перевёрнутая, так и гордится ею: вот, какой я мерзавец — свет обойди — такого второго не сыщешь! А, вот, коли не понимает, а лишь одну белизну видит, так не наша это душа...

— Папа, да ты, оказывается, философ? — Варюшка ласково обняла отца за плечи. — Никогда не слышала от тебя подобных изысканий.

— А что ж прикажешь делать, детка моя, если делать оказалось совершенно нечего? Философию всегда порождает безделье! — Николай назидательно поднял палец.

— Это вы верно заметили, — кивнул Игнат. — Вот, Серёжка мой всё хвилософствует, хвилософствует, а делать что учнёт — пиши «пропало». И на кой вся эта хвилософия, спрашивается? От лукавого все эти мудрствования, я так считаю. Ума палата, прибытку никакого ничему. Ни душе, ни телу. Как, вот, живут они теперь там в Москве? В голоде? Я ведь Серёжку знаю! Куска хлеба не найдёт. Сам с голоду пухнуть станет, и семью заставит. Вся на Лиду надежда. Хоть и профессорская дочка, а нашего норова. Звень-баба! А с Достоевским вашим я не согласен. Это, может, такие вот хвилософы страданий ишшут... А простой человек — жизни порядочной. Хорошей. И для себя, и для детей... Вот, мне бы годков двадцать теперь сбросить, так перекрестился бы и сказал, что нашёл то, что искал... — Матвеич крякнул и, кряхтя, установил крест в основание могилки. — Вот, Анна Евграфовна. Лучше прежнего!

— Спасибо тебе, Игнат, — поблагодарила Анна Евграфовна. — Ты бы для деток взял гостинцев каких. За труды...

— Бог с вами! — Матвеич замахал руками. — За такие труды разве кладбишшенские берут или нехристи! Не обижайте. Не знаю, как у кого, а у меня-то пока ни душа, ни голова не перевернулись.

— Да ведь я от души!

— И я не от иного! — Игнат набросил снятую на время работы короткую, подбитую лёгким мехом безрукавку, потёр занывшую спину. — У вас теперь у

самих туго. А дальше не лучше будет. Так что это не вы мне, а я вам ещё гостинцев приносить стану. Я ведь перед вами по гроб жизни в долгу. Серёжку моего в люди вывели, Аглашку... приютили... — при упоминании дочери Матвеич запнулся. — Тут уж и отблагодарить нечем! Так что знайте: что бы ни случилось, покуда я жив и в силах, можете мной располагать.

От сердца эти слова были сказаны, и Анна Евграфовна растрогалась. Протянула обе руки, пожала благодарно мозолистые игнатовы ладони. Всё-таки как заблуждаются те, кто говорят, будто бы добро делать всё что сеять песок. И не говоря о награде там, но, вот же, здесь возвращается нам наше посеянное сторицей!

Утешенная, отправилась одна в свою оранжерею. За ней она ухаживала, несмотря ни на какие испытания. Ведь цветы — живые. И как же бросить их? Оставить замерзать и чахнуть? Они, как и люди, ждут ухода, внимания, ласки. И благодарят за них своей красотой. Действительно, божественной, потому что их сам Бог наряжает, украшает так, что никакое творение человеческих рук не сравнится.

Зайдя в оранжерею, Анна Евграфовна сперва прошла вдоль словно нарочно тянувшихся к ней распускающихся соцветий, улыбаясь им, касаясь рукой, вдыхая аромат. Особенно долго стояла у клумбы с любимыми азалиями, любясь ярко-лососевыми цветами. Затем устало опустилась в плетёное кресло, смотрела рассеянно на никнувшие к земле фиолетово-розовые, крупные колокольцы. Вот, здесь она простилась с Родей в последний раз, когда после «Корниловского мятежа» он, погостив в отчем доме дней десять, торопливо уехал... Куда? Снова на фронт. Только уже не на германский. На новый... Линия которого ещё не обозначилась на карте, но кровавым шрамом располосовала души.

— Зачем тебе уезжать? Ведь ты подал рапорт об отставке...

— Я ушёл со службы предателям России, а присяге самой России изменять не намерен!

Он изменился за эти три военных года. Посуровел, первые морщины пролегли в углах рта и на лбу. И потончали губы под тёмными мягкими усами. И глаза — похолодели будто. Даже Ксения этого холода растопить не сумела. Да и как? Хоть и любила, жалела Анна Евграфовна невестку, а по-женски отмечала: холодна девица. Рыбья кровь. Такая привязать к себе не сможет. Тем более, Родю... Он и женился-то на ней по родительскому желанию и от разочарования в любви настоящей. Не знала Анна Евграфовна, кто та настоящая была, а понимала — не Ксении этой страсти перебить.

Даже женился на ней Родя как-то мимоходом. Приехал в отпуск на несколько дней, Ксения срочно в Москву примчалась. (А, глядишь, не привёз бы её, рыбу, отец тогда, и не быть браку?) А раз примчалась, то что ж делать. Обвенчался с нею наскоро, а поутру на фронт уехал. Так спешно, словно бежал. И уже тогда поняла Анна Евграфовна: не быть сему союзу счастливым. Если с первого дня муж на жену смотреть не хочет, то как потом будет? А Николай буркнул только:

— Обвыкнет, ничто!

А Родя не хотел обвыкать. Ни разу больше не приезжал в отпуск. И лишь, возмущённый предательством Главнокомандующего Керенским оставив службу, навестил родных. Проститься перед новой разлукой. Долг выполнить...

Так он все эти дни в Глинском и пробыл — точно повинность отбывал. С Ксенией от силы парой слов обменялся. И видно было, что маялся. Бродил где-то целыми днями, читал книжку на чердаке, как в детстве. Весь в себе... Чужой какой-то...

А перед отъездом пришёл сюда, побыть с матерью.

— Помнишь, как бывало в детстве — мы играли здесь? Ты пряталась, а я тебя искал... Тогда твои цветы казались мне огромными, а вся эта оранжерея цветочными джунглями...

Впервые потеплел взгляд за эти дни, дрогнули губы в улыбке. Он стоял на коленях, прижав её ладонь к своему лицу:

— Мама, ты всё такая же! Как тогда была! Всё изменилось, а ты прежняя... И эта оранжерея... Глинское... Единственное дорогое, что у меня осталось. А в остальном пусто, — Родя поднялся, коснулся рукой к груди. — Здесь — пусто! Я любил женщину, но она мне изменила. Любил Родину, но её у меня отняли и теперь сквернят её. Бороться за женщину было и поздно, и... стыдно. Но не бороться за Родину я не имею права... Дядя Жорж, пожалуй, сможет и не бороться. А я себя в таком случае всю жизнь буду подлецом и трусом считать.

— Что ты собираешься делать? — отрывисто спросила Анна Евграфовна.

— Поеду в Петроград. Не может быть, чтобы все сдались. Смирились перед этой торжествующей подлостью! Я уверен, что офицеры, не забывшие понятие чести, не будут сидеть сложа руки. Они организуют сопротивление. Возможно, какая-то подготовка уже идёт... Я не могу стоять в стороне.

Конечно, не мог. Но, чувствовала Анна Евграфовна, не только оттого, что требовала того честь. А и потому ещё, что здесь ничего не держало, кроме светлой грусти о былом. Чем более пусто в мире, тем больше упоения в бою... Может, потому и заслужил Родя три Георгия, не считая прочих наград. Отдаваясь всецело войне, борьбе.

Сына она не удерживала. В сущности, в самом деле, стыдно было бы офицеру отсиживаться дома, когда

гибнет — Россия. Остаётся Родя в Глинском, ей, матери, было бы спокойнее. Но и стыдно было бы... Что её сын прячется, когда сражаются другие. Не так она воспитывала его. Не так воспитывал Николай.

Скрепила сердце:

— С Богом, сынок! — перекрестила размахисто, поднявшись и сбросив кремовую шаль на спинку кресла.

Только ни одно расставание прежде таким тяжким не было. Так и пронзало грудь: не свидеться больше. И перехватывало судорожно горло.

Зацокали копыта по дороге, поднялся столп пыли, и скрылся сын, растворился вдали. С женой простился скоро. Будто бы сторонняя была она. Тепло расцеловал сестёр. Обнял отца... А с Анной Евграфовной дольше прощался, стоял перед ней, смотрел потеплевшим взглядом, а она, со ступенек крыльца возвышаясь над ним, гладила обеими руками его вихрастую голову.

С той поры ни письма, ни весточки... На Дону генерал Корнилов создал Добровольческую армию. И сердце подсказывало — Родя, если только Бог сохранил ему жизнь, там. Больше и быть негде.

Глава 6. Опоздано

— Царь, царь... И что вам, в самом деле, дался царь? Можно подумать, что без царя уже и никак прожить невозможно! — Любич презрительно кривил тонкие губы. Что-то змеиное было в смазливом лице с аккуратно постриженными усиками. Вот, такие всегда по паркетам хорошо шаркали в гостиных. А потом страшно революционных убеждений оказались!

Родион скрипнул зубами, не отвлекаясь от штопанья дыр на превращающейся в совершенные лохмотья рубахе. Не хотелось ввязываться в разгоравшийся спор. Знал себя: неважину будет в рамках учтивости удержаться. Уже и теперь не столько язык зудел, сколько руки — объяснить Любичу его... неправоту. С детских лет не выносил Родион подобных субъектов. Но в ту благословенную пору отношения выяснялись значительно проще.

— Что-то не очень-то получилось — прожить, господин поручик! — хмуро отозвался ротмистр Головня. — Ваши субчики Керенские с Милюковыми за считанные месяцы разбазарили всё то, что наши государи собирали веками.

— Тогда уж народ собирал, Виталий Валерьянович. А Самодержавие, оторвавшееся от него, чуждое ему, лишь стесняло народные силы.

— Вы зато освободили!

Гоготнуло пара голосов. Дурачье чёртово, смешно им. Так и прогоготали всю Россию, весельчаки...

— Нам просто не дали закончить! Но мы это исправим. Вот, подвинем «товарищей», соберём Учредительное собрание и...

— ...настанет рай на земле! Уже насмотрелись, на что вы горазды!

— А вы горазды на что ж? Где ваши бородатые молодцы из Чёрной сотни? Многомиллионного союза, на который шли государственные средства? Почему организованное сопротивление большевикам начали не они, а эсеры? То-то же!

— А почему большевики оказались в России? Главари их? — не удержался Родион, чувствуя, как закипает кровь от победительного тона этого эсера в офицерском мундире. — Не ваш ли душка Керенский их запустил? Всех бы вас вместе взятых на одну перекладину...

— Полноте, Родион Николаич! Всё-таки мы здесь в одной лодке! — попробовал урезонить его корнет Ключинский.

— В одной! Верно! Только, боюсь, лодка такая непрочной будет и ко дну пойдёт! Или дыру в ней сделают некоторые попутчики! Им не привыкать!

Любич ничуть не смутился, и не сошла с лица его надменная ухмылка:

— Не доверяете эсерам, Родион Николаич?

— Я ещё в своём уме, чтобы доверять людям, у которых подлость и предательство является их сутью. А, тем более, тем из них, кто срывал погоны и цеплял красные банты, празднуя гибель своей Родины.

— У меня такое чувство, что вы эсеров хуже большевиков ненавидите.

— Вы правы, всю вашу эсерящую братию я ненавижу хуже большевиков. Большевики — враги открытые. С ними легче бороться. А вы, как гадюки. Пригреваетесь на груди, чтобы затем ужалить.

— Поосторожнее в выражениях, я дворянин.

— Ба! Разве для вас имеет важность принадлежность к отжившему и вредному классу?

— Родион Николаич, довольно! Не время теперь для свар меж своими! — махнул рукой дородный Головня, опасливо следя за накалом словесного поединка.

— Если бы своими! — вспыльчивый Родион уже не мог остановиться. — Горстка негодяев, знаний которых хватало лишь на газетные статейки и пустозвонство с трибун, решила, что они могут руководить государством! И каким! И в какой момент! Да кто им, полужнакам, право дал близко касаться дел и вопросов, в которых они ни чёрта не смыслили? Кто дал право требовать себе власть им, не знающим, что с нею делать? Им покрасоваться хотелось! В историю войти! Вошли! Нас в эту проклятую историю втоптав, как в навоз... Нижайший поклон за это сукиным сынам!

— А тупоголовые бездари из кабинета министров, по-вашему, имели право занимать свои места? — раздражённо спросил Любич. — А сумасшедшая баба со своим бесноватым старцем имела право править государством, как помещица-самодурка вотчиной? А её подкаблучник-муж имел право...

Закончить поручик не успел, поверженный на землю знатным ударом кулака. Тут же на руках Родиона повисли Ключинский и Головня:

— Опомнитесь, господин капитан!

Стряхнув их, он приблизился к утиравшему платком с разбитого лица кровь Любичу, сказал хрипло:

— Готов буду принести вам, господин поручик, удовлетворение, если пожелаете. Но если вы хоть раз ещё позволите себе говорить мерзости о Царской Фамилии, просто непочтительно выражаться об этих людях... Я ведь и трибунала не побоюсь! Как собаку, пристрелю...

Задыхаясь от бешенства, Родион пошёл прочь. Сколько раз за последний год и раньше приходилось ему слышать подобное! От своих же боевых товарищей... И про Гришку, и про царя безвольного, и про отрыв от народа. Да что бы знали все эти болтуны, умывающиеся теперь кровью вместе со всей Россией за

эту свою болтовню, накликавшие беду на собственные горькие головы!

Отрыв от народа! Летом Четырнадцатого года в мясорубке Восточно-Прусской операции не сыновья ли Великого Князя Константина рисковали жизнями под огнём неприятеля? Совсем рядом с ними привелось сражаться Родиону. И видел он, как воевали они. Так, что говорили все: хорошо воюют князья Константиновичи.

Те первые дни горячими выдались и особенно ярко вспоминались. После училища Родион получил назначение в лейб-гвардии 1-ю Государя Императора Николая II конно-артиллерийскую батарею. Её первые славные подвиги относились к годам Наполеоновских войн, дыхание которых коснулось юного Роди, когда он впервые переступил порог Корпуса и зачарованно рассматривал украшавшие стены трофеи. Её первыми командирами были среди прочих Филипп Бистром и его брат Антон, самый молодой генерал Отечественной войны. Память тех давних славных дел некогда полнили мальчишескую душу восторгом, а теперь укрепляли и вдохновляли быть достойным продолжателем...

Ширвиндт, Веркопюнен, Каушен — здесь принимал подпоручик Аскольдов боевое крещение. Особенно памятен был Каушен, где во время атаки на вражеские позиции 3-го эскадрона Конного полка сложил голову боевой товарищ и командир поручик Гершельман 2-й. 3-й эскадрон был последним резервом, оставшимся у командования, после безрезультатных атак прошлых дней. Бешеный огонь неприятеля выкашивал русские части. А ведь то была элита русской армии! В кавалерии служили представители самых знатных родов. Да, вот, и три брата Константиновичи, князья крови императорской — здесь же. А гнали кавалерию, это до боли очевидно было, на убой. Грудью на сплошной огонь немецких батарей. В пешем строю. Так и уложили

элиту гвардейскую... И, наконец, последний эскадрон под командованием ротмистра Врангеля, бросили на штурм. Уже, как и пристало кавалерии, в конном строю. Казалось, что и этих неудача постигнет. И неминуемо бы так, кабы не находчивость молодого ротмистра. Так ловко сумел он использовать местность, что эскадрон его вылетел напротив немецкой батареи совершенно неожиданно: изумлённые немцы даже не успели изменить прицел и ударили наудачу. Эскадрон шёл в лоб. Непрерывным огнём были выбиты из строя все офицеры, кроме командира. Коня Врангеля убили под ним прямо перед вражескими траншеями. Ротмистр вскочил на ноги и с шашкой ринулся к батарее. Вместе с остатками эскадрона он врукопашную дрался на немецких позициях, и в итоге Каушен был взят.

В сражениях за Каушен участвовал и «князь Гаврюшка», которого прежде приходилось Родиону встречать в стенах Корпуса. И, если в учении он всё же пользовался положением, приезжая в Корпус лишь на неделю для сдачи экзаменов, то воевал, ничем не отличаясь от прочих офицеров. Осенью Четырнадцатого был смертельно ранен в бою его младший брат Олег. Поэт, музыкант, знаток и собиратель пушкинского наследия... Совсем ещё юноша. Хрупкий, болезненный. И всё-таки добившийся отправки на фронт и перевода из штаба в действующую армию. Добившийся, потому что не мог быть в стороне, когда сражался народ... А вскоре был убит муж его сестры князь Багратион, добившийся перевода из кавалерии в пехоту, несущую самые большие потери, а потому испытывающую недостаток в офицерах...

В те же дни получил своё первое ранение и Родион. Благодаря этому малоотрадному событию, он очутился в госпитале Царского Села, где провёл незабвенные недели, оставившие глубокий след в душе.

О царскосельском лазарете Родион не раз слышал прежде, но всё же не мог представить себе, чтобы Императрица с августейшими дочерьми сама, как простая сестра милосердия, ходила за ранеными, промывая, перевязывая гнойные раны, ассистируя на операциях. Не мог представить. Поверить не мог. Образ строгой, всегда печальной и холодной, неприступной Императрицы, какой представала она на фотографиях, совсем не вязался с образом сестры милосердия...

А оказалось, что фотографии обманывали. Что сестра милосердия не образ был, а существо этой женщины. Впервые Родион увидел её на перевязке, когда его только привезли в госпиталь. И поначалу даже не сообразил, кто перед ним. Немолодая, усталая женщина с печальными глазами... Осторожно обрабатывает рану, стараясь не причинить боли. Рядом с ней другая женщина. Маленького роста, очень энергичная. Врач... Изредка что-то говорит сестре. И приглушённо добавляет — лишь с третьего раза расслышал:

— Ваше Величество... — и понял, отчего знакомым показалось ему лицо Сестры.

А она закончила перевязку, чуть улыбнулась, светло, мягко, сказала, ласково положив руку на горячий лоб:

— Поправляйтесь, голубчик!

Она очень редко улыбалась. Но сколько же света было в этой её печальной улыбке! Сколько неподдельного участия и заботы было в голосе, когда часами она просиживала подле страждущих, разговаривая с ними.

В лазарет Августейшая Сестра приезжала каждый день ровно в девять часов. Быстро обходила палаты с Великими Княжнами Ольгой Николаевной и Татьяной Николаевной, подавая руку каждому раненому, после чего шла в операционную, где работала непрерывно до

одиннадцати часов. Никто в лазарете не умел делать перевязок лучше неё. После работы в операционной она вновь обходила раненых, на этот раз подолгу разговаривая с каждым. А ведь ей по болезни самой трудно было ходить... Но превозмогала себя для служения страждущим.

Не отставали от матери и княжны. Работали, не зная усталости. Не только перевязывали раненых, но и мыли их. Вот, привозят очередную партию: офицеров, солдат... И Великая Княжна Ольга по очереди каждому из них омывает ноги... Сочувствует пожилой солдат:

— Умаялась, сердечная?

— Да, немного устала. Это хорошо, когда устаёшь.

— Чего же тут хорошего?

— Значит, поработала.

— Этак тебе не тут сидеть надо. На хронт бы поехала.

— Да моя мечта — на фронт попасть.

— Чего же. Поезжай.

— Я бы поехала, да отец не пускает, говорит, что я здоровьем для этого слишком слаба.

— А ты плюнь на отца да поезжай! — посоветовал солдат.

— Нет, уж плюнуть-то не могу, — смеётся княжна. — Уж очень мы друг друга любим.

Сёстры также шили для раненых бельё. Родион однажды видел Ольгу Николаевну за этой работой и поразился, как заботливо и любовно шила она рубашку для неведомого простого солдата, сколько теплоты разлито было в её подлинно русском, открытом, чистом лице.

Не было ни единого раненого, кто бы ни был Сёстрами обласкан, утешен, ободрен. Младшие по летам ещё не могли трудиться в лазарете, но приезжали также — просто поболтать, поиграть с ранеными, очень любившими их.

Однажды в лазарет приехал Наследник. В палату он вошёл почти бегом. Но страшно качаясь, откидывая в сторону больную ногу... «Нежилец», — едва слышно шепнул Родиону лежавший рядом поручик. В самом деле... Такие дети не живут. Люди такие не живут. В этом мире. Потому что это не их мир. Их мир — горный. Они от тех... От вышних. Ангелы, для чего-то посланные в мир на краткий срок. Может, для того, чтобы умягчить своей чистотой и страдальчеством ожесточённые сердца?

Лицо мальчика светилось. Светились огромные, познавшие не по годам много боли, глаза. Он обходил раненых... Участливо расспрашивал их о чём-то. И — понимал их. Терпящий боль всю свою недолгую жизнь боль чужую он понимал особенно чутко.

Глядя на него, осознал Родион, отчего так редко трогает улыбка красивое, но до срока состарившееся лицо его матери. Отчего такой невыразимой печалью полны её глаза.

Мы молим: сделай Бог Вас радостной,
А в трудный час и скорбный час
Да снизойдёт к Вам Ангел благостный,
Как вы снисходите до нас... — так в эти дни написал ей находившийся также на излечении в Царском поручик Николай Гумилёв. Когда бы услышал Господь эту молитву...

Удивительная это была Семья. Столько чистоты, красоты, милосердия. Столько душевной высоты, жертвенности, мужества... И такое непоправимое одиночество. Его Родион явственно ощутил даже здесь, в Царском. В каком-то другом мире жили они, в отрыве от реальности. А реальность требовала быть ближе к себе... В этом замкнутом мире они оставались непоняты и беззащитны. Никто, исключая немногих больных, не видел Августейшую Сестру склоняющейся над ранеными, страдальческого лица её, не видел её

подвига. А видели холодное, гордое лицо на портретах. И слышали, и читали... Грязь. Которая так и липла к чистоте... И о которой сама Государыня не понимала, не верила, что это — грязь. Что за несчастная, несправедливая судьба...

Покидал Родион Царское со смутным чувством на душе. Тревожно было за них... Не за Династию. А за светлых этих людей, так непоправимо выпавших из реальности, отчуждившихся от этого мира. Хрустальный мальчик-наследник. Хрустальные княжны. И весь их мир — хрустальный. Прекрасный, чистый и хрупкий. Тронь и разлетится на осколки мелкие. И что будет с ними? С этими юными девушками, так похожими на Христовых невест?..

Этих людей обвиняли в отрыве от народа... Кто? Завсегдатаи цюрихских и женевских кафе. Думские витии. Завсегдатаи столичных ресторанов с белыми билетами. Народа не знавшие. И народ презиравшие. Никогда ни капли крови, ни слезы горячей о нём не уронившие.

Эту публику Родион ненавидел всей душой. И когда грянул Февраль, грезил о том, как бы добраться до наглых изменников и... и... Вот, только слишком много оказалось их. С кем наперёд разделяваться по-эссеровски, не разберёшь. В Октябре, впрочем, яснее стало. Марать руки об того же мерзавца Керенского было бы противно. Но на смену ему пришёл Враг настоящий. Только доберись до него...

Такие лихорадочные мысли, впрочем, не захватывали Родиона, рождаясь от отчаяния и боли. От бессилия. От стыда за то, что даже почтенные генералы, старшие офицеры отступились. Другая мысль укоренилась в голове прочнее — надо освободить Государя. Спасти всех их...

В лихорадочной борьбе подобных идей и стремлений прошли, как в дурмане, несколько позорных

месяцев. В отличие от многих Родион не срывал дорогих сердцу императорских вензелей с погон. Эти погоны он заботливо сохранил и довёз до дома, когда после «корниловских дней» всё-таки подал в отставку. Здесь и оставил на сохранение матери. Может, даст Бог чудо, и приведётся ещё носить их...

Уезжая в Петроград, Родион искал не только обрести там единомышленников, но всё та же навязчивая идея гнала: добраться до Царского и освободить Августейших узников. И никак невозможно, чтобы не нашлось союзников в этом благородном деле.

Но опоздано оказалось... Уже не было их в Царском. Увезли в Тобольск, не дав даже просимой поблажки — позволения жить в любимой Ливадии. В Тобольск! В Сибирь... С больным Наследником... Подальше от верных...

Заметался Родион. Что ж дальше-то? В Тобольск следом мчаться? Одному — глупо. Нужно сперва союзников сыскать. Должны же быть верные, кто бы рискнуть был готов. В поисках таковых немало времени ушло. Уже и большевики захватили власть, арестовав последних остававшихся на свободе князей, а Родион всё не мог вырваться из столицы. Теперь это и вовсе сложно было — свирепствовали «товарищи», ища врагов.

Наконец, всё же составила группа. По подложным документам просочились в Тобольск. Даже и весточку сумели передать узникам через верных людей. Немного осмотревшись в незнакомом городе, стали разрабатывать план операции. Но...

Снова, словно рок какой-то препятствовал, опоздали на считанные дни. Увезли Государя в Екатеринбург. А через день арестовали одного из членов группы. Пришлось срочно покинуть город. Да по одиночке, разными путями, чтобы больше шансов иметь просочиться сквозь пальцы «товарищей».

Что стало с другими членами группы, Родион не знал по сей день. Сам же он поступил на службу в Сибирскую армию, чьи части начали успешное наступление на большевиков. Одно только коробило. Даже здесь, на антибольшевистском фронте, в армии русского сопротивления оказывался он под началом... всё тех же «учредилловцев», «временщиков», эсеров, которые заправляли антибольшевистскими правительствами как в Сибири, так и на Урале. Монархической идее эти люди были враждебны. Историческому духу России — чужды. Какое же тогда русское сопротивление? Выходит, никакого не русское оно в основе своей. А просто одна антирусская партейка, менее удачливая, жаждет поквитаться с другой, более удачливой. А армия, народ для всех них лишь средство...

Ни одно антибольшевистское образование, ни одна белая сила не смела поднять монархическое знамя, обратиться к святым для глубинного народного сознания понятиям. И выходило что-то аморфное, что-то блёклое и беспомощно неискреннее в своём существовании. Сыпали пустыми словами, подгоняя их под революционный размер, чтобы не рассердить прогрессистов и «союзников». Даже теперь боясь прослыть ретроgrадами (и кто только напугал их всех так?). Говорили, будто генерал Дитерихс открыто исповедует монархические взгляды и глубокую религиозность. И тут же высмеивали его, как отсталого фанатика и психически больного.

И под такими-то блёклыми знамёнами должен был теперь сражаться капитан Аскольдов. За Россию — под верховодством её предателей. За Веру — под началом чуждых ей. За Царя — под началом его врагов. Что за несчастное положение! Смирал себя тем, что теперь всё же главное — свалить большевиков. А с эсерами можно будет разобраться позже. Таких, как Любич, среди

офицеров мало, а, значит, преимущества в силе у них не будет. Вот, только хитры бестии... И что-то подсказывало, что они скорее перевернутся к красным, чем позволят усилиться национальному сопротивлению. Всё лучше бы было уже теперь покончить с ними... Таскать крыс в обозе — беды не миновать. Неужто не понимает это военное начальство?

И ещё одно было. Екатеринбург. До него уже считанные дни оставались. И только обрывалось сердце от мысли — не опоздать бы и сейчас...

Любич сатисфакции требовать не стал. Что же, его счастье. Промахов капитан Аскольдов не давал даже в детстве, охотясь с отцом. А тут, распахавшись, точно бы не промазал. Ни к чёрту стали нервы от этой жизни расколотой. Казалось бы, что такого сказал Любич? Впервой ли слышать и одёргивать пришлось? А так разобрало, что и сон упрямо не шёл! А ведь позади — не один день боёв. А завтра — решающее наступление. Перед ним выспаться — ой как надо бы! А не шёл сон. Лежал Родион, вперив взгляд в темноту, мелькали в наплывах время от времени гаснущего сознания обрывки прошлого.

Почему-то вспомнилась жена. Само слово это не стало привычным до сих пор. Жена... Не чувствовал её. Как была чужой, так и осталась. И зачем только венчался с нею? Только жизнь испортил ей... Разве муж он стал Ксении? Слова-то толком не сказали друг с другом. Не будь войны, как бы ещё жили с нею? Вот уж, знать, надоели бы друг другу до смерти... Нет, нельзя было на Ксении жениться. Решил тогда спьяну да с огорчения, со зла. Объявил отцу, а тот — Клеменсу. На попятную поздно оказалось идти! Всё же тянул, на фронте отсиживаясь. И даже когда в лазарете лежал, отбоярился. Но и нельзя же до бесконечности было тянуть...

Нельзя... Надо было просто разрубить решительно. И закончить эту дурную пьесу. Ведь и в Москве ещё не поздно было. Особенно, после того, как не одобрил этого брака старец Алексей Московский.

Это Родионово решение было — в Москве венчаться. Не хотелось — в Глинском. Там, где всё к памяти взывает. И где с *нею* можно глазами встретиться. Родным пояснил, что отпуск слишком краток, чтобы лишнее время тратить на дорогу до имения. Думал, эта накладка остановит их. Ан нет. Приехал отец с матерью и сестрами, невестушка с будущим тестем. И как будто не только из-за венчания, а по приглашению профессора Кромиади (сиречь его дочери Лидии и его супруга Сергея). Профессор минувшим летом сам гостил в Глинском, и ответный визит с той поры стоял в планах. Отец, само собой, категорически не желал останавливаться у брата, поэтому просторный дом Кромиади пришёлся весьма кстати.

Профессор жил на Маросейке, недалеко от неприметной, притулившейся меж домов церкви Николая в Клённиках. Церковь эта, ещё четверть века назад пребывавшая в запустении, с некоторых пор приобрела всероссийскую известность, благодаря своему настоятелю — отцу Алексею Мечёву, слава которого немногим уступала славе Иоанна Кронштадтского и оптинских старцев. Оптинский старец Анатолий так и говорил иным из приезжавших к нему из Москвы: «Зачем вы приезжаете к нам, когда у вас есть старец Алексей?»

Кромиади с дочерью были давними прихожанами церкви отца Алексея и членами образовавшейся вокруг неё общины, маросейского братства. Учёные друзья подчас не понимали такой религиозности старого профессора, но, побеседовав с батюшкой, многие из них меняли своё мнение.

Именно старец Алексей, венчавший Лиду с Серёжей, должен был теперь венчать Родиона и Ксению. Думал было Родион прежде побеседовать с батюшкой, поделиться своими сомнениями и спросить совета, но, увидев, сколько жаждущих духовного утешения ждут своей очереди под его дверями, решил, что собственные его терзания не столь важны, чтобы отнимать на них время старца.

Зато свёл знакомство с его сыном Сергеем, недавно возвратившимся с фронта, куда ушёл медбратом в первые месяцы войны, оставив учёбу в Университете. Теперь он намеревался учёбу продолжить. С Сергеем Родион легко и сразу нашёл общий язык. Оба ещё не успели отойти от фронтового ритма жизни, оба многое успели увидеть и пережить на войне — им было, о чём говорить. Правда, удивлял Родиона кругозор молодого попovichа. Он и в медицине был сведущ, учился прежде на медицинском факультете, и в философии и истории, к которым обратился, оставив медицинскую стезю. Тонко разбирался в психологии и, само собой, был сведущ в вопросах вероучительных. Думал прежде Родион, что это лишь матушкиного крестника Серёжку так крепко Господь в темечко поцеловал, а, оказывается, есть и другие даровитые. Не ему, Родиону, чета. Ему, что в детстве, что теперь, от наук и философий рот, что от кислоты, сводило. Тем уважительнее относился он к тем, кто столь мудрёные вещи разбирал и понимал.

Так и не пошёл к старцу. И тем более поражён был, что Ксения пошла. И за день до венчания, когда остались наедине, заговорила с ним впервые сама.

— Как же это вы меня, Родион Николаевич, под венец поведёте? Вы ведь даже ни словечка мне не сказали почти... Даже руки не предлагали. Будто бы теперь пятнадцатый век, родители меж собой

сговорились, а жениху с невестой и незачем. Добро, что хоть не в церкви впервые друг друга увидим.

— Что же вы, Ксения, не хотите моей женой быть? — спросил Родион.

Ксения глубоко вздохнула, села на самый краешек тахты, по-детски кусала ногти от волнения. Её вдруг показавшаяся детскость совсем не сочеталась с образом мраморной красавицы. И это трогало. Наконец-то что-то живое, настоящее проявилось.

— А разве вы хотите, чтобы я была вам женой?

Врасплох застал этот вопрос. Как и ответить ей — язык костенеет.

— Если бы я не хотел, то меня бы здесь не было сейчас... — начал Родион, стараясь придать голосу искренность. Ему стало жаль Ксению, хотелось утешить её.

— Я у батюшки была...

— У отца Алексея?

— Он сказал, что не быть нашему браку счастливым. И что лучше бы вовсе нам отказаться от свадьбы. А ведь он прозорливый, он знает... Да и я — знаю. И вы...

— Вы хотите отменить венчание? — спросил Родион и сам почувствовал, как безразлично прозвучал его вопрос.

— Нет, не хочу, — откликнулась Ксения, утирая слёзы, катившиеся из вмиг покрасневших глаз. — Я лишь хотела вам сказать... Что если вы... Пока ещё не поздно... — она запнулась, закусила подрагивающую губу, и не глядела на него.

— Почему же вы сами не разорвёте, если вам посоветовал старец?

Ксения вскинула голову:

— Потому что у меня нет сил...

— Из-за отца? — спросил Родион.

Подобие сожалеющей улыбки скользнуло по лицу Ксении:

— Из-за вас... — проронила она и, резко поднявшись, выбежала вон.

Бедная, милая Ксения... Оказывается, под этим видимым бесчувствием трепетало в ожидании ответа любящее девичье сердце. А природная застенчивость мешала чувство показать. Лишь раз и прорвалось тогда. Даже став женой ему, она так и не решалась вновь раскрыть себя. Может, именно потому, что и он так и не увидел в ней жены, не смог помочь ей преодолеть себя, разбудить в застенчивой девушке полнокровную женщину? Связал её узами и бросил, обрёл на одиночество. Ведь даже если суждено ему вернуться живым, ничего не изменится. Он не сможет быть с нею по-настоящему.

Весь этот брак был изначально ложью. И, конечно, не мог прозорливый старец не понять этого. Оттого и остерегал, вразумлял. Да только не послушали мудрого совета... А теперь обратно не вернуть. Опоздано!

Так и не сомкнул Родион глаз этой ночью. Лишь под утро зыбкий туман дремоты всё же окутал его, но и тотчас разогнан был громopodobным рыком-рёвом Головни:

— Родион Николаич, беда! Беда, Родион Николаич!..

Всколыхнулись, как птицы ночные, растревоженные мысли. Какая там ещё беда? Фронт прорвали? Ударили в тыл? И вдруг пронзила догадка, и словно знал наперёд, что грохнет тучный ротмистр с непривычно смятённым лицом:

— Государя ночью... — и перехватив воздуха, рванув узкий ворот, стеснивший горло: — расстреляли...

Опоздали всё-таки... И здесь... И всегда, всегда... Роково...

Глава 7. «Мы восходить должны...»

— Колесницегонителя фараоня погрузи чудотворяй иногда Моисейский жезл, крестообразно поразив, и разделив море, Израиля же беглеца, пешеходца, спасе, песнь Богови воспевающа.

— Преподобне наш отче Сергие, моли Бога о нас.

Мерно, чётко читал Иоанн стихиры канона. И хором вторили ему все. И с особым воодушевлением — тётя Элла⁹. Завтра — день памяти Преподобного. День ангела дяди Сергея... Особый праздник для неё.

— Христа нас ради волею смирившагося, даже до рабья образа подражав, возлюбил еси смирение, и зельным бдением и молитвами, душегубныя страсти умертвив, на гору безстрастия возшел еси, Сергие пребогате.

— Преподобне наш отче Сергие, моли Бога о нас.

Иоанн на всех молебнах домовых, которых пленники не пропускали никогда, вычитывал подобающие правила и каноны чередно с тётей Эллой, с которой с давних пор они были очень близки, благодаря редкому духовному родству. Как и она, был он глубоко религиозен. Впрочем, религиозность отличала всю семью покойного дяди Константина.

Благочестие и патриотизм прививались им с малолетства. Быт их был почти спартанским: подъем в 6 утра, обливание холодной водой, прогулки в любую погоду, ежедневная молитва, посещение служб и занятий... Иоанн рассказывал, что особенно любили они бывать в мемориальной Ореандской Покровской церкви, построенной их дедом — Великим Князем Константином Николаевичем в память российского флота. Ее крест служил своеобразным маяком и горел «как жар». В изготовлении мозаик для Покровской церкви принимала

участие тётя Элла, впоследствии специально приезжавшая туда говеть и исповедоваться.

Все члены семьи хорошо знали весь ход Литургии, могли воспроизводить его наизусть, исполняли многоголосные хоровые песнопения. Готовясь к службам в сельском храме их подмосковного имения Осташево, Иоанн как регент разучивал хоровые партии с братьями. Впоследствии он стал регентом хора в храме Павловского дворца.

Иоанн обладал музыкальным талантом. Специально ко дню освящения церкви Спасо-Преображения, построенной в память трёхсотлетия Дома Романовых в поселке Тярлево, он сочинил духовное музыкальное произведение под названием «Милость мира». Это сочинение отличалось рядом достоинств: логичная гармония, удобные для исполнения регистры партий. Во время войны Иоанн вернулся к сочинению духовной музыки. Он очень любил её благолепие и имел свой маленький хор под руководством знаменитого профессора Санкт-Петербургской консерватории Николая Кедрова, отец которого протоиерей Николай Кедров был настоятелем Стрельнинской придворной Спасо-Преображенской церкви, и князя Константиновичи знали его с детства. Исполнительское искусство этого вокалиста, регента, дирижера отличалось такой красочностью и выразительностью исполнения, что квартет казался полноценным большим хором. Николай Николаевич Кедров был не только регентом и певцом, но и преподавал Иоанну аранжировку и голосоведение.

Будучи женат на принцессе Сербской Елене Петровне, князь придавал войне с Германией ещё большую значимость, чем другие. На фронте благочестивость Иоанна вызывала одновременно уважение и добродушную иронию. Солдаты в шутку называли своего командира «Панихидный Иоанн»,

поскольку после каждой потери, будь то его приятель или простой солдат, он старался выполнить долг перед погибшими защитниками родины...

— Яко светильник света, твою душу слезными потоки украшая, и другаго Исаака подобно сам себе вознесл еси, Преподобне, и сердце твое Богу пожерл еси.

— Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Причудливо сложилась судьба. Никого из этих людей, столь родных и близких по духу, Володя Палей почти не успел узнать прежде. Из-за морганатического брака его отец, Великий князь Павел Александрович, был изгнан из России. Его дети от первого брака остались на воспитании у дяди Сергея и тёти Эллы. Отец переживал этот разрыв, но приходилось смириться и строить новую жизнь за пределами Родины. Именно поэтому детство Володи прошло в Париже. Способный от природы и наделённый редкой памятью, он быстро научился играть на рояле и других инструментах, читать и писать одинаково бегло на французском, немецком и русском языках, проявил большие способности к рисованию и живописи.

Несмотря на невзгоды, вся атмосфера в отцовском доме была пропитана, любовью, уютом и радостью.

Нам хорошо вдвоем... Минувшего невзгоды,
Как тени беглые, теперь нам нипочем:
Недаром грустные и радостные годы
Мы вместе прожили... Нам хорошо вдвоем!
Среди опасностей извилистой дороги
Мы в Бога верили и помнили о Нем,
Пускай еще порой стучатся к нам тревоги —
Мы дружны и сильны... Нам хорошо вдвоем!

Нежно любивший родителей Володя всегда тосковал по ним во время разлук. Вот, и теперь ныло сердце. Что-то с ним? Как переносит отец заключение в Петропавловской крепости? Как выдерживает несчастья мама? О себе не было страха... О себе он давно уже знал, что будет. Знал, как предельно ограничен срок. Это нисколько не угнетало его, а лишь побуждало работать больше и старательнее. Перед революцией Володя часами сидел за пишущей машинкой, печатая свои стихи. Моментально слагающиеся в уме, они не нуждались в исправлениях. Казалось, что вдохновение не покидало его ни на миг. Такая лихорадочная работа беспокоила сестру. Мари пробовала увещевать его:

— Володя, нельзя так утомлять себя! Свой мозг. Это может привести к болезни. Не спеши так, пожалуйста. Лучше отшлифуй уже написанное.

Володя грустно улыбнулся в ответ:

— Нет, так нельзя... Я должен писать скорее, потому что всё, что переполняет мою душу, должно быть высказано теперь.

— Да зачем же?

— Потому что после двадцати одного года я писать уже не смогу.

Сестра только недоумённо пожала плечами, заподозрила расстройство нервов, вызванное перенапряжением. Но он знал точно, что будет именно так. Лермонтов был счастливцем. Ему было подарено целых двадцать семь лет!

На служение Поэзии Володю благословил отец Иоанна, дядя Константин, прочтя выполненный им французской перевод своей драмы «Царь Иудейский». Обняв его, умирающий поэт К.Р. сказал:

— Володя, я чувствую, что больше писать не буду, чувствую, что умираю. Тебе я передаю мою лиру...

Велика была ответственность такую лиру принять! Володе было в ту пору восемнадцать. Отец лишь недавно получил высочайшее прощение, а мать титул княгини Палей, и он только-только привыкал к своей Родине, где, согласно семейной традиции, поступил в Пажеский корпус.

По окончании его Володя, как и князя Константиновичи, отправился на фронт. В день своего отъезда он присутствовал на ранней литургии вместе с матерью и сестрами. Кроме них и двух сестер милосердия в церкви никого не было. Каково же было удивление, когда обнаружилось, что эти сестры были Императрица Александра Фёдоровна и её фрейлина Анна Вырубова. Государыня поздоровалась с Володей и подарила ему напутствие — маленькую иконку и молитвенник.

В 1915 году Гусарский полк участвовал в оборонительных операциях Северо-Западного фронта и только после тяжелых потерь отошел в резерв. Несколько раз Володю посылали в опасные разведки, а пули и снаряды постоянно сыпались вокруг него. С фронта он писал матери: «На прошлой неделе у нас была присяга новобранцев и — довольно, я скажу, неожиданно — наша офицерская. Все эскадроны собрались в колоссальном манеже. Была дивная торжественная минута, когда эти сотни рук поднялись, когда сотни молодых голосов выговаривали слова присяги и когда все эти руки снова опустились в воцарившемся гробовом молчании... ..Как я люблю такие минуты, когда чувствуешь мощь вооруженного войска, когда что-то святое и ненарушимое загорается во всех глазах, словно отблеск простой и верной до гроба своему Царю души.

Мамочка! Я в херувимском настроении после говения и придумал массу стихов. Как-то лучше пишешь после церкви — я это совсем искренно говорю — все

мысли, все строчки полны кротостью тихого блеска восковых свечей, и невольно от стихов веет вековым покоем икон. Грезы чище, благороднее и слова льются проще...»

За участие в боевых операциях Володя получил чин подпоручика и Анненское оружие за храбрость. На фронте он не переставал писать стихи, из которых особенно удалась «Молитва воина»:

Огради меня, Боже, от вражеской пули
И дай мне быть сильным душой...
В моем сердце порывы добра не заснули,
Я так молод еще, что хочу, не хочу ли,
Но всюду, во всем я с Тобой...
И спаси меня, Боже, от раны смертельной,
Как спас от житейского зла,
Чтобы шел я дорогой смиренной и дельной,
Чтоб пленялась душа красотой беспредельной
И творческой силой жила.
Но, коль Родины верным и преданным сыном
Паду я в жестоком бою —
Дай рабу Твоему умереть христианином,
И пускай, уже чуждый страстям и кручинам,
Прославит он волю Твою...

Первый сборник его стихов вышел в 1916 году и получил много отзывов. Федор Батюшков писал: «Трудно предугадать дальнейшее развитие таланта, которому пока еще чужды многие устремления духа и глубины души, но задатки есть, как свежие почки на молодой неокрепшей еще ветке. Они могут развернуться и окутать зеленью окрепший ствол». В ту пору Володя свёл знакомство со многими известными поэтами, в частности, Осипом Мандельштамом и Николаем Гумилёвым. Он успел выпустить ещё одну

книгу, готова была и третья, но революция помешала её выходу.

Грядущую трагедию Володя предчувствовал, как и свою судьбу. Ещё за год до революции родились сами собою горькие строки:

Ты весною окровавлена,
Но рыдать тебе нельзя:
Посмотри — кругом отравлена
Кровью черною земля!
Силы вражьи снова прибыли,
Не колеблет их война.
Ты идешь к своей гибели,
Горемычная страна!
А в самый разгар февральской трагедии другие:
Мы докатились до предела
Голгофы тень побеждена:
Безумье миром овладело
О, как смеется сатана!

После отречения Государя по приказу Керенского он вместе с родителями оказался под домашним арестом. Гнев «временщика» был вызван написанной на него Володей сатирой, сопровождавшейся им же нарисованной карикатурой.

Он всё также лихорадочно продолжал писать, всем существом откликаясь на творившиеся вокруг события, в которых зримо читались знамения Антихриста. В октябре Семнадцатого в Царском Селе большевики жестоко убили священника Иоанна Кочурова, лишь за три месяца до кровавого буйства февраля ставшего настоятелем Екатерининского собора. Рассказывали, что мученика били, затем отвели к Федоровскому собору, выстрелили несколько раз, а затем раненого, но ещё живого таскали за волосы, глумились над ним.

Володя записал в дневнике: «Но что может быть хуже разстрелов, служба церковная в Царском запрещена. Разве это не знамение времени? Разве не ясно, к чему мы идем и чем это кончится? Падением монархий, одна за другой, ограничением прав христиан, всемирной республикой и — несомненно! — всемирной же тиранией. И этот тиран будет предсказанным антихристом... Невеселые мысли лезут в усталую голову. И все-таки светлая сила победит! И зарыдают гласом великим те, кто беснуется. Не здесь, так там, но победа останется за Христом, потому что Он — Правда, Добро, Красота, Гармония». Тогда же родилось и стихотворение «Антихрист»:

Идет, идет из тьмы времен
Он, власть суля нам и богатство,
И лозунг пламенных знамен:
Свобода, равенство и братство!

Идет в одежде огневой,
Он правит нами на мгновенье,
Его предвестник громовой —
Республиканское смятенье.

И он в кощунственной хвале
Докажет нам с надменной ложью,
Что надо счастье на земле
Противоставить Царству Божью.

Но пролетит короткий срок,
Погаснут дьявольские бредни,
И воссияет крест высок,
Когда наступит Суд Последний.

Последний Суд... Какой-то предстанет на нём Святая некогда Русь? Народ её? Сила сатанинская укреплялась день ото дня. И не мог постигнуть Володя, *неужели те, кто бескорыстно создал революцию, кто следовательно таил в душе блаженные и светлые идеалы, надеясь на возможность осуществления этих идеалов, неужели эти русские люди не чувствуют, сколько страшен и ужасен переживаемый Россией кризис? Творимое вырвалось из рук творителей... Всей России грозит позор и проклятие.*¹⁰

Уже здесь, в Алапаевске, мудро утешала тётя Элла:

— Святая Россия не может погибнуть. Да, Великой России, увы, больше нет. Но Бог в Библии показывает, как Он прощал Свой раскаявшийся народ и снова даровал ему благословенную силу. Жизнь полна ужаса и смерти. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают всё и, конечно, обрели покой и настоящую Родину — Небесное Отечество. Мы же, на этой земле, должны устремить свои мысли к Небесному Царствию, чтобы просвещёнными глазами могли видеть всё и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя». Полностью разрушена «Великая Россия, бесстрашная и безукоризненная». Но «Святая Россия» и Православная Церковь, которую «врата ада не одолеют», существуют, и существуют более, чем когда бы то ни было. И те, кто верует и не сомневается ни на мгновение, увидят «внутреннее солнце», которое освещает тьму во время грохочущей бури.

Светлая, уже воистину не принадлежащая миру сему тётя Элла! Сколько незабываемых часов прошли здесь в беседах с нею, и сколько духовной радости было в них! Тётя Элла много молилась, вышивала, работала на огороде, который был отведён пленникам подле занимаемой ими бывшей Напольной школы. Она

любила эту простую, умиротворяющую работу, в которой нередко помогал ей Великий Князь Сергей Михайлович. Сын наместника Кавказа, офицер-артиллерист, генерал-инспектор артиллерии, он ещё в Тринадцатом году предупреждал Государя о том, что Германия готовится к войне, лично побывав там. А в Шестнадцатом предупреждал, что немцы, обречённые на поражение, непременно спровоцируют революцию в России, чтобы его избежать. Всё понимал и видел этот старый, мудрый генерал, но ничего не мог изменить даже в высокой своей должности. Сознавая и это, он, ещё находясь в Ставке, успокаивал нервы тем же мирным трудом — выращиванием капусты и картофеля.

Продуктами немало помогали пленникам местные жители, жалевшие их. Тёте Элле крестьяне поднесли полотенце грубого деревенского полотна с вышивкой и надписью: «Матушка Великая княгиня Елизавета Феодоровна, не откажись принять, по старому русскому обычаю, хлеб-соль от верных слуг Царя и отечества, крестьян Нейво-Алапаевской волости Верхотурского уезда». Нередко прибегала девочка лет десяти с корзинкой, в которую её мать заботливо клала яйца, картофель, специально испечённые шанечки...

В отличие от своих соузников Володя имел полную возможность избежать такой участи. Сам Урицкий в ЧК предложил ему письменно отречься от отца и получить свободу, либо отправиться в ссылку. Володя, не раздумывая, избрал последнее. Вместе с тремя братьями Константиновичами, Сергеем Михайловичем и тётей Эллой он был сослан сперва в Вятку, затем в Екатеринбург и, наконец, в Алапаевск. Поначалу сохранялась определённая свобода. В Екатеринбурге даже удалось побывать на пасхальной службе. А здесь, в Алапаевске, по специальному разрешению комиссара юстиции города Володе было разрешено посетить местную городскую библиотеку. В заключении яснее

понималось, что все модные течения искусства, декадентская живопись, блестящие балеты — суть прах, пустота. Душа искала света и добра, настоящей правды. А правда эта не в страдании ли обретается?

Но тучи сгущались. В июне режим содержания стал совершенно тюремным. Прогулки были строго запрещены. Все слуги удалены из города. Вместе со своим камердинером Володя отправил родителям письмо, понимая, что оно может стать последним.

Немая ночь жутка. Мгновения ползут.
Не спится узнику... Душа полна страданья;
Далеких, милых прожитых минут
Нахлынули в нее воспоминанья...
Всё время за окном проходит часовой,
Не просто человек, другого стерегущий,
Нет, кровный враг, латыш, угрюмый и тупой,
Холодной злобой к узнику дышущий...
За что? За что? Мысль рвётся из души,
Вся эта пытка нравственных страданий,
Тяжёлых ежечасных ожиданий,
Убийств, грозящих каждый миг в тиши,
Мысль узника в мольбе уносит высоко —
То, что растёт кругом — так мрачно и так низко.
Родные, близкие так страшно далеко,
А недруги так жутко близко.

Они не просто близко были, их дыхание чувствовалось неотступно. Но Володя привычно ободрял других, следуя в этом примеру тёти Эллы.

Совместная молитва всегда укрепляла узников. Вот и теперь посветлело на душе от святых слов. За окном стемнело уже. Ещё один день миновал... Простились тепло до утра, разойдясь по своим комнатам. Да только спать в эту ночь недолго пришлось. Буквально через

несколько часов в комнаты раздался бесцеремонный стук, сопровождаемый грязной бранью. У двери Сергея Михайловича «товарищи» замешкались. Старый артиллерист забаррикадировался шкафом. Крикнул из укрытия своего:

— Убивайте здесь, если достанете! Я знаю, что вы везёте нас убивать!

Но напрасным было это сопротивление. Раненого Великого Князя всё-таки вытащили из комнаты и усадили на подводу, на которой уже сидели все прочие, подчинившиеся безропотно. Покатил последний «экипаж» по разбитой дороге мимо спящих деревень. Вот, и последний путь... *Ныне отпускаешь раба Своего...* Двадцать один год. Как предначертано. Значит, исполнено всё... И, вот она, высшая ступенька «лестницы к святыне», которою должна стала вся жизнь.

Мы восходить должны, в течение этой жизни,
В забытые края, к неведомой отчизне,
Навеявшей нам здесь те странные мечты,
Где свет и музыка таинственно слиты...

Скоро-скоро откроется очам эта неведомая Отчизна. Не отринь, Всемогущий, идущих к Тебе, прими в Свои чертоги, отпустив грехи!

Остановились рядом с заброшенным рудником. Снова грязная ругань. Удары прикладами в спины. Даже не расстрел? Более мучительную смерть придумали?

— Господи, прости им, не ведают бо, что творят! — тихо шептала тётя Элла, белый апостольник которой словно светился теперь во мраке. И вдруг исчезла она, толкнутая в спину одним из палачей. И только крик пронзительный раздался откуда-то из-под земли. Рванулся Володя, и легко сбросили его следом. Он успел

удариться о торчавшие из стен шахты полусгнившие брёвна несколько раз, прежде чем повис на одном из них. А уже и Константиновичей сталкивали друг за другом. Иоанн, Игорь, Константин... А, вот, возня раздалась. Это Сергей Михайлович снова, несмотря на ранение, бросился на палачей. Хлопок выстрела, и мёртвое тело полетело вниз...

Так и ввергли во тьму кромешную...

Тихий голос тёти Эллы окликнул Иоанна, оказавшегося рядом с нею. При падении он сильно разбил голову.

— Потерпите, милый, я вас сейчас перевяжу...

Ни единой жалобы, ни малейшего ропота... А вместо этого начала она петь. Херувимскую песнь. Радостную. Едва слышно подхватил и Иоанн, и Володя присоединился. И остальные вслед. Вместо плача и скрежета зубовного молитва зазвучала в чёрной бездне. Это разъярило палачей, и они бросили в шахту две гранаты. Слугу убитого князя Сергея Михайловича, не оставившего его до последнего часа, убило одной из них. А тётя Элла продолжала петь... И нельзя было не вторить ей. Крута оказалась лестница, но ведь теперь с последней ступени этой совсем чуть-чуть осталось, лишь невидимую грань до края забытого переступить, а там уже — Христос...

Мы этой жизни должны
Достичь неведомой страны,
Где алым следом от гвоздей
Христос коснется ран людей...
И оттого так брэнна плоть,
И оттого во всем — Господь.

Глава 8. Новая жизнь

Александра Леонидовна Ратмирова прибыла в Россию с шумом. Прибыла не одна, а с близким другом и соратником — Леонардом Эрмлером, легендарной для революционного движения личностью. Оба прошли царские тюрьмы и ссылки, оба сумели бежать, оба много лет трудились на благо революции вдали от России: он писал статьи и книги, она — колесила с публичными лекциями. Изъезжено ими обоими было множество стран. В Америке Александру Леонидовну даже задерживали за недопустимые призывы на митингах. Леонард, пользуясь связями в прессе, сумел поднять вокруг этого дела форменный гвалт, и Ратмирова вскоре была освобождена и продолжила свою деятельность. Молодая ораторша, что знала она о вопросах, о которых говорила так пламенно? Ровным счётом ничего. Кроме почерпнутого из статей Леонарда и некоторых других соратников. Но Леонард со всем своим умом и начитанностью никогда бы не смог собрать и десятой доли тех залов, что приходили на Александру Ратмирову. Потому что шла публика не ради идей, а ради неё. Эффектная, красивая женщина с немалым актёрским дарованием, она была рождена для трибуны! Она говорила так страстно, так жарко, что даже политические оппоненты не могли не слушать её. Что уж говорить о почитателях! Те готовы были признать Александру Леонидовну богиней. Таким образом, мозг Леонарда и актёрский талант Ратмировой, стяжали им всемирную известность и, между прочим, изрядный доход, получению которого убеждения, само собой, ничуть не мешали.

И, вот, свершилось! Рухнула ненавистная власть в далёкой России! И многие знакомые потянулись туда —

скорее, скорее. Не упустить горячей поры, когда всё расплавлено и податливо! Эрмлер с Александрой не спешили. Им вполне комфортно было в тихой, уютной Швеции. К тому же Александра Леонидовна была больна после восьмого по счёту аборта и расставания с очередным соратником, уехавшим от неё в Испанию, а Леонард оканчивал крупный трактат, от которого вовсе не хотел отрываться ради сомнительных перспектив в «свободной России».

Однако же, их позвали. Как же так! Наши герои! Наши легенды! Необходимо и им честь отдать, как бабушке Брешко-Брешковской и несчастной Марии Спиридоновой. Ратмирова всколыхнулась. Сбросила с себя нашедшую бабью тоску и настояла немедленно ехать. Эрмлер с сожалением отложил неоконченную редакцию трактата и стал паковать чемоданы.

Встретили их на высшем уровне. Возили в персональном автомобиле. Сначала по Петрограду. Теперь, вот, по Москве... Владимир Ильич принял лично. С другими тоже успели повидаться. И уже второй месяц жили бездельно в отнятой у какого-то буржуа просторной квартире на Пречистенке. Сюда-то и пригласила Александра Леонидовна подружку славных детских лет...

Александра Ратмирова... Жива ли ещё под звучной фамилией тургеневского героя Шурочка Аладьина, весёлая и боевитая дочурка мелкого провинциального дворянина (не в новой России будь сказано)? По виду не скажешь. Знать, нелегка она — жизнь революционерки. Лет на десять старше своих выглядит Шура. И погрузнела заметно, и не мог этого скрыть даже корсет, который носила она вопреки революционной моде. И лицо измятое, под глазами набрякли мешки. Курит, не переставая. Через мундштук, резко отбрасывая руку. Голос от бесчисленного количества папирос хриплый,

грубый. Одета по их теперешней моде. Узкая юбка, жилет, пиджак. На улице к тому — плащ, котелок, непоправимо уродующий женский облик, портфель и зонт...

— Эрмлер, оставь нас. Нам с Лялей о своём поговорить надо.

Никаких церемоний. Как лакею приказала. И послушался тот. Даже кофе не допил. Послушно отставил дымящуюся чашечку и ушёл. Кажется, порядком он старше её. Ещё в Народной воле начинал, и с той поры за границей... Странная пара.

Ольга чувствовала смутную неловкость от этой встречи. Не находилась, что сказать подруге. А та, расположившись на оттоманке, продолжала пускать сизые кольца дыма. А говорить стала не о событиях, не об идеях.

— Как он тебе? — спросила неожиданно.

— Кто?

— Эрмлер мой.

Ольга пожала плечами:

— А как же Рудольф? Я думала, что ты с ним... Правда, ты давно не писала.

— Его истеричка увезла его в Канаду. Ты представляешь? В Канаду... Нарочно не поехала туда с лекциями... Хотя плевать на него! И на всех прочих... Мужчины приходят и уходят. Только Эрмлер остаётся. Настоящий друг и соратник. Когда бы ещё и мужчина был...

Ольга покраснела. Смущали её Шурочкины откровенности. И никак не могла она в толк взять, как же это так жить можно? Как они живут? Из собственных спален коммуны делают — и это-то наука их?

— А ты всё, как институтка, Лялька, — махнула рукой Шура и зябко поёжилась. — Как же холодно у вас... Лето, а всё равно — холодно.

— Подожди зимы. Увидишь ещё не то.

— Нет уж, благодарю. Мы с Эрмлером скоро уезжаем.

— Вот как? — Ольга усмехнулась. — Что так скоро? Вы же так мечтали о революции! Неужто не понравилась вам новая Россия?

Шурочка опустила голову, стряхнула пепел:

— Мы с Эрмлером в Петрограде были. Возили нас там, как важных персон. Условия обеспечивали. А только... Я же в окно машины город-то видела. Пустой город, страшный... Летит наше авто по пустой улице — ни извозчиков на ней, ни людей. Так, изредка мелькают какие-то. Обглоданные. Затравленные. Голодные. И грязь, грязь... Я ещё никогда такой грязи не видела! Всё разрушено... А ведь в этом городе моё детство прошло. У бабушки жила. На Васильевском... И я помню, каким город моего детства был! Нарядным, многолюдным, чистым, ярким! А теперь... Даже дворников не увидишь.

— Их ещё в «бескровную» вместе с городовыми отстреливали.

— Нас в гостинице поселили, — продолжала Шура. — В хорошей. Все условия! Обедали у Зиновьева. Эрмлеру он не понравился. Цирюльник... Хам... Мне тоже. Чавкает ещё так противно. И до чего ведь мерзко: везде конвой за нами. Вроде как почётный. А я себя арестанткой чувствовала... И страшно мне их было. Ведь они же любого убьют. Любого...

— Митю Сокольникову убили, ты знаешь? — тихо спросила Ольга.

Шура вздрогнула. Знать, не забылась ещё детская влюблённость.

— Ми-тю? Как?

— Семь пуль... И штыками докалывали. Над телом глумились, не хотели матери отдавать хоронить. Вера Терентьевна еле вымолила. А следом и сама преставилась с горя.

— Как ты спокойно рассказала об этом...

— Когда среди этого живёшь, то трудно рассказывать иначе.

— И после ты спрашиваешь, почему мы уезжаем?

— Да, спрашиваю, — кивнула Ольга. — Ведь это — ваша власть. Это революция, о которой вы грезили и которую всё-таки сделали. Что же вы теперь бежите от неё?

— Это не то, о чём мы грезили. Почитай Эрмлера... Мы говорили о свободе, о праве человека быть собой, о гуманизме...

— Бомбы, которые метали твои друзья — несомненно, вершина гуманизма!

— Они казнили палачей, чтобы уменьшить зло!

— А теперь другие твои друзья уменьшают его более масштабно. Что же тебе не нравится?

— То, что они сами стали палачами! Хотя за нами и следят, но я многое видела... И ещё больше слышала... Эта ужасная ЧеКа! И голод... И... Какой-то повальный разбой! Наше имение полностью разграбили, мне писала сестра...

— Неужели? Так ведь это в порядке революционного долга! И неужто тебе жаль имения? Революционерам не пристало иметь такую роскошь.

— Поэтому, Ленин живёт в Кремле, Троцкий проводит время отдыха в Архангельском...

— А ты в квартире, которую отняли у бывших людей, возможно окончивших свои дни в подвале ЧеКа.

— Хватит! — Шура резко поднялась. — Я не хочу жить среди этого ужаса! Мне страшно... Мы уедем. Да. И точка!

— И будете молчать?

— О чём?

— О причинах отъезда. О ЧеКа. О голоде...

— Неудачный по вине дурных людей эксперимент — это не повод, чтобы бросать тень на идею.

— Конечно! А сколько крови возьмёт этот эксперимент — какая важность, правда? Ты поедешь дальше читать свои лекции, чтобы ещё в какой-нибудь несчастной стране разверзся такой же ад, а сама при том будешь жить в мирном государстве, далёком от твоих идей. Очень удобно! Почему бы тебе не порвать с капиталистическим миром и не строить коммунизм в России?

— Нам с Эрмлером вреден российский климат, — холодно ответила Шура. — А лекций я больше не стану читать. Я слишком устала... И так тошнит от всего... А хочешь, — встрепенулась, — поедем с нами? Я похлопочу — никаких затруднений не будет! Поедем, Ляля! Будем жить вчетвером, я с Эрмлером и ты со своим... У нас чудный дом в окрестностях Стокгольма! Тишина, знаешь ли, воздух... И места достаточно! Поедем! Ведь нельзя же оставаться в этой ужасной стране! С твоим происхождением! С его прошлым! Вас же не пощадят, разве ты не понимаешь?!

А ведь ей страшно одиноко там, в её уютном доме, — подумалось Ольге. Одиноко рядом с послушным стариком Эрмлером, занятым своими трактатами, с время от времени появляющимися любовниками, которых уже сейчас привлекают не её увядшие до срока прелести, а деньги. Лекций она, в самом деле, уже не будет читать. Потому что ходившие на молодую, темпераментную красавицу не пойдут на потускневшую, подурневшую даму, разочарованную в собственных иллюзиях и самой жизни. Бедная Шура! Какое же всё-таки пустое существование... Хотя, пожалуй, все одержимые идеей достойны жалости. Все лучшие силы свои они безвозвратно скармливают идолу, обретая в итоге пустоту, которой страшнее нет ничего на свете. Во имя чего?..

— Нет, Шура, я с тобой не поеду.

— Почему?

— Потому что... не уверена, что иной климат будет мне полезен. Не привыкла к другому.

В этот момент в комнату стремительно вошёл Леонард с потрясённым лицом и зажатой в руках газетой.

— Вот! — выдохнул он.

— Что — вот? — нахмурилась Шура.

— Вот! — повторил Эрмлер, сунув ей газету.

Шурочка скользнула глазами по грубому листу, приоткрыла рот:

— Вот оно... — проронила. — Нет больше тирана... Странно. Почему я не чувствую радости? Несколько лет тому была бы как во хмелю от такого известия.

— Кого ещё убили? — тихо спросила Ольга.

— Царя, — буднично отозвалась подруга, словно бы речь шла об очередном дворнике.

— Расстреляли! — подтвердил Эрмлер с горящими глазами. — Сегодня ночью! Какое... величайшее событие!

— Какая величайшая подлость! — не выдержала Ольга и, резко поднявшись, направилась к двери. — Прощай, Шура!

Что-то заговорила подруга вслед и даже вышла на лестницу провожать, но Ольга расслышала лишь одну единственную фразу, повторяемую:

— Почему мне не радостно? Ведь я его так ненавидела, а мне не радостно...

Она недоумевала, отчего не радостно ей. Отчего не радостно, что тайком, без суда и следствия, убили беззащитного человека, который сам же, сам же отдал им власть. Не радостно, что ещё одно преступление совершилось. Что же это с душами поделалось? Ведь душа, она и без Бога — христианка? Но разве у них такие души? Нет, нет... Там уже заняты престолы совсем другой силой. И эта сила изнутри

распространяет метастазы, уничтожая тех, кто её в себя принял.

Запыхавшись, Ольга остановилась у трамвайной остановки, где толпился самый разнообразный люд: рабочие, солдаты, бывшие люди в обносках, измождённые женщины с детьми. Тусклый день... Тусклые лица... Тусклые глаза... И вдруг звонкий крик мальчишки — разносчика газет:

— Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Ничто не дрогнуло в толпе. Трамвай задерживался, и это было неизмеримо важнее. А ещё важнее, как хлеб насущный добыть. Хлеб! Из стоявших здесь иные успели забыть его вкус. Некоторые, впрочем, брали газеты, пробегали безучастно глазами. Царь... Да был ли он когда-нибудь? Разве что в иной жизни... Расстрелян... Да мало ли теперь расстреливают? Не пробирает весть.

Лишь высокая женщина¹¹ с солдатской выправкой и офицерской сумкой — широкий ремень через плечо — громко сказала маленькой большеглазой девочке, своей дочери:

— Аля, убили русского Царя Николая Второго. Помолись за упокой его души!

И малышка перекрестилась трижды с глубоким поклоном...

Разбитой тяжёлым разговором и горькой вестью возвращалась Ольга домой. Но и тут не суждено было отдохновения найти. Ещё из прихожей слышала, что в гостиной веселье идёт. Дядюшкин баритон бархатно рокотал, струны звенели, голос Ривы выводил жаркий романс, а ей другой голос вторил, уже захмелевший... Ольга всхлипнула и, боясь быть услышанной, прокралась в ванную, где дала волю слезам.

Она всегда знала, что, если даже невозможное исполнится, и судьба соединит их, то счастья ей не видать. Как ни сильно было чувство, а трезвости взгляд всё же не утратил. И видела Ольга, каков есть Жорж. Тут уж не счастье ждало, а мука добровольная. Но не думалось, что такая...

С войны он вернулся другим. Надломленным. Будто придавленным неподъемной тяжестью. Целыми днями просиживал в одиночестве, мрачно глядя перед собой. Пил горькую и молчал. Сердце разрывалось от вида этой безысходности. В тот день, когда мужики, подстрекаемые разными негодьями, пришли в усадьбу и требовали выдать им «охвицера», полковник Кулагин был мертвецки пьян. Сёстры спрятали его, бесчувственного, в чулане, и он мирно проспал всё то время, пока отец, надрывая больное сердце, урезонивал смутьянов.

Поздно ночью, спустившись в гостиную, Ольга застала там Жоржа, дрожащими руками пытающегося открыть шкафчик со спиртным. Заметив её, остановившуюся на лестнице, он виновато развёл руками:

— Видишь, Ляля, даже ключ потерял...

— Это я его взяла, — спокойно ответила Ольга.

— Зачем?..

— Чтобы ты им не воспользовался.

Жорж усмехнулся:

— Наивная моя девочка, неужели ты думаешь, что я не открою этот дурацкий шкаф без ключа? Или не найду, где утолить жажду в другом месте?

— Не сомневаюсь, что найдёшь.

— Тогда зачем?

Ольга пожала плечами:

— Потому что мне больно смотреть на тебя.

Жорж провёл ладонью по покрывшей его лицо густой щетине:

— Что, скажете, не комильфо, принцесса? Знаю... Да только какая, к чёрту, теперь разница? — он безнадежно махнул рукой и уселся в кресло. — Ни Царя тебе, ни России. Ни Берлина, ни армии... Конезаводик мой и то к рукам прибрали! Экспроприаторы... Какие там лошади были! Ни у кого в округе таких не было! А теперь где они? Я ведь каждую в лицо и по имени помню! Характер каждой знал... Ну что, какой вред бы был им, если бы и дальше конезавод существовал? И от меня бы им какой вред был? Ведь никто лучше меня в этом деле не разбирается...

Он говорил, как обиженный ребёнок, не иначе. Ребёнок, у которого отняли любимую игрушку. Кругом всё полыхало и распадалось, рушилось, гибло, а «дядинька» оплакивал своих любимцев. Для него именно их утрата стала самой большой катастрофой.

Ольга подошла к нему и, остановившись позади, погладила по голове:

— Полноте, разве на этом жизнь кончается?

— А на что мне жить теперь? Карьера — псу под хвост... Всё, всё, чем я жил — псу под хвост... Ты понимаешь? Тут только одно и остаётся: или пулю в лоб, или спиться.

— Грешно так говорить!

— Грешно! — фыркнул Жорж, резко поднявшись. — Ещё от тебя морали слушать не хватало! Ты же не знаешь ничего! Ничего не знаешь!

— Так расскажи. Я, конечно, не столь мудрый собеседник, как твои лошади, но, наверное, что-то пойму.

Жорж утих, снова уселся в кресло и, поглядев на Ольгу, криво усмехнулся:

— Жалеешь меня? Знаю, жалеешь. А зря! Я о себе недавно, Ляля, премерзостную правду узнал. Я, оказывается... трус! Там, на фронте, когда вся эта заваруха началась, я поначалу вспыхнул — за Царя и

Отечество! Присяга! То, сё... А потом, как солдатикам своим в ласковые очи посмотрел, так и враз о присяге и долге забыл. Представилось мне вдруг, Ляля, что насадят они меня на штыки свои, как барана на вертел! Думал за Царя кричать, а крикнул: «Да здравствует Временное Правительство!» И бантик этот мерзостный пришил к груди. Ну, орлы мои, знамо дело, возрадовались. Айда качать меня! А командир наш, друг мой, Витя Зорин, тем же вечером собрал всех офицеров и прилюдно руки мне не подал. Таким взглядом наградил! А ночью застрелился... Оставил записку, что не хочет смотреть, как предатели будут бесчестить его Родину... Нашу Родину! А я в то же утро под красным полотнищем за войну до победного конца агитировал... И сам себя презирал. И перед собой Витькино лицо видел. А меня ж на его место назначили... Полковничий чин присвоили. Без погон только... Вот, только офицеры наши один за другим или в другие части перевелись, или в отпуска убыли. Презирали меня... Я и сам себя презирал. А потом подумал — за что, собственно? Кого я предал? Я никого не свергал и честно присягнул новому правительству, которому и Государь наказал подчиняться. Наше дело военное! Немца побеждать! А под чьим началом — не всё ли едино? Ведь Россия-то никуда не делась! И я ей продолжаю служить! Скажи, ведь так, так?

— Да, конечно... — растерянно согласилась Ольга, хотя внутренне и сомневалась в справедливости такого довода.

— Так... Да только в августе всё опять прахом пошло! Из-за Корнилова... Многие генералы на его сторону встали. Когда их затея провалилась, их и многих старших офицеров начали арестовывать, вычищать. И я опять струсил. Представил, что и меня — так же. Арестуют... И вся эта шваль будет глумиться... Я

не боюсь смерти в бою, но только не такой! Терпеть унижения от хамов... Невыносимо!

— И что же ты сделал?

— Подлость, Ляля. Я сделал подлость! Ещё одну! Я написал письмо, в котором отмежевался от корниловщины и осудил её! Об этом, конечно, узнали наши офицеры... В общем, пришлось мне со службы уйти. А ведь долгом моим было смыть позор кровью. Последовать примеру Витьки... Только я и тут струсил... Битый час на револьвер смотрел, к виску дуло подносил, а потом напился вдрызг и написал рапорт об отставке. Так-то, дитя! Что, и теперь тебе меня жалко?

— Каждый человек может допустить слабость, ошибиться. Слава Богу, что ты не последовал примеру своего друга. Это было бы единственное решение, которое уже никак не поправить.

— Ты, в самом деле, так считаешь? — недоверчиво спросил Жорж.

— Да, считаю.

— И ты всё так же жалеешь меня?

— Главное, ты не жалей больше о том, что было. Это прошло... Теперь другая жизнь, и надо жить. А не хоронить себя заживо.

— А жить — как? — грустно спросил Жорж. — Девочка моя, мне ведь уже под сорок. И жизнь моя была вполне определена! А теперь всё прах! У меня ничего нет! Никого! И кому я нужен теперь...

— Значит, нужен кто-то, кто будет рядом. С кем ты сможешь начать новую жизнь. Вместе начинать легче...

Ещё недавно Ольга никогда не позволила бы себе сказать подобного. Но всеобщее сокрушение основ освобождало от условностей прежней жизни. Какая разница теперь, что подумают или скажут люди? Да и кому думать? Разве что родным, но они поймут. Этикет, неписанные правила — всё это осталось позади. Свобода, в самом деле, пришла. Свобода от отчаянности

положения. Когда не знаешь, что будет завтра, когда гибнет твой мир, до церемоний ли? А ещё и близящийся тридцатилетний рубеж своё давал. Старой деве ни к чему жеманиться... Да и разгорячил, взволновал разговор. Чувствовалось, что другого такого не будет, что это — последний шанс.

Некоторое время Жорж молчал, разглядывая Ольгу, словно увидел впервые в жизни. Наконец произнёс:

— А ты, Ляля, оказывается, давным-давно не та девочка, которую я тщетно учил держаться в седле... Что же, ты бы хотела начать со мной новую жизнь?

— Я этого не говорила.

— Кокетство вам не к лицу, принцесса. Ну да ладно. Соблюдём форму. Если бы я предложил тебе, Ляля, разделить со мной новую жизнь, ты бы согласилась?

Он не сомневался в ответе. А Ольга знала, что предложение это делается лишь потому, что ему оказалось некуда голову приклонить. У весёлого и щедрого гусара были и друзья и женщины, но нищий бывший человек, действительно, не нужен никому.

— Да, я бы согласилась, — всё же ответила коротко.

— Ты понимаешь, на что идёшь?

Она понимала. И ничто не могло поколебать её решимости. Слишком долго пришлось ждать этого часа...

— Нет... Не понимаешь! Я подлец, Ляля! Неужели ты не понимаешь? Я подлец! — Жорж вдруг заплакал. И трудно было понять, чего больше было в этих слезах: стыда ли, жалости к себе, или просто нервы, которую неделю растравляемые алкоголем, не выдержали.

— А ключ ты всё-таки отдай... Нельзя же вот так сразу...

Ключ она не отдала. А принесла сама остатки наливки с кухни. Налила и себе рюмку. Так отметили начало «новой жизни». А поутру сообщили о своём решении родных...

Отец, само собой, был в бешенстве. Мать растерялась. И даже тётя Мари хранила молчание. Только Варюшка поздравила радостно. Хорошо, хоть Роди не было. Он бы точно радоваться не стал.

Новую жизнь не на старом месте начинать. Тут от одних отцовских многозначительных взглядов взвоешь. Решили, недолго думая, перебираться в Москву. Отец только руками развёл:

— Идиотство! Все из Москвы с голодухи бегут, а эти — туда! Ну, скатертью дорога! Оно может и ничто! Дуракам-то у нас везде кусок отыщется...

Не сказала ему Ольга, что остановиться решили у дяди Коти. А то не миновать бы ещё большего гнева.

Дядя Котя новой власти пришёлся ко двору. Если для абсолютного большинства его знакомых революция была сродни нашествию Батыея, то Константин Кириллович продолжал жить припеваючи. Его просторная, роскошная квартира не ведала уплотнения, его стол никогда не пустовал, а лицо не теряло дородности. Дядя активно сотрудничал с Максимом Горьким, переводил иностранных поэтов, сам писал стихи и статьи на злобу дня, громя в них буржуев и прочие неугодные классы и превознося, конечно, Советскую власть. Все эти сочинения он по-прежнему подписывал псевдонимом Константин Дир.

Ольга старалась не читать дядюшкины опусы. И не могла постичь, как он может писать их... Сидит дородный, холёный барин в пятикомнатных хоробах, пьёт вино и обильно закусывает в ту пору, как кругом голодные люди рады уже и мёрзлой картошке. Сидит в халате нараспашку, почёсывая дебелую грудь и сочиняет — что же? А о том, как капитал изводит трудящихся, и как пролетариат, сбросив цепи, борется с врагами трудового народа. С помещиком, со священником... А Глинское как же? А сам — не из помещиков ли? И о голодающих детях — слёзно.

Намазывая булку маслом... И о проклятом царизме... И о нынешних великих и мудрых — не соизмеряя хвалебных выражений! Видела Ольга галерею фотографий этих «великих». Батюшки святы, да ведь какие всё лица разбойные! Даже у Луначарского... Вроде же из интеллигенции?

Хотя интеллигенция — она тоже разная. Одна в холоде и голоде жила, мебель на дрова пилила, старую одежду штопала, а другая... Как-то ходили с дядей Котей в «Табакерку». Шло там гульбище. Спекулянты и подобная вороватая публика веселилась, поглощая пирожки по сто целковых и иную снедь. А не отстающие от них в этом действе товарищи поэты сопровождали оное стихами. И какими! Не знала Ольга, куда от стыда деваться. Алексей Толстой на рояле что-то пакостное играл. Подсел к нему дядюшка — в четыре руки поехали. А дядюшка ещё и слёту куплеты давай распевать, тут же сочиняемые. Скабрёзные, гадкие...

Больше не ходила Ольга в ту «обитель муз». Жорж смеялся потом, подкалывая дядю Котю:

— Много я разных весёлых заведений видал, грешен, но твоя «обитель муз» всем притонам притон! А поэты твои — поросята и только! Тоже мне Пушкины...

Ольга мужа одёргивала. Как ни тошно было от царившей в дядюшкином доме атмосферы, да ведь на его шее сидели. Благодарю уж за гостеприимство и терпи, не выказывай норов. Да к тому ещё имея полковничий чин... Дядюшка нынче в силе, хоть какая-то защита. А без него — далеко ль до беды?

Правда, всё чаще думала Ольга, что лучше бы съехать куда-нибудь. Слишком дурно влиял дядюшкин дом с его богемностью на мужа. Давал простор для гусарства, которое позабыть бы пора! Да ещё и Рива эта с её театром! Зачастил туда Жорж. Там он, как в цыганском таборе, чувствовал себя на своём месте. Там он со своим обаянием и звучным баритоном сразу своим

стал. Ольга прощала ему эти слабости, понимая, что так он прячется от реальности, от надломленной своей жизни, забывается. Да только самой-то как было жить? В чём забвения искать?

Вот, и теперь веселились они. О ней и не вспоминая. Не годится она для весёлых застолий, не тот характер, и актёрских способностей нет, чтобы лгать натурально. Так и осталась не нужна ему. Поди и раскается скоро, что в минуту печали связал с нею жизнь. Хотя ведь это просто теперь стало исправлять по новым законам... Но Жорж, конечно, не пойдёт на такое. Не пойдёт, не дойдёт... Перед Богом венчаны. Бога не обмануть... Тот же, что не обмануть. Стало быть, терпеть надо, коль сама себе такую судьбу выбрала.

Ольга умыла лицо ледяной водой и прошла в гостиную. Там за столом продолжалось пиршество. Во главе стола восседал дядя Котя в халате и с сигарой в зубах. На диване расположились уже заметно захмелевший Жорж с гитарой и смеющаяся Рива.

— Ба! Печаль наша пришла! Птица Сирина! — воскликнул дядюшка, увидев Ольгу. — Ты уж не с похорон ли, племянница?

— Почти, дядя.

— Вот как? И кто же преставился?

— Государь, — тихо ответила Ольга и перекрестилась.

В комнате повисло молчание. Жорж отложил гитару, приподнялся:

— Что с ним случилось?

— Его расстреляли. Сегодня ночью... Так сообщают газеты.

Муж заметно взволновался. Дрожащей рукой наполнил рюмку:

— Царствие небесное! — осушил залпом и смахнул слезу.

Ольга с тоской посмотрела на него. Как же самонадеянна она была, полагая, что новая жизнь ещё возможна... Нет, не будет никакой новой жизни. А только дальнейшая гибель... И ничем она не в силах помешать...

— Простите, я очень устала... Пройду к себе...

И словом не остановил никто. Но и то ладно, что песен не продолжили, утихли перед вестью скорбной. Пройдя в их с Жоржем комнату, Ольга распустила волосы, давая отдых усталой от тяжести шпилек голове, и стала раздеваться. В этот момент вошёл муж, замялся на пороге, затем притворил дверь:

— Тебя почти весь день не было...

— Ты заметил?

— Да, я тебя ждал...

— Я этого не заметила.

— Просто ждать пришлось слишком долго... Где ты была?

— У Шурочки, я тебе говорила.

— А... — Жорж поморщился. — Даже в детстве противнейшее создание было... А теперь и вовсе медуза-горгона! Видел я её фотографию в газете. С её носатым мухомором... — он помолчал. — Насчёт Государя — горько... Но этого следовало ожидать. Это закон революций... Жаль его. Сдался без борьбы... Хотя и я...

— Что ты?

— Я тоже не могу, как оказалось, бороться с ними. И не вижу смысла. Знаешь, Ляля, я долго думал... И понял, что и не должно бороться с ними. Служить надо не власти, не идеям, а Родине, правда? А Родина — это гораздо больше, чем тот или иной строй. Родина — это, прежде всего, наша земля. Сейчас на ней установилась новая власть. Большевики. И иной нет... И те, кто пытаются ей противостоять, лишь умножают насилие и разруху. Необходимо для России сейчас как можно

скорее завершить междоусобицу и начать наводить порядок, заново строить государство, все его институты... Это огромная работа! Для которой нужны люди... И я считаю, что долг каждого настоящего патриота сегодня во имя прекращения кровопролития, во имя скорейшего восстановления нашей Родины включаться в эту работу. Не откладывая.

— Ты решил поступить на службу большевикам? — спросила Ольга, быстро поняв, чему служит столь длинная и сбивчивая преамбула.

— Не большевикам, а России, — поправил Жорж. — Я зарёкся служить какой-либо власти. Власти, как выяснилось, могут меняться по несколько раз за год. Как русский офицер, я служу только России.

— И где же ты теперь будешь служить?

— В РККА.

— У Троцкого...

— Ляля! Это всё частности! Троцкие, Сухомлины, Ленины, Николаи — это всё преходящее. А Россия — вечна! И России нужна армия. А армии — офицеры. Разве я не прав?

Жорж приблизился к Ольге, обвил руками её талию, коснулся несколько раз горячими губами обнажённых плеч, повторил шёпотом:

— Так я прав? Прав же?

— Да... наверное... — неуверенно откликнулась Ольга, смягчаясь от мужниных ласк и в приливе нежности забывая недавний ропот на его невнимание.

...С первыми проблесками рассвета она подумала, что жизнь всё-таки становится всё страшнее. Сквозь застилающую глаза пелену слёз она смотрела на спящего рядом мужа. Он теперь красный командир... Военпец... Большевик... Во имя служения России... Верит ли он в это сам? Хочет верить. Чтобы не чувствовать себя трусом и предателем, как тогда, когда славил Временное правительство. Чтобы не видеть

перед собой глаз застрелившегося друга. Чтобы в какую-то ночь не вскрикнуть в слезах: «Я подлец!» Несчастный, слабый человек... И её он делает такой же. За тысячи вёрст отсюда сутки назад свершилась величайшая трагедия. А что же они? Она — что же? Так ли следовало эту ночь провести?

Ольга осторожно выскользнула из-под одеяла и стала бесшумно одеваться. На голову повязала тёмный платок — по-траурному. Дома никто, по счастью, не проснулся, и, никем не смущённая, она поспешила к заутрене.

По приезде в Москву в церкви бывать почти не приходилось. И, лишь ступив под своды её, Ольга поняла, как ей этого не хватало. Служба выдалась многолюдной. Знать, многие пришли этим утром в храмы — помянуть невинно убиенного. Ольга тихонько шептала молитвы, изредка промакивая слёзы краем платка. Молилась и за убитого Государя, и за всех невинно убиенных. Но более — за своих. За родителей и сестру. За Родю, сражавшегося неведомо где против тех, кому стал служить теперь Жорж. И за Жоржа... Чтобы вразумил его Всемогущий, не дал окончательно ввергнуться в бездну.

По окончании службы Ольга подошла под благословение. На душе стало немного легче. Выйдя же из храма, она неожиданно углядела знакомое лицо. Крикнула, вызвав удивлённые взгляды проходивших мимо прихожан:

— Лида!

Это точно Лидия была! Вот так чудо! Ведь едва приехав в Москву, кинулась Ольга к ним с Серёжей на Маросейку, а их уж не было там. Дом уплотнили, хозяева съехали. Не то в Посад, не то ещё куда-то. Так и не отыскала адреса тогда. А как часто вспоминала всё это время! Ведь ближе их друзей не сыскать теперь в Первопрестольной! И вот какая встреча!

Похристосовались на радостях. Лида лишь на день в город приехала. Продать кое-что, купить кое-что — и назад скорее. Пошла Ольга с нею вместе — заодно и пособить, если что.

— Словно вечность не виделись! — вздохнула Лидия.

В самом деле. Прежде в другой жизни встречались. Считанные месяцы между жизнями этими, а — словно вечность...

Глава 9. Один день

Гудела нынче Сухаревка. Ни дать, ни взять базарный день! Вот, только торговцы и торговки каковы! О, такой почтенной публики вы разом не увидите теперь нигде в Москве! Дворянское собрание — не иначе! Вон тот благообразный старец с пышными бакенбардами — не он ли в том самом собрании ещё недавно командовал кадрилиями да вальсами? А эта печальная тень в дырявом пиджаке со связкой книг? Бедный-бедный профессор — кому теперь нужны книги? И до какого бедствия нужно было дойти, чтобы самое святое для себя на торжище вынести? А вон дама с остатками прежней дородности. У неё было чудное имение в Минской губернии. И не менее чудный дом в Москве. История её семьи уходит в глубину веков, и славная эта история, да будет вам известно! Но, вот, и её загнала нужда на Сухаревку. Чтобы продать, а, вернее, обменять фрак мужа... И что-то из семейных реликвий... Семейные реликвии! Сколько их здесь! Портреты, посуда, мебель... И всё это улетает — вдармы! За мешок картошки, за несравненное право не подохнуть голодной смертью хотя бы ещё несколько дней или недель. Иные поникли, прячут глаза в землю, стыдясь своего положения. Другие уже преодолели стыд — голод и нужда удивительно быстро справляются с этим «пережитком буржуазного строя» — бойчат, норовя всучить свой товар покупателям.

Бойкости и Лидии было не занимать. Сама от себя раньше не ожидала такой оборотистости. А что делать? Ведь не одну себя прокормить надо, а ещё отца, сына, мужа и больного кузена Николку, полуживым приползшего из вымирающей столицы. Попробуй-ка не быть оборотистой! Попробуй-ка вспомнить правила

хорошего тона, принятые в разрушенном до основания мире!

Этим утром Лидия встала затемно. Всего часа три и успела поспать. И так невыносимо подниматься было! Десять минут пролежала ещё, собираясь с силами, с завистью глядя на безмятежно спавшего рядом мужа. Он тоже уснул совсем недавно, верный «совиной» привычке, мешавшей и Лидии хоть как-то наладить собственный распорядок дня. Но ему не нужно вставать, он волен спать хоть до полудня... Равно как и прочие домочадцы. Они, впрочем, ложились рано и поднимались соответственно. А Лидия приспособливалась и под них, и под мужа. Ну, не могла она лечь и спать, не убедившись, что лёг, наконец, и он, истерзанный своей бессонницей. Вчера, вот, провели полночи в обсуждении того, как же жить дальше. Обсуждать, в сущности, было нечего, но Серёжа мучился этим вопросом и не успокоился бы, не обсудив его всесторонне...

Каков же итог? А итог таков, что после бессонной ночи надо было мчаться сквозь сырой сумрак дождливого утра на вокзал. Наскоро похлебала кипятку с сухариком, пришпилила на видное место записку с несколькими указаниями домочадцам и заспешила. Поглядеть на себя со стороны теперь — залюбуешься! Испитая баба в перехваченном офицерским ремнём тёмном платье и платке на плечах, в хлюпающих страшных сапогах, с остриженной головой... Серёжа ругался. И на стрижку эту, которую он строго запрещал, а Лидия всё же не послушала — недосуг было с локонами возиться, и без того не вздохнуть. И на сапоги, топот которых слышен был якобы всему городу. Да кого теперь было удивлять подобным «выглядом», как говорят господа поляки? Все ходили, кто в чём. Даже удивительно, как в такой краткий срок благополучная страна обратилась в царство голытьбы...

А дополнял «изысканный» наряд вещмешок. В нём были вещи и башмаки на продажу. Башмаки Лидия делала сама, скоро обучившись этому ремеслу у старого посадского сапожника. На башмаки спрос был всегда. А потому дело оказалось выгодным. Но и каким же трудоёмким! Пробовали ли вы шить обувь? Искальывая в кровь руки? Натирая их до кровавых же мозолей? Все ладони — что лоскуты! Ключьями! А ведь этими руками ещё и — стирать. И мыть посуду. И вёдра с колодца — ими же носить... И грядки полоть... Но чего не стерпишь, чтобы обеспечить пропитание близким?

Несмотря на ранний час, поезда уже шли набитые битком. А как иначе? Билеты на них «товарищи» не продавали. Их брали штурмом обратившиеся из-за голода в кочевников люди. Горожане ехали в деревни — обменивать вещи на муку, рожь и картофель. Из деревни тоже пробирались в город, но уже реже, опасно. Большевики сторожили мешочников и карали их. А товар отбирали. Частью оседал он на государственных складах, а частью просачивался на чёрный рынок.

Каждый раз, приходя на вокзал, Лидия думала, что лучше бы всё-таки было остаться в Москве. Хотя как бы остались, если квартиру уплотнили? Ведь решительно невыносимо жить было с «товарищами» под одной крышей. Нет, Лидия-то бы прожила. Но отец! Но Серёжа!.. А к тому в Посаде было спокойнее — подальше от центра, от власти, от ЧК. И дом такой уютный — так радостно было жить в нём летом. А при доме, что немаловажно, пусть небольшой, но огород! По весне старательно засеяла его Лидия — хоть какое-то подспорье в голодные годы. И много замечательных людей сосредоточилось в этом тихом уголке: философы Флоренский, Розанов, Тихомиров, сберегатель и хранитель русского искусства Олсуфьев, священник Фудель... И из близких знакомых — многие. И

благословил переезд дорогой батюшка, отец Алексей. Нет, он правилен был, переезд. Но видя ломящуюся в вагоны толпу, Лидия каждый раз сомневалось в этом. Слишком жутко было. Один неосторожный шаг — и ты под ногами озверелой массы. А она и не заметит тебя, и растопчет. Такое бывало уже...

В очередной раз преодолев страх, Лидия ринулась на штурм поезда. Удалось втиснуться — только так зажали со всех сторон, что перед глазами разноцветные круги пошли. Как костей не переломали — один Бог, создавший их столь крепкими, знает...

На родную Москву смотреть тоскливо было. Это как же постараться надо, чтобы в месяцы считанные цветущий город в общественную уборную обратить?.. Даже летом, летом — и то грязь сплошная! То ли дело осенью будет! Весь город, точно слоем пыли покрылся. Даже люди. И нищета кромешная... И голод... И страх... Страх человека перед человеком. А как не бояться? Ведь мало бандитов легальных в тужурках кожаных, так ещё же и прочие-разные разбойничают! Кушать-то всем охота. А о том, что кусок хлеба можно трудом заработать и вспоминать эта публика забыла. На что его трудом зарабатывать, когда куда как проще вырвать из чужих коченеющих рук?.. Хотя б на том же вокзале? Или на толкучке? Вон, бывшая дама идёт с кошёлкой. Вырви у неё кошёлку — и только и видели тебя! Напрасно «караул» кричать! Никто не поможет! Тем более, что закричавший, надо думать, класс отживший, а тот, который кошёлку выхватил — передовой, будущее революции, так сказать.

Немало скрасила поездку встреча с Лялей Аскольдовой. Жаль, Серёжа в Посаде остался — вот бы обрадовался подруге старинной! Пригласила её с мужем в гости. Себе, признаться, хлопоты лишние, но Серёжа рад будет... Да и невежливо как-то не пригласить. А Ляля замаялась, глаза отвела:

— Жорж, наверное, не сможет... А я... Я непременно. Я ведь искала вас...

Жорж не сможет? Да ещё так стеснительно? Ну, дела! Без году неделя в браке, а уже такие отношения? Хотя рассказывал Серёжа про этого самого Жоржа. Нашла себе Ляля мужа, только посочувствовать можно — намается с ним. Или уже как будто?

Ляля, по всему видать, на Сухаревке не бывала. Непривычно ей здесь было, неловко. Счастливая! Хотя... За счёт дяди-подлеца жить — тоже не великое счастье. Лучше уж башмаки тачать и торговать.

— А Серёжа в Москве не бывает?

Серёжа? В Москве? Да, вот, пустила однажды одного... Привёз с собой... скрипку. Старинную. Ценную. Он, видите ли, увидел продающую её женщину с маленькой дочерью. Оказалось, скрипка — её покойного мужа. И она так бережно кутала её, дрожа сама на ветру. И так трогательно было: бедная, хрупкая скрипка, бедная, хрупкая женщина... И пожалел. Отдал ей все деньги. А скрипку привёз... Оправдывался: Женя подрастёт, играть будет. Женя! Жене бы с голоду не опухнуть дотоль... И кто, скажите на милость, будет учить его играть? Так и лежала скрипка у мужа в кабинете. Продать её он почему-то ни в какую не желал... С той поры Лидия не допускала, чтобы Серёжа ездил в город один. Слишком велик убыток семейному бюджету от таких поездок.

— Бывает... иногда... — подробностей Ляле знать незачем.

Откровенно говоря, не очень-то рада была Лидия нежданной спутнице. Приходилось отвлекаться на разговор, когда каждая секунда горела. За считанные часы нужно было умудриться расторгнуть привезённое, купить (а для того ещё и найти) кое-что, заскочить к себе на Маросейку и успеть на поезд. Чтобы хоть к ночи-то, к ночи дома быть! И дать роздых

обращённому в пружину телу. А потом снова в путь. Теперь уж более дальний — за провиантом в соседние губернии. Ехали знакомые посадские на днях — так хоть с ними. Всё не одной. Как-никак, а небезопасно... И непокойно было от этой предстоящей поездки — не привыкла своих оставлять без пригляда. Особенно маленького Женю... Тут только на отца надежда. Хоть и стар, но присмотрит за внуком. А, по-хорошему, няньку бы... Была прежде, да Серёже она не нравилась. Мол, зыркает недобро, говорит неласково. А теперь новую няньку в семью брать — лишний рот выйдет. Как ни крути, всё худо. А ведь разрухи конца и края не видать! И как же обернуться? Даже такого лошадиного здоровья, каким Господь наделил, мало будет...

Роились в голове мысли, столько вопросов решать необходимо было, а тут ещё Ляля... Ей-то, поди, спешить некуда. Вздыхала тоскливо. Эх, барышня, барышня, тебе бы покрутиться так же — на вздохи бы сил не осталось.

— Какая ты, Лида, стала... Я бы так не смогла...

Да, куда бы ты делась, голубка, если бы нужда довела? Или Лидия к такой жизни подготовлена была? Тоже ведь барышня, дочка профессорская. Теперь и вспомнить чудно. Посмотришь на свои распухшие руки и не поверишь, что были они когда-то нежными и мягкими, что в шёлковые перчатки облекались...

А всё-таки, словно ветер попутный в спину дул — всё успела. И до вокзала Ляля извозчика наняла, не поскупилась — домчал, как в стародавние времена. В пролётке только и перевела дух, расслабила натруженное тело. И, подумав, что впереди снова давка в поезде, передёрнулась. Это что ж сотворить надо было, чтобы поезда обратились в душегубки? В ходынки на колёсах? Как это свершилось? Как им это удалось? Непостижимо!

В Посад Лидия вернулась к ночи. Не без труда доволокла одеревеневшие ноги до дома и ещё на подходе к нему угадала по мелькавшим в освещённом окне теням, что о покое думать и теперь рано. Дома — гости. Кто? Не всё ли равно, в сущности! Философы, писатели, художники, учёные... Люди, несовместимые с нынешним временем. Потому что время настало — первобытное. А для первобытного времени не нужны ни знания, ни таланты, ни ум, ни дух... А крепкие руки. И ноги. И житейская смекалка. И желательно полное отсутствие стыда... Нужно из людей обратиться полулюдьми, неандертальцами... Тогда есть все шансы выжить. Но люди, регулярно собиравшиеся в гостиной Кромиади, принять этого не желали и не могли. Всех их Лидия любила. Но в этот миг эта любовь как-то затихла, оробела. Подавленная нечеловеческой усталостью. Хотелось одного — напиться горячего кипятку и лечь. И не шевелиться. А предстояло изображать гостеприимство... И ведь не догадаются расположившиеся в гостиной тонкие натуры, что хозяйке нужен отдых. Как не догадался Серёжа, что нынешним вечером устраивать полуночные заседания более чем неуместно. Впрочем, он и не устраивал. Просто они пришли, а он, как вежливый человек, не мог пояснить им, что они не ко времени... Ах, как он предупредителен и вежлив со всеми! Хоть бы толику этой предупредительности оставил жене... Что ж, сама же такой порядок установила в доме. Чего теперь жаловаться? Надо терпеть...

И стиснув зубы, Лидия вошла в дом. Никто не услышал этого, не вышел встретить, забрать нелёгкую сумку. Где ж им услышать, когда важнейшие вопросы судьбы России решаются? Когда о Царе разговор идёт! О Царе... Перекрестилась Лидия. Да, очерствело сердце. Не содрогнулось оно при скорбной вести. А должно было...

На цыпочках пройдя в детскую, она с удовлетворением обнаружила, что Женя уже уложен и мирно спит. Знать, дедушка позаботился. И то ладно. Теперь пора было и гостям себя явить. И, наконец, обогреться кипятком и чем-нибудь съестным. А там... А там... Забыть об этикете и оставить мужа с гостями дебатировать хоть до утра. Если им так хочется. А самой позволить себе роскошь не засиживать с ними.

По счастью гостей в этот вечер оказалось немного. Всего двое: Стёпа Пряшников и Лодя Бекетов. Оба — свои люди в доме. А значит, можно обойтись без церемоний. Уже легче... Первым ринулся навстречу Лидии не муж и не отец, а расплывшийся в радушной улыбке великан Стёпа. В два прыжка с грацией тигра перескочил гостиную и, вот, жал горячо руки своими совсем не артистическими лапищами:

— Лидия Аристарховна! Ну, наконец-то, наконец-то, свет-царица моя появилась! Как тебя только пускают одну в этакую пору?! Ночь же, ночь на дворе! — и Сергею через плечо, лидиных рук не отпуская. — Золотая жена у тебя, золотая! Где б такую вторую найти? Я бы её на руках носил! Музой бы была! А ты, балда, что же? Такую жену беречь надо! — и не дожидаясь ответа, уже усаживал Лидию на диван, подставляя под её усталые ноги низенький табурет. — Садись, свет-царица, и отдыхай! А ты, Николка, самовар разогрей! — бросил повелительно кузену.

Лидия улыбнулась. Всё-таки чудный человек Стёпа! Из всех кого знала — ни с кем не схожий. Самородок во всём. Огромный, громкоголосый, энергичный — он, кажется, занял собой всё пространство комнаты. И шла от него жаркая волна силы, жизнелюбия, бодрости. И этой волной заряжалось всё окружающее. И даже усталость отступала как будто. Да, Стёпа бы носил свою жену на руках. Только жены у него нет. Есть музы. Есть многочисленные друзья. Есть его картины. И он,

кажется, счастлив. По крайней мере, ни разу не видела Лидия признака уныния на его заросшем бородой, добродушном, всегда свежем лице. Его цельная, живая натура отражала любой удар. И рядом с ним всегда было легко и надёжно. Словно бы защищал он, как скала. Ни с кем другим рядом Лидия такой защищённости не чувствовала, вечно живя главным своим инстинктом — защищать самой. За это редкое для себя чувство Лидия была особенно благодарна Степану. Что и говорить, был он и ей, и Серёже настоящим Другом. Таким, какие бывают лишь в единственном экземпляре.

Николка приготовил чай... Вот он — верх блаженства! Кипяток с куском сахара и лепёшками после тяжёлого дня! Как мало, оказывается, нужно для счастья... Даже в дремоту сразу поклонило от такого, тем более что предупредительный Стёпа заботливо укрыл её ноги пледом. А Серёжа бы — не догадался?.. Сидел у стола. Смотрел, потупившись. Виноватясь. Лидия чуть улыбнулась, поманила мужа к себе. Тот подошёл, сел рядом, поднёс её руку к губам, к щеке...

— Устала?

— Я Лялю встретила.

— Вот как? — оживился сразу. — Она в Москве?

— В Москве. Замужем. За этим... За пустоплясом...

— За Жоржем? — Серёжа нахмурился.

— За ним. Недавно обвенчались. Живут у товарища Дира...

— Ещё не легче!

— Только её, по-моему, совсем не радует такая жизнь.

— Неудивительно! Этот Дир...

— Скотина! — Стёпа пробасил зычно. — Я б его с Алёшкой да с Валеркой¹², и с прочими... Стрелять бы,

конечно, не стал, я не большевик. А вот хорошую порку на публике!..

— погоди, Стёпа! Так что же Ляля?

— Я потом тебе расскажу, ладно? Вы поговорите пока, а я отдохну немного с дороги...

— Да-да, отдыхай, конечно!

Можно, в сущности, было уйти к себе, пользуясь тем, что гости — свои люди. Но так хорошо присиделась, пригелась здесь, что и пошевелиться не было мочи. А мужчины продолжали прерванный разговор о вековечном... Отец, как обычно бывало, большей частью, молчал, словно арбитр слушая прения сторон, чтобы вынести свой вердикт. Остальные не жалели красноречия. Вот, Стёпа размахивал руками с риском сшибить тусклую люстру, доказывал Серёже:

— Ты не понимаешь! Не понимаешь ты! Наши сейчас просто копят силы! Чтобы ударить потом! Это план! Большевики расслабятся с одной стороны, полагая, что сопротивления не существует. С другой стороны, настроят против себя население, которое до сих пор выжидало и надеялось, что всё обойдётся! И вот тогда наши вдарят! Подполье поднимется! Сибирь! Дон!

— Чушь! — Серёжа отмахнулся. — Где ты видел подполье? Видел ты его или нет?

— Да что ж они там, дубы, по-твоему, чтоб мы их видели?! На то и подполье, чтоб никто не знал! Вот увидишь! Все поднимутся! Мужики! Казаки! И что смогут сделать эти? Да ничего! Потому что нет у них никакой силы! Свалят большевиков, брат! И скоро! И снова воссядет Император на престол российский!

— Какой, прости пожалуйста, Император? — нервное лицо Серёжи болезненно подёрнулось.

— Николай Александрович, конечно!

— Мёртвые из могилы встанут только в час Страшного Суда!

— Вранью о «казни» Государя я ни на йоту не верю! Ну, подумай сам! Откуда это известно? Из советских газет, в которых нет ни словца правды? Да я уважать себя не стану, если им хоть в чём поверю!

— Не очень-то веский аргумент, Степан Антоныч! — усмехнулся молодой врач и естествоиспытатель Бекетов.

— У тебя есть более веские, мой милый доктор?

— А я, Стёпа, не вижу ничего невозможного в расстреле Государя. Это логично и естественно для большевиков. Странно было бы, если б они этого не сделали!

— Я убеждён, что эта мерзкая клевета потребовалась, чтобы прикрыть факт побега Государя.

— Степан Антоныч, да у тебя, видать, везде разведка своя! Что, агентура донесла?

— Это здравый смысл и ничего больше!

— И где же теперь Государь? — прокашлял из угла Николка.

— С верными офицерами, разумеется!

— И не даёт о себе знать?

— Да Господи Боже! Я же объяснял! Они ждут нужного часа! Когда народ восстанет против ига, чтобы явить себя тогда и возглавить сопротивление! Выступить сейчас — загубить всё дело! Обнаружить себя — дать след большевикам и поставить под угрозу план!

— Тебе бы, Стёпа, романы писать, а не картины, — махнул рукой Серёжа.

— А я вообще сейчас ничего писать не хочу! Я на Дон поеду! За Россию сражаться!

— России больше пригодятся твои картины, нежели бессмысленная гибель, — заметил Бекетов.

— Гибель за Отечество бессмысленной не бывает! — громыхнул Степан. — И куда я попал, в самом деле! В компанию хороняк и нытиков! Ну, добро, добро! Вы

здесь все к военному ремеслу не годны! Только в обозах вшей кормить! А я не могу в тылу сидеть! Мои прадеды с Ермаком Сибирь воевали! А я за холстами прятаться буду?!

— Уймись ты, Стёпа, ради Бога!

— А я, господа, тоже считаю, что Государь жив! — воскликнул Николка. — И Россия возродится! Только не так быстро, как Степан Антоныч полагает! Нужны годы... Страдания нужны... Искупление. Покаяние... И тогда жидовское иго...

— Потихе, юноша! — нахмурился Бекетов.

— Зачем же тише? Вот! Здесь же всё сказано! — Саша схватил со шкафа книгу Нилуса «Близ есть при дверех», тираж которой, выпущенный в Лавре в самом конце Шестнадцатого года, был отправлен под нож ещё при Временном правительстве.

— Вы бы не размахивали таким раритетом, — посоветовал Бекетов. — А лучше бы вовсе зарыли где-нибудь в саду. За эту книжицу в Москве в комнату душ отправляют¹³!

— И миллионы платят за неё! — сказал Степан. — Если надумаете прятать эту улику, то я её сам куплю! Я большевиков не боюсь!

— Уймись, прошу тебя, — поморщился Серёжа. — И ты, Никол, в самом деле, спрячь подальше эту книгу. Это не тот повод, по которому стоит посещать подвалы ЧК.

— А у вас ничто не повод его посещать! — фыркнул Степан. — Но ничего, ничего! Скоро вы все поймёте, что я прав! Когда Государь во главе своего воинства войдёт в столицу...

— ...и зазвонят все сорок сороков, возвещая благую весть...

— И зазвонят! Увидишь! Услышишь! И будешь посрамлён!

— Буду счастлив быть посрамлённым в этом случае. Я допускаю, что сопротивление большевикам ещё будет. Но Государь во главе полков... Это, Стёпа, прости, пустые грёзы.

— И как же тебе видится сопротивление, в таком случае?

— Как освободительная народная борьба.

— А дальше? Анархия?

— Скорее всего, период диктатуры.

— Ты что же предпочитаешь какого-то диктатора-генерала богопомазанному Государю?

— Не буду скрывать, я не могу назвать себя монархистом. Потому что для меня монархия не является каким-то абсолютом, — голос Серёжи зазвучал уверенно и спокойно. Это значило, что он оседлал любимого конька. Лидия любила слушать, когда муж говорил так. — Был в третьем веке до нашей эры такой мудрый китайский философ Мэн-Цзы. Он сформулировал концепцию гуманного управления, систему ценностей, обеспечивающую стране многовековое спокойное существование. В её основу Цзы положил формулу ценностей: «Самое ценное в стране — народ, затем — следует власть, а наименьшая ценность — правитель». Под властью Мэн-Цзы понимал организацию жизни и порядка в стране, под правильным правлением — когда народу живётся хорошо. Я считаю, что Цзы прав. И думаю, что причина нынешних наших бедствий, во многом, в том как раз и заключается, что шкала эта у нас была перевернута. Главной силой Империи была бюрократия, которая подмяла под себя даже Царя. А народ оставался на последних ролях. Так, вот, мне всё равно, как будет именоваться власть в России. Как будет именоваться новый строй. Я вообще, считаю, что все эти «измы» лишь вносят сумятицу в головы. Потому что дело неизмеримо важнее политических доктрин! И я

признаю любую власть, если увижу, что она ведёт к процветанию и благоденствию наш народ. Легитимность власти, на мой взгляд, заключается в благосостоянии и позитивном развитии народа.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что царская власть была нелегитимна?..

— Нет, не хочу. Потому что, несмотря на неправильность расстановки приоритетов, она всё же вела народ к преумножению его благосостояния.

— А если большевики тоже поведут?

— Тогда Бог им в помощь. Только они не поведут, — Серёжа хрустнул пальцами. — Не смогут повести... Алчущие Свободы обретают в её лице самого жестокого и беспощадного тирана... Алчущие Равенства обретают его в могилах, равняющих всех... Так было во Франции. Все герои революции в свой час поднялись на свою последнюю трибуну на Гревской площади, все увидели сияющий нож гильотины над собой. Это непреложный закон.

— А как насчёт братства? — осведомился Бекетов.

— Братство? Братство возможно лишь во Христе. А они Его отвергли. Тогда какое же у них братство? Братство во Антихристе? Это не братство... Это сообщество ненавидящих друг друга гадов, жалящих и пожирающих друг друга.

— Всё это умно и глубокомысленно, мой дорогой философ, — произнёс Стёпа. — Только это... слова! Слова словами и остаются. А война требует не слов, а действия. Подвига. Крови... Я не верю, что сопротивление сломлено. И я буду искать связи с ними.

— А в четырнадцатом? Ты ведь не записывался добровольцем на фронт.

— Правда. Но тогда на фронте была армия. А сейчас... А сейчас нас, верных, мало, и потому каждый солдат нашей армии на счету.

— Армия верных? — подал голос отец. — Это вы, Степан Антоныч, хорошо сказали. Воинство верных... Только вы напрасно сужаете всё до обычных сражений. Те сражения, которые теперь идут в Сибири и на Дону, хоть и важны, но ими далеко не исчерпывается война. Это лишь её эпизоды... Внешние проявления борьбы куда более важной и грозной. России великой, могущественной, которая была удерживающей зло силой в мире, более не существует, и с этим бесполезно спорить. Тютчев ещё когда указал, что есть лишь две силы: Россия и Революция, и судьбы мира зависят от того, которая из них победит. Революция победила. Ящик Пандоры отверзнут. Отныне Ложь и Зло будут умножаться многократно и быстро. А противостоять этому в условиях гибели России и её Царя сможет лишь... воинство верных! Малое стадо, рассеянное по миру святорусским архипелагом... Пока это воинство будет твёрдо держать оборону своих бастионов, бастионов духовных, тьма не одержит победы. Вот, суть главной борьбы! Можно вести её в окопах или вне их. Но, главное, не забывать! Что толку, если сражающиеся теперь в окопах господ офицеры, станут видеть суть борьбы лишь в перемене власти и флагов? В свержении ненавистного ига? В мести, наконец? Не будет толку. Потому что сводить борьбу к этим второстепенным вещам есть духовная слепота. А для того, чтобы бороться с сатанинскую силу, воплощением которой стал большевизм, необходима духовная зрячесть.

— Может быть, вы и правы, профессор, — сказал Степан. — Да только... Пока духовно зрячие разглагольствуют о Боге и Дьяволе, «слепцы» погибают в сражениях, пополняя небесное войско. И что ни говорите, а Жертва всегда будет выше любых слов.

— Так ведь и красные жертвуют, Стёпа, — заметил Бекетов. — Иные даже из лучших чувств, из искреннего самого желания установить справедливость и веры в

возможность этой самой справедливости. Жертва и идолам может приноситься.

— Дурак! — гневно вспыхнул Стёпа.

Лидия хлопнула в ладоши и резко поднялась, стряхивая с себя остатки дремоты:

— Всё-всё, господа! У меня такое ощущение, что линия фронта сейчас пройдёт по этой гостиной! Второй час ночи, в самом деле!

Степан мгновенно забыл о праведном гневе и поднял руки:

— Сдаюсь, свет-генерал! Куда прикажете следовать?

— Вы с Бекетовым не первый раз в доме. Ничего не изменилось!

— Тебе, свет-царица, полком командовать! — рассмеялся Стёпа. — Напишу тебя в виде Афины!

Наконец, разошлись все, и Лидия принялась расстилать постель. А Серёжа всё сидел у приоткрытого окна, курил папиросу. Думал о чём-то, барабанил пальцами по подоконнику. Лидия покосилась на часы и приблизилась к мужу. Тронула его за плечо.

— Стёпа прав, — неожиданно вздохнул он.

— В чём?

— В том, что так жить нельзя... Невозможно... Неправильно!

— Как так? — не поняла Лидия, думая, уж не собрался ли муж пополнить ряды сражающейся армии.

— Так! — Серёжа развёл руками. — Чтобы ты ездила одна в этих ужасных поездах... Торговала на этих ужасных толкучках...

— Ах, Боже мой, какие пустяки! — Лидия рассмеялась и, обняв мужа, уткнулась лицом в его по обыкновению размётанные волосы.

— Это не пустяки... Надо же искать какой-то выход... Мы могли бы поехать в деревню, там проще выжить... Но там отец, его семья... Там просто негде

жить! Да теперь ещё и продрозвёрстка! Или мне поступить на службу... Но тогда надо в Москву возвращаться, а? А ведь там так ужасно сейчас...

— Мы не поедem в Москву. Ни в коем случае! Где мы там будем жить? И на кого оставим всё это? И Жене здесь лучше.

— Да. Здесь всем лучше... Кроме тебя!

— Мне лучше там, где хорошо вам всем.

— Ты не понимаешь... Ведь так не может продолжаться до бесконечности! Как мы будем жить?

— Бог даст день — даст и пищу, — ответила Лидия, целуя мужа в щёку и тоскливо косясь на часы, неумолимо отсчитывающие минуты обкрадываемого сна.

— И всё-таки как...

Глава 10. Постигжение смыслов

Говорят, что с годами потребность сна у человека становится всё меньше. Может, и правда. Аристарх Платонович уже привык к ночным бодрствованиям. Они не утомляли его, наоборот — то было время работы мысли, не отвлекаемой суетой дня. Никакая катастрофа не могла этой работы парализовать. Казалось бы — к чему? К чему все эти мысли, если бездна уже разверзлась, если вся жизнь твоя в эту бездну рухнула и, учитывая жизненные сроки, уже не приходится рассчитывать узреть рассвет? Когда, в сущности, и осталось-то дел на земле — подготовиться к Часу. Достоинно встретить его. И все бы мысли устремить от праха восстающего к вечному, горнему. Погрузиться в созерцание и чтение святых книг. Ан нет! Не давалось! И всякое движение в стране, всякое событие анализировалось, разбиралось до тонкостей. И жадно ловились вести со всех её концов! И раздражало, что вести эти доходили с таким трудом...

Мысль работала. Зачем-то пытаюсь постигнуть то, что свершилось, и чего поправить было нельзя. Таких рабов Мысли в Посаде было множество! Где-то недалеко, должно быть, также страдая от бессонницы, склонился теперь над новым трудом Тихомиров. Тихомиров постигает главное — Апокалипсис. Это, по видимому, вершина его мыслительской работы. Это — плод долгого, методичного труда, к которому способен редкий человек. И наперёд можно знать, что глубина и верность святоотеческому преданию будет отличать это исследование от нервического «Апокалипсиса наших дней» бедного Василия Васильевича... Аристарх Платонович никогда не жаловал Розанова. На одну дельную мысль приходилось у него по дюжине таких

ересей, от которых впору было волосам стать дыбом. И что за манера всегдашняя — самого Христа поворачивать под собственные похоти... А, в сущности, просто несчастный человек. С перепутанной жизнью, с больной душой. Типичный продукт своего времени и круга, потому и помешана на нём была добрая часть интеллигентской публики. Сами столь же больны были. И также жаждали к своим похотям и извращениям приладить, притянуть хоть как-нибудь святое. И сердились на христианство, что оно «противоестественным» образом требует от них унять «естественные желания». Так и мешали свет с грязью, самих себя и жизнь вокруг разрушая. Так и накликали большевика. Накликали тех, которые тоже не хотели желания свои унимать, только подходили к делу проще и не приспособливали к себе Христа, а «упраздняли» его.

Посад был населён философами. Но Аристарх Платонович редко виделся с ними. Его не тянуло к праздным разговорам. К тому же, прежде чем сказать, надо осмыслить.

За стеной слышались приглушённые голоса дочери и зятя. Вот ещё полуночники! А ведь говорил Лиде — не нажить добра с таким мужем. Голова-то у него, может, и золотая, а, вот, руки... Да что говорить! И после нескольких лет брака она вокруг него вьётся, что нянька подле дитяти. О сыне меньше забот, нежели о благоверном. Его дела, его мысли, его здоровье, его покой... Ну да у каждого свой крест. Значит, ей такой дан. И хуже бы было, если б она роптать начала, охладев к мужу.

Накинув тёплую шерстяную фуфайку, Аристарх Платонович вышел на крыльцо. Ночь была тихая, тёплая. Сквозь лёгкую дымку проглядывали тусклые звёзды. В такие ночи кажется, что ничего не случилось, что это всего лишь ещё одно лето на даче... А ближе к

осени надо будет возвращаться в Москву, в Университет. И трудно поверить, что возвращаться уже некуда. Разве только в Данилов съездить... Да к отцу Алексею...

Во всей революционной круговерти более всего потрясло Аристарха Платоновича то, как мгновенно приняло её подавляющее большинство духовенства. Что греха таить, нисколько не отстали от любых других организаций. Поспешили расписаться в верности и заняться... отстаиванием своих интересов. Таких маловажных в сравнении с масштабом вершащейся трагедии! Или они не видели её? Не видели... Но если они, пастыри, не видели, то что требовать от овец?

А ведь кроме пассивно (растерянно? испуганно? неосознанно?) принявших Зло нашлись и те, кто стал на его сторону активно. Уже в первые дни революции на Марсовом поле прошли панихиды и крестные ходы по «павшим борцам за свободу». О растерзанных в эти дни офицерах и городских, разумеется, политиканы в рясах не вспоминали...

Синод в ту пору возглавил полусумасшедший еретик Владимир Львов. Члены Синода, стоявшие на консервативных позициях, вынуждены были покинуть его. Среди них оказались Архиепископ Литовский Тихон и Московский Митрополит Макарий. Более двадцати архиереев были лишены Львовым своих кафедр.

В итоге, в Синоде остались лишь те, кто приветствовал свержение монархии и всячески способствовал очищению самого Синода от монархических элементов. Среди них — архиепископ Финляндский Сергей. Этот красноречивый, высокообразованный иерарх, бывший ректор Санкт-Петербургской духовной академии уже давно пользовался симпатией либеральной интеллигенции, со многими представителями которой он входил в печально известное религиозно-философское собрание,

активно действовавшее в период так называемой «первой русской революции» и давшее жизнь немалою числу еретических идей... В октябре 1905 года епископ Финляндский взял на поруки вышедшего из тюрьмы народовольца Михаила Новорусского, в 1887 году арестованного вместе с Александром Ульяновым за подготовку убийства императора Александра III. Церковная газета сообщала, что «освобожденный из Шлиссельбурга Новорусский нашел на первых порах себе приют и ласку у высокопреосвященного Сергия, бывали у него с доверием и другие шлиссельбуржцы».

Тогда же, в Пятом, сформировалось ядро будущих обновленцев. Группа духовенства присоединилась к революции и образовала левый кружок, известный под названием «тридцати двух священников». Писатель и философ Валентин Свенцицкий, принявший сан в революционную пору, некогда увлекался модными философско-религиозными течениями. Немало симпатизировал Толстому, выступал за преобразования в государстве и церкви. Но уже в 1906-м году он угадал существо церковных прогрессистов: «Современное церковное движение можно назвать либеральным христианством, а либеральное христианство только полуистина. Душа, разгороженная на две камеры — религиозную и житейскую, не может целиком отдаться ни служению Христу, ни служению людям. В результате получается жалкая полуистина, тепло-прохладное, либеральное христианство, в котором нет ни правды Божией, ни правды человеческой».

Эта-то группа в самые первые дни свистопляски Семнадцатого решила организовать всё «прогрессивное» церковное общество во «Всероссийский Союз демократического духовенства и мирян». На первом месте у общества стояли цели революции и установление республиканского образа правления, а на третьем — реформа в Церкви.

Председателем избрали священника Димитрия Попова, а секретарем протоиерея Александра Введенского. «Демократы» в рясах ораторствовали на митингах, кляня историю собственной страны и всячески поддерживая новые «веяния».

Если открытых обновленцев ещё не допускали к власти, то умеренными старательно замещали всех «ретроградов». Синод проводил чистки рядов, удаляя всех, кто был замечен в монархических убеждениях. Так был удалён на покой московский митрополит Макарий. Митрополит Макарий! Апостол Алтая! Сибирский столп Православия! Живой русский святой! Так называли Владыку, большая часть служения которого проходила вдали от столиц... Более двадцати лет был он епископом Томским, и за это время более двухсот храмов открылись в его епархии. Аскет, молитвенник, духовный писатель, он был подлинным столпом Православной веры. Но Москве, немало тронутый духовным тлением, куда он был назначен в 1912 году, его простая и строгая проповедь была не по душе. «Мы переживаем смутные времена, — говорил Владыка. — Бывали на Руси лихолетия, но тогда было не так худо как теперь. Тогда были все за Бога, все желали знать, что Ему угодно; а теперь не то. Тогда были за Царя. Теперь опять не то. Теперь слышатся голоса хульные на Бога и замыслы против Помазанника Его... В подмётных письмах и листках их мы читаем, что они, как вестники ада, жаждут разрушения, беспорядков... Их желание — всё перевернуть, чтобы голова стала внизу, а ноги наверху; чтобы честный человек ждал милости из рук босяка, которого они хотят сделать раздателем награбленного ими...». И предрекал, обличая смутьянов: «Не хотите вы своей Русской власти, так будет же у вас власть иноплеменная».

Неудивительно, что после революции Владыка подвергся самым серьёзным притеснениям. В какой-то

день еврейские «Биржевые Ведомости» сообщали: «Депутация Московского духовенства во главе с Самариным и протопресвитером кремлевских соборов Любимовым передала митрополиту Макарию просьбу Москвы подать прошение об увольнении на покой в виду несовместимости его твердо сложившихся ретроградных убеждений с новым строем русской жизни». Далее сообщалось, что Митрополит Макарий долго не поддавался, но затем согласился с требованиями посетителей. Старцу-митрополиту угрожали заключением, если он не уйдёт. Владыка подчинился и вопреки закону был сослан в Николо-Угрешский монастырь, лишённый возможности жить в Троице-Сергиевой лавре, а также содержания. На Всероссийский Собор он также не был допущен...

Удалили и куда более мягкого архиепископа Алексия (Дородницына). Его на Владимирской кафедре заменил всё тот же архиепископ Сергей. От знающих людей Аристарх Платонович был хорошо осведомлён, что избрание на этот пост прошло нечисто. Всего выдвигалось четыре кандидатуры, и накануне решающего голосования большинство голосов отдавалось делегатами Чрезвычайного съезда духовенства и мирян Владимирской области одному из конкурентов архиепископа Сергия. Но уже следующим утром расклад сил неожиданно поменялся. Непостижимым образом за ночь Сергей сумел перетянуть на свою сторону сто двадцать избирателей и получить в итоге абсолютное большинство голосов.

А профессура Московской духовной академии в это время торжествовала: «Великая русская революция, разбив вековые цепи царского самодержавия, могучим порывом освободила одновременно двух задыхавшихся в них в течение целых столетий великих узников — государство и Церковь!» Под этот отвратительный гимн

с должности редактора журнала «Богословский вестник» был изгнан отец Павел Флоренский.

Лишилась МДА и своего ректора — архиепископа Феодора (Поздеевского), ставшего настоятелем Данилова монастыря. Аристарх Платонович знал владыку Феодора много лет. Это был подлинный адамант в вопросах веры, ревностно хранивший традиции и выступавший резко против любых нововведений и изменений. Суровый аскет, он, занимая столь высокий пост, ограничивал себя буквально во всём, стремясь подражать подвигам святых.

Революционеры ненавидели владыку с давних пор. В Пятом году, когда он был ректором Тамбовской духовной семинарии, один из семинаристов покушался на его жизнь. Годом позже покушению подвергся инспектор семинарии отец Симеон (Холмогоров). Пуля террориста раздробила ему поясной позвонок, навсегда парализовав нижнюю часть тела. В 1915 году владыка Феодор перевёз отца Симеона к себе в Москву и с той поры заботился о нём, всякий день посещая его и исполняя малейшее пожелание.

При всей своей суровости владыка отличался подлинной, живой любовью к людям. В том числе, к людям падшим, отверженным миром. Он буквально искал таких людей, стараясь помогать им. Владыка Феодор говорил, что такое общение полезно пастырям. Узнав ближе отверженных миром людей, пастырь поймёт, что, в сущности, эти люди гораздо ближе ко Христу, чем он, потому что грешные, сознавая своё падение, любят Господа, прощающего и милующего их. Православие — религия жалости и смирения, жалеть надо грешников и сознавать свои грехи. А это чувство даётся при соприкосновении с миром отверженных и убогих.

Материальную помощь нуждающимся архиепископ Феодор оказывал тайно, через других лиц. Так,

Аристарх Платонович по его просьбе несколько раз относил собранные им деньги и вещи в бедные дома. Даже теперь, в голодное время владыка продолжал творить милостыню. Если несчастный философ Розанов признавался, что все мысли его обращаются к еде, что на Ярославском вокзале жадно высматривал он, кто что ест, то бывший ректор МДА свой хлеб отдавал голодным на улице, а сам удовлетворялся крохами. Так «противоестественное» побеждало «естественное»...

Зная твёрдую позицию владыки, его бескомпромиссность в стоянии за веру, в Данилов монастырь потекли люди, ища совета и укрепления. Многие взоры обратились на него после Собора и избрания Патриарха.

Аристарх Платонович был одним из делегатов Собора. Накануне него большую активность проявляли обновленцы, жаждавшие получить власть в Церкви. Кое-кто из них даже наведывался для бесед к отдельным членам Собора. Так, явилась группа большевиков в рясах к прибывшему из Полтавы бывшему духовнику Царской семьи архиепископу Феофану. Стелили мягко, подобно тому, как фарисеи искушали Христа:

— Мы уважаем, мы чтим вас, ваше Высокопреосвященство, — говорили они. — Мы знаем вашу принципиальность, вашу стойкость, вашу церковную мудрость. Вы сами видите, как волны времени быстро несутся, меняя все, меняя и нас... Была монархия, был самодержец Царь, а теперь ничего этого нет. И нам, с учетом этих перемен, приходится невольно уступать. И, как выражается великий учитель Церкви, св. Иоанн Златоуст, иногда, дабы успешнее ввести корабль Церкви в пристань, кораблю приходится уступить волнам. Вот и в данный момент, Церкви необходимо немного уступить...

— Весь вопрос, в чем уступить, — ответил владыка.

— Быть с большинством! В противном случае, ведь с кем вы останетесь?! Надо уступить, этого требует церковная мудрость. А если нет, то вы обрекаете себя на полное одиночество.

— Большинство может меня запугать, — говорит св. Василий Великий, — но не сможет меня убедить... Продолжая мысль великого Святителя, скажем, что и одиночество не страшно, а страшно отступление, отступление от Истины. И нам, православным, нет иного пути, как оставаться с Истиной. А это значит то, что неизменно оставаться с Господом Иисусом Христом. На Нем, как на основании, стоит вся Церковь: «Основания бо инаго никтоже может положити паче лежащаго, еже есть Иисус Христос». И поэтому нельзя нам быть, как выражается Апостол, «младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Нам надо крепко держаться того, что мы получили от Духоносных Отцев Церкви. Об этом сказано в кондаке в неделю Святых Отцев Первого Вселенского Собора: «Апостол проповедание и Отец догматы, Церкви едину веру запечатлеша, яже и ризу носящи истины, исткану от еже свыше богословия...» «Риза» — это одежда Церкви, учение, полученное от Святых Отцев древности. Святые Отцы восприняли ее от проповеди Апостолов. А Святые Апостолы приняли ее от Самого Источника верховной Истины, от Господа Иисуса Христа. Вот почему мы воспринимаем как нерушимый закон 1-е правило Шестого Вселенского Собора: «Хранити неприкосновенну нововведениям и изменениям веру, преданную нам от самовидцев и служителей Слова, Богоизбранных Апостолов... Ибо мы сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили, ниже прибавляти что либо, ниже убавляти, и не могли никоим образом». А что касается вопроса, с кем мы останемся, если не присоединимся к тем, кто

готов совершить революцию и в Церкви, то это совершенно ясно. Мы останемся неподвижными с теми, кто две тысячи лет созидал собою великое тело «Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви» во вселенной, хотя и на земле, но Церкви Небесной. К этой неземной Церкви и мы, в некотором смысле, вошли немалым ликом угодников Божиих во главе с Просветителем Древней Руси, Святым Равноапостольным князем Владимиром и бесчисленными сонмами явленных и неявленных угодников, начиная с Киево-Печерских, с преподобными Антонием и Феодосием и с прочими святыми по землям и краям Отечества нашего, с Преподобными Сергием Радонежским и дивным Серафимом Саровским, со святителями и мучениками российскими, под покровом Царицы Небесной, Заступницы нашей... И таких «уступок», о которых вы думаете, нам делать не приходится!

Обновленцы удалились ни с чем. Та же участь постигла их и в других случаях. В конце концов, волки, сбрасывающие овечьи шкуры вкупе с рясами, вынуждены были оставить свои притязания. Собор проходил без их влияния.

Впрочем, несмотря на этот отрадный факт, само мероприятие произвело на Аристарха Платоновича удручающее впечатление. О чём должен был говорить Собор в грозную для Церкви и Отечества годину? Лучшие (казалось бы) силы духовные — о чём должны были возвысить свой голос? Плач Иеремии, пламенный глагол Исаяи — вот, чему должно было бы звучать под храмовыми сводами! Но нет... Оробели и здесь. И здесь старательно прятали взоры от надвигающегося. Постановили не говорить о политике вовсе. Зато долго и нудно говорили об образовании будущей Церкви, могущественной своими капиталами. О покупке имений. О монополии на муку для просфор. О создании

церковного банка. О грядущих доходах... И в этих речах так явственно звучал дух мира сего, что до страшного очевидно становилось — и здесь, на Соборе нет той духовной силы, которая могла бы ещё стать заслоном, остановить катастрофу. Расплескалась она по мелочным заботам дня текущего. До слепоты, не позволявшей увидеть и того, что уже не о чем печься земном, ибо это земное отторгнется.

Катастрофа уже стреляла на улицах Москвы, уже обстреливала кремлёвские святыни, а на Соборе грезил — об имениях и могущественной Церкви... Определением Собора от 2 декабря 1917 года государству ставилось в обязанность финансировать Православную Российскую Церковь: «Православная Церковь получает из государственного казначейства по особой смете, составляемой высшим церковным управлением и утверждаемой в законодательном порядке, ежегодные ассигнования в пределах её потребностей».

Этот порок заложен был ещё века назад. И не кем-нибудь, а Иосифом Волоцким, также мечтавшим о могущественной Церкви. И, вот, Церковь стала обретать его — в землях, в крепостных душах, в сокровищах, ничему не служащих, в преумножении богатства. А в мирских этих заботах как не сокращаться времени на главное? На делание духовное? На молитву? На то, во имя чего проповедовал нестяжательство Нил Сорский? Обмирщение растлевало Церковь. Сокровище некрадмое оказывалось отодвинуто богатствами тленными. Но, вот, пришла Смута — и пожгли, расхитили накопленное. Слово указав на то, сколь ничтожно такое имение. И как бы не понять, не вразумиться? Ничуть! Ещё ревностнее взялись за старое...

О могущественной Церкви грезил Никон. И во имя могущества этого подчинял дела духовные политике,

карал противников своих реформ, удаляясь от паствы, заботясь о внешнем и пренебрегая внутренним. И чем же кончилось? Церковным оскудением. Расколом. Ослаблением веры. Подчинением Церкви светскому Синоду. Как бы хоть теперь-то не внять предупреждению? Опыту печальному? Но снова самозабвенно на те же грабли наступали. И накануне революции и, вот, в самые дни её. Виноградники в Крыму... Мука для просфор... А за стенами — гибла Россия, готовясь унести с собой в могилу и многих делегатов Собора.

И всё же Собор сделал главное, для чего был созван. В обезглавленной с уходом Царя стране, наконец, явилась власть, к которой обратились с надеждой многие взоры. Явился пастырь. Всего три кандидата было на патриарший престол. И среди них — митрополит Антоний (Храповицкий), как и многие верные Государю иерархи, лишённый в мае Семнадцатого харьковской кафедры и уволенный на покой. Яркая, сильная личность, глубокий ум, пламенная вера, неколебимая верность Богу и Государю — владыка пользовался исключительным авторитетом у консервативной части общества. За него-то и отдана была большая часть голосов соборян. И сам Аристарх Платонович за него отдал голос. В грядущую годину нужен, казалось, такой адамант-человек, скала-человек, которого ни на какие уступки склонить нельзя, который не оробеет перед торжествующим злом, не утратит решимости и твёрдости, не пошатнётся. Но над человеческим разумением довлеет премудрость Божия. А затворник Зосимовой пустыни старец Алексей, впервые покинувший свой затвор для святого дела, извлёк из чаши жребий — свиток с именем нового Патриарха.

— Митрополит Московский и Коломенский Тихон!

Тихон? Неутомимый проповедник среди полудиких народов Америки, митрополит Ярославский, затем Виленский и лишь в последние месяцы — Московский, он известен был и консервативностью взглядов, и верностью Государю («Отстоит Россия Царя — отстоит и Царь Россию!»), и духовной мудростью... Но... Это даже теперь читалось в белом, как полотно, постаревшем лице его — тяжелее шапки Мономаха ложился на голову его белый клобук. И весь он заранее придавлен был этой ношей крестной. Это Антония заставила бы она ещё пуще распрямиться, ещё укрепиться в стоянии своём — он готов был к ней. А смиренный, кроткий, мягкий Тихон внутренне страшился такого бремени. И в день избрания своего сказал печально:

— Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: «плач и стон и горе», и каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую тяжелую годину... Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах Российских и предстоит умирание за них во вся дни.

На интронизации смотрел он ведомым на казнь. Казалось, что вся скорбь русской земли сосредоточилась в его запавших глазах. И было жаль его. И одна молитва была, чтобы укрепил Господь избранника своего, подал ему мужества и терпения, чтобы вынести данное...

Сама интронизация происходила в Успенском соборе Кремля. Знаменательное то было торжество... В захваченное богоборцами сердце России, оцепленное конной милицией, люди собирались с ночи. Пропуск осуществлялся только по билетам. Замёрзшие люди толпились у Боровицких ворот, за стеной слышались выстрелы, жутковато вспыхивали красные искры

бенгальских огней. Охрана развлекалась тем, что давила собравшихся крупами лошадей... Вот, голоса раздались:

— Пропустите митрополита Владимира! Дайте дорогу митрополиту!

Сколько достоинства было в этом высоком, сухом старце-аскете, председателе Собора, старейшем русском иерархе, переведённом в Киев за осуждение Распутина! Он шёл медленно, опираясь на посох, высоко держа голову — и никто не ведал, что через считанные недели ему суждено принять мученическую смерть от большевиков, которые растерзают владыку подле святых стен Киево-Печерской Лавры...

Всех собравшихся на интронизацию не вместила и сама Красная площадь. Запрудили они окрестные улицы. Сам же Успенский собор представлял собой пророческое зрелище: западная стена была пробита снарядом, и пугающе возвышалось распятие с обезрученным снарядом же Христом... На ту памятную службу собралась подлинная Святая Русь, которую смывало теперь с лица земли бурным потоком.

Позади всех, одевшись простой монахиней, сокрылась от лишних взглядов среди молящихся Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. В последний раз видел Аристарх Платонович её ангельский лик на этой службе. И сколько же ещё было на ней тех, кого видел он в последний раз!..

После интронизации Патриарх вышел на Красную площадь к народу, встретившему его ликованием, благословил и верующих, и солдат. Те, как ни отравлены были атеизмом, а погасили сигарки, шапки сняли. Всё же были эти молодцы ещё русскими людьми, ещё не угасившими окончательно искру в себе...

Лишь какая-то бесноватая с растрёпанными волосами выскочила из толпы и с хохотом прокричала, дрожа от ненависти:

— Недолго, недолго вам радоваться! Убьют, убьют вашего Патриарха!

Святейший горестно покачал головой. Пожалел мучимую демоном душу... И снова необъятная скорбь сквозила в его мягком лице. По силам ли будет ему лёгшая на плечи неподъёмная кладь? В нынешних трясениях устоять — сколько силы и выдержки нужно! Сквозь огонь, по бритвенному лезвию идти и за собой всю Церковь Русскую вести — сколько мудрости и осторожности требуется! Кроткий пастырь — как же выстоять ему среди щерящих клыки волков? Да ещё и вверенное стадо уберечь?

Сомневался и архиепископ Феодор. Не собственно в Тихоне, коего чтит, но в том, что способен будет патриарх твёрдо блюсти церковные интересы под игом установившейся антихристовой власти. Ясно, как Божий день, что давление на Церковь будет страшным. И способы этого давления — изошрёнными. И обращено оно будет, в первую очередь, на главу Церкви. Чтобы его заставить отступить. Многим ли тут выдюжить? Стало быть, начнутся неизбежные компромиссы... Сам владыка никаких компромиссов с сатанистами в лице большевиков не допускал, считая, что должно скорее принять мученичество, нежели хоть чем-то поступиться в этой брани, в которой попросту не может быть малостей, не может быть ничего малозначимого. Потому предрекал он, что легальной Церкви уже совсем скоро немощно будет существовать, а, значит, надлежит явиться потаённым, катакомбным общинам. И к переходу на такое положение необходимо готовиться уже сейчас. Эта тема стала одной из ключевых на собраниях Даниловского общества, которые посещали многие видные деятели, как церковные, так и мирские. Сам Святейший одобрял деятельность общества и с глубочайшим уважением относился к владыке Феодору, нередко ища у него совета.

На смену кроткому Государю пришёл кроткий Патриарх... Значит, для чего-то нужно так? Нужно, чтобы во время, когда зло ярится, затопляя собой всё, на пути его стали не воины с мечами, а тихие праведники? Те что, *трости надломленной не переломят, и льна курящегося не угасят?* Почти две тысячи лет назад целая толпа явилась в Гефсиманский сад с оружием, чтобы взять одного Безоружного... «Паки убо вопроси их (Иисус): кого ищите? Они же реша: Иисуса Назореа. Отвеща Иисус: рех вам, яко Аз есмь: аще убо Мене ищите, оставите сих ити: да сбудется слово, еже рече, яко ихже дал еси Мне, не погубих от них ни когоже. Симон же Петр, имый нож, извлече его и удари архиереова раба и уреза ему ухо десное: бе же имя рабу Малх. Рече убо Иисус Петрови: вонзи нож в ножницу: чашу, юже даде Мне Отец, не имам ли пити ея? Спира же и тысящник и слуги Иудейстии яша Иисуса и связаша Его»¹⁴. Не здесь ли суть?..

Глава 11. Восстание обречённых

Ух. Ух. Ухала, не затихая ни на мгновение, тяжёлая большевистская артиллерия. Гудели аэропланы в задымлённом небе и, разверзая чрева, сеяли сотни страшной мощности бомб. Громыхали раскатисто взрывы. Как же бояться они должны, если против едва вооружённого отряда в сто человек, приросшего, правда, добровольцами, брошена такая невиданная силища! И что же за силища? Интернациональные части! Китайцы, мадьяры... А командует ими товарищ Ленцман. Эта-то пришлая нечисть стирала теперь с земли, обращала в прах и пепел прекрасный русский город. Город славы русской. Жемчужину России. Ярославль...

Снова прогудел тревожно аэроплан, и через считанные мгновения громopodobные взрывы раздались, и чёрный дым повалил, и яркое пламя заплясало над руинами. Что там ещё с землёй сравняли? Что полыхает так?

— Никита Романыч! Это же лицей горит!

Да-да... Лицей... А с ним сколько домов ещё? Церквей? Совсем не ко времени взгрустнулось, что так и не успел до войны осмотреть ярославские красоты. Только мельком и видел их, когда приезжал гостить к Родьке Аскольдову. А теперь, вот, не приведётся уже повидать. И ладно бы самому. Так ведь и потомкам не придётся. Потому что их не будет. Ничего не оставят от них большевики, выжгут дотла в страхе перед горсткой отчаянных, с которыми эти трусливые крысы боятся встретиться в бою, зная точно, что окажутся разгромлены. Боятся, а потому просто уничтожают с воздуха. За всю войну не видел капитан Громушкин ничего похожего. Это был какой-то новый,

запредельный по своей ненависти ко всему живому вид войны, в которой доблесть и отвага уже не играли никакой роли. Будь ты хоть стократ отважен, но что ты сделаешь, если твой враг недосыгаем для тебя, а огонь испепеляет тебя сверху?

Пожалуй, не дрогнули бы «товарищи» и Кремль смести с лица земли в ноябре. Ведь прямой наводкой били по нему, и немало досталось святыне русской. Только оборонявшиеся святыню свою пожалели, сложив оружие. Кто-то затем, как поручик Митропольский¹⁵, смог уехать в Сибирь. Других большевики расстреляли. А Никита несколько месяцев скрывался в Москве, не рискуя объявиться у матери. Ещё и недолеченное ранение, которое и вернуло его с фронта домой, дало себя знать. Слава Богу, немало сердобольных знакомых было — давали приют, не убоившись новой власти. Хватило времени отлежаться. А только надо было решать, как дальше быть.

Жизнь в Москве становилась тяжелее с каждым днём. Цены выросли в десятки раз, продуктов и товаров первой необходимости отчаянно не хватало, стремительно разрушалась вся система жизнеобеспечения, обратившаяся усилиями «товарищей» в систему смертообеспечения. Москва стремительно погружалась в средневековье, забывая такие достижения цивилизации, как отопление, горячая вода, свет, продукты на прилавках и собственных столах, доставка почты, уборка мусора... Прежде ужасались народолюбцы Хитровке. Ужасались, но и носов не казали туда, предоставляя это «сатрапам» в лице Великой Княгини, не гнушавшейся лично в одиночку ходить по ночлежкам, ища спасти из когтей разврата детей, для коих создан был ею приют. Товарищ Горький пьеску сочинил. «На дне». Вот, мол, до чего довёл бывших людей проклятый царизм! В

сущности, сколько было таких людей при «проклятом»? Ночлежек таких? А эти в считанные недели всю страну в ночлежку обратили! В Хитровку размером с одну шестую часть суши. Хотя, пожалуй, Хитровка более приличным местом была. В ней хоть ЧеКи не было...

Мыкался Никита неприкаянно, ища куда приткнуться себя. Работы бывшему офицеру не находилось. А как выживать тогда? Думалось, пробираться на Дон или в Сибирь. Но тут узналось, что в Москве действует подполье, вербующее верных офицеров для борьбы с ненавистным гнётом. А во главе дела — полковник Перхуров! Под его началом Никита в Шестнадцатом служил на Румынском фронте в составе 3-го стрелкового артиллерийского дивизиона. В феврале Семнадцатого перевели его на другую должность, а дальше ничего не слышал о нём Громушкин. А он, стало быть, в Москве? Он, стало быть, верных собирает? Ну, так к чему тогда Дон и Сибирь? Прямая же дорога к командиру бывшему!

Тайный штаб организации располагался в Молочном переулке в частной квартире, где для виду была открыта амбулатория для больных. Квартира насчитывала семь комнат, не считая прихожей, уборной и кухни. Две из них были отведены под кабинет доктора и смотровую, куда препровождались настоящие больные, приходившие на приём. Остальные помещения занимал штаб.

Квартиру, разрешение прийти на которую было получено через одного из офицеров, Никита нашёл без труда. После первого же звонка дверь ему открыл амбулаторный служитель из бывших солдат. Громушкин, впрочем, знал уже, что никакой это не солдат, а законспирированный капитан Клементьев. Последний с порога задал контрольный вопрос-пароль:

— Вы к доктору?

— Да, меня прислал доктор Петров.

— Вам прописали массаж?

— Нет, электризацию.

Клементьев кивнул и, впустив Никиту в прихожую, кивнул на правую дверь:

— Проходите туда.

Громушкин прошёл в указанную комнату и тотчас встретился взглядом с недавним своим командиром. Тот сидел за большим столом, исподлобья всматривался глубоко посаженными глазами в нового посетителя. Никита отдал честь, отчеканил тихо:

— Здравия желаю, господин полковник!

— Ба, знакомое лицо! — Перхуров поднялся. — Поручик Громушкин, если не ошибаюсь?

— Капитан, Александр Петрович, — чуть улыбнулся Никита.

— Мои поздравления в таком случае, — полковник крепко пожал ему руку. — Рад встретить боевого товарища! И рад, что мы по одну сторону фронта в новой войне.

Полковник Перхуров прибыл в Москву недавно. В декабре он вышел в отставку и отправился к семье, проживавшей в Екатеринославской губернии. Семью он нашёл в положении беженском: больная жена, дочь, лишившаяся работы из-за отца-офицера, и малолетний сын ютились в единственной комнате без всяких средств к существованию... Надеясь найти какой-нибудь заработок, Александр Петрович отправился в Москву, где, как он слышал, существовали некие рабочие артели для бывших офицеров. Увы, никаких артелей или иной работы полковнику найти не удалось. А удалось найти — Дело...

И всё бы хорошо, если бы не личность, во главе дела стоявшая. Борис Викторович Савинков. Террорист. Предатель Корнилова. Подручный Керенского. А теперь — глава Союза защиты Родины и Свободы?.. Союза офицеров?.. А какое касательство этот бес-перевёртыш

вообще имеет к офицерству? И к Родине? Этого Никита не мог понять. Правда, Перхуров говорил, что Савинков весьма умный человек, очень здраво смотрящий на вещи и любящий Россию. Но отчего-то никак не удавалось Громушкину заподозрить каина и иуду в одном лице в любви к Отечеству.

Но да чёрт с ним. О том ли рассуждать? Да и не по чину, в сущности. Командует Перхуров, а он не продаст.

Весной определились с направлением боевых действий. Волжские города. Освободить их и двигаться к Архангельску, где французы высадят свой десант в помощь и куда доставят необходимое вооружение. Собственно, они-то и ставили условием это направление. А иначе отказывали в помощи.

С Волги добрые вести приходили. Росло там недовольство большевиками. А в ряде городов тоже подполье действовало. И многие члены организации рвались в бой, торопя начальство с выступлением. А Перхуров медлил, не соблазняясь оптимистичными донесениями. Таковых особенно много из Ярославля шло. Туда-то и направил Савинков Александра Петровича для выяснения положения.

Никита сопровождал полковника в этой командировке. Ситуация в городе оказалась столь запутанной (штабов сил сопротивления два, а сколько всего сил наличных никто не знал), что ездить пришлось дважды и, наконец, остаться там, дабы наладить работу.

Ярославль казался очень удачным пунктом для начала восстания. С марта 1918 года здесь размещался штаб Ярославского военного округа, занимавшийся формированием полков Красной армии на огромной территории между двумя столичными губерниями. Это позволяло многим офицерам легально прибывать в город, а при начале восстания сразу же дезорганизовывало управление войсками на большой

территории, подконтрольной большевикам. Да и как будто бы сама история благоволила выбору. Разве не Ярославль три века с лишком назад был столицей второго Ополчения Минина и Пожарского? Разве не отсюда оно, пополнившись добровольцами, выступило на Москву и разгромило интервентов? Этот пример немало вдохновлял.

Завертелась работа спешная. Подгонял из Москвы Савинков, давая на организацию восстания жалкие десять дней. Десять дней! Это притом, что не ведал Александр Петрович города, впервые попав в него. Да к тому ещё и жить оказывалось негде: в гостинице долее трёх дней задерживаться не разрешалось. А ещё и конспирацию соблюсти необходимо!

Раз предложил ночлег под своим кровом один из офицеров. Поручик Трифонов. Недавно женившийся и, вероятно, оттого выглядевший неизменно счастливым даже в столь трудных обстоятельствах.

Трифонов жил с престарелой матерью, беременной женой, сестрой и братом-лицеистом в трёх небольших комнатках, не считая чулана и кухни. К тому ещё приехала погостить подруга детских лет жены. Едва увидев последнюю, оторопел Никита. Нет, это уже не девчушка-попрыгунья со смешливым, веснушчатым личиком была! А барышня. Правда, всё такая же миниатюрная, совсем кроха рядом с рослым Громушкиным. И немного угловатая. А всё же не ребёнок уже. И лицо посерьёзнело. Хотя те же смешные конопушки роились на нём, ничуть не портя. И так же задорно спадала на лоб густая чёлка каштановых волос.

— Варвара Николавна, неужто вы?..

Просияло лицо в ответ. И словно волной качнуло её к нему, словно, как в детские годы, хотела она броситься к нему и обнять. Но удержалась, соблюдая приличия.

— Как же я рада вам, Никита Романыч!

— Так вы знакомы? — обрадовался Трифонов. — Как же мир тесен! Кто бы мог подумать!

За ужином Громушкин едва чувствовал вкус еды, хотя изрядно проголодался. И отвечал невпопад, особенно страдая от любопытных вопросов лицеиста, с горящим взором рвавшегося на войну. Ему хотелось каким-нибудь чудом остаться наедине с Варей, хоть несколькими словами переброситься с нею без сторонних ушей. Из застольной беседы узнал он лишь общее: что Родька где-то воюет, что Ляля с Жоржем в Москве и скорбное — что преставился скоропостижно Николай Кириллович. Именно после его кончины решила Варя проведать давно звавшую её подругу — развеяться...

— Никита Романыч, а хотите я вам последнее письмо Роды покажу?

Предлог был наивный, придуманный наскоро. Но до чайных ли церемоний здесь, когда всякий миг на счету? Вышли с нею в комнату вдвоём.

— Какое же письмо, Варвара Николаевна?

— Увы, мне он ни одного не прислал. Разве дождёшься от моего братца? И от вас... Хоть бы словечко прислали когда! А ведь обещались в Москве с ледяных гор покатать, — Варя чуть улыбнулась. — Мне потом целый год эти ваши горы снились! Высокие-высокие, белые, словно сахарные, каких у нас в Глинском не бывает.

— Слово офицера, мы с вами ещё покатаемся с таких гор!

— Когда закончится война? — грустно спросила Варя.

— Она недолго продлится... И тогда мы с вами поедем в Москву...

— На белом коне...

— Что?

— Ничего, представилось... Белый конь, вы, я... И Москва, в которую мы въезжаем с победой. Не смейтесь, пожалуйста! Я ведь не ребёнок уже...

— Вы ребёнок, Варинька. И самый очаровательный. Варвара Николавна помолчала.

— А мои письма вы не хотите почитать?

— Ваши?

— Я ведь вам, Никита Романыч, писала. Только не знала, куда отправлять... Правда, увы, и этих писем вы не сможете прочесть. Потому что я их сожгла.

— Зачем же сожгли?

— Так... Рассердилась...

— Неужели на меня?

— Что вы! Всего лишь на себя...

Никита плотно притворил дверь и вплотную приблизился к Варе, произнёс взволнованно, крепко сжав её руку в обеих ладонях:

— Варвара Николавна, я вам сейчас скажу одну вещь. Я не должен был бы её говорить теперь, так наспех, вдруг. Но мы на войне, а она диктует свои правила, заставляя дорожить всякой секундой. Мне продолжать?

— Разумеется! Раз вы начали...

В её расширившихся глазах не было испуга. Но рука едва заметно подрагивала. И подрагивал по-детски мягкий, чуть приоткрытый рот.

— Варинька, если наша авантюра не потерпит крах, если я останусь жив, если не случится чего-либо ещё, то согласитесь ли вы стать моей женой?

Рука дрогнула сильнее и стала горячеей.

— Зачем столько «если», Никита Романыч? Я согласна стать вашей женой. Хоть сейчас... Какое имеет значение война и всё прочее? Ведь это лишь внешнее...

— Я люблю вас, Варинька. И я хочу, чтобы вы знали это...

С какой детской открытостью и искренностью ответила она! Ни малейшего кокетства, жеманства. Чистый ребёнок! Но и какая решимость и сколько неподдельного чувства во взгляде, в голосе!.. И почему только так обидно мало времени было отведено? Хотя грех роптать. Так неожиданно даровал Бог встречу. И позволил главному сказанным быть.

А на другой день назначили дату восстания. Шестое июля. Назначили, несмотря на то, что не подготовлены были ещё схожие выступления в Рыбинске и Муроме, что силы, на которые можно было рассчитывать в самом Ярославле, не достигали двухсот человек. Назначили, потому что добровольцы горели желанием действовать, грозя уйти в Рыбинск, если выступление отложится. Потому что прошёл слух, что в город могут перебросить дополнительные советские части. И потому что торопил из Москвы Савинков, заверявший, что не пройдёт и четырёх дней с начала восстания, как «союзники» пришлют помощь людьми и оружием.

Местом встречи определили Леонтьевское кладбище, куда, плутая меж могил, начали после полуночи стягиваться верные. Пересчитали их в темноте по головам без переклички. Сто шесть человек... Всего-навсего. Остальные забоялись идти. Впрочем, накануне лишь семьдесят пришло. Прогресс налицо! Когда бы ещё с оружием пришли... Так нет! Всё вооружение — двенадцать револьверов! Ахнул полковник:

— Почему ни одной винтовки не взяли?!

— Не было приказа...

Помилуй Бог! Да какие ж ещё приказания тут?.. Хрустнул зубами Александр Петрович:

— Господа, пока ещё дело не начато и пути назад не отрезаны, предлагаю всем желающим уйти домой!

Зароптали из мрака недовольно:

— Снова назад?! Да до каких же пор?!

— Если командиры не решаются вести нас, то у нас есть другой путь — в Рыбинск!

— Уж не измена ли это?

— Никуда не пойдём!

— Тише! — пресёк Перхуров нарастающий рокот голосов. — Не на митинге! Понабрались, чёрт, все со времён товарища Керенского комитетских нравов! — он резко повернулся к пожилому грузному начштаба. — Выступаем немедленно. Вам же, однако, приказываю вернуться домой. Здесь вы не помощник, а в случае неудачи мы не можем рисковать сразу всем руководством организации. Возвращайтесь домой.

— Но Александр Петрович!.. — старый генерал промокнул лоб платком.

— Это приказ...

Начштаба понуро опустил голову, побрёл мимо могил, спотыкаясь. Верно рассудил Перхуров. Зачем было рисковать старику в столь мало имеющем шансы на успех деле?

— Итак, решено, господа. Вперёд!

Перерезали пути обратные. Не развернёшь теперь. Решили действовать и с таким скудным арсеналом. Благо неподалёку — склад с вооружением. Всего несколько часовых охраняет его. Ну, так с него и начать? Из темноты покатали волной к цели. Напористо, скоро, чтобы не дать опомниться часовым. Под покровом ночи совсем близко подойти успели, пока часовой насторожился:

— Кто идёт?

Нарочито весёлым голосом Никита отозвался за всех:

— Свой! Не вздумай, чудака, стрелять. Своих побьёшь!

Замялся часовой, спросил снова, чувствуя неладное:

— Да кто такие?..

— Говорят тебе — свои!

— Своих не узнаёшь! — подхватил и Трифонов.

И вот так, заговаривая зубы, вплотную подошли. Револьверы наготове. Отвесил Никита ледяным тоном, над часовыми нависнув:

— Мы повстанцы. Кладите винтовки и не бойтесь. Никто вас не тронет.

Часовые, молодые парни, по виду, из деревенских, послушно положили винтовки. Склады были отперты, и повстанцы начали разбирать оружие. В то же время специальная группа перерезала телефонные провода в город. Восстание начиналось успешно...

Благодаря добыче, удалось ликвидировать пробел с вооружением. Разжились даже артиллерией в количестве двух орудий. Также прибыл на подмогу броневой дивизион. На складе оставили охрану при двух грузовиках с приказом не ввязываться в бой, если дело примет серьёзный оборот, и сразу отправляться в город.

Снова выстроив вооружившихся и прибодрившихся людей, Перхуров предложил:

— Итак, господа? Куда теперь? На Рыбинск соединяться с нашими или освобождать Ярославль?

— Ярославль! — был единодушный ответ.

В молочной предрассветной дымке выдвинулись в безмятежно спящий город. Никто ещё не поднял тревогу. Не подозревали «товарищи», какая неожиданность уже спешила по их души.

Дорогой встретили отряд конной милиции. Оказались — свои люди, сразу поддержавшие восставших. Знать, и впрямь до колёк доняла всех «народная власть»! Ну, теперь и с нею повидаться пора настала. Заранее размечено было, кому куда выдвигаться. Один отряд в губернаторский дом. Другой — в гостиницу Кокуева, где размещались делегаты проходившего в эти дни большевистского съезда. Ещё один отряд вместе с Перхуровым отправился в

гимназию Корсунской, которую Александр Петрович наметил для штаба.

И второй этап восстания Ста глаже некуда прошёл. Уже и верить начиналось (чем чёрт не шутит?) в успех. Были расстреляны при аресте на своих квартирах председатель исполкома Закгейм и комиссар Ярославского военного округа Нахимсон. О захваченных же делегатах съезда решено было сперва донести полковнику. Александр Петрович расположился в сенях гимназии, уже изрядно запруженных народом. Ключей от других помещений не было, а ломать двери казалось делом неблагородным. Узнав о расправе над большевиками, Перхуров рассердился:

— Чтоб подобного больше не повторялось! Это приказ! Никаких бессудных расправ больше!

— А с комиссарами что делать? — спросил Трифонов, стряхивая пылинку с погона — уже надел их, не удовольствуясь трёхцветными нарукавными повязками, отличающих восставших. — Их там больше, чем у нас в отряде народа! И одни жи...

— Никаких бессудных расправ, повторяю! Посадите их на баржу и отгоните её на середину реки... Воду и хлеб пусть им доставляют на лодке.

— А может лучше эту баржу...

— Это приказ!

— Слушаюсь, господин полковник! — Трифонов, недовольный, вышел, щёлкнув каблуком. Никита расслышал его ворчание: — Мало нам балласта! Цацкайся с мерзавцами, корми их вместо того, чтобы ими рыб кормить...

— А ведь они бы нас не пощадили, Александр Петрович, — заметил Никита.

— Поэтому мы не они, — прозвучал резонный ответ. — А теперь едемте в Спасское. Нас ждёт владыка митрополит.

И то сказать — отправив на дно баржу с сотней человек, как на глаза владыке показаться? Мы не они, ибо над нами не ревтрибунал, а единый Судия стоит...

Город преобразался на глазах. Люди запрудили улицы, поздравляли друг друга, христосовались, как на Пасху.

— Когда бы они с таким же рвением сражались за свою свободу, как теперь поздравляют друг друга с ней, большевиков бы и помину не было, — заметил Перхуров, покручивая жёсткий ус.

— Что вы хотите, Александр Петрович? Обыватели! Они перенесут самую тяжкую тиранию, но не решатся сражаться с нею. О том, что погибнуть лучше стоя, знают лишь воины.

Митрополит Агафангел принял полковника в своей резиденции и благословил на дальнейшую борьбу. В честь восставших была отслужена торжественная литургия. Александр Петрович не смог долго быть на ней — дела требовали его присутствия. И сам он спешил, понимая, что в сложившейся ситуации каждая секунда на вес золота.

Повсюду уже расклеено было его воззвание к народу. А также воззвание воссозданной им городской управы. «Единая, собранная, сплочённая национальной идеей Россия должна выйти победительницей в начавшемся разгаре борьбы, — говорилось в последнем. — Перст истории указал на наш город и нужно верить, что Бог спасёт нашу Родину в тяжёлую настоящую годину. Воспрянь же Русь, и крикни клич и принеси ещё жертву для освобождения. Нужно твёрдо помнить и отчётливо знать, что выход только в победе, мужестве и самоотвержении. Твёрдо решившись отстоять своё благополучие, нужно собрать все свои душевные и телесные силы и довести дело до конца, не предаваясь малодушию и унынию...». Перхуров восстановил упразднённые большевиками институты

власти и заявил о непризнании Брест-Литовского мира, фактически объявив город в состоянии войны с Германией, полторы тысячи пленных которой ещё находились в Ярославле.

Между тем, развитие успешно начатой операции требовало дальнейших действий. А для них, в свою очередь, нужны были люди и оружие. Здесь-то и началось непредвиденное. Людей явно не хватало. Если офицеры, включая советских военспецов, милиция, лицеисты и кое-кто из наиболее активных горожан пополнили ряды сражающейся армии, то рабочие, посоветовавшись, сочли за благо сохранять нейтралитет. А явившиеся с окрестностей крестьяне лишь просили оружия, чтобы оборонять от большевиков свои деревни. Однако защищать Ярославль в их планы не входило. А ведь именно на крестьян возлагались полковником большие надежды!

— Дурачьё! — гневно восклицал он. — Думают, что смогут в одиночку оборонять свои норы, получив оружие? Только о своём базу пекутся, куркули...

Не дали оружия мужикам. Самим не доставало его. Так и ушли те несолоно хлебав.

А «союзники» подмоги так и не слали. Напрасно Борис Викторович клялся и божился. Хотя какая вера словам иуды?

И самое худшее, не ладилась дела в Рыбинске и Муроме. Не продумали, не подготовили достаточно восстания там, и те захлёбывались.

А Ярославль уже зажимали красные в тиски. Всё ожесточённее бои становились. На пятый день восстания в коридоре гимназии Никиту окликнули. Оглянувшись, он увидел стремительно приближавшихся к нему двух подростков. Пригляделся и ахнул. Один — Трифонов-младший! Лицеист. Илюша, кажется? А за ним... За ним... Дыхание перехватило от неожиданности.

— Варвара Николавна, зачем вы здесь?!

Мужское платье на ней. Заметно великоватое для такой невелички. Кепка, под которой волосы надёжно упрятаны. Как есть мальчонка-подросток!

— Вы с ума сошли! Немедленно уходите домой оба!

— Некуда нам идти, — ответил Илюша. — У нас дом разрушило...

— Как так? — опешил Никита.

— Бомбой, — пояснил лицеист. — Полдома — как не бывало. У нас правда лишь стена обрушилась. Мамаша и остальные перебрались к друзьям. На окраины. Там спокойнее, не бомбят. А мы сбежали. Я Мишку искал, а никто не знает, где он. Вы не знаете?

— Нет, не знаю... — отозвался Громушкин. И солгал. Он прекрасно знал, что ещё накануне поручик Трифонов был смертельно ранен в бою. Но почему-то не повернулся язык сказать теперь об этом мальчугану. Повернулся к Варе:

— Варвара Николавна! Ну, его я ещё понимаю! Но вы! Взрослая девушка и...

— Простите, Никита Романыч, но я иначе не могла, — ответила Варя. — Не могла уехать на какую-то окраину, зная, что вы здесь... Не повидавшись... И потом я тоже имею право воевать!

— Только вас здесь не доставало! — вспыхнул Никита. — Война — это не игра! Неужели вы не понимаете?

— Хорошо! — вспыхнула Варя. — Я уйду, коли вы так!

Громушкин поспешно ухватил её за руку, ловя на себе любопытствующие взгляды проходящих и пробежавших мимо:

— Никуда вы не уйдёте. Кругом война. Кое-где на окраинах уже большевики. Идёмте со мной!

— Куда?

— В надёжное место. Поймите, я не могу допустить, чтобы вы сейчас были рядом со мной. Я должен думать о сражении, о подчинённых, а не о том, чтобы с вами не дай Бог что-нибудь не случилось! Если вы хотите помочь, то умоляю послушаться меня.

По поручению Перхурова Никита направлялся в расположенный за Волгой Толгский монастырь, ставший одной из ключевых баз восставших. Именно за его крепкими стенами решил он на время укрыть Варю. Конечно, давно минули те легендарные времена, когда монастыри были надёжной защитой для беглецов и беглянок, но и лучшей не найти, увы. По крайней мере, в отличие от Спасо-Преображенского, Казанского и иных монастырей, имеющих несчастье находиться в центре города, на него не падают бомбы.

Более шестисот лет возвышалась белокаменная обитель на левом берегу Волги, и стекались в неё паломники — поклониться явленной иконе Толгской Богородицы. А теперь ждали монахи разгрома. Провалится восстание, придут «товарищи» — и хуже татарского иго настанет.

В монастыре в роковые для города дни также не было тишины и покоя. Лишь вековые кедры и печальные лики икон сохраняли безмятежность, возвышаясь над суетою сего мира, над переменчивыми его волнами.

— Я вернусь за вами, Варвара Николавна. Что бы ни было, вернусь. Верьте мне!

— Я... верю! — блеснули слёзы в прежде весёлых, задорных глазах. И не удержалась Варя на сей раз. Всё-таки подалась рывком к нему и обхватила горячими руками за шею: — Я вас всегда-всегда ждать буду!

Оставив её на попечение монахов и исполнив поручение командира, Никита заспешил обратно. И внезапно обнаружил, что лицеист Илюша следует за ним по пятам.

— А вы, юноша, куда это собрались?

— А я не девчонка, чтобы вас слушаться, — гордо ответил мальчуган. — Я в добровольцы записаться хочу.

— Доброволец... А службу начинаешь с пререкания со старшими по званию, — усмехнулся Никита. — Идём уж. Будешь в моём распоряжении.

— Слушаюсь, господин капитан! — сразу просиял Илюша.

И что было делать с ним? Сражаться за Отечество, как брат — не святое ли желание? И мало ли таких как он мальчишек с первых часов наводнили гимназию, записываясь в армию? Это не обыватели окостеневшие и трясущиеся над своим добром. Чистые, звонкие мальчишки, живущие идеалами. Но не мальчик ли Давид Голиафа сокрушил? Нельзя препятствовать проявлению лучшего в юных сердцах, иначе они оледенеют, до срока утратив идеалы.

Оставил мальчонку при себе. В военном деле ноль проку с него. Но шустёр, ловок. Да и всё спокойнее, чтобы под доглядом был. В последующие угарные дни доказал младший Трифонов, что к воинскому делу способен. Особенно, когда изловчался под ураганным обстрелом добираться до реки и приносить воду, которой город лишился после того, как большевики разбомбили водокачку. Теперь жадно пили мучимые жаждой люди добытую с риском для жизни волжскую воду, не смущаясь нефтяными разливами.

— Лицей горит! — Илюша расширившимися глазами смотрел на пугающее зарево.

Одно из старейших учебных заведений России... Демидовский лицей! Из стен которого вышло немало учёных, литераторов, государственных деятелей. Выпестовавший среди прочих философа Леонтьева и поэта Бальмонта. Лицей, обладающий знаменитой на всю Россию библиотекой... Да разве один лицей гиб теперь в бушевавшей в городе огненной стихии?

Фабрики, заводы, сотни, если не тысячи домов, торговые ряды, церкви... На иных улицах вместо домов — дымящиеся каменные руины с печными трубами. Тушить пожары не было возможности. Ещё первыми ударами своими большевики уничтожили пожарную службу.

Никите припомнилось, как несколько недель тому назад, приставая на рассвете к городу, он восхищённо созерцал с палубы открывшуюся взору красоту. Белый город! Белые дома, белые башенки, белые церкви и высокие колокольни с сияющими куполами... Словно игрушка, выделанная искусным мастером из перламутрового фарфора. Или из сахара... Чудо русского зодчества. И вот так нещадно, так ненавистно истребляли его.

От бесконечного грохота заложило уши. Щипало в глазах от едкого дыма. А земля дрожала под ногами. Люди попрятались в подвалах, лишь изредка отваживаясь выбраться в поисках воды и пропитания. Крестьяне из тех, что всё-таки не остались охранять свои дворы, оставили фронт, открыв его противнику. Им нашептали, будто бы большевики жгут их деревни... Обратно было ринулись потом, обнаружив обман, а уже стали заслоном на пути — красные. Провалилось и Рыбинское восстание. И «союзники» так и не прислали помощи, верные своему лицемерию. Оружие подходило к концу. Силы таяли с каждым часом. Восстание обречённых шло к своему завершению. И можно было удивляться лишь тому, что так долго продолжается сопротивление в столь неравных условиях. Целых две недели длилась эта смертельная схватка, две недели выстаивал под огнём ставший цитаделью древний город. Но, увы, даже самое великое мужество не сможет одолеть такого арифметически безапелляционного понятия, как соотношение сил.

На четырнадцатый день боёв, понимая безнадёжность положение, Перхуров собрал совещание. Он настаивал на том, что во имя сохранения людей необходимо покинуть Ярославль, пока ещё не все пути отрезаны, и двигаться по Волге на соединение с Народной армией. Но коренные ярославцы уходить отказывались. Предводительствуемые генералом Карповым, они приняли решение сражаться до конца. Высок был подвиг остающихся на верную смерть, но какова и кому была польза в нём? Разве не лучше ли было для России, чтобы они остались живы и продолжили борьбу в ином краю?

Лишь пятьдесят человек последовали за Перхуровым. Его план был — выбраться из города и, ударив в тыл красным, освободить из их тисков Заволжскую бригаду полковника Гоппера, по соединении с которой развивать дальше совместные действия.

Прорыв решено было осуществлять по Волге на быстроходном пароходе. На него заранее погрузили запас продовольствия, медикаментов и оружия. Людей укрыли в трюме. Сам Александр Петрович остался на палубе, лёжа на ней, дабы не стать мишенью для пуль. Весь расчёт операции по выведению отряда из бутылки полковник построил на прикрытии ночной темнотой. Именно она помогла пароходу проскочить в самом опасном месте — в идеально пристрелянном красными фарватере, под мостом, на котором уже стояли большевистские караулы.

Поднявшись выше Толгского монастыря, судно причалило к берегу. Оставив на борту небольшую команду с пулемётом, Перхуров вместе с остальным отрядом направился в близлежащую деревню. Утро уже было в разгаре, и большинство крестьян работало в поле. Из-за этого сход удалось собрать лишь к полудню. Мужики мялись, объясняя, что не могут выделить

большого числа людей в помощь без решения схода волостного, собрать который невозможно ранее, чем на другой день.

Что было делать? Всё то же. Обходиться наличными силами... И спешить, не мешкая, на выручку к Гопперу. Решили перевезти оружие с парохода в деревню, но мужики, опасаясь обысков, попросили спрятать его в лесу, откуда они по решению схода разберут его на следующий день. За подводами для перевозки пришлось ехать в монастырь. Вызвался Никита с мужиками съездить. Уже ясно понимал он, что в Ярославль назад дороги нет, а, значит, во что бы то ни стало, нужно было забрать из обители Варю.

А она — ждала. Бросилась навстречу, едва завидев. Всё то же мужское платье с кепкой были на ней — так и не переоделась в женское. И кстати же! Поднял Никита остерегающе руку, чтобы эмоциональный её порыв остановить, шепнул, приблизившись:

— Запомните, вы... Лицейский друг Илюши. Я оставил вас здесь в прошлый раз по слабости вашего здоровья. А теперь не смог отказать... Вы всё поняли?

— Слушаюсь, господин капитан, — Варя неумело приставила руку к кепке, едва сдерживая улыбку. Чистый ребёнок... В тартарары всё летит, того гляди последний бой принимать придётся, а она счастьем сияет — потому что он её не оставил. Потому что теперь она будет с ним.

— Варвара Николавна, мы ведь сами не знаем, куда идём. И что нас ждёт впереди...

— Мне всё равно, что... Лишь бы с вами...

Хотелось обнять её, расцеловать, но кругом были люди. Никак нельзя выдать себя. Лишь едва заметно пожал кончики её пальцев:

— Тогда едемте!

Вернувшись в отряд, Никита поручил Варю присмотру Илюши, уже неплохо освоившегося в

военных буднях. К счастью, Варвара Николавна отличалась завидной крепостью и прытью, благодаря чему ей нетрудно было сойти за мальчика. Никаких подозрений её появление в отряде не вызвало. А раскройся всё, так уж не избежать выговоров! И от полковника — всех прежде. Только баб и не хватало, сказал бы. И ведь прав бы был. Самое время личными делами заниматься...

С перевозкой и прятаньем оружия провозились долго. А ведь Заволжскому участку всего сутки наказано было продержаться! Не успевали к сроку, как ни спешили. А ещё дорога лежала через лес и, плутая впотьмах, уклонились изрядно от курса. Утекали драгоценные часы, как вода сквозь сито. А совсем рядом ждала, отчаянно сопротивляясь, подмоги бригада Гоппера.

От усталости люди едва переставляли ноги, а приходилось продирается сквозь чащобу, по бездорожью, а то и по болотам. Послышались голоса, что надо было оставаться в Ярославле. Иные и просто предлагали вернуться. Осадил полковник малодушных:

— Не время предаваться унынию, господа! На Заволжском участке бригада Гоппера ждёт нашей помощи! Мы не можем их подвести!

Наконец, к вечеру второго дня отряд приблизился к нужному пункту. Гробовая тишина царила здесь, и от неё стало не по себе. Ещё слышались залпы артиллерии и ружейная трескотня, но совсем издали. По-видимому, с правого берега. Посланные дозорные выяснили у крестьян соседней деревни, что белых на левом берегу больше нет, вся территория занята красными. Заволжская бригада помощи не дождалась...

А на другой день стрельба затихла окончательно, и стало известно, что город пал. Вдалеке огневели устремлённые к солнцу кресты и купола, и безмятежная Волга отражала белоснежные стены... Но над всем этим

нависло траурным покровом чёрное облако густого дыма от бесчисленных пожаров. И страшно было подумать, что там вершится теперь расправа. Что среди дыма и пепла, на руинах древнего града полчища новых монгол казнят его защитников, его самых верных сыновей, не пожелавших покинуть его даже перед лицом смерти.

Глава 12. Пепелище

Сквозь сомкнутые лапы кряжистых елей с трудом пробивались нити солнечных лучей, сил которых не доставало, чтобы высушить прелый, душный воздух леса. Над болотами поднимались белёсые туманы, слышалось из-за их завесы странное урчание, чмокание. Где-то совсем рядом постукивал неутомимый дятел. А ещё пересвист разных птиц дополнял гамму лесного оркестра.

Лес! Кого только ни покрывал он своими могучими ветвями! Кто только ни искал убежища в нём, зная точно — лес не выдаст. Лес — свой. Родной. Русский. Он укроет от дождей и даст тепло, накормит и сбережёт от беды. Лес примет всякого, кто попросит его защиты, кто войдёт с любовью и почтением под своды его.

Варя никогда не боялась лесных чащоб. Не боялась заблудиться в них. Лес был её любовью, домом родным. Под покровом его неизменно покой и мир на душе водворялся. Вот и теперь, несмотря на все беды, то же.

А бед разве мало было в последнее время? Щедрое на них время пришло. Но и все бы нипочём были, если бы не одна, главная. Несколько недель назад скоропостижно скончался отец. Никто не ждал этого, ничто не предвещало несчастья. Отец был не из тех людей, кто показывает свои недомогания окружающим. Всё держал в себе, крепился до последнего. И в тот день роковой утром поднялся к завтраку, как обычно. А потом прошёл в свой кабинет, прилёг на кушетку и через некоторое время позвал к себе Варю...

Всегда-то она любимицей отцовской была. Радостью. Потому и позвал. Вначале говорил о малозначащем, а затем к главному перешёл:

— Сейчас времена тёмные идут. Тебе защита нужна будет. Сестра твоя уже глупость сделала... Но ты хоть её ошибки не повтори. Ищи Человека. Настоящего. Чёрт с ним, пусть он даже не нашего круга будет... Только не большевика! Христом Богом заклинаю тебя, Варвара! Если пойдёшь за большевика, если невенчанное жить станете, так ведь я и с того света прокляну.

— Папа! Что ты говоришь такое?

— Помолчи, дай закончить, — отец пошарил во внутреннем кармане шлафрока, достал из него связку ключей от бюро и, выбрав нужный, дал Варя: — Открой ящик. Снизу третий.

Варя послушно открыла. В ящике лежала старинная книга с большим количеством гравюр.

— Возьми её, — сказал отец. — И пусть она всегда будет у тебя. Когда соберёшься уезжать, даже ненадолго, бери её с собой.

— А что это за книга? — с любопытством спросила Варя.

— Эта книга, Варвара, стоит очень больших денег. Огромных. Гравюры, которые ты видишь, уникальны... Я ещё несколько лет назад предчувствовал, чем всё кончится. И немалую часть денег вложил в эту книгу. Варвар на неё и не посмотрит. Он ищет золота, драгоценностей, вещей... А ценитель выложит целое состояние. Поэтому береги её. Не разменивай на кусок хлеба или что-то ничтожное. Когда-нибудь она поможет тебе гораздо существеннее.

— Спасибо, — растерянно поблагодарила Варя. — Но почему... сейчас...

— Это твоё приданное и моё наследство тебе. Потом будет поздно... Иди, Варвара. Позови мать и остальных. Надо проститься.

Только тут Варя заметила, что отец необычайно бледен, а губы его приобрели синеватый оттенок.

— Мама! — она опрометью выбежала из кабинета. — Мама! Папе плохо!

Отец успел проститься со всеми, благословить всех, включая маленькую внучку, а с тем мирно отошёл, словно заснув... Остановилось сердце...

Варя была так потрясена кончиной отца, что всё время до похорон не могла произнести ни слова. Обеспокоенная мать настояла, чтобы она поехала в Ярославль погостить у давно звавшей её подруги. Не хотелось Варе уезжать из родного дома, но вняла настояниям. К тому же, в самом деле, Мусю навестить давно собиралась. Может, и впрямь развеяться удастся? Погостить недельки две, а там и домой...

Отцово наследство Варя, помня его завет, взяла с собой. И даже в суматохе восстания не забыла о нём. Сбегая «на фронт» вместе с Илюшей, ничего из вещей в ранец свой положить не успела, но книгу, тряпицей обёрнутую, взяла. И теперь она с нею была — в том же ранце, под голову вместо подушки подложенном.

Словно наперёд знал отец, что так будет. Что любимица его уедет из дома, что встретит Человека... И, вот, встретила! Того, кого и не чаяла уже. О котором столько детских слёз пролила тайком. Теперь спал он рядом после утомительного перехода накануне. От главного отряда отбились они, решив пробираться в Глинское. Третий день плутали втроём. А что-то в Ярославле теперь? С Мусей и её семьёй? И об Илюше они не знают ничегошеньки. Должно быть, сходят с ума. Да и Илюша, хоть и изображает боевитость, а о матери тревожится. Обещал ему Никита Романыч разузнать всё, когда страсти улягутся. Теперь-то в Ярославль не сунешься! Верная погибель.

С ветки на ветку перемахнула крупная белка. Уселась, грызя что-то, и любопытно поглядывая вниз. Варя улыбнулась ей, достала сухарик и, отломив маленький кусочек, протянула на ладони. Белка

некоторое время раздумывала, затем осторожно спустилась и, проворно ухватив угощение, снова метнулась вверх по стволу.

Будить своих спутников Варя пожалела. А самой невмоготу было дальше сидеть. Присмотрела невдалеке пару грибов, из-под мха выглядывавших. А не поискать ли ещё окрест? Вот бы и обед славный был! Только не увлечься и не удалиться от своих, чтоб не потеряться. Решила держаться узенькой тропинки, петляющей в малиннике. Совсем немного прошла по ней, попутно, как в детстве, лакомясь ягодой, как вдруг заметила, что солнце впереди особенно ярко светит, словно бы деревья расступаются. Здесь тропинка вверх пошла. Ещё чуть-чуть, и, действительно, расступился лес на взгорке. Открылась взору поросшая иван-чаем опушка, а за ней — овраг, над которым снова непреступный частокол леса.

Варя с наслаждением сняла кепку, распустив пышные волосы, подставила лицо жарким солнечным лучам, по которым успела соскучиться, прошла несколько шагов, окунувшись в цветочные заросли, доходившие ей до плеч, остановилась, любуясь порханием бабочек и стрекоз. Внезапно буквально в нескольких метрах от себя она увидела смотрящего на неё человека. Человек стоял посреди поляны, также утопая в цветах, и сжимал в руках ружьё, направленное на Варю.

Варя вскрикнула, обронив кепку, хотела бежать прочь, но, запутавшись в траве, замешкалась. А незнакомец, между тем, приближался. И вдруг окликнул её неожиданно знакомым голосом:

— Батюшка святы! Варвара Николавна, неужто вы?

Варя прищурилась, из-за солнца с трудом различая уже совсем близко подошедшего человека.

— Матвеич?..

Это и впрямь Матвейч был. Опустил ружьё, рассмеялся дребезжащим смехом:

— Ох, барышня! Слава Богу, что на меня угодили... А я вперёд присмотреться решил. Ведь мог за большевика принять и стрельнуть! Откуда вы здесь очутились?

— Из Ярославля бежим... С двумя друзьями. Домой. В Глинское.

— В Глинское? — Игнат нахмурился. — Вот уж куда не советовал бы.

Ёкнуло сердце:

— Почему так?

— В Глинском, барышня, большевики. Много.

— Да что же там произошло? Матвейч, миленький, ты толком расскажи! — взмолилась Варя.

— Дак что рассказывать? Доняла нас продразвёрстка, Варвара Николавна! Подлинно, спасу никакого не стало! Приехал, стало быть, очередной их отряд разбойный. Всё вверх дном перевернули! До последнего зёрнышка выгребли! Нескольких мужиков в заложники взяли. Кузьмича того ж. Сидят, гниль такая, водкой упиваются, с выродками нашими. Трёх баб снасилили! А к тому двух ребяток наших, что в армию их служить не пошли, постреляли. Матери их у комиссаров в ногах валялись — пощадить молили. Куда там! Вывели на окраину и убили мальчишек! Ну, видим мы, никак дальше разбоя их терпеть нельзя! Как ни крути, а всё пропадай! Сговорились да в ночь, когда они с перепоя спали, налетели. Солдатушек, что для охранения были оставлены, только разоружили и пустили прочь. А Ерёмку с двумя комиссарами на общем сходе судили и общим приговором повесили. Сёмка сбечь успел. Ну, власти, само собой, узнали. И другой отряд послали. Целую армию, почитай! Мы в леса и подались от греха. Партизанствовать...

— А в Глинском-то?.. В Глинском что?! Матвейч, что с мамой? Со всеми?

— Не знаю, Варвара Николавна, — Игнат понурил голову. — Мы спешно уходили. Когда уходили, они здоровы все были... Я, было, предложил вашей матушке уехать от греха, но она отказалась.

— А давно ли это было?

— Три дня тому.

— Так скорее же туда надо! — воскликнула Варя. — Выручать наших!

— Опасное дело, барышня...

— А я считаю, что Варвара Николавна права, — слышался сзади голос Никиты. Он стоял на краю леса, опираясь на внушительных размеров дубину.

— Мы спасём их, правда? — кинулась к нему Варя.

— Конечно, — Никита кивнул и испытующе взглянул на Игната. — Особенно, если мужики подмогнут.

Матвеич поскрёб в затылке:

— Ну, если вы, ваше благородие, сможете составить толковый план, чтобы не наугад головы в пасть совать, то и мы не подведём. Дело-то у нас общее.

Варя с надеждой взглянула на Никиту Романыча. Тот потрепал по плечу Илюшу:

— Ну что, мой юный адъютант, составим план?

— Так точно, господин капитан! — сразу загоревшись, воскликнул мальчик.

— Тогда веди нас, Игнат, к мужикам. Будем думать!

Матвеич провёл их в лагерь, где, как оказалось, хоронилось и немало баб с детьми.

— А куда их денешь? — вздохнул Игнат. — Многие-то по соседним уездам разбежались, у кого родня там. Да только и туда разбойники нагрянут. А кому совсем некуда тикать, с нами пошли. Не на расправу же оставлять...

С удивлением Варя поняла, что находятся они совсем рядом с Глинским. В том самом нехоженном лесу с «чёрными омутами», которыми деревенские издавна

стращали детей, и куда в детстве норовили добраться Родя с мальчишками. Колдовской лес, сказочный. А нестрашный совсем. Теперь не станут им детей стращать... Теперь куда страшнее явились страшилища.

Перво-наперво послали в Глинское лазутчиков — троих парней деревенских, мальчишек совсем. Юркие они, смышлёные. Там где взрослый втяпается, ускользнут, как угри. Хотел и Илюша с ними, да не дал Никита:

— Ты мест этих не знаешь, только другим мешать будешь.

Мальчишки вернулись к вечеру, принесли вести горькие: сожгли бандиты деревню в отместку за бунт. Всю дотла выжгли. И двинулись на окрестные — расправляться. А в доме барском штаб оборудовали. Засела в нём головка большевистская. Комиссар какой-то с карателями. Дознали разведчики, что бар не постреляли они, а держат их под замком на втором этаже. И Аглашу игнатову с ними.

Задумался Никита, стараясь припомнить как можно лучше расположение дома. Несколько раз подробно расспросил мальчишек, уточняя детали, заставляя вспомнить каждую мелочь.

А мужики — гудели. Хоть и понимали, что не пощадят «товарищи» их домов, а всё же тяжким ударом стало для них известие. Рвались многие немедленно в Глинское идти. И на выручку соседям (у кого-то же и семьи там).

Изнемогала и Варя в ожидании, но не смела Никиту торопить, он и сам спешил. Решено было баб с детьми, а с ними пару мужиков оставить в лагере. Остальным идти в Глинское. Потемну. Чтобы как можно ближе к цели подойти, не привлекая внимания. Первым делом взять в кольцо барский дом, но не шумя, чтобы не услышали красные. Затем Никите, Матвеичу и ещё двум отрядникам пробраться в дом. Оставшиеся снаружи

отвечают за часовых — ни одного выстрела, ни одного вскрика не должно прозвучать. Вошедшие внутрь должны накрыть штаб и освободить заложников. Действовать необходимо быстро, чтобы не дать времени противнику сориентироваться. А, главное, не дать причинить вред заложникам.

Как ни протестовал Никита, а Варя настояла идти с отрядом. Все мысли её в родном Глинском были, с родными людьми. И неужели в лагере сидеть в ожидании? Ни за что на свете!

И в дневное время по лесам нелегки прогулки, а во мраке ночном — и подавно. А с какого-то места уже и спички запретил Никита Романыч зажигать — не дай Бог красные в темноте углядят. Так и шли вслепую, на ощупь. Лишь на проводников, лес этот знающих, как собственные сени, надежда была. Задевал кто-то сучья, спотыкался. Слышалась приглушённая ругань. В полный голос и не вскрикни — вдруг противник близко.

Внезапно что-то кроваво-красное полыхнуло вдалеке. Похолодело сердце у Вари. Ближе, ближе подходили. Уже и запах гари встречным ветром донесло. И ясно различились языки пламени, рвущиеся к небу. Как раз на поляну вышли, что перед божелесьем расстилалась. Прямо над ним багровое зарево нависало, валил клубами дым, и вырывался огонь к самому небу.

— Это же Глинское горит! — вскрикнула Варя, тотчас поняв страшное. И стремглав бросилась к роще — к самой короткой тропке до родного дома. Но Никита Романыч догнал её, ухватил, стиснул отбивающуюся стальными руками:

— Стойте, Варинька! Вам нельзя туда!

— Отпустите! Отпустите меня сейчас же! — рыдала Варя, вырываясь. — Это из-за вас! Из-за того, что вы так долго думали, когда надо было идти сразу! Вы, вы виноваты!.. Ненавижу вас! Уйдите от меня!

— Да, Варвара Николавна, я виноват! Мы не успели... Но я скорее умру, чем пущу вас туда!

— Пустите! Там же... Там же мама! И тётя Мари! И все! Я хочу быть с ними! Пустите меня! — она в последний раз рванулась, бессильно ударив его сжатыми кулачками в грудь, и лишилась чувств.

Глава 13. От судьбы не уйдёшь

В ложбине было сыро и холодно, но она не смела шевельнуться и лишь прижимала к себе малютку, боясь, как бы не заплакала та слишком громко. Она слышала крики и выстрелы, видела, как полыхнул факелом чудный терем, и до крови кусала губы, давясь рыданиями.

Ах, барыня, барыня, почему вы не послушали отца? Почему не уехали прочь, куда глаза глядят, когда было ещё можно? Вы говорили, что не покинете Дома и родных могил. Да, вы бы не пережили его. Вашего Дома... Но зачем же и всем?.. Всем?..

Барышня Ксения Александровна была больна. Марья Евграфовна не могла оставить сестру. А бедный Алексей Васильевич, который и без того днями должен был отбыть в Москву, где Лидия сумела устроить Софью в хорошую больницу, не мог оставить Марью Евграфовну. И всех... И уж, конечно, не могла оставить их Аглаша. И старый Ферапонт не мог...

Ферапонта убили сразу. Когда он, полуслепой старик, стал увещевать вторгшихся изуверов за творимый разбой. Над ним сначала насмехались, толкали, сыпали издёвками на его взывания:

— Бога побойтесь!

Он стоял перед ними в своей ливрее, седовласый, совсем древний. И сколько скорбного достоинства было в нём! Какого Аглаша и не подозревала. Он не отвечал на оскорбления. Сносил удары. И только сокрушённо качал головой:

— Что же вы делаете? Опомнитесь! Бога побойтесь!

— А вот тебе твой Бог, старая...! — ударил кто-то в спину ножом старика. Тот захрипел, оседая на пол. А

они завились вокруг него, довершая расправу, пьянея от собственного злодеяния.

Ферапонт прожил в Глинском всю жизнь. На его глазах выросло несколько поколений хозяев усадьбы. Они, по существу, были его семьёй. А их дом — его Домом. Более, возможно, чем для многих из них. Он был частью этого Дома. Неотъемлемой. Такой же тёплый, но и с неизменным чувством собственного достоинства. И потому он так отчаянно пытался защитить Дом в свои последние минуты. Дом и его хозяев. И за то был замучен.

Женщин заточили на втором этаже в комнате Ксении. Снизу слышалась площадная брань, гогот, возня. Грабили добро... Ломали что-то. Били. А к вечеру хмельные голоса заревели революционные песни. Ксения мелко дрожала. Прошептала бледными губами:

— Сейчас они ворвутся сюда...

Марья Евграфовна сидела у окна и, перебирая чётки, безмолвно молилась. По её восковому лицу невозможно было прочесть её чувств. А бедная барыня лишь проронила:

— Если бы Николай был жив, такого бы не случилось...

Она слишком глубоко переживала смерть мужа. Слишком ушла в прошлое, в память. И ещё поэтому не достало ей воли сняться с места, уехать. Или хотя бы услатить прочь невестку с малюткой...

— Сейчас они ворвутся сюда...

Да. Несомненно, ворвались бы. Пьяная оргия была в разгаре. Ксения вынула из ящичка трюмо бритву. Вскинулась было Марья Евграфовна, но барышня руку подняла:

— Если только дверь начнут ломать...

Дверь изнутри они задвинули тяжёлым комодом. И за жалкой преградой этой ждали теперь своей участи.

Внезапно кто-то едва слышно постучал в окно. Марья Евграфовна распахнула его, и через подоконник в комнату проник Алексей Васильевич. Когда пришли каратели, он был у себя дома, укладывал последние вещи к отъезду. Дети ещё раньше были увезены приезжавшей на несколько дней Ольгой. До приезда отца они должны были жить в Посаде у Лидии, а затем предстояло там же снять какой-нибудь домишко или угол для надёжинской семьи. Ещё день-другой, и Алексей Васильевич был бы далеко от Глинского. Но не случилось. Вовремя успев скрыться в огородах, он затаился до темноты, а затем пробрался к дому, почти не охранявшемуся с заднего двора.

Возле самого дома росла старая, раскидистая яблоня. По ней-то и вскарабкался Надёжин к окну второго этажа.

— Зачем вы здесь? — замахала руками Марья Евграфовна. — Вас же убьют!

— Вы что же, Марочка, предполагаете во мне такого негодяя, который может унести ноги, оставив на верную смерть четырёх женщин с ребёнком?

— Но ведь дом окружён!

— Не так плотно, если я смог вас навестить, — заметил Алексей Васильевич. Он проворно достал из-под куртки свёрнутую верёвочную лестницу и стал крепить её к подоконнику.

— Что вы задумали? — спросила Марья Евграфовна.

— Бежать. И незамедлительно.

— Но это безумие! Вокруг полно большевиков!

— А остаться здесь не безумие?

Снизу раздались выстрелы и звон стекла. «Товарищи» упражнялись в меткости.

— Если мы останемся, то гибель неминуема, — тихо сказал Надёжин. — Побег рискован, но даёт шанс. Что выбираем?

— Бежать, конечно! — воскликнула Аглая.

— Бежать... — прошептала Ксения.

— И я того же мнения, — кивнул Алексей Васильевич, излучавший в этот момент необычайную твёрдость и уверенность. — Аглая, Марочка, вы спускаетесь первыми. Затем вы, Ксения Александровна, и вы, Анна Евграфовна. Я — замыкающим. Спустившись, идём к разрушенной стене на расстоянии друг от друга. И как можно дальше от дома, от освещения...

Перекрестились наспех.

— С Богом! — проронила Марья Евграфовна и первой спустилась вниз. За ней проворно, несмотря на малютку, которого она примотала к себе простыню, последовала Аглая. Стали осторожно, перебежками отдаляться от дома, то и дело озираясь назад. Вот и Ксения на землю сползла, и барыня за нею. И почти прыгнул следом Надёжин. Прибавили шагу, спеша к заветному пролому. И достигли его, и перебрались благополучно на другую сторону — до божелесья рукой подать осталось. И казалось уже, что всё гладко пройдёт, когда раздался выстрел, и полыхнули рядом огни...

— Врассыпную! — крикнул Надёжин и, схватив под руку Марию Евграфовну, бросился бежать вперёд.

Помчалась и Аглая в другую сторону. И вдруг услышала выстрел и вскрик позади себя. Оглянувшись, увидела, как падает ничком, раскинув руки, барышня. Как бросилась к ней барыня и накрыла собой. И уже обступали их «охотники»...

И ещё быстрее припустилась Аглая, как кошка легко находя путь во мраке, зная, куда бежать. Добежала до ложбины, сокрытой поникшими вётрами и притаилась в ней. Слышала, как ходили вокруг преследователи, запах их чувствовала, и готова была, что, вот, сейчас обнаружат её. А ведь и бритвы нет, как у барышни Ксении... И малютка на руках! Господи, ради неё, невинной, отведи беду!

И отвёл... Ушли изуверы, бранясь. А через какое-то время ещё один выстрел раздался... А потом — полыхнул дом...

Аглая тихо укачивала хныкающего ребёнка. Никого не осталось у него: ни матери, ни бабушки. Хотя бы тётке с Алексеем Васильевичем спастись удалось! А если и их?.. А Родион Николаевич вернётся и?.. Нет, она не позволит, чтобы с его дочерью случилась беда. Она вырастит её. Будет ей, как родная мать. Она на всё пойдёт, чтобы девочка ни в чём не нуждалась.

Когда красные ушли, и сумрак начал понемногу рассеиваться, Аглая выбралась из своего убежища и, качаясь, пошла по дороге. Нужно было добраться до города... А там, как ни мерзко подумать, но лишь один человек есть, который помочь сможет. Значит, судьба... Не уйдёшь от неё.

Ещё по весне постучал он в её окно дождливой, совсем такой же, как *тогда*, ночью. Отпрянула, похолодев, увидев его. Словно из ада гость пожаловал. Только не было в нём безумия тогдашнего. А стоял он у её дома, вымокший насквозь, сгорбившийся. Словно побитый.

— Отвори, — попросил. — Мне поговорить надо...

— Не о чем мне с тобой, извергом, разговаривать. Ты всю жизнь мою загубил. Душу мою загубил! Прочь иди, ну!

— Не уйду, пока не отворишь.

Злое чувство овладело Алей. Схватив стоявший в углу топор, она выскочила на крыльцо с одним-единственным желанием — убить незваного гостя.

А он, не испугавшись ничуть, вдруг на колени перед ней упал. В самую грязь... Выдохнул шумно:

— Прости, если можешь!

И опустила Аглая бессильно топор.

— Уйди, — попросила. — Из жизни моей уйди.

— Уйду, — кивнул изверг, не поднимаясь. — Только выслушай, прошу. Я не тот теперь... Я тогда в бреду был, себя не помнил. Я потом, потом... застрелиться думал, потому что ты у меня перед глазами стояла!

— Что ж не застрелился? Хоть одна бы мне радость была, — мстительно отозвалась Аля.

— Не смог... На фронт хотел пойти, так не взяли. Потом болел я долго. Думали, не выживу. Но чёрт меня и тут вынес... А тебя забыть я так и не смог. Вот, и власть наша установилась. Я ведь начальство теперь. Мне должность хорошую давали, а я сюда попросился. Здешними путями сообщения руководить буду. В городе у меня квартира служебная. Оттуда и приехал теперь. Всем сказал, будто проездом по делам службы, а на самом деле к тебе приехал.

— Это всё, что ты сказать хотел? Тогда убирайся.

Изверг тяжело поднялся на ноги. Грязный, мокрый. Надел фуражку, которую дотоле мял в руках. А, пожалуй, не так и вымок? Куртка-то кожаная на нём. Ей дождь нипочём.

— Люблю я тебя, Глаша. И жениться на тебе и теперь готов.

— А ты ещё большая гадина, чем я думала!

— Не горячись. Я ведь понимаю... Я лишь хотел, чтобы ты знала. Если тебе что-то понадобится, если ты решишь отнестись к моему предложению иначе, то в городе меня легко найти.

И назвал адрес... И простился, ещё раз прощения испросив и не получив его. И скрылся в темноте. Бросила ему Аля топор вслед, заплакала бессильно от унижения и растравленной вновь боли. Решила, что если снова явится, так и убить. А там хоть самой в омут. Но он не появился. Не появился, хотя в Глинском был. Оставил ночью записку под дверь и уехал, никем не виденный. А в записке сообщал, что в Глинское со дня на день приедут изымать недоимки, наказывал

предупредить отца, чтобы успел поспрятать, что можно. Очень выручила эта услуга при первом набеге продразверстки...

Если тебе что-то понадобится, если решишь отнестись иначе... Словно знал, что именно так и случится! Будешь моей, а ничьей больше не будешь... Заплетались от усталости ноги, мутилось в голове. Но уже решено было, а, значит, отрезано. Хныкала на груди малютка-сиротка. И лишь её судьба имела теперь важность. А собственная жизнь всё равно уничтожена безвозвратно. Так что же жалеть её? Снявши голову, по волосам не плачут.

Кое-как добралась Аглая до города, одного боясь, но и в глубине душе надеясь на то (тогда — не судьба, значит!), что его уже нет здесь. Но судьбу не проведёшь... Едва постучала она в дверь, придя по указанному адресу, как он открыл. Ещё больше пожелтевший и иссохший. Почти жалкий. Но по форме одетый, чинно — как-никак служебная квартира. Взглянул бегло на Алю, на малютку, пригласил, отступая:

— Входи, Глаша.

— Ждал меня? — Аглая старалась говорить выработанным в период помрачения вызывающим тоном. — Ну, вот, я и пришла! — уселась бесцеремонно на диван, нахально озираясь. — Для начальства небогато живёте, Александр Порфирьевич!

— Я небольшое начальство. Да и некому жильё обустроить... Разве что ты возьмёшься?

— В качестве горничной?

— Ты сама знаешь, в каком качестве, — мелькнул всё же огонёк в блёклых глазах. — Впрочем, я не гоню тебя. Пока можешь пожить и просто так... Подумать, привыкнуть... Или уйти, если захочешь.

— Глинское сожгли, ты знаешь? Анну Евграфовну убили.

— Жаль, — тихо ответил Замётов. — Хорошая была женщина. Никогда не желал ей зла... Ни ей, ни её сестре. А что с Марьей Евграфоной?

— Не знаю... Надеюсь, что ей с Алексеем Васильевичем повезло больше, и они смогли убежать.

— Значит, и господин учитель угодил в эту мясорубку? — Замётов болезненно поморщился. — И его жаль. Умный был человек, а так глупо попался...

— Наша деревня сожжена дотла. Отец скрывается где-то в лесах. Твоя власть! — Аля вдруг вспыхнула. — Действительно, твоя!

— Почему ты так говоришь? Я не считаю правильным происходящее... Я ведь даже предупредил тогда вас...

— Почему? Потому что ты и твоя власть одинаковы! Ты добился своего... тогда... А они теперь добиваются! Такая же грязь! Грязь! — Аля закрыла лицо руками.

— Зачем же ты пришла ко мне?

— Потому что некуда больше идти было! Потому что везде вы! А мне ребёнка на ноги ставить надо! А для этого я и на убийство пойду... Ни перед чем не остановлюсь...

— Это твой ребёнок? — спросил Замётов.

— Да, — твёрдо ответила Аглая. — Моя дочь. Нюточка.

— Умаялась она у тебя совсем... Да и ты. Я воду поставлю на огонь. Еда какая-то в кухне есть. Хозяйствуй, как знаешь. И над предложением моим подумай. Я ведь на хорошем счету. Моя жена и дочь будут иметь и защиту, и всё необходимое. Нуждаться вы обе ни в чём не будете, обещаю.

— Только не думай, что моя дочь станет называть тебя отцом! Её отец не тебе чета, и о нём она будет помнить!

— Тебе решать.

Да нет... Всё уже без неё решено. Безжалостно и необратимо. Словно зверя лесного гнали со всех сторон, обложили флажками и, вот, загнали, наконец, в капкан. Словно птицу свободную силками опутали, окольцевали. И нет выхода. Смирись и терпи. Ради Нюточки. Ради Родиона Николаевича... Если только жив он!.. Если бы только! А если жив, то всё прочее вторично, всё можно вынести, вытерпеть. А он вернётся однажды, и она, Аля, приведёт к нему его дочь, и всё этим оправдается, искупится.

ГОРНИЛО

Глава 1. Плач юродивой

Очередной плакат вывесили на здании сельсовета поутру. А ещё накануне прикатил из города «упал-намоченный», как с издёвкой именовали такого рода деятелей на селе. Из бывших матросов балтийских. Знамо дело, великий дока в вопросах ведения сельского хозяйствования. Вечером уже «посоветовались» плотно с местным руководством — за несколько домов слышать было, как начальство «ответственное мероприятие» проводит.

Сколько этих «агитпробок» переездило уже сюда! Пуще «семашек»¹⁶ развелось их! И то сказать, в уездном городке в считанные месяцы навывлазили, что чирьи на неприличном месте, до полусотни всевозможных партийных и профсоюзных организаций с сотнями отделов, с тысячью служащих дармоедов! В задачу этих молодцев входило ездить по деревням, собирать в принудительном порядке голодных людей, отрывая их от работы, и битые часы нести околесицу. В смысле, нести отсталому крестьянству светлые идеи коммунизма. И ведь сукиных этих сынов по труд-гуж-повинности следовало самим же мужикам из города доставить, поселить их в лучшем доме, столовать их, а затем везти обратно! Прикатит такое «сокровище», расположится за столом, который в обычные дни давненько их стараниями украшают дай Бог лепёшки из травы и разных отбросов, глядит маслянистыми глазами на хозяйку, по брюху сытому себя похлопывает:

— А я, хозяйка, пожрать-то не тоще люблю!

Слава тебе Господи, миновал Игнатов дом такой гость. Впрочем, какой там «его дом». Своего дома теперь не было — дожил на старости. В жёниных родителей дому приживалом оказался. Хотя и на том

спасибо — всё крыша над головой и себе, и, главное, детям. Дом стариков Григорьевых богатством не отличался. Да и с водворением в нём семьи Игната угла свободного не осталось. И славно — не покушались на него гастролёры партийные. А то бы, чего доброго, не стерпело сердце...

У вывешенного плаката собирались любопытствующие. Каких только ни повидали их! Каких только лекций не прослушали! «О жизни на Марсе», например. Страсть, как интересно это было голодной деревне, забывшей вкус соли. А поди-ка ты спроси про ту соль! Соль! Соль, без которой ни одной пищи нельзя путно приготовить. Соль, за которой ездили теперь за тысячи вёрст! Соль, чтобы добыть которую, варили разбитые в щепы бочонки, в которых когда-то держали соленья! Спроси-ка их, от продпайков лоснящихся, куда соль подевали — пожалуй, в холодной окажешься. Так что сиди, тёмный элемент, слушай что говорят Маркс и Энгельс о патриархате и матриархате, а того лучше — о международном положении молодой Советской Республики. Да не забудь крикнуть «Долой!» и «Да здравствует!», когда потребуется.

Интересно, с чем теперь явились молодцы? О вшах и тифе — врагах социализма сказывать? Агафья Прудникова на той памятной лекции крикнула «агитпробке»:

— Мыло дайте народу, а брехнёй блох не выведете!

Но мыло — это роскошь. Так же, как соль и хлеб. А слова, тёмный элемент, слушай и благодарен будь.

Не мог Матвеич издали разобрать, что такое на плакате написано. Подводили немолодые глаза. А по волнению собравшихся почувствовал нутром — тут «семашками» не отделаешься, тут серьезнее дело. Okликнул девчонку соседскую:

— Дуняша, дочка, чего там?

— Беда, дядя Игнат! — испуганно распахнутые глаза на голубоватом от недоедания личике. — Церковь грабить собираются!

— Как так?

— Собственность церковную изымать будут в помощь голодным! Нынче собрание, а затем изымать пойдут. Указано, всем быть...

А уже старухи запричитали в голос, расходясь.

— Антихристы... Экое дело затеяли!

— Господь не попустит...

— А отец Димитрий знает ли?

— Должён знать...

— Беда-то какая...

Но не потянулась толпа к храму. Ни к избёнке старика священника. Цепенил волю под кожу просочившийся, вкоренившийся страх. Лишь кое-кто из баб отправились. А прочие расходились смурные, повесив головы.

Пошёл к дому и Матвеич, пощипывая бороду и судорожно соображая, как же быть. Всем велено явиться! Известное дело! Им всех в свои грязные дела впутать надо. Миром усадьбы жечь... Миром церковь разорять... Всё не они, не власти. А сам народ! Ну, да пусть другие, как хотят, а он, Игнат, к безбожному делу руки не приложит. Но как же вывернуться? Ведь придут в дом и прикажут. А за отказ... Вместе с попом Димитрием в холодную поедешь. А оттуда, из тифозного барака, мало кто вертается. А с детками что станется тогда? И с Катей?

В раздумьях добрёл Матвеич до дома и сперва зашёл в сарай за инструментом, вспомнив, что давненько собирался починить переставшую закрываться сенную дверь. Покопавшись маленько в полумраке, Игнат нечаянно задел грабли, гулко свалившиеся на пол. Нагнулся было поднять, но остановился, поскрёб задумчиво макушку, озираясь по

сторонам — нет ли кого поблизости. Глянул ещё раз на острые зубцы. Затем — с сожалением — на собственную ногу, сразу покрасневшую, едва он стянул с неё ещё более жалеемый валенок. Эх, была ни была! Помогай Господь своим!

— Батюшки, искалечился! — ахнула Катя, когда он, блажа сквозь зубы и оставляя кровавый след, с трудом влез на крыльцо.

— Не кричи ты, баба! Дай полотенце какое да воды — замотать...

Засуетилась Катя, забегала. Шикнула на высунувшуюся дочурку. Через несколько минут уже принесла мужу в комнату всё необходимое. И ведь вот же не проведёшь глазастую! Как ни всполошилась, а проверила и угадала влёт:

— Что это ты, старый, босым по снегу гулял?

Игнат криво усмехнулся, заматывая больную ногу:

— А что? Говорят, для здоровья пользительно.

— Для здоровья — не знаю, а для валенок — гораздо, — согласилась Катя. — Ты почто себя калечить-то удумал?

— Чтобы чёрту напакостить, — снова усмехнулся Игнат, устраиваясь на лежанке.

— Нешто в ребре взыграл?

— Дура, — беззлобно махнул рукой Матвеич. — Ты плакат на сельсовете читала, аль нет?

— Да я и из дома не выходила нынче...

— То-то же. Церковь сегодня грабить будут, вона. А я в этом деле не участник. Слава Богу, и усадьбы покойного барина не тронул. Нет на мне греха. А уж такой тем паче брать не желаю. А обезноженного не погонят. Полежу, постенаю, побрежу.

— Умно ты это придумал, старый, — нахмурилась Катя. — А мне что делать прикажешь? Ты, значит, от греха себя обезопасил, а мне на Божий дом идтить?!

— Только не калечь себя, — предостерегающе поднял палец Игнат. — А то нас разгадают.

Катя быстро заходила по комнате, ломая пальцы, снова шикнула на просунувшуюся в сворку двери дочь, наконец, остановилась, уперев ладони в утерявшие прежнюю дородность бока:

— Вот что, Игнат, ты, коль нехристи придут, блажи уж погромче... Будто бы жар у тебя. А я тогда поплачусь, что больного мужа не могу оставить... Авось, и не тронут.

На том и порешили.

Однако, наивной надежде Кати не суждено было исполниться. Хотя жар у Матвеича начался вполне настоящий, и блажил он от души во всю глотку, но явившийся комбедовец Плешак был непреклонен:

— Если он так сильно болен, то пусть с ним останется твоя мать! Старуха — элемент отживший, а ты уклоняться не имеешь права!

— Ты, что ль, права устанавливаешь?! — взъярилась Катя. — С чего это я должна оставить детей и больного мужа?! Ради какой-то радости?! Твоих болтунов слушать?! Когда тебе делать нечего, так и слушай их! А мне вздохнуть времени нет!

Плешак надул вечно влажные, растрёпанные губы:

— Несознательно рассуждаешь! Нынче главный вопрос решается, понимаешь-нет? Как голодным помогать!

— Да ну?! Севка! Валька! Ну-ка, подьте сюда! — крикнула младших.

Те тотчас прибежали на материнский зов. Худющие. Бледненькие до голубизны — каждая жилочка просвечивает. Подтолкнула их мать вперёд себя, приподняла рубашонки грязные так, что животы вспухающие видны стали.

— Голодающим, говоришь, помогать собрались? А ну давай! Помоги! Детям моим помоги! — голос Кати начал

срывать. — Ты с морячком вчера, поди, яичницу с салом лопал и самогонкой заливал? Ну, говори! И не стала вам та яичница поперёк ваших бесстыжих глоток! А мои дети хлеб с примесью жуют и то не досыта! А ну, пошёл прочь из моего дома! Голодающим они помогать собрались! Ишь!

Так и напирала, так и напирала Катя на хлипкого Плешака. Так разъярилась баба, что, того гляди, набросилась бы на него, вцепилась в редкую бородёнку. Но Плешак вовремя выскочил прочь, погрозив зло:

— Я тебе эти слова ещё припомню!

Авдотья Никитишна мелко закрестилась, посмотрела жалко вначале на утирающую слёзы дочь, затем на Игната:

— Что ж это будет теперь?

Матвеич лишь крикнул в ответ и отвернулся к стене. Хоть и холодила сердце тревога о том, как отзовется Катин бунт, но и гордился женой. Дал же Бог характер бабе — самого чёрта не испугается!

Между тем, Катино возбуждение улеглось, и она обессилено опустилась подле мужа, вздохнула глубоко:

— Как жить-то будем, Матвеич?..

Что мог ответить ей Игнат? Как жить, если вся жизнь с ног на голову встала? То ли дело прежде было... Своя земля, свой инструмент, скотина, веялка... А теперь ничего своего у крестьянина не стало. И добро бы ещё, забрав, с умом распорядились! Так нет! Вон, была у Федота-соседа мельница. Один он управлялся на ней. Кому надо было хлеб смолоть — все к нему шли. И горя не знали. Но, вот, отобрали у Федота мельницу. Поставили над нею начальствующий элемент. Элемент этот пил горькую и воровал, но решил, что один со столь сложными обязанностями не управится. Назначили ему помощника. Затем и ещё одного. И, вот, эти три молодца пили да воровали круглый год, а

производительность мельницы за это время снизилась ровнёхонько в три раза.

А кустари? Кому помешали они? Объявили вне закона! Только государство имело право организовано обеспечивать население необходимыми товарами. Но на деле обеспечивало оными лишь верхи, а население нищало. Не говоря о соли, в деревне не стало керосина! Керосин просто исчез, как исчезло решительно всё, что ещё вчера составляло норму жизни. Деревни погрузились во тьму и стали освещаться исключительно лучинами. И после этого заезжие крикуны с бескостными языками рассказывали, пуча пустые гляделки, об ужасах крепостного права!

Крепостное право... Хоть и не знал его ни Игнат, ни его пращур на своей шее, но уж точно знал, что барщина при нём была не всякий день, а оброк не шёл ни в какое сравнение с грабежом, учинённым «народной властью».

Появились в деревне новые бары. Собственно, начальство, и так называемая беднота. Часть отобранных во время развёрсток продуктов делилась между начальниками, их приближёнными и комбедами. Точно такая же участь постигала реквизированный скот. Крестьяне, имевшие лошадь, обязывались бесплатно обрабатывать землю безлошадных, возить для них дрова и всё прочее необходимое в хозяйстве. Такая же «труд-гуж-повинность» ложилась на них в отношении начальства. А к тому нужно было возить начальство и пришлых агитаторов, ремонтировать дороги, строить мосты... Перевернулся мир! Стали работающие мужики у пьяниц и лодырей батраками! И какой же тут может быть ответ на вопрос, как жить?

Правда, с введением НЭПа шевельнулась надежда робкая. По крайности, заменили бесчинную развёрстку на твёрдый в установленные сроки взываемый продналог. Новая система *поощряла труд*: чем больше

будет урожай, тем больше останется крестьянину по уплате налога. Как живым ветром овеяло. А то и руки опустились совсем: к чему делать что-то, если всё равно отнимут подчистую?

На эту весну строил Игнат робкие планы. Намечал привычным хозяйским глазом, где, сколько и чего насадить. Подсчитывал, на какой урожай можно рассчитывать, и сколько останется на жизнь семье. Может, хоть теперь дети будут накормлены?

Когда бы в помощь ещё кого! Да где уж... Старшему едва четырнадцать стукнуло. А от недоедания глядит десятилетним... Какая уж подмога от него? Яшка-братец ещё в Двадцатом сгинул, поехав за солью и продовольствием. Может, лихие люди убили. Может, просто свалил тиф на каком-нибудь Богом забытом полустанке. О прочих и говорить не приходится. Двое малышей, двенадцатилетняя Любушка, старуха Авдотья Никитишна, её старшая полоумная дочь Ирина...

На долю Ирины страшное испытание выпало. Мужа своего она потеряла ещё в Японскую, а двух сыновей в Девятнадцатом году расстреляли на её глазах большевики. Мальчишки не вступили в Красную армию при мобилизации. Когда за ними пришли, они не поверили, что их, действительно, расстреляют. Просили прощения, выражали готовность служить, умоляли пощадить их... Ирина валялась в ногах у комиссара, всю дорогу до места расстрела ползла по грязи, обнимая его сапог, моля отпустить её сыновей. Бедная, несчастная женщина... Она не знала, что умолить можно озверевшего, пьяного матроса или красноармейца. Покойный барин верно говорил — такой ещё наш. В нём в последний миг вдруг может прорваться что-то живое. Его дикая зверскость не имеет закона, а лишь его произвол, управляемый его разнузданными страстями. Комиссар — совсем иного рода элемент. Для него нет страстей. Нет заставляющей забыть себя ненависти и

опьянения кровью жертвы, но нет и остатков человеческого, позволяющих услышать мольбу этой жертвы и откликнуться на неё.

Уже поставленные на пустыре у околицы босые, до нижнего белья раздетые мальчики не могли сдержать слёз. Они всё ещё ждали чуда. Ждали, что в последний миг их помилуют. Младший упал на колени:

— Пощадите! Ведь мне только семнадцать лет! Семнадцать!!!

С этим криком и упал он ничком на землю... Рядом с братом...

Ирина с той поры повредила умом. Она не говорила ни слова. Целыми днями бродила по деревне растрёпанная, босая, часто заходила в церковь или сидела на холодных её ступенях, покачиваясь взад-вперёд. Вот, и теперь бродила она неведомо где, и опасалась Авдотья Никитишна, как бы не вышло худого.

Мучительно тянулось время. Матвеич беспокойно ворочался, время от времени приподнимался, поглядывал в окно. Он тревожился не только за Ирину, но и ещё за одного человека, совсем недавно поселившегося под их крышей.

Наталья Терентьевна была учительницей. Совсем молоденькой, сверстницей Игнатовой Аглаши. Бедная девочка всегда мечтала учить деток доброму и вечному. Ведь не знала же она, что новая власть придумает для учителей хамское наименование «шкраб» («школьный работник»), каковым станут называть и школьных уборщиц. Что новое начальство, не ведающее азов, будет ругать их «гнилой интеллигенцией». И всё, на что расщедрится, так это на голодный паёк в городах. А в сёлах и на то посякнется.

И, вот, приехала она. Милая, скромная, запуганная барышня с маленьким саквояжем в руке и жутких опорках на худеньких ножках. Её поселили в холодном здании школы, которая едва отапливалась благодаря

сердобольным жителям, приносившим дрова. Бедняжка мёрзла и голодала, пыталась обращаться к начальству, но получала ответ, что указаний от Наркомпроса относительно пайка для неё нет.

Она всё-таки вела свои уроки. Кашляла, истончалась. Питалась только мёрзлой картошкой — фактически таким же подаянием, как и дрова. Положение складывалось отчаянное. Этим решили воспользоваться местные начальники. Вначале наведывались к ней, мягко, но недвусмысленно намекая, что могут пойти ей навстречу, если навстречу пойдёт и она. Затем перешли к угрозам. Однажды комиссар, будучи в подпитье, явился на урок и при детях стал оскорблять Наталью Терентьевну самыми похабными словами. Игнату об этом рассказали старшие дети, до глубины души возмущённые подобным обращением с полюбившейся им учительницей.

Недолго думая, Матвеич тем же вечером отправился в школу. Он немного не дошёл до неё, когда столкнулся с бегущей ему навстречу Натальей Терентьевной. Позади громыхал руганью её давешний обидчик. Заметив Игната, он остановился и, не переставая браниться, пошёл прочь. Игнат набросил свой тулуп на плечи заочневшей девушки и, взяв под руку, отвёл к себе. Кати с Авдотьей Никитишной не было дома, и он поручил Любушке поухаживать за гостьей. Наталью Терентьевну напоили крепким травяным отваром, угостили печёной картошкой. Когда же она успокоилась, Игнат сказал:

— Вот что, не дело вам так дальше... Есть ли вам куда уехать?

Учительница бледно улыбнулась:

— Если бы было, так неужели бы терпела? Мама умерла, а больше у меня ни души...

Матвеич поскрёб бороду:

— Тогда квартируйте пока у нас. Угол свободный для вас сыщется... Хоть в тепле будете и подальше от... этих...

Наталья Терентьевна с изумлением посмотрела на Игната и вдруг всхлипнула, закрыла лицо руками, заплакала. Отвыкла, бедняжка, от человеческого отношения в звериное время...

— Полно, полно, — погладил её по плечу, предчувствуя бурную реакцию Кати на своё гостеприимство.

Бой с Катей он выдержал. Хотя и нелёгко он был. Совсем не могла понять жена, зачем нужен в доме лишний рот, когда у самих ни крошки. В конце концов, настояла, чтобы Игнат пошёл к начальству и сам потребовал паёк для своей квартирантки.

Итогом этого похода стала очередная развёрстка и голодный паёк для всей семьи. И торжествующая ухмылка комиссара:

— А насчёт пайков для разных там шкрабов у нас инструкций нет.

В тот же вечер Наталья Терентьевна собрала свой саквояж и собралась уходить:

— Вам из-за меня только несчастья. Лучше я уйду...

Катя промолчала. Авдотья Никитишна смахнула слезу. Матвейка с Любашей воззрились на отца. Во взглядах старших детей Игнат прочёл один и тот же безмолвный вопрос: неужели допустишь? Выгонишь человека на верную смерть? А ведь верная смерть была бы ей... После холодной школы лёгкие у хрупкой учительницы серьёзно тронулись. Ей бы на юг теперь... Да откуда его взять? Но выгнать на холод, в никуда — как? Ведь это же душегубство получится. Вздохнул Матвейка, не глядя на жену, подошёл к Наталье Терентьевне и, забрав у неё саквояж, сказал:

— Говорят, рука дающего не оскудевает... Проверим, насколько это справедливо. Оставайтесь,

Наталья Терентьевна.

— Зачем вам из-за меня рисковать?

— Затем, что у меня есть старшая дочь. Ровесница вам... Сейчас она, слава Богу, не нуждается и помогает нам. Но, может статься, и ей однажды понадобится помощь. И кто-нибудь сжалится и не прогонит её с порога...

С той поры Наталья Терентьевна жила у них. И Игнату казалось, что миновал самый тяжкий и голодный их год, что теперь забрезжила надежда. И вдруг этот проклятый декрет...

Гулко хлопнула входная дверь, и через мгновение на пороге комнаты возникла запыхавшаяся, взволнованная Наталья Терентьевна.

— Что там? — приподнялся Игнат.

— К церкви пошли! — выдохнула учительница. — Из города специальный отряд приехал. На собрании такое говорилось, такое... — она зажмурилась. — Мне бежать хотелось!

— Вам нельзя, у вас должность...

— Должность? — Наталья Терентьевна закусил губу. — Игнат Матвеич, я всегда мечтала учить детей чему-то настоящему, высокому! Понимаете? А чему я могу их научить теперь? Если русскую литературу они не признают, и историю, и Бога... И всё, всё, чем душа человеческая жива! Чему же я стану учить их? Тому, что кричат агитаторы?

— Учат, Наташенька, не книги, а человек. Жизнь человека. Вы своей жизнью их учить будете.

— Нет, Игнат Матвеич, ничего этого не получится, — учительница безнадежно покачала головой. — Если я стану жить так, чтобы иметь право учить, то жить мне не дадут. А если приму их правила, тогда мне придётся лгать... Не иногда. А постоянно. Каждым словом моим... Нельзя лгать и учить. Нельзя учить лжи...

В этот момент ударили в колокол. Женщины встrepенулись. Прибежали взволнованные дети. Колокол ударил снова. И ещё. И ещё. Авдотья Никитишна поднесла руку к сердцу:

— Господи, что там творится? И где моя Ириша?..

— Это, наверное, отец Димитрий звонит, — заметил Матвейка.

— А что остаётся ему... Его всё равно не пощадят... — вздохнула Катя. — Хоть бы матушку пожалели, ироды.

В отдалении слышались голоса, шум. Но перекрывал его неумолкающий колокол.

— Неужто поднялись на защиту?

— Тогда точно беды не миновать...

— Я пулемёт видела. У отряда этого.

— Кровь будет.

Игнат с трудом поднялся, тихо велел жене:

— Поддай мои валенки.

— Ты куда это, старый, собрался?.. — ахнула Катя. — Не пущу! Слышишь?! Никуда не пущу! — и уже загородила дверь собой.

— Принеси валенки, — повторил Матвейка. — Надо найти твою сестру. Не волнуйся, Катя, воевать с пулемётами я не пойду.

— Я с вами пойду, — сказала Наталья Терентьевна.

Игнат молча кивнул. Опираясь на её плечо и суковатую палку, он выбрался из дома. Задворками, пригибаясь, двинулся в сторону церкви, где мелькали огни, и нарастал шум.

Колокол, наконец, умолк. Когда Игнат приблизился, то увидел долговязую фигуру отца Димитрия, которого двое солдат тащили к розвальням. Старик был, по видимому, ранен. Но уже посаженный в сани, поднял руку и благословил народ. Он хотел сказать что-то, но один из солдат ударил его прикладом в живот.

Толпа застонала, но никто не двинулся с места. Между тем, из открытых врат церкви выносили иконы и священные сосуды, тут же сдирали ризы с образов, рубили их, глумились. Конечно, старательно помогали уполномоченным комбедовцы. Суетился, лебезя перед начальством, Плешак.

Старухи горько плакали, наблюдая за творящимся бесчинством. Красноармейцы смеялись:

— Эх вы, темнота деревенская!

— Это вы, сынок, тёмные, потому что Господь от вас лик свой сокрыл.

— Да кабы был твой Господь, бабка, так уж треснул бы меня по затылку! Пущай, вон, покурит лучше товарищ Иисус! — с этими словами красноармеец прилепил папиросу к стоявшему у стены образу и вдруг получил удар палкой по руке.

— Ирина! — вздрогнула Наталья Терентьевна.

Это, и в самом деле, Ирина была. Она грозно надвинулась на красноармейца, отняла папиросу от лика, поцеловала его. Красноармеец сплюнул:

— Чёртова юродиха! Да ты знаешь, что я с тобой сделать могу?!

— Не тронь убогую! — вступились за Ирину бабы. — Грабить приехали — так грабьте! А паскудить не смей!

— Да стал бы я мараться о неё!

Ирина сидела на снегу, рядом с образом, глядя его, покачиваясь. О ней вскоре забыли, складывая награбленное в сани. Но стоило тронуться им, как Ирина, держа в руках икону, вдруг вскочила и опрометью кинулась наперерез головным саням, в которых увозили отца Димитрия. Пронзительный, страшный крик огласил кругу:

— Души, души спасайте!

Возница со всей силой хлестнул её кнутом, Ирина упала в снег, икона вылетела из её рук. Следом раздалось громкое ржание и брань — это ехавшие

следом не успели остановиться, и несчастная юродивая попала под копыта лошадей. В толпе раздались крики и плач.

— Блаженную убили! Ироды!

Стронулись люди с места, загудели недобро, понадвинулись на ненавистный обоз. Но тотчас выстрелы раздались. Не стали тратить время на разговоры уполномоченные. И хотя поверх голов дали залп, а хватило для острастки. Разбежалась перепуганная толпа. И укатил поспешно, взметая пыль, разбойничий обоз.

И только скрюченная фигура осталась лежать на обгащённом снегу. Первой к ней подбежала Наталья Тимофеевна, приподняла. Голова Ирины была разбита, но по обветренным губам скользила счастливая улыбка.

— Как хорошо... — растворился в воздухе последний вздох.

— Отмучилась... — перекрестилась Наталья Тимофеевна.

Матвеич стоял рядом, опираясь на палку, и пытался заглушить подступающие к глазам слёзы. Он заметил лежащую в снегу, затоптанную икону, наклонился и поднял её. Спас Нерукотворный... На белом платке капельки крови мученицы, только что к нему вознёсшейся.

— Спи, Ириша, и поминай нас, грешных, во Царствии Его...

Глава 2. Близ есть...

«Спасайте дом Божий!» — этим криком юродивого в 1914-м году завершил свою светскую литературную деятельность выдающийся церковный ум расхристанного времени — Валентин Свенцицкий. «Спасайте дом Божий!» — как завет, как пророчество, выкрикнутое в последней отчаянной надежде, что образумятся и услышат. Именно так и услышал Кромиади это крик, увидев в горящем сельском храме прообраз всей русской Церкви.

И, вот, пришло время осуществления провиденного. Оно пришло, конечно, раньше ещё: когда с первых буйно-революционных дней топили, жгли, рвали на части «служителей культа», и поносными словами плевались газеты. Но особенно ощутилось здесь, в аудитории Политехнического музея, обращённого в ревтрибунал. На скамье подсудимых — пятьдесят четыре обречённых закланию мученика. Священники и миряне. Они, как следовало из обвинения, противились изъятию из храмов ценностей. Среди свидетелей — патриарх Тихон...

Ещё годом раньше патриарх выступил с воззванием «К народам мира и к православному человеку», моля о помощи умирающим от голода людям. Воистину, всем карам небесным суждено было обрушиться на Русскую землю. За пожаром усобиц пришёл Царь-Голод, мор, ещё более страшный, чем война. Целые деревни вымирали, обезумевшие люди доходили до трупоедства и даже людоедства. Такого бедствия никогда ещё не ведала Россия. «Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! — взывал святитель Тихон к миру. — Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода!» И к пастве своей обращался

пастырь: «В годину великого посещения Божия благословляю тебя: воплоти и воскреси в нынешнем подвиге твоём святые, незабвенные деяния благочестивых предков твоих, в години тягчайших бед собирающих своею беззаветною верой и самоотверженной любовью во имя Христа духовную русскую мощь и ею оживотворявших умиравшую русскую землю жизнь. Неси и ныне спасение ей — и отойдёт смерть от жертвы своей».

И люди собирали, жертвовали последнее в помощь голодающим. И именно по инициативе патриарха был создан комитет помощи голодающим, куда вошли известные общественные деятели: врачи, писатели, учёные... Это их трудами удалось привлечь гуманитарную помощь западных стран, это их усилиями создавались пункты питания, это ими было спасено немалое число жизней. И это их высмеивала на все лады подлая пресса, а в августе двадцать первого года по приказу Ленина арестовали по обвинению в контрреволюции и неминуемо расстреляли бы, если бы не заступничество Нансена, заведовавшего западной комиссией помощи голодающим. Расстрел заменили высылкой за пределы страны.

Не могли допустить «товарищи», чтобы кто-то стяжал себе народную благодарность, повысил свой авторитет в обход них. Тем более, Церковь. Разгромленный Помгол обратился очередной партийной лавочкой, а добровольную жертву Церкви решено было в срочном порядке нейтрализовать принуждением её к жертве большей, прямым насилием над нею.

И, вот, выпустили в январе пресловутый декрет, цель которого не оставляла сомнений — спровоцировать верующих на противостояние власти, а затем расправиться под «законным» предлогом.

Шуйские выстрелы¹⁷ послужили сигналом к началу этой расправы.

С первого дня процесса Аристарх Платонович ходил в Политехнический, как на службу, не обращая внимание на увещевания дочери, беспокоившейся за его сдавшее в последнее время сердце. Не мог же он, в самом деле, судить об этом важнейшем событии с чужих голосов, с лая газет...

Хотя даже газеты в своём лае приглушили визгливые голоса, когда в зал ступил Святейший. Даже они не могли не отметить того удивительного достоинства, с каким держался этот с виду простой сельский батюшка, до срока обратившийся в старика от свалившихся на него тягот.

Не было в смиренном Тихоне величавой повадки иных маститых иерархов, не было яркости публичных трибунов, не было ничего от «князя Церкви». Спокоен и мирен был его вид, тих и незлобив взгляд, негромок вкрадчивый голос. Но за этой кажущейся мягкостью сокрыта оказалась скала, о которую разбивались все нападки обвинителей, все каверзные их вопросы. Кажется, и усилий не прилагал Святейший, чтобы отвечать им с необходимой мудростью и тонкостью. Или, действительно, не прилагал? Сказал ведь некогда Господь избранным своим, чтобы не боялись отверзать уста свои во имя Божие, ибо тогда Он сам вложит в них нужные слова.

Час за часом мытарили дознаватели патриарха, но лишь измотались сами, так и не добившись от него ни одного неосторожного слова, хотя на все их вопросы он отвечал обстоятельным образом.

Следя за этим противостоянием, Кромиади понял, что никакое величие «князей», будь они самыми высокими мудрецами, не сравнится с подлинным величием кроткой христианской души, всякий миг

предстоящей перед Богом и в этом стоянии обретающей подлинное достоинство, которое нерушимо, неизменно, как святость разорённого храма. Таким было величие Христа, терпящего глумления в Синедрióне.

Итогом допроса стало объявление о привлечении патриарха к судебной ответственности. На другой день, 23 апреля, Святейший был арестован...

Этот арест не был первым. Ещё в памятном Восемнадцатом, когда после убийства Урицкого и покушения на Ленина большевики развязали массовый террор, патриарх в годовщину революции обратился к власти с посланием, в котором высказал всё, о чём болело сердце каждого русского в ту пору:

«Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

По истине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7, 9, 10). Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унижительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша родина завоевана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно еще

храбрых и непобедимых, оставив защиту Родины, бежать с полей сражений. Вы угасили в сердцах воодушевлявшее их сознание, что «больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя» (Иоанн, 13, 15).

Отечество вы подменили бездушным интернационалом, хотя сами отлично знаете, что, когда дело касается защиты отечества, пролетарии всех стран являются верными его сынами, а не предателями.

Отказавшись защищать родину от внешних врагов, вы, однако, непрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете?

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции.

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве «заложников», этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами, не только им не единомысленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Казнят епископов,

священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной «контрреволюционности». Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения напутствия Св. Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.

Не есть ли все это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы сами когда-то много претерпели от жестоких властей?

Но мало вам, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и национализаций, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, под именем «кулаков», стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы оуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха, но какими бы названиями не прикрывались злодеяния, — убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями.

Вы обещали свободу.

Великое благо свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других,

не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы и не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийств и грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода, когда семьи, а иногда населения целых домов выселяются и имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и на разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церковные проповедники, голос общественного и государственного обсуждения и обличения заглушен, печать, кроме узко-большевистской, задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы (епископ Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их последнюю волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль это священное достояние всего верующего народа.

«И что еще скажу. Не достанет мне времени» (Евр. 11, 32), чтобы изобразить все те беды, какие постигли родину нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя.

Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воистину явилась Божиим слугой, на благо подчиненных и была «страшна не для добрых дел, а для злых» (Рим. 13, 34). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних и истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры, обратитесь не к разрушению, а к устройению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междуусобной брани. А иначе «взыщется от вас всякая кровь праведная вами проливаемая» (Лук. 11, 51) «и от меча погибнете сами вы, взявшие меч» (Мф. 25, 52)».

За это Святейшего подвергли домашнему аресту в течение месяца. Тогда, во время Гражданской войны, ещё не ощутив полной твёрдости под ногами, не решились прибегнуть к мерам крайним. Но с тех пор миновало четыре года. И теперь власть могла расквитаться с анафематствовавшим её первоиерархом.

На следующий день после ареста патриарха был вынесен приговор по «делу 54-х». Одиннадцать смертных приговоров...

Всю неделю, миновавшую с рокового дня, газеты бесновались, требуя новых процессов и приговоров, клеймя и оплёвывая, алча крови. Аристарх Платонович не читал их, считая ниже собственного достоинства даже прикасаться к непотребным листкам. Как назло, прихватила простуда, и невозможно было пойти куда-либо отвести душу. Хоть бы в тот же Даниловский к владыке Феодору. Что-то мыслит он теперь? А дома на тему эту поговорить толком не с кем.

После возвращения из Посада в прошлом году Кромиади с семьёй жил у радушно принявшего их художника Пряшникова, сохранившего, благодаря своему положению среди московских живописцев, достаточно приличную жилплощадь, объединившую квартиру с мастерской. Надо сказать, квартиранты были Степану Антонычу куда как кстати, ибо семейство его приятеля, дотоле жившее у него выехало за границу, поставив тем под угрозу уплотнения драгоценные для вольнолюбивой натуры Пряшникова квадратные метры. Потому новых постояльцев он прописал с великой охотой.

Конечно, лучшего жилья в теперешние поры было не сыскать. А всё же тяготился Аристарх Платонович. Разумеется, Пряшников был чудесный человек и искренний друг семьи, но, как и все художники, чересчур широк и шумен. Вечно кто-то засиживал у него в мастерской, и отнюдь не на трезвую голову велись там шумные споры. А в соседней комнате шумели, раздражая дедовы нервы, внуки. Девочку Лида родила три года назад. А через год забеременела вновь... Правда, это дитя по голодной поре не выносила. Слава Богу, здоровье Лидии не оказалось подорвано, а не то пропал бы дом.

В Москве дочь тотчас принялась за работу. Бралась решительно за всё, что давалось в её неутомимые руки: переводила, шила, давала уроки иностранных языков.

Вся жизнь её проходила на бегу, без передышки. Нужно было поднимать двоих ребяташек... От Сергея-то в деле этом — много ли помощи? Со всей учёностью своей не мог он устроиться где-либо. Летом подался добровольцем в Помгол, вдохновлённый благородной идеей и призывом Святейшего. Но Помгол ловко и нагло подменили «товарищи», оставив лишь вывеску. Счастье, что хоть не арестовали зятя наряду с другими. Не столь великой птицей был.

Лишь недавно Сергей, наконец, устроился в Наркомпрос, и теперь готовился к первой командировке с целью сбора архивов, уцелевших в разорённых усадьбах. Лида не находила себе места, боясь, как бы не случилось что с её Серёжей. За несколько лет брака то была их первая долгая разлука. И зная способности зятя найти неприятности на ровном месте, Кромиади не мог не признать, что тревоги дочери вполне обоснованы.

На счастье Аристарха Платоновича к концу недели в Москву приехал Алексей Васильевич Надёжин, в распоряжение которого Кромиади оставил свою посадскую дачу. Как раз и простуда отступила, и вместе с неожиданным гостем профессор отважился отправиться ко всеобщей на Патриаршее подворье.

— Не миновать нам теперь смуты церковной, — говорил дорогой Надёжин, который, по-видимому, оттого лишь и сорвался в Москву, что столь же, сколь и Кромиади, нуждался обсудить наболевшее. — Обновленцы не преминут покуситься на захват власти. Читали ли вы, что они пишут? О голоде? О декрете? Ведь это не просто клевета, бесстыдная подмена понятий, а прямое подстрекательство! Они создают среду, фон для расправы...

— Обсудим это дома, дорогой Алексей Васильевич. А пока помолимся...

Они как раз подошли к стенам Троицкого подворья, где пребывал под домашним арестом Святейший.

Служба в храме преподобного Сергия, несмотря на воскресный день, была скромной. Служил простой иеромонах с иеродиаконем. На правом клиросе умело пел небольшой хор. Не сказать, чтобы силы необыкновенной, а зато такая искренность молитвенная, проникновенность такая, что радостно становилось на сердце. Прихожан было немного, и Кромиади с Надёжиным заняли место позади левого клироса, на котором возвышался молодой, но уже весьма известный чтец с редкой красоты голосом и безупречной дикцией. Когда он начинал петь, ему вторил басом патриарший архидиакон Автоном. Мерно, точно следуя правилам, текла служба. И от безупречной правильности, благолепия, рождённой искренностью служащих, красоты её, светлела, утешалась мятущаяся душа.

Когда открылись Церковные врата, Аристарх Платонович вздрогнул. В алтаре, в стороне от престола стоял и молился облачённый в простую монашескую рясу патриарх. Стало тоскливо и совестно перед ним. Совестно за то, что в эти гефсиманские для него часы, храм полупуст. И не идут верующие помолиться со своим пастырем. Может быть, в последний раз. Лишь горстка старух и женщин помоложе из тех, каких среди интеллигенции относят к «иоаннистическому типу», то есть к наиболее ревностным, иной раз и не по уму, почитательницам отца Иоанна Кронштадтского. Что же, они, во всяком случае, не покинут своего пастыря даже на Голгофе. Апостолы попрячутся в страхе, а мироносицы останутся у креста и не отступятся. Если вдуматься, ничего нет в мире, в жизни нашей, о чём бы ни сказано было в евангельских текстах...

Дома профессора Кромиади ожидал немалый сюрприз. Дочь встретила его на пороге, взволнованная,

радостная:

— Папа, наконец-то! У нас гость!

— Кто же?

— Отец Валентин!

Помилуй Бог! Вот уж, действительно, всем гостям гость! Не раздеваясь, прошли с Надёжиным в комнату — приветствовать.

Отцом Валентином он стал лишь пять лет назад. В тот самый момент, когда волна богоборчества обрушилась на Россию. В Семнадцатом году. А прежде был философом и писателем, богословом и общественным деятелем, человеком исключительных дарований, оказывающимся притом не ко двору ни одной партии, будь она политической, церковной или литературной.

Впервые профессор Кромиади увидел Валентина Павловича Свенцицкого в стенах Университета, когда тот поступил на родной ему историко-филологический факультет. Аристарх Платонович сразу оценил быстроту и оригинальность мысли юноши, его талант слова и широту познаний. Несмотря на слабые лёгкие, молодой человек буквально горел желанием служить благу делу, но, в отличие от своих сверстников, видевших таковое в революции, тянулся отнюдь не к ней, а к Богу, на спасительном пути к которому утвердил его не кто-нибудь, а оптинский старец Анатолий.

Валентин Павлович принадлежал к числу людей, которые не могут удовольствоваться неким имеющимся положением вещей, некими чужими нормами и формами. Пытливый и высоко парящий ум жаждал во всём дойти до самой сути, а, дойдя, донести её другим. В то время мировоззрение его определяли идеи Достоевского, Соловьёва, Хомякова, Канта... Вступив в руководимое профессором Трубецким историко-филологическое студенческое общество,

двадцатитрёхлетний юноша открыл при нём секцию истории религии, образовав затем кружок-«орден», в который среди прочих вошёл и Павел Флоренский.

Двадцать с лишним лет — не возраст проповедника. Неслучайно в древние времена лишь по достижению тридцати лет мужи мудрые и духоносные отверзали уста, и сам Спаситель начал проповедовать лишь по достижении этого возраста. Но что делать, когда ум переполнен мыслями, а душа — благими стремлениями? А творящееся вокруг видится тобой несправедливым и преступным?

Великим потрясением стало для Свенцицкого «Кровавое воскресенье». Тем большим, ибо Церковь не нашла нужных в те дни слов, слишком привыкнув за синодальный период быть частью государственной системы. Это огосударствление Церкви виделось Валентину Павловичу величайшим пороком и грехом. И неограниченная самодержавная власть также представлялась религиозно неправой. Молодой философ был убеждён, что Церковь должна возвысить свой голос в защиту — не революции, нет, не абстрактных прав и свобод — но требований христианских, христианской совестью признаваемых справедливыми.

Именно на этой волне им было создано Христианское братство борьбы, проводившее свои собрания, издававшее книги и листовки. Братство, с одной стороны, обвиняли в революционности, с другой, в первобытной религиозности, отторгаемой революционной интеллигенцией. Программа братства имела некоторые отголоски социализма, но в существе своём в корне расходилась с ним. Вера и Церковь стояли во главе угла этой программы, занимали основное место в ней. Устройство экономических и прочих отношений могли носить оттенки тех или иных

общественных учений лишь постольку, поскольку сообразовывались они с христианской правдой.

Правда — вот, что было главным для Валентина Павловича. И оттого так страдала душа его, когда он видел отступление от неё в Церкви. Церковь он любил. Любил сыновне. Его идеалом была свободная Церковь, отделённая от государства, не преступающая заповедей Божиих в угоду законам кесаревым, благословляя власть на несправедные деяния и не укоряя за них. Церковь должна быть совестью государства, не она должна служить и подчиняться Царю, но он — ей, а через неё — Господу. Тогда-то и было бы сердце Царёво в руке Божией. Но на деле — когда оно было в ней? Петрово ли сердце было в ней, когда он ломал Церкви хребет? Или всех его наследников, не смущавшихся титулом главы Церкви и обрекавших её на духовное омертвление?

Идеальное общество, по Свенцицкому, должно было устроиться на началах Христовой любви и свободы, а не на внешних законах. В этих идеях не было ни малейших призывов к новшествам, но жажда восстановления определённого апостолами порядка. И именно поэтому они были обречены на отторжение практически всеми. Революционеры не желали порядка и, хотя грезил о любви и свободе, но без Христа. Власть видела в идеях братства революцию. Так же и Церковь, особенно задетая сочинением Валентина Павловича «Второе распятие Христа», безжалостно обнажившему духовный недуг считающего себя православным духовенства и общества. Недуг, доведший оное в повести Свенцицкого до состояния древних иудеев, фарисеев, распявших Господа. Все слова Христа, явившегося в Москву, были взяты автором из Евангелия, и каждое из них в каждой отдельно взятой сцене бичевало отступление от Него, ставшее повседневным и повсеместным, таким, на какое уже и не обращалось внимание.

Валентин Павлович любил рассказывать, как старый цензор запретил его книгу, а цензор молодой, подумав, предложил запретить и Евангелие, раз большая часть повести цитирует оное. Старик отказался: «К Евангелию уже привыкли...»

Привыкли... Перестали слышать слово Господне, как вечно живое, насущное и обращённое ни к миру вообще, но к каждому сердцу в отдельности. Об этом и напомнил Свенцицкий своей смелой, резкой, как удар бича, повестью.

Он был неутомим в своём служении. Писал, выступал с лекциями. Из-за лёгочной болезни голос его был негромок, но отличался такой силой и вдохновением, лишённым притом экзальтации всевозможных новоявленных «мессий», что речь его завораживала. Со многими его взглядами того времени можно было спорить. Слишком много в них было мягкости к революционерам и террористам, слишком слабо охранительное начало. Но в основе всего этого лежали у молодого философа не какие-то интеллигентские метания, а горячая вера и любовь не к абстрактным идеалам, а ко Христу.

Высшую свободу Валентин Павлович видел в очищении духа от всякого зла и нечистоты, развивая подлинную традицию святоотеческой мысли. Свобода трактовалась им не как разнуздание страстей, но как высшая ответственность. Ибо свобода зиждется на основе сознания своего богосыновства и на ежесекундном сознании своего предстояния перед Отцом. Таким образом, Свенцицкий выступил заочным оппонентом Ницше, противопоставив его безбожному индивидуализму христианский персонализм, плену страстей и похотей телесных — свободное творчество чистой души.

Подлинным событием стал выход в 1907 году книги «Письма ко всем», в которой двадцатипятилетний

философ достиг необыкновенной высоты — исповедальной, покаянной, пророческой. Он не эстетствовал, не упражнялся в выворачивании мыслей для их пущей оригинальности, а просто и прямо говорил. Как на духу. Как надлежало бы всем христианам говорить друг с другом, не прячась за личинами, не ища красивых фантиков для облачения в них правдивого слова. Воистину, правдив и свободен был этот вещий язык...

Тем более громким вышел грянувший через год скандал — призывавший всех к борьбе со грехом, яростно обличающий грех проповедник вынужден был покинуть религиозно-философское общество, публично признав своё грехопадение, плодом коего стали две рождённые вне брака дочери.

Переживая этот тяжелейший кризис, Валентин Павлович покинул столицу и долгое время странствовал по России, не переставая писать под псевдонимами. Путевые очерки, рассказы, пьесы — всё это немало обогатило и русскую словесность, и русскую мысль. И ещё одним пророчеством прозвучала драма «Наследство Твердыниных» — по кончине деспота-деда в купеческой семье вслед за радостью воцаряется хаос, и свободные домочадцы вздыхают: «Теперь все хозяева стали — все тащут», «При дедушке гораздо было лучше»...

Он изъездил всю Россию, встречался с монахами-отшельниками на Новом Афоне, был близок со старообрядческим епископом Михаилом (Семёновым)... Наконец, женился на дочери священника и в Семнадцатом году был рукоположен в священники митрополитом Петроградским Вениамином. Известно было, что вскоре после этого судьба занесла отца Валентина на Юг, где зарождалась Добровольческая армия, далее след его терялся.

И тем удивительнее было увидеть его теперь сидящим в этой гостиной, с самым спокойным видом пьющим горячий чай, отогревающим о чашку мёрзнувшие руки. Прошедшие годы, как ни странно, мало изменили его. Всё та же худощавая, гибкая фигура, большой, прекрасно очерченный лоб, приятные черты бледного лица, обрамлённого мягкими, каштановыми волосами, пронзительный взгляд серо-зелёных удивительно глубоких, печальных глаз, в иные мгновения словно вонзающихся в собеседника. И тот же негромкий, ровный голос.

Степан Антонович, устроившись на подоконнике, быстро набрасывал карандашом портрет гостя. А сам гость, лишь недавно, как выяснилось, прибывший в Москву¹⁸, с воодушевлением рассказывал о Белой Армии, с которой прошёл практически весь её крестный путь:

— Три тысячи юношей — вот что дали города и станции с миллионным населением! И эти юноши все были почти такие же беглецы, пришлецы из России, как и их вождь. И с такой армией — боговдохновенный вождь пошел завоевывать Россию! Горстка героев-мучеников — против полчищ... Признаюсь, я до сих пор не могу простить себе, что тогда, вначале, не понял высоты этого подвига, не пошёл с ними. Я полагал, что злу нужно достигнуть апогея, и тогда оно самоуничтожится. Как нарыв... Я рассуждал ещё слишком по-житейски!

— Эти боговдохновенные вожди, батюшка, в своё время предали Божия помазанника, — хмуро заметил Пряшников. — И ведь ни один из них так и не посмел заикнуться о Царе. На том погорели.

— Помилуй Бог, Стёпа, да не ты ли в восемнадцатом рвался на Дон? — воскликнул Сергей.

— Я надеялся, что они не побоятся поднять стяг Государя.

— Добровольческие вожди, Степан Антонович, поставили во главу угла принцип внепартийности, и были правы, — отозвался Свенцицкий. — Человек, связанный с партией, порабощён частью и не видит целого. Ему его партия, его догма дороже, чем сама Россия!

— Служение Царю — это не партия!

— Если это служение становится идеологией, ставимой выше всего прочего, то всё одно — партия!

— Вы, отец Валентин, Царя никогда не любили! Террористов миловать призывали... Домиловались! Теперь они всю Россию в крови утопили. Как это, я удивляюсь, вы ещё армию поддержали? Вы ведь, помнится, проповедовали, что нельзя насильем ограничивать свободу, что убивать нельзя?

Лидия нервно заёрзала на стуле, явно ища способа прервать нападки Степана Антоновича на гостя, но отец Валентин принял отповедь смиренно:

— В ваших словах немало справедливого укора. То, что я увидел за годы гражданской войны, заставили меня взглянуть по-иному на некоторые вещи. Впрочем, мою мысль вы исказили. Я как раз утверждал, что отнюдь не всякое насилие есть ограничение человеческой свободы. Сейчас же скажу твёрже: злу нужно противостоять всеми возможными христианину средствами. Мечом и крестом нужно искоренять его! — при этих словах глаза священника потемнели, словно перед ними вживую предстало всё то страшное, что довелось увидеть ему.

— Крестом — это понятно, — промолвил Сергей. — Но всегда ли оправдан меч? Этот вопрос, отец Валентин, давно тяготит меня. Я не разделяю учения Толстого... Его учение — это... сухая догма. Плод гордого ума. Заповеди любви, лишённые самой любви.

Мертвечина, подмена... Но всё же вопрос остаётся открытым. В каких случаях применение силы может быть оправдано? И можно ли убить человека?

— Человека нельзя, а злодея необходимо! — горячо заявил Пряшников. — И мне, друг ты мой, ей-Богу страсть как хочется иногда огреть тебя чем-нибудь увесистым по темечку, когда ты пускаешься в подобные рассуждения!

— Степан Антонович высказался немного упрощённо, но по сути — справедливо, — произнёс отец Валентин. — Вас, Сергей Игнатьевич, до сих пор не оставляют эти вопросы, потому что вы не видели войны...

— Я знаю об ужасах, творимых большевиками. Два года назад они расстреляли кузена моей жены. За то, между прочим, что он на допросе объявил себя монархистом.

— Я знаю о вашем горе, Лидия Аристарховна мне рассказала. Однако же, это немного не то. Вы видели распятых на мельничных крыльях сестёр милосердия? Целые семьи, сожжённые заживо? Человеческую кожу, снятую заживо? Я прошу прощения, что говорю об этих ужасах. Но ведь я видел их собственными глазами! В станицах, в селах и городах, которые оставляли отступающие большевики! — в голосе отца Валентина послышалось волнение. — Вы спрашиваете, Сергей Игнатьевич, когда оправдано насилие. Перечтите «Оправдание добра» Соловьёва. Там есть и об этом! Поймите, бывают ситуации, когда насилие, «преступление» неминуемо. Вопрос лишь в том, в отношении кого оно будет осуществлено. Простой пример! Вы идёте по улице и видите, что злодей убивает невинного. Каковы ваши действия? Вы можете по примеру сумасшедших толстовцев сложить руки крестообразно и пройти мимо, представив убийце спокойно довести злодеяние до конца. Как вы

полагаете, на ком окажется кровь жертвы? На одном ли лишь прямом её убийце? Или, быть может, в не меньшей степени на том, кто мог отвратить руку злодея, но не сделал этого, замкнув слух от слёз жертвы? Другой вариант: вы бросаетесь на злодея и убиваете его, тем самым спасая жизнь невинному. И в том, и в другом случае вы убийца. Но в первом — убийца души невинной. А во втором — убийца злодея и спаситель этой самой невинной души. Что предпочтёте?

Сергей не ответил, а священник продолжал:

— Мы можем не защищать самих себя, это наше дело. Но не защищать других мы права не имеем. Отец, не защищающий дочери от насильника, поступает ли по-христиански? Солдаты, имеющие оружие, уходя из села и оставляя его жителей на расправу большевикам, поступают ли по-христиански?

— А власть, милующая террористов, поступает по-христиански? — усмехнулся Пряшников.

— Власть должна поступать по-христиански для начала в создании таких условий жизни, такой духовной атмосферы, чтобы юношество не хваталось за бомбы и револьверы...

— А как же «поднявший меч мечом погибнет»? — спросил Сергей.

Кромиади с тоской покосился на зятя. К чему спрашивает? Можно подумать, сам он поднимет меч! Да никогда такого не будет. Даже, если злодей нападёт на его жену. Для того, чтобы поднять меч в защиту правды, необходима сила духа, этой правдой питаемая. Твёрдость и воля необходимы. Характер. А у Серёжи разве есть он? Николка-племянник, пожалуй, мог бы. Как он прекрасен был в свои последние часы! Добился один из «ручных коммунистов» свидания с ним накануне расстрела. Мальчишка... Сиял в сознании своего подвига. Впрочем, положа руку на сердце, его подвиг отчасти условен был. Последняя стадия чахотки,

впереди считанные недели тяжёлого угасания... Если выбирать себе смерть, то расстрел и гордая поза перед палачами в столь молодые годы предпочтительнее.

Лидия, бедняжка, плакала:

— Зачем, зачем ты сказал им, что ты монархист?

Николка бледно улыбнулся, заблестели глаза:

— А знаешь, какое это упоение — им в лицо, не вертясь и не подбирая слов, всё, что думаешь о них, вывоздить? Никто не смеет, все перед ними лебезят, вымаливают жизнь, а ты говоришь правду. Ах, сестрёнка, нет выше свободы, нежели свобода говорить правду! Право на такую степень свободы только смерть даёт. Но эта смерть легка... Потому что душа не отяжелена ничем. С лёгкой душой смерть лёгкая.

Он, и в самом деле, счастлив был. Он, смертник, был за несколько лет, кажется, единственным счастливым человеком, которого видел Кромиади. Достоевский устами самоубийцы Кириллова сказал, что высшая свобода — это, когда нет разницы, жить или умереть. В этом смысле, свобода скоро восторжествует, ибо живые и теперь уже завидуют мёртвым...

Между тем разговор продолжался. Оживившийся отец Валентин, отнюдь не утративший за прошедшие годы полемической хватки, спокойно и уверенно разъяснял Сергею:

— А вы никогда не задумывались, о ком эти слова Спасителя, кому они адресованы? Помните, Господь сам благословил учеников взять мечи с собою в Гефсиманский сад. Зачем, если от них и погибнут? А теперь представьте ночь. Безоружный Христос. Вокруг толпа стражников с мечами и кольями... Сергей Игнатьевич, кто поднял меч первым? Правильно, рабы первосвященника. И они-то и погибнут от меча. И о том говорит Господь Петру, удерживая его от бесполезной схватки, которая могла стоить ему жизни. А все эти лицемерные трактовки о недопустимости убийства ни

при каких обстоятельствах — они от лукавого. Они призваны деморализовать христиан, развить духовную расслабленность, чтобы облегчить принятие Антихриста. Христос — это не абстрактный хороший человек, не евший мяса, из трактований Толстого, а муж силы, а потому и мы, сыновья его, должны быть сильны, — после паузы он добавил: — В правде сильны.

— Разобрать бы ещё в нашей смуте, где она, эта правда, — вздохнул Сергей.

— В четырёх Евангелиях. В десяти заповедях. В том же, в чём во все без исключения времена. А смута как раз и рождается от непонимания этого. Свято место пусто не бывает. Где нет Бога, там станут хозяйничать бесы. Спасение России сегодня не в политических доктринах, не в экономических построениях, а в одной лишь Церкви. В той, что в нас самих, — отец Валентин поднёс руку к груди. — Которую не разрушить. В каждом человеческом сердце. Сердце человека — Божий престол. И доколе оно не утвердится в Боге, будет игрушкой в руках разномастных бесов, будет разрываемо всевозможными химерами, лживыми идеями, тленными кумирами. Вот, оно рабство! Вместо свободы во Христе несчастные люди выбирают рабство в некой идее — разве это не страшно?

— Но ведь бывают и здравые идеи, — возразил Пряшников, отложивший блокнот и теперь расхаживающий по комнате пружинной походкой.

— Бывают, — согласился доселе молчавший Надёжин. — Проблема в том, Стёпа, что ни одна идея не может объять всего. Любая идея ограничена, узка. Идеи, вообще, подразделяются на две категории: ложные и ограниченные. Первых несравненно больше. Знаете, у кого более всех идей? Да у бесов же! У них тысячи идей! И они вбрасывают их осколками тролля в людские умы и души, и начинаются войны. За идеи! Люди, никогда не видевшие друг друга, не сделавшие

друг другу зла, возможно, и вовсе не сделавшие в жизни никакого особого зла, начинают ненавидеть друг друга только потому, что расходятся в идеях! Может ли быть что-то нелепее? Скажу больше, большинство идей являются следствием преступления. Всякое преступление, даже тяжкое, ещё не так страшно само по себе. Но страшно его оправдание. Оправдание преступления нередко вырастает в целую идеологию, зачастую совершенно извращённую. Идеологию, которую измышляет помрачённый разум падшего человека для оправдания собственного падения. Либо же сначала придумывается идеология, но с целью обосновать готовящееся преступление. Так очень многие идеи явились. Большевизм — яркий тому пример. Есть категория идей иных. Здравых, как ты их называешь. Против них, может, и нечего особенно сказать. Но все они, в сущности, что такое? Части одной Истины. Зачем нужна часть, когда дано целое? Ищите целого, а не частей. В частях никогда не будет гармонии. Гармония — удел целого. А, главное, никогда не порабощайте целого части, не порабощайте Истины идее. Даже самой правильной и прекрасной. Не ставьте земное во главу угла, иначе все построения будут напрасны. Для меня, Стёпа, например, не менее твоего дорог идеал Царя Самодержавного, но! Есть то, что выше Царя. Подходя по примеру разных шатовых к Божию с жалким земным мериллом, мы сами подменяем Божие человеческим, первородство чечевичной похлёбкой.

— Что же, ты станешь отрицать, что без Царя Православного России не возродиться? Это даже Аполинарий Михайлович¹⁹ в последнее время понимать стал! С братом замирились на том в спорах своих!

— Это, Стёпа, уже судьбы Божии. Мы того знать не можем. Но могу сказать тебе, что с идеей Царя нам

теперь ой как осторожно надлежит обходиться!

— Почему вдруг?

— А потому что народ наш на Иванов-Царевичей падох. Подумай, кого возведут на престол, если в душах прежде того Бог не укоренится? Царя ли? Или Двойника? Самозванца? Тушинского вора? Если идея Царя завладеет умами прежде духовного возрождения, то беда будет! Представьте себе духовно одичалый народ, в помутнённом сознании которого рождается идеал — Царь Самодержавный. Ищут его. Алчут его. Зовут его...

— Не стоит представлять наш народ сборищем оглашенных! Русский народ — народ-богоносец...

— Матросы, сдиравшие кожу с живых людей, тоже богоносцы? А те изверги, что привязали старика-епископа к конскому хвосту? Или те, что насильовали монахинь, а затем, изувечив их, живьём закопали в землю? — отец Валентин хрустнул пальцами. — Нет, Степан Антоныч, никакого народа-богоносца. Есть горстка верных, мечом и крестом воюющих против тьмы, а есть прочие, среди коих довольно и таких изуверов, о которых я упомянул. Святитель Игнатий ещё в прошлом веке предрекал, что Антихрист явится именно в нашей стране. И будет Царём и Первоиерархом одновременно. И это весьма возможно!

— Иногда мне кажется, что его время уже настало... — вздохнула Лидия.

— Ни в коей мере, Лида, — покачал головой Кромиади. — Его время ещё не пришло. Антихрист не будет ни воителем, ни разрушителем. Этим занимаются другие. Его предтечи. Их задача подготовить почву. Истребить христианство в душах, погрузить расхристанное человечество в некий тонкий сон, сон разума, в котором сны, навеваемые искусными их фабрикантами, заменят реальность. Люди перестанут ощущать её, живя иллюзией и ею руководствуясь в

своих шагах. Мир, между тем, будет ввергнут в хаос. Войны и всевозможные бедствия захлестнут его. И тогда мир возалчет «спасителя». Того, кто сможет мудро управлять им и дать людям то, что сделается для них единственно важным — наслаждений! И тогда он явится. Во всём блеске! Он будет силён. Умён. Образован. Его речи будут мудры, а манеры безупречны. Ему не будет равных в умении подать себя, в лицедействе. Он примирит враждующих и снискает себе славу миротворца. Отметится рядом благих дел. Одним словом, облагодетельствует убогих, построит нечто грандиозное, возродит дорогие людям символы, смешав их воедино так, что они нейтрализуют друг друга. Видящие спасение не во Христе, а в Царе земном неминуемо признают его таковым и поклонятся ему. Церковь, разумеется, поклонится ему прежде всех, потому что о ней он будет заботиться. О золоте её куполов, о сытости её служителей. И первый из служителей её станет его правой рукой и будет чудотворить на радость алчущим чудес, которые не в состоянии окажутся уразуметь, что чудеса его бессмысленны. Христос не творил знамений небесных, все чудеса его имели смысл, все они совершались для людей, из любви к людям. Лже-чудотворец последних времён, пожалуй, заставит небо преобразиться каким-нибудь фокусом, но никогда не исцелит страждущего и не умножит хлебов. Но фокусы будут иметь огромную силу воздействия, и творящий их будет превознесён, тем самым укрепив авторитет благодетеля, которого провозгласит посланцем небес с тем, чтобы он возглавил Церковь. Возглавив Церковь, уже подготовленную к тому длительным разложением её, он окончательно реформирует каноны, и, в конце концов, станет главой единой вселенской церкви, *своей церкви*. И все племена объединятся под его десницей. Он сможет на какое-то время создать видимость

сытости. Сытости и веселия. О, весело будет! Ещё как! Адское веселье закружит всё и вся. Это будет всеобщий экстаз... Счастливейшее рабство духа и разума, избавленных от бремени свободной воли, для несение которого нужна сила.

И лишь малое стадо будет скрываться от неё в пещерах и лесах. Тогда забудутся различия национальные. И даже религиозная принадлежность станет не главной, как это ни странно. Ибо всякий, кто выступит против Антихриста, против лжи, окажется на стороне правды, а правда всегда заключает в себе начало божественное. Правда — дыхание Святого Духа. Господь сказал, что простится хула на Отца и Сына, но не простится на Духа Святого. Почему? Потому что это и есть Правда. Правда, живущая в сердце каждого не предавшегося Дьяволу человека, будь он даже не христианской веры. Воспитанный в иной вере может не знать Отца и Сына, но не знать Правды, если душа его чиста и честна, он не может. Последние дни выявят это, так как главный вопрос будет один: принял ли ты печать Антихристову или отрёкся от него, вступил в борьбу с ним. Это очень хорошо показал Лев Александрович²⁰ в своём последнем сочинении...

Когда произойдёт воцарение Антихриста, и все, по слову апостола, рекут мир, начнётся погибель. Призрачное благоденствие исчезнет, потому что Он не способен создавать что-либо, кроме видимости. И повсюду придут бедствия, каких ещё не бывало со дня творенья.

— Прелюбопытную картину Апокалипсиса вы нарисовали, — задумчиво произнёс Пряшников. — Что ж, я не силен в богословских вопросах и спорить со столь искушёнными в них людьми не могу. Но мне всё же досадно ваше единодушное отрицание важности

роли Царя. Разве не он, не Царь Православный — удерживающий?

— Никто не отрицает важности Царя, — ответил Надёжин, поглядывая на висящие сбоку от него стенные часы. — По мне так Русь Святая никогда не возродится без Царя Православного. Но речь совсем о другом. Об опасности очередной подмены. О том, что несчастному народу нашему в его духовно заблуждённом состоянии под видом Царя Православного могут подсунуть нечто вовсе противоположное. О том, что нужно быть осторожными и мудрыми. Не подменять Истину вымышленными идеалами, как бы прекрасны они не казались. И самое главное не забывать, что Царь Небесный выше Царя земного, что спасти Россию может лишь только Царь Небесный, Ему одному ведомыми путями. В обожествлении России и Государя мы рискуем скатиться в банальное зилотство.

— Почему же рискуем? — пожал плечами отец Валентин. — Большая часть черносотенцев всегда была поражена недугом зилотства. Для них материальное — государство, Царь, кровь — неизменно имели куда большее значение, чем духовное. А Антихрист, пусть и не лично пока, уже действует в мире. Действует его дух, разрушающий церковь, государства и отдельно взятых людей. Скоро мы увидим много самых страшных примеров этому...

Более десяти лет назад Валентин Павлович Свенцицкий написал роман под названием «Антихрист», в котором с достойной Достоевского глубиной психологически тонко исследовал порабощение Антихристом отдельно взятой человеческой души, исследовал феномен двойничества, столь роковой для русской истории. Двойничество особенно ярко впервые проявилось у нас при Иване Ужасном, иначе называемом Грозным. Когда именуемый себя

православным Царь создал чёрное братство и стал его «игуменом». Монашеские одежды мешались с собачьими головами, молебны с оргиями. Под видом «христианского братства» стал, по сути, действовать сатанинский орден. Двойничество было основной приметой этого царствования, в котором молитвенные экстазы смешались со звериной жестокостью и кощунством. И никто иной, как грозный царь подорвал божественный статус собственной власти, на два года посадив на престол для очередного безумного спектакля царевича-инородца... Так и пошла с той поры традиция самозванства на Святой Руси...

Двойничество в русской жизни усугубил и укоренил раскол. Когда страха ради властного на людях крестились православные тремя перстами, а дома двумя. Так бездумно подломили тогда основной стержень русской души, внесли в неё лукавство в делах Божьих, церковных, и тем расслабили её, сделали податливой к дальнейшим уступкам и компромиссам с собственной совестью...

Так и пронеслось затем по всей истории: с одной стороны, Царство Православное, с другой — безбожная Империя, от Христа отступившая в погоне за иноземной модой. Одной рукой крестились в храмах, а другой разрушали христианские, церковные основы жизни.

А на рубеже веков двойничество явило такие примеры, как верующие террористы, искренне полагающие, что метание бомб — богоугодное дело...

Что должно происходить в таких надвое разорванных душах? Отец Валентин пытался понять это, показывая внутренний мир человека, в душе которого поселился двойник. Постороннее, враждебное *нечто*, начинающее управлять им. По виду человек благочестив, религиозен, ведёт праведную жизнь, а внутри него действует и ведёт его тёмная сила, которой он не может противостоять. Страшное воистину

положение! Страшный процесс перерождения человека. Обличье его остаётся неизменным, а нутро постепенно заменяется другим.

— А ведь мы уже видим их, отец Валентин, — тихо произнёс Кромиади, вспомнив суетливых антихристовых служек в рясах из обновленческого духовенства. Ведь не один год служили эти люди Господу во храмах! Ведь избрали они для чего-то путь служения Ему в свои юные, ещё непорочные годы! Что же приключилось в их душах, что сделались они оборотнями?..

Хоть и не поделился профессор своими размышлениями, но Свенцицкий как будто понял их и без слов, кивнул красивой головой, в иные мгновения напоминавшей образ Спаса, вымолвил медленно:

— Да, Аристарх Платонович, мы видим...

Глава 3. Двойник

«Дано сие протоиерею Александру Иоанновичу Введенскому, настоятелю церкви Захарии и Елизаветы в Петрограде, в том, что он, согласно резолюции Святейшего патриарха Тихона, является полномочным членом ВЦУ и командировается по делам Церкви в Петроград и другие местности Российской Республики»... Вот оно, свершилось! Ещё рывок, и возжеленная цель будет достигнута! Не Тихоны, не Агафангелы, не Вениамины станут у кормила церковной организации, а он, Александр Введенский. Давно пора на свалку истории всем этим закоренелым ретрографам, не понимающим, что нужно сбросить ветхие одежды допотопных уставов, стеснительных для людей деловых и талантливых. Давно пора было отодвинуть их. Да что там! Сбросить прочь... В Семнадцатом это не удалось. Но уж теперь не сорвётся, уж теперь-то наша возьмёт! Потому что за нами теперь — сила. Такая, с какой не тягаться всем этим простофилям в белых клобуках...

Поезд вздрогнул и, медленно набирая обороты, тронулся вперёд. Впереди — Петроград. И новая схватка, новая игра, новая миссия. Перед тем бы выспаться в дороге. Восстановить нервные силы, коих немереное количество отняли последние дни. Исторические, воистину, дни, в которых он, Введенский, играл главную роль!

Но сон не шёл к Александру Ивановичу. Слишком возбуждён он был, чтобы спать. Прокручивались в беспокойном уме последние события... Совсем недавно он с Боярским, Красницким и Белковым ехал в таком же поезде в обратном направлении: в Москву. И как раз на подъезде прочли в газете вердикт по делу пятидесяти четырёх... Расстрел! Как током ударило Введенского,

заплясали буквы перед глазами. Не готов он был к такому. Доносить, предавать, обманывать, отправлять в ссылки и тюрьмы... Ко многому готов, но... расстрел? Но — к убийству невинных руку приложить?

— Да что же они делают! — вскрикнул, заламывая руки.

Нельзя же! Нельзя! Ведь такой суровостью мер они оттолкнут народ от той части духовенства, что им союзна! Всю игру испортят!

И в отчаянный этот миг встретился Александр Иванович глазами с другом старинным — тоже Александром Ивановичем. Боярским. А тот смотрел на него с презрительной насмешкой на широком, таком типичном для простого русского попа лице. Вот уж мерзавец из мерзавцев. За короткий срок успел возненавидеть его Введенский. Ведь тем же самым в точности занимается, а ставит себя так, точно бы это Александр Иванович подлец и доносчик, а сам он — непорочный исповедник! Всегда в его взгляде презрение чувствовалось, почти брезгливость. И вспоминался тогда некстати митрополит Вениамин. Его неизменно кроткий, сожалеющий взгляд, каким отец смотрит на блудного сына, в каком не находилось места презрению...

Тут ещё Красницкий подлил масла в огонь. Невозмутимо прихлёбывая чай, отвесил:

— ГПУ — организация серьёзная, Александр Иванович. Шуток шутить не любит.

Брошенные Красницким слова ещё больнее уязвили Введенского.

— Ах, Владимир Дмитриевич! Нам же такое дело предстоит! Нельзя его так начинать!

Красницкий погладил бородку, ответил певуче:

— Мы, отец Александр, люди маленькие. Начальству виднее!

Как сговорились! Введенский досадливо махнул рукой, выскочил из купе, прислонился пылающим лбом к окну. Пульсировала кровь в висках, подобно мыслям. И из морока их, наконец, выбилась главная, спасительная: они сами виноваты. Эти пятьдесят четыре и им подобные. Нечего строить из себя исповедников и тянуть за собой тёмный народ, нечего противиться неизбежному и необходимому. Всё ветхое и отжившее должно отойти, уступить место новому. Так поделом же им!

С тем и вернулся успокоенный. Кинул неодобрительный взгляд на мелко дрожащего в углу псаломщика Стаднюка, которому надлежало представлять «демократическое низшее духовенство». Размазня. Что он может представить? За всю дорогу рта не раскрыл.

Белков качал головой, крутя в руках газету:

— Всё же, отец Владимир, это большая ошибка. Публика будет сочувствовать мученикам, а мы в её глазах предстанем в невыгодном свете.

Красницкий лукаво ухмыльнулся:

— А вы что же, отец Евгений, в ГПУ шли, чтобы народную любовь снискать?

Это уже слишком было! Введенский почувствовал нестерпимую духоту и поспешно открыл окно, впуская в купе струю ветра. Владимир Дмитриевич поморщился:

— Закройте окно, отец Александр! Читать же невозможно!

Введенский болезненно дёрнулся и снова выбежал на вагонную площадку.

Уже и к Николаевскому вокзалу подъезжали. А здесь ещё одна неприятность ждала довеском. Сестра. Уж от неё-то не ждал подобного! Она и вовсе никогда верующей не была! А тут напустилась прямо на вокзале:

— Опомнись, Саша! Ты не понимаешь, что ты делаешь! Ты разрушаешь Церковь, а Церковь, как говорит Лёва, должна сокрушить большевиков!

Ну, если Лёва говорит — то спорить не приходится! Большевиков они сокрушить собрались — скажите! А на кой сокрушать их? Чтобы вернуть патриархальные времена, в которые Александру Ивановичу никогда бы не дали занять достойное его место? Покорнейше благодарен!

— Ты понимаешь? Понимаешь? — заходила сестра, хватая его за руку. — Я не верю ни в какую Церковь, но я должна тебе сказать, что тоже записалась в приход и даже уже причащалась в этом году, хотя для меня это — всё равно что выпить чаю!

Что взять с дуры? В приход она записалась! Клуб по интересам нашла! Но Лёва-то! Лёва! Преуспевающий столичный адвокат — и вдруг подобная чушь? Морщился Введенский, косился на своих спутников, но не смел прервать сестры, как бывало ещё в детстве... А она, неуёмная, наседала требовательно:

— Ответь мне: ты понимаешь, Саша, что ты делаешь?

Александр Иванович замялся:

— Послушай... Давай обсудим это дома? Вокзал не самое подходящее место, ты не находишь?

Сестра вздрогнула, испуганно замотала головой:

— Нет-нет! К нам сейчас нельзя! У Лёвы такая клиентура! Что они подумают, если увидят тебя у нас?

В самом деле? Что ж это за клиентура такая контрреволюционная? Вот бы товарищ Мессинг заинтересовался! Да и другие товарищи — не меньше! Введенского всё больше захлёстывала злость. Родная сестра — и то против него! Кровь прилила к лицу, и он уже готов был сказать резкость, но в этот момент в разговор вмешался неизменно рассудительный Красницкий:

— Полноте вам обоим! У нас номера в гостинице заказаны. Устроимся там, а после всё обсудите.

На том и сошлись. С сестрой Александр Иванович простился натянуто и, само собой, не поспешил затем к ней для обсуждения животрепещущего для неё вопроса. О чём было говорить с нею? И с Лёвой? Как отрезаны оказались они. А ведь когда-то, кто бы мог подумать, были близки. И живя в столицах. И, конечно, особенно раньше, в Витебске...

Витебск! Этот замшелый, окраинный городишко Введенский вспоминал редко. Да и что было вспоминать? Местечковую грязь, пошлость провинциальной буржуазии, вечно читающего нотации отца... Отцу Александр не мог простить того, что он, имея ум и способности, окончив историко-филологический факультет Петербургского университета, довольствовался местом директора витебской гимназии и не пытался вырваться из этого гнусного провинциального болота. Добро ещё, что не кончил, как дед, псаломщик из евреев-кантонистов, ставший пьяницей и насмерть замёрзший ранней весной.

В себе Александр с детских лет чувствовал призвание к делам великим. Он убеждён был, что судьба его будет исключительной и он достигнет в жизни высот, которые даются лишь избранным. Вот, только в какой области лежали эти высоты?

От наблюдательного взгляда не укрылось, что наибольшим почётом пользуются вожди духовные. Апостолы. Святые. Страстотерпцы. И иерархи, ни за что, ни про что присвоившие толику этого величия.

Однажды в Витебск приехал отец Иоанн Кронштадский, и вся семья Введенских пришла на его службу. Александр, в ту пору ещё гимназист, был потрясён. Он видел, с каким благоговением и восторгом смотрели люди на батюшку, как некоторые постилали

свои одежды на его пути, встречали цветами и дарами...

Александр очень хотелось получить такой же почёт, но как? Он вовсе не был готов изнурять себя постами и молитвами, терпеть муки и лишения. Более того, он и к монашеству готов не был, так как имел большое влечение к женскому полу и встречал в нём полную взаимность. Чтобы достичь чаемых высот, нужно изменить себя. Но это задача слишком непосильная, путь слишком долгий. Куда проще сокрушить не своё естество, а тот институт, устройство которого препятствует достижению цели. Если невозможно изменить себя для Церкви, то нужно Церковь изменить для себя.

С этой пока ещё лишь едва зародившейся в его мятущейся душе идеей, которой он вначале испугался сам, Александр явился к ректору Петербургской духовной академии епископу Анастасию. Владыка окинул его изучающим взглядом и осведомился:

— Что вам, собственно, нужно от нас, молодой человек?

— Знаний! — горячо выдохнул Введенский, стараясь придать голосу как можно больше искренности и чувства.

Но артистизм не сработал. Епископ поморщился:

— Полно вздор нести! Ведь вы окончили университет!

Александр потупился и ответил стеснённо:

— Я хочу стать священником... Но меня не берут! Вот, я и решил приобрести диплом духовной академии...

Оскорбительный тон епископа он не забыл. Как не забывал ни одной, даже самой малой обиды, когда-либо полученной. Как не забыл возмущённого возгласа рукоположившего его епископа Гродненского Михаила на своей первой литургии:

— Не смей! Немедленно прекратить! Нельзя так читать Херувимскую!

Ах, как оскорбительно это было! Такая пощёчина при прихожанах! Почему нельзя было читать так? Почему непременно нужно было следовать каким-то за давностью лет давно утратившим актуальность канонам, а не творческому вдохновению?

По счастью, в Гродно пришлось задержаться ненадолго. Начало войны застало его священником расквартированного в Новгородской губернии запасного полка, но это место службы Александр Иванович вскоре покинул, перебравшись в столицу. Здесь куда легче было найти благодарную аудиторию, с пониманием относившуюся к творческому подходу и новизне. Среди интеллигенции Введенский сразу стал своим человеком, так как умел исключительно тонко понимать её психологию. Вот, к примеру, один университетский профессор однажды посетовал, что при всей любви к Церкви стесняется ходить на службы:

— Это, простите, что-то вроде дурного общества. Мне будет совестно показаться коллегам, если они узнают, что я хожу на литургию.

Александр Иванович сразу с пониманием откликнулся:

— Может быть, вам ходить на раннюю обедню? Тогда коллеги не узнают.

— Да-да... Разве что ранняя обедня...

Ещё в 1905 году группа духовенства присоединилась к революции, сформировав левый кружок, известный под названием «тридцати двух священников». В упоительные первые дни революции Семнадцатого отдельные его члены решили организовать всё прогрессивное церковное общество во «Всероссийский Союз демократического духовенства и мирян». На первом месте у этого общества стояли цели революции и установление республиканского образа

правления, а на третьем — реформа в Церкви. Председателем избрали священника Димитрия Попова, а секретарем — Александра Ивановича. Новые пути стремительно открывались перед ним, и с тем большей энергией он выступал на всевозможных собраниях, участвовал в диспутах, производя своим красноречием и артистизмом большое впечатление на слушателей, особенно, на дам, писал в газеты.

Потребовалось ещё несколько лет, пока по завершении Гражданской войны, правительство с должным вниманием отнеслось к своим союзникам в Церкви. И обратило внимание, в первую очередь, не на какого-нибудь, а на Александра Ивановича. И не абы кем, абы где был он принят, дабы обсудить перспективы развития Церкви, а самим Зиновьевым в Смольном! Именно ему предложил Введенский давно лелеемую идею конкордата по французскому образцу. Он был уверен, что Зиновьев согласится с этим предложением, но, увы, Григорий Евсеевич рассуждал иначе:

— Конкордат в настоящее время вряд ли возможен, но я не исключаю его в будущем... Что касается вашей группы, то мне кажется, что она могла бы быть зачинателем большого движения в международном масштабе. Если вы сумеете организовать нечто в этом плане, то, я думаю, мы вас поддержим.

Международный масштаб! Введенский ли не желал того? Конечно, обновлённая русская Церковь могла бы вести широкую работу на международной арене. И совсем иначе бы стал звучать её голос, голос открытой, освобождённой от вековых предрассудков Церкви, а не той закостеневшей организацией, членов которой Запад презрительно именуется схизматиками.

Но до этих грандиозных деяний было ещё далеко, а пока пришлось ехать не в солнечный Рим, а на Шпалерную, и вести переговоры не с римским

понтификом, а с главой Петроградского ГПУ Станиславом Адамовичем Мессингом. От него Александр Иванович получил задание: написать вместе со своей группой открытое письмо, обличающее патриарха и митрополита Вениамина в нежелании помогать голодающим.

О голодающих Введенский писал и прежде. Ещё в самом начале кампании по изъятию церковных ценностей он выпустил обращение «Церковь и голод», в котором, оплакивая страдания голодающих, бросал обвинение всему христианскому миру в душевной чёрствости. Одновременно в газетах было сообщено, что приход самого Александра Ивановича активно помогает голодающим.

Игра была начата. И Введенский был готов написать ещё хоть сотню слёзных статей о муках несчастных, ужасах самоедства и людоедства... Но одно дело абстрактные печалования и абстрактные же обвинения всему христианскому миру, а совсем другое публичный донос, который потребовал от него Мессинг.

Александр Иванович содрогнулся. Совсем не тот блестящий путь, о котором он грезил, открывался перед ним. Некто, уже почти заглушённый, в самой глубине души называл вещи своими именами. И болезненно уязвляли эти имена... Но голос того внутреннего человека, парящего юноши с амбициозными мечтами, уже едва-едва слышался. Его теснил другой. *Другой*, однажды поселившийся в душе и вскоре ставший по-хозяйски распоряжаться в ней. Иногда Введенского охватывал страх. Он понимал, что уже практически не властен над своими чувствами и поступками. Что *другой* истребил в нём его самого. Ведь, когда он впервые говорил о голоде, то непритворно ужасался человеческому страданию. Но этого ужаса хватило на считанные мгновения, а затем живописание чужого горя стало ремеслом. И о слезах умирающих детей

перестало думаться вовсе, а только о том — как то или иное слово отразится на деле, сильнее ударит по чужим нервам. Эти слёзы растворялись в чернилах, а от описания всевозможных ужасов *другой*, живущий в душе, не только не содрогался, но чувствовал что-то схожее со сладострастьем...

И, вот, теперь донос... Да ещё и — на митрополита Вениамина. Того самого владыку, который возвёл его в сан протоиерея и приблизил к себе, и часто брал с собою в поездки.

А всего хуже, что донос — это серьёзный урон собственной репутации. Сотрудничества с ГПУ интеллигенция может и не простить. А терять её расположение Введенскому совсем не хотелось. Уже и без того кричали ему из зала после «Церкви и голода» в открытую:

— Предатель! Враг Церкви!

И откуда-то с задних рядов холодно-увесистое:

— Иуда!

И от этого изменял обычный дар слова, и вместо вдохновенной речи выходил лишь лепет:

— Я лишь хотел всколыхнуть совесть прихожан...

Что-то после доноса будет?

Но идти на попятную поздно. Уже накинута петелька на горло — пой, как велено, а не то затянется.

Письмо было написано. Но даже подписи кое-кого из «своих» Александр Иванович поставил, не спросясь. И по опубликовании доноса не все из них остались довольны таким самоуправством. Более всех раздражён был старый приятель Боярский. Уважаемый и любимый своими прихожанами потомственный священник, он, оказывается, вовсе не намерен был сотрудничать с ГПУ. А пришлось. Стоило ему не в меру горячо высказать Александру Ивановичу своё неудовольствие, как следом пришлось объясняться со Станиславом Адамовичем. А тот пояснил всё отцу Александру просто и

недвусмысленно... Так как к мученичеству Боярский был не готов, то выбора у него не осталось. Уловили и эту пташу в силки.

А дальше целая охота развернулась! Поручил Мессинг Александру Ивановичу вербовать новых сотрудников среди духовенства. Схема всегда одна была, как в случае с Боярским, который теперь подвизался на том же поприще. Только если с ним довольно было просто поговорить, то других сперва хорошенько пугали. Брали из постели тёпленькими, увозили на глазах потрясённых домочадцев, проведя перед тем обыск, сажали в камеру для осознания ужаса положения... А потом наступал выход Александра Ивановича, который приходил к узнику и беседовал с ним, вкладывая в эту беседу весь дар убеждения. По крупному счёту, беседа сводилась всё к тому же незамысловатому выбору, какой предложил сделать Мессинг Боярскому, только Введенский, как психолог, облакал оный всевозможными красивыми фразами, призванными придать принимаемому решению вид более пристойный, возвышенный, нежели банальный страх за себя и близких. Поначалу пойманные птахи негодовали и категорически отвергали «низкие» предложения. Но недели, проведённые в заключении, ломали упорство многих. И уже сломленным облегчал их совести Александр Иванович непростое решение, убеждая, что это ни в коей мере не предательство, а наоборот — служение благу Церкви, которое необходимо лишь верно понимать.

Ах, как же далеко это было от честолюбивых грёз! От алканых высот! От международных миссий... Но что поделать? Подчас, чтобы к высотам выбраться, приходится в грязи вывозиться, и в саму преисподнюю спуститься.

А к тому же, если он, Введенский, стал на этот путь, то какое право имеют уклоняться от него другие? Не

замаранными хотят остаться, чистюли? Нет, не выйдет! Все из одного теста сделаны! Все по одной верёвочке потянутся. И так-то создастся, наконец, та новая Церковь, в которой он, Александр Иванович, займёт достойное место. Место первоиерарха... Какому протопопу такая карьера может пригрезится?

В конце апреля в Петрограде прошли массовые аресты духовенства. Но главной целью был митрополит: вокруг него усердно плелась интрига, главным действующим лицом которой стал Введенский.

После своего письма-доноса он побывал у владыки, имея целью добиться от него мандата на ведение переговоров в Смольном. Можно было ждать от митрополита гнева, обличительных слов, но ничего этого не последовало... Вениамин лишь сокрушённо укорял его, как любящий отец сына. Из чего Александр Иванович сделал вывод, что митрополит, по-видимому, ещё наивнее и мягкосердечнее, чем он о нём думал, а, следовательно, справиться с ним будет не так уж и сложно.

Вначале владыка категорически отказывался выдать Введенскому мандат. Тогда его вниманию был предложен текст предлагаемого соглашения с властью по вопросу об изъятии ценностей. Он практически слово в слово был списан с письма самого митрополита, в котором тот ещё в самом начале кампании излагал условия, на которых церковь готова к сотрудничеству по данному вопросу. Само собой, Вениамин с представленным текстом был согласен. Тут-то и подловил его Александр Иванович:

— Тогда почему вы не хотите дать мне мандат? Я не могу вести переговоры не будучи официально уполномочен.

И владыка мандат дал...

Вот только на заседании в Смольном был принят совсем иной документ. Перечёркивающий письмо

митрополита. Но именем митрополита утвердил его Введенский, тем самым сделав Вениамина якобы единомышленником себе и своим соратникам. В этом и была промежуточная цель многоходовой игры, ведомой товарищем Мессингом против владыки.

Александр Иванович был уверен в своём триумфе. Теперь этому простофилю в митрополичьей мантии не выкрутиться. В глазах паствы он стал в один ряд с двенадцатью подписантами, так куда же сворачивать теперь с этой улочки?

В понедельник Страстной седмицы по инициативе Боярского на квартире митрополита было созвано собрание пастырей для реабилитации Введенского в глазах духовенства и оглашения подписанных в Смольном договорённостей. Горделиво вошёл в покои владыки Александр Иванович, никак не ожидая подвохов и неожиданностей, ничуть не смущаясь от выразительных взглядов присутствующих.

Вениамин был внешне спокоен. Лишь ещё более печален, чем в предыдущую встречу.

Когда все собрались и прочли молитву, владыка взял слово, открывая собрание. И это-то слово прозвучало для Введенского, как гром среди ясного неба:

— Совсем недавно, в начале Поста мы молились в Исаакиевском соборе, и там после Евхаристии я призвал всех к единству и миру, чтобы не нашлось среди нас такого человека, как Иуда, который взявши хлеб от Христа, потом лобызанием предал его... Так вот... — митрополит помедлил и закончил твёрдо: — В настоящее время мир нарушен. Внесено разделение. Явились два протоиерея, Боярский и Введенский, которые внесли разделение в нашу среду своим воззванием...

Этой публичной пощёчины Введенский владыке не простил. Он знал, что случай сквитаться ещё

представится, а пока ждали дела более важные. Дела, лежащие за пределами Петрограда. В Москве.

Ещё 30 марта товарищ Троцкий сформулировал директиву об окончательном разгроме контрреволюционной части церковников, которую планомерно стали воплощать в жизнь. И, вот, в Москве должно было свершиться ключевому моменту операции...

Руководил операцией отныне московский чекист Тучков. Введенскому он не понравился сразу. Он смотрел на прибывших с нескрываемым презрением в холодных глазах. Даже не считая нужным создать видимость сколь-либо равного сотрудничества. Если Мессинг свои распоряжения облакал в форму предложений-пожеланий, говорил мягко, приятно грацируя, долго ткал паутину вокруг собеседника, то Евгений Александрович подобной галантерейностью обхождения себя нисколько не затруднял, считая, по-видимому, это излишним в отношении подчинённых. Это положение — *подчинённых* — он явно давал понять. Даже руки не подал... Впрочем, чего ещё ждать от сапожника²¹?

А всего унизительнее, что настоял новоявленный «генерал», чтобы его сотрудники написали собственноручные расписки в том, что они таковыми являются. Мессинг бы такой бестактности не позволил...

Затем перешли к делу. Тучков требовал расширения обновленческого движения, для чего Введенский должен был активизировать свои связи. А связи эти подвели... Московский знакомец отец Дмитрий Боголюбов даже встречаться не пожелал.

А епископ Антонин, нависнув глыбой, оборвал на полуслове:

— Наслышан про ваши подвиги!

На Антонина ГПУ делало большую ставку. Наделённый под стать великанскому росту незаурядным умом и ещё большим честолюбием, он был известен своей эксцентричностью. В Донском монастыре долгое время держал медведя и с ним ездил с визитами к высоким сановникам, вызывая их недовольство, в Пятом году поддержал революцию, уподоблял союз власти исполнительной, судебной и законодательной Троице, за что был уволен на покой, во время Собора ходил в рваной рясе и спал на улице на скамейке... Патриарх год назад запретил его в служении, и Антонин с охотой сотрудничал с ГПУ. Но тут товарищи чекисты сами напортачили. Как и опасался Введенский. Именно Антонин Грановский делал экспертизу по «делу 54-х». И теперь оказывался ответственным за расстрельный приговор. Это раздражило эксцентричного епископа, но, так как Тучкову выказать свой гнев он не мог, то выплеснул его на аккурат вовремя явившихся петроградских гостей.

— А правду ли говорят, отец Александр, что вы от колена Иессеева? — шурился насмешливо на Введенского.

— Что вы, владыка... — Александр Иванович запнулся. — Я русский дворянин...

Громоподобный хохот раздался ему в ответ:

— Это ты-то, шельма, русский дворянин?!

— Мой отец был директором гимназии... — потупился Введенский.

— Ладно-ладно, не оправдывайся! Все человецы, — Антонин милостиво ущипнул его медвежьей лапой за щеку. Александр Иванович едва не вскрикнул от боли. — А теперь ступайте от меня. Я свою позицию покуда резервирую.

— Как вас следует понимать, владыка? — спросил Красницкий.

— А так и понимай! — громыхнул великан-епископ. — Посмотрим, как дела пойдут.

Так и ушли несолоно хлебавши. Только синяк на память остался...

Из всех «связей» лишь лубянского протоиерея Калиновского удалось сговорить к действию при условии, что движение будет переименовано в честь издаваемого им журнала «Живая Церковь». Тучков был недоволен. Но и ему переигрывать план уже поздно было. Настал решительный день. Вернее, ночь. В эту ночь в Русской Церкви пришло время свершиться перевороту...

С трудом сдерживая волнение, ехал Введенский со своей группой к патриарху. В последний момент, уже достигнув Троицкого подворья, Калиновский перепугался и отказался идти к Тихону. Пришлось оставить его снаружи...

К разбуженному среди ночи чекистами патриарху вошли впятером. Красницкий заговорил первым, как было условлено:

— На днях, Ваше Святейшество, было объявлено одиннадцать смертных приговоров. И кровь этих страдальцев лежит на вас, распространившем прокламацию о сопротивлении изъятию церковных ценностей.

Удар был рассчитан точно. По самой больной, кровоточащей ране. Человеку, ещё не вполне очнувшемуся ото сна. И сильнейший бы дрогнул, а уж мягкий смиренный Тихон...

Патриарх опустил осунувшееся лицо, ответил глухо:

— Это очень тяжёлое обвинение, и я его уже слышал на суде. Но не ожидал, что духовные лица тоже осуждают меня.

— Ваше послание явилось сигналом к гражданской войне Церкви против Советской власти!²² —

всколыхнулся, подаваясь вперёд, Введенский.

Патриарх поднял голову, отозвался со вздохом:

— Значит, вы не читали его, коли так полагаете. Кто же, по-вашему, если не я, должен защищать права Церкви?

— Мы! — вскрикнул Красницкий. И, понижая голос, продолжил спокойно: — Мы, ибо мы готовы сотрудничать с Советской властью, а вы — её враг. Вы демонстративно анафематствовали большевиков, призывали к сокрытию церковного имущества, вы выступали против декрета о «свободе совести», посылали через епископа Ермогена арестованному Николаю Романову благословение и просфоры. Вы именем Церкви решили свергнуть Советскую власть...

— Зачем вы пришли ко мне? — устало перебил Тихон.

— Мы хотим, чтобы вы отошли от церковной власти, отдав распоряжение о созыве Собора, а до тех пор мы, по распоряжению ВЦИКа, будем управлять вашей канцелярией, — пояснил Александр Иванович.

— Но иереи не имеют права заменять патриарха.

— Но надо передать власть, — подал голос преодолевший робость Стаднюк. — Дела стоят без движения, а вы арестованы и будете преданы суду. Неужто вас не беспокоит дальнейшая судьба Церкви?

И уже наперебой принялись пояснять старику, что необходимо сделать: снять с себя сан, сложить обязанности по управлению Церковью и передать канцелярию, печать и всё прочее представителям «Живой церкви», мирно живущей с властью.

Патриарх выслушал их с отрешённым видом, точно бы и вовсе не слушал, и ответил:

— Патриаршество — тяжёлый крест, который меня тяготит, но ни вы, ни я, а лишь грядущий Собор может лишить меня сана. Я напишу председателю ВЦИКа и

объявлю своего заместителя на время заточения. Идите с Богом...

Своим заместителем Тихон назначил Ярославского митрополита Агафангела, либо Вениамина... И ни слова о «Живой церкви».

Тучкова такой результат, разумеется, привёл в ярость. Таких витиеватых выражений по своему адресу не приходилось слышать Александру Ивановичу за всю жизнь. Введенский поначалу пытался подать дело в более выгодном свете, но Евгений Александрович резко оборвал его:

— Вы бессильны провести даже собственных собратьев, а хотите обмануть меня? Не советую и пытаться.

Таким тоном были последние слова сказаны, что дрожь по спине прошла. Вдруг подумалось, что за провал операции можно и на месте своих подопечных в камере оказаться...

Обуздав гнев, бывший сапожник вперил вопросительный взгляд в подчинённых:

— И что же теперь делать будем?

Введенский молчал. Покосился с надеждой на Красницкого. Тот, облизав губы, начал неуверенно:

— Нужно попробовать поговорить с митрополитами... Может быть, они согласятся работать с нами... Я могу поехать к Агафангелу, а Введенский — к Вениамину. Он в дружеских отношениях с владыкой...

При этих словах Александр Иванович едва не поперхнулся, вспомнив давешнего «Иуду».

— Это хорошо, — кивнул Тучков. — Но прежде нужно устроить московские дела. Декларация готова?

— Так точно! — выдохнул Красницкий, подавая бумагу.

— Хорошо, — помягчел Евгений Александрович, быстро проглядывая текст и внося правки. — Мы отдадим это напечатать в завтрашних газетах.

— Но, Евгений Александрович! — словно очнулся при этих словах Введенский.

— Что ещё?

— Не все, кто обозначен тут, знакомы с воззванием... — он покосился на стоявшего рядом Боярского и дотронулся до оставленного Антонином синяка на щеке. — Они могут отказаться подписать...

— Не откажутся, — усмехнулся Тучков. — Все они уже подписались, где надо.

Декларация, обращённая к «верующим сынам Русской Православной Церкви», была очередным творческим доносом, вышедшим из-под пера Александра Ивановича. Обличался Тихон и его сторонники в том, что из-за них пролита кровь, чтобы «не помочь Христу голодающему» (этой формулировкой Введенский гордился особенно), требовался созыв Собора для суда над виновными, решения вопроса об управлении Церковью и налаживания отношений с властью.

Вся дальнейшая композиция была сыграна по нотам... Красницкий, при очередном визите получивший от патриарха письмо к Агафангелу, отбыл в Ярославль, ГПУ предприняло все меры, чтобы митрополит не смог покинуть Ярославля и приступить к исполнению своих обязанностей, и, пользуясь этим, Введенский со своей группой снова навестил Тихона. Патриарху было вручено письмо с просьбой до прибытия Агафангела разрешить им управлять своей канцелярией, так как столь долгий простой в делах губителен для Церкви.

И тут не дал Тихон нужной резолюции. А указал лишь, что поручает означенным лицам принять и передать дела митрополиту Агафангелу, а до его прибытия епископу Верпенскому Леониду.

Но и того достаточно было. На другой день по отдании этого распоряжения патриарх был заточён в Донской монастырь, а ещё день спустя епископ Антонин

принял предложение возглавить Временное Церковное Управление, в которое вошли в качестве заместителей председателя Введенский сотоварищи.

Переворот был совершён. И теперь оставалось довести до конца петроградское дело. Переговоры с Агафангелом зашли в тупик. Александр Иванович не тешил себя иллюзией, что сможет уговорить встать на свою сторону митрополита Вениамина. Но не терял надежды, что сумеет вновь провести его. Как уже бывало не раз.

Набраться бы сил для нового акта этой драмы... После московских напряжённых дней Введенский чувствовал себя до крайности измученным и опустошённым. Ненадолго ему всё же удалось забыться сном. Но сон этот оказался тревожным. Что было в нём, Александр Иванович вспомнить не мог, но проснулся в большом страхе и первые мгновения шало озирался кругом, ища того, кто терзал его во сне. Но *его* не было в купе... Он прятался в душе, наполняя её склизким, противным чувством, от которого никак не удавалось избавиться. Введенскому стало дурно, и он открыл окно, жадно глотая воздух. Снова пролетели перед глазами события последних дней. Собственные слова и поступки. Так, точно бы совершал их некто другой, а Александр Иванович лишь наблюдал... Такие припадки время от времени случались с ним. В изнеможении он откинулся на спинку сидения, прошептал, задыхаясь:

— Какая гибель, какая пустота в душе без Христа...

Глава 4. В театре

Отрубленные головы, насаженные на колья смотрели перед собой потухшим взглядом, обращённым, между тем, как будто ко всякому. И от этого дрожь невольно проходила по телу...

Так начинался спектакль «Принцесса Турандот». Вахтанговская студия оставалась верна себе в своём следовании против времени. Когда в Четырнадцатом где-то ставили «Зампалатку», вахтанговцы играли тёплую светлую сказку «Сверчок на печи». Теперь, когда неистовый Мейерхольд, ещё не так давно, несмотря на происхождение, к негодованию публицистов-патриотов принятый в Александринку, в главный Императорский театр страны, ставил «Мистерию-буфф» Маяковского, Вахтангов погружал зрителя в волшебный мир Карло Гоцци...

Театр переломных лет жил поисками. Грандиозными мечтами. Экспериментами. Станиславский подумывал о постановке небывалого массового представления на театральной площади и мучительно ставил байроновского «Каина», не имевшего успеха. Изобретал что-то невиданное Мейерхольд. Тёмная сила скользила по сценам, воплощаясь то Каином, то бесами Маяковского...

Трудно было вообразить что-то более кошмарное, чем представленное на сцене Маяковским, Мейерхольдом и Малевичем, самозабвенно оформлявшим декорации кощунственному действию, более походящему на шабаш.

Кузнец

У бога есть яблоки, апельсины, вишни,

Может вёсны стлать семь раз на дню,

А к нам только задом оборачивался всевышний,
Теперь Христом залавливает в западню.

Батрак

Не надо его! Не пустим проходимца!

Не для молитв у голодных рты.

Ни с места! А то рука подыметя...

Многие актёры отказались участвовать в этом представлении, не утратив понимания, *что* и для *кого*, во славу *кого* им предлагается играть. В этом последнем была своеобразная заслуга спектакля. Он с оглушительной откровенностью демонстрировал, чья власть настала.

Мой рай для всех,

кроме нищих духом,

от постов великих вспухших с луну.

Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо,

чем ко мне

такому слону.

Ко мне —

кто всадил спокойно нож

и пошел от вражьего тела с песнею!

Иди, непростивший!

Ты первый вхож

в царствие мое

земное —

не небесное.

Идите все,

кто не вьючный мул.

Всякий,

кому нестерпимо и тесно,

знай:

ему —

царствие мое
земное —
не небесное.

Может быть, испугавшись именно этой откровенности, разоблачающей собственную её суть, власть не одобрила постановку, и она была закрыта...

В Вахтанговской студии тёмная сила ко двору не пришлась. Здесь чудотворил Святой Антоний²³. И здесь теперь веселились вволю итальянские маски. Актёрам была разрешена импровизация, и от этого действие приобретало необыкновенную живость, неповторимость. Чудная музыка, весёлые шутки, оригинальные декорации, прекрасный Завадский и странная, завораживающая Мансурова — на три часа зритель оказывался вырван из голода и холода, из беспросветного существования, из страха, ставшего неотъемлемой составляющей бытия. Светло и ясно становилось на душе, и чуть-чуть кружилась голова, как бывает от бокала шампанского...

Семь лет назад, приехав в Москву погостить у подруги, Ольга Аскольдова впервые оказалась на спектакле Студии. Шёл «Сверчок на печи». Сколько непередаваемого уюта было в этом спектакле!словно сам он был очагом, дарящим тепло и свет людям. До слёз трогала слепая девушка, для которой старик-отец придумывает добрую, красивую и светлую жизнь вместо малоотрадной реальности. И радость переполняла, когда в конце они обретали потерянного сына и брата, а весёлая, милая Мери мирилась с мужем, добродушным медведем Джоном... Три раза была Ольга на этом спектакле и с той поры благодарно любила Студию, дарившую людям такой праздник.

Кто бы мог предположить в ту далёкую пору, что настанет время, и она станет работать в театре, лично

познакомится с Вахтанговым, прежде представляемым ею лишь как бездушный фабрикант игрушек Текльтон, похожий скорее на машину, нежели на человека, с Завадским, Антокольским... Здесь, в Студии, Ольга увидела Марину Цветаеву, в которой с удивлением узнала женщину, осмелившуюся посреди улицы вместе с маленькой дочерью помянуть Царя в день его убийства.

Странная она была, Марина. Что-то глубоко трагическое сквозило в ней. Полыхал в ней неутолимый огонь, огонь, питавший её гений и пожиривший её саму, терзающий её. Не светлое пламя, купины не опаляющее, а пламя тёмное, губительное для той, в ком полыхало оно.

Кажется, и сама Марина понимала это, предчувствуя свою трагедию и с особенной чувствительностью реагируя на чужую.

Марина... В голодной Москве она, поэт, дочь создателя музея Александра Третьего, бралась за самую чёрную работу, голодала сама, схоронила умершую от голода дочь и насилу вытянула другую. И любила. И страдала. Но ни строчкой, ни словом не погрешила против собственной души, чувства. В отличие от новоявленных пролетарских литераторов она просто не могла что-либо написать наперекор себе. Потому всё написанное ею было вынесенной на суд публики собственной её душой, лишённой покровов.

Ольга помнила, как на одном из вечеров потрясли её стихи Цветаевой о революции и Белой Гвардии. Так никто не смел писать в те дни в Москве. Да и во всей России вряд ли кто смел. А она ещё и читала написанное. В полный голос.

Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!

Распродавайте — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка — на слом.
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!

Стойла — в соборы! Соборы — в стойла!
В чертову дюжину — календарь!
Нас под рогожу за слово: царь!
Единодержцы грошей и часа!
На куполах вымещайте злость!
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит — Расу:
Черная кость — белую кость.

Так говорил Поэт. Поэтов в новом государстве, создаваемом вместо казнённой России, становилось всё меньше. В двадцать первом году умер не вынесший голода и лишений Блок. Впрочем, Блок-поэт умер раньше Блока-человека. Умер, обманутый лицедеем, что в обличии «Исуса Христа» «в белом венчике из роз», шёл впереди «апостолов»-бандитов... Этот жестокий призрак отнял у поэта его дар, наложив на уста печать невольной лжи. Незадолго до смерти Александр Александрович приезжал в Москву, и старинная его приятельница, у которой он остановился, позже рассказывала дяде Коте, что Блок говорил ей:

— Душно, нечем дышать... Разве вы не чувствуете? Воздуха не стало...

В новом государстве, в самом деле, не стало воздуха. А поэт не может жить в безвоздушном пространстве. Кто не бежал, тот умер. А кто не умер сам, того убили. Блок умер в те дни, когда был арестован Гумилёв. Его похороны отвлекли внимание общественности от судьбы Николая Степановича, о нём просто забыли. А когда вспомнили, было уже поздно.

Хотя «поздно» было сразу, участь офицера-поэта была предreshена, как и участь арестованных вместе с ним «заговорщиков»: скульптора Ухтомского, профессоров Тихвинского, Таганцева, Лазаревского и других. Над пришедшими ходатайствовать за Гумилёва его друзьями в ЧК откровенно издевались: «Если вы так уверены в его невинности, так и ждите его через недельку у себя. Чего вы беспокоитесь?» Позже имя поэта они прочли в списке расстрелянных от 24 августа за номером тридцать... Эта расправа потрясла всех, но никого не заставила выразить возмущение открыто.

О, господа литераторы, ставшие товарищами! О, вольнолюбивая интеллигенция! Когда-то лишь обыск в доме писателя, лишь допрос его полицией, не говоря уже о заключении под стражу, породил шквал возмущённых откликов и «анафем» правительству. Теперь известного русского поэта без какой-либо вины, без суда, тайно, по-воровски расстреляли, не выдав даже тела для погребения родным. И тишина в ответ... Потому что никто не хочет стать следующим.

— Дядя Котя, а если, скажем, Горького расстреляют? Все тоже промолчат?

— Горького не расстреляют. Он на особом положении и с властью дружен. А Гумилёв — офицер, монархист. Да и поэт так себе. Позёр!

— Позёры во имя чести на плаху не идут, — Ольгу привело в негодование дядино пренебрежение. Вслед за отповедью кольнула его побольнее: — А что, дядя, у вас тоже положение особое? Вас тоже нельзя, как Гумилёва?

Этот удар в цель попал. Константин Кириллович закашлялся и побледнел. Занервничал и Жорж:

— Ну, полно, Ляля. Оставим эту тему...

Горе стране, где убивают и морят голодом поэтов, а на их место приходят бедные Демьяны, и поэзия подменяется кое-как зарифмованными лозунгами,

ошпаривающими необузданной злобой... Неужели через считанные десятилетия вырастут поколения, которые будут считать это настоящей поэзией? Поколения ограбленных духовно и умственно, не знающие Пушкина, Тютчева, Фета?.. Их давно жаждали смести в историю, как отжившую ветошь, Маяковский сотоварищи, ещё в своём первом манифесте декларировавшие: «Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с Парохода современности».²⁴ И прямо выговаривал наивному Блоку Давид Бурлюк:

— Поклонение вам, чужому для нас человеку, нашему поколению ненужному, мешает Маяковскому самому начать писать стихи, стать великим поэтом.

— Но разве для того, чтобы начать творить Маяковскому, надо унижать мое творчество?

— Да! Надо стать смелым! Смелым постольку, поскольку творчество футуристов отличается от вашего.

Да, иначе не могли они. Пока живы истинные Поэты (в Слове своём, в памяти этого Слова), кто же поверит самозванцам? Поэтому, чтобы утвердить себя, им, искры Божией не имеющим, но обладающим непомерной амбицией стать великими поэтами, остаётся одно — уничтожить всех тех, кто самим существованием своим обличает их ничтожество. А с ними и Дародавца, Поэта высшего...

Что ж, если такое будущее готовится впереди, то, может, и к лучшему, что не благословил Господь их с Жоржем союз детьми. Хотя без них совсем пустой оказывалась жизнь. Ольга не перестала любить мужа, но за годы брака их отношения в плане душевном так и не стали близкими. Чужие люди, один из которых по

необъяснимой прихоти сердца отдал себя в добровольное рабство другому...

Жорж жил своей жизнью. Оправившись после потрясений революции и обвыкнув на новой должности, вновь повёл беспутную, вольную жизнь, нисколько не смущаясь наличием жены. Однажды, будучи в сильном подпитии, повинился:

— Что, Ляля, извёл я тебя? Сам знаю, что извёл... Да ты только не гляди на меня, как на изверга. Я ведь предупреждал, чтобы ты подумала, что не будет тебе со мной жизни. Ведь предупреждал? Я честен был с тобой... Ты знала, на что идёшь. Так что не обижайся теперь. А, Ляля? Очень тебя прошу... Мне страшно не хочется, чтобы ты обижалась... Свиньёй себя чувствовать... Прости, а? За всё прошедшее и будущее разом?

Всё так. За собственную глупость обижаться не на кого... Когда бы хоть ребёнок был — полегчало бы. А так одна отрада в унижительной жизни — театр.

Вхождением в эту среду Ольга была обязана Риве. Та однажды случайно увидела её наброски и, полистав, заключила:

— Тебе бы нашлось дело в Студии. Художники театру нужны всегда.

С детских лет рисование было любимым её занятием. Но всегда понимала Ольга — она, в лучшем случае, неплохой копиист. Но настоящим художником ей не стать. Не хватает таланта, фантазии. А оказалось, что всё это время она просто не понимала существа своего таланта. В самом деле, серьёзные полотна были не её жанром. Но иллюстрации к сказкам, декорации, костюмы — всё, где не требовалась стройность и строгая правильность линий, а наив, яркость и освобождённая, не отягощённая правилами фантазия — было её. Театр разбудил в Ольге дремавший доселе

дар, и она с упоением отдалась работе, отдыхая в мире кулис от своей неудавшейся, безрадостной жизни.

Ольга проводила в стенах Студии гораздо больше времени, чем требовали обязанности, часами просиживая на репетициях, по многу раз пересматривая спектакли, любой из которых могла бы наизусть воспроизвести с любого места. Вот и «Турандот» по которому разу уже смотрела! Отмечала новые репризы, придуманные масками шутки, иные из которых отличались злободневностью.

«Принцесса Турандот» стала лебединой песнью Вахтангова. Зимой, во время финальных прогонов он каким-то сверхчеловеческим усилием воли заставлял себя приезжать в театр. Евгений Багратионович всегда стремился держать всё до последней мелочи, последней крохотной детали под своим неусыпным контролем. Когда он лежал в больнице, визитёры десятками в день шли к нему, приводя в негодование врачей, требовавших сокращения нагрузок и покоя для умирающего мастера.

Ольгу поразило его лицо на последней репетиции. Высохшее, бледное, с огромными, лихорадочно блестящими глазами-факелами, которые даже теперь, несмотря на страшные боли и не менее страшный измот сил, светились неугасимым интересом к происходящему на сцене, ничего не упускали.

На сцене игралась весёлая сказка... За сценой — драма. Казалось, словно с Вахтанговым уходила сама душа театра, его сердце. А он всё ещё верил, что сможет снова выйти на подмостки, разучивал, лёжа в постели, новую роль. Этот человек жаждал жить, его энергии и замыслов хватило бы ещё на десять жизней. Но зачем-то ничему этому не должно было осуществиться.

В тот день, глядя на мастера, Ольга с тоской думала о том, что куда справедливее было бы уйти, к примеру,

ей. Что есть она в этой жизни? Одна из множества теней, о которых и плакать-то сильно никто не станет. И не то страшно, что жизнь её так пуста, а то, что пуста — душа. Не осталось в ней ни мечты, ни надежды, ни желаний. Но осуждена она зачем-то влачить жизнь и дальше в то время, как сильный, гениальный, жаждущий жизни человек умирает...

Видимо, так долго и пристально смотрела Ольга на Евгения Багратионовича, что он почувствовал и, проходя мимо, спросил:

— Отчего вы так печальны? У вас какое-то горе?

— Нет-нет, ничего...

— Заведите дома сверчка. Сверчок принесёт удачу, — по бледным губам мастера скользнула ободряющая улыбка.

Эту фразу из диккенсовской сказки он любил повторять. И сразу окутывало сердце то солнечное чувство, что рождал в нём некогда памятный спектакль.

С того дня Ольга Вахтангова не видела. Миновала зима, подходила к концу весна, Студия жила тягостным ожиданием и робкой надеждой на чудо... Но чуда не произошло.

Вечером двадцать девятого мая Ольга, как и многие актёры и сотрудники Студии, обслуживали вместо официантов публику на благотворительном вечере в пользу голодающих, устроенном в Большом театре. Сюда-то и пришло трагическое известие: мастер, до последнего сражавшийся со смертью, скончался. Приехавшие проститься студийцы со слезами рассказывали, что он не переставал шутить до последнего вздоха...

Десять лет назад такой же ясной весной создавалась студия. Иным было государство, иной — жизнь. Но также пригревало солнце, и благоухала, распуская белые и розовые кудри сирень. Теперь ветви её ложились в гроб Евгения Багратионовича, вокруг

которого стояли потерянные студийцы, похожие на осиротевших детей.

Что-то станет теперь с театром? Кто сумеет заменить мастера? Эти вопросы тревожили каждого в театре. Но... Что бы ни было, а представление должно продолжаться. И оно продолжалось.

Окончился первый акт, объявили антракт. Зрители стали выходить из зала, а Ольга с сестрой остались. Теперь, в тишине, можно было спокойно поговорить. Так редко удавалось это, хоть и жили в одном городе. Муж Вари не желал бывать в доме Жоржа, а Жорж, само собой, не имел ни малейшей охоты общаться с ним. А ведь когда-то в Глинском были дружны они...

Варя сильно изменилась после гибели родного дома и матери. Повзрослела, утратила прежнюю беззаботность и весёлость. Вместо смешливой егозы явилась образцовая жена и мать. С Никитой они обвенчались через год после трагедии в Глинском, ещё через год родился их первенец, Митенька. Теперь ждала Варя второго ребёнка, надеясь, что будет девочка.

Ольга с удивлением замечала, что сестра всё больше походит на мать: и внешне, а, главное, внутренне. Дом и семья стали для неё всем. И пусть дом этот был не терем в Глинском, а две комнатки в уплотнённой квартире старухи-свекрови, это ничего не меняло. И здесь должно было создать уют, окружить родных лаской и заботой, хранить мир и тепло. Вот уж где наверняка жил сверчок в каком-нибудь укромном уголке! И, вот, какой, должно быть, стала бы много пережившая Мэри, на которую так походила Варя. Да и муж её Никита — вылитый добродушный великан Джон... Жаль только жить им приходится совсем в другие времена. И совсем не в сказке...

В сказке пропавший без вести и считающийся погибшим возвращается. В жизни... Когда бы знать

теперь, что стало с Родей! Когда бы и он вернулся однажды, как диккенсовский Эдуард. Но жизнь — не сказка... В сказке способен пробудиться от сна души даже фабрикант Текльтон. В жизни Ольга утратила веру в то, что её Жорж сможет измениться. Но при этом, словно слепая Берта, продолжала любить его.

— Наши собираются вскоре устроить вечер. Как раньше, помнишь? С музыкой, танцами... Барышни шьют себе платья из штор и усердно потрошат бабушкины сундуки, — Варя чуть улыбнулась. — Как они мечтают о таких платьях, как в вашей «Принцессе»! Когда артисты выходят на сцену во фраках и белых платьях, не одно сердце завистливо частит.

— Сердца дам и девиц частят, когда появляется Калаф...

Варя хмыкнула:

— А что в нём хорошего?

— Тебе не нравится Завадский?

— Нисколечко. Уныло и скучно красив и только. Я не вижу ничего кроме этого нарядного футляра. А актёр — больше футляра... Завадский... заложник своей внешности. Ты не согласна?

— Пожалуй. Но заложник добровольный. Он так любит себя, что бывает смешно...

— Я на днях заходила к вам. Застала Жоржа... Он сказал, что ты всё время проводишь в театре?

— Да, это так. Мне... — Ольга помедлила, — ... хорошо здесь.

— Чем же так хорошо?

— Здесь другой мир. И я здесь другая. Здесь я свободна... Помнишь, в «Сверчке» Берта жила среди игрушек? А я среди декораций и масок живу. К тому же здесь каждый спектакль — праздник. Люди приходят в этот зал из мира, где всё стало тусклым, холодным и пугающим, и видят яркий свет люстр, занавес... Но, вот, свет гаснет, раздаётся музыка, и в свете рампы

начинается действие. И так хорошо становится! И мне не хочется возвращаться из этого мира.

Сестра помолчала и, наконец, решилась заговорить о том, ради чего пришла:

— Скажи, Ляля, а нет ли в вашем театре какого-ни-на-есть места? Рабочего сцены, например? Бутафора, осветителя...

— Для Никиты? — догадалась Ольга.

— Да. Ты же знаешь, как ему трудно найти работу. А у нас совсем нет денег. Что можно было продать, давно продали. А ведь скоро появится второй малютка, и тогда станет ещё тяжелее.

— Я всё понимаю и постараюсь помочь.

— Спасибо. А вечер? Ты не хочешь пойти на него?

Ольга опустила голову:

— Нет, Варя, я не пойду. Боюсь, моё присутствие лишь стеснит всех...

— Ты же не виновата, что Жорж служит большевикам.

— Это понимаешь ты. Потому что знаешь нашу жизнь... А они не знают. И не поймут. Я не хочу чувствовать на себе осуждающие взгляды, видеть натянутые улыбки. И оправдываться ни в чём не хочу.

Прозвенел звонок, и зрители стали возвращаться в зал. Начинаясь второй акт...

Глава 5. Встреча

И во что только превратилась Москва! В землю обетованную, не иначе. Или в гигантских размеров Бердичев... Где будет труп, там соберутся и... Нет, не орлы. Об орлах — это из области поэзии, благородного искусства. Соберутся стервятники, ищущие поживы. Москва! Есть ли место лучше для этого? Здесь ещё так много осталось от бывших людей... Их просторные квартиры и дома, их ценности... Конечно, во времена военного коммунизма масштабной деятельности развернуть было невозможно. Но НЭП всё изменил!

Измученные лишениями люди хотели просто жить: прилично питаться, одеваться, посещать театры и кино. Людям нужен был отдых от пережитых ужасов. Спрос, как известно, рождает предложения. И барыш здесь получает тот, кто прежде других успеет эти предложения представить. Наиболее сметливые и поднаторевшие, имеющие покровительство во властных инстанциях.

Малый народ всегда крепок узами, его дети не забывают своих. Если поднялся один, то следом потянет десятки родственников и знакомых. Недаром писал некогда убитый большевиками публицист Меньшиков о *страшной силе* инородцев, кроющейся в их неизменной поддержке друг друга: тронь одного — все поднимутся на защиту.

Хотя кое-где ожили лавки уцелевших купцов с чинными продавцами, а в государственных магазинах МСПО²⁵ трудились, полаивая на покупателей, хамоватые торговки, но всё больше кишели магазины — еврейские. Да разве одни лишь магазины? На Мясницкой некая троица завела контору по ремонту водопровода и установке унитазов и раковин.

Появились столовые с вывесками на двух языках. Повсюду открыли частную практику врачи — главным образом, венерологи и стоматологи. Некто Яков Рацер занялся продажей древесного угля для самоваров... А ещё явилось сразу два еврейских театра, издательство и журналы на еврейском языке... Казалось, что вся черта оседлости разом снялась с родных мест и ринулась в столицу.

Спекулянты наживали состояния, а бывшие люди продавали последние вещи на Сухаревке, где можно было найти всё — от предметов старины времён Древней Руси до старого тряпья.

Торговля — под этим знаком шёл Двадцать второй год. Продавали и покупали на каждом углу. Крестьяне торговали с телег мясом и молоком. Прилавки Смоленского рынка ломались от всевозможной снеди. На Охотном и Сенной переливались чешуями на солнце разнообразные рыбыны: от воблы до осетров. Слово поленья в поленнице, лежали судаки, щерили зубы щуки... Глянув на такое изобилие, трудно было поверить, что где-то царит страшный голод.

По улицам бродили татары-старьёвщики, и то и дело раздавался протяжный крик: «Старьё берём!» Возили тяжёлые бидоны бабы: «Молоко! Молоко!» Таскались мужички со слесарными инструментами: «Чинить-паять!» К извозчикам прибавились невиданные прежде рикши...

И прежде многолюдная Москва, опустевшая в годы гражданской войны, теперь превратилась в форменную толкучку. Возвращались прежние жильцы, приезжала в несчётном количестве молодёжь, искавшая лучшей доли, суетились иностранцы, любопытствующие, что есть «русский коммунизм». Если толпа не торговала, то бежала куда-то. А если не бежала, то глазела. А глазела — на всё, что попадалось любопытного, будь то цыганка-гадалка или слепой монах-псалмопевец,

китаец-фокусник или дрессированная собачка, танцующая под скрипку хозяина.

Никита Романович продирался сквозь пёструю толпу, стараясь смотреть под ноги. Всё окружающее его, коренного москвича, раздражало до крайности. Или просто нервы слишком расшатались, как вовсе не пристало офицеру? «Старьё берём!» — гнусавый вой сзади. Хоть бы слух замкнуть от этой уличной какофонии...

Конечно, говоря объективно, НЭП — штука полезная всем. Наконец-то хоть что-то стало можно продавать и покупать без риска оказаться в тюрьме. Одна беда: откуда взять деньги, чтобы покупать по столь баснословным ценам? Охотный ряд и Смоленский рынок Никита обходил стороной. Равно как и частные магазины. Только душу травить и желудок раззадоривать. С утра поплёлся в гнусный МСПОшный магазин, где гнусная баба пыталась всучить ему, как полагалось у них, какую-то тухлятину. Пришлось голосом брать. Хотя эту породу переголосить не каждому мощно. Купеческому сыну и армейскому командиру да ещё в дурном расположении духа — легко. Просто душу отвёл!

Перекинув мешок с купленными продуктами через плечо, Никита быстрым шагом дошёл до Тверской. Здесь, в крохотной комнатухе у самой лестницы доживала свои дни вдова одного из любимых корпусных преподавателей Никиты генеральша Кречетова.

Когда-то у этой женщины было всё: муж, двое сыновей, двухэтажная квартира... Но муж умер. Старший сын без вести пропал на Дону. Младшего расстреляли в ЧК осенью восемнадцатого... Квартиру уплотнили пролетариатом и приезжими, загнавшими осиротевшую старуху в самую худую комнату и измывавшимися над нею на каждом шагу. Однажды,

будучи больна, она попросила соседку принести ей немного воды.

— Я тебе не прислуга, старая карга! — последовал озлобленный ответ.

Больше Аделаида Филипповна никого ни о чём не просила, стоически претерпевая все мучения и унижения. Эта удивительная женщина, живя в земном аду, сумела сохранить ясность ума, благородство и достоинство. Она никогда не позволяла себе жаловаться, приветливо встречала всё более редких гостей... В своей комнате она старалась сохранить островок своей прошлой жизни. Старые фотографии, портреты, гравюры, иконы, разложенные и развешенные повсюду вещи: гимназический мундир, фуражка, перчатки... Видимо, генеральше казалось, что в этих вещах живут частички душ её любимых, и она мысленно разговаривала с ними долгими одинокими днями. А ещё были книги, и ноты, и альбомы. И всё это тоже разложено было подобно музейной экспозиции. А в центре неё была сама хозяйка — в старинном, но не рваном, не засаленном капоте, в тёмной шали с длинными кистями.

Вот и этим утром такой предстала она. Отворила дверь, приветствовала светло:

— Здравствуйте, Никита! Спасибо, что нашли время проведать! Сейчас я чаем вас угощу...

Уже не протестовал Никита Романович, умоляя не беспокоиться. Знал, что генеральша всё равно не допустит, чтобы гость ушёл, не выпив чаю. Хотя и тяжело было ходить старице и с большим трудом ковыляла она, опираясь о трость обеими руками, но угостить гостя — долг, которым нельзя манкировать.

Никита разложил на столе принесённые продукты, радуясь возможности побаловать хоть чем-то Аделаиду Филипповну. Та с укором покачала головой:

— К чему вы всё это, Никита? Я ведь и без того бесконечно благодарна вам за вашу заботу, за то, что навещаете меня. Помилуйте, ведь у вас семья, лучше вы всё это домой снесите.

— Аделаида Филипповна, дорогая, я всегда считал себя обязанным вашему мужу, я был дружен с вашими сыновьями. Я бы считал бесчестьем себе, если бы не старался сделать для вас то небольшое, что могу.

— Но ведь другие не считают.

— В этом и беда наша. Мы слишком легко миримся с горем ближнего. Если что-то и уцелеет в эти огненные годы, то только благодаря отсутствию такого примирения. Благодаря взаимопомощи, поддержке друг друга. А если разобьёмся поодиночке, то последние щепы нашего мира канут в небытие. Поэтому не уговаривайте меня, Аделаида Филипповна. Я не могу иначе, поймите.

— Спасибо вам, — тихо сказала генеральша. — Не за это, — кивнула на гостинцы. — За то, что не примирились... Знаете, мой муж говорил, что гибель в бою — не поражение. Но мир с врагом, мир несправедливый — вот, подлинное поражение. Пока мы противостояем злу, неправде, беде — мы живы. И не побеждены. Но когда устанем от этого противостояния, и опустим руки, и примиримся, то погибнем. Лишимся своих душ...

Глухо и мерно звучал надтреснутый голос. Даже в этой манере говорить — спокойно, плавно — было огромное достоинство, восхищавшее Никиту.

— Аделаида Филипповна, я хотел предложить вам перебраться к нам. Здесь вы живёте в ужасных условиях, среди ужасных людей. А у нас вы будете окружены заботой и вниманием.

— Милый Никита, — генеральша улыбнулась с ласковой грустью, — я очень благодарна вам за ваше предложение, но принять его не могу.

— Почему?

— Потому что здесь мой дом. Понимаете? Я родилась под этой крышей. Я прожила под ней всю жизнь. Здесь я впервые увидела своего будущего мужа. Здесь родились оба моих сына... Здесь вся моя жизнь. В этих стенах... И что бы ни было, я не покину их. Это последнее, что у меня осталось.

Никита понимающе кивнул. Прежде чем пить чай, он помог генеральше прибраться и принёс воды, чтобы ей можно было лишний раз не ходить в кухню, терпя унижения от жильцов. Кое-кого из них Никита успел увидеть: зловонную бабу, развешивавшую в коридоре бельё, отпаренное в кухне, троих щуплых детей, гонявшихся за тощей кошкой, но не преминувших вслед за матерью обозвать его буржуем, толстого еврея, возмущавшегося духотой и вонью, вызванной паркой белья... И как только жила несчастная старица в этом вертепе?

За чаем Аделаида Филипповна подала ему ключ и искусно выполненную фарфоровую статуэтку молодой китаянки:

— Вот, возьмите, Никита. Это ключ от моей комнаты. На всякий случай... Мне бы не хотелось, чтобы всё это, — она обвела вокруг рукой, — растащили мои соседи. Вы знаете, где что хранится, знаете, как дороги мне эти вещи... Я не прошу вас хранить их все, но заберите, когда меня не станет. Я знаю, что вы не распорядитесь ими худо... А эту вещицу возьмите сейчас. Она ценная... Муж говорил, что это очень редкая работа известного китайского мастера. Оттуда он и привёз её когда-то. Продайте её какому-нибудь коллекционеру... И не перечьте, пожалуйста! Это мой вам подарок.

При упоминании коллекционеров Никиту передёрнуло. Какие теперь коллекционеры? Нынешний коллекционер — обычный мародёр. Свою коллекцию он

составляет, за кусок хлеба, за копейки «покупая» у умирающих от нужды людей бесценные шедевры. Не брезговал подобным «коллекционированием» и литератор Толстой.

С некоторых пор в такого рода сделках появились посредники, пользующиеся доброй репутацией люди, которым отдавались на реализацию ценные вещи. Посредничеством нередко занимались дворяне, считавшие для себя невозможным поступить на государственную службу и вынужденные поэтому хвататься за любую работу. Такие сделки были рискованны, так как, по декрету, драгоценности подлежали сдаче государству. Но это не мешало им широко практиковаться.

Пробовал и Никита заняться этим делом, последовав совету Георгия Осоргина, одного из наиболее уважаемых посредников, но... Стоило пару раз посмотреть на рожи новоявленных «коллекционеров», и не выдержала душа. Какая-нибудь благородная старица отдаёт последнюю семейную реликвию, оплакивая её, а откормленная свинья в дорогом костюме швыряет небрежно гроши и ещё считает себя благодетелем! Железные нервы нужны, чтобы стервятникам этим не выгрузить все о них помышляемое. И им-то в грязные лапы подарок Аделаиды Филипповны отдать?..

— Если это подарок, то их не продают. Я сохраню его.

Благодарная улыбка тронула сухие губы старицы:

— Мне так жаль, что я уже столь немощна, что никому ничем не могу помочь...

Простившись с Аделаидой Филипповной, Никита посчитал оставшуюся в кармане мелочь. Блазнило по полуденной жаре наведаться в «Левенбрей», освежиться кружкой холодного пива. Поразмыслив немного, он направился к пивной, миновав по пути редакцию «Крокодила», вход в которую украшала

вывеска с зелёным, зубастым страшилищем, держащим в лапе вилы. Правда, в сравнении с человекообразными на советских плакатах крокодил выглядел ласковым и дружелюбным. Может, поэтому он так нравился двухлетнему Митеньке, приходившему в восторг от вида рептилии?

Народу в пивной в этот час было немного. Взяв кружку, Никита сел у стены, погружившись в невесёлые мысли. Внезапно смутно знакомый голос произнёс:

— Рад видеть вас в добром здравии, Никита Романович.

К столику подошёл пожилой человек, сильно припадавший на ногу и опирающийся на палку. На нём был неприметный наряд: брюки, стоптанные до дыр сапоги, мужицкая рубашка с поясом, за плечом — вещмешок. Знакомый незнакомец небрежно бросил на стол кепку, обнажив густую, белоснежную, как и его аккуратная борода, шевелюру.

— Не узнаете?

Узнать мудрено было. Но по голосу, по цепкому взгляду тёмных глаз...

— Арсентьев?..

Служили вместе ещё в Великую. Образцовый офицер, всё ещё ходивший в капитанах, хотя по летам и качествам — должен был полковничий чин носить.

— Он самый.

— Да откуда же? Нет, постойте... — Никита огляделся. — Не здесь... Пойдёмте ко мне! Я представлю вас жене!

— Нет-нет, этого не нужно, — Ростислав Андреевич мотнул головой. — Вы ведь, я полагаю, не в отдельной квартире проживаете? То-то. Ни к чему привлекать внимание соседей. К тому же вечером я отбываю в Петроград. Поэтому, если вы не против, я предпочёл бы немного прогуляться по Москве. Сто лет, знаете ли, не был...

— Конечно-конечно, с величайшей охотой!

Пожалуй, едва ли не единственным местом в Первопрестольной, куда ещё не добралась суета нового времени, были её тихие, утопающие в зелени бульвары. Здесь не неслись лихачи и автомобили, не раздавались крики торговцев, сюда не достигал палящий зной... Здесь резвились дети, и неспешно прогуливались или посиживали на лавочках их матери, бабушки, няни. Уютом и спокойствием окутывали московские бульвары. Легко дышалось под их сенью...

На Зубовском настала пора цветения лип, с райским благоуханием которых не сравнится ни один изысканный цветок. Приметив пустую лавку под старым, раскидистым деревом уставший от продолжительной ходьбы Ростислав Андреевич предложил сесть. С заметным облегчением вытянув параличную ногу, он глубоко вздохнул:

— Да, не думал я, что снова увижу всё это... Здесь мы гуляли с женой, когда я учился в Академии. На этой скамейке любили сидеть... Кто бы мог подумать, что она уцелела.

— Расскажите же, что с вами было! Какими судьбами вы в столице?

— Что было? — Арсентьев пристукнул палкой о тротуар. — Пепелище, могилы самых дорогих людей, мщение, война и... два воскресения.

— Моя жена тоже потеряла и родных, и дом. Добрая половина России сделалась пепелищем и погостом... Стало быть, вы воевали в Белой Армии? Я был в этом уверен. Такой человек, как вы, не смог бы пойти к большевикам или оставаться в стороне.

— Я воевал на Юге... В Новороссийске моя война закончилась. Я попал в плен.

— И вас не расстреляли?

— Расстреляли, но, как видите не до конца... Пуля меня не берёт, это очевидно. Погода была мерзкая,

дождь. Кое-как забросали моё раненое, но недобитое тело грязью и ушли. А я из-под этой грязи к Божьему свету выполз. Одни смелые люди не побоялись меня, «контру», у себя спрятать, выходили. Вот, с того времени я вроде как странный человек. На Кавказе был, к тамошним пустынным в горы поднимался, на Украине, в Крыму... Я, Громушкин, обет дал больше не касаться оружия. Прежде я служил одному лишь Отечеству, а ныне — Богу. Бога в отличие от Отечества и всего земного нельзя отнять...

— Вы тоже полагаете, что с Россией покончено? — с волнением спросил Никита. — Тоже хороните её?

Арсентьев горько усмехнулся и вместо ответа прочёл, глядя немигающим взглядом перед собой:

— С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.

— Чьи это стихи?

— Волошина. Я был у него по весне. Несколько дней прожил... Максимилиан Александрович человек больших странностей... Я не могу понять его миролюбия по отношению к большевикам, но восхищаюсь мужеством, с которым он готов предоставить кров любому, рискуя головой, и тем, что он пишет. Я переписал себе кое-что на память...

— Сильные и страшные строки... Вот, только народ ли?

— Что?

— Народ ли повинен?

— Когда кучка мерзавцев терзает огромный и сильный народ, а сам народ частью терпит, а частью присоединяется к извергам, то ответ, по-моему, очевиден. Вы не находите?

— Я не знаю, — признался Никита. — Знаете, у меня в последнее время такое чувство, словно почва ушла из-под ног. Я молод, здоров, я прошёл войну... Но теперь превращаюсь в лишнего человека. Я ни к чему оказываюсь не способен, ни на что не годен, для меня нигде нет места. Моя жена ждёт второго ребёнка, на моём попечении старуха-мать и мать моих погибших друзей... А я не знаю, как добыть им кусок хлеба! Я уже зарёкся размышлять о таких высоких материях, как судьба Отечества. Я погружён в куда более приземлённые мысли... Не знаю, поймёте ли меня вы... Для меня становится нестерпимо это положение неприкаянного человека, не могущего даже порядочно содержать собственную семью. И что мне делать, я ума не приложу.

— Думаю, что многие сейчас чувствуют то же, что и вы. Я, Никита Романыч, скверный советчик в житейских делах... Одно могу сказать: цените то, что имеете. Благодарите Бога за всё хорошее, что есть в вашей жизни. Наша ошибка в том, что мы понимаем ценность чего-либо, лишь потеряв это. И помните о том, как много есть людей, которым много хуже... Это, знаете ли, уравнивает.

— А что вы сами собираетесь делать дальше? — спросил Никита, усевшись того, что стал жаловаться на свои неурядицы человеку, потерявшему всё самое дорогое в жизни. — Зачем вы едете в Петроград? Там теперь страдная пора, вы, должно быть, знаете.

— Поэтому и еду, — ответил Арсентьев. — Я уже сказал вам, что имею намерение посвятить себя Богу... Я медлил два года, так как слишком велики мои грехи.

Но больше ждать нельзя. Стадная пора наступила, и потом может быть поздно...

— Вы хотите принять постриг?

— Да, хочу... Мечом я воевал долго. Теперь надеюсь сменить меч на крест... Может, тогда, наконец, смогу и повторить вслед за праведным Симеоном: «Ныне отпускаеши раба Твоего», — Ростислав Андреевич задумался, а затем беспокойно взглянул на небо: — Кажется, уже немало времени. Мне пора идти.

Никита поднялся следом за ним и заметил:

— Вы так и не ответили на мой вопрос, Арсентьев.

— Какой именно?

— О России. Всё ли кончено?

— Сейчас — да. Но мы же знаем, что со смертью ничего не кончается. Что и четырёхдневный Лазарь воскрес...

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращённых в прах,
Из душ, крестившихся в крови,
Из мук казнённых поколений,
Из преступлений, исступлений,
Из ненавидящей любви
Возникнет праведная Русь!

Ростислав Андреевич порылся в вещмешке и извлёк оттуда несколько сложенных вчетверо листков:

— Вот, возьмите, Никита Романыч. Почитайте на досуге. Только спрячьте потом хорошенько, а лучше сожгите от греха. За такие стихи можно и в контрреволюционеры попасть. А теперь прощайте! Или до свидания, если Бог даст.

Арсентьев поковылял по бульвару, сильно приволакивая больную ногу. Никита подумал, что, пожалуй, всё-таки очень сложно представить

Ростислава Андреевича монахом. Хотя... И Пересвет с Ослябей были иноками.

Ещё глядя вслед удаляющейся фигуре старого товарища, он машинально развернул оставленные листочки, скользнул по первым строфам и впился в них потрясённо, перечитывая, не веря, что такое ещё пишется теперь.

Как злой шаман, гася сознание
Под бубна мерное бряцанье
И опоражнивая дух,
Распахивает дверь разрух —
И духи мерзости и блуда
Стремглав кидаются на зов,
Вопя на сотни голосов,
Творя бессмысленные чуда, —
И враг, что друг, и друг, что враг,
Меречат и двоятся... — так,
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый...
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего Града —
Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы.

Глава 6. Страдная пора

Десятого июня 1922 года Невский проспект был заполнен народом. От Гостиного двора люди толпились так густо, что практически невозможно было протиснуться меж ними. То была не демонстрация, не «сознательные пролетарии», а подлинный русский народ, не утраившийся выйти на улицу, чтобы поддержать своего любимого пастыря. Здесь не было антиправительственных лозунгов, бойких выкриков, плакатов... Были лишь молитвы и иконы. Многие женщины не могли сдержать слёз. Должно быть, все собравшиеся понимали, что исход процесса, открывающегося теперь в бывшем Дворянском собрании, предрешён заранее. Праведник может помиловать разбойника, разбойник праведника — никогда. Вот только — суровость кары? До конца ли пойдут?

Томительно шли минуты ожидания. В толпе перешёптывались, вздыхали. Наконец, раздались крики:

— Везут! Везут!

Люди стали падать на колени. Запели «Спаси, Господи, люди твоя».

Проехала машина, мелькнул белый клубок... Дальнейшего собравшимся видеть было не дано. Но всё-таки народ не расходился. Может быть, и оттого, что нигде, кроме как в этой толпе, Святым Духом, а не лозунгами соединённой, люди давно не ощущали себя Народом...

Митрополита Вениамина в Петрограде любили. Ласково называли «наш батюшка». Он и поставлен-то был в пылающем Семнадцатом на свою кафедру не начальственной волей, а выбором людей,

привязавшихся к нему, пока он был лишь временно исполняющим обязанности главы епархии. Его любили за то, что он никогда не был «князем церкви», оставаясь смиренным служителем Господа, таким же, как и его отец и многочисленные предки, бывшие скромными провинциальными священниками. Владыка не гнушался служить в самых отдалённых и злочных углах столицы, неся свет отверженным, погибающим, падшим.

Со звериным лицом революции ему пришлось столкнуться в самые первые её дни, когда целую неделю прожил он под огнём в осаждённом Чудовом монастыре. Занимаемое им помещение было разрушено большевистскими снарядами буквально через несколько минут после того, как он покинул его. Последние двое суток вместе с монахами владыка провёл в непрестанной молитве «об убиенных во дни и в ночи» в подземной церкви святителя Ермогена, куда из соборного храма перенесли мощи святителя Алексия.

Первый конфликт с властью последовал три месяца спустя, когда большевики издали Декрет «Об отделении Церкви от государства». Тогда в Александрово-Невскую Лавру прибыл вооруженный отряд матросов и красногвардейцев с предписанием комиссариата призрения о реквизиции всех жилых и пустующих помещений со всеми инвентарем и ценностями. Монастырские власти решительно отказались отдать Лавру для нужд «комиссариата призрения». В связи с попыткой захвата Лавры, на следующий день вечером в Троицком соборе митрополит совершил богослужение. Собор был переполнен, как на Пасху. Успокаивая верующих, владыка Вениамин сказал:

— Это — ответ на мое обращение к народным комиссарам оставить церкви в покое — теперь дальше дело самого народа войти в переговоры с народными комиссарами, которые, не услышав моего голоса, быть

может, услышат голос народа. Странное обстоятельство. Ведь посягательства происходят исключительно на православные церкви... Православный народ должен выступить немедленно с протестом, и я уверен, что, по милости Божией, разрушение церковного строя будет предотвращено.

Битва за Лавру продолжилась. При следующей попытке захвата предводитель вооруженного отряда матросов и красногвардейцев потребовал от владыки очистить митрополичьи покои. На это митрополит ответил, что против посягательств на права Православной Церкви он может протестовать только похристиански: как избранный на Петроградскую митрополию он считает своим долгом охранять имущество Лавры, принадлежавшее обществу православных людей — живых членов Церкви. Пригрозив выдворить его из лавры силой, предводитель отряда отправился в собрание Духовного собора Лавры и потребовал от епископа Прокопия сдать ему все лаврское имущество. Прокопий ответил отказом и был арестован со всеми членами Духовного собора.

В это время с лаврской колокольни раздался набат. Толпы народа стали стекаться в Лавру.

— Православные, спасайте церкви! — слышались крики.

Отряд и его предводитель были обезоружены, арестованные освобождены. Монахи успокаивали разгневанных людей. Один из них, спасая предводителя отряда, увел его через Тихвинское кладбище подальше от толпы.

Тем временем прибыл новый отряд матросов и красногвардейцев с двумя пулеметами, которые были поставлены на лаврском дворе. По колокольне дали несколько залпов, но набат продолжался. Один из красногвардейцев поднялся на колокольню и, угрожая револьвером, согнал оттуда звонивших богомольцев.

Красногвардейцы стали энергично изгонять богомольцев с лаврского двора. Раздались выстрелы. К красногвардейцам бросился настоятель Скорбященской церкви протоиерей Петр Скипетров, увещевая их и моля не стрелять по безоружным. Он был убит тотчас — пулей в рот...

Верующие, однако, уже не боялись, и духовенству потребовалось немало усилий, чтобы удержать людей от сопротивления захватчикам Лавры. На следующий день депутации от рабочих Стеклянного и Фарфорового заводов, а позже от рабочих Экспедиции заготовления государственных бумаг посетили митрополита Вениамина и выразили ему свою готовность охранять Лавру. В последующие дни многие верующие сутками не покидали ее. В целях защиты святыни владыка благословил совершить к ней крестные ходы из различных церквей Петрограда. После литургии около двухсот отдельных церковных процессий с иконами, крестами, хоругвями направились к Лавре и на Невском проспекте слились в единый грандиозный крестный ход. Все время звучали церковные песнопения, в храмах раздавался колокольный звон.

На площади у Казанского митрополит Вениамин, совершив краткое молебствие, обратился к пастве:

— Христос Воскресе! То, что Христос воскрес является основой нашей веры. С ней мы не погибнем! В самом этом крестном ходе не помогла ли нам вера? Многие сомневались, как они будут участвовать в крестном ходе с непокрытыми головами, когда стоят холода, — и Бог послал весеннее солнышко, под лучами которого совершить крестный ход оказалось необременительно. Несмотря на тяжелые, очень тяжелые обстоятельства, мы не должны падать духом. Вспомним протоиерея отца Петра Скипетрова, павшего у дверей дома своего архипастыря. Вот пример для

всех, как надо защищать веру православную, храмы святые, своих архипастырей и пастырей.

Лавру удалось отстоять. А после ночного богослужения владыки в Покрово-Коломенской церкви правительство во главе с Лениным бежало в Москву под охраной латышских стрелков...

Четыре года длилось это противостояние, и там, где сила оказалась недостаточна, решило исход вековечное — предательство...

Владыка был арестован после того, как отказался признать самочинное ВЦУ и запретил в служении «отцов» этого образования во главе с протоиереем Введенским. Последний немедленно написал на владыку донос и явился к нему вновь уже в сопровождении бывшего председателя петроградской ЧК Бакаева. Они предъявили митрополиту ультиматум: либо он отменит свое постановление о Введенском, либо против него и ряда духовных лиц будет создан процесс в связи с изъятием ценностей, в результате которого погибнет и он, и близкие к нему люди. Владыка ответил категорическим отказом... Во время обыска Введенский подошёл к нему под благословение, но получил холодный ответ:

— Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду.

Арестованного митрополита ВЦУ уволило с петроградской кафедры, а новый петроградский первоиерарх епископ Алексей (Симанский) отменил указ об отлучении новоявленного иуды, вызвав немалое негодование верующих.

Сам Введенский явился на процесс в качестве «защитника» митрополита. И об этом тоже с возмущением говорили в толпе. А когда худая, нервная фигура обновленца показалась на ступенях ревтрибунала, то сразу с нескольких сторон раздалось приглушённое:

— Христопродавец!

— Иуда!

Кошачья походка, горбоносый профиль... Самолюбование в каждом движении... Вероятно, успел сказать своё слово на трибунале. Ужалить ещё раз свою жертву.

— Дьявол! — раздался женский вопль, и тотчас брошенный камень разбил Введенскому голову.

Тот дико закричал, заметался, заслонил ладонью рану. А на выручку ему уже бежали охранники. Женщину, бросившую камень, схватили. Она не сопротивлялась.

— Зачем вы бросили камень в гражданина Введенского? — спросили её.

Женщина качнула головой:

— Я камень не в гражданина бросала, а в дьявола!

Ростислав Андреевич осторожно выскользнул из толпы и скрылся в одной из боковых улочек. Не хватало ещё под раздачу попасть так по-глупому. Хоть и глядит он нынче стариком-странником, а в ГПУ не дурачьё работает — докопаются. И тогда ничего хорошего полковнику Арсентьеву не светит.

Ростислав Андреевич замедлил шаг, пытаюсь сориентироваться, куда двигаться дальше. Давненько не был он в Петербурге! Позабылось всё... Да и изменилось многое. Надо сказать, вид бывшей столицы, равно как и Москвы, поражал Арсентьева. Ещё недавно, кочуя по различным областям России, он видел лишь крошечную нищету и голод, местами приобретающий характер мора.

Всего страшнее было в Крыму. Феодосия, Евпатория, Ялта... Эти благодатные края никогда не ведали голода! Даже во время Гражданской войны они оставались обильными и цветущими. Но ушла Белая армия, и нескольких месяцев хватило «товарищам», чтобы обратить земной рай в крошечный ад — сперва

диким террором, а затем голодом. В начале Двадцать второго года ежедневно только в Бахчисарайском районе вымирало под три десятка человек в день. Улицы городов были запружены оборванными, истощёнными людьми или, скорее, их тенями, которые качались, падали, ползли по пыльным дорогам, крючились в судорогах, тянули костенеющие руки в одной непрерывной мольбе:

— Хлеба!

Опустел Джанкой. Доев последних коров, крестьяне, лишившись средств к существованию, ушли в город. В Севастополе на улицах лежали тела умерших от голода беженцев, которые милиция отказывалась убирать. На улицах не осталось ни собак, ни кошек. Люди если буквально всё: траву, улиток, насекомых... Участились случаи трупоедства и людоедства.

Опасно становилось ходить в одиночку. А тем более отпускать куда-либо детей. В Бахчисарае четверых детей поймали цыгане и сварили из них суп. Здесь же задержали двух женщин с головой ребёнка. Выяснилось, что прежде ими были съедены двое детей одной из них, а затем поймали чужого...

И вот, после созерцания всего этого ни с чем несравнимого кошмара вдруг явилось изумляющее изобилие двух столиц с ресторанами и магазинами, с французскими булочками и калачами, с колбасами и сырами... Вид этих разносолов не привлекал Арсентьева, не возбуждал аппетит. Но даже наоборот, отталкивал. До тошноты неприятно было смотреть на всё это и стыдно допустить мысль — ублажать себя всякой всячиной, когда, как истерично написал в одной из своих гнусных статей иуда Введенский, «дети грызут себе ручки». Вот, любопытно, чем плакальщики угощаются? Не иначе как постами усмиряют плоть...

Но чур, чур. Что за неотвязная привычка чужие мерзости разбирать. О том ли полагается думать

сейчас? Сейчас только свои на памяти быть должны. Сейчас судьба решается...

Арсентьев вздохнул. Судьбоносный город... Именно здесь решилась его судьба четырнадцать лет назад, когда он встретил свою будущую жену, Алю... Его товарищи стрелялись из-за неё на дуэли, он, будучи секундантом, был разжалован в поручики, но зато получил в награду главный приз — её руку. А это так нелегко было! Огорчённая дуэлью, она хотела уйти в монастырь, но, слава Богу, её духовный отец не благословил такого шага.

Тем духовным отцом был иеромонах Сергей (Дружинин), скромный насельник Троице-Сергиевой Приморской пустыни и по совместительству духовник семейства Великого Князя Константина. Аля сблизилась с отцом Сергием, благодаря совместной работе в Православном благотворительном обществе ревнителей веры и милосердия. К нему она привезла Ростислава, чтобы получить благословение на брак.

Ростислав Андреевич в ту пору от религиозности был далёк, и отец Сергей стал первым священнослужителем, с которым он сблизился, благодаря жене. Они не раз бывали в пустыни, Аля вела с отцом Сергием переписку...

Теперь же именно к нему решил обратиться Арсентьев за благословением на принятие пострига. Целых два года он медлил, стараясь прежде очистить свою больную душу. Когда в проклятом Семнадцатом его отца и жену убили, а дом сожгли, в его ставшей пепелищем душе осталось лишь одно желание — мстить. И он мстил. Мстил, когда во время Ледяного похода добровольно вызывался в расстрельные команды, видя в каждом большевике убийцу своей Али. А потом было тяжелейшее ранение, почти смерть... И дивный сон, в котором явилась ему жена и преподобный Серафим, особенно ею почитаемый... Боль не прошла,

но утратила нестерпимую остроту, злоба перестала застилать пеленой глаза. Помрачение миновало. Шаг за шагом Ростислав Андреевич искал путь воссоединения с Богом, которого отринул. И, вот, разгромной зимой Десятого ему привелось заночевать у сельского священника. В ту ночь он впервые за несколько лет исповедался. А прозорливый старец, отпустив грехи, предрёк ему монашеское служение...

Теперь, спустя три года, Арсентьев чувствовал, что настала пора для исполнения предначертанного.

Отца Сергия, теперь уже архимандрита, Ростислав Андреевич нашёл не сразу. Перед революцией он стал настоятелем родной обители, но бунтарская волна докатилась и дотуда: несколько монахов учинили смуту, и пятидесятишестилетний архимандрит вынужден был покинуть монастырь после тридцати лет пребывания в нём. Оказавшись, по существу, на улице, отец Сергей обратился с прошением к владыке Вениамину, и тот разрешил ему жить и служить в Александро-Невской лавре. Однако, нашёл его Арсентьев не здесь, а на станции Сергиево, где архимандрит жил в доме одного из прихожан расположенной тут же церкви преподобномученика Андрея Критского, бывшего домового храма приснопамятного благотворительного общества. В нём и служил теперь бывший настоятель Троице-Сергиевой пустыни.

Отец Сергей сильно состарился за эти годы. Лицо его осунулось и выглядело нездоровым. Кроме того, заметно было, что архимандрит находится в состоянии глубокой меланхолии, вызванной пережитыми несчастьями. Это обстоятельство несколько смутило Арсентьева. Ему показалось, что по-человечески жестоко переваливать теперь на этого больного, забитого изгнанника свою боль. Он шёл к отцу Сергию

за поддержкой, а видел, что тот сам нуждается в ней не меньше.

Сперва пили чай, обмениваясь отрывистыми репликами. По счастью, память архимандрита не подводила, и он сразу вспомнил и Ростислава, и покойную Алю. Очень огорчился, узнав о её безвременном уходе, утёр набежавшую на глаз слезу. И снова жаль его стало Арсентьеву. Тот сидел в углу дивана в простом подряснике, тихий, измученный. Вдруг посетовал на больное:

— А слышали вы, Ростислав Андреевич, как меня из родных стен вышвырнули? Я ведь туда юношей пришёл... Тогда там настоятелем был архимандрит Игнатий, самого Брянчанинова ученик, при нём в нашей обители возраставший духовно. Три десятилетия, Ростислав Андреевич, там был мой дом... А теперь... — отец Сергей взмахнул рукой и вздохнул. — И ведь какой позор! Все же рассуждают — коли изгнали, так, небось, было за что! Все забыли меня теперь, сторонятся...

— Полно, отец Сергей! Какой же это позор? Разве не сказал Господь, что прославит тех, кого за Его имя будут гнать? Радуйтесь же! Вы за Него терпите!

— Я знаю, знаю... — закивал архимандрит. — Уныние — великий грех. Но я стар, Ростислав Андреевич. И болен. Я стал теперь приходским священником, но эта ноша мне уже не по силам... И это постоянное унижение... И мало того! Я вынужден постоянно ждать каких-нибудь новых ударов от них...

— От кого, помилуйте?

— От бывшей своей братии... Их злой дух обуял. Если бы вы знали, что мне пришлось от них вынести... — отец Сергей помолчал. — Королева эллинов предлагала мне уехать с нею в Грецию...

— Отчего же вы не поехали?

Грустная улыбка скользнула по губам архимандрита:

— Я счёл своим долгом быть со своей братией и в годину смерти, а не только, когда разъезжал на великокняжеских автомобилях.

— Сожалеете о вашем решении?

— Нет. Я бы и сейчас ответил то же... В моих летах поздно бегать в поисках лучшей доли. Прятаться в дальних краях, когда здесь церковь истекает кровью, когда гибнут люди, чьёго волоса я не стою, — голос отца Сергия стал твёрже. — Я, Ростислав Андреевич, с первого дня знал, что этим всё кончится. Ничем иным не могло. Наша русская трагедия состоит в том, что гражданский расцвет России покупался ценой отхода русского человека от царя и от Церкви. Свободная Великая Россия не хотела оставаться Святой Русью! Разумная свобода превращалась и в мозгу, и в душе русского человека в высвобождение от духовной дисциплины, в охлаждение к Церкви, в неуважение к Царю... Царь становился с гражданским расцветом России духовно-психологически лишним. Свободной России он становился ненужным. Внутренней потребности в нем, внутренней связи с ним, должного пиетета к его власти уже не было. И чем ближе к престолу, чем выше по лестнице культуры, благосостояния, умственного развития — тем разительнее становилась духовная пропасть, раскрывавшаяся между Царем и его подданными. Только этим можно, вообще, объяснить факт той устрашающей пустоты, которая образовалась вокруг Царя с момента революции... Я, Ростислав Андреевич, всегда почитал Царя. Я знаю, что слухи, ходившие вокруг него, ложь. Знаю, потому что я был исповедником его близкого круга, а своим духовным чадам на исповеди я имею обыкновение верить! Я и теперь не отрекусь от моего Государя даже в ЧК... И того не скрою, что заветная мечта моя — это восстановление престола... Кто сокрушил его? Люди, не

имевшие понятия, что делать с таким великим государством, которые только и знали, что шумели десять лет в Думе и ничегошеньки не сделали. Каждый действовал по своей логике и имел свое понимание того, что нужно для спасения и благоденствия России. Тут могло быть много и ума, и даже государственной мудрости. Но того мистического трепета перед царской властью и той религиозной уверенности, что Царь-помазанник несет с собою благодать Божию, от которой нельзя отпихиваться, заменяя ее своими домыслами, — уже не было. Это исчезло. Все думали сделать все лучше сами, чем это способно делать царское правительство! Это надо сказать не только о земцах, которые тяготились относительно очень скромной опекой Министерства внутренних дел, не только о кадетах, мечтавших о министерских портфелях, но и о тех относительно очень правых общественных деятелях, которые входили в прогрессивный блок. Это можно сказать даже и о царских министрах, которые уж очень легко заключали, что они все могут сделать лучше Царя. Вот и сделали все вместе... И ведь по сию пору не поняли, почему так всё обернулось и как исправлять. Не поняли, что только возвращение к истокам, к монархическому строю может снова восстановить порядок...

Видимо, очень одинок был стареющий архимандрит в своём изгнанническом положении, и редко удавалось поговорить с кем-то по душам о наболевшем. Выговорившись, он как будто оживился, провёл рукой по лбу, словно желая отогнать неотвязчивые думы, и обратился к Арсентьеву:

— Вы уж простите меня, что я, кажется, впадаю в непростительное многословие. Да всё о своих неурядицах, словно бы одного меня они постигли. Слаб стал, простите... Расскажите же теперь о себе. Ведь вы, должно быть, не просто так пришли.

— Ваша правда, отец Сергей, — Ростислав Андреевич собрался с духом. — Я хотел просить вас исповедать меня и благословить, если сочтёте возможным, на принятие пострига.

— Вы решили принять постриг? Решили серьёзно?

— Да, совершенно. Вот уже два с половиной года, как я решил посвятить себя Богу.

Архимандрит поднялся, словно подобрался весь. Уже не был это измученный, склонный к жалобам и слезливости старик, а Божий служитель, прежний отец Сергей:

— Перейдёмте в другую комнату... Там моё облачение.

Облачившись, он окончательно преобразился. Божий служитель взял верх над слабым человеком. Пришла очередь Арсентьеву говорить. День за днём он повторял эти слова, представлял, как будет говорить всё это, и, вот, потекли они обильным потоком, облегчая отягчённую душу...

Благословение на принятие пострига отец Сергей дал, отложив его, однако, на месяц. А три недели спустя в бывшем здании Дворянского собрания выносили приговор митрополиту Вениамину и судимым с ним священнослужителям и мирянам в числе почти ста человек.

На заседания по билетам пускали зрителей. И Арсентьев решил воспользоваться этим. На хромонового старика никто не обратил внимания. Вот, вошёл в зал статный, несколько несломленный владыка, за ним — остальные подсудимые. Ростислав Андреевич сразу отметил характерное различие: лица подсудимых и лица судей... Хотя и среди последних были сплошь свои, русские, но то были два разных народа. Разной степени развития. Ещё на Гражданской Арсентьев заметил, что коммуниста невозможно не отличить, даже если при нём нет билета. Коммунист — это пропись на лице. Что-

то каменное, твердолобое, механическое, грубое и жестокое. Попробуйте рассмешить коммуниста. Человек ведь раскрывается в смехе. О, какое впечатляющее зрелище это будет! Или звериный оскал или беспомощная, жалкая гримаса человека, который просто напрочь лишён умения смеяться. Коммунист сосредоточен. Он не забудет затверженных основ, заменивших ему собственную мысль, если зачатки таковой присутствовали в его голове. Его взгляд пуст и мутен, он никогда не выразит чего-либо светлого... Странное дело! Ведь эти люди родились от обычных женщин! Они были детьми... Откуда взялось это общее выражение коммунистических лиц?

Вот и в этом зале. Дивный контраст! Народ русский и народ советский ... Перепутать невозможно. Сколько достоинства, благородства, высокой культуры в одном, будь то даже люди малого звания, тёмные, и какое полное отсутствие всего этого в человекообразных особях другого...

Суетилась команда адвокатов из колена Израилева. Более всех — Гурович, старавшийся представить владыку обманутым «сельским попиком» и призывавшим не плодить мучеников... О, лучше бы вовсе этой братии здесь не было! С их лживыми выкрутасами... Мученики защитили бы себя сами. Лучше всех. Ибо истина не нуждается в защите полуправдой. Христос был беззащитен перед Каиафой и Пилатом...

Митрополит всю вину брал на себя. Видимо, из вопросов земных главным было для него одно — вывести из-под удара других. Убедить суд в том, что все решения принял он сам и отвечает за них единолично. Он поимённо перечислил всех подсудимых и каждому нашёл «алиби».

— Я, — закончил владыка, — говорю бездоказательно, но ведь я говорю в последний раз в жизни, а такому человеку обыкновенно верят.

Этот июльский день выдался солнечным, и солнечным светом была озарена вся фигура митрополита. Это был человек, переступивший черту, уже отделившийся от земли, не принадлежащий ей. Возможно, именно в этом заключалось спокойствие и его, и судимых с ним. Хотя приговор ещё не был выяснен, но предопределён. И внутри каждый уже пережил его и смирился с ним. Палачам было что терять, оттого беспокоились они. Жертвам терять было уже нечего.

— Вы — подсудимый, — заметил судья митрополиту. — Вам дано последнее слово для того, чтобы вы сказали что-нибудь о себе. Это важно для революционного трибунала.

Близорукое, открытое лицо владыки Вениамина выразило непритворное изумление.

— Что же я могу о себя сказать? — отозвался он, поднявшись. — Я спокойно отношусь к обвинению, хотя и не могу без скорби слышать, как меня называют «врагом народа». Народ я люблю и отдал за него всё, и народ любит меня. Каков бы ни был ваш приговор, я буду знать, что он вынесен не вами, а идёт от Господа Бога, и что бы со мной ни случилось, я скажу: слава Богу за всё! — осенив себя крестным знаменем, владыка сел.

Струились солнечные лучи по просторному залу, осеняли будущих мучеников... Вслед за митрополитом говорили другие. А сам он сидел неподвижно, отрешившись от всего, погружившись не то в раздумья, не то в молитву.

Арсентьеву хотелось подойти к этому человеку, поклониться, испросить благословения. Но нельзя было. Поздно...

За окнами пели «Спаси, Господи, люди твоя», а в зале зачитывали приговор: митрополита Вениамина и

ещё девятерых осуждённых с ним подвергнуть высшей мере наказания. Расстрелу.

Приговорённых стали уводить.

«Благословите, владыка!» — мысленно попросил Ростислав Андреевич, поднявшись.

У самых дверей митрополит оглянулся, обвёл последним взглядом зал и, как показалось Арсентьеву, на миг остановился на нём. Отныне Ростислав Андреевич знал точно, каким именем станет называться через неделю, приняв постриг... «Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой, — звучали в сердце слова владыки-мученика, написанные им уже из тюрьмы и теперь расходившиеся меж верующими в списках. — С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость, и силы и дать место благодати Божией.

Странны рассуждения некоторых, может быть и выдающихся пастырей — разумею Платонова, — надо хранить живые силы, то есть их ради поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому подобные спасают Церковь, а Христос. Та точка, на которую они пытаются встать, — погибель для Церкви. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди и ради политических убеждений жертвуют всем. Посмотрите как держат себя эсэры и т. п. Нам ли христианам, да еще иереям, не проявлять подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа, в жизнь будущего века!»

Глава 7. Отражения истории

— Вот, Сонюшка, и август кончается...

Словно в ответ на эти слова опалённый лист упал на скамейку. Алексей Васильевич поднял его, задумчиво покрутил в руке, глядя на сияющую нить паутины, протянутую сквозь кущи чёрной рябины.

— Скоро осень наступит... Ты всегда любила осень. Раннюю, когда всё в золоте, багрянце. Как странно, что она придёт, а тебя не будет, — Надёжин судорожно глотнул. Хотя Соню схоронили ещё минувшим ноябрём, но он до сих пор не мог привыкнуть к её отсутствию. Столько лет каждую мысль свою он нёс к ней, делился с ней всем. Столько лет она была рядом, Богом данная вторая половина, и, вот, ушла, оставила...

Последнее своё лето Сонюшка почти не могла ходить. Ноги её страшно распухли и болели. И всё же всякое утро она просила, чтобы свели её в сад. Здесь, в рябиновых кущах, он поставил для неё скамейку, и она просиживала на ней часами, неподвижно, глядя куда-то вдаль. Лицо её казалось безмятежным, просветлённым, уже нездешним. Часто Алексей Васильевич сидел подле Сони, читал ей вслух. И прощался, понимая, что это последние дни...

Она ушла символично, словно следуя самой природе: когда деревья сбросили свои уборы, и земля приобрела неприютный ноябрьский вид. Хоронили её, как она и хотела, во всём белом. Специально из Москвы приехал для отпевания отец Сергей, сын старца Алексия... Едва успели засыпать могилу, как закружил первый в том году снег, убелил свежий холм пухом.

Подле сониной скамейки Надёжин поставил памятный крест и всякий день приходил сюда, говорил

с нею, как с живой. Да ведь она и жива была. И где-то там, в неведомых краях, слышала его...

Всё пустее и неприятнее становился Посад. Съехали, оставив дом в его распоряжении, Кромиади. Ушла Соня... Старшего Мишу решено было в ближайшие дни отправить в Москву — учиться. Там обещалась присмотреть за ним всё та же отзывчивая к чужой беде Лидия...

Но личными утратами запустение не исчерпывалось. Ещё раньше, в 1919 году, в Лазареву пятницу безбожники осквернили мощи Преподобного Сергия. В тот день ото всех посадских храмов к Лавре пришли крестные ходы. Верующие заполнили площадь. Из бойниц на них чёрными бельмами зыркали пулемёты, готовые в любой миг изрыгнуть смертоносный огонь... Сумрачно было, и насквозь пронизывал ветер. Соня порядком озябла, но отказывалась уходить. Это стояние ещё будет стоять ей долгих недель болезни... Не хотели уходить и дети. Младшие жались к матери и крестной, старший, Миша стоял рядом с отцом, сжимая в руках икону.

Духовенство служило молебны, и в промежутках вся площадь пела «Да воскреснет Бог». Многие плакали, переживая грядущую разлуку с мощами любимого Чудотворца...

Так прошло восемь часов, пока, наконец, к вечеру из открывшихся ворот вышел какой-то еврей-комиссар и, взгромоздившись на бочку, изрёк:

— Идите смотрите, чему вы поклоняетесь — тряпкам и костям!

— Мерзавец! — прошептал Миша, и Алексей Васильевич дёрнул его за рукав.

Вся толпа ринулась в собор. Там уже вовсю орудовали нахальные комсомольцы, певшие бесстыдные песни и плясавшие, с презрением и насмешкой косившиеся на верующих. А те шли и шли к

раскрытой раке, в которой беспорядочно лежали кости, с рыданиями прикладывались к святыне. Вскоре её увезли в музей, и Лавра осиротела... Через год была закрыта и сама она. Сбылось предречённое — погасли лампы у Сергия Преподобного... Тьма сгущалась.

Жить в Посаде приходилось впроголодь. Алексей Васильевич учительствовал в гимназии, где на старости лет вынужден был работать и легендарный Лев Тихомиров, из народовольцев переродившийся в вернейшего рыцаря монархии... Иссохший старец с колючим взором, с тяжёлой тростью, стук которой слышался издали, он ни с кем не разговаривал и лишь болезненно морщился, когда мальчишки дразнили его вслед «карлом марксом».

Преподавательская деятельность в условиях победившего большевизма стала делом крайне тяжёлым, но ведь надо же было кормить семью. В Посаде эту задачу все решали по-разному. Кто-то тачал башмаки, как в былое время Лидия, а теперь научившаяся у неё Марочка. Кто-то вязал носки, как один из родичей князей Голицыных. Марочка к тому занималась и врачебной практикой, успевая притом обиходить осиротевших детей.

Трудно сказать, как пошла жизнь, если бы её не было рядом. Есть люди, обладающие завидным даром всегда оказываться в нужное время в нужном месте и, оказавшись, делать и говорить ровно то, что нужно. Марочка была как раз таким человеком. Ещё при жизни Сонюшки весь дом уже держался исключительно на её плечах. А после и по-прежнему.

Месяцы, прошедшие со смерти Сони, ещё больше сблизили Надёжина с Марочкой. Сблизили воспоминаниями о дорогой ушедшей, долгими разговорами о ней... Да и после Сони был ли разве иной человек, столь близкий, всё понимающий?

Правда, допустил Алексей Васильевич однажды бестактность в отношении этой чудной женщины. Дёрнул лукавый тем вечером крепко посидеть в хорошей компании... Обычно Надёжин не позволял себе подобного, но тут одолела тоска, да и повод был уважительный — отмечали рождение сына одного посадского знакомца. И не то чтобы сильно нетрезв с того стал, а так, навеселе, но хватило, чтобы глупость брякнуть.

Вернувшись за полночь, Алексей Васильевич обнаружил, что Марочка ещё не ложилась. Она сидела в гостиной, ничем не занятая, и медленно перебирала чётки.

— Отчего вы не спите, Марочка?

— Я ждала вас.

— Зачем?

Марочка пожала плечами:

— Вдруг бы вам что-то понадобилось...

— Так жёны мужей обычно ждут...

— Не знала об этом, — она поднялась с явным намерением уйти, но Надёжин удержал её:

— Простите... Я давно хотел поговорить с вами.

— Вы, Алексей Васильевич, уверены, что сейчас лучший момент для разговора?

— Момент, скорее всего, худший, но другого не будет... Сядьте, Марочка, пожалуйста...

Она опустилась на край стула, положила сжатые кулачки на сомкнутые колени — словно институтка. Смотрела открыто, не отводя взгляда.

— Мы с вами живём под одной крышей, вы заботитесь обо мне, воспитываете моих детей... Я подумал, было бы честно... — слова с трудом шли на язык, и Надёжин всё больше нервничал. — Я уверен, что Соня бы благословила нас... Одним словом... Одним словом...

Марочка предостерегающе подняла руку:

— Не надо, Алексей Васильевич, не продолжайте! Бога ради... У меня нет человека более дорогого, чем вы. И ваших детей я люблю, как родных. Но женой вам я не стану.

— Почему?

— Причин несколько. Во-первых, я не хочу, чтобы дети видели во мне мачеху. Тем более, что в браке у нас могут родиться свои, а я не поручусь, что смогу быть столь искусной, чтобы не подавать повода к ревности. Это разрушит мир в нашем доме. Я этого не хочу. Во-вторых, вы ведь не любите меня, правда? Просто вам сейчас очень трудно без Сони, вы не знаете, чем заполнить пустоту в своём сердце. Но я не смогу заполнить её. Соню вам не сможет заменить никто... Значит, выйдет между нами ложь. А этого я тоже не хочу. Я слишком дорожу нашим нынешним, чтобы ставить его под угрозу. Не будем пытаться изменять Господних путей собственными желаниями.

От этих спокойных, рассудительных слов вышел дурман из головы. Надёжину стало совестно. Подойдя к Марочке, он осторожно взял её прохладную руку в свои, сказал виновато:

— Простите меня. Вы правы, конечно... Я не должен был и начинать этого разговора. Забудьте...

— Уже забыла, коли вы так хотите.

Тем и кончилось всё... Миновала весна, закончились занятия в школе. Летом Алексей Васильевич решил показать детям ещё уцелевшие окрестные святыни. Отправились пешком в паломничество. Посетили сперва монастырь Вифанию, скиты Черниговский и Киновию, затем — знаменитый Гефсиманский, где жил некогда прозорливый старец Варнава.

Гефсиманский скит был окружен сплошь лесом, под тёмными сводами которого одиноко светлел розовато-белый храм XVIII столетия. Если и была «польза» во всех ужасах последних лет, то заключалась она в том духе,

который заключался теперь в церковных стенах. Здесь не осталось ничего наносного, мирского, суетного, ничего от духа времени, века сего. Остались лишь подлинные слугители Христовы, подлинные верующие — не по праздникам для порядка, а всей душой. Оттого хрустально чист стал храмовый воздух, и особенно сильна молитва в очищенных стенах.

Монахи, молодые иноки и древние старцы, схимники, мирские... Вот она, «Святая Русь», над сюжетом которой так долго мучился Нестеров! Эти бы лица все — да на холст! Пройдёт время, и только на холстах и фотокарточках сохранятся они...

Путешествие по Святой Руси продолжилось походом в Параклит. Этот скит располагался дальше прочих, дорога к нему лежала сквозь дремучий еловый бор. Она порядком заросла травой, но идти отчего-то было необычайно легко. Дети были веселы, шалили, собирали и тут же ели крупную, сочную землянику. Весела казалась и Марочка, полной грудью вдыхавшая смолистый воздух...

Параклит жил по строжайшему уставу, женщины в скит не допускались. А потому, поклонившись ему, продолжили путь к недавно основанной Гермогеновский пустыни, куда переселились монахи закрытого Николо-Угрешского монастыря.

Чудная это была дорога: по деревьям, где детей сердобольные хозяйки угощали парным молоком, по полям, пестреющим ромашками и душистым клевером, по былинным лесам... Словно бы не было здесь Советов, не ступала нога коммуниста. И так вольно и радостно дышалось от этого!

Пустынь также являла собой картину из древних сказаний: посреди леса несколько бревенчатых избышек, крытых соломой, пара лошадей, огородик, на котором трудятся несколько иноков... Одна из изб была крупнее других и крыта тёмсом. Венчал её куполок-

луковка из осиновых плашек с деревянным крестом. Пустынь была огорожена плохоньким заборчиком из слег. Должно быть, именно так зарождалась некогда и сама Лавра, и так трудился в огороде Преподобный...

Монахи встретили нежданных гостей радушно и после службы устроили на ночлег. Засыпая, Надёжин думал, что надо непременно свозить детей и в другие города, показать им ещё уцелевшие островки Святой Руси, пока и их не смыло беспощадным валом...

Ещё одно занятие скрашивало однообразную вереницу дней в этот тяжёлый год. Работа, которую Алексей Васильевич начал неожиданно для самого себя, ища в ней забвения от собственного горя. Вот уже несколько месяцев над его рабочим столом висели две миниатюры, два женских портрета. Марии-Антуанетты и Александры Фёдоровны... Что за удивительное повторение исторических судеб, что за странная связь!

Вот, юная австрийская принцесса едет по пока ещё чужой для неё стране, королевой которой она должна стать. Юная, чистая, ещё не ведающая страшной своей судьбы, но и насторожённая в преддверье неизвестного. Не так ли въезжала в Россию принцесса Алиса Гессенская? Обе они были милосердны и религиозны, обе желали добра, но так и не смогли по-настоящему понять свои народы. Обе, народами своими не принятые. «Австриячка» — так презрительно называли Марию-Антуанетту. Её не полюбил народ, невзлюбили и в собственной семье. Королевские тётки и братья распускали о ней всевозможные небылицы, злословили, интриговали. Ровно так же, как и многие родственники российского Императора против Государыни, презрительно называемой «немкой»...

Обе эти женщины были чересчур экзальтированы. И обе обладали более сильной волей, нежели их венценосные мужья. Им нельзя было вмешиваться в столь грязное дело, как политика, но они считали это

своим долгом, а потому становились игрушками в руках интриганов... Каждой из них была уготована своя ловушка, своя «тёмная история». Французскую королеву очернили делом о жемчужном ожерелье, русскую царицу — распутинщиной... «Как Сатана в Вальпургиеву ночь собирает ведьм, так и здесь, но только при ярком дневном свете образовался жуткий хоровод, в котором закружились и носящий красную шляпу кардинала Луи де Роган, и закоренелый преступник — сицилианец Бальзамо-Калиостро, и придворная модистка госпожа де Ламот, «в лице которой было что-то пикантное», а вместе с ними и высокопоставленные прелаты, мошенники, предсказывающие будущее, карманники и проститутки. Какой смрад подняли они! Дело это было скандальным еще и потому, что трон здесь впервые столкнулся с уголовщиной. Девять месяцев по всей Европе только и было разговоров что о загадке ожерелья, и изумленная Европа вдруг увидела, как одна ложь сменяла другую, как язвы коррупции, жадности и глупости покрыли тела и высших и низших и что всюду царит одна лишь алчность. Впервые тебе больно и горько, и ты льешь слезы, прекрасная королева! Впервые твое честное имя заляпано грязью, от которой тебе уже не очиститься до самой смерти. Ни у кого из тех, кто живет в одно время с тобой, не шевельнулись в сердце любовь и жалость к тебе, они появятся лишь у будущих поколений, когда твое сердце, навсегда исцеленное от всех печалей, уснет холодным сном могилы. Отныне эпиграммы становятся не просто злыми и резкими, они теперь отвратительно жестокие, гнусные и нецензурные», — так писал Карлейль в своей «Истории французской революции». И разве не точно можно перенести эти слова на русскую почву?

Разные времена, разные люди, а судьбы одинаковы... И сходство усугубляется ещё и болезнью

детей, наследников, тяжело переживаемой обеими государынями.

Интересно, что почувствовала юная Алиса, когда по прибытии в столицу нашла в своих покоях портрет Марии-Антуанетты? Чья-то «заботливая» рука повесила его там. И впечатлительная Александра Фёдоровна не могла не увидеть в том знамения. Но тем не менее, портрет оставила...

Знамениями, вообще, были переполнены обе истории. Царствование Людовика началось страшной давкой во время праздничного фейерверка. Царствование Николая — Ходынкой. А сколько мрачных пророчеств довелось им услышать! Беду царствованию Николая пророчили ещё издавна: монах Авель, старец Исидор и другие. Пророчила Пашенька Блаженная, махавшая красным лоскутком перед Императрицей. И сколько, сколько ещё... Словно нарочно нагнеталась атмосфера, осуществлялся методический психологический террор. Внедрялась в сознание венценосца ложная мотивация о предрешённости всего, о бесполезности сопротивления. Ломалась и без того не стальная воля. Царя нарочно подводили к его роковому шагу, психологически загоняли в угол. И загнали...

Духовное состояние российского и французского общества перед революциями давало благодатнейшую среду для развития нездорового мистицизма, проявления которого не обошли ни Императрицу Александру Фёдоровну, ни Марию-Антуанетту, появления всевозможных шарлатанов, усугубляющих смуту. И снова вспоминался испещрённый пометами Карлейль, как никто сумевший передать существо французской трагедии: «Посмотрите, как ужасно, уверяю вас, ужасно обстоит дело с теми самыми «осуществленными идеалами», причем всеми до единого! Церковь, которая семьсот лет тому назад была на вершине своего могущества и могла позволить себе,

чтобы сам император три дня простоял на снегу босиком в одной рубашке, каюсь и вымаливая себе прощение, вот уже несколько веков чувствует себя неважно и вынуждена, забыв прежние планы и распри, объединиться с более молодым и сильным организмом — королевской властью, надеясь тем самым задержать процесс старения, — теперь они поддерживают друг друга и если падут, то падут вместе. Увы, но и несвязное, свидетельствующее о старческом маразме бормотание Сорбонны, по-прежнему занимающей свой старинный особняк, никак нельзя принять за идеи, направляющие сознание людей. Отнюдь не Сорбонна, а Энциклопедия, философия, бесчисленное (никто не знает, сколько их) множество готовых на все писателей, антирелигиозных куплетистов, романистов, актеров, спорщиков и памфлетистов приняли на себя духовное руководство обществом...»

Не то же ли было в России? Не в таком ли униженном положении находилась наша Церковь во весь синодальный период? И целые поколения воспитывались не мужами разума, а всевозможными шарлатанами... О, а сколь схожи эти шарлатаны! Да, собственно, шарлатаны французские и породили наших, наши выучились у них. Презирающие русский народ «интеллигенты» не могли даже собственной идеи измыслить. Эти пустые людишки могли лишь перепевать, коверкая, подобно бездарным копиистам, идеи чужие, обезьянничать, донашивать чужие обноски. И в этих обносках щеголяя, гордиться собственной «просвещённостью», поднимающей их над «диким» народом!

А г-да литераторы? Кем был «великий» Бомарше, заигрывавший в своих сочинения с революцией? Обычным спекулянтom! Этим «благородным» ремеслом он занимался ещё при короле. А после революции, в которой, разумеется, участия не принимал, продолжил,

нажив недурной капитал. Наши «буревестники» тоже сильно скорбели о народе. Правда, предпочитали делать это в тепле и уюте острова Капри...

Старик Мармонтель, автор романов и пьес, доживший до революции в отличие от Вольтера, Руссо и прочих духовных отцов её, писал в письме Национальному собранию, что идеи, которые он проповедовал, имели для него лишь прелесть утешающего желанья, и у него не было ни малейшего желанья предугадывать их следствия. Было ли такое желанье у господ Огарёвых и Герценов? У Белинских, Чернышевских и прочих? А публика внимала им! Так же, как внимало французское общество своим «мудрецам». Маршал де Сегюр, чудом уцелевший во время террора, вспоминал: «Мы, мы, аристократическая молодёжь Франции, без сожаления о прошедшем, без опасений за будущее, весело шли по цветущему лугу, под которым скрывалась пропасть... Хотя это были наши привилегии, жалкий остаток нашего былого могущества, которые подкашивались под нашими ногами, нам нравилась эта маленькая война. Мы не испытывали её ударов; перед нами развертывалось только зрелище. Это были битвы лишь на словах и на бумаге, и нам не казалось, чтобы они могли поколебать то высокое положение, которое мы занимали и которое казалось нам несокрушимым. Мы смеялись над тревогой двора и духовенства, восставшего против этого духа нововведений. Мы аплодировали республиканским сценам в наших театрах, философским речам наших академий, смелым сочинениям наших литераторов». Сегюр добавлял, что его сверстникам нравилось сочетать патрицианское положение с плебейской философией...

Сколько таких «сегюров» было и среди аристократии русской! И как дорого пришлось платить обеим за заигрывания с «плебейской философией»...

Читая эти воспоминания, Надёжин, как наяву, видел русское высшее общество. Ныне изгнанное, обобранное до нитки, частью вовсе истреблённое. И ведь, что всего удивительнее, не утратившее своей феноменальной наивности. Русские князья нанимаются в советские учреждения и доказывают «товарищам», что они не враги, что их происхождение — ничто, что они всю жизнь верой и правдой служили родине, а не «проклятому режиму»...

Загрохотал вдали гром, и Алексей Васильевич, поклонившись кресту, побрёл по узкой дорожке к дому. Марочка с детьми ещё утром отправилась в Москву, а потому в доме царила редкая тишина. Надёжин решил употребить это время на работу и прошёл в кабинет.

На массивном, тёмном письменном столе лежали стопы книг, фотографии, портреты... Зайди сюда кто из «товарищей», мигом бы обвинили в контрреволюции. Одного портрета Государя вполне хватило бы для этого.

Государь... Немало сходств было у него с французским Людовиком. Оба взошли на престол совсем молодыми, не успевшими достаточно подготовиться к столь тяжкому служению. Оба образцовые мужья и отцы, добрейшие люди, исполненные самых благих стремлений и любви к своим подданным, далёкие от придворных интриг и тяготящиеся обязанностями в отношении двора, предпочитающие ему уединение. Оба, наконец, не смогли вовремя преградить путь надвигающейся катастрофе и проявили роковую уступчивость, дав своим странам «народное представительство», в конце концов, погубившее всё. Впрочем, в отличие от Людовика Николай обладал куда большим кругозором и сознанием своего положения. И чувство собственного достоинства не позволило ему играть балаганную роль при Конвенте, цеплять революционные кокарды, как поступил Людовик. В довершении сходств оба

венценосца были преданы своими родственниками. Об арестованном Императоре газетам рассказывал всевозможные гнусности нацепивший красный бант князь Кирилл. А во французском Конвенте подавал голос за казнь короля «гражданин Филипп Эгалите», бывший герцог Орлеанский, потомок Гуго Капета... «Нет такой жертвы, которую я не принёс бы для блага России», — говорил Николай. «Я умираю невинным. Пусть моя кровь спаяет счастье французам», — сказал Людовик, стоя на эшафоте... Оба венценосца, считавшиеся слабыми и, действительно, слабости допускаявшие, они проявили исключительное мужество в свои последние дни, то высокое, исполненное достоинства и глубокой христианской веры мужество, которое недоступно палачам и предателям... Недоступно черни.

В 1918 году в издательстве имени Маркса вышла книга «Великая французская революция». Не знали товарищи большевики, что выпустили, прельстившись по собственной безграмотности названием и не вникнув в суть. Этот труд был написан крупнейшим русским историком и социологом Николаем Ивановичем Кареевым, не одно десятилетие посвятившим изучению своей темы. Николай Иванович отнюдь не был консерватором, состоял в партии кадетов, несколько дней провёл в Петропавловской крепости в Пятом году. Но был он историком высочайшего класса, специалистом, которому собственные политические симпатии не мешали беспристрастно излагать факты. А факты имеют свойство говорить сами за себя. Оттого его опрометчиво изданная большевиками книга воспринималась, как контрреволюционная и пророческая.

Иное время, иная страна, а казалось, будто собственную недавнюю историю читаешь. «Дайте мне пять лет деспотизма, и Франция будет свободна!» —

обещал министр Тюрго, не сбывшаяся надежда несчастной страны, реформатор, затравленный со всех сторон. Тюрго не любили ни правые, ни левые, ни аристократия, ни чернь. Но, самое главное, его не любила королева, требовавшая у мужа его отставки. Людовик поддался влиянию своего окружения, но ещё долго не решался отстранить от должности опального министра, а лишь избегал свиданий с ним. Точно такой же была и судьба реформатора российского, говорившего: «Дайте мне двадцать лет покоя, и вы не узнаете Россию!»²⁶ С той только разницей, что российский Государь оказался избавлен от принятия тяжёлого решения пулями Богрова...

Фатальное неумение разбираться в людях монарха и бесконечные интриги двора привели Россию и Францию к плачевному положению — их правительства в канун революции состояли сплошь из серых и бездарных людей, не способных ни к чему, светлые головы были благополучно вытеснены на обочину. В создавшемся хаосе не нашлось ни одной силы, способной ему противостоять...

Российские революционеры копировали своих французских предшественников со рвением старательных подмастерьев. Даже названий не могли придумать своих, а сплошь заимствовали. От Учредительного собрания до Революционного трибунала... Что уж говорить о существе?

«Священники, бывшие дворяне, сеньеры, а также служащее и прислуга всех этих лиц; иностранцы; лица, занимавшие или занимающие какие-либо общественные должности как при прежнем правительстве, так и со времени Революции; лица, подстрекавшие или поддерживавшие заговорщиков; главари, подстрекатели и лица, виновные в убийстве, поджоге или грабеже, подлежат смертной казни...» Статья

шестая Декрета о наказании мятежников. Издано 17 марта 1793 года... А кажется, словно году в Восемнадцатом...

Алексей Васильевич разложил фотографии в нужной последовательности, раскрыл книги на нужных страницах и начал писать. Само собой, его труду в отличие от книги профессора Кареева уж точно не суждено увидеть свет в обозримом будущем, но, кто знает: возможно, Божьим промыслом эта рукопись уцелеет в горниле всевозможных бедствий, и потомки, прочтя её, что-то откроют для себя, что-то поймут о тех тайных механизмах, невидимым действием которых опрокидываются в кровавую пучину троны, страны и целые народы...

Глава 8. Экспедиция

«...и сломя гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь; и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли [вашей] не дадут плодов своих. Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши: пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, то и Я [в ярости] пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага; хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас; десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть...»²⁷

Как страшно исполнилось всё на российской земле! И в царское время случались неурожаи, и голод, но бедствия такого масштаба не бывало. С содроганием Сергей читал в газетах жуткие сообщения с мест, и отказывалась верить душа — неужели и впрямь возможно, чтобы люди ели друг друга?.. Но если прессе ещё можно было и не поверить, то рассказы очевидцев сомнению не подлежали. А от рассказов этих волосы дыбом становились куда больше, чем от газет... Одна только история о том, как в одном из уездов в Татарии

съели приехавшего из города доктора и двух фельдшеров, чего стоила!

Слава Богу, хоть в отцовской деревне не дошло до такого. Конечно, и там голод стоял: хлеб только с примесями, соли не хватало — но выживали с горем пополам. Старался и Сергей хоть чем-то пособить, когда мог. Страшно вообразить было, что этот мор и родные края накроет, паразит родных людей.

А власти ещё и препятствовали оказанию помощи несчастным. Разгромили Помгол, заменили искренних радетелей о людях своими твердолобыми. И хотя помощь продолжала поступать и от международных благотворительных организаций, и от частных лиц, но куда шла она? Что-то, конечно, перепало голодным, но всё прочее...

Стёпа Пряшников, как и сам Сергей, некоторое время подвизавшийся в Помголе, возмущался, как водится, не сдерживая эмоций:

— У подлецов, вишь, средств нет! Как такое может быть? Они хапнули всё достояние России! Все сокровища её! Музейные, теперь и до церковных дорвались. Им из заграницы гуманитарная помощь идёт! Народ они ошкурили до костей, всё до крупицы последней выгребли! И где всё? Я спрашиваю, где?! Сокровища исчезают в неизвестном направлении, остальное тоже только и видели! А жрать как было нечего, так и осталось! Такое ощущение, что всё это в чёрную дыру уходит...

— Ты совершенно прав, — пожал на это плечами Сергей. — И у этой чёрной дыры есть даже название...

— Интернационал! Кормим всемирный кагал человечинкой! Теми самыми детками, которые «ручки кусают»!

— Ты бы, Стёпа, того... — поморщился Сергей. — Не так громко хотя бы. Забыл, что у нас за антисемитизм к стенке ставят?

— Пущай их ставят! — фыркнул Стёпа. — Я и в лицо этим псам шелудивым скажу, что они...

— Довольно, ради Бога!

Когда Пряшников заводил политические речи, Сергей внутренне холодел: вот, сейчас сказанёт что-нибудь, и чужие уши услышат — и пиши «пропало». Потому, когда Стёпа вознамерился ехать с ним в экспедицию по розыску уцелевших архивов и библиотек разорённых усадеб, не очень обрадовался и даже отговаривал друга:

— Не понимаю, зачем тебе ехать? Ты занимаешься в Наркомпросе другими вопросами... Зачем тебе понадобилось добиваться этой командировки?

— А я за компанию, — пожал плечами Пряшников. — Понимаешь, брат, засиделся я на одном месте. Работать не могу... Надо мне на Россию посмотреть, связь с нею восстановить. Может, какой мотив разгляжу в её нынешнем лице...

— Сомневаюсь, что мотив, который ты, может быть, разглядишь, сможет стать хорошим сюжетом для картины. Вернее, картина выйдет такой, что за неё тебе пришьют антисоветскую агитацию.

— Что ты меня всё стращаешь? Статью пришьют, к стенке поставят... Ну тебя к дьяволу, ей-Богу! Можно подумать, я сам не понимаю, что сейчас художникам руки связали. Попробуй от души писать, так мигом... Вон, и Нестеров кисть отложил. Куда теперь с его Христовыми невестами да попами... Махровая реакция-с! А я всё ж покачу с тобой, не взыщи.

— Как знаешь.

Не обрадовался Сергей попутчику, а, вот, Лида наоборот. Очень беспокоила её эта поездка дотоль, а тут вздохнула облегчённо — на Стёпу положиться можно, он и за себя постоит, и товарища в обиду не даст, надёжный человек. Хоть и не высказала этого жена напрямую, а Сергей точно знал — ровно так и

подумала она. Это отчасти задело его: словно за младенца считает, которому нянька нужна...

В те дни как раз угораздило Сергея повздорить с женой. В последние годы изменилась она. Посуровела, стала жёстче, резче. Это естественно, конечно, учитывая то, что все постреволюционные годы Лида тащила на себе двойной груз: на ней был и дом, и работа. Вернее, работы, так как то и дело менялись они, либо же совмещались разом несколько. Разрывалась Лида, пытаясь всюду поспеть, изматывалась. Отсюда и раздражительность являлась. Понимал это Сергей, а всё же обидно было, когда в очередной раз она отмахивалась от него в ответ на какое-нибудь рассуждение, посматривала грозно, выговаривая, если он забыл о чём-то... Рушилось то безусловное понимание, какое было меж ними вначале, и от этого становилось одиноко и тяжело.

Ещё одним рубцом стала потеря третьего ребёнка, которого измученная и не имевшая возможности дать себе отдых Лида просто не смогла выносить. Долгое время после этого она казалась отчуждённой, отдалившейся, ушедшей в себя. Потом как будто оттаяла. Но однажды вечером в ответ на робкую его ласку отстранилась:

— Не надо, Серёжа. Пока... — и, помолчав, добавила с усилием: — Я перед тобой повиниться должна. Я ведь от ребёнка нашего избавиться думала...

Сергея словно током ударило при этих словах. Даже не нашёлся, что ответить, но жена продолжала:

— Я как подумала, что ещё один рот прибавится, как представила, что и так двое малышей на мне, и всё, всё... Отчаяние на меня нашло! Как, как, — думаю, — я справлюсь? Откуда возьму силы? И как ни размышляла, всё одно выходило у меня — не выдержать мне! Не нужен этот ребёнок теперь, не по силам он мне. Страшно сказать, я почти ненавидела его. И приходила

мысль — избавиться... Только страх перед грехом эту мысль отгонял, а всё же приходила она. Вот, Господь, знать, и наказывает... Сам нашего кроху забрал от моей злости...

Сергей чувствовал себя раздавленным. Его жена так страдала, что допускала даже такие страшные мысли, а он не подозревал об этом. И ничего не сделал, чтобы помочь. Она думала, что должна работать, что на ней двое малышей. Так, точно его, Сергея, и не существовало вовсе.

— Забудь об этом и не смей себя винить. Это я один виноват во всём...

Лида заплакала, впервые за все годы их совместной жизни. И только в этот момент он понял, насколько она измучена.

После того разговора и принято было решение переехать из Посада в Москву, где Сергей поступил на службу в Наркомпрос, тяготясь ею, но понимая, что иного пути нет, надо хоть как-то устраивать жизнь, приспособившись к новым реалиям.

Москва, однако же, не возвратила семейным отношениям того понимания, какое было прежде. Лида бегала по урокам, возилась с детьми, часто болевшими, у неё просто не доставало времени, чтобы, как некогда, вести долгие разговоры, вникать в душевные метания мужа... Сергей чувствовал себя обойденным. Научная карьера его окончилась, не начавшись, потому что нельзя продвинуться по стезе гуманитарной в государстве, идеология которого тебе враждебна. Счастливы математики! Счастливы естественники! Их дело не зависит или почти не зависит от идеологических течений, и востребованы они будут всегда. А историку, философу, писателю — куда идти? Его орудие труда не цифра, чуждая временам и идеям, а Слово. А что делать со Словом в стране, где оно запрещено? Молчать... Погрузиться в меланхолию и

безнадёжность. Если, конечно, совесть твоя не позволяет тебе променять Слово на Ложь...

Неудельность тяготила. А тут ещё и Лида отдалилась невольно... В собственном доме отдушины не было. Да где он — собственный дом? Это дом благодетеля Стёпы. В нём постоянно сменяют друг друга его шумливые гости из художнической братии. А если нет их, то являются суровые гости тестя — из Даниловского братства, с Маросейки, из Посада и Бог знает, откуда ещё. Целый религиозный кружок образовался. Их было интересно и полезно слушать, но и тут выходил Сергей получужим. Только что «зятем профессора Кромиади». А сам он где же? Своё — где же? Да и было ли оно у него?

За экспедицию он ухватился с радостью — хоть вырваться из душных стен... От молчаливого раздражения Лиды. Осердилась она, что Сергей принёс в дом котёнка, случайно подобранного на улице. Он, конечно, понимал, что жена не оценит такой сердобольности, но не мог пройти мимо крохотного комочка, промокшего, забившегося меж мусорных баков, жалобно мяукавшего. От этого писка душа разрывалась. Подумалось, что несчастного малыша непременно съедят собаки, или изловит комиссия по очистке города от бродячих животных... И не удержался Сергей, подобрал беднягу, принёс в дом, отогрев за пазухой, с виноватой улыбкой показал Лиде:

— Вот...

Та лишь руками развела:

— Только кошек мне и не доставало! Сам с ним возиться будешь!

— Сам так сам...

Дети, правда, пришли в восторг, что в доме появилась «зверушка». Но то дети... Стёпа добродушно посмеивался:

— Скоро, поди, ещё пса какого приведёшь. Их, вон, много бродит.

— Но не мог же я бросить... Жалко же... — оправдывался Сергей.

Ночью накануне отъезда ему не спалось. Он вышел на кухню попить воды и неожиданно застал там жену. Та сидела, ласково глядя сидящего на столе котёнка, а тот жадно лакал налитое в баночную крышку молоко:

— Пей, Роська, пей... Натерпелся, бедолажка, наголодался. А ты думаешь, другим легче? Кабы мне кто молока-то задаром налил. Эх... Когда-то у нас с отцом кошка была. Большая, пушистая. Я всегда кошек любила. И собак... Вот уж не думала, что собакой лаять стану за то, что мне в дом такого бродяжку принесут. Ничего! Живи, ешь... Вырастишь большим, красивым котом. Я тебе подушку бархатную подарю... Как у моей Муськи была... И всё у нас будет хорошо. Вот, вернётся Серёжа, и всё будет хорошо...

— Я ведь ещё не уехал, — негромко сказал Сергей, подойдя к жене сзади и обняв её. — Ты уж не обижай моего «зверя», — улыбнулся. — Надо же, я ведь и имени ему придумать не удосужился. А ты придумала...

— Я не придумывала, оно само с языка сорвалось, — впервые за долгое время голос Лиды снова был мягким, вкрадчивым, столько раз утешавшим и ободрявшим его. — Ты не обижайся на меня, Серёженька... Я просто устала. Мне в последнее время всё море снится... Море, белый песок... Только, говорят, и там теперь голод. Так странно. В Крыму — и вдруг голод. И ты уезжаешь...

— Я скоро вернусь. И голод, уверен, продлится недолго. И мы обязательно поедем в Крым... Или в Сухум. Стёпа говорил, там живут его хорошие друзья, художники. Ты отдохнёшь.

— И мы увидим небо в алмазах, — Лида чуть улыбнулась. — Полно! Есть ли ещё этот Крым с его

белым песком и сердоликами? В Посад бы съездить, хоть ненадолго...

Так и просидели всю ночь за дорогими воспоминаниями и мечтами, как бывало когда-то. До того потеплело на душе, что и уезжать расхотелось. Но служба есть служба, и деваться некуда...

Пряшников всё же поехал с ним. Шуршал простынями советских газет, зачитывая из них заголовки и отрывки статей:

— В Пермской губернии, ещё в двадцатом году давшей миллионы пудов хлеба, теперь голодает полторы сотни тысяч человек... Хм! Всего-навсего! Интересно, какой Мамай по области прошёлся?

— Тише, Стёпа! Тише! Если тебе так хочется в ЧК, то выйди на площадь и выкрикни всё, что думаешь. А я туда не тороплюсь.

— Ты трус.

— Возможно. Но ты, друг мой, ветер вольный, а у меня семья.

— Ладно! Пойдём лучше дальше... Голод на Украине принимает всё более угрожающие размеры... Чёрт возьми, совершенно не могу представить себе голодающую Украину. Безумие какое-то! В городе Маркс детская смертность достигла тридцати пяти человек ежедневно... Ты знаешь, я думаю, — Пряшников понизил голос до шёпота, — если все города так пообзывать, то отечество наше вымрет очень быстро.

— Всё, с меня довольно! — Сергей резко поднялся и ринулся вон из купе.

— Всё-всё! Экий, право, чудака! — остановил его Стёпа и выкинул всю пачку газет в окно. — Больше не буду. Вот, интересно, правда это всё, что они пишут? Или всё ж сгущают краски?

— Увидим, — хмуро откликнулся Сергей. — Губернии, по которым мы поедем, как раз входят в число голодающих.

— В самом деле? Тогда, во всяком случае, я спокоен за тебя.

— В каком смысле?

— На такой скелет, как ты, вряд ли польстятся даже очень голодные люди.

— Дурак ты всё-таки... — махнул рукой Сергей, отворачиваясь к окну и созерцая унылую картину непривычно запустелых, вымерших деревень.

До первой остановки добрались благополучно и, пересев на извозчика, отправились по окрестным уездам, в которых располагались намеченные для осмотра объекты. Возница, хмурый, худой мужик, предупредил:

— Вы бы, товарищи, осторожнее в наших краях. Всяко, знаете ли, бывает. Народу окрест мало осталось. Кто мог, те в города подались. Иные перемёрли. А, вот, кто остался, те того... С голодухи рассудок мутится. Одни-то ничего — оденутся, сталбыть, в чистое да и лягут себе помирать на печь тихо. А есть такие, каких опасаться надо. Страшные вещи с людьми голод делает.

— А сам ты что ж, давно в городе? — спросил Сергей.

— Я-то давно. Ещё при прошлом режиме на вольные хлеба подался. А родня моя того — вся тот год ещё на погост переехала. Как я вам и сказывал: легли и померли... Я в дом вхожу, а на каждой лавке по мертвецу дорогому... А за мной соседка — шась. Гляжу, а у ней глаза мутные совсем, смотрит она на мёртвых и думает, что на косточках их ведь осталось мясо ещё, — мужик перекрестился. — Грех на мне лежит — сбежал я тогда. Даже не схоронил, как подобает...

Сергей переглянулся со Степаном, но оба промолчали.

Вымерла земля... Не теплилось более жизни в отстроженных мастеровитыми руками избах. Чернели они провалами окон, пугая тем, какие страшные находки могли находиться в их стенах.

— Мертвецов у нас нынче вообще редко хоронят, — тянул своё возница. — Всё больше в общую кучу сваливают. Добро, если земличкой присыплут. А то — так! Зимой только так. Мёрзлую-то землю тяжко копать. А то и по многу дней на дорогах покойники лежат — убрать некому.

— Вот же заладил, — недовольно шепнул Стёпа.

— Что-то не так? По-моему, продолжение твоих газет...

— Смотри, — Пряшников ткнул Сергея в бок.

По дороге навстречу им шли несколько групп людей. Вернее призраков. Мертвецов, для чего-то поднявшихся из могилы. Истощённые до последней возможности, едва держащиеся на ногах, одетые в лохмотья, они тянули к проезжим свои иссохшие руки, смотрели страшными, полоумными глазами, шептали серыми губами:

— Есть... Есть... Хле-е-е-ба!

Сергей вжался в сидение, борясь с желанием зажмуриться. Совсем рядом мелькнула рука и детское лицо с чёрными, провалившимися щеками:

— Хле-е-ба!

Сергей втянул голову в плечи, опустил глаза и отважился поднять их, только когда шелест молений живых мертвецов стих. Первым, что он увидел, был блокнот и карандаш в проворно работающей руке Пряшникова. Сергей с изумлением посмотрел на друга:

— Ты сошёл с ума?

— Почему?

— Ты ещё можешь... ты можешь рисовать... это?!

— Если я когда-нибудь соберусь написать, скажем «Страшный суд», то лучших эскизов мне не найти.

— Ты, в самом деле, стал столь циничен, или притворяешься?

— Всего лишь пытаюсь не сойти с ума, что в наших условиях довольно сложно. Проклятье! Я не могу накормить этих несчастных! И убить их, чтобы прекратить муки, тоже не могу! А написать картину... Знаешь, если бы теперь написать серию картин со сценами из окружающей действительности, то никакой Босх не смог бы стать рядом! Его шедевры казались бы на этом фоне... иллюстрациями к сказкам братьев Гримм!

— Хочешь превзойти Босха?

— Да ничего я не хочу... Разве что нарезать в хлам.

— Тебя никто не заставлял ехать со мной...

— Вот, не хватало только, чтобы ты путешествовал по столь замечательным весям один... — Стёпа убрал блокнот и закурил трубку, спросил нервно, тряхнув за плечо извозчика. — Долго ли ещё ехать?

— Подъезжаем. Там, за взгорком деревня, а за нею — барский дом. Вернее то, что от него осталось. Только в саму деревню я не поеду, извиняйте. За околицей обожду вас.

— До самого барского дома повезёшь, старый чёрт! — грозно прорычал Стёпа.

Мужик хитро прищурился:

— Вы на меня этак не шумите, а не то я ведь вовсе уехать могу, вас не дожидаясь.

— Пусть ждёт, где хочет, — сказал Сергей, дёрнув за рукав рассерженного друга.

Извозчик остановился недалеко от деревни, махнул рукой:

— Напрямки идите — не заплутаете. И осторожность всякую соблюдайте. А то, знаете, всякое случается...

Деревня поначалу показалась Сергею вовсе вымершей, но вскоре он понял, что это не так. Изредка у домов мелькали полуживые фигуры, провожавшие нежданных приезжих долгими, тяжёлыми взглядами. У одной из избушек сидела тощая баба. Заметив гостей, поманила их рукой. Степан попытался удержать Сергея:

— Куда? Не обращай внимания!

— Так, может, ей нужно что?

Сергей подошёл к бабе, спросил сочувственно:

— Могу ли я чем-то помочь?

Баба долго молчала, разглядывая его, потом сказала негромко:

— До лежанки мне дойти помоги, не держат ноги...

Сергей поспешно подал ей руку и, поддерживая, повёл в дом. В доме ощущался прелый, затхлый запах. В комнате, куда провёл он бабу, обнаружилось ещё несколько человек. Таких же полуживых существ с блуждающими глазами. Существа эти, впрочем, сразу приподнялись, уставились на вошедшего. Мужик в длинном тулупе, по-видимому, хозяин спросил:

— Откуда путь держишь?

— Из Москвы... — отозвался Сергей, с беспокойством заметив, что живые мертвецы для чего-то встали и теперь окружают его.

— Из Москвы... Начальство?

— Н-нет... Я учёный...

— Учёный... — протянул мужик. — Это хорошо...

Сергея бросило в холодный пот. Он вдруг явственно всем существом своим понял устремлённые на него взгляды. «Всякое случается», — вспомнилась присказка возницы. Надо было сказать, что начальство... Хотя какая этим несчастным теперь разница, начальство или нет?

— Простите, мне надо идти... — Сергей отступил на шаг и с мертвящим ужасом обнаружил, что позади него стоят ещё двое.

— Погоди, добрый человек. Куда торопиться? — почти ласково сказала хозяйка, приближаясь к нему уже без посторонней помощи.

У Сергея потемнело в глазах, ноги сделались ватными. Живо промелькнули в памяти заголовки газет и изустные рассказы, вмиг приобретшие необычайную красочность. Он хотел что-то сказать и не мог, губы беспомощно прыгали. В этот момент в прихожей послышалась возня, и сильная рука Степана буквально вырвала его из комнаты. В тот же миг дверь в неё была захлопнута и заперта на щеколду. С лёгкостью разметав в разные стороны ещё нескольких несчастных, Пряшников выбежал из дома, увлекая за собой Сергея. Отбежав подалее и убедившись, что погони нет, он постучал себя кулаком по лбу:

— Ну, и кто из нас дурак после этого?! Тебе же русским языком сказано было осторожность блюсти! Что б ты делал без меня, спрашивается, балда?!

— Прости, Стёпа, я, действительно, круглый дурак... — вздохнул Сергей. — Спасибо тебе. Но, пойми, я не мог иначе... Не мог ей не помочь.

— Может, вернёшься? Поможешь!

— Полно... Господи, как же это жутко всё. До чего можно довести человека, до чего сам человек может дойти, — Сергей побрёл по дороге, ломая пальцы. Резко обернувшись к Пряшникову, он заметил: — А ведь и мы могли бы превратиться в такое! Утратить разум до такой степени! Вот, что страшнее всего!

Степан закурил трубку и ответил ровно и серьёзно:

— Я — может быть. Но не ты. Ты, как родня нашего возницы, лёг бы и стал ждать костлявую. Это в твоём характере. И довольно, наконец, об этом. Когда вернёмся в Москву, надо будет поставить вопрос, чтобы давали оружие или какую-никакую охрану научным сотрудникам для таких экспедиций.

— Кому какое дело до научных сотрудников! — безнадежно махнул рукой Сергей.

Они как раз дошли до усадебного дома, правое крыло которого было уничтожено пожаром, а остальная часть уныло взирала потухшими глазницам разбитых окон на полувырубленный сад. Внутри дом представлял собой не менее плачевное зрелище: усыпанные битым стеклом полы, грязь, разбросанные кое-как вещи... Вещей, впрочем, было немного. Большая их часть давно перекочевала к новым хозяевам. Сергею вспомнились дорогие стенные часы, замеченные им давеча в избе — несомненно, из барской гостиной вынесли. И, вот, теперь отбивали они последние часы мук своих новых хозяев.

— Интересно, что стало с семьёй помещика, — задумчиво произнёс Сергей, поднимаясь по лестнице на второй этаж. — Живы ли?

— Не всё ли равно... — пожал плечами Пряшников.

На втором этаже обнаружилась библиотека, соединённая с кабинетом. По счастью, здесь не всё подверглось такому варварскому разграблению, как внизу. «Бумага» грабителей явно не заинтересовала.

— Совсем, как в Глинском! — проронил Сергей. — У Николая Кирилловича было такое же бюро, где он хранил свои бумаги. А библиотека у него больше была и интереснее. И ничего от неё не осталось...

Он стал методично открывать ящики бюро, изымая оттуда бумаги:

— Счета... Расходные книги... Когда-нибудь это послужит будущим историкам последнего царствования.

— Ты, оказывается, оптимист...

— Ни в коей мере. Просто историки имеют обыкновение изучать даже давно исчезнувшие цивилизации. Кажется, мы всё-таки не зря проделали этот путь.

— Что-то стоящее?

Сергей показал Степану толстую тетрадь-брульон, исписанную мелким, изящным почерком:

— Судя по всему, это дневник. А нет более интересного документа для историка, нежели дневник. В нём в отличие от любых бюрократических бумажек и газетных передовиц заключается сама жизнь. И, изучая дневники определённого периода, можно составить самое полное, живое представление о нём. Не зря же Александр Сергеевич дарил своим знакомым тетради для дневников...

— Здесь есть не только дневник, — сказал Пряшников.

Сергей отвлёкся от перелистывания тетради и увидел в руках друга фотографию в рамке с разбитым стеклом. На ней были запечатлены две барышни-гимназистки. Белые фартуки, длинные тёмные косы, чистые, благородные лица...

— Какие лица! Какие глаза... Словно в душу смотрят! — произнёс Степан. — Как это всё-таки странно. Дневники, фотографии, письма... А людей нет. А мы копаемся в их жизни, в которую нас не звали.

Сергей хотел взять фотографию, но Пряшников не отдал:

— Этих юниц я тебе, брат, для твоих архивов не дам, прости. Я их в новую рамку вставлю и у себя в мастерской повешу. Эх, знать бы, что с ними стало, где они теперь...

Кто знает, что случилось с хозяевами разрушенной усадьбы... С тысячами других таких же юных и чистых барышень... Разве что Господь Бог да ветер, разметавший их по разным уголкам, властно хозяйничающий в их домах, развеивая в прах то, что было их жизнью. Целый мир уходил с дворянскими гнёздами, особый, полный своеобразия. Дворянский мир канул в лету, а следом потянулся крестьянский,

освобождённый от «ига» помещиков. Мерзость запустения водворялась повсюду — в барских усадьбах и мужицких избах. А что же останется? Убивающие душу, обезличивающие муравейники городов, уплотнённых до того, что люди живут едва ли не на головах друг у друга.

Об этом размышлял Сергей на обратном пути, быстро шагая по дороге и стараясь не смотреть по сторонам, чтобы не видеть протянутых рук. Снова подумалось об отце. Как-то всё-таки выживает он со своим семейством? За все эти годы не удосужился даже съездить к старику, поведать... Да и сестру Аглаю надо бы навестить. Вот, по возвращении из экспедиции и отправиться...

Всё-таки угораздило взгляд соскочить в сторону. И сразу пал он на лежащую без движения у самой обочины девочку. Она лежала навзничь, раскинув худые руки. Часть лица её скрывала прядь спутанных волос. Сергей замедлил шаг.

— Ну, что ты встал? Идём! — подтолкнул его сзади Пряшников. — Идём, говорят тебе! Такими несчастными усеяны все дороги! Ты уже ничем не можешь ей помочь!

Степан заметно нервничал, ему явно хотелось поскорее выбраться из мёртвой деревни и добраться до города. Понукаемый им Сергей немного прошёл вперёд, но остановился:

— Нет, нельзя так! Надо хотя бы накрыть...

— Да чем ты её накроешь?

Не слушая возражений друга, Сергей быстро подошёл к мёртвой девочке и, сняв с себя лёгкий плащ, наклонился, чтобы накрыть её, и вдруг услышал едва различимое:

— Помогите...

Он подумал сперва, что ему почудилось, но в тот же миг встретился с «покойницей» глазами. Она смотрела прямо на него. Не безумно, не мутно, а с тихой мольбой.

И едва-едва вздрагивали пересохшие, побелевшие губы.

— Да она живая! — вскрикнул Сергей. Недолго думая, он завернул девочку в плащ и, подняв её, совсем невесомую, на руки, понёс...

В городе несчастную поместили в больницу Красного Креста. У неё была крайняя степень истощения, и врачи сомневались, что она выживет.

По окончании экспедиции Сергей решил узнать о судьбе своей подопечной. Поезд стоял в городе менее часа, и нужно было спешить.

— Зачем тебе это? — недоумённо пожимал плечами Степан.

— Не знаю... Не могу я так просто забыть об этом ребёнке. Я должен её навестить...

Девочка осталась жива вопреки опасениям, хотя и была ещё очень слаба, совсем не говорила и всех дичилась. Она сидела в углу узкой кушетки, обхватив руками острые колени и диковато смотрела огромными, тёмными глазами. Сергей осторожно сел рядом, девочка боязливо отстранилась, словно испуганный зверёк.

— Не бойся, я не причину тебе зла, — мягко сказал Сергей. — Я хочу помочь тебе.

Девочка молчала и заметно дрожала.

Сергей вынул купленный по дороге платок, набросил ей на плечи:

— Смотрю, ты замёрзла совсем.

Неожиданно девочка поймала его руку и поцеловала. Сергей отдёргнул её:

— Что ты? Зачем?

— Я вас узнала! — тихо откликнулась дикарка. — Это вы тогда были... Там... Я ваше лицо помню... Помню надо мной всё только небо, небо... И вдруг лицо. Я подумала, что это Христос надо мной склонился...

— Как твоё имя?

— Тая...

— Ну, что ж, Тая... Собирайся, поедем.

— Куда? — ещё больше расширились странные глаза.

— В Москву...

Девочка смотрела недоверчиво, словно не веря собственным ушам.

— Вы меня заберёте отсюда?

— Да, заберу. И поторопись, пожалуйста, иначе мы опоздаем на поезд.

По щекам Таи покатались слёзы. Она порывисто потянулась к Сергею, обвила руками его шею, заплакала...

— У меня теперь, кроме вас, никого... Только вы один...

Она ещё едва держалась на ногах, и снова Сергей нёс её на руках. К поезду пришлось бежать бегом, он отходил уже, и на приступке стоял встревоженный Пряшников, махал рукой, торопя.

Когда Сергей внёс Таю в купе и усадил, Степан вытянул его в проход, спросил шёпотом:

— Ты что, решил её в Москву везти?

— Ты поразительно догадлив, — на Сергея отчего-то нашла весёлость.

— Вот, твоя жена-то счастлива будет... — Пряшников поскрёб затылок. — Нет, брат, я твой поступок уважаю. Благородно, не ожидал... Но не слишком ли? Она ещё и слабенькая.

— Не мог я по-другому, понимаешь? Она же мне в глаза смотрела, о помощи меня, а не кого-то молила. Как же я мог бросить её, как собаку бродячую?

— Да ты бы и собаки не бросил...

Сергей вздохнул и вернулся в купе. Тая, как прежде в больнице, сидела в уголке, поджав под себя ноги. Сказала, волнуясь, словно услышала, угадала бывший за дверью разговор:

— Вы, Сергей Игнатьич, не волнуйтесь. Я вам обузой не стану. Я скоро поправлюсь и тогда всё-всё у вас дома делать буду: убирать, стирать, готовить... Я ведь всё умею, вы не думайте!

Сергей ласково погладил её по тонкой руке:

— Ты поправься сперва, а там видно будет.

Тая доверчиво приникла к его плечу, задремала обессилено. Бедная, бедная девочка... Не удосужился спросить, сколько лет ей. Так худа, что насилу двенадцать дашь... Да не всё ли равно? Лида — вот, что важно теперь. Действительно, не обрадуется жена «новому рту». Но ничего, ничего. Она всё поймёт. Посердится сперва, а потом сама же и приласкает сиротку, как недавно котёнка...

— Удивительное лицо, — заключил Степан, изучив спящую девочку, и принялся набрасывать её портрет в блокноте.

Глава 9. Тайна

Братец нагрязнул, словно снег в летний день, нежданно-негаданно. Хоть бы заранее предупредил! Ведь от отца возвращался, а тот адресок Аглаи знал — единственный, от кого не хватило духу скрыться, из-за кого не посмела «умереть». Но да Серёжа предупредительностью никогда не отличался. Сам не ведал, каковы его планы на другой день будут, и решал всё порывом, настроением... Как же некстати его настроение на сей раз пришлось!

Едва Аглая увидела сухую, быструю в движениях фигуру братца в окно, мытьём коего была занята, так и обмерла. Так и осела на подоконник, мокрую тряпку к груди прижав. Кольнуло под сердце: не миновать беды! И лихорадочно завертелось в голове — как избежать? Но нет, нет такого способа. Нельзя избежать падающего на тебя дерева, даже если ты очень прыток...

Когда бы ещё изверг куда по делам отлучился! Так нет! Как назло дома был — сидел, играл сам с собою в шахматы. Это любимым время препровождением сделалось у него. На книги лишь иногда косился с непонятной грустью:

— На кой чёрт они теперь?

И с такой же печалью разглядывал карту звёзд, висевшую над его кроватью — память о давнем увлечении астрономией. Иногда подзывал маленькую Нюточку, тыкал своим жёлтым пальцем в карту:

— Видишь, дитя, эту звёздочку? А вот эту? Это созвездие гончих псов! Запомни! А теперь покажи-ка мне Большую Медведицу...

В сущности, грех было жаловаться. В такой роскоши жили, какой и ярославские баре прежде, должно быть,

не знали. Изверг денег не жалел, чтобы у его гражданской жены «всё было». Вот, только душило это «всё» хуже самой горькой нищеты! Каждая вещь в доме руку жгла, потому что знала Аглая — она краденная. Вернее, «экспроприированная». Однажды высказала это Замётову:

— А что, товарищ инженер, не претит душе воровать? Или это при вашей власти ремесло благородное?

— Язык попридержи! — нахмурился изверг. — Души у меня нет, её ты у меня, что червь ненасытный, выела. А вещей этих я не воровал! Не мели!

— Другие воровали. Что ж за разница? Другие у мёртвых их украли, а ты взять не побрезговал. Цацки мне притащил? А что это за цацки? Их, поди, барышня какая носила... А твои дружки над ней надругались, измучили и убили, а с мёртвой сняли, всё, что ценного было. А ты мне тащишь?! Да нешто я их одеть могу?!

— Заткнись, ведьма! — вскрикнул Замётов, заноса руку. — Не доводи до греха!

— Ударь же! Что ж не бьёшь? — Аглая опустилась на колени и подставила лицо. — Я ведь твоя наложница! Рабыня! Так бей же! Хоть кулаком, хоть плетью!

— Зарежу я тебя... — прошептал изверг пересохшими губами. — Видит Бог, зарежу...

— Бог, Замётов, ничего не видит. Бога вы отменили.

Так и не посмел ударить, ушел... А Аля цацки те продала, а на деньги вырученные накупила гостинцев и отправила отцу в деревню. Хоть одно утешение было — своим пособить. Кабы не её помощь, так, должно, братишки с сёстрами с голоду бы сгинули. А так... Для чего всем пропадать? Её пропащей души на все их, чистые, хватит.

Росла и Нюточка в тепле и сытости. Росла и с каждым днём всё более походила на отца, всё более проступала в ней аскольдовская порода. И это пугало. Ну как дознается изверг, чья дочь под его кровом

растёт? Не простит, не простит... Тогда и впрямь зарежет.

Благополучие родных, благополучие Нюточки — это стало главным для Аглаи. И за это принуждена она была платить своей болью и унижением, едва ли ни всякую ночь переживая ночь давнюю, роковую, разбившую вдребезги всю её жизнь. Как ни старался изверг быть добрым, заслужить прощение, а только каждое прикосновение его было для Али повторением пережитого некогда ужаса. И иной раз, лёжа рядом с ним, мелькала и в её голове отчаянная мысль о ноже... Но была Нюточка. И отец с семьёй. Ради них надо было вынести и это...

Между тем, прошлое не отпускало Аглаю. Как-то на базаре кто-то грубо схватил её за руку:

— А ну, постой, кралечка моя ненаглядная!

Только по плутоватым зелёным глазам узнала она в заросшем, оборванном бродяге Фильку. Похолодела вся, едва не выронив кошёлку с продуктами:

— Филя? Откуда ты?

— Откуда ж мне быть, как не с погорелого места?

— А дядя Антип что же?

— Помер батя. И мамаша тоже, — Филька сплюнул, ослабил щербатым ртом. — Горькая я теперь сиротина, вот что! Ни кола, ни двора! Баба болезнует, дети... Двое померли с голодухи, а один пока клювом щёлкает: дай да дай ему! Так-то! А ты, смотрю, не нам чета! Бела да румяна! Поди, твой-то большевик мясом тебя потчует, — филькины глаза блеснули зло. — А как это он, интересно знать, девчонку барскую воспитывает? Что онемела-то? Не знает, чай, товарищ Замётов, чьё семя возвращает? Не зна-ает! А как ты думаешь, друг мой Аглаша, что будет, коли он, не дай Господи, узнает? Шила-то в мешке не утаишь!

— Замолчи, Филька! — взмолилась Аглая, опасливо глядя на проходящих мимо людей. — Христом Богом

молю, замолчи!

— Сложно мне молчать, кралечка моя! Так и рвётся из груди правда-матка! Но! — Филька подбоченился. — Мы люди с пониманием! Можем и навстречу пойтить! Если к нам с того же фасаду отнестись.

— Чего тебе нужно, говори!

— Да я уж сказал, — пожал плечами Филька. — Жрать мне нечего. Баба болезнует, сынок ам-ам просит. А то помрёт как другие. Обеспечение жизни требуется, вот что. И заметь себе, друг Аглаша, не разовое подаяние, а обеспечение всей жизни. Понимаешь? Мы ж с тобой родные люди! — он противно ухмыльнулся и незаметно ущипнул Алю. — А родным надо помогать, — шепнул в самое ухо.

— Да как же я могу всю жизнь тебе обеспечить? В уме ли ты?

— А ты подумай! Я же не могу всю жизнь базарным шутом кривляться и милостыню клянчить. Мне нужна работа. Оклад. Жильё. Подъёмные на первое время... Поговори со своим уродом-мужем. Как, кстати, желтизна его не прошла от счастливой семейной жизни? Пусть поможет родне! А не то, кралечка моя, не оскорбись, а я твою благополучную жизнь уничтожу. Будешь ты со своей барчучкой, как я, побираться ходить. Или по жёлтому билету пойдёшь! Жаль, в последнем случае, у меня на тебя рубликов не хватит. А то бы вспомнили молодость! Ведь хорошо же нам было, Аглаша? Признайся!

С извергом она поговорила: слёзно описала судьбу несчастных односельчан и упросила пристроить Фильку на какую-нибудь работу на дороге. Подальше от Ярославля. Большого труда Замётову это не составило. Подъёмные же Аглая изыскала сама, потихоньку продав один из подарков изверга. Сама и отнесла их Фильке в назначенное им место. Тот уже дожидался её, ухватил принесённое, спрятал за пазуху, обнажив впалую, с

редкими белёсыми волосками грудь. Заметив, что она собирается уходить, ухватил её за локоть:

— Куда ж так спешить, кралечка моя? Деньги, пища... Нешто хлебом единым всё измеряется? А ведь человеческому существу, Аглаша, ещё и ласка нужна! Я ведь тебя всегда помнил! Свою бабу, бывает, ласкаю, а вспоминаю тебя!

— Об этом у нас, кажись, уговору не было, Филя.

— Уговор? Да какой ещё уговор! Ты мне теперь обязана! Я твою тайну хранить буду! А за такую услугу немного ласки разве цена?

Аля глубоко вздохнула.

— Хорошо, Филя... Значит, уговор будет иным! — с этими словами она выхватила нарочно на такой случай припрятанный в кармане нож.

Филька отпрянул, заверещал испуганно:

— Ты что, мать, ошаломутила совсем?! Пошутил же я! Убери!

— Уберу, Филя, — кивнула Аглая. — Только сперва запомни. Я уже не та, что была прежде. Меня очень трудно запугать. А, вот, до греха довести легко. И если ты не уймёшься, если хоть раз ещё попытаешься вымогать у меня что-либо, если хоть слово с твоего проклятого языка сорвётся про Нюточку, я ведь Бога не убоюсь. Я душу свою и так сгубила, мне терять нечего! А, вот, ты по земле больше ходить не станешь, клянусь!

С такой верой в свои слова произносила всё это Аля, с такой ненавистью, рвавшейся разом и к Фильке, и к извергу, и ко всей своей искалеченной жизни, что прозвучала угроза, действительно, страшно. И не усомнился «родственник», что она исполнит обещанное.

— Да уймись ты, полоумная баба! Враг я себе, что ль?

— Язык твой — враг. И тебе, и другим. Следи за ним Филя, вот тебе мой совет.

Филька город покинул, но мытарства на этом не кончились. Как-то раз, когда изверг отлучился по делам службы, в дверь постучали. Пришедший отрекомендовался следователем ОГПУ Вороновым. Это был человек лет сорока, атлетически сложенный. Его лицо можно было бы даже счесть привлекательным, если бы не глаза... Холодные, жестокие и вместе с тем наглые. Таковы же были и манеры гостя, бесцеремонно расположившегося в гостиной и велевшего удалить ребёнка в дальнюю комнату, чтобы не мешал разговору.

Укладывая Нюточку спать, Аглая пыталась сообразить, чем вызван странный визит. Особенно удивляло то, что следователь пришёл один и в отсутствие Замётова, о котором вряд ли мог не знать.

— Чем могу помочь? — спросила Аля, вернувшись.

— Закройте, пожалуйста, поплотнее дверь.

Аглая повиновалась.

— Хорошо. А теперь садитесь.

Аля опустилась на стул.

— Ближе.

Стул был покорно придвинут.

— Хорошо, — кивнул Воронов. — Теперь перейдём к делу. Догадываетесь, к какому?

— Нет...

— Плохо, Аглая Игнатьевна. Надо догадываться. Впрочем, бояться вам пока рано. Дела ещё нет. Но оно может появиться, если мы с вами не договоримся любовно.

— Я вас не понимаю...

— Видите ли, Аглая Игнатьевна, я давно интересуюсь вами. А вследствие специальности интерес мой, будь он даже далёк от профессионального, всё равно обращает меня к профессии. Видите ли, я кое-что узнал о вас.

— Что же?

— Два примечательных факта. Во-первых, ваш отец, оказывается, враг советской власти, в восемнадцатом году участвовавший в восстании.

Аглаю бросило в холодный пот. Они добрались до отца! Узнали... И что же будет теперь? Арест? Расстрел?.. Нет! Нет! Только не это! Этого нельзя допустить!

А Воронов продолжал неторопливо, позёвывая:

— Во-вторых, оказывается, девочка, которую вы называете своей дочерью, вовсе не дочь вам. Она ведь дочь ваших хозяев, не так ли? Нехорошо обманывать, нехорошо...

— Разве и малолетний ребёнок, не знающий своих отца и матери, виновен по вашим законам?

— Нисколько. Вот, только сомневаюсь, что товарищу Замётову такое открытие доставит удовольствие. Хотя, может быть, наоборот? Ведь товарищ Замётов — тоже Аскольдов, не так ли?

— Это преступление? Известный писатель Дир, который знаком с самим Лениным, тоже — Аскольдов.

— А! Это батюшка товарища Замётова? Да-да, я в курсе. Но товарищ Дир пишет книжки, а ваш муж, Аглая Игнатьевна, уличён в том, что старается устраивать на работу различные неблагонадёжные элементы из бывших дворян и купцов.

— Я не знала об этом! — искренне удивилась Аглая.

— Тем не менее, это так. Несколько раз позволял себе критически высказываться о проводимой партией политике. А в восемнадцатом году, пользуясь положением, помог выбраться из города несколькими белобандитам-повстанцам. Этого вы тоже не знали?

— Мне даже поверить в это трудно...

— Тем не менее, Аглая Игнатьевна, тем не менее! — Воронов хлопнул себя по колену. — И что же мы с вами будем делать?

— Я вас не понимаю...

— А вы постарайтесь понять, — следователь ухмыльнулся, совсем как недавно Филька. Только злее и с неприкрытой издёвкой. — Смотрите, какой букет выходит в вашем семействе! Целая контрреволюционная ячейка! Как вы думаете, что будет со всеми вами, если я свою информацию всё-таки превращу в дело и дам ему ход? Ваш муж и ваш отец получат высшую меру. Вас, Аглая Игнатьевна, отправят в исправительный лагерь, начальству которого можно лишь позавидовать в этом случае... А девочка попадёт в приют. Как вам такой расклад?

От такого расклада в глазах стало темно. Покачнулась Аглая от навалившейся слабости. А Воронов ободрил:

— Погодите лишаться чувств, Аглая Игнатьевна. Я ведь не враг вам. Я же сказал уже, что интерес мой к вам не профессиональный. А факты — это так. В сущности, мне нет никакого дела, скольким нашим врагам помог ваш муж, и скольких наших людей побил банда вашего отца. Мой интерес — вы. Я не встречал женщин, вам подобных. Но мне, видите ли, недосуг заниматься пустыми ухаживаниями, расточением комплиментов и прочей чепухой. Поэтому приходится подходить к делу... — следователь усмехнулся, — прозаически, — он взглянул на часы. — Ба! Уже совсем поздно! Я полагаю, Аглая Игнатьевна, вы не будете против, если я у вас заночую?

В ответе он не сомневался ни секунды. Должно быть, не раз точно так же приходил и к другим, пользуясь вседозволенностью собственного положения. А что же другие? Порядочные? Честные? Нашлась ли хоть одна, устоявшая перед угрозой дорогим людям?

Он ушёл на рассвете, как тать. А Аглая долго лежала, глядя перед собой и видя лишь одно лицо — лицо Родиона. Слезы катились по щекам, а в душе было пусто, точно её вдруг не стало. И всё тело было словно

чужим. Но, вот, заплакала Нюточка, и отлетело тяжёлое марево...

Жизнь с той поры сделалась ещё мучительнее. Воронов не забывал проложенной дороги и время от времени навещал Аглаю. Найдёт, как тать, и исчезнет... Этот, пожалуй, куда страшнее Замётова изверг. Тем хоть страсть владела. Дикая, варварская, но всё-таки любовь. А этот... Машина, удовлетворяющая похоть по праву начальства...

Так продолжалось полгода, пока однажды Замётов не вернулся из командировки до срока. Его лицо, когда он вошёл в комнату, было страшно. Аля подумала, что он непременно убьёт или её, или Воронова. Но изверг стоял, не шевелясь, не произнося ни слова. Воронов же оставался невозмутим. Он сидел на постели, едва прикрытый, и курил папиросу, стряхивая пепел на пол. При этом неотрывно смотрел на Замётова.

— Пойдите вон, — отрывисто проронил тот, швырнув следователю его одежду.

— Обождите минуту, я, видите ли, не привык бросать недокуренных папирос, — нахально ответил Воронов.

Он докурил, спокойно, нарочито неспешно оделся и вышел, с усмешкой взглянув на изверга:

— Советую вам, товарищ Замётов, не принимать открывшееся обстоятельство близко к сердцу. Женщина давно перестала быть собственностью одного мужчины. К тому же не думаю, что вы хотите быть в дурных отношениях с нашим ведомством. Это, уверяю вас, бесполезно для здоровья.

— Убирайтесь отсюда немедленно, — прохрипел Замётов.

Аглая уже успела успокоиться. Она сидела, натянув на себя одеяло, и тускло смотрела на изверга. Тот подошёл вплотную, потянул к ней дрожащую руку, но

прежде, чем он успел что-либо сказать или сделать, Аля спросила:

— Замётов, это правда, что ты помог бежать повстанцам в восемнадцатом году?

Изверг вздрогнул и отстранил руку.

— А что «бывшим людям» помогаешь устроиться на работу — правда?

Замётов бессильно опустился на кровать, закрыл лицо руками и глухо, как зверь, застонал. Впервые Аглае стало жаль его...

— Почему ты никогда мне не говорил об этом, Замётов? Возможно, я относилась бы к тебе тогда не так дурно...

— Как будто мы с тобой хоть раз говорили по-человечески...

— Да, ты прав. Но я не могу... Я пыталась, правда. Но не могу.

— А с ним?

— Он угрожал отцу. И тебе... И мне с Нюточкой. Тебя не было, чтобы меня защитить. Что будем делать теперь? Жить втроём? Или, может, убьёшь меня?

— Убью... Когда-нибудь непременно убью... А ты дура, Аля. Вам с этим гадёнышем надо было меня в расход пустить и миловаться спокойно. Он ведь должностью побольше меня будет! И сам вон каков из себя орёл! Как это ты его не окрутила?!

— А мне едино, который изверг измываться надо мной станет! — зло крикнула Аглая.

— Тварь неблагодарная! — Замётов отвесил ей пощёчину и, грубо выругавшись, вышел.

Воронов с той поры не заходил, и лишь позже Аля узнала, что через несколько дней после случившегося он нечаянно угорел в собственной квартире. Тем и закончилась эта история, но Аглая уже не могла успокоиться, ожидая ежечасно, что появится ещё кто-нибудь, кто разгласит её тайну.

И этот «кто-нибудь» появился...

Изверг Серёжу принял любезно, изобразил что-то вроде радушия, за обедом расспрашивал о жизни в столице, вспоминал свой московский период.

— А теперь как-то привык я, Сергей Игнатьич, к Ярославщине, нет охоты к перемене мест.

— Что ж, в Ярославле при вашей должности — почему бы не жить? — рассеянно отвечал Серёжа, то и дело косясь на Нюточку. — А вот за его пределами... Я только сейчас от отца. Люди там доходят до того, что древесную кору едят. Муку из неё делают.

— Разве и ваш отец бедствует?

— Вашим участием справляется. Но видели бы вы, Александр Порфирьевич, что делается в других местах!

— Наслышан и начитан, — сухо отозвался Замётов, отправляя в рот аппетитный кусочек сёмги.

— Наслышаны? Начитаны? — всколыхнулся братец. — Это всё не то! Это видеть надо!

— Не имею такого желания.

— Скажите, вы знаете, что испытывает человек, которого хотят съесть?

— Это, простите, в смысле фигуральном?

— Это — в самом прямом смысле! Я испытал это чувство самым что ни на есть подлинным образом! До сих пор в дрожь бросает... Простите, что завёл такую мрачную тему за трапезой, но у меня до сих пор перед глазами стоит всё то, что я видел. И... На угощения ваши, простите, — Серёжа с виноватым видом поднёс руку к груди, — мне смотреть больно. Когда по дорогам России идут, ползут или лежат тысячи детей, крохотных скелетиков со смертью в глазах, нельзя так жить... И даже так, как я живу, жить нельзя. Все мы преступники перед своими братьями...

— Вам бы, Сергей Игнатьич, проповеди с амвона читать, — изверг покривил губы, промокнул их салфеткой и встал. — Если так жить нельзя, как вы, так

чего ж вы живёте? Переезжайте к отцу! А лучше куда ещё, где кору едят. Только, будьте столь любезны, избавьте меня от ваших проповедей в моём доме. Я не хуже вас знаю обстановку. Изменить её в силу малого чина не могу, а жрать кору не приспособлен! Да и сестрица ваша с её дочерью навряд ли согласятся на столь скудную трапезу! Будьте здоровы, — он направился к двери: — У меня ещё дела сегодня.

Серёжа проводил Замётова печальным взглядом, спросил негромко:

— Как ты можешь жить с таким человеком?

— Что ты имеешь ввиду? По-моему, то, что он сказал, хоть и грубая, но правда. Никто из нас не откажется от того, что имеет, из-за того, что другие этого лишены. Разве не так?

— Возможно. Но как он это говорит! Это какое-то чудовище...

— Лучше говорить грубо, но помогать делом, нежели творить зло, рассуждая о добродетелях. Замётов, да будет тебе известно, помог многим. С риском для себя.

Впервые Аглая защищала изверга, удивляясь самой себе. Она имела право судить его и ненавидеть. Но другие, не ведавшие о преступлении, не смели. К тому же не хотелось Але, чтобы братец жалел её. Пусть думает, что у неё не столь уж плохой муж, что она благополучна. Лишь бы только не заметил синяка у запястья — накануне поругались с Замётовым крепко, и тот не совладал с собой.

— Не знал об этом, прости. Но всё равно... Мне страшно тяжело видеть тебя рядом с ним! Ведь ты — чудо! А он рядом с тобой... Ты не можешь любить его.

— Полно, Серёжа. Любовь — это роскошь, которой удостаиваются немногие, — Аля помолчала. — Ведь даже ты на Лидии без любви женился.

— Это совсем другое! — нервно дёрнулся братец и, закурив папиросу, подошёл к окну. Там во дворе резвилась с соседскими детьми убежавшая из-за стола Нюточка. Некоторое время Серёжа молча наблюдал за ней, а затем спросил, не оборачиваясь:

— Зачем ты сказала, что она твоя дочь?

— А что я должна была сказать? Что она — Аскольдова? Замётову это не понравилось бы.

— Я ничего не понимаю! — Сергей потрянул головой. — Причём здесь Александр Порфирьевич? У девочки есть родные! Целых три тётки! Они твоими стараниями считают её погибшей, а она, оказывается, жива! Как ты могла их обмануть? Скрыть от них ребёнка?

— Разве они старались найти Нюточку?

— Марья Евграфовна писала тебе, я знаю точно!

— Один раз, правда. И не приехала даже... Зачем ей Нюточка? У неё теперь своя семья. Трое детей Алексея Васильевича. Барышне Ольге Николавне, тем более, до племянницы нужды нет. А уж её мужу и подавно. Варвара Николавна? Кажется, и она вышла замуж? И уже мать семейства? Так зачем им всем моя Нюточка? — голос Али задрожал. — Я ей мать, слышишь?! У меня, кроме неё, никого нет! Я, если хочешь знать, только для неё живу, а не то бы от этой проклятой жизни давно петлю бы на шею накинула! А ты что приехал? Отнять её у меня?!

Серёжа посмотрел на неё с испугом:

— Опомнись, Аля! Что ты говоришь? Подумай! Разве это справедливо, чтобы они не знали, что Нюточка жива? А если Родион Николаевич вернётся?..

Аглая вздрогнула:

— Если он вернётся, я отдам ему дочь в тот же час и беспрекословно. Но только ему! Больше никто на неё права не имеет. Я её вместо матери выкормила, от

гибели спасла... Она меня матерью считает! И никаких тёток ей не надо!

— Ты сошла с ума! — Серёжа подошёл к ней и тряхнул за плечи. — Я понимаю, что ты не можешь расстаться с девочкой, но ведь никто бы не стал разлучать вас! Наоборот! И ты бы смогла уйти от этого человека!

— Этот человек содержит всю нашу семью, не считая тебя.

— Пусть так! Но, подумай, разве в такой атмосфере, в таком окружении должна воспитываться дочь Аскольдовых? Ты добрая, заботливая мать, но ты не можешь дать ей того, что она должна получить. Я уже не говорю о твоём муже. Ведь он бьёт тебя, Аля. Ты напрасно всё время тянешь вниз рукав — я вижу, что у тебя с запястьем. И он большевик. Пусть не радикал, не чекист. Пусть учён и умён. Но он большевик и безбожник. И вся среда, в которой вы живёте, такова. Что впитает в душу ребёнок, выросший в такой среде? Ведь она не младенец уже, начинает думать, понимать, запоминать. Что с ней будет, Аля? Не слишком ли много ты берёшь на себя?

Аглая опустилась на стул, заплакала отчаянно. Братец невольно выговорил то, о чём сама уже не раз со страхом думала она. Вырастить в сытости и достатке важно. Важно и любить. Но ведь важнее всего — воспитать душу. А что станет с душой Нюточки? Вырастет она, станет комсомолкой... То-то «обрадуется» тому Родион. Прав Серёжа, бежать надо. Надо было уже давно бежать... Прочь от Ярославля, чтобы никто не знал о ней, никто не нашёл, никто не смел больше угрожать. Поселиться где-нибудь вдвоём с Нюточкой и жить тихо, много работать, чтобы учить девочку тому, что не в силах дать сама. Многие барыни и барышни теперь уроками живут, только деньги нужны на их оплату... И не нужно ни Марьи Евграфовны, ни

других. Отдать им девочку? А с ними-то самими что дальше будет? Аскольдовы... В любой момент сошлют куда-нибудь, а что тогда станет с Нюточкой? Нет, ей куда безопаснее быть теперь не Аскольдовой, а дочерью простой трудящейся, до которой никому нет дела.

— Вот что, Серёжа, — тихо сказала Аля, немного успокоившись, — я обещаю подумать о том, что ты сказал. Но ты молчи пока! Поклянись мне, что ни слова не скажешь о том, что знаешь!

— Да как же...

— Христом Богом прошу, поклянись сейчас! Я ведь, если с Нюточкой что, руки на себя наложу!

— Побойся Бога! — Серёжа отпрянул. Руки его чуть подрагивали, а на лице отражалось волнение и даже страх перед исступлённостью сестры.

— Клянись! — повторила Аглая, став на колени.

Братец замахал руками:

— Хорошо-хорошо! Как тебе угодно! Я клянусь, что никому ничего не скажу! Только успокойся, пожалуйста, и не смотри так страшно!

— Спасибо... — Аля поднялась и, подойдя к Серёже, уткнулась лицом в плечо. — Прости меня, пожалуйста. Я запуталась и устала. Безумно устала... А ты уезжай лучше поскорее.

Внезапно она заметила шатко идущего по двору Замётова. И ёкнуло похолодевшее сердце: вовсе не домой шёл изверг, а из дому...

Глава 10. Мука

— Ну-ка поди, поди сюда, — поманил Александр Порфирьевич игравшую с кошкой Анюту. Та подхватила кошку на руки и подошла, вопросительно глядя на него васильковыми глазами. Замётов наклонился, взял её за подбородок, долго всматривался в румяное, удивлённое личико:

— Да... Так и есть, их кровь. Их кровь, будь она проклята...

Оставив ребёнка, он направился в ближайшую пивную. Есть же счастливцы, которые обретают забвение в подобных заведениях! Александр Порфирьевич не находил себе забвения нигде и ни в чём. Алкоголь, даже принятый в очень изрядном количестве, давно не мутил его разум, лишь немного тяжеля голову. Эта его завидная способность не пьянеть стала роковой для Воронова.

Мечь, как известно, блюдо холодное, если только готовит оное не круглый тупица. Тупицей Замётов не был, потому и удержался невероятным усилием воли, чтобы не шамальнуть в негодя незамедлительно. Это было легче лёгкого: пистолет лежал у Александра Порфирьевича в кармане пальто, а товарищ Воронов был обнаружен в костюме Адама и защититься не мог. Соблазн был велик, но не до такой степени ещё затмился рассудок, чтобы идти на поводу у подобных соблазнов.

Замётов терпеливо выждал несколько дней, а затем отправился к Воронову. Тот его визиту не удивился, а усмехнулся лишь:

— Никак разговор важный имеешь? А супруга твоя где ж? Горячая она у тебя! Чистый огонь!

— А что если я о твоих похождениях сообщу, куда следует? Как ты, пёс, мараешь образ сотрудника ГПУ использованием служебного положения?

— К стенке станешь и больше ничего. Ты, товарищ, не ерепенься. Частная собственность на баб — это пережиток старого режима! Какой тебе убыток, если твоя жена скрасит часы твоих же товарищей? Цени внимание! Я ведь мог проще поступить: тебя за твои дела в расход, а бабу твою себе в постоянное пользование, пока не надоест! Но я же не зверь, тебя не обделяю! Сам пользуйся и другим давай. А то не товарищески такой бабой одному владеть!

— А ты бери её насовсем, — сказал Александр Порфирьевич.

— Что вдруг? Неужто не жаль? — недоверчиво прищурился Воронов.

— Не жаль. Я в отношении баб собственник, а жена моя уж слишком демократична в известной области. Я бы её выгнал взашей, да ведь с голодухи помрёт. Нехорошо. А когда бы забрал кто себе, так я бы только рад был. Пусть другие так живут.

— Бабы — стерви, — назидательно сказал Воронов. — В своём доме мне они задаром не нужны, одни хлопоты.

— Вот, насчёт стервей — это точно, — вздохнул Замётов. — У тебя водки нет?

Водка у следователя была. И сам он был непрочь пригубить. Молодой ещё! Дурак... Факты собирать научился, пользоваться ими для удовлетворения своих похотей — тоже, а всё дураком остался.

Первую бутылку развернули скоро, и Александр Порфирьевич, умело изображая пьяницу и не переставая ругать баб, достал из портфеля следующую. Сам пригубил едва, незаметно выплеснув содержимое за плечо, а хозяин махом осушил стакан до дна и через мгновение бесчувственно спал, уронив голову на стол.

Замётов ещё дома примешал к спиртному большую дозу снотворного.

Дальше всё было просто — пустить печной угар в комнату и только. На дворе была уже ночь, и Александр Порфирьевич мог быть спокоен — до утра следователя Воронова никто не потревожит. Так и вышло. Наутро мерзавца нашли уже без признаков жизни. И без признаков какого-либо насилия. Напился пьян и угорел — самое что ни на есть житейское дело...

— Бабы — стерви... — повторил Замётов вороновскую фразу, невидяще глядя в тусклое стекло бокала.

И что это за жизнь такая? Нескончаемая, беспрерывная пытка. Да, он как будто достиг желаемого — он обладал женщиной, которая стала его наваждением. Но это не приносило счастья. Лишь краткое удовлетворение животного инстинкта... Она ненавидела его — Александр Порфирьевич это знал. И презирала, не скрывая этого. Ненависть и омерзение он читал в её глазах даже в моменты близости, но эта ненависть не охлаждала его, а лишь распалила сильнее, пробуждая что-то глубоко варварское в душе, заставляя вырываться на поверхность того человека-зверя, о котором так восторженно писал Ницше.

Но Замётов вовсе не желал быть зверем. Всё чаще и чаще вспоминалась ему молодость, надежды, начало карьеры в столице... В сущности, что плохого было тогда? Он мог бы жениться, жить своим домом, семьёй, работая, как все. Он мог бы быть любим хоть самую малость, хоть кем-то. Жизнь была бы обычной и серой, как у всех людей, но чем плоха такая жизнь?

Александр хотел иного... И, вот — иное. Революция свершилась, его партия пришла к власти. Но отчего же тогда так тревожно стало жить? Никогда не боялся Замётов царской охранки так, как ныне опасался едва ли ни всякого сослуживца, ибо тот мог донести. Причём

донести вне зависимости от наличия предмета для доноса — из обычной человеческой подлости. Никогда не боялся Александр при прежнем режиме на людях высказывать крамольные вещи, а теперь и с глазу на глаз кому сказать — страшно.

В восемнадцатом он, пользуясь положением путейского начальства, помог нескольким повстанцам выбраться из города и тем избежать расстрела. Зачем? Какое дело было ему до этих самых настоящих контрреволюционеров? Но ведь революционерам помогать интеллигентные люди всегда считали практически долгом своим! А теперешним бунтовщикам руку подавать — преступление стало? Замётову не жаль было мятежников, но что-то внутри восставало против всей атмосферы, укоренившейся в молодой республике.

Помощь «бывшим людям» была более осмыслена. Несмотря на свою нелюбовь к дворянству, Александр Порфирьевич всегда был крайне далёк от пролетариата и даже презирал его за неразвитость и грубость. И никак не мог взять в толк он, с какой такой блажи эти полудикие люди должны занимать должности, на которых требуются образование, ум и профессиональные навыки? Гробить дело во имя торжества одного класса? Совершенно невыносимая глупость! Замётов никогда не желал физического уничтожения дворянства. Уничтожения привилегий — да. Того, чтобы бывшие бары стали работать, как простые смертные вне зависимости от титулов — безусловно. Но ничего иного! Почему не дать работу по специальности пусть даже и сиятельному князю, если он грамотный специалист в данной области? Неужели какой-нибудь тупица из потомственных пролетариев сможет заменить его? Ни ума, ни справедливости!

То же и с распределением благ. Изъяли излишки у богачей — добро. Но как же распорядились ими? Разве в помощь нуждающимся пошли они? Ничуть не бывало! Новое начальство поделило всё между собой. Взять хотя бы местного секретаря уездного комитета партии! Этот субчик захапал себе лучший особняк в городе и обставил его с такой роскошью, какая прежнему хозяину-помещику и не снилась. После чего вчерашний пролетарий женился на молоденькой купеческой дочке, погибавшей от голода и притеснений, и устроил для неё такую богатейшую жизнь, что эта бессовестная дурочка хвасталась бывшим подругам, что не видала подобной роскоши даже в доме своего отца, купца первой гильдии.

И для процветания подобных элементов свершалась революция? Это они будут перестраивать мир? Не мог примириться Александр Порфирьевич и гнул своё, ощущая одновременно, что это не простится ему, ожидая своей очереди...

Иное! Он владел женщиной, но так и не смог победить её. Она кричала, что стала его рабыней, а рабом был он. Потому что её душа не принадлежала ему, тогда как она полностью властвовала над его...

Разумом Замётов ненавидел Аглаю и не раз представлял себе, как убивает её. Убийство казалось ему единственным способом освободиться от этой мании, от страсти, превратившейся в тяжёлую болезнь.

Но стоило ему увидеть свою мучительницу, как ненависть отступала, и страшно было подумать о том, чтобы лишиться её. Пусть даже такой — ненавидящей и презирающей, вечно укрощаемой, но не поддающейся укрощению.

Пытался Александр Порфирьевич быть добрым и внимательным, загладить вину, приручить Аглаю. Но ничего не помогало. Срывался и прибегал к силе — тот

же результат. И как же возможно жить в таком положении?

А теперь ещё и это... О, он должен был догадаться раньше! Ведь достаточно взглянуть на Анюту, чтобы понять безо всякого сомнения, какого она рода. Проклятый род! Неистребимый... И тем тошнее, что в собственных жилах кровь его течёт. Революция уничтожила Глинское. А с ним — кого же? Несчастную Анну Евграфовну, которую даже Замётов не мог ненавидеть. Зато папашенька — и тут уцелел. Ничто не делается старой сволочи... И не только уцелел, но и пуще вознёсся! Кем был литератор Дир при Царе? Одним из многочисленных представителей писучей братии. Да и кем ещё он мог быть, когда творили Блок, Бунин, Чехов?.. Зато теперь — один из первых поэтов и писателей Советской страны! Во всех газетах подлое имя его. И кто в сравнении с ним инженер-путеец Замётов? Пыль и только... И где же справедливость? К чему нужна была революция?

Больше всего хотел Александр Порфирьевич обычной жизни. Жизни семейной... Он мечтал о детях, но они, как говорят, рождаются от любви, а не от ненависти и презрения. Замётов по-своему привязался к Анюте, находя подчас неизведанное доселе удовольствие в том, чтобы повозиться с ней. Она не боялась его, не ненавидела, не презирала... И, вероятно, не находила тем огородным пугалом, каким считали все, включая его самого. Чистая душа — рядом с нею и сам Александр Порфирьевич словно чище становился, словно оживало в нём что-то давно убитое.

А, оказывается, лелеял он не просто чужого ребёнка, а дочь этого смазливого барчука, Родиона Николаевича! И Аглая, глядя на неё, вспоминает своего ненаглядного, его в ней любит. А Замётова использует. Презирает, смотрит, как на клопа, а использует, чтобы

дочку любовника вырастить. Проклятая тварь... Нет такому обману, такой насмешке прощенья!

Водка, как и следовало ожидать, не возымела над ним действия, лишь ещё чернее стало на душе, словно сердце обратилось раскалённой головёшкой. Полный самых тёмных и мстительных мыслей, Александр Порфирьевич вернулся в свой дом.

Он вошёл в кабинет с намерением взять лежавший в ящике стола пистолет, но не сделал этого, увидев Анюту. Девочка стояла босыми ногами на его диване и рассматривала висевшую над ним астрономическую карту, водя по ней пальчиком. Она обернулась к Замётову и спросила, ткнув пальцем в одно из созвездий:

— Дядя Саша, это Кассиопея, да?

— Да, Аня, это Кассиопея... — глухо откликнулся Александр Прохорович, бессильно чувствуя, как вся решимость его в очередной раз рассыпается в прах перед чистым взглядом детских глаз. Только пронзило вновь — ведь и глаза-то у неё родионовы! — Кассиопея... — повторил он, расстегивая ворот, задыхаясь от боли. — А там вон Гончие Псы... Помнишь, Аня, я тебе показывал?

— Помню, вот они! — девочка точно указала псов.

— Действительно, помнишь... Молодец...

Замётов чувствовал, как на глазах его закипают слёзы отчаяния, и с трудом сдерживал их.

На пороге появилась Аглая. Александр Прохорович тихо сказал Анюте:

— Пойди, пожалуйста, в свою комнату. Нам надо поговорить с твоей матерью...

Девочка вздохнула, но послушно вышла. Аля затворила дверь и с вопросительной настороженностью посмотрела на Замётова.

— Твой брат, как я понимаю, покинул нас?

— Да, он уехал в Москву.

— А я думал в голодную деревню, чтобы разделить бедствия братьев и сестёр... А что, Аглаша: если бы я решил изменить жизнь, бросил бы всё это и уехал в глушь, ты поехала бы со мной?

— Ты собрался ехать в глушь?

— Отвечай! — рыкнул Александр Порфирьевич.

— Нет, не поехала бы. Самой мне всё равно, где и как жить, но не всё равно, как будет жить моя дочь.

— Твоя дочь... — Замётов помолчал. — А как ты считаешь, Аглаша, это достойно, что чужой человек, ненавидимый тобой и презираемый, содержит твою дочь? Что ты, относясь к нему таким образом, расплачиваешься с ним своим телом за это содержание?

— Ты отказываешь нам от дома?

Александр Порфирьевич рывком подскочил к Але и, сжав её горло, с силой тряхнул, прохрипел исступлённо:

— Да я бы тысячу раз выставил вас обеих на улицу, если бы мог!

Он хотел увидеть в её глазах испуг и мольбу, хотел, чтобы она заплакала, но на лице Али не отражалось никаких чувств, и он отпустил её, отшвырнув от себя с такой силой, что она упала на пол.

Поднявшись, Аглая ответила:

— Я знаю, что живу подлой жизнью. Что я тварь. Но, — вспыхнули гневом глаза, — не тебе меня попрекать этим! Это ты меня тварью сделал, а теперь пожинаешь плоды своего преступления! Ты не смеешь говорить мне о достоинстве! Ты! У тебя была возможность поступить достойно, изгладить хоть отчасти давнишнее. Ты мог бы помогать нам с Нюточкой, ничего не требуя взамен. Но ты не способен помогать просто так! Ты говоришь, что я ненавижу и презираю тебя. Да, это правда! Но как же ты, зная это, приходишь ко мне всякую ночь? Не противно ли?

— Замолчи! Замолчи сию секунду! — взвыл Замётов.

Но она уже не могла остановиться, распалённая разбуженной в душе ненавистью:

— Ты ведь слышал сегодня мой разговор с Серёжей? Слышал! Я вижу, что слышал! Вот, теперь ты всё знаешь. Что же не гонишь меня? Прибьёшь опять, а затем ночью, как побитый пёс, приползёшь?

Александр Порфирьевич согнулся в три погибели, чувствуя острую, пронизывающую насквозь боль где-то под ребрами, закашлялся, поднёс платок к губам — из горла шла кровь.

— Воды...

Аглая быстро наполнила стакан и протянула ему. Замётов сделал несколько глотков, страдальчески посмотрел на неё:

— Чего ты хочешь от меня? Я же делаю для вас обеих всё... Лучше бы мне сдохнуть...

Она утихла немного, села рядом, вздохнула:

— Ничего ты не можешь сделать, Замётов. Я должна была бы уйти от тебя, куда глаза глядят. Ты должен был бы меня выгнать... И оба мы не можем сделать того, что должны. Мы оба лишены достоинства, оба черны и ничтожны... Но я свой путь не выбирала. Меня швырнули на него. Ты швырнул... Впрочем, сейчас это уже неважно. Во мне не осталось почти ничего живого, чистого. Моя душа мертва... Ты говоришь, что я украла твою душу, но ты же мою — убил. Так что мы в расчёте, Замётов. Но хоть я и тварь, и нет мне прощенья, а Нюту я воспитаю другой, её жизнь другой будет. Это единственная моя цель. И я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило. С тобой или без тебя.

В это время детский кулачок требовательно забарабанил в дверь. Аглая поспешно открыла. Аня восторженно пронеслась через комнату, подбежала к окну и, забравшись на стул, воскликнула:

— Дядя Саша, мама, смотрите! Кассиопея!

Александр Прохорович повернул голову к окну, с тоской посмотрел на усыпанное звёздами небо:

— Нет, Аня, это Возничий, а не Кассиопея. Видишь, на него указывает ковш Большой Медведицы? И яркая звезда горит?

— Вижу!

— Эта звезда называется Капеллой...

— Капелла... — заморожено протянула девочка, неотрывно глядя на небо. — Какая она красивая и одинокая...

— Да, она очень одинокая, — согласился Замётов, пряча окровавленный платок. Он безнадежно понимал, что не сможет выгнать из дома ни эту женщину, истерзавшую его душу, ни девочку, дочь своего счастливого соперника. А, значит, ад будет продолжаться и дальше...

— А там что за звёздочка?

Он до сих пор помнил названия всех звёзд и созвездий, страстно изучаемых когда-то, манивших своей недосыгаемостью и тайной. Правда, давным-давно угасла и эта страсть, и редко-редко обращались глаза к небу. А эта девочка вдруг с таким живым любопытством потянулась к нему. И Александр Порфирьевич стал негромко рассказывать ей о звёздах. Может быть, это единственное хорошее, что ещё способен он дать ей, оставив по себе добрую память...

Глава 11. Прощание с Родиной

Ещё пять дней назад гремел бой под Монастырищем. Последний бой этой войны! В сущности, он уже не нужен был, как и все бои последнего периода. Но требовалось затянуть время, чтобы успели покинуть Приморье семьи, беженцы, раненые. Не предполагало командование, что их окажется столь много. Рассчитывали, что половина непременно останется. Но оставаться никто не хотел. Как могли остаться те, кто прошёл с армией крестный путь от Урала до Владивостока? Выжившие в Щёгловской тайге и на Кане, перешедшие Байкал, потерявшие всё самое дорогое и дотянувшие до последнего клочка русской земли... Как могли остаться они под властью большевиков, от которых бежали три года?.. Они уходили все. Белая Россия покидала Россию красную, не-Россию, анти-Россию... Одни пешком переходили границу с Китаем, другие покидали Владивосток на кораблях. Своих плавсредств, как водится, оказалось мало, и нервничало командование, прося помощи у японцев. А те, в свою очередь, ждали приказа своего начальства. А оно медлило. Всё же японцы были единственными рыцарями из всей союзнической сволочи. Поняв, что дело может кончиться катастрофой, они не стали ждать распоряжений сверху, а просто на свою ответственность послали корабли на помощь и вывезли людей.

После поражения под Монастырищем артиллерийская колонна отступила и, более не сопротивляясь, к восемнадцатому октября дошла до села Пеняжена, расположенного недалеко от места впадения реки Суйфун в Амурский залив. Здесь

командир зачитал приказ главнокомандующего генерала Дитерихса:

— Война окончена. Я ухожу в Китай. Кто хочет — может идти со мной, а кто не хочет — может делать, что ему угодно. Задерживать никого не будут.

— Делайте, что хотите, идите, куда хотите... Хорош приказ! — хмыкнул Головня. — Кому мы теперь нужны...

— Стало быть, идём в Китай... — вымолвил Родион.

— Не кручиньтесь, господин подполковник, — ободрил его прапорщик Васильев. — В Китае тоже жить можно. У моего дядьки, да будет вам известно, лавка в Харбине. Мамаша с сёстрами уже давненько там. Так что проживём! Ни такое пережили.

— Боюсь, на всех Харбина не хватит, Петя, — невесело усмехнулся Родион.

— Так ведь земля большая!

— Большая... Только России другой на ней нет. И дома нашего нет...

Протрубили сбор, и остатки земской рати строевым шагом отправились к урочищу Ново-Киевску, где сходились границы трёх стран: России, Китая и Кореи. Ноги отмеряли последние пяди родной земли, но душа словно не осознавала. Может, оттого, что унылые, пустынные пространства гаоляна, раскинувшиеся вокруг, менее всего напоминали Россию, а, может, от нечеловеческой усталости.

Вся владивостокская кампания была обречена изначально. И Родион не тешил себя напрасными иллюзиями. После потери целой Сибири, гибели Колчака и Каппеля, после того, как большая часть армии осталась вмерзать костями в таёжные снега, на что можно было рассчитывать? Но ведь даже и эта катастрофа не вразумила обезумевших... Чем занималось командование в течение нескольких месяцев? Делили власть... Во Владивостоке заправляли братья Меркуловы, деятельность которых вызывала

широкое недовольство. Каппелевцы не могли найти согласия с Семёновцами ещё с той поры, как ступили в Забайкалье после страшного Ледяного похода. Давно уже и Забайкалье стало красным, но трения не прекращались. Народное собрание пыталось свергнуть Меркуловых, Меркуловы распускали собрание. Сторонники Семёнова позвали уехавшего в Японию атамана, чтобы он возглавил борьбу. Но этому воспротивились Каппелевцы, и Семёнов остался в Японии.

Необходима была фигура, способная объединить вокруг себя конфликтующие стороны. Выбор пал на генерала Дитерихса.

Да, следовало признать, иной кандидатуры быть не могло. Но... Дитерихс мог изменить ход дела летом и даже осенью Девятнадцатого, но три года спустя — это уже не просто опоздание было, а почти издёвка. Мудрый, опытный генерал, он точно понимал положение в Девятнадцатом, он имел план, как спасти армию, сохранить её, переформировать и нанести удар. Но Верховный не послушал его, вверив свою и всего дела судьбу оптимистам, успокаивающим его расстроенные нервы. План, уже запущенный, был на ходу изменён, Дитерихс снят с должности... Позже уже, оказавшись в плену занятой чехами железной дороги, когда стало очевидно, что армия гибнет, адмирал предлагал Михаилу Константиновичу вновь взять командование. Но Дитерихс поставил условие — немедленный отъезд Колчака за границу. Жесток был ответ, но и каков ещё мог он быть? Мог ли пожилой генерал снова принять командование в безнадёжных условиях, да ещё с риском, что адмирал передумает вновь? Колчак условий Михаила Константиновича не принял...

Так и прожил Дитерихс три года мирно, обосновавшись с семьёй в Харбине, где, чтобы свести

концы с концами, ему приходилось браться за любую работу, не гнушаясь и сапожным ремеслом. Ведь кроме семьи необходимо было помогать ещё и детям-сиротам. Еще осенью 1919 года Софья Эмильевна Дитерихс открыла в Омске «Очаг для одиноких беженок-подростков». В него принимались девочки от десяти до шестнадцати лет. Сорок пять воспитанниц Дитерихсы вывезли в Харбин, где Софья Эмильевна, окончившая в своё время Женский Педагогический Институт и по рекомендации историка Платонова бывшая начальницей гимназии, продолжила заниматься их образованием вместе с ещё тремя учительницами и священником.

Михаил Константинович, между тем, всё свободное время посвящал работе над книгой о Царской Семье, расследованием убийства которой занимался по приказу адмирала. В далёком 1904 году подполковник Дитерихс был удостоен высочайшей чести стать Воспреемником от купели Наследника Российского престола Цесаревича Алексея Николаевича. Мог ли представить он тогда, что через пятнадцать лет будет руководить расследованием его убийства? Написать правду о свершённом злодеянии стало для генерала последним долгом верноподданного перед своим Государем, которому Дитерихс оставался верен.

Свой долг Михаил Константинович исполнил. Книга «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» увидела свет во Владивостоке в 1922 году. В первой части её генерал обнародовал все собранные следствием факты, какими располагал сам. Во второй — представил детальный анализ событий Февраля и Октября, из коего следовало, что не может быть речи о возрождении России без возврата её к ценностям Православия, Самодержавия и Народности.

Генерал Дитерихс был подлинным рыцарем трона. Рыцарство, доходящее до донкихотства, до наивного

романтизма в глазах многих, почти до «ненормальности» было сутью его. Это качество было в нём наследственным, глубоко родовым, из глубин средневековья передающимся новым поколениям. В Священной Римской Империи старинный рыцарский род Дитерихсов ревностно стоял на страже христианской веры. Один из его представителей стал кардиналом, правителем Моравии и председателем Государственного Совета Священной Римской Империи. Во время религиозных войны Дитерихсы сражались и на стороне католиков, и на стороне лютеран. Последние позже перебрались в Россию и приняли Православие...

С восемнадцатого века мало было кампаний, в которых рыцари Дитерихсы не проявили бы своей доблести. Сразу четверо Дитерихсов отметились славными делами на Бородинском поле. Среди них был и дед Михаила Константиновича, ставший в русско-турецкую войну первым комендантом крепости Варна. Сын его, генерал от инфантерии, стяжал себе славу на войне Кавказской, о которой оставил записи, немало послужившие его другу Льву Толстому при написании «Ходжи-Мурата». Дочь генерала, сестра Михаила Константиновича позже стала женой сына великого писателя.

Таким образом, рыцарство и глубокая религиозность были глубоко в крови Дитерихса. Оттого и Гражданская война виделась ему отнюдь не противоборством идей, партий, но противостоянием Добра и Зла, Христа и Антихриста. Ещё в Сибири его штабной вагон был увешан иконами и хоругвями, а сам генерал проводил ночные часы в молитвах. Отсюда проистекали и первые экстравагантные решения его по назначению начальником штаба Верховного Правителя. В Сибири началось создание новых добровольческих подразделений — Дружин Святого Креста. Михаил Константинович вдохновлялся примером семнадцатого

столетия, когда по призыву Святителя Гермогена русские люди поднялись против интервентов... Святой Крест должен был противостоять сатанинской пентаграмме. Добровольцы приносили клятву на Святом Кресте и Евангелии и нашивали белый крест на грудь... Чрезмерная страсть к символам проявилась потом и в Приморье, когда Михаил Константинович переименовал армию в Земскую Рать, а себя в Воеводу. Чудачество да и только.

Крестовый поход против большевизма, священная война — вот, был идеал религиозного генерала. Новые крестоносцы должны были пополнить поредевшие ряды армии, но, увы, большой пользы это не принесло. Добровольцы не имели необходимой подготовки и потому несли большие потери...

Много потешались тогда над мистицизмом и идеализмом Михаила Константиновича, записывая его в фанатики и сумасшедшие. И, вот, призвали его... И он приехал. Приехал возглавить армию, которую когда-то мог спасти, и от которой теперь почти ничего не осталось. Какова же была цель генерала? Приземлённая: спасти эти остатки. Озвучиваемая — вновь фантастическая и безумная: победить. Но под этой озвучиваемой, поверхностной скрывалась главная. Михаил Константинович пытался заложить фундамент для возрождения будущей России, наметить основы. Когда храм с его святынями покидается, то запечатывается — так, чтобы по прошествии времени печати были сняты, и святыни обретены вновь. Таким храмом Дитерихс делал Приморье.

Вера стала краеугольным камнем для всех построений генерала. Спасение России он видел не в конкретном монархе, а в построении русской государственной власти на принципах «идеологии исторического национально-религиозного самодержавного монархизма», основанной на «Учении

Христа». «...Начинать всякое возрождающее движение, в том числе и монархическое, необходимо с поднятия в русском народе основ чистоты и святости законов Христа и его наставлений, — говорил Михаил Константинович. — Мне отвечают на это: все это так, но это слишком долгий и сложный путь, и другие успеют использовать современное шаткое положение советской власти. Не разбирая, насколько шатко ее положение, на первое отвечаю с глубокой и горячей верой: пусть. Ничто не удержится в русском народе, что не со Христом и не от Христа. Рано или поздно, если только Господу угодно простить временное отклонение русского народа от Христа, он вернется прочно только к началам своей исторической, национально-религиозной идеологии, идущей от Христа и со Христом. А что я не увижу это спасение, а только мои потомки... Так разве для себя я вел братоубийственную войну и готов снова к ней? Разве для восстановления своих генерал-лейтенантских привилегий и для владения хутором Фоминским под Москвой?.. Что же из того? Была бы Русь Святая и торжествовала бы predetermined ей от Бога цель».

Он провёл в Приморье то, с чего следовало бы начинать Белую Борьбу, то, с чего, как хотелось надеяться, однажды начнётся восстановление России... Михаил Константинович собрал Земский Собор, коему надлежало принимать ключевые решения, выразил верность Государыне Марии Фёдоровне, обойдя вниманием нахально претендовавшего на трон Кирилла Владимировича, указал на жизненную важность развития земского самоуправления... В первых же указах своих он сформулировал идеологические и практические основы будущего государственного строя. И посетовал с горечью, что за пять лет войны все белые анклавы строили лишь планы устройства всей России, мало заботясь о положении той территории,

которая была им подконтрольна. А ведь этим-то территориям, этим островам надлежало опорными пунктами быть, плацдармами. Их следовало развивать так, чтобы были они надёжной экономической базой, откуда можно было бы двигаться вперёд. Но ни единой прочной базы не заложили, пренебрегли тем, что имели во имя мечтаемого, пренебрегли тылом во имя фронта, а в итоге потеряли и то, и другое. Лишь Врангель в Крыму учёл эту ошибку, но слишком поздно...

Все начинания Дитерихса имели значение, как заготовки на будущее, но в текущей ситуации были важны, как припарки для мёртвого. Впрочем, никакие меры положения изменить уже не могли. Не могла горстка измученных людей противостоять красному полчищу под командованием вчерашнего прапорщика, а ныне главкома Уборевича. Вдобавок армия более не имела души. Опустошённость поразила сердца. Многие оставили службу и Родину ещё раньше, уехав с семьями на чужбину, и их невозможно было судить. Другие воевали по инерции, без надежды и без огня. И религиозный генерал не мог изменить этого настроения. Он мог служить молебны, но не мог стать... Каппелем. Легендой, одно имя которой внушало веру в невозможное.

Иные ещё потрясали кулаками в сторону Совдепии: «Подкопим сил — вернёмся!» Но Родион понимал — ни о каком возвращении грезить не приходится. Борьба проиграна. И краснокирпичная коробка таможни на границе с Китаем с несколькими мазанными халупами, именуемыми Русским Хунчуном отчего-то особенно пронзительно, как жирная точка в конце предложения, сказала об этом.

Двадцать два года назад русские войска штурмом взяли крепость Хунчун во время Боксёрского восстания. И до сих пор высились на местном кладбище кресты над могилами русских солдат... Знать, куда больше станет

их теперь. По всему миру прорастёт изгнанная Русь — православными крестами на инославных погостах...

День выдался сумрачным и холодным. Подножную слякоть подтянуло хрупким ледком, падал редкий снег, протяжно выл и пробирал до костей ветер. Китайцы установили на границе пункт для сбора оружия, проносить которое на их территорию строго запрещалось. Одним унижением больше...

Китайские солдаты в серых мундирах и мохнатых малахаях на всякий случай рассыпались цепью с винтовками на изготовку. Другие проворно грузили на арбы сданное оружие, толкая друг друга, ругаясь, гортанно галдя, как на базаре. Делили добычу...

Родион приблизился, сомкнув сердце, бросил винтовку в одну из куч. Тотчас подскочил к нему маленький косоглазый солдатик и, бормоча что-то, стал бесцеремонно ощупывать шинель, ища, не спрятал ли он что. Далеко было китайцам до большевистских навыков: припрятанного револьвера солдатик так и не нашёл. Ободрил, лыбясь по-заячьи:

— Будет служить у маршал Чжан Цзолин — всё обратно получит!

После сдачи оружия «рать» переправилась по понтонному мосту через речушку Тумень и остановилась в корейской деревушке Там-Путэ. Китайцы с корейцами не церемонились. Несмотря на крики и ругань, они отталкивали хозяев от их фанз и размещали там группы беженцев.

Шум продолжался долго, но, наконец, к вечеру корейцы успокоились, поняв, что сопротивление бесполезно. Лишь протяжно выли собаки и доносились редкие выстрелы с другого берега реки.

Прапорщик Васильев умудрился найти общий язык с хозяевами и организовать ужин: кашу-чумизу и кипяток. Головня прибавил к этому чай и сахар.

— Интересно, не решатся ли товарищи на налёт? — сказал Петя, прихлёбывая чай.

— Не думаю... Зачем рисковать? Им пока хватит работы и на том берегу, — безразлично откликнулся Родион. Он покосился на кусок прозрачной белой бумаги, заменявшей окна в фанзах — сквозь него просачивались последние лучи заката...

Аскольдов достал портсигар и вышел на улицу. Закурив, он стал вглядываться в темноту за рекой. Там поблёскивали костры, раздавались выстрелы. Добивают оставшихся... Тех, кто понадеялся на прощение... Словно они могут прощать. Могут быть милосердны... Да и о каком прощении и снисхождении может быть речь? Он, Родион Аскольдов, не ждал для себя ни того, ни другого. Врага нельзя прощать и миловать, а он был врагом красной власти, врагом непримиримым. Его война была духовной, а не классовой, не идейной. Той самой Священной, какой понимал её и генерал-рыцарь Дитерихс. А на такой войне компромиссов нет.

Родион прошёл немного в сторону реки, сел на край одиноко стоявшей телеги, пытаюсь расчувствовать всё ещё не дошедшую до сердца мысль — вот там, на том берегу, осталась его Родина, а он — вне её, он — изгнанник... Думалось о родных, о которых давным-давно не было известий. Что стало с ними? Как узнать об этом? Как вывезти их из большевистского ада, если живы? А если?.. Но о последнем слишком невыносимо было думать.

Он ещё раньше решил, что уйдёт из армии, не продолжая бесполезной маяты. Но куда? Остаться в Китае не хотелось. Слишком чуждо здесь всё. И слишком близко к границе, навевающей тоску. Значит, Европа? В Европе уже обосновался кое-кто из боевых соратников. Значит, навестить их... Успокоиться, перевести дух... А затем искать своих. Не может быть, чтобы нельзя было навести о них справки.

Так беспокойно бродили мысли о разных предметах, но Родине места в них не находилось. Или находилось мало. Подобно некогда бесконечно любимой жене, которая так измучила, истерзала душу, что разлука с ней, хоть и томительна, но не разрывает душу, облегчая её. По сути дела, два года в Приморье чем так сильно отличались от теперешнего? Родины уже не было, не было возможности поехать в родные края, узнать судьбу близких... В чём заключалась Родина всё это время? В иллюзии, призраке... Но призрак остаётся и здесь.

Протяжно завывала подбежавшая собачонка, испуганно прижалась к ногам. Аскольдов подхватил её на руки:

— Что, дружище, и тебе тошно? Понимаю...

Собака мелко дрожала и поскуливала, глядя на всё ярче полыхавшие огни. Завыли и другие окрестные псы, их обругал выскочивший из фанзы кореец. Снова наступила тишина. Родион поглаживал собаку, благодарно лизавшую ему руки, говорил негромко:

— Ничего, дружище... Жизнь на этом не кончается. Нужно осмотреться, отрезвиться. Неправда, что мы оставили Россию. Нет, дружище. Мы свою Россию унесли с собой. В сердцах унесли... И ещё вопрос, где теперь больше России... В мире, по душам изгнанников рассеянной. Или в Совдепии, также рассеянной по душам уцелевших... Знаешь, дружище, я когда-то мечтал стать путешественником. Новые земли открывать... У Верна один отважный капитан мечтал найти свободный остров и там основать новую Шотландию вместо покорённой англичанами. Жаль только наша матушка-Россия ни на одном острове не поместится, ей и материка мало. И новой России нам основать негде.

Собака снова заскулила, и Аскольдов чмокнул её в нос:

— Ну-ну, не грусти, дружище. Наша борьба ещё не окончена. И не окончится, пока мы живы, и ещё дольше — пока будет жить в душах то, что для нас свято...

Он говорил ещё что-то, стараясь убедить самого себя в небезнадёжности положения. Нет, не может оказаться напрасной и проигранной борьба, ведшаяся за Правду. Не могут оказаться напрасными все принесённые жертвы. Они ещё дадут всходы... Об этом и генерал Дитерихс говорил в своем последнем приказе перед эвакуацией. Вспомнились слова его теперь, как обетование, как Символ Веры, не дающий сломиться: «Двенадцать тяжелых дней борьбы одними кадрами бессмертных героев Сибири и Ледяного похода, без пополнения, без патронов, решили участь земского Приамурского Края. Скоро его уже не станет. Он как тело умрет. Но только — как тело. В духовном отношении, в значении ярко вспыхнувшей в пределах его русской, исторической, нравственно-религиозной идеологии — он никогда не умрет в будущей истории возрождения великой святой Руси. Семя брошено. Оно упало сейчас еще на мало подготовленную почву; но грядущая буря ужасов коммунистической власти разнесет это семя по широкой ниве земли Русской и при помощи безграничной милости Божией принесет свои плодотворные результаты. Я горячо верю, что Россия вновь возродится в Россию Христа, Россию Помазанника Божия, но что теперь мы были недостойны еще этой великой милости Всевышнего Творца».

КАНУН

Глава 1. Мария

Где в советской Москве можно встретить наибольшее количество порядочных, образованных, интеллигентных людей разом? Не ищите их в лекториях и библиотеках, не тщитесь отыскать меж праздной публики театров, а пойдите в длинную серую очередь, что выстроилась у неприметного серого здания на Новослободской улице. Странная это очередь, непохожая на другие. В других — с пустыми кошёлками за чем-либо стоят, ругаясь и отпихивая друг друга. В этой — кошёлки наполнены, а разговоры тихи, размерены, потому что делить в ней нечего, и равенство достигнуто, как нигде, ибо всех уравнила беда. Одна и та же для всех...

Час, другой, третий... Наконец, просачиваются очередные измождённые в темное помещение и снова ждут, ждут, содрогаясь внутренне: ну, как не выкрикнуть на этот раз дорогого имени?..

Но они выкликают. Из маленького окошечка — караульный. И, выкликнув, отдаёт тару из-под прошлой передачи и записку. В ней три слова родным почерком — подтверждение получения передачи. *Подтверждение жизни!* А если повезёт ещё, то рядом с тремя этими протокольными словами можно разобрать наспех зачёркнутое надзирателем: «Целую!» И очередная соломенная вдова трепетно поднесёт к губам этот драгоценный привет...

А сколько благородных душ разом можно увидеть в длинном, разгороженном двумя рядами жердей, расположенных на расстоянии полутора аршин друг от друга, коридоре! «Бывшая» знать и интеллигенция, Голицыны, Татищевы, Осоргины, инженер Кисель-

Загорянский и филолог Фокин — вот он, цвет нации, уравненный в своём бесправии торжествующим хамом.

В этом полутёмном коридоре раз в неделю им разрешались свидания с близкими. С двух концов его усаживались «менты»-надзиратели, пристально следившие, чтобы кто-нибудь не перекинул что-либо через заграждение. Из-за большого скопления людей и большого расстояния между заключёнными и их близкими трудно было разобрать отдельные слова. Частые жерди мешали разглядеть дорогие черты. И никак невозможно было коснуться, соединить руки... Но слава Богу и за это! За одно то уже слава, что живы... Жизнь — какая это стала роскошь в новом «свободном» государстве!

Жизнь... Какой странной и страшной сделалась она. Жизнь проходила — в камерах, в тюремных очередях, в толчее и скандалах коммунальных квартир, в трамвайных давках... И в постоянном сознании того, что в любой момент последняя иллюзия свободы в виде права видеть небо над головой будет погребена под сводами Бутырки или Лубянки... Бойтесь работать в иностранных компаниях и даже приближаться к ним. А лучше и вовсе не знайте никаких языков кроме новояза, и тогда вас, вероятно, не заподозрят в шпионаже. Бойтесь выделяться из общей массы каким-либо талантом: особенно, умом и культурой. Ибо нет для хама большего оскорбления, нежели вид умного, культурного человека. Вся природа хама восстаёт в этом случае, требуя стереть с лица земли «выскочку».

Вот, и наполнялись тюрьмы «выскачками», шла в них бесперебойная «ротация кадров». Горбатому всегда обиден вид безупречной осанки, исполненной достоинства прямоты. И ломали прямоту эту через колено, ломали Человека в человеке, стараясь сделать из него такого же уродца, согбенного, опустошённого, бессловесного...

Для Алексея Васильевича арест неожиданностью не стал. Он ещё с семнадцатого года был готов к нему, ждал его. Ждала и Мария, хотя и содрогаясь от одной мысли о нём.

Накануне пожаловал в Посад вовсе неожиданный гость — кузен Жорж собственной персоной вместе с Лялей. За все эти годы ни разу не навещивались. Разве что Ляля одна приезжала несколько раз. А тут — как снег на голову.

Жорж широким жестом расставил на столе привезённую снедь и вино, расположился по-хозяйски в кресле. Мало изменило братца время... Тот же гусар. Только в красноармейской тужурке. Дебел да румян, хотя, пожалуй, раздобрел излишне — знать, недурной паёк военспецы от рабоче-крестьянской власти получают. А, вот, Ляля напротив — иссохла вся как будто. И прежде она, бедняжка, красотой не блистала, а теперь и вовсе поплёкла, постарела до срока. И всё-то в землю смотрит, а если и поднимет глаза, то такая затравленность и безысходность в них, что сердце сжимается.

С удовольствием бы выпроводила Мария кузена с порога, но Лялю не могла. А он, видать, для того и взял её, чтобы не прогнали. Не по нутру был Марии этот визит, и какое-то время смотрела она в замешательстве на привезённые продукты. Но Алексей Васильевич подтолкнул её:

— Накрывайте на стол, Марочка. Гостей надобно принять, как следует.

Что ж, принять, так принять. Вдвоём с Лялей на стол собрали быстро, да только ни кусочка не проглотила Мария тем вечером. Не шла в горло эта «барская» трапеза. Да и Ляля едва притронулась. Только вино то и дело подливала в бокал, не обращая внимания на тосты...

А мужчины угощались. И Жорж, как водится, упражнялся в велеречиях.

— Давно, давно нужно было вас навестить! Ведь родные же мы люди, чёрт побери! Эх... Нет нашей бедной Ани. И многих, увы, нет... А мы, сукины дети, ещё и теми, что есть, манкируем! Вы бы приезжали к нам, ей-Богу! Мы теперь с Лялей не то, что раньше. Мы теперь на своей жилплощади обжились! Конечно, дрянь, а не жилплощадь, а зато — своя. Без Дира с его писаками... А то живёшь бедным родственником у этого прохвоста... А я, чёрт побери, офицер! А он кто? Дрянь-поэтишка... Вот, вы приезжайте к нам! С ответным визитом, так сказать! Правда, я всегда на службе... Вот, и нынче чудом вырвался. Случайно вечер свободный оказался и подумал я... И говорю Ляле: «Махнём к Мари!» И раз-два — и мы у ваших ног! По-военному!

Ляля молчала, цедила креплёное вино, словно то был лимонад, и не поднимала глаз. Молчал и Алексей Васильевич, предоставляя Жоржу в своё удовольствие играть странную комедию, которую тот затеял.

— А ещё я недавно мордаша завёл. Лошадок в городе не заведёшь, так хоть собачеем заделаться. А что? Будем с ним на уток ходить, когда свободные деньки выдадутся. Вот, ты, Алексей Васильич, не хотел бы погожим днём в лес на охоту сходить? Это же чудо! Истинное чудо!

— Лес — действительно, чудо, — согласился Надёжин. — А охота, прости, никогда не привлекала меня.

— И зря! Зря! Жизни ты не знаешь, ей-Богу! Одна лишь книжная хандра... — Жорж махнул рукой. Он был уже сильно навеселе, расстегнул верхнюю пуговицу тужурки, теснившую налитую шею, вздохнул шумно: — Гитару бы сейчас... А что, Алексей Васильич, чем ты ныне жив?

— Божией милостью, равно как и все люди, — ответил Надёжин.

— И только?

— Если тебя занимает место моей работы, то я преподаю точные науки в здешней школе и даю частные уроки.

— Точные? А как же история и литература?

— Да уж больно малограмотен я по этой части. Без ятей писать не научусь, летоисчисление государства нашего со дня революции вести не обвык.

— Контрреволюционные мысли лелеешь? — Жорж шутливо погрозил пальцем.

— Какие мысли? Я ведь молчу. И только.

— Иногда молчание бывает громче слов, — неожиданно трезво заметил кузен.

— Такое случается. Томас Мор, например, молчал, чтобы не подвести себя под топор палача правдивым словом, но одновременно не осквернить души и уст ложью.

— Ему это, насколько я помню, не помогло.

— Верно. Но боюсь, я не Томас Мор, чтобы моё молчание было столь звучным.

— Ты напрасно так непримирим к большевикам. Они допускают много ошибок, нередко ошибки являются следствием произвола на местах, но они прилагают все усилия, чтобы восстановить из руин государство. Наше государство! Сделать его вновь могучим и сильным. Разве в этом они не заслуживают поддержки?

— Я, кажется, ни словом не осудил твою нынешнюю службу. Что касается меня, то я слишком малая сошка, чтобы быть полезным в столь великом строительстве, — спокойно ответил Алексей Васильевич.

— Большевики хотят мобилизовать все силы. Даже самые слабые. И им мало молчания, им нужна лояльность, подкреплённая делом. Службой.

— Что ты имеешь ввиду под службой? Я ведь человек невоенный.

Жорж смутился:

— Ничего такого я не имел ввиду. Кроме честной работы на своём месте...

— Так я и работаю. Честно. Учительствую в школе. Или обучение детей точным наукам — это ненужная государству работа?

Жорж махнул рукой:

— Оставим это! Мне, в сущности, нет дела до того, чем ты занимаешься... Просто чувствую твоё предубеждение в отношении меня. Вон, и шер кузин волчихой смотрит, — он рассмеялся, обнажая редкой безупречности зубы: — Монашенка, а глядит волчихой! — и пальцем погрозил. — А что, в самом деле, нет у вас гитары? Душа моя музыки требует!

— Ты, Юра, не в таборе. Здесь ни романсов, ни плясовых, — сказала Мария.

— В самом деле? Какая жалость! — он поднялся и вдруг хлопнул себя по лбу. — А фортепиано-то я у вас видел! В библиотеке, не так ли?

Мария вздрогнула. Библиотека была смежна с кабинетом Надёжина, и ей представилось, что Жорж непременно войдёт туда и увидит то, чего не следовало видеть ни единой душе.

А он уже и ринулся туда. Дёрнулась Мария следом — остановить — но Алексей Васильевич удержал её:

— Не препятствуйте ему, Марочка...

Из библиотеки раздались бравурные звуки заливчатской гусарской песни, которую Жорж любил распевать ещё в молодые годы. Мария немного успокоилась. В сущности, что особенного произошло? Для кузена всегда застолье без песни не застольем было. Что же удивительного в том, что он воспользовался фортепиано в отсутствии гитары?

В это время Ляля резко поднялась, поднесла ладонь к груди, взглянула больным взглядом на Марию:

— Прости, ма тант, но я больше не могу... Мне дурно... — она быстро прошла к библиотеке, окликнула мужа: — Жорж, у меня болит голова, я хочу уехать.

— В самом деле? — Жорж поднялся от инструмента и покачал головой: — Это всё вино, моя дорогая. Молодой, хрупкой женщине нельзя пить его в таких количествах. Это нехорошо.

— Жорж, я хочу уехать, — повторила Ляля дрожащим голосом.

— Что ж, если ты настаиваешь... Мари, Алексей Васильич, простите нас. Мы вынуждены откланяться. Ждём вас с ответным визитом!

Надёжин учтиво поклонился в ответ, но когда Жорж хотел обнять и облобызать его, отстранился:

— Идите, Юрий Алексеевич, и довершите, что начали...

Кузен недоумённо пожал плечами, а Мария похолодела, разом поняв, что была вся эта вечеря, этот неожиданный визит, это видимое радушие.

Едва гости ушли, Алексей Васильевич, сохраняя полную невозмутимость, обернулся к ней и сказал:

— А теперь, милая Марочка, нам предстоит очень много дел. Я благодарен вашему кузену — он, в сущности, послужил на сей раз не им, а нам. Они сделали бы своё дело и без него, но без него мы бы не узнали, что час уже близок.

— Господи, как же он мог... — ахнула Мария. — Он всегда был взбалмошным, несобранным, слабым... Но подлецом он не был!

— Марочка, если вы однажды стали на край ледяной горки, то никогда не сможете остановиться на середине, а неминуемо скатитесь вниз. Это аксиома. Мне жаль вашего брата и вдвойне жаль Лялю — она не

заслужила такой горькой участи. Однако, сейчас не время для разговоров. Закройте, пожалуйста, ставни.

Когда ставни были закрыты, началось быстрое и методичное уничтожение «следов преступления». Все ненужные записи, которые не были сожжены прежде, теперь навеки исчезли в огнеязыкой пасти печи, нужные же вкупе с несколькими фотографиями надёжно спрятаны в заранее приготовленном тайнике.

— Вам нужно уехать! — лихорадочно говорила Мария. — Немедленно! Пока ещё не поздно!

— Зачем? — пожал плечами Надёжин. — Мы же с вами знаем, что будет только то, что будет, а все волосы наши сочтены. Опасность надо встречать лицом к лицу, глаза в глаза, а не ждать, когда она нагонит тебя и ударит в спину.

Он казался совершенно спокойным, словно не о его жизни шла теперь речь. Подхватил недовольно урчавшую кошку, расположился на старой, скрипучей софе, пригласил мягко:

— Присядьте, Марочка. Давайте посидим немного перед дальней дорогой...

— Может, они всё-таки не придут?

— Они придут. И скоро. Признаться, я рад, что Миша теперь в Москве. Он, горячка, мог бы сделать какую-нибудь глупость. Худо будет, если теперь его выставят из института — он так надеялся, что ему позволят учиться. Как-никак он всё-таки не князь...

— Я сделаю всё, чтобы вас освободили... Ведь на вас ничего нет! Ничего не может быть!

— На меня есть главное — мысли. И не волнуйтесь вы так Бога ради. В наше время стыдно хотя бы раз не побывать в их гостеприимных объятиях. Это участь всякого порядочного человека.

— Но ведь вас могут отправить на Соловки... — выдохнула Мария страшное слово, обжигавшее губы.

— И там люди живут. И компания не самая плохая. Более двадцати епископов, учёные. И сколько ещё достойнейших людей! Успокойтесь, Марочка, прошу вас. Возможно, всё обойдётся ссылкой. Всё-таки серьёзных проступков за мной, действительно, не числится.

— Тогда я поеду за вами, — тихо сказала Мария, чувствуя, что не должно так говорить, но и не имея силы в этот момент выдерживать установленные грани. Ей хотелось прижаться к нему, обнять, а она не смела коснуться даже его ладони.

— Я об одном вас прошу, Марочка. Не просите за меня перед товарищем Диром... Может, это и гордыня, но я не хочу иметь таких ходатаев за себя, как он. А теперь давайте помолимся...

Алексей Васильевич не ошибся. Они пришли в ту же ночь. Словно тати... Обвинений не предъявляли — это, вообще, было стилем ГПУ. Человека арестовывали, ни в чём не обвиняя, отчего положение его становилось ещё более тяжёлым. В таком умолчании чудится что-то зловещее, несчастный не знает, откуда ждать удара, и, вот, наконец, он наносится — следовательно объявляет фантастическое обвинение, от которого арестант окончательно начинает ощущать себя в страшном сюрреалистическом сне, не поддающемся разуму.

Обыск продолжался до утра. Сперва миллиметр за миллиметром исследовали кабинет, но ничего не нашли, кроме нескольких «крамольных» книг, немедленно изъятых. Затем перевернули вверх дном остальную дом, уже не столько ища что-то конкретное, сколько наводя положенный в таких случаях хаос. Перетряхнули даже детские постели. Маша и Саня испуганно наблюдали за происходящим. Саня жался к Марии, а Маша, уже достаточно взрослая для того, чтобы вполне понимать, что к чему, держалась нарочито спокойно, с вызовом, бросала на гэпэушников полные презрения и гнева взгляды. Но, по счастью,

молчала. И, угадала Мария, не из осторожности, а просто чтобы не сорваться в слёзы, сохранить достоинство. Кусала бедная девочка губы до крови, но не плакала.

Наконец, старший гэпэушник, довольно молодой человек с рыжеватыми усами скомандовал:

— Следуйте за нами!

— Вы позволите мне проститься с детьми?

— У нас мало времени!

— Да будьте же людьми! — вмешалась Мария. — Дайте детям попрощаться с отцом.

Милостивый и одновременно раздражённый взмах руки. Маша и Саня подошли к Надёжину, и он крепко обнял их, расцеловал, перекрестил по очереди троекратно.

— Не грустите, милые, я скоро вернусь. А пока слушайте тётю Мари...

Он уже вышел из дома, неся в руках собранный Марией узел, когда Саня догнал его и протянул ему рубль — все свои детские сбережения. Алексей Васильевич легко поднял сына, поцеловал его в макушку и, шепнув что-то, отпустил.

Захлопнулась дверца воронка, заурчал мотор, и, вот, скрылся без следа вестник беды... Маша, наконец, заплакала, протяжно завывая. Мария погладила её по плечу:

— Он вернётся... Он обещал...

Ей казалось, что силы оставили её, что вся жизнь в единый миг опустела, рухнула. Однако, отчаяние продолжалось недолго. Отчаяние приходит тогда, когда нет надежды и ничего нельзя сделать. Но на руках Марии остались двое малолетних детей. И студент Миша, которому тоже нужна помощь. И самому Алексею Васильевичу, как никогда, теперь помощь нужна. И от кого же ему ждать её?

С того дня потянулись долгие недели хождений по кабинетам, просьб, стояний в очередях и редких свиданий. Сперва на Лубянке, теперь — здесь... Сегодня как раз очередное выпало. И снова до боли в глазах вглядывалась Мария в полумрак, старалась разглядеть между ненавистными жердями лицо, определить, здоров ли? Не осунулся ли? Как будто бы нет: всё также спокоен, словно не висел над ним Дамоклов меч.

— Что они говорят? Что? — изо всех сил напрягала Мария слух, стараясь отгородиться от сонма чужих голосов, задававших похожие вопросы и отвечавших на них...

— Говорят, что я замечен в контрреволюционных высказываниях, что храню в доме запрещённую литературу и прочую чепуху. Не бойтесь, Марочка, за это пока что не расстреливают. Я полагаю, приговор будет вынесен уже скоро. Так мне сказал мой инквизитор.

— Вы ещё можете шутить...

— А что нам остаётся? Шутить и молиться — самые верные способы сохранять душевное равновесие. Не волнуйтесь же. Я прекрасно себя чувствую, всё хорошо. Расскажите лучше, как дома? Как дети?

— Они также здоровы. Очень по вам скучают. Особенно, Маша... — Мария стала торопливо рассказывать всё, что могло порадовать Алексея Васильевича. Стоя в очереди, она уже много раз повторила это про себя, твёрдо решив ничего не говорить о том, что который день тяжёлым камнем лежало на душе.

Две недели назад всё так же ночью арестовали Мишу. Бедный мальчик держался прекрасно и, видимо, ощущал себя героем. Мария с ужасом представляла, что на допросе он в сознании этого героизма неминуемо наговорит лишнего, и тогда не миновать беды. Нужно было, во что бы то ни стало, спасти мальчика, и она

решилась. Алексей Васильевич взял с неё слово не просить заступничества Константина Аскольдова за себя, но о Мише он ничего не говорил. И Мария, не откладывая, бросилась к Константину Кирилловичу. Тот принял её в своих пятикомнатных апартаментах с видимым благодушием и даже с ностальгией вспомнил «счастливые дни юности» в Глинском. Выслушав суть дела, обещал похлопотать. Правда, Мария усомнилась, станет ли... Чрезмерная щедрость на слово слишком часто оборачивается полным отсутствием дела. А уж кому быть более щедрым на слово, нежели придворному стихослагателю?

Язык упрямо не поворачивался сказать Алексею Васильевичу об аресте сына. Но скрывать не вредно ли? Что если следователь скажет ему сам, оглоштит таким ударом? Не лучше ли, чтобы он был готов отразить его? Терзалась Мария невозможностью принять решение. Не хватало духу самой нанести удар. И утекали бесценные минуты, и уходила беседа в другое русло.

— Если вас отправят в ссылку, мы поедem за вами... Может, оно и лучше? Поселимся где-нибудь в глуши, в медвежьем углу, подальше от центра...

— А лучше сразу в тундре, не правда ли, Марочка?

Как всегда мгновенно пролетело время свидания, и, едва разбирая окружающее, Мария вышла на улицу. Некоторое время она стояла неподвижно, оправляя пуховый платок, покрывавший голову, пытаясь снова настроить мысли на логический лад, машинально рассматривая ненавистное серое здание.

Три года назад Москва была разбужена доносившимися из окон этого здания криками:

— Требуем Калинина! Нам не нужен Катанян²⁸!

Так начиналось знаменитое восстание заключённых Бутырской тюрьмы, годами находившихся в заключении без предъявления обвинений. Ответом на крики стали

аплодисменты запрудившего окрестности народа. Увы, через два часа два специальных полка ГПУ подавили восстание, сразу расстреляв его зачинщиков, а прочих избив шомполами и оставив замерзать в камерах, в которых предварительно выбили стёкла...

С той поры попыток восстаний в советских тюрьмах больше не было...

За время, проведённое внутри, на улице поднялась метель, и, зачерпнув пригоршню чистого снега, Мария натёрла им лицо.

Нужно было ехать на Арбат, к Ляле, с которой договорились о встрече накануне. Разумеется, не позвала племянница в новую квартиру, а, как прежде бывало, в театр. Так и лучше: совсем не хотелось Марии переступить порог дома Жоржа, да ещё с риском встретить его самого...

В воскресный день в театре было многолюдно — шла подготовка к вечернему спектаклю. Однако, свободный уголок нашёлся без труда. Ляля выглядела ещё более уставшей, чем в недавний злополучный вечер. Даже большие, очень не идущие ей очки не могли скрыть набрякших под глазами мешков.

— Как Алексей Васильевич? — спросила она, скользя глазами по окружающим предметам.

— Слава Богу, — уклончиво отозвалась Мария, подбирая слова, чтобы начать нелёгкий разговор. — Скоро должны вынести приговор...

Ляля молчала, теребила край рукава тёмного, неброского платья.

— Прости меня, Ляля, за то, что я тебе сейчас скажу, но не сказать я не могу... Я, должно быть, скоро уеду, а ты должна знать... Когда в следующий раз твой муж вдруг возымеет желание взять тебя с собой, собираясь с визитом к общим знакомым, найди способ не ходить.

Племянница резко подняла голову, впервые посмотрела прямо на Марию страдальческим взглядом,

спросила отрывисто:

— Что ты хочешь сказать, ма тант?

— Ты поняла, *что*, — тихо отозвалась Мария.

— Нет, нет... — Ляля нервно затрясла головой. — Ты не можешь подозревать его! Это лишь несчастная случайность, совпадение... Этого не может быть!

По отчаянности тона племянницы Мария поняла, что она сама обо всём догадывалась, но не желала верить, всё ещё любя мужа, а потому так больно ей было, что её догадка нашла подтверждение, и она тщетно искала обратного.

— Ляля, мне тоже тяжело принять эту правду. Жорж мне не чужой. Для нас с твоей матерью он был любимым младшим братом, анфан террибль, в котором мы не чаяли души... Но нельзя закрывать глаза на очевидное.

— На что же?

— Твой муж приехал к нам с одной единственной целью — спровоцировать Алексея Васильевича на откровенный разговор, на высказывания против власти. А заодно рассмотреть, где хранятся в нашем доме крамольные вещи... Он и к фортепиано отправился только потому, что из библиотеки один шаг до кабинета. И он успел туда заглянуть. Когда опричники пришли, то отправились напрямиком в кабинет и первым делом сунулись туда, где должны были быть интересующие их предметы. И были разочарованы, не найдя их.

— Но Жорж совсем недолго находился в библиотеке... И он был сильно нетрезв...

— Он был достаточно трезв, чтобы рассмотреть всё нужное. Ляля, ты можешь не верить мне. И дай Бог, чтобы я ошиблась. Но прошу тебя, не сопровождай более Жоржа с визитами. Он ведь берёт тебя для ширмы, и ты невольно помогаешь ему. Не делай этого,

пожалуйста. И прости меня за то, что я всё это тебе сказала.

Руки Ляля мелко задрожали. Она встала, нервно поправляя беспрестанно съезжающие на кончик носа очки:

— Я не хочу больше слышать ничего подобного! И никогда не поверю в это! Прощай, ма тант... Поклон Алексею Васильевичу...

Мария с горечью посмотрела вслед племяннице. Много бед и горестей на белом свете, но много ли найдётся положений более трагичных? Может, и не стоило ей вовсе говорить... В сущности, могла ли быть реакция Ляли другой? При её-то самозабвенной любви к мужу? Она и перед лицом неопровержимых улик будет доказывать его невиновность. Вот, только сама раздвоенность такую долго ли вынесет? И теперь нервы её на пределе, а что будет дальше? И некому руки ей подать, некому вырвать из того кошмара, в котором она живёт. Да и как вырвать, если сама она того не желает?

Разбитой и подавленной возвращалась Мария домой. Последнее время вместе с детьми она жила в гостеприимной семье Сергея. Художник Пряшников на это время перебрался в Посад, работая там над зимними этюдами. Между тем, под его кровом обрели пристанище и другие, весьма необычные, постояльцы...

Вот, уж где не гадала Мария встретить Елену Александровну, так это в Москве, в очереди к окошку передач! И если в очереди — вполне естественно (где ещё добрым людям быть?), то в Москве — диво-дивное. Не сразу узнала Мария бывшую фрейлину Её Императорского Величества в пожилой, бедно одетой даме, когда та неуверенно окликнула её. Лишь всмотревшись в смутно знакомые черты, догадалась, кто перед ней.

— Господи, Елена Александровна, какими судьбами вы в Москве? И что с Сергеем Александровичем?

А ведь и то, пожалуй, чудо Божие: скольких невинных, и даже с революционным прошлым за годы лихолетья в распыл пустили, а самого беспощадного врага, того, кто на подступах разглядел грядущего Зверя и ударил в набат, того, чья книга становилась для владельца смертным приговором, доселе оставили в живых...

Сергей Александрович Нилус впервые был арестован лишь на седьмой год Советской власти, дотоле живя, хотя и не без лишений, но всё же достаточно неплохо в сравнении со многими. Казалось бы, одной этой фамилии довольно было для приговора, но нет: через полгода сидения в Киевской тюрьме он был отпущен на свободу. Правда, ненадолго. Не прошло и года, как последовал новый арест и этап в Москву, на Лубянку.

По только им известным причинам большевики не желали расстреливать своего кровного врага. Но явно желали, чтобы тюрьма справилась с этой задачей. Поэтому старого философа посадили в крохотную одиночку, где нечем было дышать, протестуя против чего, он объявил голодовку. Но и тут не пожелал Бог призвать Своего раба. Нилус был отпущен. В назначенный день Елена Александровна до глубокой ночи ждала его у ворот тюрьмы с шубой, но не дождалась и, решив, что власти изменили своё намерение, уехала. Лубянское начальство словно только этого и дожидалось. Посреди ночи Сергею Александровичу объявили, что он может покинуть тюремные стены. Почувствовав подвох, Нилус потребовал письменное разрешение. Ему выдали такое и выпустили на улицу. Стояла вьюжная февральская ночь. Ветер пронизывал не имевшего тёплой одежды философа насквозь, но, однако, и здесь он не совершил необдуманного шага. Присмотрев стоявшие на крыше пулемёты, он догадался, что при

малейшем движении вдоль тюремных стен его попросту расстреляют, как беглеца.

На счастье, мимо ехал извозчик.

— Братец! — окликнул его Нилус, — провези меня через пару кварталов. Меня выпустили из тюрьмы, денег у меня нет...

Москва ещё не оскудела сердечными людьми. И извозчик, пожалев истощённого заключением, продрогшего старика, бесплатно довез его туда, где жила Елена Александровна. К чудесному освобождению прибавилось и ещё одно чудо: несмотря на физическое истощение и путешествие зимней ночью без шубы, Нилус даже не простыл.

В доме, где жила Елена Александровна, места для её мужа не нашлось. Пришлось ютиться по разным углам, навещая друг друга на трамваях. Так продолжалось до тех пор, пока профессор Кромиади, узнав от Марии об этой трудной ситуации, не настоял на том, чтобы Нилусы поселились у него до тех пор, пока не получат разрешение покинуть Москву...

Некогда просторная квартира Пряшникова, делимая им в порядке уплотнения с семейством Сергея, окончательно превратилась в коммуналку. Самую маленькую комнату, более похожую на чулан, занимал профессор Кромиади, тем самым имевший в доме привилегированное положение обладателя отдельной комнаты. Две спальни были поделены между мужской и женской половинами дома: одну занимали Сергей с сыном и Миша, другую — Лидия с дочерью и сиротка Тая. Гостиная поступила в распоряжение Марии с младшими детьми. Новым же постояльцам досталась столовая...

И прежде немало гостей бывало в этом доме, а с появлением Нилусов их число резко умножилось. В гостиной постоянно сидели какие-то люди, знакомые и впервые видимые. Приходили даже прежние сановники,

и так странно было слышать позабытые обращения: «Ваше сиятельство», «Ваша светлость»... И никого не смущало, что обладатели этих громких титулов нарядами больше походили на обитателей ночлежек. Да и разве в нарядах дело? Какая важность, что та хрупкая старушка смущённо прячет руки, потому что последние перчатки её давно прохудились? Она и в последних отрепьях не утратит своего достоинства, останется русской княгиней до мозга кости. Так же как и тот граф, что всё время прячет одну ногу за другой, потому что на ней у него старый башмак, оторванная подошва которого привязана грязным платком... Он и в этом нищенском облики останется тем, кем был всегда — белой костью. И что-то глубоко трогательное было в том, как эти обобранные до нитки старики наперекор всему хранили свой мир, не пренебрегая ни титулами, ни манерами, ни иными «мелочами».

Мария редко присоединялась к общей беседе, большую часть времени проводя с детьми. Она жалела, что Алексей Васильевич не мог принять в ней участия — как бы счастлив он был снова видеть Сергея Александровича! А тот уж вскорости собирался покинуть столицу. Он, наконец, получил соответствующее разрешение и теперь долечивал повреждённую при случайном падении руку и готовился к отъезду в Черниговскую губернию.

Несмотря на нередкие пока ещё снегопады, весна уже вовсю теснила зиму, и даже в городской суете и чаду явственно чувствовалось её лёгкое дыхание. Пройдя несколько кварталов пешком, Мария изрядно взопрела и чувствовала лёгкий озноб. «Не доставало только простудиться теперь», — подумалось досадливо. Осторожно поднявшись по скользкой лестнице без перил, она позвонила в дверь, и ей в тот же миг открыла сияющая Маша, выпалившая с порога:

— Мишка вернулся!

Мария наспех сняла калоши и прямо в пальто бросилась в столовую, где в окружении многочисленных домочадцев и приключившихся гостей сидел живой и здоровый Миша, уплетавший постные, но жирные щи, приготовленные Лидией. Само собой, мальчика засыпали вопросами о том, что пришлось ему пережить, и тот с охотой отвечал, бравируя собственной отвагой, чувствуя себя, по-видимому, ещё большим героем, чем две недели назад. Первая ступень школы мужества была им пройдена — он побывал в тюрьме...

Миша приехал домой совсем недавно. Его просто отпустили. И он просто сел на трамвай и приехал. Неужто Константин Кириллович похлопотал? Что за чудо чудесное! Хотя если второй раз самого непримиримого врага своего выпустили, то уж мальчика — почему бы нет?

Утолив голод, мальчик улёгся спать и проспал, не тревожимый никаким шумом, до глубокой ночи. Услышала Мария чутким слухом, как прокрался он по коридору на кухню, и, стряхнув сон, последовала за ним. Среди дневного многолюдья не было возможности и слова сказать, а поговорить было о чём.

Появлению крёстной Миша не удивился, словно ждал её. Он сидел верхом на стуле, длинный, немного смешной в своих тесных, коротких брюках и фуфайке, из которых вырос ещё года три назад, заросший щетиной и от того непривычно взрослый. А ведь вроде совсем недавно пытался вскарабкаться по ней розовощёкий карапуз... Как всё-таки стремительно бежит время.

— Что они сказали тебя? — чуть слышно спросила Мария крестника, плотнее запахнув старый капот.

— Они не предъявляли никаких обвинений. Всё спрашивали об отце, о его друзьях.

— А что ты?

— Сказал, что не имею понятия, о чём они говорили, так как до этих разговоров меня никогда не допускали. Правду сказал.

— Что ещё?

Миша молчал.

— Так что же?

— Они мне предложили подписать документ о моей лояльности Советской власти.

— О лояльности?

— Да, так он называется...

— И ты подписал?

— Я хотел... Но они объяснили... — Миша снова замялся. — Объяснили, что, если я подпишу, то стану их. Буду обязан выполнять их задания. И никогда не буду свободен.

— Тебе предложили стать доносчиком, — подытожила Мария.

— Получается, так.

— И ты?

— Я сказал, что слишком молод для такой работы, слишком плохо разбираюсь в людях и, вообще, по мнению отца, глуп, как полено, — неожиданно весело улыбнулся Миша.

— И они остались удовлетворены твоим ответом?

— Нет. Они сказали, что мы вернёмся к этому вопросу, когда я поумнею. Сказали, что глупым молодым людям ни к чему занимать места в советских институтах...

— Понятно, — Мария глубоко вздохнула, положила руку на плечо Миши. — Ты всё правильно сделал. И отец будет гордиться тобой. Они, должно быть, снова предложат тебе, но ты ничего и никогда не подписывай. Даже под страхом смерти своей или близких. Запомни, не в нашей власти изменить то, что предопределено Богом. Если твой или чей-то час придёт, то не потому, что так захотело ГПУ, и уж тем

более не потому, что мы не отреклись от Истины, а потому что так судил Бог. Сроки нашей жизни от нас не зависят, но от нас зависит, будут ли нам вслед смотреть с уважением или с презрением, поклонятся ли в память о нас кресту на безымянной могиле или плюнут на роскошную гробницу... Постарайся жить так, чтобы плюнуть на твою могилу не мог никто. А всё остальное оставь на волю Божию.

— А если они скажут, что эта бумажка — цена жизни отца? — тихо спросил Миша.

Мария вздрогнула, на мгновение представив себя перед таким выбором, и тяжело ответила:

— Даже в этом случае. То же самое сказал бы тебе и отец.

Миша понурил голову и после паузы глухо спросил:

— А ты бы смогла?..

— Не спрашивай об этом, прошу тебя... — Марии стало душно, и она приоткрыла створку окна, вдохнула свежий весенний воздух. — Ничего нет тяжелее такого выбора, мой милый. Не дай Бог оказаться перед ним. Но помни всегда: ложью, отступничеством ничего и никого спасти нельзя. На какой-то краткий миг может возникнуть иллюзия, но она быстро развеется, и окажется, что мы не только ничего не спасли, но погубили и себя, и тех, кто нам верил. Спасает один Бог, а мы можем лишь помогать ему в этом, будучи проводниками Его воли. А нельзя помогать Божьему делу, вступая в сговор с лукавым...

Как можно твёрже высказала она крестнику неоспоримую истину, а сама содрогалась при этом. И жёг душу заданный им вопрос. А сама — смогла бы? Устояла бы перед соблазном спасти жизнь самого дорогого на свете человека ценой отступничества? Или во имя любви к человеку от Бога отступилась бы? Страсти земной принесла бы в жертву блаженство небесное? Господи всемогущий, избави когда-либо

оказаться перед выбором таким! Не искушай слабой души! Не погуби!..

Глава 2. Полынья

Изверг уехал третьего дня, и с той поры вызревало в аглаиной душе столько раз лелеемое, но так и не дававшее всходов решение — порвать. Раз и навсегда покончить с изводящим положением. Сколько раз, вновь уступив ему, истерзанная, словно оплёванная, представляла она в рассветные часы, глотая слёзы, как собирает вещи, берёт Нюточку и уходит прочь из этого дома. Навсегда... И ничего невыносимее не было, как если эта счастливая грёза оказывалась прервана проснувшимся извергом.

Замётов хотел иметь детей. Это желание приняло навязчивый характер с той поры, как он узнал, чью дочь воспитывает. Свой ребёнок нужен ему был теперь не просто так, а чтобы сквитаться с соперником. Но Аглая решила твёрдо: никаких детей, кроме Нюточки, у неё не будет. Их от неё изверг не дожждётся. Её скромных познаний в медицине было вполне достаточно для этого. Правда, однажды они всё-таки подвели, и пришлось тайком прибегнуть к помощи бабки-повитухи. Как узнал об этом Замётов, можно было лишь догадываться, но бешенству его не было предела. Он избивал её несколько дней подряд с такой безумной жестокостью, что Аглая была уверена: на этот раз он точно убьёт её. Но он не собирался убивать и бил, несмотря на бешенство, расчётливо, так, чтобы причинить как можно большую боль, но не искалечить и не изуродовать.

— Мне ты живая нужна, так что убивать я тебя не стану, хотя ты меня об этом станешь умолять! — пригрозил тогда изверг.

Но она не стала умолять. Ни о смерти, ни о снисхождении. Она терпела, и гнев Замётова сошёл на

нет.

Теперь Аглая официально носила его фамилию. Он настоял на этом, чтобы утвердить её положение. Что ж, невелика беда была. Роспись в советском учреждении — что значит? Тот же самый грех и блуд, только заверенный властью. Лишь венчание имеет значение, но ему не бывать. Хотя именно того требовал от неё отец Николай... Требовал, кивая на Нюточку: одной рукой дитя в храм водишь, а другой — какой пример детской душе даёшь?

Кабы не Нюта, так Аглая бы и порога церковного не переступила. Постыдилась бы, не нашла сил. Но девочку нельзя было растить вне церкви, вне Бога. Родион Николаевич никогда бы не допустил, чтобы его дочь выросла безбожницей. Но как прививать ребёнку церковность, так далеко отпав от неё?.. Пришлось, перебарывая себя, идти к отцу Николаю, молить о совете и помощи. Батюшка уже очень стар был и повидал на своём веку довольно людских страстей и мытарств. Слушал он с пониманием, смотрел и говорил приветливо, ласково. Сперва Але легче становилось от беседы с ним. Вот, только не благословлял старец девочку от родных таить. И жить с мужем невенчанной тоже не благословлял. И всё тяжелее становились душеспасительные разговоры. Плакала Аля, каялась, зарекалась изменить свою жизнь, но оставляла всё, как есть.

Несколько раз в покаянном порыве она даже начинала писать письмо Марье Евграфовне, но затем рвала его парализованная мыслью, что «монашка» приедет и заберёт ребёнка. Несколько раз думала смириться и обвенчаться с извергом — он бы пошёл на это, чтобы вернее удержать её. Но стоило представить себя с ним перед алтарём, как понималось: никогда не повернётся язык перед Богом клятву давать...

А отец Николай всё твердил своё. Вспыхивала Аля гневно:

— Что вы знаете о моей душе?! Что понимаете?! Не смеете вы судить меня!

— Не смею, — смиренно отвечал старец. — Судить нас с тобой Господь будет.

Батюшка умер полгода назад. Умер, завещав покончить с ложью... А вскоре Аглая поняла, что медицина подвела её вновь. Но самое худшее было в том, что это понял и Замётов, пригрозивший ледяным тоном:

— Если ты посмеешь сделать то же, что в прошлый раз...

— До смерти забьёшь? — спросила Аля.

— Нет, — изверг нехорошо усмехнулся. — Просто ты больше никогда не увидишь своей девчонки. И никогда не узнаешь, что с ней стало. Кроме одного, что жизнь её превратилась в ад.

— Ты сможешь так поступить с ребёнком?

— Почему нет? Если ты сможешь ребёнка убить? Ты не оставила мне выбора. Поэтому запомни, что я сказал, и веди себя разумно. И тогда все будут здоровы и счастливы.

Всё это время Замётов следил за нею, как коршун, при этом став исключительно внимательным и предупредительным. Но, вот, он уехал в срочную командировку, и Аглая поняла — дольше ждать нельзя. Нужно бежать и немедленно. Пусть этому нежеланному и почти ненавистному ребёнку суждено появиться на свет и быть постоянным напоминанием о своём отце, но, по крайней мере, самого его больше не будет рядом. Пусть будет по слову отца Николая. По совету брата Серёжи. Она поедет в Москву и всё расскажет Марье Евграфовне. А та не разлучит её с Нюточкой. Хотя бы из жалости к девочке не разлучит, не отнимет у неё мать. А потом можно уехать ещё в какой-нибудь город

подальше, где извергу не удастся их найти... Там жизнь, наконец, станет иной. Честной. Аля будет трудиться, не покладая рук, откажется от всех своих желаний, подобно Марье Евграфовне — может, тогда хоть что-то оживёт в её омертвевшей душе...

Вещей было немного. Все их Аля уложила на салазки, поверх усадила Нюточку и, глубоко вздохнув, тронулась в путь. Последние два года они жили за рекой, в отдельном доме, бывшей некогда чьей-то дачей. Замётов любил это место за тишину и малолюдность. Да и открывавшийся из окна вид не мог оставить холодной даже прожженную и ожесточившуюся душу.

Сойдя к реке, Аля ненадолго задумалась. Первые весенние лучи уже плавили снег и лёд и, хотя до ледохода как будто было ещё далеко, но река могла преподнести неожиданности. Делать, однако, было нечего — мост располагался слишком далеко, и идти до него пешком несколько не хотелось. Агтя ступила на лёд и, тяжело дыша от натуги, пошла к другому берегу. Она успела дойти до середины реки, когда услышала позади надрывный крик:

— Стой! Стой, проклятая!

Аля оцепенела и не решалась оглянуться, не желая верить своим ушам.

— Мама, там дядя Саня! — пискнула Нюта.

Вернулся раньше на три дня, словно почувствовал... Теперь не миновать беды!

Агтя с отчаянием рванула салазки, ускорила шаг.

— Стойте! Стойте обе! — неслось сзади.

Аля оглянулась через плечо. Замётов, спотыкаясь и падая, бежал за нею по белоснежной глади, неумолимо настигая.

— Аня! Аня, вернись! — кричал он уже Нюточке. И та беспокойно ёрзала:

— Мама, зачем мы уходим от дяди Сани?

Она никогда не видела, как «дядя Саня» избивает «маму». Он выбирал для этого время, когда её не было рядом. А Аглая не подавала виду, чтобы не травмировать детскую душу. И эта душа привязалась к извергу, показывавшему ей звёзды...

На лбу у Али выступил пот, но она, не желая смириться с неизбежным, продолжала идти, щуря глаза от бьющего в них по-весеннему яростного солнца. Внезапно сзади раздался странный гул и треск, а затем пронзительный вопль Замётова.

Аглая резко обернулась и вздрогнула. Река всё-таки не выдержала солнечных стрел, разверзла чёрный зев-полыню, и в неё-то угодил изверг, и теперь отчаянно бился в ней, взывая о помощи. Он терял силы, тонул, тянул руки к Але, моля о спасении, а она словно окаменела. И не перекошенное от страха лицо погибающего видела она, но не менее перекошенное — насильника, терзавшего её в ночной темноте... Это видение затмило всё. Не было больше ни солнца, ни ослепительного снега, ни полыни, ни молящего взгляда, а только та непроглядная ночь, только тот безумный взгляд, и та боль, никуда не ушедшая.

— Будь ты проклят... — неслышно прошептали губы, и сердце зашлось от ненависти.

— Мама! Он же утонет! — взвизгнула Нюта и заплакала. — Его надо спасти!

Этот детский крик заставил Алю прийти в себя и, наконец, увидеть погибающего человека. Она кинулась к полынье, улеглась на лёд, чувствуя, как он затрещал и под ней, протянула Замётову палку, которую прихватила с собой в качестве дорожного посоха:

— Хватайся!

Изверг попытался уцепиться за палку, но окоченевшие руки уже мало слушались его. Он едва держался на поверхности, захлёбывался. Аля подалась вперёд.

— Уходи! Провалишься сама! — прохрипел Замётов.

Но она не слушала. Ненависть куда-то исчезла. Нужно было спасти человека, и она, уже сама вымокшая, протягивала ему руки, тянула его к себе.

— Оставь меня! Оба же потонем! — кричал изверг, но при этом инстинктивно хватался за палку, за протянутую аглаину руку.

— Значит, судьба нам — в одной проруби сгинуть...

Она всё-таки вытянула его. И, едва живой, окоченевший, он, подобно раку, отполз от кромки полыньи, замер недвижимо. К нему кинулась заплаканная Нюточка, стала обматывать его руки своим шерстяным платком, что-то говоря и зовя Аглаю.

Аля с трудом поднялась на ноги, чувствуя сильнейшую боль в области живота.

— Нюта, отвяжи наши вещи и сбрось их на снег, — велела она. — Вернёмся за ними после... А на салазках отвезём домой дядю Саню...

Вдвоём они погрузили Замётова на салазки и побрели назад. В глазах у Аглаи было черно, она едва переставляла ноги и до крови искусала губы от нестерпимой боли. Им навстречу уже бежали несколько баб и мужиков, увидевших неладное. Их силуэты расплывались в глазах Али, голоса слились в один непонятный гул. Она застонала и, скрючившись от боли, повалилась на лёд...

Глава 3. В аду

Который день ярилось растревоженное весной море, воевали друг с другом расколотые льдины, сталкивались с таким грохотом, точно били шестидюймовки. Но, вот, приутихло зловеще, и поползла серой пеленой беспощадная шуга. И бывалый рыбак не рискнёт выйти в море в шугу, зная, что она не выпустит, закружит и отправит на дно. Но жадность лишает людей разума настолько, что с ним утрачивается и самый примитивный инстинкт — самосохранения...

По Белому морю шли белухи — почти истреблённые белые тюлени или морские коровы, достигавшие весом ста пудов. За такой добычей жадный и азартный охотник в любую пучину бросится! А товарищ Сухов, один из самых злобных сторожевых псов в лагере, прославившийся тем, что после пьяной оргии расстрелял картечью Распятие, таким и был. И потому, не считаясь с погодой, ринулся в море, взяв с собой ещё трёх человек. И, вот, закружило лодчонку их, мелькала она, неуправляемая, в серой мгле, затираемая, готовая уйти на дно.

С берега за «кораблекрушением» наблюдало немалое число зрителей: монахи, простые заключённые, охранники...

— Пропадут их душеньки, — покачал дрожащей головой старик-монах, одетый в рваную шинель. — От шуги не уйдёшь.

— На всё воля Божия! — отозвался другой, помоложе.

— Туда и дорога, — чуть слышно бросил Нерпин, сплюнув сквозь прореженные цингой зубы. Родион душевно согласился с ним, следя за тонущим баркасом.

— Что же они выплыть не могут?

— Шуга если кого в себя приняла, напрочь не пускает.

— Что же, не вырваться им? — спросил следивший за происходящим в бинокль охранник.

— Никак, — мотнул головой старик. — Не бывало такого случая, чтобы из шуги кто вырывался.

Монахи закрестились, кое-кто прошептал молитву.

— Да... — чекист отнял бинокль от глаз. — В этой каше и от берега не отойдёшь, куда там вырваться. Амба! Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход!

— Ну, это ещё как Бог даст, — слышался негромкий, спокойный, полный внутренней силы голос. К берегу подошёл невысокий, статный рыбак с породистым, одухотворённым лицом, побелевшей окладистой бородой и волнистыми русыми волосами.

— Что ещё за глупец? — ощерился Нерпин.

— Умолкни, это владыка Иларион, — одёрнул его Родион, сразу узнавший архиепископа Верейского.

— Да хоть сам патриарх, чёрт его возьми! Что он делает?!

Владыка явно решил спасти погибающих. Обведя светлыми, зоркими глазами собравшихся, он спросил всё так же негромко, но твёрдо:

— Кто со мной, во славу Божию, на спасение душ человеческих?

— Где он людей-то там увидел? — продолжал шипеть Нерпин. — Собакам собачья смерть! И не найдётся дураков, чтобы на смерть за них лезть!

Добровольцы, в самом деле, не спешили вызываться. Но, вот, выступили двое монахов, готовых пуститься в опасный путь. Владыка продолжал выглядывать в толпе помощников, словно вопрошая глазами: что же, неужто удалось им умертвить ваши души, заменить в них Божий глас лагерным неписанным

законом? Этот взгляд, эта решимость архиерея броситься в пучину во имя спасения несчастных, хотя бы они были и злодеи, так поразила Родиона, что он инстинктивно подался вперёд. Нерпин повис было у него на рукаве:

— Не дурите, Аскольдов!

Но Родя отмахнулся. Ему казалось, что взгляд владыки обращён к нему, и не мог действовать иначе. Владыка едва заметно кивнул, поблагодарил иконописными глазами и скомандовал добровольцам:

— Волоките карбас на море!

— Не позволю! — закричал чекист. — Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу!

— Начальство, вон, — кивнул владыка на чёрную точку в волнах, — в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Милости просим в баркас!

Охранник сразу утих и отошёл прочь.

— Баркас на воде, владыка! — доложил один из монахов.

— С Богом!

Владыка Иларион стал у рулевого правила, и лодка, покачиваясь, начала медленно пробиваться сквозь ледяные заторы.

Во многих сражениях пришлось побывать полковнику Аскольдову, но сражение с шугой иным из них давало изрядную фору. Короткий северный день быстро кончился, и над морем сгустилась ночная тьма, непроницаемая, ледяная, нарушаемая лишь зловещим треском шуги. И сквозь этот морок торил и торил путь маленький баркас, правимый святым человеком... Родион вспомнил шедшего по волнам Христа и Петра, ступившего навстречу Ему. «Малoverный, зачем ты усомнился?» Не усомниться! Самое главное и насущное! Не усомниться в Боге и в Его слугителе, стоящем у правила, и тогда никакая шуга не возьмёт...

Скрипел старый баркас, и, чудилось, вот-вот разлетится в щепы, смолотый льдинами, но Бог миловал. Монахи читали молитвы, Родион мысленно вторил им. Берега не было видно, даже тусклые огни его канули во мрак. Казалось, что лодка потеряла всякие ориентиры и плывёт неведомо куда. Но владыка был спокоен. Он откуда-то знал, куда вести свой крошечный «корабль».

Наконец, слышались голоса. Баркас Сухова был рядом. Полуживых людей, промёрзших до костей и отчаявшихся в спасении, удалось принять на борт баркаса, и, видя их благодарные слёзы, Родя подумал, что что-то глубоко правильное было в этом опасном путешествии. Конечно, Нерпин прав, и такая сволочь, как Сухов, годится только на корм рыбам, но ведь в лодке было ещё трое. И двое из них — не чекисты. Да и Сухов... Был ведь он некогда вахмистром в гусарском полку, верой и правдой служил, сражался на войне, а затем столь же ревностно стал служить власти новой, сменив крест на звезду... Кто знает, не станет ли для него это происшествие откровением, которое перевернёт его тёмную душу? Хотя и не верится...

До берега добрались лишь с первыми солнечными лучами. Никто из бывших на берегу не сомкнул в эту ночь глаз, не ушёл с пристани. И, должно быть, никогда на Соловках не случалось такого единодушия заключённых и чекистов. Встреча спасённых и спасителей стала общим торжеством. Последним было милостиво подарен выходной и улучшенная трапеза...

— Никогда не думал, что стану спасать чекиста, — сказал Родион, удивляясь сам себе.

— Если бы вы думали, то и не спасли бы, — устало улыбнулся владыка. — А вы послушали сердце. Слушайте его чаще, и Господь станет ближе.

— Владыка, исповедуйте меня! — попросил Аскольдов, второй раз за сутки повинуюсь сердечному

голосу. Что-то неизъяснимое магнитом притягивало его к архиерею-исповеднику и хотелось использовать выпавшее время на беседу с ним. Родион был измучен проведённой в море ночью. Не менее измучен был и владыка. Но иного времени могло не выдаться...

— Конечно, идёмте со мною, — мягкая рука архиерея коснулась плеча Родиона, и он последовал за ним в барак, опустевший на время ухода на работы прочих заключённых.

Об архиепископе Верейском на Соловках ходили легенды. Рассказывали, что его доставили на остров аккурат в день смерти Ленина. И когда узников выстроили для почтения памяти «вождя», владыка остался сидеть и, обращаясь к товарищам по несчастью, сказал:

— Представляете, какой нынче у бесов в аду праздник? Сам Ленин туда пожаловал!

В прошлом году его зачем-то перевели в Ярославскую тюрьму и лишь недавно вернули обратно с новым сроком.

Следуя за владыкой, Родион сам ещё до конца не знал, о чём именно хочет говорить с ним. Душа его не первый день пребывала в глубоком смятении, которое никак не удавалось рассеять. Только этим межумочным состоянием и возможно было объяснить нахождение в столь «прекрасном» месте, как СЛОН.

Родион Аскольдов всегда знал, что никакого примирения с Советской властью для него быть не может. И ни при каких условиях не может быть к нему, колчаковскому офицеру, прощения у большевиков. И ему нет и не будет места в Совдепии, где ничего кроме тюрьмы и стенки его не ждёт.

И тем не менее он решил вернуться... Помыкавшись в крошечной нищете русского Харбина, так и не получив известий от старых боевых товарищей, брошенных судьбой в Европу, Родион не находил себе

места. Притупившаяся во время постоянных боёв и отступлений тоска по дому стала нестерпимой. Здравый рассудок, говоривший ему более не пересекать границы Совдепии, стал бессилён перед голосом тоскующего сердца. Он не мог дольше жить, ничего не зная о судьбе родных, не имея возможности узнать.

А тут, как на грех, приключился приятель — Ганька Голощапов, разбитной, отчаянный малый из уральских казаков. Этот-то Ганька и уговорил Родиона вместе пробираться домой. Он продумал план и выправил липовые документы для употребления их на советской территории. Казалось, всё было разумно и не так-то сложно. И Аскольдов сломался. Не иначе, как помрачение нашло — наказал Господь за прегрешения.

Поначалу всё шло хорошо. Уже осталась позади необъятная Сибирь, и всё ближе становились родные края, но тут-то свободное путешествие было прервано и продолжилось уже под конвоем по несколько отличному маршруту.

Что стало с Ганькой, Родион не знал. Самого же его сперва доставили в Москву, на Лубянку, а после нескольких месяцев в её «гостеприимных» стенах отправили этапом на Соловки.

«Слава» СЛОНа была велика... О нём рассказывали много ужасов и боялись разве что немногим менее, нежели высшей меры. Однако, реальность превосходила любую молву.

Как наяву вставало теперь перед взглядом первое видение Соловков: в обрамлении величественных елей и крепостных стен, среди печальных, тускло сияющих в лучах рассеянного солнца маковок — чёрная, обгорелая громада изувеченного Преображенского собора с усечённой главой, над которой вместо креста водрузили, глумясь, алое полотнище...

Бесы во всю силу поругались над обителью Зосимы и Савватия, полностью разорив жемчужину Русского

Севера. Все деревянные здания монастыря были преданы огню, монахи частью уничтожены, частью направлены на принудительные работы в центральную Россию. Собранные за многие века сокровища «товарищи» поделили между собой, разграбив всё, включая оклады икон. При этом сами иконы были изрублены и пущены на дрова. Сокровища, не имеющие такой материальной ценности, были попросту сожжены. Так, древние книги и документы монастырской библиотеки послужили для растопки печей. Само собой, в полной упадок пришли и уникальные промыслы, прежде процветавшие в обители.

Первой ступенью ада стала «приёмка». Новую партию заключённых, доставляемых на остров на пароходе «Глеб Бокий», встречал вооружённый конвой во главе с начальником лагеря Ногтевым. Невысокого роста, одетый в куртку из тюленьей кожи и надвинутую на самые глаза фуражку, он был явно навеселе.

— Здорово, грачи! — гаркнул насмешливо и после паузы пояснил порядки: — Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская, а соловецкая. То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас — свой закон!

Суть закона Ногтев пояснил самыми нецензурными словами, при этом весьма пространно. Затем скомандовал:

— А теперь, которые тут есть порядочные, — выходи! Три шага вперёд, марш! — и, заметив возникшее в рядах недоумение, разъяснил: — Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-прочие... Выходи!

Осмотрев «порядочных», начальник скрылся в сторожевой будке. Началась перекличка. Заместитель Ногтева Васьков, помесь гориллы и борова, начисто лишённая шеи и лба, выкрикивал заключённых по фамилии, и те, миновав его и Ногтева, становились в

ожидании дальнейших приказаний за пристанью. Ногтев не упускал случая съязвить над проходившими «порядочными».

— Какой срок? — спросил он у древнего епископа, едва переставляющего ноги.

— Десять лет... — прошелестел в ответ старческий голос.

— Смотри не помри досрочно! А то советская власть тебя из рая за бороду вытянет!

Следом за духовенством настала очередь «контрреволюционеров» дефилировать мимо начальства. И тут забавы последнего приняли совсем не шуточный оборот... Выкликнутый Васьковым полковник Генерального штаба успел пройти ровным, чеканным шагом лишь до будки Ногтева и вдруг упал навзничь — откатилась в сторону барашковая шапка... В руках хозяина Соловков поблёскивал стальной ствол карабина...

Двоё малолеток оттащили за ноги тело — лысая голова полковника при этом подпрыгивала на замёрзших колдобинах — и проворно утянули его мешок и папаху.

— Аскольдов!

Кровь бросилась в голову. Никогда, даже в первом бою, не испытывал Родион такого страха. Страх, что мерзкая волосатая, красная, как клешня варёного рака, рука нажмёт толстым пальцем на курок и... И уже родионова голова запрыгает по колдобинам, и его вещи станут делить между собою малолетки. Даже не страх, но чувство глубочайшего омерзения, брезгливости объяло Аскольдова, но ему всё же достало самообладания, чтобы таким же твёрдым шагом, как и убитый, дойти до будки и... миновать её!

Выстрелов больше не было... Лишь одному или двум несчастным из каждой партии, избранным по

неведомой прихоти Ногтева, надлежало стать жертвами его охоты.

Так начиналось постижение земного ада. Когда-то, в гуще боёв, а затем в жутком плену Сибирского Ледяного похода Родиону не раз думалось: вот, это и есть ад! Но нет. Оказалось, что ад — это нечто иное.

Ад — это целое «государство», сведённое в пространство нескольких островов, с чёткой системой жизнедеятельности, со своей иерархией. В аду есть старшие демоны. Формально Ногтёв лишь второй из них, а выше — Глеб Бокий, но последний редко появлялся на острове, живя в столице. Следом за Ногтёвым в соловецкой иерархии шли эстонец Эйхманс, помешанный на парадах, в которых измученные зэки должны были маршировать перед ним, отдавая честь, покровитель уголовников Гладков, садист Михельсон, бороватая горилла Васьков, сумасшедший польский русофоб Смоленский...

Этот Смоленский так неистово ненавидел русских, что начинал трястись при одном слове — «Россия». Его излюбленным развлечением было избивание людей гнутыми толстыми дубинами, получившими название «смоленские палки»...

В безумной, свирепой жестокости его мог превзойти лишь Михельсон. Кровавый шлейф тянулся за этим уродливым существом из самого Крыма, где в двадцатом году он был правой рукой Бела Куна... Это они вместе с Розалией Землячкой прославились казнями десятков тысяч офицеров, солдат и мирного населения, а также чудовищными пытками. Крымскую резню, в конце концов, остановил Дзержинский: Куна объявили психически больным, а его подельника отправили продолжать почин на Соловки...

Сам Ногтёв прежде был помощником не менее оголтелого изувера — харьковского палача Саенко, лично пытавшего арестантов самими изощрёнными

способами. «Подвиги» тех лет не отпускали его донине. Ночами ему снились кошмары, и в пьяном бреду он кричал: «Давай сюда девять гвоздей! Под ногти, под ногти гони!»

Пьянство было образом жизни большей части начальства. Из столицы поездом им доставляли все возможные блага: водку и вина различных сортов, дорогую одежду, превосходную мебель... А каждый этап поставлял ещё и наложниц на любой вкус. Женщины отбирались чекистами на смотре, так, как в далёкие времена приобретали рабов и рабынь. Помощник Кемского коменданта Торопов учредил в лагере официальный гарем, постоянно пополняемый в соответствии с его вкусом и распоряжениями. У каждого чекиста было разом по несколько наложниц. Женщины делились на три категории: «рублевые», «полрублевые» и «пятнадцатикопеечные». Разумеется, выбор падал, прежде всего, не на уголовниц, а на «политических». Если кто-то из начальства желал «первоклассную» женщину, то бишь молодую контрреволюционерку, прибывшую в лагерь недавно, то просто командовал охраннику: «Приведи мне «рублевую»!» Потому порядочной женщине попасть на Соловки было страшно вдвойне. Здесь она нередко превращалась в бесправный предмет меновой торговли, переходящий из рук в руки. Особенно страшна была участь казачек, чьих мужей, отцов и братьев расстреляли, после чего они были сосланы. Их эксплуатировали наиболее беспощадно...

По лагерным правилам, двадцать пять женщин ежедневно отбирались для обслуживания красноармейцев 95-й дивизии, охраняющей Соловки. Солдаты могли безнаказанно насиловать арестанток, что на лагерном жаргоне называлось «прогуляться за проволоку».

Женщины, отказывавшиеся от улучшенного пайка, который чекисты назначали своим наложницам, умирали от истощения и чахотки...

Соловецкие оргии были известны по всему северу. Нередко они заканчивались драками между пьяными до последней степени чекистами и даже стрельбой.

После особенно продолжительных попоек начальство развлекалось «амнистированием» уголовников. Сотни блатных, мужчин и женщин, раздевали донага и отпускали с куском хлеба и железнодорожным билетом на волю. Половина тут же возвращалась, проворовавшись уже на вокзале, другая уезжала нагишом.

Само собой даже такая «амнистия» не касалась политических заключённых. Вышестоящие демоны отпускали для забавы мелких бесов, вторую касту лагерной иерархии...

С этой кастой Родион успел познакомиться ещё на пересылках. На Соловках же она встретила его следом за Ногтёвым сотоварищи в приёмнике-распределителе.

В переполненном до отказа шпаной бараке участь всякого «фраера», то бишь «контрреволюционера» или «политического», быть ограбленным до нитки. Деньги, вещи, одежда отнимаются самым наглым образом и тут же проигрываются в карты, в которые режутся сидящие на нарах уголовники. И наивен будет тот несчастный, что пожалуется охране. Охрана лишь пожурит уголовника, но ничего не сделает ему, ибо блатные — вторая ступень власти в лагере. А, вот, сами блатные не простят доноса, и тогда несладко придётся ограбленному...

Впрочем, есть средство и от шпаны. Средство это — собственная внутренняя сила и непоколебимая твёрдость. Шпана не должна видеть страха жертвы. Малейший признак страха, неуверенности, слабости — и пиши «пропало». Как дикого зверя провоцирует страх и

попытка бежать от него, так и шпану. При встрече с диким зверем нужно хранить спокойствие и выдержку, не делать резких движений, нужно смотреть прямо ему в глаза, и тогда он почувствует твою силу, — так в своё время учил Родиона отец. И это правило оказалось весьма полезным применительно к зверям человекообразным ...

Первый уголовник, подступивший к Родиону, получил крепкий удар, после которого, не дожидаясь реакции, Аскольдов вышел на середину камеры и твёрдым голосом отчеканил:

— Первому, кто приблизится, я сверну шею. Дважды предупреждений делать не буду.

Их была целая камера. И, конечно, против такого численного преимущества он был бессилён. Но шпану составляют трусы. Они дикие звери, но среди них нет ни львов, ни волков, ни тигров. Лишь шакалы-падальщики, которые больше всего боятся за свою шкуру и никогда не станут рисковать ею без крайней нужды.

Блатных чекисты опекали всегда. Существа одной породы — как было не найти им общий язык? К тому же уголовники всегда делились награбленным у «политиков» с охраной. Ярким примером взаимопонимания между кастами было покровительство, оказываемое уголовникам комендантом Кемского распределителя Гладковым и его женой, уважительно называемой блатными «Матерью». «Мать», занимавшая должность администратора, позволяла шпане не работать, освобождала от наказаний, вступалась, когда они занимались грабежами других заключённых и прочими безобразиями. На всякую жалобу ограбленных Гладков неизменно отвечал: «Меня не интересует, ограбили они тебя или нет, раньше у моей шпаны ничего не было, а ты — буржуй».

Спайка чекистов и уголовников образовывала ту самую «соловецкую власть», о которой говорил Ногтёв. При этом шпана имела ещё и свой внутренний закон, закон уголовного мира. По этому закону, например, украсть что-то у своего было страшным преступлением, а грабёж «фраеров» считался делом чести.

Уголовники имели в лагере, по крупному счёту, всё: пищу, крадому из чужих посылок, карты, женщин...

В карты играли на всё, на что только возможно: от содержимого чужих посылок до собственного тела. К примеру, проигравший мог обязываться отсечь себе палец или же удовлетворять физиологические потребности более удачливых игроков...

В женщинах недостатка также не было. На Соловки отправляли среди прочих многочисленных проституток и уголовниц. Никогда не представлял Родион, что женщина может превратиться в подобное существо, для которого и непечатное слово окажется слишком легковесным. Представительницы уголовного мира ничем не отличались от его мужской части. Грязные, изрыгающие самую непотребную брань, они с такой же страстью играли в карты, делая самые немыслимые ставки. Одной из наиболее популярных ставок была, так сказать, «женская честь». Проигравшая обязана была пойти в мужской барак и прилюдно отдаться подряд десятерым его обитателям...

Само собой, что плодом подобных содомских нравов были массовые венерические заболевания, дополнявшие цингу, чахотку, тиф и все прочие хворобы, процветавшие в лагере. Дошло до того, что для больных сифилисом пришлось выделить отдельный барак. Но и это не помогло исправить положение.

Третьей кастой соловецкого «государства» были «политические». К ним относились сугубо социалисты, идейно близкие правящей партии элементы, имевшие, однако, неосторожность так или иначе проштрафиться.

В отношении них всё же соблюдались элементарные нормы. Вдобавок из Москвы им присылал посылки учреждённый бывшей женой Горького «Политический Красный Крест».

Контрреволюционеры к «политическим» не относились. Это были враги, каста неприкасаемых, имевшая только одно право — претерпеть всевозможные муки и унижения и умереть, если достанет силы духа, в образе человеческом, не позволив сломать себя.

Способов уничтожения человеческих единиц с незапамятных времён придумано множество. Но большевики осуществили в этой области явный прорыв. Соловецкие узники имели богатый выбор смерти. Их могли расстрелять, выставить на комаров (привязать нагишом к дереву и предоставить кровососам зажалить жертву до смерти), посадить в каменный мешок (втиснуть с помощью ударов «смоленскими палками» в крохотную яму, где можно находиться лишь в коленопреклонённом положении, и неделю держать на голодном пайке), отправить на «Секирку» (посадить на полгода в ледяную пещеру на Секировой горе, давая лишь ледяную воду и фунт хлеба в день)... А ещё можно было «естественным образом» отдать Богу душу от голода и болезней...

Ад! Если есть ад на земле, то вот он, во всём своём кошмарном ужасе! Так думал Аскольдов до тех пор, пока не встретил живого мертвеца: обтянутый кожей скелет, непонятно отчего ещё переставляющий ноги и говорящий... Это был один из чудом уцелевших узников Холмогорского лагеря. Выслушав его рассказ, Родион уверился — у бездны дна не бывает. Она, действительно, без-дна. И зло не имеет предела. И любой видимый нами ад ещё не ад, ибо где-то всегда найдётся страшнейшее.

Концлагеря в Холмогорах и Пертоминске были самыми старыми в Совдепии. Они существовали с Девятнадцатого года. Именно сюда со всей России свозились пленные офицеры и солдаты, кронштадтские матросы, антоновские повстанцы, казаки и простые люди, включая женщин, детей и стариков. В краях, где зимой температура опускается ниже 60 градусов, их селили в наскоро выстроенных, никогда не отапливавшихся бараках. В качестве пайка выдавались одна картофелина на завтрак, картофельные очистки, сваренные в воде, на обед и одна картофелина на ужин. Большой удачей считалось найти в поле гнилой картофель: его прямо сырым с жадностью съедали на месте. Обезумевшие от голода люди поедали кору на деревьях, при этом под страхом пытки или расстрела по двенадцать часов в день выполняли самую тяжелую работу: корчевали пни, работали в каменоломнях, сплавляли лес. Когда чекисты заметили, что местные жители бросают хлеб в толпу проходящих мимо заключенных, они стали водить их на работу иным маршрутом, через густой лес и болота.

Массовость бессудных расправ в Холмогорах поражала. Для экономии времени и патронов заключенных нередко просто топили баржами. Эта участь постигла четыре тысячи бывших офицеров и солдат армии Врангеля. В других случаях баржи использовались для массовых расстрелов: с них расстреливали из пулемётов высаженных на какой-нибудь остров заключённых...

Часть новоприбывших расстреливали в первые же три дня, чтобы не перегружать лагерь. Если новоприбывший был прилично одет, то «расходовали» немедленно, чтобы забрать одежду.

Из лагерного начальства наиболее свиреп был помощник коменданта поляк Квицинский. Это он превратил заброшенную барскую усадьбу, называемую

за выбеленные стены «Белым домом», в место каждодневных расстрелов. В три дня здесь расстреляли две тысячи кронштадских матросов. Тела убитых не убирались, и к концу двадцать второго года все помещения «Белого дома» были наполнены ими до самого потолка. Запах разложившихся тел отравлял воздух на целые километры вокруг. Заключённые задохнулись и теряли сознание, три четверти местных жителей бежали прочь из родных домов.

Количество жертв Холмогор превосходило десять тысяч. Но лишь после того, как сбежавший оттуда матрос добрался до Москвы и сообщил о творящихся ужасах Калинину, правительство решило послать в лагерь проверяющую комиссию во главе с товарищем Фельдманом. Фельдман подошёл к делу просто: сжёг «Белый дом», отправил уцелевших узников в СЛОН, расстрелял нескольких лагерных начальников, остальных отправил в Москву, где их назначили на новые должности. Квицинский получил должность на Соловках...

— Не говорите об аде, вы его не видели... — так закончил живой скелет своё повествование.

— Я очень страдал без сапог, пока не встретили человека без ног, — вспомнил Родион некогда слышанную от учителя Надёжина присказку.

Всего страннее было то, что в аду продолжалась Жизнь. В аду существовал театр, в котором заключённые ставили Шиллера, Диккенса и многих других... Звучали имена Таирова, Мейерхольда, Качалова... В аду работали учёные, пытавшиеся спасти остатки уникальных архивов. В библиотеке восьмидесятипятилетний профессор Кривош-Неманич, знающий тридцать языков, а теперь, получив десять лет ИТЛ, заведовавший соловецкой метеорологической станцией, читал лекции на научно-популярные темы. Сама библиотека пополнялась, благодаря Эйхмансу,

увлекшемся культурной составляющей лагерной жизни. Пожалуй, мало где ещё в Совдепии, можно было свободно читать «Бесов» Достоевского, труды Леонтьева и Данилевского. В аду пребывало двадцать четыре епископа и сотни монахов и священнослужителей... В аду истово верили и молились, и погибали за Христа и за други своя...

— Ад... — задумчиво произнёс владыка Иларион повторяемое Родионом слово. — Вы правы, это земной ад, цель которого уничтожить в нас, ещё живых, наши души. Человек слаб, и ему не под силу вынести таких мук, если только Бог не даст ему сил. Нужно молиться...

— Молиться? Да, должно быть. Но я не собираюсь, владыка, гнить в этом аду многие годы. Я найду способ вырваться отсюда... — горячо сказал Родион, которого с первого лагерного дня не оставляла мысль о побеге, неотступно сверлившая мозг до того, что заставляла просыпаться в ночи и думать, думать, разрабатывать план. Если уж из Холмогор сбежал матрос, то неужто ему не удастся с Соловков утечь?

— Куда? — неожиданно спросил владыка. — Или вы думаете, что там не ад? — он помолчал и продолжил. — Родион Николаевич, ад гораздо шире Соловков. Власть Соловецкая правит не только на этом острове. Здесь лишь концентрация выше, а по просторам русским ад более рассеян пока... Но суть от того не меняется. И поймите, ад ведь заключён не только в страданиях плоти. Ад — это плен души. Ад — это когда из груди вашей душу вашу бессмертную клещами тащат, норовя искалечить или вовсе заменить чем-то иным. Вот, ад! Ад не в лишениях, а в той страшной духовной атмосфере, которая сгущается день ото дня. Она, как смог, окутывает души, затмевая даже самые зоркие очи, и уже трудно отличить свет от тьмы, ложь от правды, друга от врага. Та же шуга, в своём роде... Всё смешивается, ориентиры теряются, и в таком-то хаосе

даже избранные могут прельститься и принять за избавителя врага рода человеческого. Вот, в чём суть ада, Родион Николаевич. Там, — владыка кивнув в сторону иллюзорной воли, — разница лишь во внешнем. Внешних мук пока меньше, но суть та же.

— Так ли уж нельзя отличить? — усомнился Родион. — Пока есть пастыри, пока звучат их голоса, какие могут быть плутания в тех, кому Бог отец, а Церковь мать? Я, признаться, мало искушён в этих вопросах. Но в последние годы думал и о них немало... И мне кажется, что пока жива Церковь, народ ещё может очнуться, вняв её голосу. Другой-то силы теперь нет...

Архиепископ Вере́йский глубоко вздохнул. Благородное лицо его выражало бесконечную печаль.

— В том-то и дело, — произнёс он с горечью. — В том-то и дело, Родион Николаевич, что теперешняя жизнь Церкви требует от человека высокодуховного отношения к себе. Нельзя полагаться на официальных пастырей, нельзя формально применять каноны к решению выдвигаемых церковной жизнью вопросов, вообще нельзя ограничиваться правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное чувство, которое указывало бы путь Христов среди множества троп, протоптанных дивьими зверями в овечьей одежде. Жизнь поставила вопросы, которые правильно, церковно правильно, возможно разрешить только перешагивая через обычай, форму, правило и руководствуясь чувствами, обученными в распознавании добра и зла. Иначе легко осквернить святыню души своей и начать сжигание совести²⁹ чрез примирение, по правилам, с ложью и нечистью, вносимыми в ограду Церкви самими епископами. На «законном» основании можно принять и антихриста...

Родион слушал с недоумением, плохо понимая, что имеет ввиду владыка. А тот, взволнованный, сосредоточенный, сомкнул руки, словно молясь, и выговаривал дальше:

— Поймите, Церковь состоит из людей. А все люди, даже самые мудрые, самые духовно светлые сотканы из плоти и крови и не лишены человеческих страстей. Мы знаем, как искусен враг. Знаем, что он не остановится ни перед чем. Можно ли тогда иметь уверенность, что он не соблазнит и пастырей? Об этом много писано нашими святителями, которых мы так недостаточно знаем, так неглубоко постигаем... Может так случиться, что скоро мы окажемся среди океана нечестия малым островком. Помните, как постепенно подкрадывалось и быстро совершилось падение Самодержавия и изменился лик русской государственности? Таким же образом происходит и может быстро совершиться реформационно-революционный процесс в нашей Церкви, которая, как вы правильно заметили, осталась сегодня единственной силой, способной влиять на народ. Не думаете же вы, что *они* этого не понимают? И не сделают всё, чтобы этого не допустить? Картина церковных отношений может вдруг видоизмениться, как в калейдоскопе. Обновленцы могут вдруг всплыть, как правящая в России «церковная партия», причем противников у нее может оказаться очень немного, если открытые обновленцы и скрытые предатели поладят между собою и совместно натянут на себя личину каноничности. Конечно, можно гадать и иначе, но, во всяком случае, истинным чадам Вселенской Христовой Церкви надлежит бодрствовать и стоять с горящими светильниками.

Владыка Иларион поднялся, осенил Аскольдова архиерейским благословением:

— Считайте, что это моё вам напутствие.

— Спасибо, что не говорите, будто моя идея невозможна, — Родион поцеловал руку святителя.

— А вы уже делились ею с кем-то?

— Один человек есть...

— Имени не спрашиваю. Богу всё возможно, Родион Николаевич. Молитесь и дерзайте. И будет вам по вере вашей. А я помолюсь о вас.

Простившись с владыкой, Аскольдов побрёл в свой барак, чувствуя необходимость выспаться после ночных приключений. По дороге ему встретился вдребезги пьяный Сухов в распахнутой куртке, с бессмысленно блуждающими глазами.

— О! — воскликнул он, увидев Родиона. — Здорово, брат... Или как вас? Господин полковник? А знаете ли вы, господин полковник, что я вашего брата в куски изрубил? В восемнадцатом... Отцеубийца я после этого, вот кто! То ж наш полковник был! Настоящий служака, как отец всем нам, веришь? — Сухов качнулся, опёрся ладонью о плечо Родиона, дыхнул перегаром. — Как отец... А я его — в куски! Предложил ему сперва, сволочи, как человеку, сдать... А он на глотку брать, мать его... В грех ввёл... Изрубил отца... А ты меня нынче, полковник, от смерти спас... Да с попами-то! Чьего боженьку я расстрелял... Эйхманс, сволочь, не мог все кресты убрать, чтоб не блазило... Чтоб в грех не вводили... А что если он всё-таки есть, полковник, а? Хрис-тос? У нас в полку поп был, причащал нас всякий праздник... Я его плоть и кровь жрал! А потом изблевал, выходит дело... Скажи мне, полковник, по правде, на кой чёрт ты меня спас? Думаешь, я тебе паёк прибавлю за это? Так шиш! Ни крошки лишней не получишь!

— Боюсь, вы всё равно не поймёте, — устало ответил Родион. — А паёк съешьте сами, я на него не претендую.

Он кое-как разминулся с Суховым, продолжавшим бормотать что-то бессвязное, и, дойдя до своего барака,

плюхнулся на койку. В голове пульсировала одна единственная мысль: бежать! Бежать! Прочь из соловецкого ада! А если ад и за его пределами, если ад — вся Совдепия, то через границу, благо до Финляндии отсюда подать рукой. А там уже решать, куда дальше... Бежать... Не откладывая в долгий ящик... Пока ещё не измытарены силы... Пока тифозная вошь не свела в могилу... Пока... Только бы нескольких единомышленников найти, да не ошибиться в выборе, не вверить тайну стукачу. Но да Бог не выдаст! Вот, потеплеет маленько, и тогда — прочь. Здешнюю гнилую зиму пусть другие встречают и дерутся за место под единственной на весь барак лампой, забывая солнечный свет. А Родион будет уже в других краях. Хоть бы даже и на небе... Лучше погибнуть вольным человеком, чем доходить — рабом...

Глава 4. Встреча

— Мальчики и дамочки едут на курорт,

А с курорта возвращаясь, делают... — долговязый, вертлявый артист сделал многозначительную паузу, приглашая изрядно подпивших слушателей докончить очередной пошлый куплет. И рифма, само собой, не заставила себя ждать. Пьяный гогот, визг женщин, и снова молотит по клавишам пианист, кривляется куплетист, щеголяя канареечными штиблетами на худых, как у кузнечика, ногах.

Что за вырожденческое время! Нет слов, кутежей хватало и прежде, и предреволюционные годы никак не служили примером высокой нравственности, но что же поделалось теперь? Такой Содом, что сами власти, сперва провозгласившие полное раскрепощение от такого отжившего института, как брак, теперь не на шутку встревожились. И, вот, уже стали множиться брошюры, объясняющие гражданам вред, причиняемый здоровью различными извращениями. При этом последние страницы газет не переставали пестреть рекламой различных снадобий, способствующих этим самым извращениям. Не дай Господи в новое время забыть газету на столе в доме, где есть дети — с последних страниц, а также в разделе криминальной хроники почерпнут они там таких интимных подробностей, о каких в прежние времена их матушки не подозревали и после десятилетий брака...

Власти беспокоились всё больше, особенно впечатляясь ростом известного рода заболеваний — портился человеческий материал, который, чёрт побери, необходим был для строительства светлого будущего! И, вот, уже в институтах перед зачарованными студентами выступали лекторы,

объясняя, что жить всё-таки стоит с одним мужем, а не так, как призывалось прежде — «по-товарищески, по-комсомольски». Бедные, бедные лекторы! Каких только вопросов не пришлось услышать их давно не красневшим ушам от охочих комсомолок! Как, должно быть, потрясена была старуха Смидович, муж которой выпустил очередной познавательный трактат «О любви», когда в ответ на её декларации вскочила юная комсомолка и гневно объяснила, что в советском государстве не может быть ни детей, ни брака, поскольку коммунальный быт мгновенно уничтожит любое чувство. Вывод активистки был прост: раз отсутствие своего угла обращает в ненавидящих друг друга каторжников даже добрых людей, то остаётся только встречаться от случая к случаю со временными «мужьями». И ведь тут не разврат был, или, во всяком случае, не только и не столько он, но крик юной женской души, которую поставили в такие условия, что для неё стало невозможным быть женой и матерью. Только товарищем. Активисткой. Трудящейся. Только пожалеть можно было этих несчастных созданий...

Власть принимала декреты. Власть не скупилась на рекламу в виде красочных плакатов со слоганами а-ля «Шанкеры, бобоны — становитесь в колонны!» или «Сифилис — не позор, а народное бедствие!». Под последним плакатом чья-то несознательная рука подписала: «А нам от этого не легче!» Лучшие агитсилы были брошены в бой: к трактату Смидовича прибавились такие «просветительские» труды, как «Половой вопрос» Залкинда, «Половой вопрос» Ярославского, «Биологическая трагедия женщины» Немиловой, «Половые извращения» Василевского и ещё уйма столь же «высокохудожественной» литературы. На диспутах цитировали Ницше и советовали колоть дрова. Но всё равно кричали комсомольцы:

— Нечего регистрировать брак, как торговую сделку на бирже! — и тут же призывали создать дом терпимости для нуждающихся студентов.

Власть, наконец, бросила в атаку тяжёлую артиллерию в лице самого товарища Семашко, выпустившего книгу с поэтическим названием «На алименты надейся, а сама не плошай» и вдохновенно пытавшегося донести до населения, что хотя Бога нет, и заповеди его поповская чушь, но гигиена требует соблюдения элементарной нравственности! В аудиториях несознательные зубоскалили и отпускали шутки.

Люди, сведшие человека к уровню скота, чьи потребности измеряются лишь материей, физиологией, теперь отчаянно пытались объяснить оскотивневшемуся человеку, что быть скотом, может, и приятно, но вредно для здоровья! И не понимали, что доведённый до скотского уровня человек уже не в состоянии быть столь разумным, чтобы разбирать, что полезно его здоровью, а что нет. Ибо разум есть достояние сугубо человеческое, приматы же живут низменными инстинктами и понимают лишь то, что доставляет им удовольствие. Как объяснить что-либо товарищу, мочащемуся посреди улицы и гордо отвечающему на замечание дворника, что «кругом народ, барышни ходят»: «Я член профсоюза и везде имею право!»?

При таком уровне «правосознания» хамство стало нормой жизни. Хамили в учреждениях и коммуналках, в трамваях и на улицах — решительно везде.

Основа нравственности лежит, если уж не в Боге, то хотя бы в высокой культуре. Какого же рода культурой вскармливался советский человек двадцатых годов? Пивной, эстрадной и синематографической. Синематограф всё более становился властителем душ. Особенно нравились публике заграничные фильмы про

гангстеров, грабивших поезда. В этих фильмах было обычно несколько серий, и люди старались не пропустить ни одной, щедро отдавая новому «магу» свою трудовую копейку. Находились среди зрителей и «романтики», которые пытались повторить увиденные «подвиги», преумножая и без того поражающее воображение число уголовников в некогда православной столице.

А ещё на экранах шли такие картины, как «Любовь втроём», «Проститутка» и т. д. «Великий жезл власти дал людям в руки кинематограф, — сокрушался ещё восемнадцать лет назад Чуковский. — Если б мог, я стихами воспел бы кинематограф, но одно в нём смущает меня: почему такая страшная власть, такое нечеловеческое, божеское могущество идёт и создаёт «Бега тёщ»? Он, чудо из чудес, последнее, непревзойдённое, непревосходимое создание гениального человеческого ума, — почему же, чуть он заговорил, получилось нечто до того наивное и беспомощное, что папуасы и ашати могли бы ему позавидовать? Смотришь на экран и изумляешься: почему не татуированы эти люди, сидящие рядом с тобой? Почему за поясами у них нет скальпов и в носы не продето колец? Сидят чинно, как обычные люди, и в волосах ни одного разноцветного пера! Откуда вдруг взялось столько пещерных людей?..»

Пещерные люди иногда читают пещерную литературу. Пролетарские и местечковые «поэты» также приложили руку в «культурному» воспитанию молодой советской нации. При «Моспрофобре» открыли целую «Студию стихописания». К ней добавились многочисленные «поэтические кафе». Фабрика поэтов произвела добрых восемь тысяч «стихотворцев», чьи вирши, подобно первосортным помоям, залили советские газеты. Все они, разумеется, пользовались почётом и уважением, как «надежда советской

литературы». Совсем другим было отношение, например, к Есенину, за которым закрепилась слава первейшего дебошира. В двадцать третьем году поэта подвергли суду. Да не за что-нибудь, а за «разжигание национальной вражды». «Разжигание» заключалось в том, что в ресторане неизвестный обозвал Есенина «русским хамом», за что тут же был ответно обруган «жидовской мордой». Будь «морда» иной, поэту бы, наверное, простили такую вольность, но... «Пострадавший» Марк Роткин немедленно привёл милицию, и Есенина с друзьями задержали. «Русские мужики — хамы!» — бросил Роткин им вслед. Разумеется, называть русских хамами «разжиганием» не было, а, вот, «морда» — дело совсем иного рода. Поэтому после освобождения «разжигателей» из-под ареста явилось письмо коллег-литераторов, заклеившее злостных «антисемитов», а в Доме печати было заслушано «дело четырёх поэтов», на котором обвиняемые били себя в грудь и клялись в своей глубочайшей любви к оскорблённой ими народности.

— Товарищи! — воскликнул один из них. — Клянусь, что, как бы я ни напился, слово «жид» у меня клещами не вырвешь!

Милиционер, вынужденный арестовать компанию, а теперь ещё и вызванный на «товарищеский суд» только ругнулся: «Выпьют на две копейки, а наскандалят на миллиард».

В самом деле, скандалы также стали нормой советской жизни, тем более что пивные в двадцатые годы открылись на каждом шагу и не имели недостатка в посетителях.

С непомерно возросшим числом значных заведений немало повысился спрос и на «культурную программу» в них. Не могут же, в самом деле, граждане выпивать и закусывать без аккомпанемента. Эти нужды призван

был удовлетворить разместившийся в Леонтьевском переулке Рабис — профсоюз работников искусства. Здесь заседала специальная комиссия, выдающая всякому желающему выступить на эстраде соответствующее разрешение. И, вот, всякая бездарность, которая не могла найти иного поприща, но могла хоть что-то спеть или сплясать, обретала «гордое» звание артиста эстрады. И зарабатывала свою копейку, кривляясь перед публикой в увеселительных заведениях и городских парках. Сальные куплетисты, выдавшие виды певички, хористки, «выступавшие» для желающих в отдельных кабинетах — вот, что была советская эстрада на заре своего существования.

— Я куплеты вам пропел,
Вылез весь из кожи.
Аплодируйте друзья,
Только не по роже!

И ведь аплодировали! И энергичнее всех сверкающий потной лысиной конферансье, приглашающий на сцену престарелую «приму» в непомерно декольтированном платье, хриплым голосом исполнившую популярную «песню»:

— Так и вы, мадам, спешите,
Каждый миг любви ловите.
Юность ведь пройдёт,
Красота с ней пропадёт.

И кто-то крикнул из зала:

— По тебе заметно, что больно спешила!

Свист, хохот, похабные шутки... «Прима» Инсарова в слезах уходит. Её искренне жаль — в преклонных летах

таким стыдом зарабатывать скудное пропитание участь незавидная. Инсарову сменяет кордебалет... Худенькие девушки, похожие на хилых, оципанных цыплят. Их ещё жалче, потому что слишком ясна их судьба.

Сергей испытывал физическое страдание от того, что приходилось видеть и слышать. Он почти не притронулся к заказанной для вида кружке пива и рыбе, его тошнило от их вида и запаха. Больше всего ему хотелось бежать прочь из этого отвратительного заведения, но он не мог, не дождавшись того, ради чего переступил порог гнусного притона.

Неделю назад прикативший на несколько дней в Москву Стёпа огорошил Сергея новостью:

— Я на днях видел твою, прости что напоминаю, роковую даму!

— Как?

— Да чёрт попутал, брат. Занесло в одно скверное местечко... Компания, знаешь... Хватили мы изрядно, ну и зашли гульнуть, чтобы от души, чтобы как в былые времена! Чтобы...

— Ты толком можешь сказать, куда вы зашли?

— Примитивно говоря, в бордель, а официально — в салон. Держит его, знаешь ли, одна старая сводня со знатной фамилией. Уютное местечко. Напитки, закуска, игры. В сравнении с пивнушками — даже респектабельно. Для гостей артисточки поют и танцуют. Ну, и, сам понимаешь, не только это...

— Так что же дальше? — нервно спросил Сергей, которому менее всего было интересно слушать подробности жизни дома терпимости.

— Она там пела, — коротко пояснил Стёпа.

— Кто?..

— ОНА! Ла-ра! — Пряшников выразительно округлил глаза.

Сергей похолодел. Он надеялся, что эта женщина, причинившая ему некогда столько боли, навсегда

исчезла из его жизни. Но она вернулась. Поруганной, падшей и, должно быть, страшно несчастной...

— Но как же это может быть? Что же муж её? Братья? Родители?

Степан пожал плечами, раскуривая трубку.

— Ты говорил с ней?

— Нет. Какого чёрта? Что я мог ей сказать?

— А она узнала тебя?

— Не знаю. Во всяком случае, не обнаружила этого.

— Это ужасно! — Сергей сокрушённо покачал головой, рванул с силой прядь волос. — Как могло с ней такое случиться? Неужели никого не оказалось рядом, чтобы помочь ей? Спасти её?

— Чёрт меня дёрнул тебе сказать, — проворчал Пряшников. — И что я за дурак... Уж не возомнил ли ты, друг мой сердечный, себя рыцарем, обязанным спасти сию прекрасную даму?

— А ты полагаешь, что я должен просто принять к сведению, что она в беде и не протянуть ей руку помощи?

— Она бы по тебе, что по гати, прошла и не дрогнула.

— Не говори так, ты ничего о ней не знаешь... И, вообще, ты никогда не понимал женщин.

— Куда уж нам, сиволапым, — усмехнулся Степан. — Об одном тебя прошу: думай, прежде чем что-то сделать. О Лиде думай. О Женьке с Икой. И если что, можешь на меня рассчитывать, раз уж я по дурости сболтнул тебе, чего не следовало.

— Ты можешь узнать, как её найти?

Пряшников глубоко вздохнул:

— Лида мне не простит, и будет права.

— Так можешь?

— Попробую...

Узнать просимое Степану не составила труда. Уже на другой день он знал, что Лара взяла себе

сценический псевдоним «Лоренца» и выступает в различных заведениях, исполняя романсы и песни. Как и большинство эстрадных певиц, живёт в общежитии и едва сводит концы с концами.

Также не составило труда узнать место и время ближайшего выступления «загадочной Лоренцы». И теперь Сергей с замиранием сердца ждал её выхода, борясь с приступами дурноты и головной болью.

Наконец, она появилась. Облачённая в тёмное, облегающее всё ещё стройную фигуру, полупрозрачное платье, в широкополой шляпе, скрывавшей часть лица, Лара казалась загадочной, непохожей на выступавших прежде певичек. И запела она не одну из бесчисленных глупых песенок, а романс недавно перебравшегося в Москву из Тифлиса бывшего военного врача, а ныне успешного композитора Бориса Прозоровского:

— Вам никогда не позабыть меня,
И мне вас позабыть, как видно, не придётся.
Мы спаяны, как два стальных кольца,
И эта сталь не разойдётся.

У Сергея ком подкатил к горлу. Он понимал, что Лара не может видеть его, но казалось, словно к нему обращается она своим негромким, несильным, по совести, мало годящимся для певицы голосом:

— Вы слишком хороши, чтоб вас легко забыть.
Я слишком вас люблю, чтоб разлюбить так скоро.
И снова жажду я страданий и позора,
И знойные уста хочу с устами слить.

Пускай нас жизнь сама разъединяла,
Но всё-таки вы мой и ваша я всегда,

Нас слишком страсть в одно связала:
Мы спаяны, как два стальных кольца.

Романс ещё звучал, но Сергей не смог дольше выдержать нервного напряжения этого вечера, и поспешно вышел из зала, решив дождаться Лару на улице, у служебного входа. Апрельская ночь дышала прохладой и сыростью недавно прошедшего дождя. Сергей чувствовал сильный озноб и беспокойно переминался с ноги на ногу.

Прошло не меньше часа, прежде чем она появилась и, пройдя несколько шагов, остановилась на углу, словно ожидая кого-то. Сергей вышел из темноты и окликнул:

— Лара!

«Загадочная Лоренца» вздрогнула и обернулась. Белое от толстого слоя пудры лицо, яркие губы, обведённые углём глаза — и не разберёшь порядочно, сильно ли изменилась она.

— Не ждала вас встретить здесь, Сергей Игнатьевич, — холодно сказала Лара, кутаясь в модное манто. — Что вам угодно?

— Ничего... — смутился Сергей. — Я лишь хотел поговорить...

— Простите, но я не расположена к разговорам. И лучше бы вы немедленно ушли.

— Постойте, Лариса Евгеньевна! — Сергей подошёл к ней. — Нам, в самом деле, нужно поговорить! Я...

В этот момент прямо перед Ларой остановился извозчик, и дородный господин распахнул дверцу, театрально сняв шляпу:

— Прошу вас, моя несравненная!

— Прощайте, Сергей Игнатьевич! — холодно бросила Лара, подавая своему кавалеру руку и садясь в экипаж.

— Нет, Лара, постойте! — воскликнул Сергей, забывшись от волнения и схватив её за локоть. — Вы не должны ехать! Вы не должны... так!

— А ну, пошёл прочь! — рыкнул господин и с такой силой оттолкнул Сергея от коляски, что тот не удержался на ногах и упал на мостовую.

— Трогай!

Извозчик помчал вперёд, но Сергей заметил, что Лара взволнованно обернулась и смотрела на него...

Рассудок действительно рекомендовал возвращаться домой, но в такие моменты он так и не научился слушаться его, руководствуясь одним лишь чувством. И теперь это чувство, растравившее душу, требовало отправиться на Рождественку, где жила Лара...

Московские улицы давно перестали быть безопасными даже днём, а ночью редкий прохожий решался путешествовать по ним в одиночестве без крайней надобности. Сергей вздрагивал при каждом шорохе, жалел, что отправился на поиски Лары один, ничего не сказав Степану, клял себя за неумение следовать здравому смыслу.

— Дяденька, подари часики! — этот писк шестилетнего оборвыша показался ему чем-то несравненно жутким, от чего душа ушла в пятки, и противно засосало в животе. Он пролепетал что-то извиняющееся и хотел уйти, но дитя захныкало, и тотчас словно из-под земли появился и его «защитник» — рослый молодчик с недвусмысленным выражением лица:

— Дядя, нехорошо над дитём измываться. Часиков, что ли, жаль для сиротинки?

— Нет-нет, что вы... — еле выговорил Сергей, дрожащими руками снимая часы и подавая их грабителю. — Возьмите на здоровье...

— Смотри-ка, вежливый. Небось, антиллигенция, — усмехнулся молодчик, задумчиво щупая его плащ. —

Москвашвея... Неплохой пиджачишко... Жаль не на мои плечи...

— Послушайте, я ведь вам не сделал ничего дурного, и у меня ничего нет, поверьте...

— Ну что, Сёма, отпустим, что ли, гражданина? — спросил грабитель своего малолетнего поделщика.

— Пусть катится, — милостиво разрешил тот.

— Эх, дядя, придал бы я тебе ускорения, да зашибить боюсь — и так, того гляди, повалишься. Катись уж сам без нашей помощи.

От всех обид и унижений этой злополучной ночи наворачивались слёзы. Но он всё-таки дошёл до искомого дома и, постучав в дверь, спросил Лару. Открывшая ему старуха раздражённо ответила, что та ещё не возвращалась, но милостиво предложила обождать в её комнате.

Комнаты «загадочной Лоренцы» была совсем крохотной. В ней была лишь кровать, стул, тумбочка и сундук. Сергей измождено опустился на кое-как застеленную кровать, прислонился ноющей после падения спиной к стене и стал ждать. Он не заметил, как задремал, и очнулся, лишь услышав громкий хлопок двери.

Вскочив на ноги, Сергей оказался лицом к лицу с вошедшей Ларой. Это было уже не то загримированное лицо, что ночью. Помада и тушь смазались, некогда безупречный овал оплыл... Время не пощадило красоты этой несчастной женщины. Она выглядела много старше своих лет: дряблая шея, обвисшие щёки, глубокие морщины — всё это беспощадно обнажило утро. Помятая одежда и причёска и явный дух спиртного, смешанный с дешёвыми духами, дополняли печальный портрет.

— Что ты здесь делаешь?! — грубо спросила Лара. — Я, кажется, просила оставить меня в покое!

— Я ждал тебя... — тихо ответил Сергей.

— Уходи сейчас же! Я не хочу тебя видеть! Я устала и хочу спать!

Сергей шагнул к двери, но Лара остановила его:

— Нет, подожди... Ты дрожишь весь, у тебя озноб... Сядь, я принесу сейчас чай. А пока, вот, — она вынула из тумбочки небольшую флягу. — Выпей.

— Я не хочу...

— А я не хочу, чтобы ты умер от воспаления лёгких по моей вине. Не хватало мне только этого... Господи! — она сплеснула руками. — Ну, зачем? Зачем ты пришёл?! Неужели ты не понимаешь, как мне невыносимо тебя видеть?! Невыносимо, чтобы ты меня видел? Пей же! — Лара всучила Сергею флягу, а сама вышла.

Он заставил себя сделать ровно три глотка, и сразу почувствовал, как спиртное ударило в голову. Подумалось, что теперь точно не достанет сил, чтобы добраться до дома. Лара вернулась с обещанным чаем, к которому не притронулась сама. Она немного успокоилась и успела смыть с лица остатки грима. Сев спиной к окну, спросила:

— Так зачем ты пришёл? Помучить меня?

— Я пришёл, чтобы помочь...

— Это после всего-то, что было? Неужто ты мои обиды тебе забыл?

— Нет, не забыл... Потому что никто не причинил мне большей боли, чем ты. Но я лучше помню другое. Помню, что любил тебя. И что ты меня любила.

— Какая... сентиментальная чушь... Тебе твой Стёпа сказал, где меня искать?

— Так ты его узнала?

— У меня пока ещё хорошая память, к несчастью. А не сказал он тебе, как друзья его чуть из-за меня драку не устроили? Сколько за ночь мне платят, не сказал?

— Я не хочу этого знать, Лара.

— А я хочу, чтобы ты знал! Я могла бы, конечно, сказать тебе, что не виновата в том, что по жёлтому

билету пошла. Что не сама на улицу пошла, а жизнь меня вытолкнула. Мне легко было бы оправдаться... Ты знаешь, у меня ведь никого не осталось. Отца и мать расстреляли в Крыму ещё в восемнадцатом. Братьев тоже нет... Боря умер от тифа, а Ники пропал на юге... Всё, что осталось мне от покойника-мужа было экспроприровано, и я оказалась без средств к существованию. Печальная история, неправда ли? Только я не потому такой стала, Серёжа. Я уже тогда такой была... Потому и тебя так мучила. Любила и мучила...

— Ты мучила себя. И продолжаешь мучить... То, как ты живёшь...

— Я живу, как умею. В сущности, все эти салоны и кабаки отчасти даже напоминают мне мою прежнюю жизнь... Особенно, если вина выпито достаточно для забвения.

— А что станет с тобой через несколько лет?

— Сначала — Цветной бульвар или Домниковка³⁰, затем, когда я окончательно превращусь в отвратительного вида жабу — богадельня или что-то там у них теперь... — Лара провела руками по лицу. — Ты доволен? Всё узнал, что хотел? Тогда уходи и забудь меня. И дай мне, наконец, отдохнуть!

— Нет, не всё.

— Это невыносимо! — вскрикнула Лара, встав. — Что ты изводишь меня? Я уже сполна получила за тогдашнее, можешь не усердствовать! Да, я ненавижу свою жизнь, если ты это желал услышать! И если бы я не была столь труслива, то давно бы покончила с нею, как это пристало порядочным женщинам в таком положении! Но я свыклась, убедила в себя, что и так тоже можно жить. И ничто не тревожило меня, не терзало... Но, вот, пришёл ты и напомнил мне о том, что есть иная жизнь, что у меня, даже у меня в моей

загубленной жизни было что-то настоящее! Зачем? Неужели ты не понимаешь, как это больно? Вспоминать то, ослепительное, находясь в этом крошечном мраке? Ведь это хуже средневековой пытки! Что ты хочешь знать?

— Я хочу знать, что происходило с тобой в эти годы. Хочу понять...

Она неожиданно успокоилась, снова устало опустилась на стул, такая же безукоризненно прямая, как когда-то в мастерской Степана, махнула рукой:

— Ладно. К священнику на исповедь я не пойду, потому что не верю... Так, может, хоть ты мне грехи отпустишь. Ты же для меня всегда живой совестью был. За это я тебя любила, за это же и ненавидела. Когда-то я мечтала увидеть весь мир, казавшийся мне необъятным... Мой муж частично постарался осуществить мою мечту. Мы объехали с ним всю Европу, Америку, даже Японию... Только мне почему-то везде было до безумия скучно. Я бежала из страны в страну, но нигде не могла найти искомого, потому что не знала, чего ищу. Не хочу, чтобы ты считал меня подлее, чем я есть. Моему старцу я была верна, как самая образцовая жена. Изменять мужу мне казалось нечестным, а я при всех своих пороках старалась никогда никого не обманывать. Больше всех я обманывала саму себя... Муж оставил мне солидное наследство, которым я не сумела и не успела хорошо распорядиться. Когда я узнала, что у нас произошла революция, я бросила всё и примчалась в Россию в надежде, что, наконец, окажусь в вихре некой совершенно новой жизни, которая развеет мою скуку. В каком-то смысле моя надежда оправдалась, скучать с той поры мне не приходилось... Разве возможно было скучать в Москве в восемнадцатом году? Или в девятнадцатом? Когда все мысли были направлены на одно — найти хоть какую-

нибудь крошку, чтобы не умереть с голоду, хоть какую-нибудь доску, чтобы обогреться в стужу...

— Почему ты не уехала обратно за границу?

— Сначала мне, несмотря на страх и лишения, было интересно досмотреть эту трагедию, пройти этот путь до конца. Потом я не могла покинуть жену Бори после его смерти. Она болела, и ей нужен был уход. Мы столько пережили вместе, что я не могла бежать, бросив её умирать. А потом... Знаешь, какой самый подлый поступок я совершила в ту пору? Был двадцатый год, зима. У нас не осталось ни дров, ни еды. Я не ела три дня... А на кухне матрос, живший в соседней с нами комнате, жарил яичницу с салом... Серёжа! Я думала, что сойду с ума от этого запаха. И от того, как тепло было в его комнате... Потому что у него всегда были дрова. Этот матрос не раз предлагал мне кусочек своей трапезы. Не даром, конечно. Но ты ошибёшься, если решишь, что в этом и есть моя подлость. Нет... Я никогда не переступила порога его комнаты. Я решила, что скорее умру от голода, чем дойду до такого. Но я поступила хуже, Серёжа. Я пошла к тебе...

— Ко мне?

— Да. Я подумала: «Ведь он же такой хороший, почти святой, и так любил меня... Он не позволит, чтобы я умерла с голоду». И я пошла к тебе. На Маросейку... Но тебя там уже не было. Когда я возвращалась, меня сбил извозчик, и я оказалась в больнице. За то время, что я находилась там, бедная Зизи умерла, а в нашу комнату заселили рабочего с семьёй. Тогда мне встретился один человек... Сейчас он, наверное, был бы нэпманом, а в ту пору таких называли спекулянтами. Он весёлый был, щедрый. Впервые за долгое время я была сыта, прилично одета и... любима. Вот, только это недолго продолжалось. Арестовали моего соколика, под белые ручки из дому увели. А следом и меня, как

подельницу. Что стало с ним, я не знаю. А меня отправили в ссылку, откуда я, едва истёк срок, вернулась в Москву, потому что больше податься было некуда. Да и здесь куда идти? Ни денег, ни друзей, ни крыши над головой. Так я стала «Лоренцей». Вот, и вся история. Надеюсь, твоё любопытство удовлетворено?

— Если бы ты тогда меня нашла!.. — сокрушённо воскликнул Сергей.

— Слава Богу, что не нашла. Я простить себе не могла, что после всего ещё к тебе же за помощью посмела идти. На Цветной — честнее...

— Замолчи! — Сергей поднялся. — Ты не окажешься на Цветном. И больше не будешь жить в этом аду. Я выхлопочу тебе разрешение на выезд, а до той поры буду о тебе заботиться.

— Не надо, — голос Лары дрогнул. — Я за свои долги в этой позорной яме оказалась, но не тебе по моим векселям расплачиваться. Это уж слишком... Уйди, Серёжа. И не приходи больше!

Сергей покачал головой:

— Нет, Лара. Сейчас я, действительно, уйду. Но я вернусь. И сделаю так, как сказал. И не пытайся исчезнуть, пожалуйста. Потому что я тебя стану искать и найду. Ты уже однажды поступила по-своему, сделай же хоть теперь то, о чём я тебя прошу.

— Да неужели ты всё ещё любишь меня?

— Это не имеет значения... — тихо отозвался Сергей. — Дождись меня, пожалуйста. Я скоро приду...

Когда он покидал комнату Лары, им владела редкая решимость, придававшая сил, но чем ближе приближался он к своему дому, тем решимость эта слабела, подтачиваемая робостью перед предстоящим объяснением с женой. Сергей мучительно сочинял речь, которую скажет ей, но слова разбегались в разные стороны даже от воображаемого лица Лидии...

По счастью, к моменту его возвращения дома не было никого, кроме Таи, выбежавшей в прихожую, едва он переступил порог. Она, разумеется, ждала. И беспокоилась о нём. И теперь смотрела своими преданными блюдцами-глазами с тревогой, словно вопрошая, не случилось ли чего. И через мгновение кинулась снимать с него плащ:

— Да вы продрогли совсем, Сергей Игнатьич! Вы простудиться можете!

Да, что-что, а это после такой ночи вполне вероятно. Как будто даже уже...

— Идите в комнату скорее! Я сейчас горячей воды... Ноги согреть... И грелку, грелку!

— Не беспокойся так, Тая! Пустяки какие, мне бы чаю только...

Но она не слушала, с проворством маленького лесного зверька готовя всё необходимое для опережения надвигающейся простуды.

— Настойки вам надо лечебной, что Марья Евграфовна привозила... И пледом, пледом укройтесь!

Не успел и оглянуться Сергей, как уже сидел в кресле с погружёнными в горячую воду ногами, заботливо укутанный пледом, и пил поданный вслед за настойкой крепкий, сладкий чай с травами. Тая же устроилась рядом на ковре, подобрав под себя ноги, и смотрела неотрывно, словно ожидая каких-либо ещё пожеланий. И неловко было от чрезмерной заботы её, и приятно одновременно.

Тепло оказало живительное влияние, и Сергей почувствовал себя лучше. Когда бы теперь соснуть ещё часок-другой... Но нельзя. Нужно дождаться Лиду и переговорить, пока других домочадцев нет. Она, как Тая сказала, ушла ненадолго купить что-то к обеду.

— А что, Тая, в каком расположении духа сегодня Лида?

Девочка пожала плечами:

— В обычном... Только беспокоилась, что вас нет.

— А как Женя с Икой?

Тая охотно принялась рассказывать, что они ушли вместе с дедом «смотреть уходящую Москву», как выражался Аристарх Платонович, время от времени устраивавший для внуков такие экскурсии. Иногда и Тая ходила с ними, если не нужны были её бойкие руки в хозяйстве. Могла бы и нынче пойти, но ждала Сергея Игнатьевича.

Ни разу не пожалел Сергей, что взял в дом эту милую девочку. И даже Лидия, кажется, не жалела об этом. Умелые Таины руки и лёгкий характер делали её незаменимой частью их дома, их семьи. И уже не приживалкой была она, а родным человеком. Дети полюбили её, как старшую сестру, и даже тесть благоволил к ней, достаивая своих бесед.

Ей уже шестнадцать было, а она всё ещё казалась совсем ребёнком из-за сильной худобы. Пережитый голод, по заключению докторов, что-то нарушил в её организме, и она физически не могла более поправиться. Это, впрочем, не мешало ей быть необычайно живой и подвижной.

Сергей слушал щебет Таи и радовался, что не сразу столкнулся с женой. Забота и ласковость Таи всегда успокаивали его, умиротворяли. И теперь помогли они привести в порядок чувства и мысли.

Наконец, возвратилась Лида и, отдав Тае кошёлку с продуктами, отправила её на кухню. Собравшись с духом, Сергей решил сразу перейти к делу:

— Лида, я должен тебе кое-что сказать...

Жена в этот момент пыталась растереть ноющую спину. Постоянные нагрузки всё-таки привели к возникновению грыжи, и бедная Лидия очень страдала от болей, которые ничем не удавалось смягчить.

— Судя по всему, что-то очень неприятное? — осведомилась она.

— Я сегодня видел Лару...

— Вот как? — жена чуть заметно поджала тонкие губы. — Поздравляю. Теперь я понимаю, почему в прихожей стоят мокрые ботинки, а ты выглядишь совершенно больным, несмотря на старания Таи.

— Я не заметил, что они мокрые...

— Ты, мой дорогой, много чего не замечаешь. Например, того, что с твоей руки исчезли часы...

— Часы... У меня их... Я их потерял, случайно.

— Слава Богу, что ты хотя бы не потерял плащ...

— Послушай! — Сергей поморщился, чувствуя, как начинает разбалчиваться голова. — Это всё не то... Не про то! Я видел Лару! Она в ужасном, в страшном положении! Ты себе не можешь представить!

— Неужели? — голос Лиды звучал жёстко. — Ты знаешь, сейчас очень много людей живёт в страшном положении! Не думаю, что положение Ларисы Евгеньевны ужаснее их!

— Оно, действительно, ужасно!

— Она лежит в постели и не может передвигаться?

— Типун тебе на язык...

— Она воспитывает одна троих детей, которые умирают от голода?

— Лида!

— Что?

— Она потеряла всех родных! Была в тюрьме, в ссылке... А теперь, теперь... Ей пришлось ступить на дурной путь, чтобы не умереть с голоду...

— Прости, но она ступила на этот путь давно, когда голод ей угрожал менее всего!

— Не смей так говорить! — воскликнул Сергей. — Что с тобой происходит, Лида? Ты же никогда не была жестокой! Я не узнаю тебя! Я говорю тебе о человеческой трагедии, а ты, кажется, готова ещё и ударить эту несчастную, вместо того, чтобы пожалеть её!

— Пожалеть? — Лида закусила губу. — А меня хоть кто-нибудь пожалеет, наконец, в этом доме? Посмотри на меня хоть раз! Я скоро не смогу поднять не то, что сумки, но саму себя! Мне больно ходить, сидеть, лежать, я не нахожу себе места! Но тебе же нет дела до этого! Ты уходишь на целую ночь из дому встречаться с... с... девкой, а утром являешься и требуешь у меня сочувствия её судьбе! Нет у меня сочувствия к ней! Точно так же, как у тебя нет его ко мне! — на глазах её блеснули слёзы, и она быстро вышла.

Сергей потрясённо замер, не находя слов, не зная, что теперь предпринять. Он и подумать не мог, что жене кажется, будто он не сочувствует ей. Как мог он не сочувствовать женщине, бывшей единственным по-настоящему близким ему человеком в течение стольких лет, матери своих детей? Просто не умел выразить... А она, оказывается, страдала от этого. И, вот, прорвалось. Что же за несчастье такое... И как теперь говорить дальше? Ведь надо же что-то решить. Он обещал Ларе вернуться... А тут ещё голова разболелась так, что того гляди искры из глаз посыплутся... И Степан, как на грех, в Посаде, не посоветоваться и с ним.

В комнату, по-кошачьи крадучась, вернулась Тая, снова присела на ковёр, положила ладонь на руку Сергея, спросила осторожно:

— Что-то случилось, да? Лидия Аристарховна плачет...

— Случилось то, милая Тая, что я, кажется, непроходимый дурак. Всем всегда хочу добра, а доставляю лишь неприятности...

— Неправда! — горячо возразил Тая. — Если бы не вы, я бы умерла.

Сергей тепло погладил её маленькую руку:

— Кажется, это единственное доброе дело, которое мне удалось сделать... Ах, Тая, если бы ты знала, в каком трудном положении я оказался. Сейчас меня

ждёт женщина, которой я пообещал помощь, пообещал, не подумав, как отнесётся к этому Лида. Я был уверен, что она поймёт... Когда-то она всегда меня понимала. Я не подумал, что она может понять именно... как женщина... Видимо, она подумала, что я всё ещё люблю Лару... Но это не так. Я просто помню то прекрасное, что у нас было, и во имя этого не могу покинуть её в беде. Это было бы... низко! Бесчеловечно! Но я всё же должен был больше побеспокоиться о чувствах Лиды, подойти к делу как-то иначе... А в итоге вышел какой-то кошмар! И что теперь делать?

Тая молчала. Да и что могла она сказать? Что могла понять из его внутреннего монолога, в сущности, и не к ней вовсе обращённого? Она лишь смотрела своим всегдашним полным сочувствия и участия взглядом и не отнимала руки.

— Надо, наверное, пойти к Лиде, повиниться перед ней... Господи, как голова болит, двух слов внятно не свяжешь с такой болью... А надо же торопиться. Надо же к Ларе идти, я обещал ей... Вдруг она не станет ждать? Вдруг сбежит? Ведь она же не в себе! Фантастическая женщина... Вдруг взбредёт в голову что-то страшное сделать? Из гордости? Чтобы помощи моей не принять? Я себе никогда не прощу этого! — он уже поднялся, подавив стон от боли, когда на пороге возникла одетая для прогулки Лидия, уже успокоившаяся и, как всегда, решительная.

— Где она живёт? — коротко спросила жена.

Сергей растерянно назвал адрес.

— Я поняла, — кивок в ответ. — Что ты стоишь? Ступай ляг. А я съезжу за ней... Тая, приготовь, пожалуйста, обед и приготовь гостевое место в столовой.

— За ней? Гостевое место? — Сергей не верил своим ушам.

— Разве ты не этого хотел? Не привести сюда эту особу?

Да, разумеется, именно с этим решением и возвращался он от Лары. Но после эмоциональной вспышки жены оно выглядело совершенно невозможным. И невероятным было, что Лида сама решила пойти на такую жертву. Не находился вновь Сергей, что и сказать, как выразить благодарность, словно дар речи потерял.

А Тая нашлась — подбежала к Лидии и порывисто поцеловала её руку, прошептала благоговейно:

— Лидия Аристарховна, вы самая благородная, самая милосердная душа! Мне никогда такой, как вы не стать!

Жена печально поглядела на воспитанницу, потрепала её по щеке:

— Ничего ты не знаешь, дитя... Не забудь про обед. И не говори ничего Аристарху Платоновичу. Я сама ему всё объясню, когда вернусь...

Глава 5. Соперница

Ещё никогда так не душила Лидию обида, как в этот день. Нет, она не обольщалась, конечно, что муж позабыл ту. Знала, что не позабудет, не та душа. Но, вот, так тайком встречаться с нею, а затем просто объявить... И требовать жалости к ней... Затмился обычно холодный рассудок от такой обиды. Разом вспомнились все собственные мытарства: экспедиции в отдалённые деревни за хлебом и картошкой, непосильные работы, потеря ребёнка... И ни разу не пожаловалась она, заботясь лишь о благополучии мужа и детей, наваливая и наваливая новые бремена на свои казавшиеся некогда столь крепкими плечи, чтобы уберечь его и их. И ни разу не оценил он этого, принимая как должное, оставаясь в тепле, когда она уходила в стужу добывать пропитание семье. И не заметил, что после таких трудов ей, ещё молодой, некогда пышущей здоровьем женщине, уже трудно подниматься по лестнице на четвёртый этаж, что она стала задыхаться от быстрой ходьбы и не может спокойно согнуть и разогнуть спины... Всё это проходило мимо его столь сочувственного чужим бедам взгляда.

Кого только ни жалел Серёжа! Кому только ни старался помочь! Вот, и девочку-сиротку привёз из экспедиции — не мог оставить её. Слава Богу, что оказалась она крепкого здоровья и ангельского характера, а не то намаялись бы. И маяться пришлось бы не сердобольному Серёже, а ей, жестокой и чёрствой...

А теперь ещё и это!

В первый момент много горьких упрёков хотелось Лидии бросить мужу. Но удержалась. К чему? Упрёками

дела не поправишь, а, вот, хуже растравить семейный мир — легче лёгкого. Попробуй заживи потом. Верная себе, Лидия и здесь, поплакав немного, обратилась к рассудку. В любом положении необходимо сперва выделить главное, затем отбросить неглавное и тогда определить дальнейшие шаги. Что всего главнее для неё? Мир в семье. Здоровье мужа и детей. Собственные чувства попадают в категорию неглавного. Таким образом, цель ясна. А цель определяет действия. Что будет, если проявить принципиальность и уважить собственную гордость? Серёжа будет страдать и метаться. Он уже пообещал что-то *той*, а, значит, обратного пути ему нет. Эти страдания и метания будут иметь два следствия: его болезнь, что неизбежно при таком напряжении, и полностью нарушенный мир в доме. Кому же станет лучше от этого? Да никому. И прежде всего, самой Лидии. Стало быть, остаётся одно: забыть о собственной гордости и взять дело спасения заблудшей души в свои твёрдые руки из нетвёрдых Серёжиных. А взяв, постараться разрешить его с наименьшими потерями для всех сторон и наиболее короткие сроки.

Принятое решение никогда не расходилось у Лидии с делом, а потому через час с небольшим она уже стучала в дверь комнаты Лары. Та, что открыла дверь, лишь смутно напоминала тень женщины, мысль о которой все эти годы ранила сердце Лидии. Полуодетая, едва пробудившаяся от тяжёлого, нетрезвого сна, она, действительно, выглядела жалко.

Лара болезненно сощурила покрасневшие глаза, отступила на шаг, спросила медленно хриловатым голосом:

— Вы его жена, не так ли?

— Меня зовут Лидия. Да, я жена Сергея. Удивлена, что вы меня узнали.

— Я видела вас несколько раз мельком, но у меня, к сожалению, хорошая память. К тому же природа несравненно милосерднее к вам, чем ко мне. Вы почти не изменились.

— Так уж и природа? — не удержалась Лидия от колкости.

— Вы правы... — спокойно отозвалась Лара. — Зачем вы пришли? Я просила вашего мужа не приходить более. И уж, во всяком случае, не ожидала вас.

— Вы, быть может, и просили, но он вовсе не собирался исполнить вашу просьбу.

— Я знаю. Он говорил, что придёт.

— Что ещё он говорил?

— Вам, наверное, это известно, если вы здесь...

— Мне известно, что он обещал вам помощь. Мой муж, как вы знаете, человек непрактичный. К тому же после приключений этой ночи он слёг с сильным жаром. Поэтому я сочла, что не будет вреда, если я приму участие в вашей судьбе.

— И вы полагаете, Лидия Аристарховна, что я допущу такое участие? — усмехнулась Лара.

— Почему нет?

— Потому что весьма унижительно принимать помощь, подаваемую из жалости некогда брошенным любовником, но вдесятеро хуже принимать её от его жены.

— А как вы думаете, не унижительно ли жене приходить с предложением помощи к бывшей любовнице мужа?

— Зачем же вы пришли?

— Затем, что мне дорог мир в моём доме. Дорого спокойствие моего мужа.

— Спасибо, что не присовокупили к этому, что вам дорога моя судьба.

— Я не имею привычки лицемерить, Лариса Евгеньевна. Мне, действительно, нет дела до вашей

судьбы. Но мужу есть. А значит, поневоле приходится и мне принимать в ней участие...

— Очень благородно с вашей стороны. Только мне ваши подачи не нужны. И его тоже.

— А, может быть, стоит хоть раз смирить гордыню? — предположила Лидия. — Скажите, что всё-таки обещал вам муж?

— Он обещал устроить мой отъезд за границу.

— Неплохо, — оценила Лидия щедрость супруга. — Что ж, обещания надо выполнять. Вы уедете за границу в скором будущем и, надеюсь, таким образом навсегда исчезнете из нашей жизни. А сейчас, окажите мне, пожалуйста, любезность: соберите ваш саквояж и поедете к нам.

— К вам? — на лице Лары отразилось неподдельное удивление.

— Да, к нам. Я приглашаю вас погостить у нас до тех пор, пока мы не решим вопрос с вашим отъездом.

— Вы хотите, чтобы я жила рядом с вашими детьми?

— Я этого очень не хочу. Но, боюсь, у меня нет выхода. А посему прошу вас принять моё приглашение и не заставляйте меня тратить дорогое время на уговоры и объяснения, которые никому не нужны.

— Вы странная женщина, Лидия Аристарховна, — промолвила Лара. — И ещё более странная жена. Если бы с таким приглашением ко мне пришёл Сергей, то, клянусь, я не приняла бы его никогда. Но у вас, мне кажется, есть какая-то вам одной понятная логика и вам одной известный план, которому мне не хотелось бы мешать, поэтому я принимаю ваше приглашение, а так же... все дальнейшие ваши решения. Поверьте, мне менее всего хотелось появляться в вашей жизни и смущать ваше спокойствие. Моей вины тут нет. Если бы не случайная встреча с господином Пряшниковым, то ваш муж никогда бы не узнал обо мне.

— Ах, вот, оно что! — в голове Лидии молниеносно составилась новый план. — Стало быть, это господину Пряшникову я обязана «счастьем» встречи с вами... Тогда дело упрощается.

— Что вы имеете ввиду?

— Объясню, с вашего позволения, позже. Я рада, что вы приняли моё приглашение. И тем более дальнейшие решения. А сейчас прошу: поспешите со сборами. Я бы хотела вернуться домой к обеду.

Никогда не следует раздувать и драматизировать возникшую проблему. От этого она не исчезнет. И тратить время на долгие обсуждения её тоже не стоит, так как оные нисколько не уменьшат её. Проблему надо решать. Всеми доступными средствами. Нужно быть врачом: сперва поставить диагноз, затем назначить курс лечения и твёрдо проводить его. Всю свою жизнь Лидия старалась следовать этому золотому правилу, и до сих пор оно не подводило её.

Они приехали домой аккурат к обеду, и Лидия сразу решительно ввела Лару в столовую и коротко представила отцу:

— Позволь представить тебе, папа. Это Лариса Евгеньевна Алявдина. Я нечаянно встретила её и сочла должным предложить нашу помощь, так как она оказалась в затруднительном положении. Лариса Евгеньевна проведёт эту ночь у нас... — она сделала паузу и закончила: — А утром Серёжа проводит её в Посад. Лариса Евгеньевна давно обещала позировать Степану, и, я полагаю, он будет весьма рад видеть её.

Лидия не сомневалась, что отец прекрасно понял, кто перед ним. Но профессор Кромиади отличался исключительным самообладанием и не имел обыкновения показывать своих чувств даже малейшим движением бровей. Он учтиво кивнул гостье и пригласил её садиться рядом.

Зато Серёжа не мог скрыть волнения, и, как только Лидия села рядом и приняла у Таи тарелку супа, зашептал ей на ухо:

— А я вовсе не уверен, что Стёпа будет рад...

— В самом деле? Значит, в другой раз он не станет сообщать тебе того, о чём всего лучше было бы умолчать, — также шёпотом откликнулась она. — Не волнуйся, тебе не придётся объяснять ничего лишнего. Я напишу Степану письмо, в котором всё объясню сама.

Вот так. Если не можешь воспрепятствовать некому вредному делу, то возьми его в свои руки и направь так, чтобы минимизировать вред, а то и получить пользу. Одна беда: сколько же драгоценных сил уходит на это...

Обед прошёл в нарушаемом лишь детьми молчании. Когда трапеза была завершена, Лара предложила Лидии помочь убрать со стола и, едва лишь они остались наедине, сказала:

— Как ловко вы распорядитесь другими людьми...

— Вы чем-то не довольны? Уверяю вас, в Посаде вам будет гораздо лучше. Не говоря о природе, у вас там будет простор, отдельная комната, а не угол в столовой квартиры, похожей на муравейник.

— Я так и поняла, что вы заботитесь исключительно о моём удобстве, — усмехнулась Лара. — Впрочем, воля ваша. Я обещала не нарушать вашего плана...

— Благодарю.

— Знаете, Лида, я вам завидую.

— Чему же?

— Вашему характеру. С таким характером не пропадёшь. Не то, что с моим...

— Распущенность, моя дорогая, не есть характер. Если бы я потакала своим желанием, то мой характер был бы совсем иным.

— Но чтобы им не потакать, нужно понимать их. И иметь волю... А у меня никогда не было ни того, ни другого. Вы очень презираете меня?

— Нет, — пожала плечами Лидия. — Я просто не думала о том, как к вам отношусь.

— Презираете, я знаю. Может, и справедливо... Одно меня утешает: кажется, одно доброе дело я невольно сделала... Если б я тогда не оттолкнула от себя Сергея, то он бы погиб. А вы совсем другое дело. Я очень рада, что он с вами. Поверьте, я говорю это искренне...

Лара осеклась, так как в кухню заглянул сам Серёжа, ободрившийся и оживившийся. Он искоса, чуть смущённо посмотрел на жену и обратился к гостье:

— Не хотите ли вы немного прогуляться по бульвару, Лара? Сегодня, кажется, чудный день...

Лидия нарочно не поворачивала головы, погрузившись в отмывание тарелок и незаметно покусывая губу.

— Я обещала помочь здесь... — пробормотала в ответ Лара.

— О, не тревожьтесь! — подала голос Лидия. — Вы же гостья в этом доме! Гуляйте, дышите воздухом, а с посудой мне поможет Тая.

Она не оставила своего занятия, пока оживлённый голос мужа не затих на лестнице, а затем медленно вытерла распаренные руки о передник, опустилась на стул и взглянула на подоспевшую Таю:

— Ну, как? Слышала? «Сегодня, кажется, чудный день!» Слышала ли ты, моя девочка, чтобы Сергей Игнатьевич хоть раз предложил мне прогуляться по бульвару? Правильно... И не услышишь. Потому что я для него всегда была кем угодно — другом, матерью его детей, сиделкой, но только не возлюбленной. А красивые слова, Тая, говорят только возлюбленным. А мне так всегда хотелось, чтобы и мне такие слова, такие взгляды адресовались. Понимаешь ли ты меня?

Девочка стояла перед ней неподвижно, сутулясь, не зная, куда деть не привыкшие к бездействию руки, молчала, но слушала с неподдельным вниманием.

Лидия подумала, что она совсем выросла из своего старенького платья, и пора бы пошить ей что-то новое, а заодно обучить, наконец, держать себя, как пристало взрослой молодой девушке, ничуть не лишённой привлекательности несмотря на худобу.

— Впрочем, всё это блажь! Своего положения я не поменяю ни на какие слова... Сергей Игнатьевич человек слабый, увлекающийся. Он быстро вспыхивает, но и угасает столь же быстро. Я допускаю, что он может даже сойтись с другой женщиной, поддавшись страсти, но он никогда не оставит меня. Потому что ни одна женщина не сможет заботиться о нём, как я, относиться к нему с таким бесконечным терпением...

— Я бы смогла! — неожиданно горячо сказала Тая. — Он ведь такой... — глаза её засветились, — хороший, добрый...

Лидия с любопытством посмотрела на неё. Да, пора справиться ей новое платье и заняться её манерами... По виду ребёнок она, а внутри вон какой бесёнок сидит уже. Она бы смогла — вот тебе и раз...

— Я рада слышать это, Тая. Значит, будет, кому позаботиться о нём, если я разболеюсь. Он ведь один не справится...

— Бог с вами, Лидия Аристарховна! — всполошилась Тая. — Что это вы говорите такое? Я глупость сболтнула, простите. Вы же знаете, я глупая, и язык у меня глупый...

— Ты не сказала ничего глупого и не должна оправдываться, — Лидия поднялась. — Сергей Игнатьевич спас тебе жизнь, и странно было бы, если бы ты относилась к нему иначе. А меня прости. Не следовало мне пускаться в такие откровения. Закончи здесь всё, будь добра. А я прилягу.

— Да-да, Лидия Аристарховна, отдыхайте! — закивала девочка.

Лидия снова окинула её оценивающим взглядом, каким не смотрела прежде. А ведь этот дичок года через два может чудной розой обернуться. Худоцава она, но какая фигурка ладненькая, какая талия осиная — любое платье на ней прекрасно сидеть будет. И это личико с глазами испуганной белки, и косы, густые, тёмные... Знать бы, что за мысли бродят в этой очаровательной и, судя по всему, слишком романтической для жестокого века головке. А, в сущности, не так и загадочны они. Довольно ко взглядам её присмотреться. Ведь собачонкой она на благодетеля своего смотрит. И только ли благодарность в том? Только ли привязанность детская?..

Глава 6. Парастас

— Любовь и ревность благая не знают безысходных положений; они способны оживить камень, а вера в бессмертие души сбрасывает могильную плиту как с самого покойника, так и с наших сердец. И прежде чем Батюшка воскреснет при Втором пришествии Иисуса Христа, он уже воскрес в наших сердцах...

Неповторимой скрипкой звучал под сводами храма голос отца Сергия, а его бледное лицо с тёмными, пронзительными глазами дышало вдохновением. И вся паства, вся покаяльно-богослужебная семья была в этот час единым целым, Церковью в подлинном и полном смысле слова. Отец Алексей считал главной задачей устроить жизнь прихода так, чтобы миряне могли приобщиться к той строгой церковности, какая сохранялась лишь в монастырях. Отец Сергий счёл за благо уточнить название общины, дабы избежать неверных трактовок. В допетровские времена бытовали на Руси покаяльные семьи — общины верующих, создававшиеся вокруг церквей, избираемых каждым не по территориальному признаку, а по душе. Избирал себе человек храм, в котором особенно легко и хорошо молилось ему, вне зависимости от того, где жил сам. Случалось, и из иных городов приезжали. Храм на Маросейке в точности таким был. Но к слову «покаяльная» присовокупил отец Сергий ещё и «богослужебная», ибо богослужение было важнейшей частью жизни маросейского братства.

Внутри братства были своего рода «ячейки» — небольшие группы верующих по несколько семей, регулярно собиравшиеся вместе, дабы почитать вслух духовные книги, побеседовать на духовные темы. Во главе каждой малой общины стоял избранный глава,

наиболее сведущий и мудрый человек, могущий помочь советом, направить. Такие добровольные помощники очень помогали Батюшке, принимая на себя хотя бы часть его нагрузки. Одну из таких малых общин возглавлял профессор Кромиади. В неё входила семья Надёжиных, Мария Евграфовна и ещё несколько человек. Аристарха Платоновича немало угнетало, что собственная его семья стала далека от жизни братства. Сергей и вовсе не имел в себе духа церковности, всё больше придаваясь философским изысканиям, а Лида, погружённая в борьбу за выживание, не находила времени для храма. Правда, внуков Кромиади старался приучать к церковной жизни, но с тревогой замечал, что и их, особенно старшего, Женечку, всё больше увлекают совсем иные материи. С восторгом липли они к роскошным витринам, рвались в синематограф на какую-нибудь глупейшую картину, а на службах скучали, бродили глазами по сторонам... А пройдёт несколько лет, и что станет с ними? Школа, приятели, пропаганда, новая «культура» сделают своё дело и, если почва, в которую старался он сеять добрые семена, окажется камениста, то без следа выветрятся они.

— Любовь и ревность сильнее смерти: они пересиливают природу и заставляют простое воспоминание о покойном Батюшке ожить в возлюбленном, милом и дорогом образе. Здесь действует тонкая душевная организация женщины с её нежной и проникновенной печалью, недоуменным удивлением пред фактом нежданного исчезновения дорогого лица и с непреодолимым конкретным желанием ещё раз увидеть Батюшку, взять у него благословение и поцеловать руку. Здесь женщина с быстрым и верным внутренним чувством правды в полном единении с исповедуемой религией воскрешает покойного в своём сердце и силою своей женской уверенности зажигает подобное чувство и в нас —

холодных аналитиках. В этом чудо любви и ревности, в этом мировая роль женщины, этим она выявляет по преимуществу религиозный характер своей природы.

Три года, как осиротела Маросейка, лишившись дорогого Батюшки, и с той поры каждую первую пятницу месяца совершался парастас по нему. И всякий раз чувствовалось, как не хватает его отеческого окормления. Когда грянула революция, отец Алексей всеми силами души обратился к народному горю. «Теперь такое время, когда все пустыnnики и затворники должны выйти на службу народу», — говорил он и предупреждал словами пророка Иеремии покидавших Россию: «Если останетесь в земле сей, то Я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо Я сожалею о том бедствии, какое сделал вам». Приходившим к нему Батюшка раскрывал Библию и указывал то же самое место, наставлял, что нельзя бежать от лица Господня, от гнева Его и особенно предостерегал от стремления «спасать Россию»: «Мы виноваты, мы согрешили перед Господом, и не кто-то другой. Никто не должен отказываться пить общерусскую чашу горести, чашу наказания, которую дал Господь».

Паломничество на Маросейку со всей России не могло не вызвать нареканий со стороны властей. Осенью 1922 года Батюшку вызвали в ГПУ и велели прекратить широкий прием посетителей под угрозой ареста. С той поры он принимал только прихожан и духовных детей. Это было тяжело для отца Алексея, всегда говорившего, что сердце пастыря должно расширяться настолько, чтобы оно могло вместить в себя всех нуждающихся в нем. «Пастырь, должен разгружать чужую скорбь и горе, перегружая эту тяжелую ношу с его плеч на свои...»

В том же году на Маросейке были арестованы два священника. К Батюшке наведалься милиционер с

предупреждением, что ему следует вовсе прекратить прием. Отец Алексей подчинился, чтобы не спровоцировать прихожан, которые неминуемо бы заступились за него в том случае, если бы власти осмелились арестовать его. Здоровье его слабело — он принимал в своей келье лежа, почти не вставал. 9 июня 1923 года поздно вечером Батюшка скончался...

Многое пришлось пережить братству за эти годы. И среди прочего — арест отца Сергия и его колебания, вызванные тяжёлой ношей, легшей ему на плечи. Что и говорить — нелегко наследовать при жизни признанному святому. Отец Сергий едва не оставил братство, считая себя не годным для руководства им. По счастью, Господь наставил молодого священника на путь, и он остался в родном храме, проповедуя, наставляя, утешая, всецело отдавая себя пастве, не жалея подорванного туберкулёзом здоровья.

Но одной ли Маросейке пришлось тяжело? Страдала вся Церковь. Во имя избавления её от обновленцев, захвативших власть во время заключения Святейшего, патриарху пришлось пойти на уступки власти. Уступки эти, правда, носили лишь формальный характер, сводясь к личному заявлению патриарха о том, что он «советской власти больше не враг». Данное заявление, хотя и вызывало скорбь, и ранило душу, но при холодном рассмотрении понималось, что, в сущности, оно не имеет большой значимости, так как никого ни к чему не обязывает, и было написано Святейшим от себя лично. Без сомнения, понимал это и сам патриарх, выбирая между двух зол. Останься он в заключении, и обновленцы окончательно погубили бы Церковь. А формальное заявление не имело никаких последствий.

Владыка Феодор, правда, отнёсся к такому ослаблению позиции негативно, как и вообще ко всей политике сосуществования с властью.

— Не может Церковь Христова сосуществовать со властью Антихриста, не удаляясь от Христа, — говорил он на собраниях Даниловского братства. — В конце концов, это приведёт к неизбежному отступлению от Христа, к предательству Христа. Мы должны все понять это! У Церкви остался один путь — тайное служение по примеру первых христиан. Никакого официального существования, официального института быть не может, потому что таковой будет вынужден идти на уступки власти, подчиняться ей. Не о сохранении его мы должны печься теперь более всего, но всемерно готовиться к переходу на катакомбное положение. Лишь в этом случае Церковь сохранит главное — свою божественную свободу.

Даниловское братство, по сути, превращалось в параллельный Синод. Впрочем, все его члены чтили Святейшего, а он благоволил им и нередко обращался за советом к владыке Феодору. И именно последний остановил патриарха, когда тот был уже почти готов изменить церковный календарь.

Владыка, однако, недолго ещё оставался в Москве. В 1924 году он был вторично арестован и сослан в Киркрай. Ещё одна брешь образовалась в духовном организме столицы. Этих брешей с каждым днём становилось всё больше. Аресты и ссылки стали нормой жизни русского духовенства. Тяжелейшей потерей стал арест архиепископа Илариона Верейского, ближайшего и наиболее талантливого и деятельного сотрудника Святейшего. Во многом, подавление обновленчества было именно его заслугой, и ни обновленцы, ни их кураторы из ГПУ не могли простить ему своей неудачи.

Но из всей вереницы тяжёлых утрат наиболее громовой стала кончина патриарха. И только когда не стало его, постиглось до конца, чем он был для Русской Церкви. Отец Валентин Свенцицкий всех проникновеннее сказал об этом в своей проповеди:

— Он был её совесть. В эпоху всеобщего распада, всеобщей лжи, всеобщего предательства, продажности, отступничества — был человек, которому верил каждый, о котором каждый знал, что этот человек не продаст правды. Вот чувство, которое было в сердце каждого из нас. Перед Престолом Российской Церкви горела белая свеча. У него не было ничего личного, ничего мелкого, своего — для него Церковь была всё. Тяжкие потрясения ожидают Православную Церковь и многие соблазны: будет усиление лжи и беззакония. Но ложь не станет правдой оттого, то её станет повторять большинство. Чёрное не станет белым оттого, что многие это чёрное станут признавать за белое... Не внешнее страшно нам, а внутреннее. Страшно наше собственное духовное состояние — особенно, когда между нами идут распри, когда нет единства в среде самих Православных христиан.

Хотя угадывалось, предчувствовалось, что, не сумев открыто расстрелять Святейшего, ГПУ не остановится и доведёт дело до конца утаённо, а всё-таки оборвалось сердце, когда пришло известие... И паче — когда в газетах явилось предсмертное письмо патриарха. Кромиади подлинности его не поверил, как не поверил и естественным причинам смерти. С чего бы стал писать Святейший подобный документ? Зачем перед смертью, когда не лгут обычно и закоренелые грешники, патриарх пошёл на ложь перед всей паствой? Не могло быть такого. А было другое: власти Антихриста очень нужен был такой документ, сфальсифицировать его не составляло труда, но при жизни Святейшего фальшивке невозможно было дать ход, значит, патриарх должен был умереть.

Почему-то, однако, высшие иерархи не сочли должным опровергнуть «завещание». Или надеялись ещё на возможность сосуществования и не желали навлекать горшие беды?.. Сокрушался Аристарх

Платонович, считая глубоко ошибочным молчание в таком важном вопросе. Ведь «завещание» это — какой великий соблазн для слабых духом! Какая индульгенция для нетвёрдых в истине!

Эта первая ошибка повлекла за собою новые. Желая обеспечить преемство церковной власти, Святейший на случай кончины определил трёх местоблюстителей патриаршего престола до созыва Собора и избрания нового предстоятеля. Этими тремя были митрополиты Кирилл Казанский, Агафангел Ярославский и Пётр Крутицкий.

В отличие от двух первых архиереев владыка Пётр до последних лет был не священнослужителем, а богословом. Патриарх Тихон сам предложил ему принять постриг, священство и епископство и стать его помощником в делах церковного управления в условиях репрессий большевиков против церкви. Принимая предложение, владыка сказал своим родственникам: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем Церкви, но когда соглашусь, — я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». Он был пострижен в монашество митрополитом Сергием (Страгородским), с которым состоял в дружеских отношениях ещё со времён совместной учёбы в Академии. За несколько лет владыка Пётр в ускоренном порядке был возведён патриархом в митрополиты. Такое скорое возвышение обуславливалось, как его немалыми дарованиями, так и близостью к Святейшему.

На момент кончины патриарха митрополиты Кирилл и Агафангел находились в ссылке. А митрополит Пётр, будучи ещё недостаточно искущён в делах церковно-административных, доверился своему другу митрополиту Нижегородскому Сергию, который взялся за дело устройства будущей судьбы Русской Церкви с неукротимой ревностью. Первым делом, он убедил владыку, что заступить на пост местоблюстителя

должен именно он, так как ссыльные архиереи не имеют возможности полноценно осуществлять свои полномочия. Далее, с не меньшей ревностью в том же были убеждены прибывшие на похороны патриарха шестьдесят архиереев, которых митрополит Сергей вдобавок уговорил поставить подписи в том, что они признают местоблюстителем митрополита Петра.

Ссыльные митрополиты, хотя и не поняли, почему их местопребывание мешает исполнять им свои обязанности, также признали первенство митрополита Крутицкого, дабы не вносить лишних раздоров в церковную жизнь. И всё бы было хорошо, если бы владыка Пётр не решил ещё больше упрочить Церковь. Видимо, исходя из постулата митрополита Нижегородского о том, что ссыльные архиереи не могут быть местоблюстителями, он счёл, что трёх местоблюстителей мало и решил назначить себе заместителей...

Строго говоря, институт заместителей был надстройкой вовсе неканонической, не оправданной никакими прежними постановлениями. Митрополит Пётр мог и не осознавать этого, но глубочайший знаток канонов, мудрый Сергей не знать этого не мог. Но, разумеется, промолчал. И поддержал. Да и как могло быть иначе, если именно он и стал первым заместителем доверившегося его опыту и мудрости владыки Петра?

Вскоре митрополит Крутицкий был арестован и сослан. И тут произошло замечательное: уже находившийся к тому моменту в ссылке Сергей поспешно принял на себя полномочия заместителя, ничуть не смущаясь тем, что ещё недавно убеждал всех, что из ссылки управлять церковью нельзя.

Митрополит Пётр допустил и ещё одну ошибку. Создав институт заместителей, он не указал границы их

власти. В итоге заместитель получал власть, равную... патриаршей.

Уже в самом начале, наблюдая за активностью митрополита Нижегородского, Аристарх Платонович предчувствовал недоброе. И не предчувствовал даже, а просчитывал аналитически. Профессор Кромиади был очень стар, он видел многое в жизни, а память его вмещала бесчисленное количество исторических фактов. И потому он легко, как хороший шахматист, разгадывал разыгрываемые партии в самом их начале. Кое-кто из знакомых даже подозревал в нём дар прозорливости. Аристарх Платонович лишь посмеивался на это. Прозорливость — дар святых. А грешным людям оставлен разум для того, чтобы наблюдать, анализировать и делать выводы.

Заместителя, между тем, признали. И он даже смог стяжать себе уважение, благодаря искусной борьбе с очередным «временным правительством», учреждённым архиепископом Григорием (Яцковским), который нарочно был освобождён из заключения, не отбыв оставшихся ему трёх лет. Архиепископ Григорий со своими единомышленниками объявили себя Временным Высшим Церковным Советом и, поддерживаемые ГПУ, попытались повторить тот же шулерский приём, какой некогда применили обновленцы в отношении патриарха. Получив обманном путём резолюцию митрополита Петра, они намеривались узурпировать власть в Церкви и управлять ею якобы от его имени, а в реальности — по указке ГПУ.

Этот вдруг явившийся «совет» поверг всех в испуг — того гляди могла начаться новая смута, как в год ареста Святейшего. А ведь только-только подавили её! На фоне такой угрозы мудрый Сергей казался подлинным защитником Церкви. С каким искусством он обличал её врагов, опираясь на каноны, которые знал,

как азбуку! Но Церковь ли защищал митрополит Нижегородский? Или всё-таки свою заместительскую власть, вырываемую из его рук григорианами?

Немало восторженных речей услышал Кромиади за это время. Умные, чистые люди славили Бога за то, что в такой критический момент у кормила церковной власти оказался мудрый Сергей! Цитировали его обличения в адрес «григориан», поддерживали, когда он вознамерился придать их прещению, хотя не имел на то ни малейших канонических прав, поощряли нарушение правил во имя благой цели защиты этих самых правил... Чудо да и только! Он, — восхищались они, — канонист! Не велика заслуга. Вызубрить нечто и попугай может. Вопрос, для чего? Знал мудрый Сергей каноны, да только пользовался ими так, как ловкий крючкотвор законами.

Никак не мог взять в толк старый Кромиади, откуда вдруг такая вера человеку, который одним за первых среди архиереев перешёл на сторону обновленцев во время ареста Святейшего, издав специальное воззвание и став соблазном для многих? А до того всегда водил дружбу с либералами в рясах и без ряс? Привечал революционеров?

— Да ведь он же покаялся! — спорили почитатели.

Покаялся... А что же оставалось делать ему, когда их партия потерпела крах? Выйдя из заключения, патриарх в короткий срок изгнал обновленческую нечисть из храмов, которые пришлось освещать заново. С позором вынуждены были покинуть Князь-Владимирский храм Красницкий сотоварищи, для водворения которых в нём, ГПУ сослало прежнее духовенство храма. И в этих-то стенах кроткий и милостивый Тихон принимал покаяние тех, кто возвращался в лоно истинной Церкви из обновленческого раскола. Принимал, как отец блудных сыновей... Одним из таких кающихся был и Сергей.

Истинным ли было это покаяние? Чужая душа потёмки, но Аристарх Платонович сомневался. И в этом сомнении получил неожиданную и весомую поддержку.

Ещё зимой вместе с несколькими сёстрами покаяльно-богослужебной семьи он проехался в Холмищи, куда по закрытии Оптиной пустыни был выдворен её последний старец — Нектарий. Старец был болен, ему приходилось жить чем Бог послал в убогой избёнке, но поток ищущих совета и духовной помощи к нему не оскудевал. В тот день кроме гостей с Маросейки было у него ещё несколько паломников. Кто-то упомянул о борьбе митрополита Сергия с «григорианами». Старец задумчиво помолчал, глядя дремлющую у него на коленях кошку, затем проронил:

— Бывшему обновленцу веры нет...

— Да ведь он покался! — вечный аргумент в ответ прозвучал.

Старец качнул головой:

— Покался, да... Только яд в нём сидит!

Этот яд давно искал выхода. И, вот, подходил случай...

подавив «григориан», Сергей поставил вопрос о легализации церкви, как официального учреждения в Советской стране. Сбывались опасения владыки Феодора, но никто как будто и тут не почувствовал угрозы.

Вернувшийся из ссылки митрополит Агафангел объявил о том, что готов заступить на пост местоблюстителя. Но не тут-то было. Не для того стал Сергей у кормила, чтобы так просто отдать власть. Он объявил притязания Агафангела необоснованными, так как пост местоблюстителя уже принадлежит митрополиту Петру. Конфликт начал разгораться. Сам митрополит Пётр, узнав о происходящем, подтвердил права митрополита Агафангела, но и ему Сергей не подчинился, мотивировав это тем, что, находясь в

заклучении, владыка попросту не может разбираться в делах, а, значит, и принимать решения. Эта наглая узурпация, однако, была принята большинством иерархов, боявшихся раскачки церковной лодки. Собственные викарии, в числе которых был и третий заместитель митрополита Петра епископ Ростовский Иосиф, уговорили владыку Агафангела отказаться от местоблюстительства во имя церковного мира, что не помешало Сергию предать противника церковному суду.

Поощрение дурных наклонностей ведёт к их углублению. Митрополит Сергей вёл свою игру с ловкостью бывалого шулера, но никто не останавливал его, не обличал. Наоборот, он получал поддержку и всё более входил во вкус. А войдя, уже не мог остановиться. Поставив себе целью легализацию Церкви, Сергей обратился в ГПУ. ГПУ, как известно, может всё. Вот, только что потребует оно взамен? Жизнь тела нередко оплачивается душой. И не душу ли Церкви потребуют в обмен на бюрократическое «тело»?..

Тяготили эти мысли Аристарха Платоновича. И не отогнать их! И даже поделиться ими толком не с кем... Большинство не готовы ещё понять, а тех, кто понял бы, уже нет рядом. Одни в тюрьмах и ссылках, другие на небе...

— И когда наступит грозный и вместе с тем сладостный час. Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, то пожелаем, чтобы все мы, батюшкины, собрались около него и с успокаивающей нашу трепещущую душу радостью услышали бы дерзновенный голос самого Батюшки, обращённый ко Христу: «Вот я, а вот мои дети». Аминь.

Вот, разве что этого светлого часа и ждать — а на земле уже добра чаять не приходится. Перекрестился Аристарх Платонович, воскресив перед взором незабвенные черты старца Алексия, и как наяву

услышалось знакомое, всякому пришедшему со своей
нуждой говоримое Батюшкой с непередаваемой верой,
укреплявшей людские души: «Я помолюсь!»

Глава 7. Побег

Северное лето коротко. Не успеет пригреть, как налетают вновь студёные ветры, и сгущается морок, в котором день сливается с ночью. В холодной спайке дней перестают различаться числа, человек заживо вмерзает в безвременье...

Надвигающаяся осень, быстро переходящая в зиму в этих краях, навевала уныние на всё живое, полуживое и живое едва. И лишь несколько человек ободрились духом, ощутив тощими телами первые порывы норд-оста.

Каждое утро Родион с надеждой смотрел на залив, ожидая, когда затянут его туманы, заскрипит тревожно коварная шуга. Туман опасен для мореходов, но для отчаянных, решившихся поставить на кон жизнь в надежде выиграть свободу, он — единственный помощник, способный укрыть их своей пеленой от погони, будь она по воде или по воздуху.

Долго вынашивал Родион свой план и за это время убедился, сколь верны были слова архиепископа Верейского: не столько страшна пытка, муки тела, сколько духовная атмосфера недоверия, подозрительности, лжи и злобы. Невыносимее всего никому не верить и во всяком подозревать предателя. Но иначе нельзя, потому что предателем может оказаться каждый. Лагерь калечит души. И почти никогда нельзя быть уверенным, что твой товарищ не предаст тебя — за лишнюю пайку, за пару тёплых сапог или из страха. Родя видел, как происходит ломка людей, казавшихся стойкими. И как, позволив себя сломать однажды, они уже не могут найти сил выпрямиться, но день за днём расчеловечиваются, разрушаются. Трудно угадать, на что способен человек,

потому что ни один человек и сам о себе не может этого знать наверняка. Иной доходяга способен пойти на Секирку, но не «ссучиться», как говорят блатные. А другой, как будто бы крепкий и сильный, вдруг размякает при первых же ударах и обращается из человека в слизь...

Страшно, когда нет возможности верить ближнему, когда в каждом приходится видеть потенциального врага. От этого можно сойти с ума. И некоторые сходили... Вот, и Нерпин, с которым держались плечом к плечу от самой Лубянки, Нерпин, который единственный знал о плане, не выдержал этого напряжения. Родиону он не мог простить участия в спасении Сухова, повторял страстно с блуждающими, нездоровыми глазами:

— Я бы этих тварей сам топил, Аскольдов! Топил бы и топил без сожаления, без разбора... Баржами бы топил! Как они нас! Собрал бы всю эту сволочь на баржу, отвёз на середину залива и пустил ко дну! То-то бы веселье было! — при этих словах он начинал истерично смеяться.

Родион немало опасался, что в таком душевном состоянии Нерпин может сболтнуть лишнего, и тогда Секирной горы не миновать им обоим. Но всё обернулось иначе.

Летом заключённые почти не знают отдыха. Их заставляют работать до глубокой ночи, не давая перевести дух. Сверхурочные часы приводили ещё и к тому, что уголовники успевали сожрать все пайки, что обрекало прочих на муки голода до самого утра. Однажды, когда после долгого, как целая вечность, дня было объявлено о продлении работ, Нерпин не выдержал и набросился с топором на конвоира. Его тут же скрутили, но не расстреляли, а, раздев догола, поставили «на комаров». Москиты чёрной стаей мгновенно облепили несчастного, крепко привязанного

к дереву. Это было жуткое зрелище. Тем более жуткое, что под страхом расстрела нельзя было помочь. Конвой потешался, наблюдая судороги своей жертвы, которой практически не было видно в чёрном рое кровососов...

Он был ещё жив, когда его отвязали. Но почти не мог шевельнуться и вряд ли понимал что-нибудь. Капитан Виктор Нерпин умер два дня спустя и был зарыт в землю без какого-либо опознавательного знака...

Этот случай ещё сильнее обострил желание Родиона бежать как можно скорее. Ведь можно и самому стать кормом для комаров или быть замурованным в каменный мешок. А к тому на Соловках всё более разгоралась эпидемия тифа, завезённого сюда одним из судов с «большой земли». Тиф беспощадно прореживал население острова.

В эти недели Родион во всей полноте постиг, что такое настоящий страх. Страх мгновенный перед нацеленным на тебя дулом — ничто. Но страх, не оставляющий тебя дни напролёт, нащёптывающий тебе самые безумные, а то и преступные мысли — страх настоящий. То был страх умереть глупой, мерзкой смертью и сгинуть без следа, без памяти.

Тиф, однако же, миновал его стороной и даже сыграл положительную роль. Для тяжёлых работ стало не хватать сильных, выносливых заключённых. Родион, до сих пор относившийся к таковым, был приписан к небольшой артели, состоявшей почти сплошь из моряков, обычно державшихся сообща и в стороне от «чужих». Поначалу к Аскольдову относились насторожённо. Родион почувствовал это сразу и вскоре понял, почему. Эти люди замыслили то же, что и он...

Во главе «заговора» стоял лейтенант Колымагин. Вместе с мичманом Проценко и матросом Глебовым они, по-видимому, не первую неделю готовились к своему предприятию. Держались моряки осторожно, и вряд ли

Родион заподозрил бы их, если бы сам не вынашивал того же плана.

Однажды утром он выследил Колымагина, прятавшего в тайнике добытые для путешествия припасы.

— Не боитесь, что кто-нибудь найдёт это богатство, Владимир Андреевич? — окликнул Родион лейтенанта.

Тот вздрогнул и резко обернулся с лицом столь решительным, что Аскольдов внутренне порадовался, что в тайнике не было оружия.

— Что вы здесь делаете, господин подполковник?

— Всего лишь хотел поговорить, — миролюбиво ответил Родион, присаживаясь на камень и свёртывая самокрутку из обрывка местной соловецкой газеты. — Да не волнуйтесь так. Я не соглядатай и доносить на вас не собираюсь.

— Что же вам нужно в таком случае?

— Полагаю, то же, что и вам. Попутного ветра и свободы за пределами огромного лагеря размером с одну шестую суши, именуемого Совдепией. Собственно, только поэтому я и разгадал вашу конспирацию. Узнал кое-что своё...

Колымагин немного успокоился и сел напротив. Это был крепко сложенный молодой человек с волевым, обветренным лицом и глубоко посаженными, цепкими глазами.

— Что ж, отпираться, полагаю, бессмысленно. Вы видели довольно, чтобы отправить всех нас в каменные мешки. Если вы говорите правду, то опять же, вероятно, выбора у меня нет.

— Отчего же нет? Я уже сказал вам, господин лейтенант, я не стукач. И не донесу на вас даже в том случае, если вы заявите, что четвёртый сообщник вам не требуется.

— Отрадно слышать. Но я вам этого не скажу. Если вы не столь благородны, как сами говорите, то мне нет

резона рисковать, настраивая вас против себя. А если вы всё же таковы, то было бы подлостью с моей стороны отказать вам. Тем более, что вы, по счастью, не доходяга. И... судя по истории с Суховым, не страдаете морской болезнью.

— Благодарю вас, Владимир Андреевич.

— Только условие: приказы отдаю я.

Родион протянул Колымагину руку:

— Я артиллерист, а не моряк, так что в адмиралы не мечу и готов быть простым матросом.

Рукопожатие скрепило договор.

План Колымагина был прост и нахален, но именно это и подкупало в нём. Русские всегда брали неожиданностью — это Аскольдов твёрдо усвоил из военной истории. В плане моряков был дух той самой, любимой Родионом «партизанщины», которая всегда удачливее «регулярства».

Нужно было с вечера ускользнуть из барака, угнать быстроходный прогулочный катер товарища Эйхманса, сконструированный для него одним талантливым морским инженером из числа заключённых, и бежать на нём под покровом ночи и тумана. За несколько часов до утренней проверки можно было уйти очень далеко. Правда, Колымагина волновало отсутствие компаса и скверное качество добытой карты.

— И судёнышко... хлипкое! — присовокуплял мичман. — Если в шугу попадём, в порошок сотрёт.

Колымагин был у начальства на хорошем счету, несмотря на свой независимый нрав. Выносливый, умный, образованный офицер, он ко всему прочему отличался находчивостью, которая не раз выручала чекистов. Что бы делали они, например, когда возвращавшийся из Архангельска ледокол успел крепко вмёрзнуть во льды залива, пока его капитан пил вместе с лагерным начальством? Ледокол не может начать крушить лёд сразу, не имея пространства для

«разбега». Колымагин нашёлся, как этот «разбег» организовать. Под его руководством моряки двуручными пилами выпилили перед замёрзшей посудиной дорогу во льду.

Такое положение давало Владимиру Андреевичу чуть большую свободу манёвра, чем у других заключённых. Во многом, именно благодаря этому, и удалось подготовить всё необходимое для побега. Великое благодеяние оказал беглецам механик, обслуживавший единственный на острове самолёт. Он вывел его из строя накануне побега, а канистру с горючим передал для катера. Этот мужественный человек шёл на смерть. Может быть, мучительную. Шёл, чтобы спаслись другие...

И, вот, заветная ночь пришла. У лагерного начальства как раз случилась очередная масштабная попойка, и это сыграло на руку.

Когда катер тронулся, разверзая белёсую стену тумана, Родион перекрестился:

— Ну, помоги нам Бог!

— Хорошо бы Он разверз перед нами море, а затем потопил наших преследователей, — усмехнулся матрос.

— Скажите, господин подполковник, как вам удалось вырваться из шуги, когда вы спасали Сухова? — спросил Проценко.

— Я здесь ни причём, — отозвался Аскольдов. — У нас был святой кормчий...

— Святой — это хорошо. Нам бы такой очень кстати был, а то, неравён час, утянут нас грехи на дно.

Родиону вспомнилось то давнишнее плавание. Неповоротливый баркас, статная фигура владыки у кормила, негромкое пение псалмов монахами... Тогда и не думалось, что лодка может пойти ко дну. Неведомая сила несла её по воде сквозь бурю. И Аскольдову казалось, что, если бы кормчий просто вышел из неё и

пошёл по волнам, то не утонул бы, веруя и опираясь на незримую Руку.

Теперь всё было иначе. Теперь крутила буря лёгкое, как пёрышко, судно, а оно взлетало на волнах, опасно кренилось. Ледяная вода заливалась через борт, и Родион вместе с матросом судорожно пытались вычерпывать её. Колымагин заметно нервничал и, видимо, был совершенно бессилён. Он не имел компаса, не видел ни зги на расстоянии собственной руки. Он не вёл своё маленькое судёнышко, им всецело правила буря.

— Господин лейтенант, мы потонем! — срывающимся голосом вскрикнул мичман. — Надо что-то делать!

Колымагин посмотрел на него спокойно и ответил:

— Вы правы, господин мичман, мы тонем. Но сделать ничего не можем. Это — шуга. Молитесь, если верите в Бога. Больше нам помочь некому.

Сам Владимир Андреевич в Бога не верил. По его бесстрастному лицу невозможно было определить, о чём он думает. Но Родион предположил, что мысли лейтенанта теперь далеко отсюда — рядом с женой и маленьким сыном, оставшимися в Петрограде.

А юноша-мичман заметался, зачем-то чиркнул спичкой, которую тотчас задул ветер, и готов был расплакаться. Колымагин отнял у него спичечный коробок, бросил гневно:

— Спичек у нас мало, господин мичман, и потрудитесь не расходовать их столь бездарным образом!

— Какая разница, сколько их, если мы всё равно потонем?!

— Не будьте бабой, чёрт вас побери. Мы все знали, на что идём. И, если нам суждено погибнуть, то потрудитесь хотя бы не заставляя нас слушать ваши причитания.

— А что вы предлагаете? Ждать, когда нас разнесёт в щепки?!

— Можете не ждать. А избавить нас от своего общества, сделав шаг за борт. А если вы не прекратите истерику, мне придётся вам в этом помочь.

Жесток был лейтенант Колымагин, но отповедь помогла: мичман умолк.

«Молитесь...» При этих словах Владимира Андреевича Родион вспомнил напутствие владыки: «Молитесь и дерзайте...» Дерзости с избытком было в отчаянном предприятии, а молитвы... Промокший насквозь, замёрзший, измождённый до предела, Аскольдов стал молиться. Вода всё пребывала, и металлический скрежет шуги сливался со скрипом несчастного катера. Между тем, сквозь морок тумана забрезжил рассвет. Родион почти терял сознание от усталости, за рёвом бури ему почудились голоса монахов, поющих псалмы. Судно угрожающе хрустнуло, накренилось, и Аскольдов безразлично подумал, что это конец. Но в тот же миг раздался крик Глебова:

— Земля!

Земля? О, чудо! О, счастье! Но, однако же... Какая именно земля? И не ждёт ли на этой земле отряд ГПУ?..

Домыслить эти страхи Родион не успел, так как многострадальная посудина, почти дотянув до берега, всё-таки развалилась пополам, и беглецы оказались в ледяной пучине. Аскольдов успел ухватиться за обломок катера и с помощью этой опоры сумел добраться до берега.

Немного придя в себя, он обнаружил лежащих неподалёку от себя Проценко и Глебова. Лейтенанта нигде не было видно. С трудом поднявшись, Родион подошёл к мичману и, толкнув его, спросил:

— Где Колымагин, мичман?

— Не знаю... — бессильно мотнул головой тот.

— Лейтенант, кажется, пытался спасти наши харчи... — подал голос Глебов. — Я ему крикнул: «Бросьте мешок, ваше благородие!..» А он орёт: «Без жратвы всё равно подохнем...»

— Так что же ты не помог ему?! — потрянул Родион матроса за грудки.

— Я Владимира Андреевича уважаю, но из-за харчей на дно идти — премного благодарен! Да и разнесло нас волнами...

— Значит, ни харчей, ни командира, — подвёл итог Аскольдов. — И чёрт знает, куда нас занесло... — несмотря на крайнюю усталость, он ещё нашёл в себе силы, чтобы оценить положение. — Поднимайтесь, друзья! Как бы то ни было, нам нельзя оставаться здесь. На берегу нас найдут в два счёта. Нужно уходить в лес.

— Помилуйте, господин подполковник! Надо хотя бы обогреться сперва!

— Вы дурак, мичман, — холодно констатировал Родион. — Уж не собираетесь ли вы разжечь сигнальный костёр для нашей погони?

— Родион Николаевич дело говорит, — согласился Глебов. — Только я далече не уйду. Сапоги в море остались...

Проценко била дрожь. Одежда на нём была изорвана так, что в прорехе у лопатки видно было испещрённое ссадинами тело. «Мальчишка! — подумалось Родиону. — Совсем мальчишка... Сколько ему? Небось, и двадцати нет. Шея, как у цыплёнка, тоненькая, один кадык острым бугром торчит...» Юношу стало жаль. Расклеился он от усталости и холода. Вот, и икал уже не то от обморожения, не то от всхлипов, которые душили его.

— Полноте, мичман... Не время унывать. Мы первый день на свободе!

— Владимира Николаевича жалко...

В самом деле, жаль Колымагина. Погиб героем...

— Довольно, — Родион понял, что жалостью лишь ещё более размягчит Проценко. — Потрудитесь встать и следовать за мной. Здесь, на суше, я, как старший по званию, принимаю командование на себя. Если вы не хотите вернуться на остров, поднимайтесь и идёте. Иначе я уйду один. Вы поняли приказ, мичман? Он касается и вас, Глебов.

Они всё-таки пошли за ним. Побрели в лес, оказавшись в котором, Аскольдов, с детства отлично ориентировавшийся в нём, определил, куда следует идти, чтобы пробраться на запад, к финляндской границе...

Беглецы шли медленно, изнемогая от усталости и голода. Однако, зоркий взгляд Родиона всё же заметил следы на болотистой лесной тропинке: форменные сапоги и собачьи лапы. Это — ГПУ. Погоня.

С тропинки пришлось уйти в сторону, пробираться по бездорожью. Внезапно впереди показалась одинокая ферма. Проценко встрепенулся:

— Родион Николаевич, смотрите! Может, удастся добыть там что-нибудь съестное?

— Подождите, мичман. Откуда вы знаете, что там нет ГПУ?

— Разве вы видите здесь хоть какие-нибудь следы?

— Не вижу, — согласился Аскольдов. — Но на рожон лезть не хочу. Обождём, не выйдет ли кто оттуда.

— Обождём, — хмыкнул Глебов, со страдальческим видом дую на израненные ноги. — Обождём, пока нас здесь застукают? Или пока сами окоченеет? И, чёрт возьми, я не могу больше идти по лесу без обуви!

— Посмотрите, — вновь стал уговаривать Проценко, — никаких следов, никаких признаков жизни! По-моему, эта ферма просто пуста! Но какие-нибудь вещи или еда там могут сыскаться. Наконец, нам

необходимо, наконец, согреться! А там мы сможем развести огонь!

— Что ж, поступайте, как знаете, — махнул рукой Аскольдов. — Но я остаюсь при своём мнении, так что, если хотите, идите вперёд и разведайте обстановку. А я буду ждать здесь.

И они пошли... Почти побежали в надежде найти тепло и пищу. Но нашли совсем иное... Родион видел, как Проценко и Глебов осторожно подошли к ферме, как сперва постучали, а затем вошли в незапертую дверь. А после раздались выстрелы. Подозрения Аскольдова оправдались: в доме располагался штаб ГПУ...

На миг Родион вскочил с порывистым желанием броситься на выручку товарищам, но тотчас остановился. Чем он мог помочь им, даже не имея оружия? Проклиная себя за то, что не запретил двум отчаянным идти на ферму, Аскольдов поспешно устремился прочь, в лес. У ГПУ есть собаки, и их непременно пустят по следу, и тогда настигнут и его.

Неподалёку протекала небольшая речушка, и Родион, не задумываясь, бросился в неё, перебрался на другой берег, чтобы собаки потеряли след. Он едва дышал, но не смел остановиться. Ему чудилась погоня, которая вот-вот настигнет его.

Наконец, с наступлением темноты, окончательно выбившись из сил, Аскольдов спустился в небольшую ложбину и всё-таки отважился развести костёр. Свой коробок со спичками он старательно обернул в непромокаемый пакет, и они уцелели. Безумно хотелось есть. За весь день он съел лишь пару сырых грибов и ягод, попавшихся по дороге. Но еды не было, и Родион провалился в граничащий с бесчувствием сон, не ведая, суждено ли ему проснуться самому, или быть разбуженным лаем собак и грубым окриком чекиста...

Глава 8. Отпущение грехов

Он давно не приходил в её сны. Словно забыл, канув в неведомое, оборвав последнюю призрачную связь. И вдруг пришёл. И это был один из самых страшных снов в её жизни. Она видела лишь темноту и его, бегущего, преследуемого стаей волков. Вот, он падает, и они уже совсем-совсем близко, щерят клыки и готовы растерзать его. Он выкликает её имя, зовёт её, а она не может броситься ему на помощь, точно стальными тросами связана, точно придавлена гранитной плитой.

Аглая резко села, отбросив с себя одеяло, чувствуя, что сорочка, в которой она спала, стала мокрой от пота. Перед глазами всё ещё бредово метались обрывки увиденного кошмара. К чему бы такой сон? И что — с ним? Жив ли? В беде ли?

Аглая тихонько поднялась и прошла в детскую, бесшумно затеплила лампаду и, сев возле спящей Нюточки, задумалась. Она никак не могла привыкнуть к новому жилищу, к этой квартире, к Москве, куда изверга перевели на новую должность...

А ещё трудно было привыкнуть к тому, что этот человек теперь её законный и даже венчанный муж.

Много изменилось в их жизни за эти месяцы. Потеряв ребёнка, Аглая, обладавшая завидно крепким здоровьем, оправилась быстро. Правда, доктор сказал, что детей она больше иметь не сможет, что вызвало у неё лишь мысленный вздох облегчения. А, вот, Замётов слёг после «купания» в проруби надолго. Он был почти при смерти, и, вероятно, не выжил, если бы ни хороший уход.

— Вы обязаны жизнью вашей жене, — сказал извергу доктор, когда тот начал поправляться.

И это было правдой. Она не отходила от него ни на шаг всё это время, кормила с ложки, ходила, как за ребёнком. Когда доктор ушёл, он долго и пристально смотрел на неё, затем спросил:

— Зачем ты выхаживала меня? Разве не удобный случай выпал избавиться? Освободиться от меня навсегда?

— Мне приходила в голову эта мысль, — ответила Аглая.

— Всегда ценил твою честность... И отчего же ты ей не последовала?

— На мне много грехов, Замётов. Но ничьей души я не загубила и не хочу загубить.

— А я ведь грозил тебе, ты помнишь?..

— Я помню. Но Бога я боюсь больше, чем тебя... Я это поняла за последние недели. Я устала, Замётов. И поняла ещё, что зачем-то нас с тобой связала судьба мёртвым узлом. И не распутать его. Не разойтись нам по своим дорогам... Я буду тебе женой, Замётов. Законной. И я хочу, чтобы мы венчались... Между нами много зла, много грязи, но, если уж суждено нам вместе быть, то пусть хоть что-то будет по-людски, как порядочным людям пристало. Да и Нюта в разум входит начинает — не хочу, чтобы она росла, грязь и злобу видя.

— Что ж... — вымолвил изверг, — будь по-твоему. Я устал не менее твоего и не менее твоего хочу мира под своей крышей. Аню я не трону, не бойся. И не тронул бы никогда... Она единственное, может быть, существо на земле, которое во мне видит человека и даже искренне привязано ко мне. Неужели ты думаешь, что я бы причинил зло единственной в мире душе, которая меня любит?.. Я не такой людоед, каким ты меня считаешь. Я тоже человек, попытайся понять это...

Последние слова были сказаны с таким страданием, что тронули Аглаю. Так был заключён мир, который

держался вот уже несколько месяцев.

Переезд в Москву лишь упрочил его, полагая начало новой жизни на новом месте. Аля никогда не видела столицы, а, увидев, немного испугалась. Слишком шумным показался ей город, слишком многолюдным. А главное — движение! Извозчики, машины, трамваи, сами люди — всё бежало, мчалось, несло сломя голову, точно боясь опоздать на самое важное мероприятие в своей жизни. Это было так странно и непривычно для провинциального взгляда...

В один из первых дней пребывания в столице Замётов удивил Аглаю приглашением прогуляться по Петровке. Это, как выяснилось, была «модная улица» Москвы. В глазах пестрело от многочисленных витрин с платьями, обувью, шляпками, галантереей и косметикой. Женщины, измученные лишениями, жаждали теперь одеться красиво, снова быть привлекательными. Они — живые модели — прогуливались здесь же. Тонкие талии, подчёркнутые широкими поясами, туфли на тонких, высоких шпильках, большие лакированные сумки, аромат духов — как были прекрасны эти дамы! Как ни побита была Аля жизнью, а здесь дрогнуло женское сердце. Ни одна женщина, будь она даже измученной до последней стадии, будь она даже умна, как самый учёный муж, никогда не сможет равнодушно смотреть на изящную туфельку на чужой изящной ножке...

А Замётов заметил, как оживились глаза жены, по его похожему на сушёный урюк лицу пробежала довольная улыбка:

— Пора и тебе, моя дорогая, одеться по-московски и в соответствии с твоим положением.

— Но ведь здесь так всё дорого... — пробормотала Аля.

— А ты не смотри на цены. Просто выбирай, что тебе нравится. Я хочу, чтобы у тебя сегодня был праздник. А

для женщины нет большего праздника, чем прогулка по модным магазинам и покупки...

С последним Аглая могла бы поспорить, но не стала. Почему бы и не позволить себе маленькую радость? Только непременно надо и для Нюточки подарки выбрать — тогда и совсем ладно будет.

После этого налёта на Петровку Аля долго изучала себя в зеркале. Клюквенного цвета кофта шёлковой пряжи, песочные фетровые туфли, аккуратно уложенные волосы... Нет, она уже давно не та девчонка-босоножка, какой когда-то была в Глинском. А что же она? Новый наряд, хоть и прост был, а всё-таки слишком вычурный, неловко было в нём Аглае. Но, что греха таить, на отражение своё в нём приятно смотреть.

— Замётов, а что я буду делать в Москве?

— Жить, — пожал плечами муж.

И то правда. Почему бы просто не жить?

Первое время Аглая с интересом осматривалась в столице. Она и представить себе не могла такого изобилия. Петровка, Кузнецкий Мост, Москвошвея, ГУМ — чего только ни было в их роскошных витринах! А в Филипповской булочной на Тверской — одних сухарей двадцать видов! А ещё не меньшее число — хлеба, булок, пирожных... А рынки! Сухаревский, Анановский, Зацепский... Вот, где есть простор развернуться душе любой хозяйки, не стеснённой в средствах. Только за торговцами глаз да глаз — не то всучат какую-нибудь тухлятину. С хозяйской основательностью изучала Аля столичную торговлю. Коли впредь жить здесь, так и надо осваиваться, обвыкаться на новом месте, узнавать его нравы и повадки. Да и несложно это вовсе. Хороша Москва! Вот, только трамваи пугали Аглаю, и всякий раз внутренне напрягалась она, подходя к путям.

В Москве Замётову, как руководящему работнику, выделили две хорошие комнаты в коммунальной

квартире на Малой Дмитровке. Дом, в котором она располагалась, был типичным старым особнячком, некогда принадлежавшим известному московскому меценату Тягаеву. В первые же дни Аглая познакомилась с соседями. Две лучшие комнаты занимал известный в столице врач Дмитрий Антонович Григорьев, лечивший как многих высокопоставленных членов партии, так и «бывших людей», которые могли позвать его даже среди ночи, не боясь встретить отказ. Одна из комнат была полностью отдана им под библиотеку, которую, как говорили, оставил ему бывший хозяин квартиры, выехавший за границу. Рядом квартировал сыщик Московского Уголовного Розыска Скорняков, тучный, но весьма быстрый человек, редко бывавший дома. В самой маленькой комнатке ютилась Надежда Петровна, приятная, заметно усталая женщина «из порядочных» с маленьким сынишкой Петрушей, с которым вмиг подружилась Нюта. Между жильцами, что бывает исключительно редко, царил полнейшее взаимопонимание, доходившее до того, что Надежда Петровна часто заходила в библиотеку доктора в его отсутствие, имея свой ключ.

Аглае даже показалось, что их приезд нарушил почти семейную атмосферу этого дома. Впрочем, с Надеждой Петровной они быстро поладили, перешли на «ты», будучи одних лет, хотя до откровенности было далеко. Впрочем, откровенность, давно сделалась отмирающим качеством в СССР...

По приезде в Москву Аля навестила брата, но он был занят чем-то важным, погружён в свои мысли и обещал сам навеститься к ней, когда они обустроятся.

Жизнь как будто налаживалась, и тем тревожнее стало от привидевшегося кошмара. Но и его рассеяло утро, с первыми лучами которого Нюточка разбудила уснувшую рядом с нею мать.

Мужчины, как всегда, разошлись по своим делам, едва позавтракав. А приболевшая Надя, работавшая в больнице, осталась дома по предписанию доктора. Аглая занялась приборкой, разговаривая с соседкой и покрикивая на играющих детей.

— Тебе, наверное, трудно привыкнуть к столичной суете? — спросила Надя, чистя картофель для супа.

— Думаю, что скоро привыкну... А ты сама давно в Москве?

— Как тебе сказать... Моя бабушка жила здесь, и я часто у неё гостила. Это ведь был её дом в прошлой жизни... А родилась я в Петербурге. Там я жила с родителями и другой бабушкой, — Надя печально вздохнула. — Мне казалось, что так будет всегда. Наши тихие вечера, наш дом, мамины работы, бабушкины иконы... И ничего не осталось, кроме памяти. Я даже не знаю, где они похоронены, Аля. Ни мама, ни бабушка... Они умерли от голода, и некому было им помочь.

— А твой отец?

— Он, слава Богу, жив. Живёт за границей. И бабушка Ольга тоже...

— Почему ты не соединишься с ними?

— Я думала об этом. Но уехать не так-то просто. Нужно разрешение на выезд... К тому же мне тяжело уехать из России. Мне, может тебе покажется это сумасшествием, всё кажется, что мой Алёша, мой муж где-то жив. Может быть, он попал в один из этих концентрационных лагерей... Может быть, он ищет меня... И если я буду здесь, в России, то он непременно меня найдёт. Это очень глупо, да?

— Нет, отчего же. Я очень хорошо понимаю.

— В самом деле? — Надя была обрадована. — Спасибо! Мне очень дорого твоё понимание.

Аглая почувствовала большую симпатию к ней. Пожалуй, получится сблизиться. Хорошая, открытая она, эта барышня, внучка владетельницы дома, в

котором вынуждена теперь квартировать. А Аля так соскучилась по открытости, по простой задушевной беседе. Все эти чёрные годы даже подруг не было у неё, чтобы отвести душу.

В это время в дверь позвонили, и Надя пошла открывать.

— Это к тебе, — сказала она удивлённо, вернувшись и пропуская вперёд себя гостью. — Я пойду к себе, не буду вам мешать.

Так и замерла Аглая неподвижно с мокрой тряпкой в руках: перед ней стояла Марья Евграфовна. Стояла и смотрела не на неё, а на Нюточку, как раз перед тем забежавшую на кухню за мочёными яблоками, которые очень любила.

— Здравствуйте! — приветствовала она гостью и скользнула мимо неё, спеша к своему новому другу.

Марья Евграфовна проводила её взглядом и притворила дверь:

— Здравствуй, Аглая.

Аля медленно поднялась, вытерла о передник руки:

— Здравствуйте, барышня, — откликнулась глухо. — Присядете, может? Чаю прикажете?

— Мы не в Глинском, чтобы мне тебе приказы отдавать, — заметила Марья Евграфовна, но придвинула стул и села.

Она не изменилась почти, словно не живой человек, а восковая фигура была. Та же «монашка»... Тёмный убрус обрамляет бледное, худощавое лицо, долгая, тёмная юбка краем касается земли, отчего край этот истрепан, как и рукава её жакета, на руке маленькие чётки, которые она не устаёт перебирать.

— Скажи... — Марья Евграфовна не без труда подбирала слова, — зачем ты это сделала?..

— Той ночью мы спаслись чудом, я думала, вы погибли... — прошептала Аля.

— Лжёшь, — тихо, но твёрдо сказала «монашка». — Тогда ты могла так думать, но не позже. Ты ведь поддерживала связь с братом. Разве он ничего не писал тебе о нас?

Аглая опустила голову, не имея мочи врать.

— Писал, — ответила за неё Марья Евграфовна. — И как же ты могла всё это время скрывать от нас девочку? Всё это время мы молились о ней, как об усопшей...

— Вы могли бы узнать её судьбу, если б захотели!

— Я писала тебе однажды, спрашивая, что стало с Аней. Разве нет? Но ты мне не ответила. Я подумала, что тебе больно вспоминать, и не стала тревожить...

— Не стали тревожить? А не важно ли вам было узнать, где погребена девочка, если вы молились за упокой её души? Но вы ограничились одним письмом! Потому что вам не было дела до Нюточки... У вас у всех были более важные заботы, чем она, — Аглая всхлипнула, всё больше поддаваясь раздражению и привычно переходя в нападение. — А я растила её! Я отдавала ей всю себя! Меня она считает родной матерью!

— Я благодарна тебе, Аля, что ты спасла Аню, что заботилась о ней, но зачем было скрывать? — спросила Марья Евграфовна. — Ты, возможно, права, упрекая меня... Нужно было проявить больше настойчивости, а я была занята иным...

— Вы просто не любили Нюту так, как я! Поэтому и не искали и легко примирились, что её нет...

— Не говори о том, чего не можешь знать, — сухо оборвала «монашка». — Я ведь не осуждаю тебя, а лишь хочу понять причину твоего поступка. Зачем ты лишила Аню её семьи? Семьи Роды?

— Я боялась, что вы заберёте её у меня, — призналась Аля. — А у меня больше ничего не осталось на свете, кроме неё.

— Мне кажется, я никогда не была к тебе жестока, не делала тебе зла... Наоборот, старалась помогать. Почему ты решила, что я буду столь недобра, что разлучу тебя с Аней? Что не смогу понять твоих чувств? — Марья Евграфовна сплеснула руками. — Твой брат, ты — вы были для нас родными людьми! Почему ты просто не пришла ко мне и не объяснила всего? Неужели девочке было бы плохо, если бы кроме тебя у неё были ещё и все мы?..

Аглая готова была провалиться сквозь землю от этих вопросов. Она упала на колени и, рыдая, стала целовать руки «монашки»:

— Барышня, голубушка моя, простите меня! Я дрянь, я подол ваш целовать не достойна... Затмение нашло! Запуталась я! Простите! Не забирайте Нюточку!

— Бог с тобой! — в точности как когда-то Серёжа испугалась Марья Евграфовна. Встала резко и подняла за собой Аглаю: — Я не святая, чтобы мне руки целовать и на колени предо мной становиться... И не бойся, никто не заберёт у тебя девочку. Алексея Васильевича отправили в ссылку. Я с младшими детьми еду следом. Так что можешь успокоиться...

Аля подняла заплаканное лицо, отрезвляясь:

— Алексей Васильевич арестован?.. — спросила с испугом. — Но за что? Как?

— За что в наше время арестовывают? — пожала плечами Марья Евграфовна. — Слава Богу, нам повезло. Всего лишь высылка в Пермь... Пермь — неплохой город. Там вполне можно жить.

— Когда вы уезжаете?

— Через три дня. Послушай же... Я ведь именно поэтому пришла к тебе. Серёжа дал твой адрес... Мы все уезжаем в Пермь, а Миша остаётся в Москве. Его уже арестовывали, но отпустили. А теперь хотят выгнать из института из-за отца... И, наверное, выгонят. Он способный мальчик. Прекрасно разбирается в

физике, математике, геометрии. Ему нужно хоть какое-то место, понимаешь? Чтобы он мог прожить без нашей помощи. Вот, я к тебе просительницей пришла, Аля. За крестника своего... Может быть, твой муж поможет ему где-нибудь устроиться?

— Марья Евграфовна, да я для вас с Алексеем Васильевичем что угодно сделаю! — горячо воскликнула Аглая. — Я сегодня же с Замётовым поговорю... Он поможет! Не сомневайтесь! Но, может, нужно что-то ещё? Для Алексея Васильевича? Вещи? Деньги?

— Спасибо, Аля, ничего не нужно. Об одном тебя прошу: береги Аню. Хотя об этом, я думаю, просить и не нужно... И ещё. Будь добра, хотя бы иногда писать мне о ней. И пришли её карточку... Я отпишу тебе, когда приеду в Пермь. Девочка взрослеет, ей нужно воспитание. Может быть, наши с Алексеем Васильевичем советы иногда будут тебе полезны.

— Я обязательно буду писать вам, — пообещала Аглая. — И подробно. Простите меня за мою глупость... Я очень виновата, я знаю...

— Бог простит. И ты прости меня, если что не так...

— От Родиона Николаевича не слышно ли что? — отважилась спросить Аля уже на пороге.

Марья Евграфовна отрицательно качнула головой:

— Ты не забыла его?

— И никогда не забуду, — ответила Аглая. — По-настоящему, кроме него у меня никого не было, нет и не будет... Он единственный.

«Монашка» чуть заметно улыбнулась этим словам, крепко пожала алину руку и, наклонясь, троекратно расцеловала:

— Прощай, Аля. Позаботься, если сможешь, о Мише. Береги Нюточку и себя. Господь да сохранит вас!

В окно Аглая видела, как уходила Марья Евграфовна. Своей обычной стремительной походкой,

сильно отталкиваясь отмерившими много вёрст ногами от мостовой, она шла, не обращая внимания на извозчиков, экономя на них. Ветер трепал подол её тёмной юбки, пронизывал ветхое пальто, но не мог заставить даже пригнуться, как остальных прохожих. Прошедшей две войны милосердной сестре было не привыкать к трудностям. И в Пермь она уезжала с той же решимостью, с какой шла теперь по улице, с какой жила...

— Кто это? — спросила вернувшаяся на кухню Надя.

— Святая... — сквозь слёзы проронила Аля, чувствуя себя виноватой во всех грехах перед только что ушедшей праведницей, во второй раз отпустившей ей грехи.

Глава 9. Примирение

Стёпа Пряшников всё-таки написал её портрет. Не тот, какой желал много лет назад, совсем другой. С него смотрела не юная, роскошно одетая красавица, а побитая жизнью, много испытавшая и выстрадавшая женщина. Но этот образ оказался много глубже первого. Степану удалось уловить взгляд Лары — гордый и страдальческий, вызывающий и стыдящийся своего унижения одновременно. Такая гамма чувств была в этом лице, что оно казалось ещё прекраснее, чем было в свежести и красоте своей!

— Это твоя вершина, как портретиста, — сказал Сергей, разглядывая картину. — Выше не может быть... Это... Это...

— Женщина, которая страдала много, — словно угадав его мысль, произнёс Степан, посасывая не раскуренную трубку.

— Настасья Филипповна... Пожалуй. Только постаревшая... Но всё равно прекрасная!

— Прекрасная, да. Но я бы на твоём месте всё же заменил литеры Н.Ф.Б. на... Л.А.К. Эта женщина — твоя болезнь. Я говорил тебе это тогда и теперь скажу. Как только Лида это вытерпела... Святая женщина!

— Полно! — поморщился Сергей. — Теперь всё кончено. На этот раз навсегда...

Накануне он провожал Лару на вокзале. Она была печальна и, кажется, вовсе не стремилась уезжать. Он держал её затянутые в перчатки руки в своих и искал подходящие моменту слова, как всегда в такие минуты, безнадежно путаясь в них. Она мягко прервала его неловкие излияния:

— Ты знаешь, я не могу понять, зачем уезжаю. И не хочу уезжать...

— Но почему? Завтра ты будешь в Европе...

— И что мне в этом за радость? Кому я там нужна? Кто меня ждет там? Никто. Как и здесь. Как и везде... Так какая, в сущности, разница где быть ненужной никому? Там или здесь?

— Ты напрасно так настроена. Там наверняка есть много твоих прежних друзей...

— У меня никогда не было друзей, Серёжа, — грустно ответила Лара. — У меня были только прохожие, встречные, случайные. Да ведь я уже говорила это тогда... Ты помнишь?

— Я помню всё. Помню каждый твой взгляд, каждое слово...

— Лучше бы забыл. Большинство моих слов были отравлены ядом — зачем помнить их? Я была змеей... Холодным существом, которое больно ударили и которое ищет, кому отомстить за причинённую боль.

— Ты мстила, да. Но холодной ты не была никогда...

— Милый странный человек... Я тоже многое помню. Помню, как ты читал мне Тютчева... Скажи, ты по-прежнему не признаёшь современных поэтов?

— Кое-что признаю.

— Прочти! — попросила Лара. — Пожалуйста. Как тогда... А я запомню, затвержу и там буду вспоминать — по строфам — эти минуты.

Мимо спешили пассажиры и носильщики с баулами, чемоданами, корзинами. Гудели поезда, шумела толпа, но, чудилось, что этот фоновый шум разом утих, когда Сергей начал читать:

— Глупое сердце, не бейся.
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участия...
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары

Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрую укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем.
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду.
Только удел желанный

Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой нальемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

Когда он закончил, то заметил, что её глаза полны слёз. Сергей никогда не видел её слёз и растерялся. А она крепко сжала его руку:

— Я так и думала, что из всех поэтов ты его стихи прочтёшь!

— Почему?

— Потому что из них он самый настоящий был! Может быть, единственный настоящий. А ты не мог принимать других, потому что ты — настоящий сам. И те, с их позой, их фальшью — не могли тебе нравятся. Они играли, а он жил... И за это его убили...

— Убили? — спросил Сергей. — Говорят, что он покончил с собой...

— Говорят... С собой кончают тогда, когда пусто становится. Здесь, — Лара поднесла руку к сердцу, — пусто! И там, — кивнула на небо, — пусто. Маяковский убил себя от этой пустоты. Потому что нельзя фальшивить всю жизнь, нельзя ломаться всю жизнь... А Есенин не мог. Он — как сама жизнь. Как солнце. Таких — солнцеголовых — на земле терпеть не могут. Как Пушкина, которого ты так любишь и который казался мне слишком правильным, неинтересным. Я только потом поняла, почему! Потому что и он настоящий был. И поэзия его — живая. Естественная. Ему не нужны были все эти фокусы, которыми забавлялись наши поэты, желавшие тягаться с ним. Они думали, что фокусы могут заменить благодать... А мне их фокусы казались интересными, потому что я фальшива, как они.

Сергей слушал Лару с удивлением и горечью. Сколько же было ума и чутья у этой женщины! И всё это так бездарно было расплёскано и разбросано, не дав должного плода...

— Теперь я люблю Пушкина. И Есенина я тоже люблю. Когда я читала его, то вспоминала тебя, думала, как бы ты оценил, что бы сказал? Ты знаешь, я весь этот год часто ходила к нему на Ваганьковское. Я всё пыталась понять — это какую же душу необъятную надо иметь, чтобы так говорить! С такой душой мир не может надоесть, жизнь надоесть не может... Я знаю, что говорю!

Раздался первый гудок поезда. Лара вздрогнула и вдруг подалась к Сергею, приникла к нему, поцеловала:

— Прощай, Серёжа! И прости меня за всё, не поминай лихом. Ты единственный в моей жизни не случайный был. Если я уезжаю сейчас, то только из-за тебя. Второй раз от тебя бегу, потому что нельзя мне рядом с тобой быть, а тебе рядом со мной. Прощай же... Жене своей поклонись от меня. Я мизинца её не стою... Будь счастлив! За нас обоих! Это единственное, чего я хочу.

Ещё один поцелуй, жаркий, обжигающий, заплаканные глаза... И, вот, она уже на подножке поезда, в клубах белого дыма, в грохоте колёс. Взмах руки и что-то отчаянное в лице. Сергей сорвался с места, побежал вслед уходящему поезду, расталкивая удивлённых прохожих и, наконец, остановился на краю перрона. Всё кончилось. Её уже нельзя было вернуть, но сердце рвалось за ней и нестерпимо болело.

Ехать домой после этих проводов он не мог, а потому отправился к Пряшникову, с которым на двоих распили припасённую Стёпой бутылку «рыковки».

— Тяжко мне, Стёпа, — жаловался Сергей. — Домой не знаю, как и показаться. Тесть хоть и не говорит ничего, а как посмотрит... И Лида... Обижена она, хоть и молчит, хоть и сама же о Ларе хлопотала. На прошлой неделе на службе был. У нас, на Маросейке... Стою и провалиться хочу, ей-Богу. Отец Сергей о совести как раз говорил... Так говорил! А меня — словно на сковороде жарят. Всего меня совесть моя обличает. Перед всеми я виноват выхожу...

— Так уж и перед всеми! — махнул рукой Стёпа. — Перед Лидой — конечно. Перед ней ты, брат, свинья свиньёй, тут уж не попишешь. И не потому, что свою Н.Ф.Б. приветил теперь... Ты ведь лишь помогал ей и всё.

— Ей больше Лида помогала и ты... А я... Я никчёмность, Стёпа. Зря меня барыня в гении прочила... Ничего-то я не могу, ничего-то у меня не получается.

— Ерунда! — Пряшников снова отмахнулся. — Если бы ты был никчёмностью, то твоя болезнь тебя бы так не любила. А она одного тебя и любила... Я это понял, пока она жила здесь. И поняв это, простил ей всё... Знаешь, я думаю с неё грешницу писать. Ту, которая «Ступай и впредь не греши!» Лучшей не может быть натуры! Хотя кому теперь нужны кающиеся грешницы...

Стёпа снова подошёл к портрету:

— Неповторимое лицо. Да, брат, ты прав: это вершина. Умри — лучше не напишешь... — после паузы он добавил, обернувшись: — А с женой ты помирись. Повинись перед ней, да и дело с концом. Она любит тебя, а главное, она очень мудрая женщина. Штучный товар...

— Мы почти перестали говорить с нею... Она всё время занята, у неё нет времени. Я сегодня прочёл Ларе — из Есенина... Как она говорила о нём! Как поняла! А Лиде не до Есенина... Раньше мы могли говорить с нею часами — о поэзии, философии... А теперь в глазах Таи я вижу больше внимания и понимания, чем в её.

— Ну, так возьми и прочитай ей тоже что-нибудь из Есенина! — посоветовал Пряшников.

— Думаешь, стоит попробовать? — усомнился Сергей.

— Конечно! Вот, прямо теперь поезжай и прочти! Заодно и помиритесь!

Сергей нетвёрдо стоял на ногах после «рыковки», но всё же поддался уговорам друга. В самом деле, что подумает Лида, если он не придёт ночевать после проводов Лары? Ещё хуже обидится!

Алкоголь всегда имел на него слишком сильное воздействие и, хотя продолжительная дорога вкупе с прохладным воздухом оказали своё отрезвляющие

влияние, всё-таки к моменту приезда домой голова немало кружилась, а в мыслях ощущалось счастливое парение, дающее лёгкость поступков и слов, большей частью, сугубо глупых.

Лида сидела в столовой, хмурясь и что-то сосредоточенно выписывая в толстую тетрадь. Заметив вошедшего Сергея, она бесстрастно осведомилась:

— Проводил?

Сергей кивнул, сильно потрянув головой.

— Выпил?

На этот бестактный вопрос он не ответил, а, сев напротив, подпёр ладонью внезапно отягчённую сонливостью голову и спросил:

— Хочешь, Лида, я тебе стихи прочитаю? Вот, послушай:

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письма.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь — обман, но и она порою
Украшает радостями ложь».

Жена была явно удивлена, но не сняла очков, не отложила в сторону тетради, а перебила бесцеремонно:

— А, может, тебе, мой друг, лучше отдохнуть?

Сергей, всё ещё стараясь сохранить нахлынувшее романтическое настроение, мягко забрал у неё тетрадь, отложил в сторону, поцеловал ей руку к ещё большему её удивлению:

— Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе.

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

— Читай, пожалуйста, потише, — попросила Лида. —
Полночь, все спят.

Сергей глубоко вздохнул. Наверное, нужно было читать что-нибудь другое... И к чему он это стихотворение выбрал? Совсем ни к месту, ни ко времени... Только что — к собственной душе, к собственному настроению. А, впрочем, результат оказался бы таким же и с любыми другими стихами. Словно в мраморную статую обратилась некогда живая, тёплая женщина. И ничем не тронешь её. Он пересел на софу, на которой сидела жена, попросил:

— Оторвись хоть ненадолго от всей этой суеты. Сегодня чудесный вечер. За окном, между прочим, первый снег.

— В самом деле?

— И в нашем доме так тихо и спокойно. И мы с тобой вдвоём. Когда последний раз был такой вечер?

Лицо Лиды смягчилось. Она, наконец, сняла очки и повернулась к нему, чуть улыbnулась:

— Ты, кажется, не докончил читать? — и неожиданно продолжила оборванное стихотворение:

— Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык.
Я живу давно на все готовым,

Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклись,
Кем я жил — забыли про меня.
Так кажется?

— Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю...

— растерянно dokonчил Сергей и, не в силах больше бороться с усталостью, склонил голову ей на колени. Лида вздохнула, ласково провела рукой по его волосам, промолвила с нежной грустью, как барыня когда-то:

— Эх ты, двадцать два несчастья...

Сергей мог поклясться, что лицо её в этот момент было исполнено той матерински-щедрой, всё прощающей любовью и мягкостью, какую привык он видеть в первые годы их брака и которой так не хватало ему в последнее время. На душе стало тепло, уютно и светло от переполнившего его благодарного чувства. Примирение состоялось...

Глава 10. Ссылка

Что значит первый глоток воздуха на свободе, когда позади только что с лязгом захлопнулись ворота, месяц за месяцем отделявшие тебя от мира, и этот лязг, режущий бритвой по нервам, ещё стоит у тебя в ушах? Этого никогда не поймёт не переживший. После месяцев, проведённых в тёмных камерах, куда почти не заглядывает солнце, ибо зарешёченные окна прикрыты чёрными щитами, даже самый унылый вид кажется прекрасным и многогранным, как швейцарские Альпы. А воздух кружит голову, пьянит...

Глоток свободного воздуха — вот, бесценное богатство, которого не чувствуешь в обычной жизни, подобно тому, как здоровый человек никогда не ощущает своего здоровья. Тебя могут выбросить в незнакомом городе, в пустынной степи, в холод или в зной, без куска хлеба — но ты будешь счастлив! Счастлив от сознания того, что больше не услышишь того пронзающего душу лязга, грохота засовов, шороха «волчка», грубого крика «Подъём!», что больше не нужно смыкать рук за спиной, пригибаться, что, наконец, твоим ногам отпущено отмеривать куда большее расстояние, чем пять шагов по камере...

Конечно, вскоре ты отрезвишься. Ты вспомнишь, что в стране рабочих и крестьян не стоит слишком уж разгибать спины, если не хочешь, чтоб тебе её сломали. Что «волчок», на самом деле, есть везде, как везде есть и «наседки». И любое твоё неосторожное слово, движение может вернуть тебя назад... И команду «Подъём!» ты ещё очень даже можешь услышать — совсем неожиданно, мирно спя в своей постели...

Да, ты вспомнишь это всё. Но потом, позже. А вначале будешь долго-долго смотреть на мир, подобно

впервые поднявшемуся с одра больному. Да и вид твой, исхудавший, бледный, не выбритый, будет роднить тебя с больными.

Примерно в таком положении и настроении пребывал Алексей Надёжин, когда за ним захлопнулись ворота пермской тюрьмы. Он никогда раньше не бывал в этом городе, не имел представления, как жить и устраиваться в нём, не знал, где проведёт следующую ночь, обещавшую быть морозной. И всё же был бесконечно счастлив. Дал Бог день — даст и пищу, — говорят в народе. А коли вызволил из заточения, то уж, наверное, не для того, чтобы дать пропасть.

Перво-наперво Алексей Васильевич дал телеграмму семье о своём благополучном прибытии, а после озаботился поиском съёмного угла, благо деньги, которыми снабдила его Мария перед отправкой, удалось сохранить.

Угол нашёлся в самом конце Монастырской улицы, аккурат напротив здания консистории, в доме старухи-вдовы, живущей с двумя дочерьми, старыми девами, одна из которых была прикована к постели тяжёлым недугом.

Это было, несомненно, самое живописное место города. Монастырская улица тянулась вдоль Камы, величественного течения которой нельзя было наблюдать под толщей льда и снега, ослепительно сияющего в солнечных лучах. Следом за консисторией высились полумесяцы соборной мечети, которую заложили лишь четверть века назад. Следом возвышался Спасо-Преображенский кафедральный собор...

При Спасо-Преображенском соборе располагался архиерейский дом. В этих стенах провели последние дни перед мученической смертью архиепископы Андроник и Феофан... Архиепископ Андроник (Никольский), два года бывший миссионером в Японии,

был известен, как строгий аскет, ревнитель Православной веры и убеждённый монархист. Его работы «Беседы о Союзе Русского Народа» и «Русский гражданский строй жизни перед судом христианина, или Основания и смысл Царского Самодержавия», изданные в Старой Руссе, Надёжин бережно хранил в своей библиотеке. Ареста и расправы архиепископ Андроник ожидал, как неизбежного, сохраняя совершенное спокойствие. Его арестовали в день расстрела Государя, а через три дня приказали самому рыть себе могилу, после чего закопали живым...

На место убитого владыки заступил его давний сподвижник — архиепископ Феофан (Ильминский). Но его большевики терпели всего лишь несколько месяцев. Владыка Феофан был непримиримым противником новой власти. Он организовывал и возглавлял многолюдные крестные ходы, проводимые в связи с гонениями на Церковь и грабежами монастырей, а когда в марте Восемнадцатого некоторые священники во главе с благочинным выпустили заявление о лояльности и дружелюбии к советской власти, отозвался на это с недоумением и горечью: «Пастыри Церкви, служители «идеалам христианства» выражают «лояльность»... насильникам и грабителям... Вы должны были как пастыри, как соль земли, как свет миру, высказать свой нравственный суд насильникам...».

Владыку Феофана арестовали за несколько дней до освобождения города армией Колчака, когда в Перми свирепствовал террор. В тридцатиградусный мороз святителя многократно погружали в ледяную прорубь Камы. Его тело покрылось льдом толщиной в два пальца, но он всё ещё оставался жив. Тогда большевики утопили владыку вместе с двумя священниками и пятью мирянами.

Эту жуткую историю рассказали Надёжину его квартирные хозяйки, бывшие духовными чадами

священника Алексея Сабурова, принявшего мученическую кончину в те же дни. Ночью его подняли с постели, в одном белье, с петлей на шее босиком по снегу отвели к Каме и, привязав к железной кровати, утопили.

— Изверги... — повторяла старуха Анна Прокофьевна, промокая платком старчески слезящиеся глаза. Эти глаза помнили многое. Перед ними в кровавой круговерти прошли святые мученики окаянных дней, промаршировали преданные союзниками колчаковские части... Алексей Васильевич слушал её рассказы, как заворожённый. Стоило попасть в ссылку, чтобы услышать такие бесценные свидетельства! Ей-Богу, стоило! От хозяйки он узнал, что все эти годы в Екатеринбург идёт тихое паломничество. Люди едут к Ипатьевскому дому, чтобы помянуть Царскую Семью. Они ничего не делают, лишь, проходя мимо, касаются его стен, целуют их... Недовольные этим фактом власти обнесли дом высоким забором, но люди продолжали приезжать, не боясь преследований. Между тем, сами власти проводили экскурсии внутрь дома: приводили школьников и, показывая им подвал, объясняли, что именно здесь пролетарская пуля настигла кровавого тирана...

Надёжин успел мельком увидеть тот дом, когда по пути к месту ссылки его этап гнали от екатеринбургской пересыльной тюрьмы на вокзал. Только не было возможности подойти, поклониться голгофе последнего Царя... Лишь перекрестился, как и ещё несколько человек в колонне.

Чем больше узнавал Алексей Васильевич, тем сильнее рвались руки к прерванной арестом работе. Перед глазами вставали события революций российской и французской, так страшно схожих.

Однажды неподалёку от оригинального здания пермского вокзала, от которого брала начало

Монастырская улица, Надёжин заметил странное существо. Именно существо, ибо трудно было назвать оное женщиной. Дело было даже не во внешности её, растрёпанной, грязной, с провалившимся носом, не в явном безумии, которое ею владело, а в той силе, которая исходила от неё, струилась из раскалённых угольков-глаз. Тьма этой силы была сгущена настолько, что чувствовалась кожей. Может, потому и давали ей все — кто еду, кто деньги, чтобы хотя бы гниющего своего рта не успела отверзть и сказать такое, от чего сердцу не захочется биться.

— Кто это? — спросил Надёжин дочь Анны Прокофьевны Тату.

— Ведьма, — ответила та. — А, может, сам сатана... В войну она работала в ЧК. На ней столько крови, что никаким Малютам не снилось. Тогда она была ещё здорова и, если можно так выразиться, хороша собой. О её кровавых оргиях здесь легенды ходили... А потом она помешалась. Но её и сейчас боятся. И я боюсь, поэтому перехожу на другую сторону, едва завидев.

Ведьма... Средневековая инквизиция, разумеется, сама служила совсем не той силе, на которую ссылалась. Но на этом основании совсем неправильно было бы утверждать, что ведьм не существовало. Только ведьма — это несколько иное явление, нежели обычно разумеется под этим словом. Русское слово «ведьма» вообще мало подходит к этому роду. Оно слишком мягко, невыразительно. Блудницы сатаны, его исчадия — куда вернее. Если всмотреться в историю, то таковые быстро отыскиваются на её страницах.

К примеру, на страницах той же Французской революции. Французская революция — какие образы являются перед взором при этом словосочетании? Бескровная физиономия нежити — Робеспьер? А, может быть, растелешившаяся особь заметно облегчённого поведения, которая отчего-то символизирует свободу на

баррикадах? И то, и другое, и ещё многие иные образы. А среди них и такой — расхристанная бабёнка с пистолетами за поясом, с топором, в красном колпаке, с озлоблённым лицом и слепыми от ненависти и жажды крови глазами. Этот образ вы встретите на улицах Парижа и на просторах Вандеи, в «Истории двух городов» Диккенса и романах баронессы Орчи.

Какие образы встанут перед взором потомков при словосочетании революция в России? Животная личина Ильича и балаганный мефистофель Троцкий? Плакатный пролетарий? Много, много образов... А среди них неперемный, переходящий из города в город — кошмарный образ женщины-палача в красной косынке и кожанке, с выражением злого безумия на лице...

Об этих особях, не случись потрясений такого масштаба, история никогда не узнала бы. Да и, в большой части случаев, никто бы не узнал, какая страшная сила живёт в их душах. В какой мере знали они об этом сами до той поры, пока не обрели право истязать людей? Откуда берутся эти особи? Когда попадают в их души споры, дающие столь жуткие всходы? В разных странах, в разные времена они являются вершить свой кровавый почин. Существа эти столь неотличимы друг от друга, что невольно кажется, будто они просто кочуют из века в век, раз за разом возвращаясь из ада. И никто не удосужится вбить осиновые колья в их проклятые могилы...

Надёжин последовал примеру Таты и стал старательно избегать случайных встреч с бесноватой чекисткой. Он вскоре нашёл заработок, давая частные уроки детям, а в свободное время прогуливался по Набережному саду — самому чудесному месту в Перми, расположенному всё на той же Монастырской улице.

Набережный сад прежде именовался совсем не поэтично — Козьим загоном. Вид обустроенного парка и новое название он обрёл лишь в начале века, когда

вдоль его аллей были высажены молоденькие липы, сделана искусной работы деревянная ограда. Вскоре здесь был возведён ажурный теремок в старорусском стиле, где разместилось летнее помещение биржи. Вид затейливых башенок радовал глаз, а покрытые инеем липы вызывали желание непременно дождаться поры их цветения — вот, когда здесь, положительно, должен быть рай!

Пройдя через сад и поднявшись вверх по улице, Надёжин оказывался на стыке с улицей Борчанинова, где на горе Слудке располагался Свято-Троицкий собор, иначе именуемой Слудской церковью. Трёхпрестольный храм, похожий на уменьшенную копию Храма Христа Спасителя, дополненную красавицей-колокольней, он с первых дней революции отражал многочисленные атаки безбожников и продолжал светить негасимой лампадой для верующих, во многом, благодаря своему настоятелю отцу Леониду, которого многие за глаза называли святым.

Отец Леонид произвёл на Алексея Васильевича самое приятное впечатление. Это был тип настоящего подвижника. Строгий аскет и молитвенник с лицом тонким и одухотворённым, он был верным последователем умученных владык Андроника и Феофана. Анна Прокофьевна с дочерьми были прихожанками Слудской церкви и всецело разделяли распространённое мнение об отце Леониде.

Шли недели Рождественского поста, и Надёжин ежевечерне посещал храм. Он познакомился с настоятелем и, скоро сойдясь с ним, благодаря духовной сродственности и единству убеждений, стал бывать у него дома. Благодаря отцу Леониду и семье Анны Прокофьевны, Пермь очень быстро сделалась для Алексея Васильевича если и не домом, то чем-то очень близким к тому. Лишь тоска по детям, которых не видел он целый год, точила сердце...

После службы Надёжин часто задерживался в храме, помогая отцу Леониду. Никогда ещё с такой остротой не чувствовал Алексей Васильевич радости пребывания в церковных стенах, радости общей молитвы. Здесь, в ссылке, чувства словно обновились, оживились, отряхнув сон привычки. И даже давным-давно затверженные слова Псалмопевца звучали по-новому.

Последнее время до Перми доходили тревожные слухи: начался массовый арест высших архиереев. Рассказывалось о каком-то тайном «по переписке» соборе, якобы избравшем патриархом митрополита Казанского Кирилла. В очередной раз был арестован митрополит Сергей, которого срочно заменил на заместительском посту третий наместник владыки Петра — митрополит Иосиф, летом назначенный на Ленинградскую кафедру по просьбам верующих, не желавших принять предавшего святителя Вениамина Алексия Симанского... Сам митрополит Пётр был доставлен в пермскую тюрьму.

Всё это глубоко печалило и волновало отца Леонида. Долгие вечера проходили в беседах о дальнейшей судьбе Церкви. В сущности, и она не была чем-то новым. Всё было отрететировано более ста лет назад — во Франции. Недаром предрекал мудрейший святитель Вышенский Феофан: «Как шла французская революция? Сначала распространились материалистические воззрения. Они пошатнули и христианские и общерелигиозные убеждения. Пошло повальное неверие: Бога нет; человек — ком грязи; за гробом нечего ждать. Несмотря, однако, на то, что ком грязи можно бы всем топтать, у них выходило: не замай! Не тронь! Дай свободу! И дали! Начались требования — инде разумные, далее полуумные, там безумные. И пошло всё вверх дном.

Что у нас? У нас материалистические воззрения всё более и более приобретают вес и обобщаются. Силы ещё не взяли, а берут. Неверие и безнравственность тоже расширяются. Требования свободы и самоуправления выражаются свободно. Выходит что и мы на пути к революции».

Французский историк Альфонс Олар, книгу которого в двадцать пятом году любезно выпустило для интересующейся судьбой церкви публики издательство «Атеист» подтверждал: «Когда читаешь писания Вольтера, когда узнаешь, каким успехом они пользовались, легко может показаться, что вера слабеет во Франции при Людовике XV, при Людовике XVI. Все образованное общество, или почти все общество, двор, город, как тогда говорили, вся эта просвещенная и блестящая публика, которая олицетворяет Францию в глазах иностранца, — аплодирует нечестивым выходкам автора «Девственницы», его оскорбительным и издевательским выпадам против христианства, против его догм, церемоний и служителей. Неверие выставляется напоказ в тех кругах, которые читают. Молодые дворяне, вроде неудачливого кавалера де-ля-Барра, забавляются святотатственными выходками еще в середине века. Проповедники на кафедрах, епископы в пастырских посланиях, — только и жалуются на рост нечестия. Неверие стало прямо модой, модой, которой следует знать, особенно двор: благочестивый аристократ, даже благочестивый Бурбон, каким был Людовик XVI, кажется явлением странным, благочестие это поражает...»

И, вот, в этом-то расхристанном обществе случилась революция. И вместо Христа провозгласила устами эбертистов Культ Разума. Первые варианты этого культа появились за пределами Парижа. Так, Жозеф Фуше организовывал празднества в департаментах

Ньевр и Кот-д'Ор. В Рошфоре Ленъело преобразовал приходскую церковь в «Храм Истины», где шесть католических священников и один протестантский при торжественной обстановке отреклись от своей религии. Церемонии культа Разума сопровождались проведением карнавалов, парадов, принуждением священников отречься от сана, разграблением церквей, уничтожением или оскорблением христианских священных предметов: икон, статуй, крестов... Кроме этого, проводились церемонии почитания «мучеников Революции». После издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, церкви в Париже стали превращать в Храмы Разума. Наибольшего развития культ достиг во время проведения «Фестиваля свободы» в Соборе Парижской Богородицы 10 ноября 1793 года. В ходе церемонии, придуманной и организованной Шометтом и проводимой внутри собора, артистка Оперы Тереза-Анжелика Обри короновалась как «Богиня Разума».

Наряду с этим власть объявила, что священники отныне должны быть избираемы и что духовенство обязано присягать гражданской конституции, идущей вразрез с установлениями церкви. Клир переводился на государственное жалование, и церковь становилась полностью подчинена гражданской власти. Разумеется, далеко не всё духовенство согласилось отступить от своих обетов и принять богопротивную присягу. Из епископов таковых оказалось лишь четверо, клир же разделился более или менее поровну. В числе принявших присягу хватало прогрессистов, которых среди прочих весьма заботил вопрос разрешения брака. Пример подали присягнувшие епископы. Один из них представил свою жену Конвенту, председатель которого братски расцеловал обоих супругов. Конвент вообще поощрял браки среди духовенства,

устанавливая специальные льготы: к примеру, женатые священники сохраняли свое жалование, если их прогонят из их прихода.

Что же до неприсягнувших, то оные были запрещены в служении, не допускались в церкви. Они скрывались в женских монастырях, совершали тайные службы, за которые жестоко преследовались. Большое участие в преследовании принимали «сознательные граждане». Исповедников выслеживали, ловили, подвергали позорному наказанию — порке плетью или розгами. Причём порку нередко осуществляли особи женского пола, выполнявшие эту миссию с особым воодушевлением. Если бы какой-нибудь священник отказывался от присяги, то директория департамента могла удалить его на время из обычного места жительства, что же касается подстрекателей к неповиновению закону и властям, то им угрожало двухлетнее тюремное заключение.

«Патриоты» люто ненавидели ослушное духовенство, во главе которого стояли епископы-эмигранты, и клеймили его, как контрреволюционный элемент. С каждым днём ужесточая закон, Конвент, наконец, утвердил смертную казнь для священников и постановил, что священники, изгнанные из пределов Франции, подлежат в случае обнаружения их на французской территории военному суду и расстрелу в двадцать четыре часа. Духовенство, не присягнувшие свободе и равенству, подлежало немедленной ссылке на Гвиану. Следующей ступенью стал декрет, согласно которому священники, являющиеся сообщниками внешних или внутренних врагов, должны быть казнены в двадцать четыре часа после того, как факт их вооруженного выступления против Республики будет признан установленным военной комиссией. Факт же признавался таковым при наличии письменного заявления, скрепленного всего двумя подписями или

даже одной подписью, подтвержденного показанием под присягой одного свидетеля... Добрался новый закон и до присягнувших: ссылке подлежали все церковники, принесшие присягу, которых шесть граждан кантона обвинили бы в негражданственности.

Как и все лучшие силы нации, неприсягнувшие священники сконцентрировались в Вандее и Бретани. Расправа с ними была чудовищной по своему масштабу и жестокости. В Нанте член Конвента Каррье, прозванный «нантским утопителем» приказал погрузить около сотни священнослужителей на борт баржи. Связанные попарно, клирики подчинились, ничего не подозревая, хотя у них предварительно отобрали деньги и часы. Судно пустили вниз по Луаре, продырявив его во многих местах. Поняв свою участь, мученики упали на колени и стали исповедовать друг друга. Через четверть часа, река поглотила всех несчастных, кроме четверых. Трое из них были обнаружены и убиты. Последний был подобран рыбаками, которые помогли ему скрыться.

Уцелевшие исповедники продолжали своё тайное служение в то время, как Париж, воспретив культ Разума и гильотинировав эбертистов, стал поклоняться Высшему Существо, культ которого провозгласил Робеспьер. Мэр столицы Флерио-Леско обращался к согражданам: «Изобилие уже у дверей, говорит он, оно ждет вас. Высшее Существо, покровитель свободы народов, повелело природе заготовить вам обильный урожай. Оно сохраняет вас: будьте достойны его благодетель». Фигура Благодетеля была воздвигнута в центре Парижа, пропахшего кровью жертв, головы которых верховный жрец Робеспьер щедро приносил Благодетелю.

В Париже поклонялись Высшему Существо, а провинция удовольствовалась меньшим. В деревеньке Риз-Оранжи низложили святого Блэза и заменили его

Брутом, именем которого назвали свой приход, уволив своего священника. Жители Маннэси заменили бюст Петра и Павла бюстами Ле-Пелетье и Марата и воздвигли на большом алтаре статую свободы.

Своеобразным апофеозом беснования стал знаменитый Конкордат, когда за формальную легализацию Церкви римский первосвященник не погнушался возвести корсиканского якобинца Буонапарте в Императоры Франции... Впрочем, немногие уцелевшие представители ослушного духовенства, скрывавшиеся в Пуату и окрестных областях, не признали и этого очередного надругательства над верой, так и оставшись вне закона антихристианского государства...

— Вы полагаете, нам следует ждать конкордата? — удручённо спросил отец Леонид, провожая Надёжина после очередной затянувшейся до ночи беседы.

— Раньше или позже, это неизбежно. Человек слаб, и мы не можем рассчитывать, что все наши пастыри окажутся святыми исповедниками. К тому же, в конечном итоге, все эти конкордаты есть ничто иное, как предшества главного Конкордата, который будет заключён в конце времён, когда очередной первосвященник возложит царскую корону на... рогатого «Благодетеля».

Простившись с отцом Леонидом, Надёжин скорее обычного отправился домой. Как ни погружён он был в горькие размышления о церковных событиях, а отгоняло и перебарывало их совсем иное, неясное предчувствие, заставлявшее его прибавить шаг.

Дверь ему открыла полная, добродушная Тата. И всегда-то приветливо смотрела она, а теперь вовсе лучилась вся:

— А мы-то заждались вас! — выдохнула. — Идите скорее к себе! Ждут вас там!

Но Алексей Васильевич не успел даже приблизиться к своей двери, как она распахнулась, и Маша с Саней с радостным криком повисли на нём. Вот так подарок приспел неожиданный! Обнимая и зацеловывая детей, Надёжин увидел Марию. Она стояла в дверном проёме, смиренно не подходя, чтобы не мешать встрече отца с детьми, улыбалась счастливо и при этом утирала катящиеся по впалым щекам слёзы. Алексей Васильевич поблагодарил её одними глазами. И точно так же глазами ответила она...

Глава 11. Поединок

И сколько ж возни с этим «опиумом»... Который год бился Евгений Александрович, чтобы покончить с «тихоновщиной», а всё проворачивалось колесо. Но теперь, как никогда, близка была цель! Этого никому, никому не удавалось и не удалось бы. Даже визгливому болтуну Ярославскому, которого Тучков потеснил с главных ролей в антирелигиозной комиссии к большому недовольству многих товарищей. В сущности, что мог Емелька? Писать поганые статейки? Ну, так на то большого ума не нужно. И ведь, до истерики ненавидя церковь, не знал и не понимал её Ярославский. Да и откуда иудею знать?

Евгений Александрович дело иное. Всё детство кадильным дымом дышал — уж расстаралась «мамаша». Сама всю жизнь богомолкой была и братца-сиротинку к тому же приучить хотела. Да только переусердствовала. Так осточертели Тучкову иконы и молитвы, что предпочёл он жить в людях, работая сперва в кондитерской, а затем в сапожной мастерской. А там и война грянула, ушёл на фронт. А дальше...

Дальше совсем другая жизнь завертелась. За несколько лет службы в ГПУ Евгений Александрович зарекомендовал себя лучшим образом. Хотя, если вдуматься, даже странно, чем. Бескровное и осторожное проведение изъятия церковных ценностей в Уфе, как потом смекнул Тучков, не могло считаться заслугой: Владимир Ильич желал обратного, желал спровоцировать верующих на сопротивление и под этим видом покончить с ними. И всё-таки именно после этого Евгения Александровича перевели в Москву и доверили ему работать с церковниками.

Приехав в столицу, Тучков обосновался с семьёй в Серафимо-Дивеевском подворье. То-то «мамаша» довольна была! Евгений Александрович не упускал случая порадовать её, сообщая, где и когда будут служить патриарх и всеми почитаемый Иларион (Троицкий). «Мамаша» тотчас брала с собой нескольких монахинь и ехала по указанному адресу — внимать словам святителей. Монашки также были благодарны за это Тучкову. Да и не только за это. Перепадало им от него и дровишек, и снеди. Они же прекрасно управлялись с хозяйством тучковской семьи.

Разумеется, ни в какого Бога Евгений Александрович не верил. Но и не питал в отличие от многих товарищей личной злобы в отношении церковников. Может, именно это и сыграло роль в том, что столь сложное дело доверили ему? Его взгляд не затмевала слепая ненависть, наносящая вред делу, которое требовало хладнокровия и тонкого подхода. Он не сводил счёты, а добросовестно исполнял поставленное задание, на ходу вникая в предмет своей работы. А он нелёгкок был! Чёрт ногу сломит, пока разберёшь, что к чему...

Когда Тучков взялся за дело, ставка власти была на обновленцев. Но Евгений Александрович быстро понял, что эта ставка, в конечном итоге, провалится. Сразу видно, что её делали люди, не понимающие психологии простых верующих. А Тучков понимал. Он вырос среди таких людей. И ему очевидно было, что, как бы то ни было, верующий народ никогда не пойдёт за фиглярами вроде Введенского с Красницким. Подобные ничтожества могут иметь успех разве что у полностью разложившейся части интеллигенции и истерических дамочек. А более ни у кого! Ибо атеисту не нужны никакие попы, а верующий человек ищет праведника и попа-актёра не признает.

К тому же сам Тучков питал к обновленцам отвращение, брезгливость, которую испытываешь от соприкосновения с гадами. Он презирал их до глубины души, как с детства презирал всякого двурушника. По долгу службы он боролся с «тихоновцами». Но борясь с ними, не мог не уважать. Эти люди шли на смерть ради своих убеждений, держались достойно. А обновленческая трусливая свора — на что была годна?

Правда, по аресте Тихона завоевания «живоцерковников» казались впечатляющими. Достижения эти, само собой, стоили немалых денежных затрат: нужно было публику — и партийцев, и обновленцев, и самих чекистов — заинтересовать и вовлечь в работу, чтобы направить церковь по нужному пути. Да, успехи были... И были бы ещё больше, если бы из-за шумихи на Западе не пришлось дать задний ход в процессе над Тихоном и выпустить его на свободу.

Тихон! Этот скорбный пастырь был для Тучкова немалой костью в горле все эти годы. Оказавшись под арестом в Донском монастыре, он сделался «мучеником», про которого вся белая эмиграция и вообще весь черносотенный мир писал и говорил как о едином человеке, который-де никогда не примирится с извергами рода человеческого большевиками, а стоит крепко за веру Христову, терпя всякие мучения! Тогда перед Евгением Александровичем встала задача обработать Тихона так, чтобы он не только извинился перед Советской властью, но и покаялся в своих преступлениях и тем самым поставил бы монархистов в глупое положение. Ох, уж и пришлось попотеть для достижения этой цели! Тихон прекрасно понимал, что одним раскаянием дело не ограничится, и что после придется слушаться и действовать по указке ГПУ, что тяготило его более всего, но, благодаря созданной для него условий полной оторванности от реальной жизни церкви и общению лишь с нужными людьми, дающими

нужную информацию, а также и правильно сделанного к нему подхода, необходимый документ был получен! А чтобы усилить его эффект, ГПУ старательно распускало компрометирующие слухи о Тихоне и приближённых к нему архиереях, отчуждая от них наиболее реакционную часть верующих.

Но... Тихон Тихоном, а ВЦУ всё равно провалилось бы. Может, им удалось бы захватить даже большую часть храмов, но что в этом толку, если храмы эти остались бы пусты, а церковная жизнь ушла в подполье? Не могли верующие пойти за попами, которым, как говорил Антонин, нужны были только деньги и бабы. За попами, для которых главный вопрос стал — быть ли женатому епископату и можно ли разводиться со своими бабами? Смешно сказать, на обновленческий «собор» часть делегатов явились пьяными встельку!

Конечно, обновленческое движение не исчерпывалось крайней группой Красницкого. Был ещё Антонин. Эта глыба постаралась отмежеваться от «Живой церкви», учредив собственное движение более умеренного толка. Тучков не мешал этой драке двух пауков, брезгливо читая доносы Красницкого и Антонина друг на друга. Донос! Излюбленный приём их! Благодаря нему ГПУ только в течение 1923 года обнаружило в церкви состоявшими в поповских должностях более тысячи человек бывших кадровых офицеров, полицейских и членов Союза Русского Народа!

Но доносы доносам рознь. Антонин Грановский впадал в очевидное буйство. Он излёвывал самые неподобающие проклятья по адресу патриарха, Красницкого и, наконец, самого Бога, хуля таинство Евхаристии.

С Красницким у Антонина вышла серьёзная стычка в Донском монастыре. Там должны были возводить в

епископы одного женатого попа. На этой церемонии Грановский не дал Красницкому братского лобзания с пафосными словами:

— Нет между нами Христа!

Вот уж и впрямь. Кого-кого, но Христа на этом мероприятии быть точно не могло. Красницкий пытался урезонить разгневавшуюся глыбу, но безрезультатно. В этот момент кандидат в епископы грохнулся в обморок, и его вынесли.

Отправляя очередной донос с требованием наказать обидчика в мусорную корзину и сквозь зубы матерясь, Евгений Александрович окончательно утвердился в мысли, что обновленчество обречено. Психология верующих никогда не примет явных отступников. Тех, кто будет нарушать веками привычные формы. Не каноны, которых не знают и сами попы, а внешнее благообразие, к которому так тянутся религиозные люди. Что, например, более всего дорого «мамаше»? Красота и благолепие богослужений! Форма. За что избрал князь Владимир восточную церковь прочим религиям? За красоту! А из-за чего раскололась Церковь в семнадцатом веке? Да из-за формы же. Сколькими пальцами креститься... Для простого верующего нет ничего важнее формы, потому что большее его умишку не доступно. Так зачем же менять форму? Зачем разбивать склянку? Куда рачительнее сохранить её, наполнив иным содержимым. А для этого не шантрапа, желающая поголовно носить епископские саны и притом вкусно жрать и иметь баб, нужна, а настоящие архиереи. Такие, которым доверяют. И которые, соблюдая внешнее благообразие, проводили бы внутри нужную власти политику.

Крепость, которую невозможно взять тараном, легко возьмётся троянским конём. И осознав это, Тучков повёл новую многоходовую игру. Перво-наперво необходимо было избавиться от самого Тихона, всё ещё

сохранявшего огромный авторитет среди верующих и так не ставшего подконтрольным для ГПУ. «Я не пойду на соглашения и уступки, которые поведут к потере чистоты и крепости Православия»... «Я не могу отдать Церковь в аренду государству»... — эти вечные ответы чёртова «мученика» доводили Евгения Александровича до белого каления.

Тихона необходимо было устранить. Но без шума, естественным образом. И не просто так, но с пользой для дела. Польза заключалась в «Завещании». Ключевым значением этого документа было то, что он, во многом, облегчал будущему «троянскому коню» его шаг. Одно дело после патриарха-исповедника вступить на путь сотрудничества с властью, другое — просто сделать следующий шаг за патриархом, углубить его начинание. Уж если Святейший Тихон так на пороге смерти писал, то что и совеститься?

«Завещание», правда, вышло натянутым, сквозила в нём фальшь. Пришлось снабдить его публикацию в «Известиях» редакционной статьей Межова «По поводу тихоновского завещания», написанной так, как если бы автор присутствовал при последних минутах жизни патриарха: «...на смертном одре Тихон был окружен исключительно своими преданными поклонниками, иерархами православной церкви, духовенством тихоновского толка. Говорить о каком-либо давлении на его совесть совершенно не приходится. Его завещание является вполне свободным волеизъявлением и, по видимому, соответствует действительному настроению его последних дней. Человек, стоящий одной ногой в гробу, вряд ли способен к такому лицемерию, какое мы должны бы приписать Тихону, если бы вздумали заподозрить искренность его завещания. Оно составлено им совершенно самостоятельно и свободно, передано им своему ближайшему помощнику, митрополиту Петру, за несколько часов до смерти, и

передано именно с целью обнародования... Завещание Тихона бьет прямо в лицо клевете, упорно распространяемой врагами русского народа, и вскрывает ее истинную цену. С этой точки зрения завещание Тихона будет иметь и международное значение, поскольку оно наносит сильнейший удар бессовестным сплетням продажных писак и продажных политиканов о мнимых насилиях Советской власти над совестью верующих и о несуществующих гонениях на религию...»

Сама публикация припозднилась на неделю — не хотели приближённые Тихона допускать её. Но Евгений Александрович был хорошим психологом, знающим, на какие пружины давить, а потрясённые утратой церковники не смогли противостоять его нажиму. Дождавшись, когда епископы разъехались после похорон патриарха по своим епархиям, он сумел добиться своего, и документ был опубликован. Правда, пришлось потом из-за промедления измышлять новую ложь — якобы задержка вышла из-за того, что митрополит Петр в тогдашней суете забыл вскрыть конверт с «Завещанием».

Следующим шагом стало плавное сосредоточение церковной власти в руках Сергия (Страгородского). Тучков ещё раньше угадал в нём подходящего человека, хотя и не спешил с окончательным выбором. Человек, вернувшийся в львовский Синод, человек, перешедший к обновленцам, не мог иметь в себе твёрдого стержня. К тому же он явно отличался большим честолюбием. Весьма естественное качество для бедного сироты, возвращенного старшей сестрой... Это Евгений Александрович знал по себе. Кроме того Сергей был хитёр и пользовался, несмотря на прежние «ошибки», авторитетом в церковных кругах.

Авторитет, правда, был недостаточно твёрд и требовал упрочения для будущих важных шагов и

укрепления на узурпированном месте.

Тут-то и пригодились обновленцы. Вернее, их призрак. Снова сыграл Тучков на психологии... Что было самым страшным для «тихоновцев»? Обновленческая угроза. Раскол. Угроза захвата власти самозванцами в условиях отсутствия главы Церкви. Горечь пережитого в двадцать третьем году оставила по себе глубокую память. То обновленческое иго было для «тихоновцев» кошмарным сном, повторения которого они боялись более всего. Слишком много усилий было положено, чтобы одолеть его. Что ж, пугало иногда бывает куда как полезно.

В короткий срок был организован ВВЦС во главе с архиепископом Григорием, объявивший себя законной церковной властью до избрания патриарха. Этим ходом достигалось сразу несколько целей. Во-первых, углублялась церковная смута. Во-вторых, не считая обновленческого «синода», отыгранной карты, образовывалось два центра церковной власти — Григорий и Сергей. Кто бы ни победил в этом противоборстве, партия всё равно оказывалась выигранной. Григорианский синод подчинялся Тучкову, и одолей он, власть над Церковью была бы получена, цель достигнута. В-третьих, угроза ухода власти в руки ВВЦС побуждала к более решительным действиям Сергея. Он слишком долго ждал этой власти, болезненно задетый, что местоблюстителями стали Кирилл и Пётр, которых сам же он и постриг, которых он превосходил опытом, чтобы теперь отступить. В-четвёртых, переполошённое состояние делало церковников куда более легко направляемыми...

В создавшемся положении Страгородский выступил в роли главного защитника Церкви. Роль свою он сыграл отменно: так вдохновенно обличал «григориан», что стяжал себе любовь и уважение среди собратий,

восхищённых его отвагой, твёрдостью позиции и мудростью.

На фундаменте этого доверия можно было действовать уже куда смелее. Консервативные иерархи сочли, что менять коней на переправе опасно, что нельзя допустить раздора из-за того, кому быть первым епископом, но необходимо сплотиться перед общей угрозой в лице обновленцев. И сплотились — вокруг Сергия, который опираясь на эту поддержку, самым незаконным образом сохранил за собой власть, которую обязан был передать ярославскому Агафангелу. Отныне все его сомнительные действия сходили ему с рук — во имя церковного мира, чтобы не допустить обновленческого реванша и раскола.

О, славный синодальный период! Немалую пользу оказал он, выработав в священнослужителях, особенно, высших, бюрократическую, армейскую психологию. Они не могли существовать без указки сверху. Они привыкли подчиняться. И не привыкли существовать вне легального института, никак не соотносясь с властью. Это также учёл Евгений Александрович, строя свою интригу.

Итак, на повестке дня стала легализация. Придание Церкви официального статуса. Более всего жаждал этого Страгородский. Но Тучков не спешил с финалом, давая всем участникам партии поглубже увязнуть в расставленных сетях.

Для успешного довершения плана необходимо было разом изолировать всех высших иерархов, а уже в изоляции, в оторванности от мира провести с ними работу и сделать окончательный выбор.

Для массового ареста нужен был повод. И его быстро состряпали. При участии Сергия через епископа Павлина были инсценированы тайные выборы патриарха. Необходимость таковых была объяснена невозможностью проведения открытого Собора. Павлин

лично объехал архиереев, предлагая им избрать достойного. Как ни странно, провокатору верили и голосовали, не смущаясь тем, что подобная процедура была весьма сомнительна по их же канонам. По итогам выборов Сергей большинства не получил. Как ни старались весь год, а авторитет его не смог сравниться с авторитетом находящегося который год в заключении митрополита Казанского Кирилла.

Этот Кирилл уже однажды серьёзно подпортил игру Евгению Александровичу. В двадцать пятом году ему почти удалось под угрозой расправы с заключенным духовенством убедить Тихона простить и включить в Синод якобы покаявшегося Красницкого. Утвердить это решение должны были и другие иерархи. И что же? Вызванный из ссылки в Москву Кирилл напрямик направился к патриарху и уговорил отказаться от прощения вождя «Живой церкви». На увещевания Тучкова богатырского сложения старец изобразил недоумение:

— Помилуйте, Евгений Александрович! Вы всегда были недовольны тем, что я поддерживаю патриарха! А стоило мне, наконец, поперечить ему, так вы недовольны ещё больше! Не угодишь вам, ей-Богу!

Он издевался. Этот старик, которого не взял даже холод и голод тюрем и ссылок. Добавил ему ещё срок и в тот же день отправил из Москвы. Но Тихон уже не изменил своего решения...

И, вот, теперь прочили его в Патриархи. Что ж, это мы посмотрим ещё. А пока проворно арестовали всех «соборян». По делу о «тайном Соборе». Теперь с каждым из них по душам побеседовать можно. Такие беседы куда как интересны бывают!

Немало интересных собеседников было у Евгения Александровича в эти годы. И не раз жалел он, что нет средства переманить их на свою сторону. По справедливости, в распыл следовало бы обновленцев

пускать. Какой прок от них государству? Ничего, кроме разврата. Так же, впрочем, как от «воинствующих безбожников» Ярославского. Их Союз Емелька создал год назад при газете «Безбожник», и высшие партийцы тотчас вступили в него, и на открытии выступали Маяковский с Горьким. Но Тучков к этому начинанию отнёсся скептически. Для смуты и запугивания церковников, конечно, и то пригодится. Но в целом... Какого рода человеческий материал станет заниматься тем, чтобы нападать на крестные ходы, малевать пошлые карикатуры и устраивать шествия против Бога, которого нет? Шваль. Но на шваль хорошо делать ставку для разрушения старого государства, как формулировал незапамятный Владимир Ильич, а для строительства государства нового требуется иное. Требуются люди идейные, готовые к жертве. Люди с церковной психологией, перекованной под новую идеологию.

И такие кремни, как «тихоновцы» могли бы большую пользу принести, если бы перековались сами и использовали своё влияние на широкие массы в нужных целях. И всего желанней было Тучкову кого-то из них переманить. Много ли чести заставить работать на себя труса и ничтожество, фигляра вроде Введенского? Тихоновские епископы — дело другого рода. Поединки с ними доставляли Тучкову своеобразное удовольствие — то были противники, борьба с которыми рождала азарт, щекотала нервы.

Сколько времени прошло в разговорах с Иларионом (Троицким)! Вот уж кто немало потрудился для разгрома обновленцев. Одни диспуты его по всей Москве и за её пределами гремели! На этих диспутах солоно приходилось и истерику Введенскому, и рационалисту Луначарскому. Такая сила убеждения была в этом неколебимо спокойном молодом епископе, такая глубина ума, что не приходилось удивляться

поражению его противников — и в подмётки не годились они ему. И тем интереснее было беседовать с ним простому подмастерью, вышедшему в советские «победоносцевы».

Илариона Тучков вызволил с Соловков и, поселив в улучшенной камере с хорошим питанием и возможностью читать любые книги, стал регулярно вызывать для бесед, надеясь сломить епископа. Евгению Александровичу казалось, что это возможно. Иларион не принадлежал к крайним консерваторам. Он готов был идти на компромиссы ещё при Тихоне, за что подвергался критике более реакционных собратьев. К тому же это был просвещённый, широко образованный иерарх, ещё молодой, привыкший к любви и почитанию паствы и восхищению аудиторий. Казалось бы, такой человек мог согласиться на сотрудничество в обмен на возвращение к привычной ему жизни. Тем более, что в отличие от того же Кирилла, который несмотря на преклонные лета, оставался крепок, заключение переносилось им явно тяжело. Тучков не раз видел Троицкого в Москве. То был высокий, умерённо дородный, по-настоящему красивый молодой человек с мягким лицом, обрамлённым русой бородой. За три года Соловков он исхудал, стал наполовину сед, кашлял. Евгений Александрович рассчитывал, что тепло, сытость и прочие удобства размягчат епископа, и он сломается. Но не тут-то было. Слаб был Иларион, и совсем не так красноречив, как на диспутах, а всё же держался своего. Только и вырвал у него Тучков письмо к Сергию, чтобы тот не слишком усердствовал в прещении «григориан»...

— А что, владыка, какой срок был у вас на Соловках? Три года?

Три года эти как раз подходили к концу, и Троицкого вскоре должны были освободить.

— Помилуйте! Какие-то жалкие три года для светильника Русской Церкви! Для самого Илариона Верейского! Да это же просто оскорбительно! Вы, владыка, достойны большего!

И ещё на три года услали строптивца на Соловки. Пожалел, правда, «мамашу». Скучала она по проповедям владыки Илариона, просила вернуть его в Москву. Ну, ничего! Обойдётся и так: на Москве попы ещё не перевелись.

Илариона же новая кара не смирила. И неожиданным ответом Тучкову стало вышедшее из недр СЛОНа обращённое к власти «Соловецкое послание», в котором заключённые церковники во главе с архиепископом Верейским сформулировали программные положения для Церкви:

«...Церковь признает бытие духовного начала, коммунизм его отрицает. Церковь верит в живого Бога, Творца мира, Руководителя его жизни и судеб, коммунизм не допускает Его существования, признает самопроизвольность бытия мира и отсутствие разумных конечных причин в его истории. Церковь полагает цель человеческой жизни в небесном призвании духа и не перестает напоминать верующим об их Небесном Отечестве... коммунизм не желает знать для человека никаких других целей, кроме земного благоденствия... Церковь проповедует любовь и милосердие, коммунизм — товарищество и беспощадность борьбы. Церковь внушает верующим возвышающее человека смирение, коммунизм — унижает его гордостью. Церковь охраняет плотскую чистоту и святость плодоношения, коммунизм — не видит в брачных отношениях ничего, кроме удовлетворения инстинктов. Церковь видит в религии животворящую силу, служащую источником всего великого в человеческом творчестве, основу земного благополучия, счастья и здоровья народов. Коммунизм смотрит на религию как на опиум, опьяняющий народы

и расслабляющий их энергию... Церковь хочет процветания религии, коммунизм — ее уничтожения.

При таком глубоком расхождении в самих основах мирозерцания между Церковью и государством не может быть никакого внутреннего сближения и примирения, как невозможно примирение между утверждением и отрицанием, между «да» и «нет», потому что душой Церкви, условием ее бытия и смыслом ее существования является то самое, что категорически отрицает коммунизм.

Никакими компромиссами и уступками, никакими частичными изменениями в своем вероучении или перетолкованиями его в духе коммунизма Церковь не могла бы достигнуть такого сближения. Жалкие попытки в этом роде были сделаны обновленцами... Эти опыты, явно неискренние, вызывали глубокое негодование людей верующих.

Православная церковь... никогда не откажется ни в целом, ни в частях от своего овеянного святыней прошлых веков вероучения в угоду одному из вечно сменяющихся общественных настроений. При таком непримиримом идеологическом расхождении между Церковью и государством столкновение их может быть предотвращено только последовательно проведенным законом об отделении Церкви от государства, согласно которому ни Церковь не должна мешать гражданскому правительству в успехах материального благополучия народа, ни государство стеснять Церковь в ее религиозно-нравственной деятельности.

...Православная Церковь не может по примеру обновленцев засвидетельствовать, что религия в пределах СССР не подвергается никаким стеснениям... Напротив, она должна заявить, что не может признать справедливыми... законы, ограничивающие ее в исполнении своих религиозных обязанностей... Церковь... не призывает к оружию и политической

борьбе, она повинуется всем законам и распоряжениям гражданского характера, но она желает сохранить свою духовную свободу и независимость, предоставляемые ей Конституцией, и не может стать слугой государства.

...Епископы и священнослужители, в таком большом количестве страждущие в ссылке, тюрьмах или на принудительных работах, подверглись этим репрессиям не по судебным приговорам, а в административном порядке... часто даже без объяснения причин, что является бесспорным доказательством отсутствия обвинительного материала против них...

С полной искренностью мы можем заверить правительство, что ни в храмах, ни в церковных учреждениях, ни в церковных собраниях от лица Церкви не ведется никакой политической пропаганды... У каждого верующего есть свой ум и своя совесть, которые и должны указывать ему наилучший путь к устройению государства. Не отказывая вопрошающим в религиозной оценке мероприятий, сталкивающихся с христианским вероучением, нравственностью и дисциплиной, в вопросах чисто политических и гражданских Церковь не связывает их свободы, внушая им лишь общие принципы нравственности, призывая добросовестно выполнять свои обязанности, действовать в интересах общего блага, не с малодушной целью угождать силе, а по сознанию справедливости и общественной пользы...»

В конце этого документа, ставшего для Тучкова одним из самых крупных провалов в работе, авторы выражали пожелание, чтобы законы об обучении детей Закону Божию и о лишении религиозных объединений прав юридического лица были изменены, чтобы Церкви разрешили организовать епархиальные управления, избрать патриарха и членов Священного Синода, чтобы деятельность церковных учреждений, назначение епископов на кафедры, определения о составе

Священного Синода, им принимаемые решения не проходили под влиянием государственного чиновника, которому, возможно, будет поручен политический надзор за ними... Все эти принципы были в корне противоположны целям Тучкова, а потому Соловецкая декларация привела его в бешенство. Этот документ грозил спутать столь успешно ведомую игру, поэтому Евгений Александрович приложил все усилия, чтобы он не разошёлся широко, подвергая строгим карам его распространителей.

Теперь же предстоял Тучкову не менее трудный поединок. С Кириллом. Положительного результата не ждал от него Евгений Александрович, памятуя прежние встречи с митрополитом, но всё же решил попытаться удачу. Сломать такой столп — вот, дело бы было! Это не Страгородский, который уже в кармане почти — только надави на него посильнее. На недавнем допросе Евгений Комранов рассказал, как, будучи на обеде у Сергия поднял тост за будущего патриарха, «такого как Тихон». И Страгородский ответил, что тост этот одобряет, если Евгений имеет ввиду его, а если другого — то нет. Увязла птичка в сети, так захватила его власть, что не сорвётся. Его одолеть — невелика победа, хотя для дела и важная. Кирилл — дело другое. Вот уж кто настоящий патриарх бы был, вот бы какого патриарха лояльный голос весомо звучал! Сергию, начни он активно проводить новый курс, все грешки припомнят, а Казанскому владыке и вспоминать нечего. Икона живая: и жизнью, и обликом... Охватывал Евгения Александровича азарт, когда ехал он в тюрьму, куда доставили ссыльного митрополита, и мысленно уже проговаривал те аргументы, которые станет приводить своему противнику...

— Напрасно вы не желаете сотрудничать с нами, владыка. Поймите же, мы вовсе не хотим уничтожения церкви и её лучших служителей. Мы хотим лишь

совместно работать для общего блага: государства и... Церкви!

Владыка Кирилл безучастно слушал речь своего «инквизитора». Для чего он говорит всё это, изощряя лживый язык? Неужто, в самом деле, думает склонить на свою сторону?

— Работник на благо Церкви суть работник Божий. Работающий на Бога. В такой работе мы рады сотрудничать. Но неужто вы, Евгений Александрович, решились на Бога работать?

В хладнокровии и обходительности Тучкову не откажешь. Ничем раздражения не выкажет, всё так же вкрадчивы речи его. Таким тоном, должно быть, в раю Змей совращал Еву...

Вот, завёл речь о пользе церковной. И не грозит ничем, не пытается запугать. Может, понимает, что нет такого, чем Кирилла запугать можно? Чем можно запугать человека, пережившего самое страшное в жизни — почти одновременную потерю самых близких людей? Они друг за другом ушли, его Олички. Вначале маленькая, умершая в страшных муках из-за нелепицы — проглоченной иголки... А затем пришёл черёд её матери, не смогшей оправиться от трагедии и угасшей на глазах отца Константина. После этого ему ничего не осталось, как только принять монашество с именем Кирилл в честь равноапостольного просветителя Руси.

Бог не даёт испытаний свыше сил, и всё, что даёт Он, промыслительно. Хотя в первоначальной скорби по родным противилась душа сему смиренному сознанию. Но великая укрепа была ей — живой светильник Православной веры отец Иоанн Кронштадтский! С ним сподобил Господь недостойного раба своего быть связанным тесными духовными узами. И для того, чтобы находиться подле при жизни признанного святого, перевёлся отец Константин с хорошей должности в

маленькую кладбищенскую церквушку своего родного Кронштадта. Здесь-то постигло его великое горе. И, во многом, лишь молитвы Батюшки и его поддержка спасли от грозившего завладеть душой отчаяния.

С тех пор многое пришлось пережить. Миссионерская деятельность по обращению несториан в Персии, служение в столице, во время которого привелось отпевать всероссийского Батюшку, в Тамбовской епархии, на Кавказе, в Казани, мытарства последнего десятилетия... И всё это время чувствовал владыка Кирилл, что отец Иоанн не оставляет его своими молитвами, и в самые трудные минуты вспоминался его светлый образ и слова, говоримые им в чёрные дни.

— Знаете ли вы о проведении «тайного Собора», избравшего вас патриархом? — невысокий, плотный Тучков сидел за столом, сомкнув в замок непропорционально маленькие руки, неотрывно смотрел тёмными, небольшими глазами, точно хотел заглянуть в душу.

— Нет, не знаю. А если б знал, то приложил бы все усилия, чтобы остановить подобное действие, так как оно не соответствует канонам.

— Как вы относитесь к этому избранию?

— Я уже сказал вам. К действию, не соответствующему канонам, я положительно относиться не могу.

Тучков едва заметно поморщился:

— Допустим, что вы избраны. Как осуществляли бы вы свои патриаршие полномочия?

Куда клонит этот лукавый человек? Чего хочет добиться? То, что затея с этим «собором» без участия его ведомства не обошлась — яснее ясного. Но зачем? Внести дополнительный раздрай? Стравить?

— Евгений Александрович, я повторяюсь: для меня на первом месте стоит вопрос о законности избрания, то

есть об избрании законно созванным Собором. Таким же Собором может быть только созванный митрополитом Петром или по его уполномочию митрополитом Сергием.

— В данном случае инициатором выборов и является митрополит Сергей, и выборы произведены епископатам, — ответил Тучков.

Сергий? Инициатор выборов? Владыка Кирилл нахмурился. До него и прежде доходили слухи о некоторых странностях заместителя местоблюстителя. И этот конфликт его с владыкой Агафангелом неприятный осадок оставил. Однако же, не хотелось думать о нём худого. Некогда именно Сергей, тогда епископ Ямбургский, постриг священника Константина Смирнова в монахи, после чего началось его долгое миссионерское служение. Приходилось и впоследствии не раз встречаться, и владыка Кирилл сохранял неизменное уважение к собрату. Вот, и недавняя мужественная его борьба с «григорианами» не могла большого уважения не вызвать. Однако же, теперь замутилась душа сомнениями...

Впрочем, чего стоит слово ГПУ? В самом ли деле, Сергей инициировал столь странное действие? И если да, то знал ли о том митрополит Пётр?

— Путь так... — владыка Кирилл с осторожностью подбирал каждое слово. — Тем не менее, не зная ни повода, ни формы произведенных будто бы выборов, я совершенно не могу определить обязательное для себя отношение к таким выборам... если они были. Во всяком случае, были они без моего ведома.

— Но вы, — заметил Тучков, — являетесь центральной личностью.

И снова пространная речь, похожая на скользкую паутину, которой паук норовит обволочь свою жертву.

Чего добивается этот человек? Неужели не понял за эти годы, что никакие ссылки и тюрьмы ни на йоту не

поколеблют владыку Кирилла? Три года назад, когда почти уговорил Тучков Святейшего простить Красницкого, митрополит Казанский поспешил к нему с вопросом, для чего он собирается пойти на такой шаг. До сих пор помнились полные боли и скорби глаза Патриарха:

— Я болею сердцем, что столько архипастырей в тюрьмах, а мне обещают освободить их, если я приму Красницкого.

На это митрополит Кирилл горячо и твёрдо ответил:

— О нас, архиереях, не думайте! Мы теперь только и годны, что на тюрьмы.

И Святейший вычеркнул имя богоотступника из уже заготовленной бумаги, а саму бумагу просил передать Тучкову, к которому отправлялся владыка.

Тюрьмы... Их бесчисленное количество привелось увидеть со времен революции! Казанские, Московские, Вятские... Всех памятнее была тюрьма Таганская Двадцатого года. Чудесно тёплая компания там подобралась: митрополит Серафим (Чичагов), архиепископ Филарет (Никольский), епископ Феодор (Поздеевский), епископ Анатолий (Грисюк), епископ Петр (Зверев), бывший инспектор Казанской Духовной академии епископ Гурий (Степанов), игумен Иона (Звенигородский), игумен Георгий (Мещевский), бывший обер-прокурор Синода Самарин... Камеру сподобил Господь делить с владыкой Феодором и владыкой Гурием.

В те поры по просьбам заключённых и для произведения благоприятного впечатления на иностранные делегации ещё разрешались богослужения. Для них было отведено школьное помещение: небольшой светлый зал со школьными скамьями. На боковых выступах стен красовались портреты Карла Маркса и Троцкого. Никакого подобия иконостаса. Однако, это не препятствовало таинству,

для которого было всё необходимое: стол, покрытый белой скатертью, на нем Чаша для совершения Тайной вечери, крест, Евангелие и семисвечник, сделанный арестантами из дерева.

Служили совместно с владыками Гурием и Феодором. Бывший обер-прокурор Самарин управлял хором. Дивный это был хор... Такого и в лучших храмах не услышишь, ибо то был хор плачущих и за правду изгнанных.

Дивной была пасхальная служба Двадцать первого года... В шесть утра с первыми проблесками рассвета заключённых вывели из камер. С воли прислали пасхальные архиерейские ризы, сверкающие серебром и золотом, а также пасхальные свечи, фимиам и всё необходимое для торжества. И, вот, в переполненном школьном зале совершалась служба... «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» — разносилось гулом под сводами тюремных коридоров. Наворачивались слёзы на глазах много переживших людей, осветлялись и согревались мрачные стены дыханием любви... А потом весь день приносили с воли яйца, куличи, пасхи, цветы, свечи — приносили, несмотря на то, что сама Москва голодала, приносили последнее, дабы подать пасхальную радость узникам...

Обычные тюрьмы — это ещё не страшно. Для тех, по крайней мере, кто знает тюрьмы пересыльные, знает этап. По сравнению с этим адом на земле и ссылка кажется вполне пригодной для жизни. Даже в зырянском крае, где в редких избах люди жили, как в стародавние времена — тепля лучину и прядя пряжу, где на многие вёрсты не было ни души, где питаться приходилось лишь с трудом пойманной на реке рыбой, сваренной в консервной банке... Впрочем, что гневить Бога? Жили и в этом краю с Его всемогущей помощью. И там подобралась чудесная компания: и владыка Серафим (Звездинский) с монахинями, и Серёжа

Фудель, сын отца Иосифа, и верная заботница матушка Евдокия, и бывший секретарь Святейшего архимандрит Неофит... Никогда не позволял владыка завладеть собою духу уныния и гнал его от других: когда молитвой, когда ласковой беседой, а когда и партией в шахматы...

Теперь и вятская тюрьма своей сыростью окутывала. Что-то дальше будет? Хотя куда как ясно, что. Единственный вопрос, сколь далеко отправят теперь...

— Владыка, независимо от вашего отношения к «выборам», необходимо признать, что вы являетесь самым авторитетным и уважаемым иерархом. Многие считают, что вы единственная фигура, способная обеспечить мир и согласие в Церкви.

— Давно ли вам, Евгений Александрович, стал так дорог мир и согласие в Церкви?

— Мне, видите ли, важен порядок. При хаосе никогда не знаешь точно, чего ожидать. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в Церкви настал порядок. А для этого ей нужен глава. И нет кандидатуры более подходящей для этого, чем ваша. Собор ведь может быть проведён и легально. И тогда ваше избрание будет совершенно законным.

— Находясь в заключении, я не могу управлять Церковью.

Тучков оживился:

— Я уверен, что ваша судьба скоро изменится! И тогда судьба Церкви окажется в ваших руках. Понимаете? Церкви необходимо обрести некое определённое законом положение. Вы согласны?

— Допустим.

— Вот! Это я и хочу обсудить с вами.

— Я так понимаю, вы желаете обсудить условия, на которых я могу стать главой Церкви?

— Именно так.

— И каковы же эти условия?

— Сущие пустяки. Просто-напросто, если нам нужно будет удалить какого-нибудь архиерея, вы должны будете нам помочь.

Митрополит Кирилл слегка повёл плечом и ответил безразличным тоном:

— Если он будет виновен в каком-либо церковном преступлении — да. В противном случае я скажу: брат, я ничего не имею против тебя, но власти требуют тебя удалить, и я вынужден это сделать.

— Нет, не так! — тон Тучкова, наконец, стал резким, лицо его посуровело. — Вы должны сделать вид, — отчеканил он, подавшись вперёд, — что делаете это сами и найти соответствующее обвинение.

Что ж, цена легализации ясна и понятна. Церковь может формально существовать, патриарх — формально её возглавлять, но руководить ею станет ГПУ. Вековечная цена договора с дьяволом — собственная душа.

Владыка Кирилл помолчал, словно размышляя над сделанным предложением, а на деле томя замершего в ожидании «инквизитора», погладил окладистую белоснежную бороду и с достоинством ответил, взглянув в сверлящие тёмные глаза:

— Евгений Александрович, вы не пушка, а я не бомба, которой вы хотите взорвать изнутри Русскую Церковь.

Тучков рывком поднялся, хрустнув пальцами:

— Вы сделали свой выбор, владыка. А бомбу мы найдём, не сомневайтесь.

При этих словах защемило сердце. Будущие лишения и страдания не пугали митрополита Кирилла, но судьба Русской Церкви заставляла сердце обливаться кровью. Неужели найдётся среди епископата тот, кто согласится стать бомбой?.. И предать Церковь в руки врагов Божиих? Вот, что

действительно страшно! Вот, в сравнении с чем все страдания и скорби — ничто! И если бы можно было всю кровью своею отвратить беду... Но что это за жертва в сравнении с Церковью? Ничто... И остаётся только молиться, чтобы бомбы не нашлось, и Господь помиловал Русскую Церковь ради верных её чад ...

Глава 12. Свобода

Что способен вынести человек? Обычный человек из плоти и крови? Этого не дано знать никому. Человеку кажется, что, если он промокнет в дождь, то непременно заболеет, поэтому надевает плащ и берёт зонт. Ему кажется, что, съев что-то несъедобное, он уж точно отравится и, возможно, даже умрёт. И что примечательно, именно так и происходит в жизни. Люди лишаются её из-за несъедобного гриба или пневмонии, подхваченной в межсезонье, от массы вредных пустяков, которые оказываются несовместимыми с жизнью... Человек точно знает, сколько часов в сутки должен спать, сколько пищи есть, что ему необходимо тепло и отдых... О, человек весьма многое знает о своих нуждах и опасностях для своей жизни! Предложите любому смертному представить себя едва одетым, без пищи и оружия, чтобы её добыть, выброшенным в глухой северный лес на пороге зимы. И он с испугом уверенно заявит, что не выдержал бы и нескольких дней. Так ли на самом деле? Человеческий организм столь хрупкий в обычное время в ситуациях крайних подчас способен на чудеса...

Итак, человек в лесу. У него нет оружия и снастей, чтобы охотиться или рыбачить. И по неведомой прихоти небо отчего-то не спешит облагодетельствовать несчастного спасительной манной. Что же остаётся для пропитания? Кислая болотная ягода, редкие грибы неопределённого вида, более расстраивающие, нежели питающие желудок, кора деревьев... Да ведь это невозможно употреблять в пищу! — поразится обычный человек, который не в состоянии вообразить себя, с аппетитом жуящим кору или мох. И будет, разумеется, прав. Но человек голодный не знает и не помнит этих

условностей. Голодный человек способен съесть всё, включая живую мышь, наудачу попавшуюся ему в руки... Представив себе подобное зрелище, обычный человек, успевший сытно пообедать, вероятно брезгливо поморщится и самонадеянно подумает, что никогда бы не смог сделать подобного.

Сколько же можно прожить, питаясь таким образом? Спя в оврагах, не ведая крыши над головой, просыпаясь под снежной порошей? И недели не прожить, не так ли? Обычный человек кивнёт неколебимо утвердительно. Но прав ли он будет?

Родион Аскольдов блуждал по карельским лесам и болотам ровно тридцать четыре дня. Правда, сам он долго не мог поверить в это, полагая, что не продержался бы столько. По счастью, ГПУ не преследовало его. Видимо, попавшие в засаду Проценко и Глебов солгали, что подполковник Аскольдов утонул вместе с лейтенантом Колымагиным.

У Родиона не было ни карты, ни компаса. Он знал одно — идти надо на запад. И день за днём шёл, ковылял на обмороженных, израненных ногах, а, когда не стало сил, полз. Последние дни были покрыты сплошной пеленой, но Аскольдов помнил, как увидел какой-то дом и постучал в него, оставив осторожность. Помнил смертельно перепуганное лицо открывшей женщины и её вскрик. А после наступил провал...

Уже позже он узнал, что постучал в двери дачи — уже по ту сторону финской границы. Насмерть перепуганная его видом финка позвала мужа и тот, увидев лежащего на пороге предельно истощённого, израненного человека, отважился втащить его в дом и перевязать раны, после чего сообщил в полицию.

Очнулся Родион в больнице, в светлой, просторной палате, на чистой, белоснежной постели. Сквозь прикрытые шторы струился мягкий солнечный свет, в воздухе пахло эфиром и ещё чем-то терпким. Вокруг

хлопотала молоденькая, милостивая сестра милосердия, показавшаяся ему ангелом в раю.

В больнице ему пришлось провести не одну неделю. Силы восстанавливались медленно, сам себе Родион казался легче воздуха, как будто от всего его существа остались лишь глаза, губы и слух...

— Вы должны, вы обязаны рассказать миру о том, что пережили, — эти слова, выговариваемые с лёгким заиканием, он услышал, когда начал понемногу приходить в себя. Их с жаром повторял ему худощавый молодой человек лет двадцати пяти с не юношескими, полными боли, пронзительными глазами, с бледным, продолговатым лицом, которое то и дело подёргивала судорога.

Молодого человека звали Иваном Саволайненом. Он был известен в эмигрантских кругах, как поэт и публицист Иван Савин. В Финляндии Саволайнен проживал с недавнего времени, сумев выбраться из Совдепии, благодаря финскому происхождению. Этому предшествовала служба в Белой армии, тиф, помешавший ему эвакуироваться из Крыма, плен, ужасы концентрационного лагеря... Но, самое главное, там, по ту сторону границы остались лежать в земле почти все его родные: два младших брата, мальчики, убитые в боях, два старших — расстрелянные во время Крымских «варфоломеевых ночей», сестра... Другая сестра умерла в Каире. Таким образом, из некогда многочисленной семьи уцелели лишь сам Иван, его отец и мать.

А ещё...

— Лидин³¹... Этот так называемый писатель написал о ней повесть... «Марина Веневцева». Пропечатал в журнале и гонорар получил с чужой трагедии! С чужой искалеченной, растоптанной жизни! А чтобы ей, ей — помочь, так никогда! И думать забыл...

— Лидин не Достоевский, чтобы принимать к сердцу чужую боль.

— В таком случае, он не имеет права прикасаться к перу! Он такой же преступник, как те, что, что... Что за кусок хлеба владеют ею... Они покупают тело, а он — задёшево купил частичку души, память, боль! Они не писатели, Аскольдов, и не люди. Потому что они в других людях не видят людей, а только типажи, персонажей, которых можно использовать! Если бы я мог!..

Ту Марину он знал ещё ребёнком. Первая юношеская любовь в мирные, светлые годы, казавшиеся незыблемыми... Кто бы мог подумать, что через несколько лет эту сероглазую девочку постигнет такая жуткая участь. Её семью выгнали из дома, её отца расстреляли... Иван был в карауле, когда раскапывали братскую могилу, куда большевики сбросили тела всех казнённых и куда после их отступления стеклись родные, чтобы найти и по-человечески похоронить своих мертвецов. Среди смрада и рыданий, среди ада, которого не выдерживали много повидавшие врачи — такова была его последняя встреча с Мариной... Что сделала с этой чистой девочкой-институткой «народная власть»? Вытолкнула её на улицу, пустила по рукам, чтобы спастись от голодной смерти самой и спасти старуху-мать... И негодному советскому писателюшке излила она свою боль, а он сделал из этого повесть и тотчас забыл о несчастной, которая давно отвыкла от ласки и утешения, но всё-таки с робкой надеждой ждала, что хоть кто-то увидит в ней человека, отнесётся по-человечески. Но не находилось таких.

В долгих разговорах проходил дни. Иван записывал кое-что из рассказов Аскольдова. Он был явно нездоров: в моменты волнений тик его делался ужасающим, а речь едва можно было разобрать из-за заикания. Нервы поэта были на пределе, но он не знал покоя, работая

одновременно чернорабочим, чтобы прокормиться, и сотрудничая в нескольких газетах. Иногда создавалось впечатление, что этот непомерно много испытавший юноша нарочно загоняет себя, сжигает последние силы без жалости. А, может, как и многие поэты, неким шестым чувством знал Иван свой срок, а потому так отчаянно торопился высказать всё то, чем была переполнена его душа, то, о чём уже не могли свидетельствовать тысячи расстрелянных и замученных.

— Судьба вынесла нас из ада, Родион Николаевич, — говорил он. — Для чего? Для того, чтобы мы свидетельствовали о нём миру. И хотя мир подл и глух, а русская кровь очень низко расценивается на мировом рынке, но мы всё равно должны бить в наш набат. Во имя будущих поколений... В Семнадцатом из миллионов обезумевших рабов только тысячи услышали зов Корнилова, но тысячи эти спасли честь России, которая, не будь их, не стоила бы ничего, кроме проклятия. Тысячи — это мало. Но пусть хоть столько! И наши голоса — пусть хоть немногими будут услышаны! Хоть в немногих сердцах прорастут... В этом наша задача! Либеральная дезертирская когорта может оскорблять нас. Они скорее признают большевиков, чем нас, потому что составляют с ними одну суть и разошлись лишь в дележе власти. Так было всю войну... Так происходит сейчас в нашей эмиграции. Когда настанет судьбоносный час, они так и останутся дезертирами, а мы снова встанем в ряды армии и будем сражаться за освобождение России. А пока мечи ждут своего черёда, нам остаётся слово. Не молчите же, прошу вас! Нет ничего сильнее правды, засвидетельствованной перед лицом всего света. И чем больше таких свидетельств будет, тем скорее красная тряпка уступит место русскому стягу!

Откуда столько неугасимого жара было в этом измождённом человеке, потерявшем почти всех близких? Что давало ему его жизнестойкость? Вера ли, которую не смогли порушить несчастья? Должно быть, но не только. Силы давала ему ещё и та высшая идея, которой он служил, за которую сражался.

Родион мало разбирался в поэзии. Он не рискнул бы утверждать, хороши или нет те или иные стихи. Но стихи Савина потрясли его. Эти стихи не искали усладить читательский вкус, а с беспощадной откровенностью открывали ужас, через который пришлось пройти их автору.

Ты кровь их соберешь по капле, мама,
И, зарыдав у Богоматери в ногах,
Расскажешь, как зияла эта яма,
Сынами вырытая в проклятых песках.
Как пулемет на камне ждал угрюмо,
И тот, в бушлате, звонко крикнул: «Что,
начнем?»
Как голый мальчик, чтоб уже не думать,
Над ямой стал и горло проколол гвоздем.
Как вырвал пьяный конвоир лопату
Из рук сестры в косынке и сказал: «Ложись»,
Как сын твой старший гладил руки брату,
Как стыла под ногами глинистая слизь.
И плыл рассвет ноябрьский над туманом,
И тополь чуть желтел в невидимом луче,
И старый прапорщик во френче рваном,
С чернильной звездочкой на сломанном плече
Вдруг начал петь — и эти бредовые
Мольбы бросал свинцовой брызжущей струе:
Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое...

Когда Родион немного окреп, Иван отвёз его в Териоки — самый близкий к Петрограду курорт, некогда любимый дачниками, а теперь обратившийся в мёртвое царство. Дачники больше не ездили сюда. Многих, должно быть, уже не было в живых. Их летние домики, некогда полные радости, теперь скорбно молчали, зияя чернотой разбитых стёкол и провалами гниющих крыш. Внутри все они были выпотрошены самым варварским образом: мебель частью вывезли, частью изломали, печи разбили, из плит вывернули чугунные доски, обои оборвали, а всё более мелкое разметали по полу. Особенно достались библиотекам. Не только комнаты, но сады и тропинки посёлка были усыпаны обрывками книг — великой русской литературы. Часть из них была уже пущена местными пастухами на костры.

— Вот, полюбуешься на такое, и лишний раз убедишься, что человек — существо разумное и венец творение, не правда ли? — спросил Саволайнен, подбирая обрывок пушкинского «Онегина».

— Печальная картина...

— Это, Родион Николаевич, прообраз человеческого будущего. Если человек и дальше будет двигаться к животному состоянию, что и происходит, то однажды весь мир станет похожим на Териоки. Потому что животному не нужны ни картины, ни иконы, ни уж тем более литература.

— Вы хотите препятствовать человеку превращаться в животное?

— Я хочу показать людям, начала человеческого в себе ещё не угасившим, что происходит, когда оно угасает, в какой кромешный ужас превращается мир. Чехов, если помните, писал о молоточке... Но молоточка мало! Нужен тяжёлый кузнечный молот, чтобы до покрытых коростой сердец достучаться.

— Не слишком ли тяжёлую задачу вы решили взвалить себе на плечи?

— Время покажет... Я знаю одно: я никогда не примирюсь с этим. Потому что нельзя мириться со злом, с торжеством сатанинской силы, не соучаствуя ей. И если нам было открыто нечто, то мы не имеем права утаить это в себе, как светильник под спудом. Как бы ни сложилось здесь, но, по крайности, на последнем суде мы сможем честно ответить Творцу, что не отклонили своего жребия и бережно исполнили всё, что Им было нам назначено. Что сражались до конца...

Родион последовал уговорам Саволайнена и написал несколько очерков-воспоминаний о Соловках. Их напечатали в эмигрантской прессе заодно со статьёй о самом Аскольдове. В Финляндию полетели письма и телеграммы. Были среди них — и от старых сослуживцев, выражавших радость воскрешению из мёртвых боевого товарища.

Незадолго до нового года из Сербии пришло письмо от генерала Тягаева, под началом которого Родиону некоторое время пришлось служить в Сибири во время отступления. Пётр Сергеевич вместе с супругой приглашал его погостить у себя в Сремских Карловцах. Между строк Аскольдов угадал, что генерал, ставший теперь ближайшими соратником Врангеля и одним из руководителей РОВСа, приглашает его не только из дружеской симпатии, но и имея какие-то цели.

Родион не раздумывал. Жить в Гельсингфорсе ему было негде, работы не находилось. Здоровье же его поправилось достаточно для поездки в Сербию. Тепло простившись с Саволайненом, ставшим единственным близким ему человеком в Финляндии, Аскольдов отбыл в Сремски Карловцы. Иван предупредил на прощанье:

— Вы теперь известны, Родион Николаевич. ГПУ тоже. Они боятся свидетелей, так как таковые опаснее для них десятков болтунов. Так что будьте начеку.

Родион прекрасно понимал это и сам. Но всё-таки взгрустнулось: что же это за свободный мир, если даже

здесь нет защиты от ГПУ?..

Генерал Тягаев встретил его на вокзале. Даже в непривычном штатском костюме не узнать Петра Сергеевича было невозможно. Родион не знал человека, к которому более подходило бы определение «белая кость». Это был рыцарь средних веков, высокий, худощавый, с безукоризненной выправкой и тонким, аристократическим лицом. Прошедшие годы, правда, окончательно убелили его шевелюру, испещрили морщинами лицо, но это лишь добавило утонченности его облику.

— Явился по первому зову, — отрапортовал Аскольдов после первых приветствий.

— И очень правильно сделали! — одобрительно кивнул Тягаев, блеснув стёклами небольших очков. — Я ждал вас! Жить будете у меня — жена уже приготовила вам место.

Ни одна страна не отнеслась к русским беженцам с такой щедростью, как Сербия, протянувшая им настоящую братскую руку помощи. Более тридцати тысяч изгнанников нашли здесь пристанище. Среди них — художники, учёные, высокопоставленные военные, сановники, иерархи... Дети эмигрантов обучались в русском кадетском корпусе. Русские преподаватели преподавали в сербских семинариях...

Колония в Сремских Карловцах была небольшой, всего две сотни человек, но именно этот город стал духовным центром Русского Зарубежья. По приглашению сербского Патриарха Димитрия из Константинополя прибыло возглавляемое Митрополитом Антонием (Храповицким) Высшее временное русское церковное управление за границей, затем преобразованное в Синод Русской Православной Церкви за границей. Для его нужд была выделена часть здания сербской патриархии. Здесь в 1921 году состоялся первый зарубежный церковный собор,

вызвавший отчаянную ненависть большевиков, пустивших всевозможные ухищрения для борьбы с «карловчанами».

Какое-то время в Сремских Карловцах размещался и штаб Главнокомандующего, жил сам Врангель, позже перебравшийся в Брюссель. Видимо, с той поры и оставался здесь генерал Тягаев, не решившийся менять обжитого места.

Пётр Сергеевич жил в уютной квартирке с женой, матерью, её мужем, невесткой последнего и её пятилетним сыном. Аскольдов никогда прежде не видел супруги генерала, хотя и был наслышан об известной певице Евдокии Криницыной. Это оказалась очень живая, грациозная женщина с точёными чертами правильного лица и мелодичным голосом. Однако, большее внимание Родиона привлекла другая дама, представленная как Наталья Фёдоровна. При виде неё у любого человека должно было возникать лишь одно единственное чувство — восхищения природой, способной создавать такую красоту.

За обедом она хранила молчание, а хозяйка вместе со свекровью засыпали гостя вопросами о пережитом им в Советской России. Выслушав его рассказ, Евдокия Осиповна подытожила:

— Слава Богу, что мы здесь... И вы теперь с нами.

— Неужели вас не гнетёт тоска по Родине? — поинтересовался Аскольдов.

— Не до такой степени, чтобы позволять топтать себя ногами ГПУ в радости, что втоптывают меня всё-таки в русскую грязь, а не в какую-нибудь другую, — рационалистически отозвалась Криницына. — К тому же, — она покосилась на мужа, — как говорит Главнокомандующий, мы унесли Россию на подошвах своих сапог. Мы сейчас сидим за столом — русские люди. Мы читаем русские книги, поём русские песни, по-русски мыслим и говорим, молимся в русских

церквях... Так разве же Россия не посреди нас теперь? Не в нас? Я не понимаю людей, которые убеждены, что в советском концлагере они будут ближе к России, чем здесь, что, чтобы быть с Родиной, надо непременно сдаться в плен большевикам и позволить им над собой надругаться. Не понимаю!

Тягаев ничего не заметил на это, а докурив папиросу, мягко улыбнулся, плавно переводя разговор в мирное русло:

— Дорогая, ты не забыла пригласить нашего гостя на свой вечер? — повернувшись к Родиону, он пояснил: — Евдокия Осиповна сегодня выступает в старом здании Благодеяния. Это что-то вроде нашего русского «клуба». Выручка пойдёт в помощь больным и увечным соратникам.

— Польщён вашим приглашением! Стыдно признаться, я ещё никогда не слышал Евдокии Осиповны.

— Услышите, услышите... — многообещающе произнёс генерал. — Вот, осмотритесь немного, а затем я представлю вас Главнокомандующему. Но об этом, — он поднял затянутую в чёрную перчатку руку-протез, — после. А сейчас отдохните с дороги, а вечером познакомитесь со здешним обществом. Сдаётся мне, что лучшего навряд ли где-то можно теперь встретить, поэтому я так и дорожу этим местом. Евдокия Осиповна хотела поселиться в Париже, но я воспротивился. Париж — глупый город, потому что там слишком много политиков...

— Пойдёмте, Родион Николаевич, я покажу вам вашу комнату, — негромко произнесла Наталья Фёдоровна, и Аскольдов с радостью последовал за ней, не переставая любоваться зрелой, благородной красотой этой женщины. Она проводила его в комнату, разделённую надвое тонкой перегородкой:

— За стеной наша комната с сыном, а этот угол служит нам комнатой для гостей. Не взыщите, что маленькая...

Родион галантно поклонился и пожал кончики пальцев Натальи Фёдоровны:

— Будь это даже конура, в которой нельзя вытянуться в полный рост, я был бы всё равно признателен.

Она осторожно, но словно испугавшись чего-то, отняла руку, опустила кофейного цвета глаза:

— Располагайтесь, Родион Николаевич. Вам непременно нужно отдохнуть и набраться сил... Если что-то потребуется, вы можете просто постучать в перегородку.

С этими словами Наталья Фёдоровна скрылась за дверью, а Аскольдов с удовольствием вытянулся на застеленной белой простынью кушетке, думая, что нужно будет непременно отыскать благовидный повод, чтобы постучать в перегородку и снова увидеть прекрасную вдову, от общества которой совсем не хотелось скоро уезжать в Брюссель для представления Главнокомандующему...

Глава 13. Белая борьба

«Белая борьба — это честное возмущение русского человека против наглого насилия над всем для него святым: Верой, Родиной, вековыми устоями государства, семьи.

Белая борьба — это доказательство, что для сотен тысяч русских людей честь дороже жизни, смерть лучше рабства.

Белая борьба — это обретение цели жизни для тех, кто, потеряв Родину, семью, достояние, не утратил веры в Россию.

Белая борьба — это воспитание десятков тысяч юношей — сынов будущей России — в сознании долга перед Родиной.

Белая борьба — это спасение Европы от красного ига, искупление предательства Брест-Литовска.

Не вычеркнуть из русской истории тёмных страниц Настоящей смуты. Но не вычеркнуть и светлых — Белой борьбы», — так сформулировал суть Белой борьбы барон Врангель. Эти слова были написаны на обратной стороне фотографии Главнокомандующего, которую Тягаев повесил над своим рабочим столом.

Белая борьба не прекращалась для него ни на мгновение за все шесть лет изгнания. Офицер до мозга костей, Пётр Сергеевич ни разу не помыслил пойти своим путём, отдельным от крестного пути армии. Эти пути были неразрывны для него. Именно поэтому после эвакуации из Крыма он, отправив в Сербию мать с мужем и вдовой сводного брата, не поехал с ними, а вместе с не пожелавшей оставить его Евдокией Осиповной отправился на Галлиполи...

Лемнос, Чаталдже, Галлиполи — на этих трёх турецких островах была размещена эвакуированная

Русская Армия. На северо-востоке абсолютно пустынного полуострова Галлиполи оказались более двадцати пяти тысяч военнослужащих со своими семьями. Голое поле под открытым небом — вот, что предстало их взору. Как всегда «любезные», французы предоставили беженцам палатки, но не дали ни транспорта, ни инструментов. Жильё напоминало стоянку каменного века: спали на голой земле, топили хворостом и принесёнными водой сучьями. Жили в темноте: «любезные» французы не дали керосина. Кто-то другой, может, и сломался бы в таких условиях, но не русские воины. Имея руки и смекалку — как не выжить пусть и на голом поле?

Нет керосина? Не беда. Из пустой консервной банки, фитиля и растопленного жира от консервов умельцы изготавливали нечто вроде древнеримского светильника. Те же консервные банки использовались в качестве посуды и для приготовления пищи. Кровати заменили водоросли и ветки, стулья — ящики из-под консервов.

Французы оказали ещё одну «любезность»: назначили беженцам рацион, чтобы не умереть с голода — полкило хлеба и немного консервов. Свою помощь союзники с лихвой компенсировали, заполучив не только большое количество оружия, но все сто двадцать шесть российских кораблей.

Чтобы всё же не опухнуть от недоедания командование корпуса из своих скудных ресурсов купило муку и открыло несколько пекарен, что спасло положение.

А какие чудеса творили военные инженеры! Без инструментов и материалов они умудрились восстановить разрушенные дома, провести железную дорогу от лагеря до города, чтобы по ней доставлять продовольствие, построить и оборудовать бани, кухни, пекарни, больницы, соорудить пристань для разгрузки

помощи и даже восстановить римский акведук, по которому вода поступала в город! Созерцая это чудо, Тягаев начинал понимать, как век за веком осваивали русские люди необъятные территории. Такой сильный, волевой, находчивый и предприимчивый народ невозможно победить. Но как же тогда могло случиться с ним то, что случилось?..

Во многом, галиполийское чудо было заслугой коменданта острова генерала Кутепова. Под его руководством голое поле сделалось очагом образования. Для не имевших начального образования были организованы курсы. Офицеры изучали тактику и стратегию. Издавалась газета, появился даже театр, где шли спектакли. В палатке соорудили церковь с самодельными иконами и алтарём, при изготовлении которых использовались всё те же консервные банки... Всё это делалось для того, чтобы люди имели занятия, не оставались предоставлены самим себе, чтобы не допустить уныния и брожения, разложения армии. И армия сохранилась. После парада на Галлиполи один из военных атташе заметил: «Нам говорили, что здесь толпа беженцев, а мы увидели армию».

Но армии союзники видеть не желали. «Любезная» Франция требовала скорейшей её ликвидации и сдачи оружия. Врангель отвечал категорическим отказом, считая армию залогом будущего России.

— Будущая Россия будет создана армией и флотом, одухотворёнными одной мыслью: «Родина — это всё», — говорил он.

Главкомандующий планировал переправить армию на территорию дружественных стран: Югославии и Болгарии, но для этого нужно было время, а союзники стремились как можно быстрее положить конец её существованию. Франция в ультимативной форме заявляла, что не признаёт больше существования Русской Армии и не считает генерала Врангеля её

Главкомандующим, что едва не вызвало восстания доведённых до предела галлиполийцев. Французы агитировали изгнанников вернуться на Родину, обещая амнистию, под гарантии французского правительства. Казаки с острова Лемнос поверили этим обещаниям. Около шести тысяч человек на двух кораблях отплыли в Россию. Их друзья поднялись на борт, чтобы проститься с ними, покинуть суда французы им уже не позволили... Вскоре один из кораблей вернулся в Константинополь, и в трюме обнаружилась страшная нацарапанная надпись: «Друзья! Из 3500 казаков, прибывших в Одессу, 500 были расстреляны на месте, остальных отправили в лагеря и на каторгу. Казак Мороз из станицы Гнутовск, я не знаю, что меня ждёт».

В это время было совершено покушение на Врангеля. Итальянский фрегат «Адрия» протаранил яхту «Лукулл», на которой жил генерал, ровно посередине, где была его каюта. Однако, покушение не удалось: буквально за минуту до трагедии барон с женой сошли на берег.

Французы не дали Петру Николаевичу никакого транспорта, лишив его возможности посетить войска, и генерал оказался в российском посольстве практически в положении арестанта. Между тем, Советы гарантировали амнистию белым в случае возвращения, если приказ об оном отдаст сам Врангель. Французы потребовали отдать такой приказ и пригрозили Главкомандующему арестом. Когда на другой день, французский представитель, придя за ответом, беседовал с послом, вошёл Врангель и невозмутимо обратился к последнему:

— Извините за беспокойство, г-н посол, но я должен показать конвою, где установить пулемёты, — ходят слухи, что определённые зарубежные круги вынашивают заговор против Главкомандующего.

С этими словами Пётр Николаевич вышел. Разумеется, ни оружия, ни конвоя у него не было, но одного эффекта оказалось достаточно, чтобы французы отказались от своих замыслов.

Среди русских войск уже вынашивался план захвата Константинополя, но, по счастью, в это время завершились переговоры генерала Шатилова с руководством Болгарии и Югославии. Эти страны согласились принять у себя Русскую Армию.

Армия продолжала боготворить своего Главнокомандующего. Тягаев, не раз сопровождавший его в поездах по разрозненным частям, видел, какое воодушевление вызывало одно только появление Врангеля. Его автомобиль несли на руках, его, стремительно проходящего вдоль строя, провожали взглядами полными слёз. Он стал живым знаменем, символом Белой борьбы. Простые солдаты и офицеры не могли знать, чего стоит генералу борьба за них, за армию, борьба с союзниками в положении почти что узника последних, но они — чувствовали это.

Почитали в армии и баронессу Ольгу Михайловну. Эта сильная духом женщина, в качестве сестры милосердия прошедшая с мужем две войны, мать четверых детей, последний из которых родился недавно, посвятила себя заботе о беженцах. Со всякой нуждой они шли к ней, её имя звучало повсюду, она становилась для многих последней надеждой. И никто не умел с таким искренним участием и терпением говорить со всеми: инвалидами, простыми солдатами, безутешными матерями и вдовами. Ольга Михайловна помогала всем, и делала это всегда доброжелательно, без суеты.

Её стараниями были организованы два туберкулёзных санатория в Болгарии и Югославии. Добывать средства на них Ольга Михайловна ездила в Америку. Деньги на это путешествие баронессе,

которой едва хватало на поездку в Бельгию с детьми 3-м классом, дал Феликс Юсупов. Новый свет она исколесила вдоль и поперёк, выступая с речами на благотворительных приёмах, и американские граждане откликались на её призывы и жертвовали значительные суммы.

С целью сплочения армии Врангель организовал Воинский Союз, имевший отделения во многих странах. Члены Союза платили небольшие взносы, которые шли на организационные расходы и в страховой фонд на случай потери работы и болезни. Все усилия Петра Николаевича были направлены на сохранение армии, поддержание её духа.

Но, как и в России, армия и общественность снова оказывались по разные стороны баррикад. В среде русской эмиграции генерала Врангеля приняли в штыки. Для либералов из бывшего Временного правительства и им подобных он был кем-то вроде Бонапарта, а вся Белая армия — реакционной силой. Страницы их газет заполняла брань, в конечном итоге, бившая по русским солдатам и офицерам. Не отставали и правые. Для них и сам Врангель, и его сподвижники были выскочками, нахватавшими генеральских чинов не на настоящей войне, а в ходе усобицы. Не устраивал и постулат «армия вне политики». Великий князь Кирилл, предавший Государя, а теперь, как заправский шулер, провозгласивший себя Императором в изгнании, и его приближённые требовали лояльности к себе от армии. Врангель ответил Великому князю отказом, считая поддержку этого фарса своим авторитетом дурной услугой как монархистам, так и всей армии, в которой были люди разных взглядов. Этого Кирилл Владимирович и его окружение не забыли и не простили Петру Николаевичу.

Как и всякий крупный деятель, Врангель оказывался под ударами и справа, и слева. В таком же положении

находился некогда Столыпин. И тем горше было, что теперь сын последнего, Аркадий, отсидевшийся в стороне всю Гражданскую войну, осмеливался писать пасквилы на Главнокомандующего, не чураясь использовать штампы социалистической печати. Впрочем, он получил достойный отпор. Из далёкого Гельсингфорса раздался перекрывающий злобный лай ничтожных, мелких людишек голос Поэта и мученика, от имени всей Армии обличивший очередного клеветника и указавший ему его место. Это был голос Ивана Савина.

В 1924 году Врангель, оставаясь Главнокомандующим Русской Армией и Председателем РОВС, передал права Верховного Главнокомандующего Русской Армией в зарубежье дяде убитого Государя, Великому Князю Николаю, имевшему большой авторитет в среде монархистов. Решение это было продиктовано тем, что Николай Николаевич имел обширные связи среди членов французского правительства и высшего генералитета, что должно было способствовать улучшению положения изгнанников, большинство из которых тяготели именно к Франции.

Сам Врангель с семьёй поселился в Бельгии, где его тёща на деньги, вырученные от продажи австрийской виллы, приобретённой ещё её мужем, купила небольшой дом. Николай Николаевич, взявший под контроль средства, на которые существовал РОВС, предложил Врангелю выплачивать из них ему пенсию, но Пётр Николаевич отказался, не желая получать содержание из взносов членов Союза, при организации которого было решено, что никто из старших командиров не будет получать жалования за его счёт.

Окружение Николая Николаевича относилось к Врангелю враждебно. Они видели в нём соперника в борьбе за власть, опасались, что в будущей России

пользующийся огромным доверием и поддержкой генерал займёт слишком значимое место, а потому старались прекратить финансирование войск, политически изолировать барона, затруднить его связи с воинскими организациями.

А в самих организациях было беспокойно, их, к большому огорчению Врангеля, всё больше затягивала политика. А на этой политизированности играло ГПУ, чьи агенты просачивались в среду эмиграции. Их присутствие стало ощущаться давно. Тягаев помнил, как потрясло его остережение Петра Николаевича в отношении генерала Скоблина:

— Не доверяйте ни ему, ни его жене.

Скоблин?.. Командир Корниловцев? Герой, под началом которого сражался сводный брат Николай? В голове не укладывалось! Если он через свою офицерскую честь, через память своих боевых соратников смог переступить, то кому же верить? Тягаев и сам недоверчив был, но тут усомнился, спросил, уверен ли Врангель в своих подозрениях. Тот лишь молча показал свежеподписанный приказ об отстранении Скоблина от командования Корниловским полком.

Этот инцидент осложнил и без того ухудшившиеся отношения Врангеля с Кутеповым. Кутепов некогда спас Скоблину жизнь и был посажённым отцом на его свадьбе. Он не мог допустить мысли о предательстве. К тому же этот прямой и честный человек, служака в самом лучшем смысле слова, сам занялся с некоторых пор несвойственным себе делом: разведкой. Он добился права вести партизанскую борьбу на территории Советского Союза, организовывать различные диверсии. Врангель был категорически против этого, считая, что террористические акции ни к чему не приведут, а лишь унесут понапрасну жизни их исполнителей.

— Всё прошлое России говорит за то, что она рано или поздно вернётся к монархическому строю, но не дай Бог, если этот строй будет навязан силой штыков или белым террором! — убеждал он Александра Павловича. — Кропотливая работа проникновения в психологию масс с чистыми, национальными лозунгами может быть выполнена при сознательном отрешении от узкопартийных, а тем более классовых доктрин и наличии искренности в намерениях построить государство так, чтобы построение удовлетворяло народным чаяниям.

Но эти убеждения пропадали даром. Кутепов не желал ждать, медлить, но только действовать решительно и твёрдо. В его окружении стали появляться странные личности, превозносившие его действительные и мнимые достоинства. Тягаев сразу понял, что они попросту играют на самолюбии честного, но в чём-то недалёкого генерала, бывшего блестящим военачальником и совершенно беспомощным политиком. Среди этих тёмных личностей был некто Якушев, сотрудник советского наркомата внешней торговли, объявивший о якобы существующей в Советской России тайной монархической организации. По загадочной для Тягаева причине Якушеву поверили многие. В особенности, после того, как представляемая им организация устроила тайную поездку в Триэссирию Шульгина, и тот написал об этом книгу.

Пётр Сергеевич недоумевал, откуда взялась такая легковёрность. Верить Шульгину? Националисту, защищавшему Бейлиса, монархисту, принявшему отречение Государя, конспиратору, подведшему под расстрел целую организацию киевских монархистов и при этом уцелевшему? Если он и не пожизненный провокатор, то человек, обладающий роковым талантом погубить всё то, чему якобы служит. Храни Бог от

всяких сношений с ним! Не говоря уже о вовсе непонятном сотруднике торгпредства...

Этого сотрудника восторженные глупцы привели и к Главнокомандующему. И напрасно, потому что зоркий врангелевский глаз, его незамутнённая интуиция осечек не давали. Ему хватило одной краткой встречи, чтобы вынести твёрдое суждение, что Якушев — агент ГПУ, и запретить любое сношение с ним.

Когда бы Александр Павлович мог понять это с той же очевидностью или хотя бы прислушаться...

Всё мутнее и мутнее становилась русская эмиграция. Мутные потоки отравляли Белое дело. В противовес этой печальной тенденции вокруг Врангеля образовывался круг самых доверенных лиц, в который входили генерал Шатилов, генерал-майор фон Лампе, философ Иван Ильин и другие. Эта глубоко законспирированная организация налаживала связи в политических, экономических и военных кругах разных стран, предпринимала меры для создания в Советской России организации, не имевшей связей с прежними и существующими разведывательными учреждениями белой эмиграции.

Пётр Сергеевич принимал самое активное участие в работе организации, став одной из ключевых фигур в ней. Даже самых близких он не посвящал в свои дела, остерегаясь просачивания информации. Тягаев кожей чувствовал присутствие врагов совсем рядом, и всего тяжелее было сознавать, что ими могут оказаться собственные боевые соратники. А для того, чтобы угадать предателя, необходимо гениальную интуицию иметь, прозорливость. Таковая была у Врангеля, но Пётр Сергеевич ею не обладал. Последнее время он изо всех сил пытался понять, что же должно происходить с душой человека, чтобы он мог так переродиться, пойти на службу ГПУ, предавать тех, с кем вместе проливал кровь за Россию? Тут не объяснишь дела элементарной

продажностью... Слишком мелко. А мелкий человек не способен к жертве, тогда как люди, которые предавали теперь, ещё несколько лет назад жертвовали своими жизнями во имя Белой идеи, во имя свободной России. Как же понять это двойничество? В какой момент в душах честных и отважных людей прописалась противоположная субстанция, подчинившая их? Что это за страшное явление?

В который раз терзаемый этими мыслями Пётр Сергеевич сидел в столовой, выполняющей также функцию гостиной, и ожидал своего гостя. Родиона Аскольдова он пригласил к себе, разумеется, не просто так. Прочитав о нём в газетах, он интуитивно почувствовал: вот, человек, который нужен организации. Боевой офицер, верный Богу, Царю и Отечеству, познавший ужас советского ада и могущий доподлинно свидетельствовать о нём в отличие от глупца и позёра Шульгина. Такие люди при оскудении их нужны, как воздух. Но прежде требовалось присмотреться к нему. И, самое главное, представить его Главнокомандующему.

Родион Николаевич отдыхал недолго. Вскоре он показался в столовой, бодрый, несмотря на внешнюю измождённость.

— Хотите коньяку? — предложил Тягаев и кивнул на буфет. — Возьмите сами, а то у меня, знаете ли, рука...

Аскольдов наполнил два бокала, подал один Пётру Сергеевичу.

— Благодарю, — Тягаев сделал неторопливый глоток и спросил: — Скажите, Родион Николаевич... Представьте такой феномен. Человек жертвует собой, самоотверженно сражается за свой идеал, а затем вдруг отрекается от него, переходит на сторону врага и предаёт ему тех, с кем вчера сражался бок о бок? И при этом также ведёт себя, смотрит им в глаза, славословит преданные идеалы, произносит тосты за Великую

Россию? Как, по-вашему, такое может быть? Что это такое?

Аскольдов мгновение подумал и ответил коротко:

— Дьявольщина...

— Да, вы, должно быть правы. Дьявольщина... — задумчиво согласился Пётр Сергеевич. — Если в душе нет Бога, то её займёт дьявол. И идеалы, не подкреплённые божественным началом, тут не помогут. Они рассыплются в прах, станут лишь фантиком, обёрткой для ядовитой начинки. Да, вы правы... Но всё-таки я не могу понять.

— Вы не бывали в аду, господин генерал, — заметил Аскольдов. — Здесь это ещё может удивлять, но не там. Там это норма жизни...

Тягаев поднялся, тряхнул головой:

— Довольно об этом. О тяжёлых вещах у нас ещё будет достаточно времени говорить. Через три дня мы с вами поедим в Брюссель... А сегодня позволим себе небольшое отдохновение. Уважим Евдокию Осиповну. Она огорчается, когда на её вечерах люди слушают не её, а собственные невесёлые мысли. Так что забудьте сегодня вечером обо всём, насладитесь искусством. Не так часто выпадают в наше время такие часы.

При мысли о жене на душе потеплело. За шесть лет совместной жизни ничто не притупилось, не охладело между ними. Его Дунечка оставалась его единственной отдушиной, маяком в пучине мрачных дней, опорой. Она успевала всё: концерттировать и тем немало поддерживать финансовое положение семьи, создавать уют в доме, заботиться о муже — и всё это с окрылённой лёгкостью, без тени усталости и уныния. Что бы стало без неё в этом доме? Мать была уже стара и часто болела, главной заботой её был муж. Тот же сдавал день ото дня. Голова его оставалась на редкость ясной для столь почтенных лет, а, вот, ноги подводили, и старик уже почти не мог передвигаться без

посторонней помощи. Наташа с её больными нервами также не могла быть серьёзной подмогой. Таким образом, все домочадцы в той или иной степени нуждались в уходе. И хрупкая Дунечка взвалила на себя эту ношу. И несла её с беззаботным видом, не жалуясь и оставаясь всё такой же лучезарной.

Вот, и теперь появилась она в столовой — уже в концертном платье, скромном и элегантном одновременно. Осветила всё вокруг одним своим присутствием и мягко-мягко обеими руками опёрлась о локоть Петра Сергеевича, заглянула в лицо, улыбаясь ободряюще. Чудо, а не женщина. И никакой Плевицкой не сравниться с нею, хоть и более превознесена она...

Об одном иногда жалел Тягаев: не дал Бог им с Дунечкой детей. Хоть и тяжёлое время, а всё-таки... Покидая столовую, Пётр Сергеевич взглянул на большой портрет Нади, повешенный здесь матерью. Вспомнились слова Аскольдова: «Вы не бывали в аду, господин генерал. Здесь это ещё может удивлять, но не там. Там это норма жизни...» И в таком-то аду живёт его единственная дочь с единственным внуком!..

Глава 14. «Пирушка»

Быть квартиранткой в собственном доме довольно странно, но жизнь вообще сделалась странной настолько, что лучше оставить бесплодные попытки понять её... Единственным местом, где Надя украдкой возвращалась в прошлое, была дедушкина библиотека, заботливо хранимая доктором Григорьевым. Иногда она приходила сюда, опускалась в одно из кресел и просто неподвижно сидела, рассматривая с детства знакомые предметы. Ей представлялось, что напротив в своём любимом кресле с прохудившейся на подлокотнике обшивкой сидит величественный, чем-то похожий на старого лорда дедушка, и она мысленно разговаривала с ним, с бабушкой, смотревшей на неё с овальной фотографии...

В библиотеку Надя приходила читать редкие письма от родных. Все, как один, они звали её к себе. И так хотелось поехать... К дедушке и бабушке, которым уже недолго осталось на этой земле, к отцу. Но память об Алёше не отпускала.

По-хорошему, ей следовало бы ждать его там, где он её оставил. Но не вышло. После подавления сибирских бунтов голод со всей силой взял в клещи уцелевших. Надя не желала быть обузой для мужниной родни и, схоронив свекровь, за которой ходила, отправилась сперва в Новониколаевск, надеясь что-либо узнать о судьбе Алёши. Розыски успехом не увенчались, и, поработав некоторое время в местной больнице, она решила ехать в Москву в надежде найти кого-то из родных и друзей. Но и здесь ждало разочарование, хотя и не полное. В бабушкином доме жили двое друзей их семьи, и они позаботились о выделении Наде комнаты и устройстве на работу.

Последнее было всего легче: опытную сестру милосердия доктору было несложно взять в клинику, где работал он сам.

Жизнь вошла в колею. Подростал маленький Петя, которому Надя отдавала всё время, обучая его музыке, живописи, водя по музеям и историческим местам, читая вслух книги, которые сама обожала в детстве.

С недавних пор у неё появилась ещё одна слушательница и ученица — дочь соседки Аглаи Аня. По вечерам Надя отправлялась с детьми в библиотеку и читала им «Лорда Фаунтлероя», пушкинского «Руслана...», «Ундину», сочинения Чарской, чудные повести о живущей в Альпах девочке Хейди... Эти, последние, особенно нравились Ане, и по ним Надя взялась учить детей грамоте.

С недавних пор в доме стал появляться гость — милый юноша по имени Миша, немного смешной из-за своего костюма, который был ему мал. Первый раз он пришёл к Аглае и её мужу, которого Надя инстинктивно опасалась из-за его партийности и крайне неприятной внешности. Как позже пояснила соседка, юношу выгнали из института из-за ареста отца, а её муж взял его к себе на работу чертёжником. Правда, Александр Порфирьевич считал, что Мише лучше было бы вовсе уехать из Москвы, устроиться в какую-нибудь экспедицию, заняться геодезией... Он считал, что это обеспечило бы юноше куда большую безопасность и открыло бы лучшие перспективы.

Но Миша уезжать не хотел, даже несмотря на то, что все его родные теперь жили в Перми, куда сослали отца. Юноша скучал по ним и, возможно, поэтому зачастил с визитами в этот дом, но теперь не столько к Аглае, сколько к Наде, у которой брал книги. Книги, однако, были, по большей части, предлогом. Юноше просто нравилось бывать здесь, пить чай в домашней обстановке, разговаривать... Странная это выходила

дружба. Двадцатисемилетняя соломенная вдова и восемнадцатилетний студент... Но Надя не раз ловила себя на мысли, что его общество доставляет ей удовольствие. Что-то было в этих посиделках из того канувшего мира, в котором самой ей было ещё восемнадцать лет. Восемнадцать лет! Пора прекрасная, но только Наде не пришлось вкусить всей радости её, ибо именно в эту пору наступило лихолетье. А теперь возвращалось утраченное призраком...

Недавно солнечным зимним днём Миша вдруг явился в новом костюме, скинул в прихожей пальтишко и калоши и, ещё в шапке, с потрёпанным портфелем в руках, разматывая длинный полосатый шарф, прошёл в кухню, откуда выглянула и поманила его Надя:

— Не шумите, Мишенька, дети спят.

— А Аглая?

— Ушла по делам... Какой вы нарядный сегодня!

— Так с первой полочки решил подновить гардероб! — улыбнулся Миша, погладив пробивавшийся над губой пух. — Всё ж я не школяр, чтобы в таком позорном платье ходить. Конечно, правильнее было послать денег отцу... Но это со следующей! Со следующей — всенепременно пошлю. А это вам! — с этими словами юноша вынул из портфеля три бережно закутанные в газету хрупкие розы.

— Миша, что вы! Зачем! — сплеснула руками Надя.

— Затем, что вы все эти недели единственным мне близким в Москве человеком были. Мне так хотелось вам подарить что-нибудь, Надежда Петровна! Это от души!

— Спасибо, — тепло поблагодарила Надя. — По правде говоря, цветов мне уже много лет не дарили.

— Значит, мы, действительно, живём в ужасное время, если женщине годами не дарят цветы. Будь я богаче, я бы вам их каждый день дарил, Надежда Петровна!

Надя поставила цветы в стеклянный кувшин, немного удивлённая словам Миши и его вдохновлённости. Он же, наконец, избавившись от шарфа и шапки, продолжал:

— Надежда Петровна, вы хотя бы иногда бываете где-нибудь, кроме дома, больницы?

— В музеях с Петенькой, вы же знаете.

— Да-да, с Петенькой... — рассеянно повторил Миша. — Ну, тогда у меня предложение как раз для вас с Петенькой.

— Предложение?

— Не волнуйтесь, Надежда Петровна! — Миша весело рассмеялся, отчего его неправильное, но доброе, полное обаяния лицо стало ещё обаятельнее. — Просто у нас намечается праздник.

— У вас?

— Не у меня, конечно. Варвара Николаевна Аскольдова и одна почтенная и очень знатная старуха, приходящаяся ей какой-то дальней роднёй, который год устраивают нечто вроде балов, чтобы хоть иногда собрать старых друзей, окунуться в былое... Это немного сентиментально, но на их вечерах, действительно, бывает очень хорошо. Эти пирушки отличаются особой атмосферой. Платья, пошитые из штор, лоскутов или найденного в бабушкиных сундуках тряпья, мундиры несуществующей страны, этикет, музыка... В детстве мне казалось, что это страшно скучно, а теперь нет. Теперь я думаю, что эти балы будут одним из самых светлых моих воспоминаний... — Миша посерьёзней. — Надежда Петровна, приходите вы тоже.

— Но я никого там не знаю...

— Меня знаете. Я вас приглашаю. Тем более, вы там будете своей, я говорю точно. И Пете этот бал запомнится. Кто знает, может, таких больше не будет.

— А Аглаю вы пригласите?

— Я бы с радостью, но... Поймите, она из иного круга. Ей будет там неуютно. Тем более, учитывая положение её мужа.

— Да, конечно, — согласилась Надя. — Но вы всё же пригласите её, иначе мне будет неловко.

— Как прикажете, — улыбнулся юноша. — Стало быть, вы моё приглашение принимаете?

Приглашение Надя приняла. Ей отчего-то трудно было отказать Мише. А, вот, Аглая идти оказалась наотрез, разрешив, впрочем, после продолжительных уговоров взять на праздник Аню, чего очень хотел Петя, не желавший оставить подругу одну.

Накануне праздника Надя непривычно волновалась. Она совсем отвыкла от общества, от выходов в свет. Непривычно долго возилась и перед зеркалом: никак не удавалось решить, можно ли пойти на приём в обычном платье за неимением других. Конец колебаниям положила Аглая, принёсшая недавно купленную ей мужем нарядную блузку, юбку-колокол с широким ремнём и туфли. Под конец она же пришила к вороту блузки брошь с пышным шифоновым бантом и довольно прихлопнула в ладоши:

— Ну, вот, Надя, теперь ты полная красавица! Теперь хоть на самый настоящий бал! Хоть во дворец какой!

А Наде взгрустнулось. Аглая заметила это, спросила:

— Что с тобой? Неужели не нравится?

— Очень нравится, спасибо. Просто подумала, если бы мой Алёша меня сейчас мог увидеть ... Знаешь, Аля, я иногда думаю, а ну как он искалеченный где-то побирается? И некому помочь ему? Я ведь любим бы его приняла. Любим! Я недавно рассказ перечла... Свенцицкого. Отца Валентина, что в церкви Никола Большой Крест служит. Там у него так пронзительно написано! Жена ждёт мужа с войны, а он возвращается

изуродованным. Он начинает снимать с лица бинты, и она с испугом кричит ему: «Хватит!» Она не может сперва принять его таким... Без лица... Мучается сама, и он от этого страдает и уже решается уйти, чтобы её не терзать. И вот тут-то она понимает, как любит его. Даже такого! И бежит, и снимает бинты, и целует его изуродованное лицо... Я рыдала, когда читала. Всё мне казалось, что это Алёша мой... Понимаешь ли?

— Очень хорошо понимаю, — ответила Аглая с непонятной тоской. — Однако, иди, опоздаешь ведь...

Миша встретил её у дома и отвёз до места. Он был необычайно весел. Веселились и дети. Волнение же Нади прошло, едва она познакомилась с другими гостями. Всё это были глубоко родные и близкие ей по духу люди, люди её мира, утраченного и лишь изредка воскресавшего на таких, говоря языком Миши, «пирушках». Здесь были глубоко пожилые дамы, нёсшие на себе печать нескольких царствований, во время которых им довелось блистать в свете, и сановитые старцы, ныне едва сводившие концы с концами, и бывшие офицеры, и студенческая молодёжь, весёлости и оптимизма которой не могли подорвать никакие лишения. Между гостей сновала миниатюрная, необычайно живая женщина — Варвара Николаевна Громушкина-Аскольдова. Тут же был и её муж, выделявшийся ростом и богатырской фигурой. Оказался среди приглашённых и брат Аглаи, заметно чуравшийся общества и старавшийся укрыться в наиболее отдалённых углах, и его жена.

Надя с интересом наблюдала за молодёжью. Молодёжи, как никому, свойственно жизнелюбие и светлый взгляд на будущее. Эти юноши и девушки уже многое пережили, но лишения не могли оказаться сильнее желания жить, любить, радоваться... Они не имели ни гроша за душой, их родители были на плохом счету у власти, их будущее представлялось туманным,

но они кружились по просторной комнате, уносимые в полёт чарующей музыкой, и смеялись, и верили, что жизнь ещё одарит их своею благосклонностью.

— О чём вы думаете, Надежда Петровна? — спросил Миша, подавая ей вазочку с крешоном.

— Я думаю, какие счастливые у них лица... — проронила Надя. — Как бы мне хотелось, чтобы они такими и остались. Чтобы им не пришлось пережить всё то, что пережили мы, и их молодость не была бы сожжена так беспощадно, как наша.

— Вы говорите о молодости так, будто бы она прошла. Но ведь вы сами ещё так молоды!

Этот юноша тоже смотрел счастливыми, открыто устремлёнными в будущее глазами. Его отец был сослан. Сам он — лишён возможности получить образование. Чему же он счастлив? Чему счастливы эти дети? И почему ей, всего несколькими годами старшей их, они кажутся детьми, словно бы она старуха? Почему ей не удаётся понять, поймать той искры, которая зажигает их?

— Надежда Петровна, позвольте вас пригласить!

Это совсем неожиданно было, и Надя посмотрела на Мишу с удивлением. Но взгляд молодого человека был столь просительным, что она вновь не смогла отказать.

Когда же в последний раз танцевала она? Лет десять назад, никак не меньше. Но не разучилась нисколько. И, кто бы мог подумать, как это приятно — воскресить давным-давно забытое чувство полёта, в котором всё забывается, отступает на второй план. Как же странно всё это... На дворе 1927 год, зима. Там, за пределами этой комнаты ломаются чьи-то судьбы, арестовывают, ссылают, убивают людей, там всё пронизано страхом и ложью... А здесь струятся флюиды музыки, слышится смех, кружатся люди, кружится сама эта комната. И сама Надя скользит по паркету, и мягко ведёт её милый юноша, опоздавший стать её кавалером

на целое десятилетие, но смотрящий так, будто бы десятилетие это лишь пригрезилось ей. До чего странные вещи случаются в жизни, до чего сама жизнь бывает странной, но попытки понять её — бесплодны. И вовсе не хочется предпринимать их, вырываясь из сонно-сказочного дурмана. И совсем не хочется думать, что же ждёт впереди, и что принесёт недавно вступивший в свои права десятый год от начала революции...

РАСКОЛ

Глава 1. Отмежевание

Рождественский пост остался позади, когда отец Вениамин, наконец, добрался до Гатчины, куда собирался ещё по осени, да в наступившей круговерти так и не сподобил Господь побывать. После петроградских каменных лабиринтов здесь, в пригороде, дышалось легче. Правда, по сугробам здешним ковылять колченогому не без труда пришлось — взопрел изрядно. А от весёлого их сияния совсем некстати всколыхнулось в душе быльём поросшее, но так и не отболевшее — как с женой Алей, бывало, выезжали зимой в Павловск... Ни годы, ни отречение от суеты бренного мира, ни новое имя — ничто не способно излечить души от тяжёлой раны, доколе жива память, доколе сама душа не умерла. И пусть нет больше на свете Ростислава Арсентьева, а память его, а кровоточащее сердце его продолжает биться под грубой рясой смиренного иеромонаха Вениамина. И ни посты, ни молитвы не в силах помочь...

По мере приближения к Павловскому собору дорога становилась всё более утоптанной и ровной. Отец Вениамин утёр испарину, размашисто перекрестился и свернул к небольшому деревянному домику по Багговутовской улице. Этот дом с некоторых пор стал местом паломничества многих ищущих утешения верующих. Здесь жила монахиня Мария, в миру — Лидия Александровна Лелянова. В шестнадцать лет она перенесла тяжёлую болезнь, после которой у неё стал стремительно развиваться паралич. Через несколько лет юная девушка, едва успевшая окончить гимназию, превратилась в совершенного инвалида. Полная неподвижность — такова была её участь на всю оставшуюся жизнь. Даже зубов не могла разжать она, и

только глаза жили на окаменевшем лице. Чудесным образом, однако, Бог сохранил ей речь и за великое терпение наделил её даром прозорливости и утешения скорбящих.

Матушку Марию почитали святой. Её фотографии распространялись, как иконы. Вокруг неё сложился кружок верующих девушек, ухаживавших за ней, молившихся, посещавших больных...

Одна из этих послушниц отворила дверь отцу Вениамину и, проведя его в приёмную комнату, попросила обождать — у матушки кто-то был. Внимание иеромонаха сразу привлекли многочисленные фотографии, висевшие на стене. Среди них — портреты митрополитов Вениамина и Иосифа с дарственными надписями. Владыка Иосиф написал на своей карточке цитату из собственного сочинения «В объятьях отчих»...

Полтора года назад Петроград с радостной надеждой встречал своего нового пастыря. После расправы над владыкой Вениамином город сиротствовал. Верующие не приняли на место любимого пастыря ни Алексия Симанского, ни Николая Ярушевича, замаранных связями с обновленцами, искренности покаяния в которых многие не верили. Симанского, снявшего запрещение с Введенского и поправшего тем самым память мучеников, петербуржцы простить не могли. Кровь убитого митрополита нерушимой преградой отделяла их от него.

Идея о призвании на свободную кафедру ростовского архиепископа Иосифа, третьего заместителя митрополита Петра, принадлежала настоятелю храма Воскресения на Крови протоиерею Василию Верюжскому, который не раз приглашал владыку служить у себя, когда тот бывал в Петрограде. Верюжский лично встречался с владыкой Иосифом на квартире земляка последнего, купца Варганова, у которого архиепископ останавливался, бывая в городе,

и уговаривал его принять управление епархией. Протоиерей Василий считал, что лишь это может положить конец наметившемуся сдвигу петроградского духовенства на прогрессивную платформу и розни между архиереями. Идея нашла поддержку многих. Архиепископ Ростовский пользовался большим уважением верующих.

Выходец из мещанской семьи новгородской губернии, он принял постриг двадцати девяти лет от роду. Два года спустя удостоился степени магистра богословия и был утверждён в звании доцента, а через некоторое время — назначен экстраординарным профессором и инспектором Московской Духовной Академии. Более десяти лет будущий митрополит был епископом Угличским, викарием Ярославской епархии и одновременно настоятелем Спасо-Иаковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом. Известность в среде верующих ему принесла книга духовных размышлений «В объятиях Отчих. Дневник инока».

В Двадцатом году за противостояние изъятию церковных святынь владыка был впервые арестован. Тогда специальная комиссия вскрыла мощи Ростовских Чудотворцев в Успенском соборе, Спасо-Иаковлевском Димитриевом и Авраамиевском монастырях. Архиепископ Иосиф организовал и возглавил крестный ход с выражением протеста против этой варварской, незаконной даже в свете советских декретов акции. За это последовал арест по обвинению в антисоветской агитации. Три недели владыка находился в Ярославской тюрьме, а в это время в Ростове собирались тысячи подписей верующих за его освобождение. В итоге архиепископ Иосиф был освобожден, но постановлением Президиума ВЧК приговорен к одному году заключения условно с предупреждением о неведении агитации.

Следующий арест произошёл в двадцать втором году. После него владыка был вынужден дать подписку «не управлять епархией и не принимать никакого участия в церковных делах и даже не служить открыто», но негласно всё же продолжал осуществлять управление, отвергая всякий диалог с обновленцами. Категорическое неприятие их принесло преосвященному Иосифу уважение и народную любовь. Верующие всячески поддерживали своего архипастыря. Его авторитет был столь высок, что с ним считались даже советские служащие.

На этого-то просвещённого, строгого и стойкого в вере пастыря устремил Петроград полный надежд взор. О его назначении ходатайствовали виднейшие священнослужители. Далеко не все знали владыку лично, но симпатия к нему развивалась от отзывов о нем людей, видевших и говоривших с ним. Об архиепископе Ростовском говорили, как о ревностном монахе, горячем молитвеннике, глубоком аскете и при этом очень добром человеке, отзывчивом к людским нуждам и горестям. Такого-то человека и нужно было Петрограду, человека, обладающего авторитетом, который обязывает к послушанию, отклоняет от противления, научает к порядку, дисциплинирует одним взглядом — таково было мнение большинства духовенства.

Архиепископ Иосиф предложение принял, оговорив лишь, что именоваться желает митрополитом Петроградским, а не Ленинградским — употребление имени почившего коммунистического вождя в собственном титуле, по-видимому, чересчур коробило владыку.

Заместитель местоблюстителя Сергей, к которому Верюжский специально ездил в Нижний Новгород, также дал добро на назначение, и в августе 1926 года

владыка Иосиф был возведён в сан митрополита Петроградского.

Живо вспоминался отцу Вениамину редкий радостный день — день встречи петербуржцами нового пастыря. Его встречали с исключительной любовью. На первой литургии верующие заполнили не только собор, но и площадь перед ним. Истосковавшимся без отеческой заботы душам хотелось увидеть нового пастыря. Настроение среди богомольцев было самое умилённое и восторженное: лица прихожан светились, возносились Господу благодарственные молитвы.

Да и сам отец Вениамин чувствовал в ту ночь небывалый духовный подъём. Новый митрополит располагал к себе уже одним своим обликом. Ему не было ещё пятидесяти пяти лет, но белоснежная окладистая борода вкупе с нависшими бровями старила его, придавая сходство со старцами-аскетами древних времён. При этом в фигуре владыки не было ни намёка на дряхлость. Лёгкая сутуловатость не уменьшала его высокого роста, природной стати. Лицо митрополита казалось строгим, почти суровым, но из-под небольших очков светло и ласково смотрели мудрые, ясные глаза. Владыка обладал мягким голосом, богослужение вёл просто и молитвенно безо всякой вычурности. И от этого безыскусного, но глубоко искреннего служения, от всего облика святителя тепло и спокойно становилось на сердце, словно и в самом деле явился отец к сиротствовавшим чадам...

Но недолгой оказалась та радость. После первой же своей службы владыка Иосиф выехал из города за вещами, а назад ГПУ его уже не пустило, запретив въезд в Ленинград и отправив снова в Ростов. Митрополиту пришлось осуществлять управление епархией через временного управляющего.

Между тем, в Ленинграде «прогрессивное» духовенство стало группироваться вокруг Алексея

Симанского. Это духовенство выдвинуло митрополиту Иосифу перечень требований, по-видимому, составленный в ГПУ: владыка должен был выбирать викариев, приемлемых для власти, соблюдать нейтралитет среди противоборствующих групп, оставить викарием Симанского и именоваться «Ленинградским». Владыка Иосиф выставленных условий не принял.

Против обновленческого крыла объединилось консервативное петроградское духовенство, во главе которого стали епископы Дмитрий Гдовский и Григорий Шлиссельбургский. Вскоре к ним примкнул и владыка Сергей Нарвский...

Отец Вениамин не без волнения ожидал решения своего духовного наставника. С давних пор у владыки Сергия сложились дурные отношения с епископом Григорием. Тот был против возведения архимандрита Сергия в епископы, выхлопотанного друзьями последнего ещё у Патриарха Тихона. Против хиротонии, совершённой самим Святейшим, выступил в 1924 году весь Епископский совет Петроградской епархии. Впоследствии петроградские архиереи долгое время игнорировали епископа Сергия, не сослужили с ним, никуда не приглашали. Всё это больно ранило мягкого, и без того побитого жизнью владыку, но он продолжал смиренно служить в своём храме на станции Сергиево, кротко снося оскорбления от собратьев.

Епископ Григорий долго не признавал его сана, не принимал лично и открыто считал «деревенщиной», называл невеждой. Такое отношение к кроткому молитвеннику, наставнику великокняжеских детей могло говорить разве что о чрезмерной гордости Григория. Когда же многие епископы оказались в заключении, епископу Шлиссельбургскому пришлось признать владыку Сергия. Ему было дозволено служение в различных храмах, и отныне Григорий стал

командировать старика-епископа в отдалённые уголки, куда самому ему ехать не желалось. Такое положение также было смиренно принято владыкой Сергием. Он был рад уже самой возможности служения. И, как дитя, радовался, когда привелось служить в полковом соборе Измайловского полка, шефом которого был незабвенный для него Великий князь Константин Константинович...

Между тем, с епископом Николаем (Ярушевичем) владыка находился в добрых отношениях. Однако, личные симпатии и антипатии были оставлены перед лицом попираемой истины. Христова истина была для кроткого епископа Сергия единственным мерилom, перед которым в ничто обращались личные обиды и огорчения. И, защищая эту истину, стал он в ряды своего вчерашнего гонителя.

За этот выбор многострадальному владыке Сергию пришлось расплачиваться новой обидой. Ярушевичу, поставленному временно управляющим епархией, требовались свои епископы. Попытки добиться рукоположения своего человека, однако, не увенчались успехом. Тогда епископ Николай решил добиться увольнения на покой одного из своих противников. Выбран для этого был, разумеется, самый беззащитный из всех — владыка Сергий. Указом Сергия Страгородского он был уволен за штат, несмотря на ходатайства за него других епископов.

Между тем, в Русской Церкви нарастали события судьбоносные. В начале 1927 года, когда подавляющее большинство архиереев находилось в заключении, митрополит Сергий был неожиданно отпущен на свободу и получил право свободного жительства в Москве. Кое-кто питал иллюзии, что «власть сдалась», но люди дальновидные насторожились сразу. Следующий же шаг заместителя местоблюстителя многократно усугубил эту настороженность. В мае

Сергий собрал на совещание нескольких архиереев, составивших Временный Патриарший Священный Синод, разрешение на деятельность которого было дано НКВД. В состав Синода вошли бывшие обновленцы архиепископ Сильвестр и Алексей Симанский, бывший сектант-беглопоповец архиепископ Филипп, давний сотрудник ГПУ митрополит Серафим (Александров), с давних пор прозванный верующими «лубянским»...

Плодом совещаний данного незаконного органа стало обращение митрополита Сергия к пастырям и пастве, в котором провозглашалось: «Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к Советской Власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза «не только из страха, но и по совести», как учил нас Апостол (Рим. 13, 5)».

Впервые Церковь была открыто заявлена, как сторонница политики богоборческой и человеконенавистнической власти. Признание ударом для Церкви убийства палача Царской семьи Войкова не оставляли сомнений, о каких «радостях» и «горестях» идёт речь. В государстве, где тысячи исповедников гибли и терпели всевозможные лишения в тюрьмах и ссылках, церковь объявляла о сорадовании радостям их

палачей, отрекаясь от них и от Того, за Кого они страдали.

Декларацию Сергия надлежало огласить во всех храмах. Однако, многие священники, возмущённые ею, отказались. Так, духовный сын владыки Сергия, иерей Сергей Тихомиров, служивший в церкви Воскресения Христова на Петроградской стороне, сложил с себя благочиние, а Послание отослал назад Ярушевичу. Попытка же другого иерея зачитать и обсудить документ вызвала шквал возмущения верующих.

До станции Сергиевской, где служили владыка Сергей и отец Вениамин вести доходили не сразу. О содержании Декларации рассказал им срочно приехавший Тихомиров. Бедный отец Сергей был словно в лихорадке от потрясения, вызванного прочитанным Посланием.

— Это гибель, гибель для Церкви! — повторял он, расхаживая по комнате. — Страгородский — предатель Церкви и Иуда, продавший Христа! Отныне с ним нельзя иметь никакого общения! Своей декларацией он душой и телом сливает верных с антихристовой властью! Подчиняет ей Церковь! Ни один истинно-православный человек не может принимать радости Соввласти за радости Церкви и успехи Соввласти за наши успехи!

Владыка Сергей мягко заметил, что такие решения нельзя принимать сгоряча и без соответствующего обсуждения, что митрополит мог быть вынужден издать такой документ. Он был заметно взволнован и подавлен. Кое-как удалось утишить праведный гнев Тихомирова. Втроём решили дождаться реакции духовенства и дальнейшего развития событий.

Ждать долго не пришлось. В середине августа духовник митрополита Иосифа протоиерей Александр Советов, епископ Гдовский Димитрий, схимонахиня Анастасия (Куликова) и другие представители

духовенства северной столицы отправили митрополиту Иосифу послание с выражением своего несогласия с политикой Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. А в начале сентября на заседании Временного Синода под председательством митрополита Сергия, «по соображениям большей пользы церковной», решено было перевести владыку Иосифа на Одесскую кафедру.

Чуть меньше года назад, когда был арестован митрополит Сергий, владыка Иосиф занял его место, понимая, что и ему недолго оставаться на свободе. Как раз в ту пору стали ходить слухи о якобы готовящихся тайных выборах патриарха. В Петроград по этому делу приезжал епископ Павлин (Крошечкин), позже вышедший на свободу одновременно с Сергием. Слухи эти немало встревожили отца Вениамина. Бывший офицер, он и в монашеском чине не утратил никогда не изменявшего ему чутья на врага. И разговоры о том, что подобные приготовления ведутся втайне от ГПУ, не могли вызывать у него ничего, кроме болезненной усмешки. В государстве, где всё опутано паутиной ГПУ, где даже у стен есть глаза и уши, в сфере, находящейся под наиболее плотной опекой ГПУ, проходит серьёзное мероприятие — тайно от этого самого ГПУ. Чистые и светлые душой люди, каковыми являлись мудрые святители, вовлечённые в эту игру, могли поверить такой конспирации, но бывший полковник Белой армии, познавший глубины самой чёрной ненависти и отчаяния, почувствовал опасность сразу. И потому последовавшая волна арестов, захватившая и владыку Иосифа, не стала для него неожиданностью.

Митрополит был сослан в Николо-Моденский монастырь Устюженского района, где в это время обитало всего десять монахов, с запрещением покидать его. Это была настоящая ссылка. Но, обладая значительным авторитетом и решительным характером,

преосвященный Иосиф продолжал управлять епархией через своих викариев.

Указу о своём перемещении в Одессу владыка не подчинился, сочтя его противоречащим канонам, предписывающим смещать архиереев лишь в случае тяжкой болезни или серьёзных проступков. Де-факто такое перемещение было ценой освобождения из ссылки. Точно таким же образом были переведены со своих кафедр и другие архиереи, не угодившие власти, что так же напрямую шло вразрез с канонами, не допускающими вмешательства внешних в дела церковные. О своём решении митрополит Иосиф известил Сергия Страгородского. Но тот не отменил своего указа.

Посетивший ссыльного владыку епископ Димитрий Гдовский из первых уст узнал о развернувшейся между митрополитами полемике, в которой обозначилась главная линия разделения. Сергей убеждал преосвященного Иосифа, что подчиниться следует, так как того желает власть, протягивающая руку милости. Но владыка был не из тех людей, что принимали «милость» из руки лукавого, не зная или забывая цену одной. «Милости проси, а правды требуй», — этому девизу митрополит Иосиф был верен всю жизнь. И следуя ему, ответил Заместителю Местоблюстителя: «Конечно, следует всемерно быть признательным власти за эту и за всякую другую милость. Но надо же знать и границы не пересаливаемого угождения власти, провозгласившей вместе с отделением Церкви от Государства и другой, столь благоразумный и желательный для нас принцип — совершенного невмешательства в наши чисто церковные дела. Вы говорите — так хочет власть, возвращающая свободу ссыльным архиереям под условием перемены ими прежнего места служения и жительства. Но какой же толк и польза от вызываемой этим чехарды и мешанины

архиереев, по духу церковных канонов состоящих в нерасторжимом союзе с паствой?»

Весть о переводе митрополита Иосифа в Одессу и о его несогласии с этим всколыхнула Петроград. Нарождавшееся движение противников политики Сергия и его Синода обрело своё знамя, своего вождя, и это придало ему сил.

В церковных кругах с молниеносной скоростью распространялись различные слухи. Возле храмов собирались группы прихожан, спорили, возмущались и сходились в том, что власть и продавшийся ей Синод желают ввести обновленчество, а владыка Иосиф стал помехой в этом. Оглашение в соборе Воскресения на Крови указа о его переводе вызвало глубокую скорбь верующих. Многие плакали.

Идеологом оппозиции неожиданно стал не осторожный, привыкший соблюдать дисциплину Григорий Шлиссельбургский, а лишь недавно хиротонисанный в епископа Гдовского Дмитрий Любимов.

После издания указа о поименовании в качестве правящего архиерея Николая Ярушевича владыка Дмитрий впервые, будучи совершенно здоров, не стал служить в храмовый праздник родной Покровской церкви, не желая поминать Николая и не имея возможности поминать Иосифа наперекор решению церковной власти и причта своего храма. Отныне епископ Гдовский служил большей частью в Лавре, где настоятельствовал Григорий, и где Николая не поминали.

Между тем, положение становилось всё более грозным. Человек, вставший на преступный путь, редко может сойти с него, не дойдя до точки. Увяз коготок — пропала вся птичка. Так происходило с митрополитом Сергием. Может, и не рассчитывал он, когда писал своё

Послание, как далеко придётся зайти ему по скользкой дорожке. Но став на неё, остановиться уже не мог.

В октябре вышло сразу несколько роковых указов: о поименовании за богослужением богоборческой советской власти, о поименовании самого Сергия наряду с ещё живым главой Русской Церкви митрополитом Петром, об отмене поименования всех епархиальных архиереев, находящихся в заключении. Они стали последней каплей, переполнившей чашу терпения верующих. Уже в конце октября в Троицком Измайловском соборе протоиерей Иоанн Никитин произнёс пламенную речь о новом походе обновленцев на Церковь, вызвавшую самую горячую поддержку прихожан, поднявших крик против Николая и в защиту владыки Иосифа. Отец Иоанн был немедленно запрещён в служении, но остановить движения было уже нельзя.

Центром петроградской оппозиции стал кафедральный собор Воскресения на Крови. Его настоятель протоиерей Верюжский не выступал с громкими речами, подобно Никитину, он действовал тоньше и вернее: не поминал Николая, не сослужил ему, укреплял свои позиции в церковной двадцатке с целью создать в оной значительный перевес своих единомышленников над сторонниками Николая и Сергия. При помощи владыки Димитрия отец Василий ввёл в двадцатку новых членов, в результате чего сторонники Сергия остались в меньшинстве и вынуждены были уйти, а сам кафедральный собор оказался всецело в руках оппозиции.

Тем временем к протесту присоединялись и другие приходы, отказывавшиеся приглашать к себе Николая Ярушевича. Немало верующих перестали посещать храмы, где поминали митрополита Сергия. Желая предотвратить надвигающийся раскол, Василий Верюжский от имени духовенства и мирян обратился к

митрополиту Сергию с письмом, в котором указал меры, которые необходимо безотлагательно принять для исправления сложившегося положения:

1) Отказаться от намеченного курса порабощения Церкви государством;

2) Отказаться от перемещений и назначений епископов помимо согласия на то паствы и самих перемещаемых и назначаемых епископов;

3) Поставить временный Патриарший Синод на то место, которое было определено ему при самом его утверждении в смысле совещательного органа, чтобы распоряжения исходили только от имени заместителя Местоблюстителя;

4) Удалить из состава Синода пререкаемых лиц;

5) При организации епархиальных Управлений должны быть всемерно охраняемы устои Православной Церкви, каноны, постановления Поместного Собора 1917–1918 гг. и авторитет епископата;

6) Возвратить на Ленинградскую кафедру митрополита Иосифа (Петровых);

7) Отменить возношение имени заместителя Патриаршего Местоблюстителя;

8) Отменить распоряжение об исключении из богослужения молений о ссыльных епископах и о возношении молений за гражданскую власть.

Обращение влияния не возымело. Недовольство росло и охватывало уже все без исключения епархии. С Соловков прозвучал голос запрещённых к поминовению мучеников: «Мысль о подчинении Церкви гражданским установлениям выражена в такой категорической и безоговорочной форме, которая легко может быть понята в смысле полного сплетения Церкви и государства.

Послание приносит правительству «всемирную благодарность за внимание к духовным нуждам Православного населения». Такого рода выражение

благодарности в устах Главы Русской Православной Церкви не может быть искренним и потому не отвечает достоинству Церкви...

Послание Патриархии без всяких оговорок принимает официальную версию и всю вину в прискорбных столкновениях между Церковью и государством возлагает на Церковь...

Угроза запрещения эмигрантским священнослужителям нарушает постановление Собора 1917/1918 гг. от 3/16 августа 1918 года, разъяснившее всю каноническую недопустимость подобных кар и реабилитировавшее всех лиц, лишённых сана за политические выступления в прошедшем (Арсений Мацеевич, свящ. Григорий Петров).

Наконец, мы находим послание Патр. Синода неполным, недоговоренным, а потому недостаточным...»

Из Вятки набатом грянуло отчаянное воззвание епископа Виктора (Островидова), пронзительное от сыновней боли писавшего, ещё недавно почитавшего Заместителя, как доблестного кормчего церковного корабля: «Души наши изнемогают, ужас созерцания того, что теперь кругом происходит в Церкви, подобно кошмару давит нас, и всех охватывает жуткий страх за будущее Церкви. — Там далеко задумал отложиться Ташкент, тут бурлит и возмущается Петроград, здесь стенает и вопиет к небу Вотландия, и опять бунтует Ижевск, а там опять в скорби и недоумении приникли к земле Вятка, Пермь и пр. пр. города, а над всеми ими готовится вот-вот произнести свой решающий голос Москва. Ведь везде пошло лишь одно разрушение Церкви, и это в «порядке управления». — Что это такое? Зачем это? Ужели Святая Церковь мало еще страдала и страдает от «внешних»? И какая может быть польза от этих, разрушающих мир, гибельных распоряжений?

...Владыка! Пощадите Русскую Православную Церковь — она вручена Вам, и от Вас много зависит не давать разрушать ее в «порядке управления». Пусть не подвергается порицанию всечестная Глава Ваша, и да не будет причин к расколам и отпадениям от Церкви. Если же этого не будет сделано-соблюдено, то, свидетель Бог и Ангелы Его, в Церкви произойдет великий раскол, от которого не спасет и предполагаемый Собор, который теперь сам уже заранее называется именем, которого лучше не произносить».

В те небывало раскалённые дни отец Вениамин оказался в самой гуще событий, войдя в ядро петроградской оппозиции. В отличие от своего наставника, епископа Сергия, он старался посещать все собрания духовенства и мирян, проходившие попеременно на квартирах Верюжского, владыки Димитрия и протоиерея Феодора Андреева, внимательнейшим образом слушая всё, что на них говорилось. Для него, человека недостаточно сведущего в делах церковных, это было живейшей необходимостью. Но таким времяпрепровождением не исчерпывалось участие отца Вениамина в деятельности церковной оппозиции. Он, проведший несколько лет в странствиях по России, имеющий огромный опыт ухода от слежки ГПУ, не обременённый ни монастырскими послушаниями, ни приходом, ни семьёй, стал идеальным связным, которого время от времени отправляли с различными поручениями в другие епархии.

Седьмого декабря на квартире протоиерея Андреева на очередное «чаепитие» собралось несколько человек: владыка Димитрий Гдовский, протоиерей Василий Верюжский, архимандрит Киево-Печерской лавры Гермоген и московский богослов, ближайший друг хозяина, Михаил Новосёлов. О

последнем отец Вениамин был много наслышан, как о мудрейшем человеке, но, к стыду своему, практически не знал его трудов. Михаил Александрович был уже стар. Белоснежная борода обрамляла добродушное, очень русское лицо. Русскость была свойственна всему облику его — старый богатырь с глазами духоносного затворника... Крепкое рукопожатие крупной ладони, молодая живость движений, не растроченная, не отнятая ни летами, ни ссылками сила... Кто-то рассказывал, что в молодости Михаил Александрович увлекался кулачным боем. Должно быть, и сейчас при желании сумел бы этот старик защитить себя в открытом единоборстве ничуть не хуже, чем защищал он в своих сочинениях Христову Церковь, верным ратником которой был.

Протоиерей Феодор летами годился Новосёлову в сыновья. Худощавый, болезненный, с рождения страдавший пороком сердца, он в противоположность своему старшему другу был силён лишь духом своим. За чаем, поданным женой отца Феодора, обсуждали главнейший вопрос — необходимость отхода от митрополита Сергия. На этом настаивал Михаил Александрович, заявивший, что Сергей воскурил фимиам перед безбожной властью.

— Давайте вспомним, с чего начинается история Церкви! — говорил он. — С непослушания Апостолов первосвященникам и гибели еврейского народа, который остался им послушным. А сколько христиан — за двадцать веков — с уснувшей совестью послушно следуя за своими патриархами и епископами, оказались не в Церкви, а в самочинных сборищах, гибли еретиками? Вспомнить только пример последних лет! Сколько успокаивали себя и других, что нужно оказать послушание, раз патриарх в заключении, оставшимся на свободе епископам Антонину, Леониду и Бог знает, кому ещё! В провинции, где многие законные епископы стали

обновленцами, их паства успокаивала себя послушанием законному своему Богом данному епископу — и шла в живоцерковье! А самозванное ВЦУ было засвидетельствовано законной нынешним самозванным «первоиерархом» Сергием вместе с Евдокимом и другими епископами. Голоса «непослушных» первоначально были одиноки! Не то же ли и сегодня? И что же — опять наступать на грабли ложного послушания? Куда ведёт нас этот путь? Это легко видеть из следующего ряда положений, едва ли подлежащих оспариванию. Послушным исполнителем внушений «князя мира сего» является «некто в красном», у которого в рабской покорности находится Сергей с Синодом; им в свою очередь покорствуют «нижайшие послушники» — епископы, епископам — архимандриты, игумены, иеромонахи, протоиереи, иереи, низшие клирики и пресловутые старцы, руководители множества душ христианских! К кому же подводит этот путь послушания? Воистину, «Ин путь мняйся благий, а конец его во дно адово». Многие епископы лицемерят, говоря о послушании. Им они просто прикрывают свою боязнь пострадать за Церковь. Апостол предписывает не творить ничего без рассуждения первого епископа, но и первому воспрещает творить без рассуждения всех. Послушание же состоит не в том, чтобы слепо повиноваться *людям*, хотя бы и облеченным иерархическими полномочиями, а в том, чтобы верить в Церковь и ее предание и проверять и просветлять свою совесть и разум совестью и разумом соборными, церковными, но не упраздняя свою совесть и разум.

— Всё это так... Но не слишком ли мы торопимся? — задумчиво вымолвил протоиерей Василий. — Раскол, если до него дойдёт, будет лишь на руку ГПУ. С церковью разделённой расправиться легче...

— Митрополит Сергей не пожелал услышать нас, разве не так?

— Я отказался от поминания Сергея в числе первых. Но отложение? Имеем ли мы каноническое право на это? Ведь, как бы то ни было, а Сергей не еретик и не подпадает под пятнадцатое Правило Двукратного Собора.

— Он хуже еретика, — хмуро заметил владыка Димитрий.

— Действительно, — живо подтвердил отец Феодор. — Оставим пятнадцатое Правило. Есть Правило первое Василия Великого. В нём святитель указывает, что еретиками именуются совершенно отторгшиеся, отчуждившиеся в самой вере. А разве не в этом и заключается сергианство? Догматы в нём видимо целы, правда. И снаружи — это церковь, но внутренне-то что? Легализованная организация, мистически пустая. А так как под верою следует разуместь не только словесное исповедание, но и соответствие догматам веры всего, что объёмлется Именем Церкви и истинной церковности, то, когда вместо того встречаешь одни пустые обозначения, без действительного содержания, тогда казавшееся дотоле живым телом вдруг рассыпается могильным прахом. Сергей сам выразился о существе легализации — *придание Церкви вида «всякого публичного собрания»*. А ведь это и значит лишить её подлинной мистической сущности, и благодати, и веры, и совершенно отторгнуться и отчуждиться от неё. То есть подпасть Правилу первому и второй половине Правила пятнадцатого. В сергианстве бессмысленно искать каких-нибудь ересей. Тут больше — тут самая *душа всех ересей*: отторжение от истинной Церкви и отчуждение от подлинной веры в её таинственную природу, здесь грех против мистического тела Церкви, здесь замена его тенью и голой схемой, костным остовом дисциплины. Здесь

Ересь с большой буквы, потому что всякая ересь искажает учение Церкви, а здесь перед нами искажение самой Церкви со всем её учением.

— История даёт нам достаточно примеров, сродных нашему нынешнему положению, — снова заговорил Новосёлов. — вспомнить хотя бы Феодора Студита! Во имя Христовой истины он отделился от самого патриарха и целого собора епископов, говоря при этом, что не он, а они отделяются от Церкви Христовой. Его «Письмо к Афанасию сыну» как будто к нам обращено! Послушайте! — Михаил Александрович поправил небольшие очки и зачитал, по-видимому, нарочно принесённый с собой документ: — «Не указывай мне на большинство... Послушай, что говорит божественный Василий к тем, которые судят об истине по большинству. «Кто не осмеливается, — говорит он, — дать основательный ответ на предложенный вопрос и не может предоставить доказательства, и поэтому прибегает к большинству, тот сознается в своем поражении, как не имеющий никакой опоры для смелой речи». И далее: «Пусть хотя один покажет мне красоту истины, и убеждение тотчас будет готово. А большинство, присвояющее себе власть без доказательств, устрашить может, но убедить — никогда. Какие тысячи убедят меня считать день ночью, или медную монету признавать золотою и за таковую брать ее, или принимать явный яд вместо годной пищи? Так и в земных вещах мы не станем бояться большинства лгущих; как же в небесных истинах я буду следовать доказательным внушениям, отступив от того, что предано издревле и весьма издревле, с великим согласиём и свидетельством святых писаний. Разве мы не слышали слов Господа: «Мнози звани, мало же избранных» (Мф. XX, 16), и еще: «Узкая врата и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают его» (Мф. VII, 14). Кто же из здравомыслящих не желает быть

лучше в числе немногих, тесным путем достигших спасения, нежели в числе многих, широким путем несущихся к гибели? Кто не пожелал бы, если бы ему случилось жить во время подвигов блаженного Стефана, быть лучше на стороне его одного, побиваемого камнями и бывшего предметом всеобщих насмешек, нежели на стороне многих, которые, по несправедливому самовластию, считали дело свое правым? Один благоугождающий Богу достойней уважения, нежели тысячи самовольно превозносящихся. Так и в Ветхом Завете мы находим: когда тысячи народа падали от ниспосланного Богом наказания, один «Финеес ста, и умилостиви и преста сечь» (Числ. XXV, 7). А если бы он сказал: как я осмелюсь пойти против того, что согласно делается столь многими, как я подам голос против рассудивших жить таким образом? — то и он не сделал бы доблестного подвига, не остановил бы зла, и прочие не были бы спасены, и Бог не сказал бы своего благоволения. Итак, прекрасно, прекрасно и одному быть по правде дерзновенным и разрушить неправо согласие многих. Ты предпочитай, если угодно, спасающемуся Ною утопающее большинство, а мне позволь с немногими войти в ковчег. Также присоединяйся, если угодно, к числу многих в Содоме, а я пойду вместе с Лотом, хотя он один спасительно отделяется от толпы. Впрочем, для меня почтенно и большинство, не избегающее исследования, но представляющее доказательства, не отмщающее тяжко, но поступающее отечески, не радующееся нововведению, но соблюдающее отеческое наследие. О каком же большинстве ты мне говоришь? О том ли, которое подкуплено лестью и дарами, обманывается по невежеству и неопытности, предано страху и трепету, предпочитает временное греховное наслаждение вечной жизни? Это многие выразили явно. Не ложь ли

ты поддерживаешь большинством? Этим ты показал чрезмерность зла. Ибо чем большее число людей находится во зле, тем большее несчастье».

— Пусть так! — отец Василий поднялся и прошёл по комнате, заложив за спину руки. — Но я считаю, что окончательное решение принимать ещё рано. Владыка Иосиф придерживается того же мнения.

— В таком случае остаётся одно, — произнёс епископ Гдовский. — Нужно написать новое обращение к митрополиту Сергию, но не отправлять, а вручить лично. Нужно встретиться с ним, попытаться ещё раз достучаться до него, воззвать к его христианской совести...

— Полагаете, из этого выйдет толк? — усомнился Новосёлов.

— На всё Божия воля. Во всяком случае, это наш долг.

— А аще увещевания не возымеют силы?

— Тогда... — владыка Димитрий развёл руками, по его тонкому, морщинистому лицу пробежала тень.

На мгновение в комнате повисла тишина, которую нарушил сам же епископ Гдовский:

— Необходимо в ближайшие дни написать обращение и определить состав нашей делегации. Отец Феодор, Михаил Александрович, обращением я прошу озаботиться вас.

Протоиерей Андреев и его московский гость взялись за дело незамедлительно. Уже через несколько дней они зачитали составленный документ на очередном собрании у владыки Димитрия. Несмотря на ранее оговоренные акценты, авторы всё же придали обращению форму фактического заявления о формальном отходе, в необходимости которого были убеждены. В письме говорилось следующее:

«Мы, Ваше Высокопреосвященство, как, вероятно, и большинство православных людей, не находим, чтобы

дела Ваши последние были совершенны пред Богом нашим (Апок. 3,2).

...Вы, Ваше Высокопреосвященство, захотели как бы помочь Церкви и исходатайствовать для нее у гражданской власти некоторые права. Но какую ценою Вы этого добились? Тою, которая для многих православных людей станет и уже становится «ценою крови» (Мф. 27, 6).

Правда, Вы действовали не единолично, а как бы от лица Церкви, блюстителем патриаршего престола которой Вы являлись, но Вы вышли далеко за границы своих полномочий. В самом деле, ведь Ваши полномочия восходят к патриаршим и ими определяются, патриарх зависит от поместного собора, а собор является выразителем голоса всей Русской Церкви. Эти три ступени церковного священноначалия были перед Вашими глазами, когда Вы составляли свое послание. Как же совершили восхождение по ним к первоисточнику своих прав?

Вы начали с патриарха. Здесь, на пути к нему, пред Вами стал его местоблюститель. Он был уже лишен места своего служения и отправлен в ссылку тою самою властью, у которой Вы искали для Церкви новых прав, и молча свидетельствовал пред лицом всей Русской Церкви, что его (ее) горести не суть горести этой власти, как утверждает Ваше послание, а есть все та же наша общая, православная скорбь. Вы поняли, что Вам невозможно оправдать Ваш образ действий именем того, кого Вы ближайшим образом замещали: и вот, минуя местоблюстителя, даже не вспомнив о нем в своем послании, Вы через его ссыльную голову как бы протянули руку к самому патриарху. На основании некоторых неясных, не засвидетельствованных еще прижизненных и устных слов почившего о каких-то «годочках трех», в течение которых покойный патриарх будто бы предполагал осуществить дело, тождественно

с Вашим, если бы ему не помешала смерть. Вы установили эту призрачную связь свою с патриархом в то время, как его ближайший заместитель, вероятно, лучше Вашего посвященный в намерения почившего патриарха, предпочел эти три роковые года провести в ссылке, вместо того, чтобы в течение их поработать в якобы завещанном ему патриархом направлении.

Установив таким образом искусственную связь с патриархом, Вы обратились к следующей ступени — поместному собору. Но здесь, не найдя в деяниях собора ближайшего, последнего ничего, что бы уполномочивало Вас на те отношения с Гражданскими властями, которые установлены в Вашем послании, и даже, напротив, в постановлении от 2/15 августа 1918 г. встретив решение, противное Вашему, Вы, конечно, не стали искать подтверждений в деяниях соборов более древних и потому предпочли обратиться к собору еще только грядущему. Он, утверждаете Вы в послании, разрешит и вопрос о высшем церковном управлении, и о «раздирающих ризу Христову», т. е., очевидно, о новейших раскольниках или еретиках, и совершит ряд других деяний, но о котором Вы не сказали, что он подвергнет рассмотрению и самое послание, и все, что будет совершено именем последнего еще до собора. Следовательно, то не будет совершенный поместный собор, а лишь какое-то новое исполнительное при Вашей особе учреждение. Более того, призванный установить новый вид высшего церковного управления, он, очевидно, отменит и то самое патриаршество, связью с которым Вы только что попытались обосновать свое послание. Ужели Вы не видите, в какой Вы попали заколдованный круг?

Обратимся теперь к третьей, высшей ступени церковного священноначалия — к соборному разуму Церкви. Может быть, Вам удалось, минуя собор и патриарха, непосредственно соприкоснуться с

православной совестью русских людей, членов Христовой Церкви, и послание явилось выразителем голоса их? Нет, этот голос должен был бы уверить Вас в том, что если Вы ищете подлинного свидетельства христианской совести, то Вы, прежде всего, должны узнать мнение тех, кто по преимуществу носит имя «свидетель истины», т. е. исповедников, страдальцев за нее. Вы этого не только не сделали, но, напротив, вовсе отвели их, как погрешивших против той самой власти, о лучших отношениях с коей только так усердно заботились. Отвели Вы, как свидетелей, и тех, о ком только предполагали, что они не будут с Вами, сочтя их беспочвенными мечтателями и предложив им даже вовсе, навсегда или временно, устраниваться от Вас. То, что осталось после такого отбора, Вы признали своею истинно русскою паствою и стали действовать от ее лица. Неудивительно, что она оказалась в полном согласии с Вами.

Итак, послание все предусмотрело, чтобы придать себе вид законности, и все же оно стоит на песке. Ни патриарх, ни собор, ни соборный разум Церкви в действительности вовсе не с ним. Послание не только не является их выразителем, но напротив, лишь предварительно отступя от них и подменив их лживыми их подобиями, оно облеклось в свои призрачные права. Скажем прямо, не Церковь Русская изнесла из недр своих это послание, а, обратно, оторванное от истинной Церкви, оно само легло краеугольным камнем в основание новой «церкви лукавнующих» (Псал. 25, 5). По своему образу и подобию построило оно и новые ложные ступени своего представительства, явило миру заместителя, стоящего вне и выше своих доверителей, измыслило собор с заранее готовыми деяниями, собрало в свою пользу лишь те голоса, о которых наперед знало, что они должны звучать в согласии с ним. И эту «срамоту наготы» (Апок. 3, 18), обнаруженную

посланием, не в силах прикрыть и совозникший с ним вместе «временный при заместителе» священный синод. Тщетно стремится он сообщить своему председателю подобие патриарха, ибо, согласно соборному постановлению, мыслится именно при таком; вотще пытается он придать вид соборности Вашему посланию, безумны его притязания быть выразителем голоса Церкви. Синод, это только как бы мягкий ковер, которым прикрыты поруганные ступени церковного священноначалия. Они теперь так углажены, что образовали один стремительный скат, по которому Русская Церковь должна низринуться в вырытую для нее Вашим и синодским посланием могильную яму. Но мерзость запустения простирается дальше, она становится на месте святом, проникает в самое святилище христианских таинств. Уже за богослужением имя Патриаршего Местоблюстителя возносится словно нехотя, без именованя его «Господином нашим», уже от его заместителя исходят предупреждения о скором совершенном прекращении этого возношения «за отсутствием канонических к тому оснований», уже имя самого заместителя, доньше гласно не поминавшееся в храмах, стало рядом с именем Местоблюстителя и готово вытеснить его, уже имена законных епископов епархий почти повсюду заменяются новыми, насильственно навязываемыми высшей властью, вопреки церковным канонам; отменяется поминование в темницах и изгнании сущих отцев и братьев наших; вводится поминование самих, отрицающих всяческую веру, гражданских властей, — дело новое и смущающее многие совести, совершается множество иных противоканонических действий.

Итак, Единство Церкви, имеющее, по словам свящ. муч. Игнатия Богоносца, свое внешнее выражение в епископе, а для целой Русской Церкви, следовательно, в патриархе, уже поколеблено в целом Вашим единением

с синодом, превысившим свои права до равенства с Вами, по отдельным епархиям — незаконными смещениями местных епископов и заменю их другими, Святость Церкви, сияющая в мученичестве и исповедничестве, осуждена посланием, Ее Соборность поругана, Ее Апостольство, как связь с Господом и как посольство в мир (Иоанн. 17, 18), разрушено разрывом иерархического преемства (отвод м. Петра) и встречным вторжением в Нее самого мира.

Волны этой небывалой церковной неправды бурно домчались до нашего города. Смещен без вины и без суда наш митрополит, о чем Вы, Владыка, знаете подробно, хотя и не внемлете ни ему, ни тем, кто просит о нем. Рукоположен без достаточных оснований и против воли многих православных новый епископ, принимает участие в церковном богослужении другой епископ, запрещенный, совершен ряд других церковных беззаконий, о чем Вам сообщат на словах подателя сего обращения. Наше посольство к Вам, Владыка, ближайшим образом вызвано напором этой волны, но, направляясь к Вам, мы знаем, что восходим к самому источнику всех последних несчастий, ибо он — в Вашем послании, потому мы молим Вас не о нуждах нашей лишь епархии, но и о всей Православной Русской Церкви, членами которой, по милости Божией, являемся, и повторяем то, что нами сказано было в начале: посольство наше к Вам решительное, Вы, Владыка, должны отмежевать себя, как главу Русской Церкви, от собственного своего послания, объявить его выразителем лишь Вашего личного мнения, необязательного для других членов Церкви, согласно постановлению собора 1917-1918 гг. от 2/15 августа 18 г., предоставившему установление тех или иных отношений к вопросам государственным совести самих верующих, ибо Церковь наша законоположениями самой гражданской власти от государства отделена.

Кроме того, Вы должны отменить и перерешить все канонически неправильные деяния, совершенные Вами, синодом и по местам епархиальными советами в зависимости от послания.

В настоящий же час нашей встречи мы ждем от Вас просто свидетельства Вашей совести о том, приемлете ли Вы наше обращение или нет, чтобы мы могли оповестить единомысленных нам отцов и братьев, уполномочивших нас явиться к Вам, можно ли нам ждать от Вас возврата нашего прежнего святого бесправия, или наше отречение, которое направлено против Вашего послания и связанной с ним Вашей деятельности, должно, к великому нашему прискорбию, быть перенесенным и на Ваше лицо, и, сохраняя иерархическое преемство чрез м. Петра, мы будем вынуждены прекратить каноническое общение с Вами».

Несмотря на сомнения Верюжского, текст обращения был одобрен. К нему были приложены ещё два письма: от епископата Петроградской епархии за подписью шести архиереев и от верующих учёных Академии наук и профессуры ленинградских институтов, составленное профессором Военно-юридической академии Абрамовичем-Барановским. Отвезти все три послания митрополиту Сергию предстояло делегации духовенства и мирян, которую возглавил владыка Димитрий.

Епископ Гдовский был одним из старейших иерархов Русской Церкви. Его отец Гавриил Маркович Любимов был настоятелем церкви Святого великомученика Пантелеймона в Ораниенбауме. Друг и сподвижник Иоанна Кронштадтского, он был известен, как неутомимый благотворитель. Более девяноста храмов было возведено с его помощью. В одном Ораниенбауме было построено его трудами три церкви. В своей квартире он устроил уездное училище для детей, которым сам преподавал Закон Божий и пение.

Училище посещало до восьмидесяти детей, и отец Гавриил изыскал средства для строительства под оное отдельного дома. Следом была возведена богодельня для престарелых. По смерти батюшки благодарные горожане назвали одну из улиц его именем — Любимовской. В 1924 году власти переименовали её в Колхозную...

Отец Димитрий продолжил благотворительную деятельность родителя. Более тридцати лет он служил в церкви Покрова Божией Матери, расположенной в Большой Коломне, увековеченной Пушкиным в своей поэме «Домик в Коломне». Сам поэт не раз посещал храм, а его отец немало жертвовал на него. Здесь, на Садовой улице, недалеко от Сенного рынка, жило много бедняков. Этот квартал Петербурга считался отчасти сродни московской Хитровке, то есть вотчиной нищих и отбросов общества. Поэтому простор для благотворительности открывался здесь самый что ни на есть широкий. При храме содержались сиротский приют, дома престарелых, школы и многое другое.

После революции отец Димитрий овдовел и был пострижен в Московском Свято-Даниловом монастыре в иночество, а вскоре возведен в сан архимандрита. Когда началась кампания по изъятию церковных ценностей, он был арестован и сослан на три года — сперва в Уральск, а затем в Туркестан. После казни митрополита Вениамина последовал арест четырех викарных епископов, и по возвращении в город архимандрит Димитрий был рукоположен во епископа Гдовского.

Милостивый к падшим и непримиримый к врагам Христовой Церкви, владыка Димитрий был непоколебим в стоянии за неё. И случись отступить от Истины хотя бы и всем епископам, он, подобно Максиму Исповеднику, предпочёл бы оказаться в одиночестве против всего мира, нежели причаститься из одной чаши с

патриархом-еретиком. Годы и лишения не отняли у него ни решимости, ни энергии, не подавили, как епископа Сергия. И делегацию к Заместителю он вёл подобно тому, как командир ведёт в бой свой отряд.

Именно так, сродни военному походу, ощущал отец Вениамин поездку в Москву. Возможно, другие чувствовали иначе. Но офицерской закваски не истребить принятием пострига, и в эти горячие дни отец Вениамин не раз ловил себя на том, что думает и оценивает события, как армейский полковник, а не смиренный инок...

Митрополит Сергей встретил делегацию с видимым спокойствием, за которым проглядывала, однако, плохо скрываемая нервозность. Дотоле отец Вениамин видел Заместителя лишь на фотографиях и теперь не без интереса изучал его. Всё-таки лицо чрезвычайно редко не соответствует сути человека. Некогда полковник Арсентьев мог угадать большевика лишь по глазам. Если душу поразила болезнь большевизма, то это печатью проступает на лице. Представители духовного звания ничуть не отличаются от простых смертных. Это заметил отец Вениамин ещё по обновленцам и лишний раз убедился, глядя на митрополита Сергия. Первая невольная мысль-чувство мелькнула при виде него: серый весь... От пегой бороды, на щеках более похожей на густую звериную шерсть... Волчью? А глаза маленькие, бегают под стёклами очков. И во всех движениях его, в том, как идёт мелкими шагами, чуть подавшись вперед, щурясь — насторожённость сквозит. Словно он воздух обоняет, прежде чем шаг сделать. Странно знакомая повадка... И не волчья никак. Шаг... Бегают подозрительно бусинки глаз под пегими бровями... Выдвинулось лицо вперёд... Точно носом повёл... И выжидает, анализирует возможные угрозы.

Крыса! — как молния блеснула мысль в голове. Как есть крыса! Сколько раз видел их... Как осторожно

выползали они из своего логова и также насторожённо обоняли окружающую атмосферу, вслушивались, всматривались, бегая бусинками глаз. И при виде их охватывало брезгливое чувство, и хотелось запустить чем-то в хитрое серое существо.

Даже в пот бросило. Осел отец Вениамин на свою трость, опустил глаза, не желая дольше смотреть на митрополита и не сомневаясь более в итоге встречи с ним.

Сергий, меж тем, внимательно читал поданные ему письма, то и дело бросая замечания. Когда он закончил, семидесятилетний старец епископ Димитрий упал перед ним на колени и со слезами воскликнул:

— Владыка! Выслушайте нас Христа ради!

Митрополит Сергей тотчас поднял его под руку с колен, усадил в кресло и сказал твердым и несколько раздраженным голосом:

— О чем слушать? Ведь уже все, что вами написано, написано и другими раньше, и на все это мною уже много раз отвечено ясно и определенно. Что вам не ясно?

— Владыка! — дрожащим голосом с обильно текущими слезами, начал говорить епископ Димитрий, — во время моей хиротонии вы сказали мне, чтобы я был верен Православной Церкви и, в случае необходимости, готов был и жизнь свою отдать за Христа. Вот и настало такое время исповедничества, и я хочу пострадать за Христа, а вы вашей декларацией вместо пути Голгофы предлагаете встать на путь сотрудничества с богоборческой властью, гонящей и хулящей Христа, предлагаете радоваться ее радостями и печалиться ее печалям... Властители наши стремятся уничтожить и Церковь и радуются разрушению храмов, радуются успехам своей антирелигиозной пропаганды. Эта радость их — источник нашей печали. Вы предлагаете благодарить советское правительство за

внимание к нуждам православного населения. В чем же это внимание выразилось? В убийстве сотен епископов, тысяч священников и миллионов верующих! В осквернении святынь, издевательствах над мощами, в разрушении огромного количества храмов и уничтожения всех монастырей!.. Уж лучше бы этого внимания не было!

— Правительство наше, — перебил епископа Димитрия Страгородский, — преследовало духовенство только за политические преступления.

— Это — клевета! — горячо воскликнул владыка Димитрий.

— Мы хотим добиться примирения Православной Церкви с правительственной властью, — раздраженно продолжал митрополит Сергей, — а вы стремитесь подчеркнуть контрреволюционный характер Церкви... следовательно вы контрреволюционеры, а мы вполне лояльны к советской власти!

— Я лично, — ответил епископ Гдовский, — человек совершенно аполитичный и если бы понадобилось мне самому о себе донести в ГПУ, я не мог бы ничего придумать, в чем я виновен перед советской властью. Я только скорблю и печалюсь, видя гонение на религию и Церковь. Нам, пастырям, запрещено говорить об этом, и мы молчим. Но на вопрос, имеется ли в СССР гонение на религию и Церковь, я не мог бы ответить иначе, чем утвердительно. Когда Вам, владыка, предлагали написать вашу Декларацию, почему вы не ответили, подобно митрополиту Петру, что молчать вы можете, но говорить неправду не можете?

— В чем же неправда? — воскликнул Заместитель.

— А в том, — ответил епископ Димитрий, — что гонения на религию, этот «опиум для народа», по марксистскому догмату, у нас не только имеются, но по жестокости, цинизму и кощунству превзошли все пределы!

— Так мы с этим боремся, — заметил митрополит Сергей, — но боремся легально, а не как контрреволюционеры... А когда мы покажем нашу совершенно лояльную позицию по отношению к советской власти, тогда результаты будут еще более ощутительны. Нам, по-видимому, удастся в противовес «Безбожнику» издавать собственный религиозный журналчик...

— Вы забыли, владыка, — заметил протоиерей Добронравов, — что «Церковь есть тело Христово», а не консистория с «журналчиком» под цензурой атеистической власти!

— Так вы хотите раскола? — грозно спросил Страгородский. — Не забывайте, что грех раскола не смывается мученической кровью! Со мной согласно большинство!

— Истина ведь не всегда там, где большинство, — заметил протоиерей Добронравов — иначе не говорил бы Спаситель о «малом стаде». И не всегда глава Церкви оказывается на стороне Истины. Достаточно вспомнить время Максима Исповедника.

Митрополит Сергей смягчил тон:

— Я говорю о том, что, когда вы протестуете, многие другие группы меня признают и выражают свое одобрение. Помилуйте, не могу же я считаться со всеми и угодить всем, каждой группе! Вы каждый со своей колокольни, а я действую для блага всей Русской Церкви.

— Мы, владыка, тоже для блага всей Церкви хотим трудиться, — ответил Иван Михайлович Андреевский. — А затем мы не одна из многочисленных маленьких групп, а являемся выразителями церковно-общественного мнения Ленинградской епархии из восьми епископов — лучшей части духовенства; я являюсь выразителем сотни моих друзей и знакомых и, надеюсь, тысячи единомышленников — научных

работников Ленинградской епархии. А профессор Алексеев — представитель широких народных кругов.

Андреевский имел немалый вес в церковных кругах Петрограда. Человек весьма разносторонний: филолог, преподаватель литературы, врач, историк — он ещё в начале двадцатых организовал братство во имя преподобного Серафима Саровского. Сперва Иван Михайлович хотел дать ему имя задушенного Малютой митрополита Филиппа, но под влиянием Алексеева передумал. Братство собиралось на квартире Андреевского, где читались доклады на философские, богословские и общецерковные темы, служились молебны, распространялась православная литература. Участвовала в собраниях в основном молодежь до двадцати пяти лет. Входила в братство и дочь отца Сергия Тихомирова, чьим духовным чадом был Иван Михайлович. Члены братства стояли на консервативных позициях. Свою цель они видели в том, чтобы путем духовного подвижничества спасти Россию.

— Вам мешает принять мое воззвание политическая контрреволюционная идеология, которую осудил Святейший патриарх Тихон, — заявил митрополит Сергей, чётко следуя большевистской фразеологии и показывая одну из бумаг, подписанную Святейшим.

— Нет, владыка, нам не политические убеждения, а религиозная совесть не позволяет принять то, что вам ваша совесть принять позволяет. Мы вместе со Святейшим патриархом Тихоном вполне согласны, мы тоже осуждаем контрреволюционные выступления. Мы стоим на точке зрения соловецкого осуждения вашей Декларации. Вам известно послание из Соловков?

— Это воззвание написал один человек — Зеленцов — а другие меня одобряют. Вам известно, что меня принял и одобрил сам митрополит Петр?

— Простите, владыка, это не совсем так, не сам митрополит, а вам известно это через епископа

Василия, — парировал Андреевский, из всех присутствующих бывший наиболее искусным полемистом.

— Да, а вы почему это знаете? — недовольно прищурился Заместитель.

— Мы знаем это со слов епископа Василия. Митрополит Петр сказал, что «понимает», а не принимает вас. А сам митрополит Петр ничего вам не писал?

— Так ведь с ним у нас сообщения нет! — чересчур поспешно развёл руками Сергей и тотчас был уловлен во лжи:

— Так зачем вы, владыка, говорите, что сам митрополит Петр признал вас?

— Ну, а чего же тут особенного, что мы поминаем власть? — сменил тему Страгородский, ускользая, подобно змее, которой наступили на хвост. — Раз мы ее признали, мы за нее и молимся. Молились же за царя, за Нерона и других?

— А за антихриста можно молиться?

— Нет, нельзя.

— А вы ручаетесь, что это не антихристова власть?

— Ручаюсь. Антихрист должен быть три с половиной года, а тут уже десять лет прошло.

— А дух-то ведь антихристов, не исповедующий Христа, во плоти пришедшего?

— Этот дух всегда был со времени Христа до наших дней. Какой же это антихрист, я его не узнаю!

— Простите, владыка, вы его не узнаете — так может сказать только старец. А так как есть возможность, то есть, что это антихрист, то мы и не молимся. Кроме того, с религиозной точки зрения наши правители — не власть.

— Как так не власть?

— Властью называется иерархия, когда не только мне кто-то подчинен, а я и сам подчиняюсь выше меня

стоящему и т. д., и все это восходит к Богу, как источнику всякой власти!

— Ну, это тонкая философия!

— Чистые сердцем это просто чувствуют; если же рассуждать, то рассуждать тонко, так как вопрос новый, глубокий, сложный, подлежащий соборному обсуждению, а не такому упрощенному пониманию, какое даете вы.

— А почему вы, владыка, распорядились ввести в Литургию молитву за власть и одновременно запретили молиться за «в тюрьмах и в изгнании сущих»? — спросил профессор Алексеев.

— Неужели вам надо напомнить известный текст о властях апостола Павла? — иронически спросил митрополит Сергей. — А что касается молитвы за «в изгнании сущих», то из этого прошения многие диаконы делают демонстрацию.

— А когда вы, владыка, отмените девятую заповедь блаженства? — снова возразил Андреевский. — Ведь из неё тоже можно сделать демонстрацию.

— Она не будет отменена, это часть литургии!

— Так и молитва за ссыльных тоже часть литургии!

— А кому нужна молитва за власть? — с живостью подхватил Алексеев. — Ведь советской безбожной власти эта молитва не нужна. Верующие же могли бы молиться только в смысле мольбы «о смягчении жестоких сердец правителей наших» или «о вразумлении заблудших»... Но чем вызвана молитва? Вас заставили ввести это прошение?

— Ну, я и сам нашел это необходимым.

— Нет, владыка, ответьте, как перед Богом, из глубины вашей архипастырской совести, заставили вас это сделать, как и многое в вашей новой церковной политике, или нет?

Этот вопрос пришлось повторять упорно и настойчиво много раз, пока митрополит Сергей,

наконец, ответил:

— Ну, и давят, и заставляют... — и тотчас пугливо поправился: — Но я и сам тоже так думаю.

— А зачем вы, владыка, распорядились поминать рядом с именем митрополита Петра и ваше имя? — гнул своё Андреевский. — Мы слышали, что это тоже вам приказано сверху с тем, чтобы вскоре отменить поминовение имени митрополита Петра вовсе.

— Мое имя должно возноситься для того, чтобы отличить православных от «борисовщины», которые митрополита Петра поминают, а меня не признают.

— А известно вам, владыка, что ваше имя теперь в обновленческих церквах произносится?

— Так это только прием!

— Так ведь борисовщина — это тоже только прием. А скажите, владыка, имя митрополита Петра предполагается отменить?

На этот вопрос митрополит Сергей также долго не отвечал, но вынужденный, наконец, сказал:

— Еще в 1925 году предполагалось отменить возношение имени митрополита Петра. Если власти прикажут, так что же, будем делать. И сам Святейший патриарх Тихон разрешил под давлением властей не поминать его.

— Но патриарх Тихон мог разрешить не поминать себя, а вы и ваш Синод отменить поминовение имени митрополита Петра не можете?

— Ну, а вот Синод-то чем вам не нравится?

— Мы его не признаем, не верим ему, а вам пока еще верим. Ведь вы заместитель местоблюстителя, а Синод лично при вас вроде вашего секретаря ведь?

— Нет, он орган соуправляющий.

— Без Синода вы сами ничего не можете сделать?

— Ну да, без совещания с ним, — с видимой неохотой ответил Сергей.

— Мы вас просим о нашем деле ничего не докладывать Синоду, — подал голос епископ Димитрий, долгое время молчавший и, видимо, слишком понявший безнадёжность положения. — Мы ему не верим и его не признаем. Мы пришли лично к вам. Пришли не спорить, а заявить от многих пославших нас, что мы не можем, наша религиозная совесть не позволяет нам принять тот курс, который вы проводите. Остановитесь, ради Христа остановитесь!

— Эта ваша позиция называется исповедничеством. У вас ореол...

— А кем же должен быть христианин?

— Есть исповедники, мученики, а есть дипломаты, кормчие, но всякая жертва принимается. Вспомните Киприана Карфагенского. Своей новой церковной политикой я спасаю Церковь!

— Вы спасаете Церковь?

— Да, я спасаю Церковь!

— Что вы говорите, владыка! — в один голос воскликнули все члены делегации.

— Церковь не нуждается в спасении, — сказал протоиерей Добронравов, — врата ада не одолеют ее. Вы сами, владыка, нуждаетесь в спасении через Церковь.

— Я в другом смысле это сказал, — несколько смущенно ответил Страгородский. — Ну да, конечно, с религиозной точки зрения бессмысленно сказать: «Я спасаю Церковь», но я говорю о внешнем положении Церкви.

Разговор зашёл в тупик. Заместитель обещал ещё раз рассмотреть все требования и вынести по ним резолюцию. В её содержании сомнений не осталось. «Поход на Москву» не увенчался успехом, и теперь предстояло сделать долго откладываемый шаг, ставший неизбежным.

По возвращении в Петроград владыка Димитрий срочно собрал у себя на квартире совещание, на котором было принято решение о разрыве молитвенного общения с митрополитом Сергием. Вместе с епископом Сергием он вручил приглашённому для этого Николаю Ярушевичу акт отхода, в котором говорилось:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Сие есть свидетельство совести наша (2 Кор. 1, 12), непозволительно нам долее, не погрешая против уставов Святой Православной Церкви, пребывать в церковном единении с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя Сергием, митрополитом Нижегородским, и его Синодом, и со всеми, кто единомыслен с ним.

Не по гордости, да не будет сего, но ради мира совести отрицаемся мы лица и дел бывшего нашего предстоятеля, незаконно и безмерно превысившего свои права и внесшего великое смущение («и дымное надмение мира в Церковь Христову, которая желающим зрети Бога приносит свет простоты и день смиренномудрия» — из послания Африканского Собора к папе Келестину). И решаемся мы на сие лишь после того, как из собственных рук митр. Сергия приняли свидетельство, что новое направление и устройство русской церковной жизни, им принятое, ни отмене, ни изменению не подлежит.

Посему, оставаясь, по милости Божией, во всем послушными чадами Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, сохраняя Апостольское преемство чрез Патриаршего Местоблюстителя Петра, митрополита Крутицкого, и имея благословение нашего законного Епархиального митрополита, мы прекращаем каноническое общение с митрополитом Сергием и со всеми, кого он возглавляет, и впредь до суда, «совершенного собором местности», то есть с участием

всех православных епископов, или до открытого и полного покаяния пред Святой Церковью самого митрополита Сергия сохраняем молитвенное общение лишь с теми, кто блюдет «да не преступаются правила отец»... и да не утратим помалу не приметно тоя свободы, которую даровал нам кровию Своею Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех человеков (из 8-го правила III Вселенского Собора). Аминь».

О свершившемся был незамедлительно отправлен рапорт митрополиту Иосифу...

Через четыре дня епископы Димитрий и Сергей, протоиереи Верюжский, Андреев и другие были запрещены в служении митрополитом Сергием, но прещениям этим не подчинились. Открывалась новая трагическая страница истории Русской Церкви, отныне разделённой, по живому разрезанной. Много ран легло на многострадальное тело России, но эта, как ни одна другая, поразила душу её. И суждено ли когда-либо ей быть уврачёванной?

В горьких заботах потускнела светлая радость пришедшегося на те дни Рождества. В родной церкви Андрея Критского против отложения выступил протоиерей Вишневский, имевший много сторонников в приходе. На назначенном приходском собрании должна была решиться судьба храма. Чтобы сохранить его, владыка Сергей запросил помощи у одного из самых ревностных и любимых пастырей Петрограда, настоятеля Спасо-Преображенской церкви в Стрельне Измаила Рождественского. Тот пришёл на собрание с группой стрельнинских прихожан, и это помогло одержать верх над Вишневским.

Впрочем, эта важная победа уже не согрела сердца отца Вениамина, которым овладела гнетущая тоска. Он с большим трудом служил на Рождество, чувствуя, что точащий душу червь, не позволяет служить с должным

настроим, и, испросив благословения у владыки Сергия, отправился в Гатчину.

В столь важный период нельзя было позволить себе впасть в ипохондрию, расклеиться. Но бороться с нею своими силами не выходило. Такие припадки изредка посещали отца Вениамина после чрезмерного нервного напряжения и, бывало, затягивались на долгие недели, пока не побеждались молитвами и постом. В обычное время ещё худо-бедно возможно позволить себе подобную роскошь, но не теперь, когда требовалась полная мобилизация всех сил. Душе требовался искусный врач, и отец Вениамин подумал о матушке Марии...

«Глубокоочтимой страдальце матушке Марии, утешившей среди многих скорбящих и меня грешного», — так написал ей на подаренной фотокарточке незабвенный владыка Вениамин. Сподобил Господь болящую монахиню утешить даже этого праведного мужа, пастыря. Воистину, сила Господня в немощи свершается!

Открылась дверь смежной комнаты, и из неё вышла счастливо улыбающаяся девушка с заплаканными глазами. Показавшаяся следом послушница поманила отца Вениамина:

— Входите! Матушка ждёт вас!

Страдальца, облачённая в монашеское одеяние, неподвижно лежала на своём одре. Её белое, окаменевшее лицо казалось неживым в чёрном окладе убруса. Отец Вениамин земно поклонился ей и, сев подле, стал негромко рассказывать о своём недуге — о тоске, по временам нападающей на него и нещадно терзающей. На миг почудилось, что и не слышит его матушка, и вдруг раздался голос... Губы мученицы едва шевелились, зубы не разжимались вовсе, отчего речь была медленной и не всегда внятной.

— Тоска есть крест духовный, посылается она в помощь кающимся, которые не умеют раскаяться, то есть после покаяния снова впадают в прежние грехи... А потому — только два лекарства лечат это порой крайне тяжкое душевное страдание. Надо — или научиться раскаиваться и приносить плоды покаяния, или — со смирением, кротостью, терпением и великой благодарностью Господу нести этот крест духовный, тоску свою, памятуя, что несение этого креста вменяется Господом за плод покаяния... А ведь какое это великое утешение сознавать, что тоска твоя есть неосознанный плод покаяния, подсознательное самонаказание за отсутствие требуемых плодов... От мысли этой — в умиление прийти надо, а тогда — тоска постепенно растает, и истинные плоды покаяния зачнутся...³²

От этих простых слов, с таким трудом произносимых страдальцей, столько лет терпящей нечеловеческие муки, вдруг словно разом очистилась душа от всего злого и тёмного, ожила, словно белым рождественским снегом натёрли её.

— Поминайте меня, матушка, недостойного, в своих молитвах. Много грехов на мне, для них великое покаяние нужно, а я для такого слишком ничтожен духом.

— Благослови вас Господь за всё, что вы претерпели и что ещё претерпите.

Ничего не сказал отец Вениамин о некогда пережитом, но матушка узнала. Недаром шла слава о ней, как о прозорливой.

На станцию Сергиевскую он возвратился обновлённым и полным сил. Владыка Сергей ждал его, сообщил с волнением:

— Пока вас не было, заезжал отец Сергей, привёз копию ответа митрополита Иосифа на наш рапорт, — с

этими словами он протянул полученный документ, добавил тихо: — Свершилось, отец Вениамин... Разделилась Русская Церковь. Вот, только что-то будет теперь? Не с нами — это не имеет значения. Но с Церковью?..

Отец Вениамин не ответил, медленно вчитываясь в резолюцию владыки Иосифа, закрепившую совершившееся несколько дней назад:

«Для осуждения и обезврежения последних действий митр. Сергия, противных духу и благу Св. Христовой Церкви, у нас, по нынешним обстоятельствам, не имеется других средств, кроме как решительный отход от него и игнорирование его распоряжений. Пусть эти распоряжения приемлет одна все терпящая бумага да все вмещающий бесчувственный воздух, а не живые души чад Церкви Христовой.

Отмежевываясь от митр. Сергия и его деяний, мы не отмежевываемся от нашего законного первосвятителя митр. Петра и когда-нибудь да имеющего собраться Собора оставшихся верных Православию святителей. Да не поставит нам тогда в вину этот желанный Собор, единый наш православный судья, нашего дерзновения. Пусть он судит нас не как презрителей священных канонов святоотеческих, а только лишь как боязливых за их нарушение.

Если бы мы даже и заблуждались, то заблуждались честно, ревнуя о чистоте Православия в нынешнее лукавое время. И если бы оказались виновными, то пусть окажемся и особо заслуживающими снисхождения, а не отвержения. Итак, если бы нас оставили даже все пастыри, да не оставит нас Небесный Пастырь по неложному Своему обещанию пребывать в Церкви Своей до скончания веков».

Глава 2. В Москве

Глупость — распаханное и удобренное поле для семян лжи... Поле это беспредельно, и всходы его потрясают воображение, потрясают бедный разум, не умеющий примириться с таким положением.

Не стоит, конечно, осуждать за глупость простой люд, ибо он в массе своей тёмный, и не по своей вине не способен разобраться в хитросплетениях, сотканных отцом лжи. Но как быть с теми, кто по разуму своему, по талантам и просвещённости поставлен ступенью выше простого люда, поставлен в учителя его? Их не упрекнёшь в незнании, в малограмотности. Наоборот, то сплошь умы книжные, широкие. Так как же выходит, что именно они-то и соблазняются первыми и тянут за собой других?

То, что можно простить безграмотной бабе, не имеет оправдания для академика. Кому много дано, с того много и спросится.

Впрочем, не с того ли началась история христианства? Мудрейшие предали Сына Божия позорной смерти и увлекли за собою в погибель тёмный народ, подговорив его кричать «Распни!». Народ был повинен всех меньше, ибо был тёмный и слушал своих учителей. И даже язычник Пилат был не так виновен, как эти учителя, ибо они знали пророчества...

Великая мистерия почти двухтысячелетней давности, она повторяется из века в век. Новые пилаты и стражники, глумящиеся над Праведником, тёмный, замороченный народ и мудрейшие, поставившие мёртвую букву выше Живого Духа, блюдущие форму и начисто переставшие понимать содержание, крашенные гробы, полные нечистот...

Во дни первого Раскола староверов обвиняли в приверженности обрядам, в том, что обряд поставили они выше Духа. Обвиняли те, кто за эти обряды сжигал их в срубах. И чему же привержены были сжигавшие? Не они ли сделались подлинными обрядоверцами, проливающими кровь братьев во имя обряда? Христов ли дух повелевал им дыбами и огнём истреблять «крамолу»? Нет, но совсем противоположный, и в том ключ трагедии раскола XVII века. Именем Христовым вершились деяния антихристовы. Как ни заблуждены были староверы, слишком сосредоточенные на обряде, как ни оскудел и в них дух любви, вытесненный идейной, фанатичной борьбой, но не они извлекли мечи из ножен, они лишь приняли муку. И кровь соловецких иноков, преданных страшным истязаниям, вместе с кровью других запытаных столетиями вопияла к небу о воздаянии...

И, вот, снова пришла пора вершения Божия суда, пора отделения овец от козлищ, пора испытания верности. Господь сказал, что пришёл не объединить, но наоборот — разделить мир. Двое будут пахать в поле: один возьмётся, а другой останется. Возьмутся верные, откликнувшиеся на призыв в Господне войско, единственное войско, из которого не только позорно, но и смертельно страшно стать дезертиром.

Но не все чувствуют этот страх, многие умело отгораживаются от него, радуясь быть обманутыми и с охотой становясь проводниками лжи. Таковые проводники исполняются зачастую немалой агрессией, с которой норовят они навязать свою, как кажется им, точку зрения другим.

За последние месяцы Аристарх Платонович разошёлся практически со всеми и без того немногочисленными друзьями и знакомыми. Подумать только! Люди с учёными степенями, не безусые юнцы и не прощелыги, на полном серьёзе доказывали, что

освобождение митрополита Сергия есть знак того, что «мы победили». И даже пресловутая Декларация не заставила «победителей» стихнуть. Ведь власти согласились с легализацией Церкви! А Декларация... Да какое она имеет значение? Сам Господь учил: будьте мудры, как змии. Так почему бы и не схитрить? Кому нужна непременно правда каждого слова? И не вспомнят несчастные, кто есть отец всякой лжи...

Чем дальше шёл Сергей, тем истеричнее отстаивали правоту взятого курса его сторонники, коим отныне всего нестерпимее было осознать и признать своё заблуждение. Это поставило бы их перед необходимостью решительного вывода и, в конечном итоге, принятия мученичества. Но к мученичеству они готовы не были и потому так отчаянно отстаивали курс своего предводителя, успокаивая свою совесть путём обличения чужой...

Этим утром заявился к Кромиади такой обличитель. Другого бы, пожалуй, выпроводил без церемоний, но друга старейшего, добрейшего Аркадия Владимировича, который давным-давно был шафером на его свадьбе, которого сына сам крестил, как выставить? Пришлось принять. А тот с порога обрушился:

— Я давно видел, что ты к расколу тяготеешь! Оттого и старообрядцы тебе любезны! Но в уме ли ты, Аристарх? Как можно вносить рознь в Церковь перед лицом общего врага?

— Мне бы было желательнее узнать, как возможно идти на службу этому врагу, — холодно откликнулся Кромиади, с сожалением глядя на не в меру для своих почтенных лет клокочущего Аркадия.

— Ты погряз в гордыне! Тебе нет дела до того, что даже отец Сергей не разорвал общения с митрополитом!

— Мне очень жаль, что отец Сергей пока не решается на этот шаг. Однако же, он и не оскверняет служб возношением имён самозванца и антихристовой власти.

— Почему бы тебе не удовлетвориться этим?

— Нельзя одной рукой обнимать блудницу, а другой держаться за Христову Невесту. Непоминающие не решаются отойти от Страгородского, так как считают его каноничным. Но ведь так можно однажды подчиниться и антихристу, если он окажется формально «каноничным».³³

— Бог знает, что ты говоришь! Или каноны, по твоему, уже ничего не значат?

— Каноны — ограда церковной правды, которая попирается Страгородским, но не кандалы, которые должны удерживать нас в тисках лжи. Помнишь, что писал Златоуст об Арсакии, который получил кафедру самого Святителя Иоанна от императрицы и подверг бедствиям всю братию, не пожелавшую иметь с ним общения? «Этот волк в овечьей шкуре, хотя и по наружности епископ, но на деле прелюбодей, потому что как женщина, при живом муже живя с другим, становится прелюбодейцею, так равно прелюбодей он, не по плоти, но по духу...» Страгородский, узурпировавший власть митрополита Петра — в точности, как тот Арсакий, восхитивший кафедру Златоуста.

— Но митрополит Пётр не осудил действий митрополита Сергия! Равно как и большинство епископов! Их мнение для тебя пустой звук?

— От митрополита Петра мы не имеем известий. Однако, если бы он поддержал Страгородского, ГПУ постаралось бы, чтобы об этом узнали. Что касается епископов, в иконоборчестве, например, «сатана явился в образе ангела света».

— Сатана! Антихрист! Только его и видишь везде! Прельстил он тебя и над тобой властвует! Церкви нужен мир, а вы вносите в него вражду, сектантский горделиво-озлобленный дух! В то время, как митрополит Сергей пытается сохранить Церковь хоть в каком-то легальном виде, чтобы она не исчезла из жизни людей, вы надменно мудрствуете!

— Да, Аркадий, мы не спасаем Церковь. Наша задача куда скромнее — мы пытаемся спасти свои души. Тем же заняты наши исповедники, чей подвиг обесценен и оклеветан Страгородским. Знаешь ли, друг мой, что есть отрицание этого подвига Сергием? Хула на Духа Святого в его живых носителях! Этой хулой разлагаются души тех, кому предстоит ещё крестный путь, дабы они отвернулись от него и ступили на путь гибельный. А мудрствование — это по части Сергия и его единомышленников. Потому что для того, чтобы придать лжи благообразные формы, много мудрости нужно.

— Ты отравлен ненавистью и враждой ко всем!

— Хорошо быть в мире со всеми, но под условием единомыслия относительно благочестия: тогда мир лучше брани, когда из него выходит согласие на добро. Так говорил Максим Исповедник.

— Мните себя равными Исповеднику и Студиту?

— Всего лишь в меру немощей наших пытаемся подражать Христу.

— Вы идёте против самого Символа Веры! Разрушаете Единство Церкви!

— Церковь не только едина, но ещё и свята, и соборна, — вымолвил Кромиади и, собравшись с духом, преодолевая гнетущее изнеможение сил, стал выговаривать старому другу то, что выговаривал прежде другим: — Вы пытаетесь слепым и мёртвым единством подменить живой организм. Не оставить ни лица, ни имени, ни даже Власти, ибо все епископы —

только подвластны, все безличны, все клянутся одним, их же совести чуждым именем своего главы, или, лучше, такого же безличного высшего возглавления. Что означают эти бесконечные епископские перемещения, при которых скоро будет невозможным разобраться, кто законный епископ отдельной епархии, и литургия станет даже с общеканонической точки зрения незаконной? Все статьи октябрьского «указа» Страгородского направлены к обезличению святой литургии. Это затенение личности митрополита Петра через прекращение поминовения его «Господином нашим» и поставление рядом с его именем имени Сергия, то есть двух имен на одном патриаршем месте, что противно и духу канонов, и обесмысливает самое символическое значение имени главы русской Церкви и личное имя самого Петра. Это введение поминовения безличного имени власти, без обозначения самого смысла поминовения. Это, наконец, предание забвению имен и лиц, просиявших в своем исповедническом подвиге. Вот эти-то три лукавства: обезличение одного, молитвенное освящение безликости других и молчаливое отречение от слишком яркого лица — третьих, — вот все это, в соединении, и доканчивает дело обезличения и всей святой литургии, придавая Ее святому, таинственному и Богоподобному Лицу — «физиономию всякого легального открытого собрания» с его публичной безличностью и трусливой стадностью! Где же тут новозаветное поклонение Богу «в духе и Истине»? Какой прок в том, чтобы лишь устами исповедовать Христа, во плоти пришедшего? Где же место для Христа Воплощенного? Окинешь ли мысленным взором его сергиеву «церковь» в целом — видишь одну лишь «легализованную организацию», «сочувствующую» легализовавшим ее безбожникам; заглянешь ли в ее внутренний строй — там «партийная дисциплина» на словах, церковная разруха на деле;

поищешь ли правды в самом высшем возглавлении сергианском — там полное «рабство у внешних» и духовная оторванность от истинного возглавления в лице митрополита Петра; обратишься ли к отдельным епархиям — они страдают попеременно то безглавием, то многоглавием, и в них не положено быть личным духовным связям со своими епископами, следовательно, то — не составные части Тела Церковного; поищешь ли Христа посреди двух или трех, собранных во Имя Его и стоящих вне прямой зависимости от Сергия, — не найдем и того, ибо сергианство не терпит ни больших, ни малых автокефалий и на всех кладет печать своего властительства; обратишься ли к «непоминающим Сергия и властей», но там — сугубая ложь — ложь и потому, что они всё же с ложью сергианства и еще потому, что они эту связь хотят скрыть; попытаешься ли прибегнуть к таинству, чтобы через него приобщиться истинной плоти и крови Христовой, и остановишься в раздумье, ибо не верится, что вверены святыи Тайны литургии, приравненной ко «всякому публичному собранию», внутренне обезличенной и гласно возвещающей об отступничестве и прелюбодейных связях своих совершителей. Вот, что такое ваша церковь, превращаемая на наших глазах в Антицерковь.

Обычно бледное лицо Аркадия пошло красными пятнами. Он задыхался от негодования на услышанную отповедь и, не находя достаточных аргументов, сорвался на крик:

— Ты безумен, Аристарх! Ты хулишь Церковь! Священноначалие! Литургию и святыи Таинства! Ты становишься... безбожником! Мне страшно за тебя! Ты... Ты стремишься в ад!

— Во всяком случае, я предпочитаю свой ад раю, который готовят Сергей совместно с ГПУ. А Господь нас рассудит.

— Прощай, — отрывисто бросил Аркадий, то и дело хватаясь за левую сторону груди.

Когда дверь за ним закрылась, Кромиади тяжело вздохнул, снял очки, промокнул беспрестанно слезящиеся глаза. Горько было потерять друга, ещё горше от того, как глубоко проник в Аркадия яд сергианства. Ведь не глуп же он и не подл. И искренне, а не поверхностно верует. А, вот, поди ж ты! Попался, как младенец. Хотя... Младенец, быть может, и не попался бы, обладая чистым сердцем.

А ведь для особо наивных открытым текстом пояснено было всё не только в Послании, хотя и его пытаются трактовать они «в другом смысле». Вступительная статья, предваряющая в «Известиях» Декларацию, говорила о вынужденном «перекрашивании» долго упорствовавших «тихоновцев» в «советские цвета», противопоставляя им «дальновидную часть духовенства», еще в 1921 году вступившую на этот путь, то бишь обновленцев и живоцерковников. Фактически прямо объявлялся путь Сергия всё той же дорогой обновленчества.

Столь же откровенно засвидетельствовал это константинопольский патриарх Василий, радостно отметивший в присланной Сергию грамоте, что в обеих ориентациях, отныне установился единый дух. «Бог благоволил, — писал патриарх, — чтобы во главе церковного управления, в обеих великих частях, оказались ныне почтенные иерархи, воспитанные на точных православных преданиях и ревностно их охраняющие, и поступающие по ним, и получившие власть по всей Церкви Российской. Да будет счастлива эта совместная власть, как дарованный Богом мост, соединяющий разделенное и приводящий к единению».

Сам Сергий в изданном церковном календаре напечатал церковные праздники мелким шрифтом, а гражданские — крупным, как, по-видимому, наиболее

важные для православных христиан. Когда Лидия принесла этот календарь в дом, Аристарх Платонович собственноручно сжёг его в печи, дабы не держать в доме мерзости.

На всё это сергиане смотрели широко закрытыми глазами. Они не желали видеть очевидного столь же упорно, сколь не желали слышать и помнить пророчеств многочисленных святых, которые до деталей предсказали всё происходящее.

Сам преподобный Серафим с болью провидел: «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их, и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, царствия небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить «учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от Меня».

Но не вняли преподобному, и уж тем более вовсе не обратили внимания на наставление Оптинского старца Анатолия, который, как никто другой, подробно описал грядущую трагедию Русской Церкви: «Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит Апостол, наступят времена тяжкие (2 Тим. 3-5), так что вследствие оскудения благочестия произойдут в Церкви ереси и расколы, не будет тогда, как предсказывали святые отцы, на престолах святительских и в монастырях людей опытных и искусных в духовной жизни; от того ереси будут распространяться повсюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет хитростью, чтобы, если возможно, склонить к ереси избранных. Он не станет грубо отвергать догматы Св. Троицы, о Богородице, о Божестве Иисуса Христа, но незаметно станет искажать предание св. отцев, от Духа

Святого учение Церкви. Самый дух его и уставы, и ухищрения врага заметят только немногие, но более искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью. Всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в небрежении, но Господь не оставит своих рабов без защиты и в неведении; Он сказал: «По плодам их узнаете их». Вот и ты по этим плодам, или, что тоже, по действиям, еретиков старайся отличать от истинных пастырей. Это духовные тати, расхищающие духовное стадо, войдут они во двор овчий — Церкви пролазя, и будут, как сказал Господь, т. е. войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божии уставы. Господь именует их разбойниками (от Иоанн. 10 гл. 1 ст.). Действительно, первым делом будет гонение на истинных пастырей: заточение их и ссылка, ибо без этого нельзя будет расхищать овец. Посему, сын мой, как увидишь нарушение Божественного чина в Церкви отеческого предания и установленного Богом порядка — знай, что еретики уже появились, хотя может быть и будут до времени скрывать свое нечестие или будут искажать Божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на пастырей, но и на всех верующих рабов Божиих, ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай сих волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву и сластолюбию, и властолюбию. Будут клеветники, предатели, сеющие всюду вражду и злобу. Потому сказал Господь: по плодам их узнаете, истинные рабы Божии смиренны, братолюбивы, Церкви послушны.

...Бойся Господа Бога, сын мой, дабы не потерять уготованный венец, бойся быть отвергнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в вере и, если нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет Господь и св. мученики и исповедники. Они с радостью будут взирать на твой

подвиг. Но горе будет в те дни тем монахам, которые обязались имуществом и богатством, и ради любви к покою готовы будут подчиниться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: мы сохраним и спасем обитель, и Господь нас простит. Несчастные и ослепленные не помышляют о том, что ересью войдут в обитель бесы, и будет она не святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать...»

Невесёлые думы Аристарха Платоновича нарушил шум в прихожей и голос Лидии:

— Папа, к тебе пришёл Миша!

И ещё говорила она, как дверь открылась, и в неё влетел румяный от мороза Миша Надёжин, не потрудившийся даже снять шапку и шарф.

Миша, с некоторых пор подвизавшийся алтарником в церкви Никола Большой Крест у отца Валентина Свенцицкого, был в последнее время единственным человеком, которого Кромиади рад был видеть в любое время. По сути, этот юноша стал для него, снедаемого недугами старика, связным с внешним миром, каковыми по малолетству не могли стать внуки и по занятости — дочь.

— Аристарх Платонович, белый старец в Москве! — с ходу выпалил Миша, сияя.

Вот, новость так новость! Белым старцем или любовно «дяденькой» называли в Москве Михаила Александровича Новосёлова: не столько за лета, сколько за необычайно светлый характер, за аскетическую жизнь, которую он вёл, за весь его светлый облик.

Михаил Александрович окончил тот же факультет, что и Кромиади, только десятью годами позже. Сын известного педагога Тверской губернии, внук священника, он был прирождённым проповедником, жгущим глаголом сердца людей. Сперва увлекшийся толстовством и даже побывавший под арестом за

распространение запрещённой брошюры графа, он сумел найти дорогу к Истине и, обретя её, посвятил всю жизнь служению ей, отдавшись оному со всем жаром своей сильной натуры. Всё с той поры сделалось для него вторичным, померкло в ослепительных лучах Православной веры.

С начала века Новосёлов издавал религиозно-философскую библиотеку, а также много отдельных брошюр и листовок. Его обличительная книга о Распутине, благословлённая Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной, была запрещена, Михаилу Александровичу было предписано уничтожить отпечатанный тираж. Его честного слова было довольно даже для властей — настолько высок был его духовный авторитет. Много лет Новосёлов состоял в Училищном совете при Святейшем Синоде, организовал «Кружок ищущих христианского просвещения». После революции он предоставил свою квартиру в доме Ковригиной, что у Храма Христа Спасителя, для Богословских курсов, всемерно боролся с обновленчеством. Дом Ковригиной был настоящим сердцем православной Москвы и даже всей России. Сюда шли самые различные люди: от простого мужика до учёного профессора. Здесь кипела при небольшом числе помощников работа, одухотворённая личностью её организатора.

Михаил Александрович имел редкий дар жить всё, что оказывалось подле него. Слово луч солнца падал на поникшие от стужи цветы, и те обращались к нему, впитывая тепло. Сам Новосёлов любил цветы и природу в целом, и просто красивые вещи. Он не копил их, не умея копить, но умел любоваться, ценить красоту, будь она заключена в нарядной одежде, в произведении искусства или в хорошенькой женщине.

Ведя аскетический образ жизни, белый старец, между тем, любил жизнь, радовался ей и радостью этой

заряжал других. Его голубые глаза никогда не выражали уныния, но светились весёлостью. Он всем существом своим опровергал стереотип, согласно которому аскет и ревнитель благочестия должен быть непременно суров и скорбен, исполнен презрения к миру. Новосёлов всегда отличался бодростью и благожелательством к людям. Он был нищ и бездомен, как сам Спаситель, но вёл себя так, будто бы повелевал жизнью, будто бы был в ней благополучен и устроен лучше любого царя. Михаил Александрович стоял высоко над земным, притом нисколько не теряя понимания всего земного. В этом была заключена редчайшая гармония, гармония абсолютно здоровой, цельной, талантливой и щедрой натуры.

В двадцать втором году чекисты ворвались в квартиру Новосёлова с ордером на арест, но Михаил Александрович скрылся, воспользовавшись чёрным ходом, и, вот, уже шестой год жил на нелегальном положении, появляясь то в Петрограде, то в Москве, то в других городах. Во время этих скитаний им было написано двадцать «Писем к ближним», посвящённых самым насущным вопросам современной церковной жизни, наставляющих православных христиан, как сберечь истинную веру в условиях богоборческого государства и торжествующей лжи.

— Дяденька остановился у отца Валентина! Я сейчас бегу туда! Вы пойдёте?

Всё-таки необычайно хорошая пора — молодость! Схватил картуз, накинул полушубок на плечо и бегом — хоть на другой конец города пешком! А когда тебе под восемьдесят, и ноги твои всё чаще подводят тебя, а глаза насилу различают смутные силуэты, и люди стали в них, *как деревья*, то и маломальский переход может вменяться в подвиг. В другой раз не отважился бы Аристарх Платонович выйти из дому в студёный февральский день, но ради счастья видеть Михаила

Александровича... Ведь такой редкостью стала ныне возможность отвести душу в беседе с единомысленными себе! Даниловское братство рассеялось с той поры, как владыку Феодора и многих других отправили в ссылки. В родном маросейском братстве отдохновения не стало. Отец Сергей, хотя и категорически не принял Декларации и не исполнял указа о поминовении, но и медлил с отделением, не решался на него. Собственно, на всю Москву решившихся насчитывалось несколько человек. Главным образом, отец Валентин, первый разорвавший общение со Страгородским. В своём письме он, всегда особенно чутко улавливающий самую суть дела, прямо обличил Заместителя в обновленчестве: «И «Живая Церковь», захватившая власть Патриарха, и григорианство, захватившее власть Местоблюстителя, и Вы, злоупотребивший его доверием, — вы все делаете одно общее, антицерковное обновленческое дело, причём Вы являетесь создателем самой опасной его формы, так как, отказываясь от церковной свободы, в то же время сохраняете фикцию каноничности и Православия. Это более, чем нарушение отдельных канонов!»

Кромиади поднялся с кресла:

— Если ты, мой юный друг, не боишься потерять слишком много времени, ожидая меня, то я, пожалуй, рискну покинуть свою келью.

— Я в вашем распоряжении! — готовно кивнул Миша, а самому не стоялось на месте, словно рвавшемуся на волю коню.

Лидия, услышав из соседней комнаты решение Аристарха Платоновича, заявила, что пойдёт также. Михаила Александровича она знала с самого детства и была очень привязана к нему. Юной девушкой участвовала в его «Кружке...», помогала, чем могла, в издательской работе. Когда бы ни обременённость

семьей, должно быть, стала бы теперь ближайшей и активной помощницей белого старца...

К отцу Валентину добрались с первыми сумерками и застали у него кроме Новосёлова ещё одного гостя. Это был пожилой священник, подтянутый, седоволосый. Большого не смог рассмотреть Кромиади. Обратил лишь внимание на массивную трость, которую не выпускал из рук неизвестный гость, и на выпрямленную, по-видимому, не сгибающуюся его ногу.

Михаил Александрович радушно приветствовал вошедших, троекратно расцеловал Лидию, первой подавшуюся ему навстречу с радостным возгласом:

— Дяденька! — как называла его с детства. — Как же я рада снова видеть вас живым и невредимым!

Кромиади не расслышал ответа Новосёлова, так как был отвлечён отцом Валентином, сообщившим:

— Есть важные новости, Аристарх Платонович! — он обернулся к поднявшемуся со своего места священнику, представил его: — Иеромонах Вениамин только что прибыл от митрополита Иосифа и уже завтра отправляется в Ленинград. Как раз перед вашим приходом он известил нас о том, что Ярославская епархия поддержала нас и отошла от Сергия!

— Вся целиком? — уточнил Кромиади.

— Ярославские епископы во главе с преосвященным Агафангелом подписали на днях соответствующий акт, — подтвердил отец Вениамин глуховатым голосом.

— В акте они обвиняют Сергия в явном нарушении канонов вселенских и поместных соборов, — добавил Свенцицкий, — и объявляют о своём отложении от него во имя успокоения смущённой его действиями совести верующих. Итак, теперь мы не одни! Если так пойдёт и дальше, то Сергию придётся запретить в служении добрую половину клира!

— Запретит, — махнул рукой Кромиади. — Если Тучков прикажет.

— Непременно прикажет, — согласился Новосёлов. — Но это уже неважно. Их указы не имеют для нас значения.

— Митрополит Иосиф выразил согласие возглавить движение отделившихся своим духовным руководством и молитвенным попечением, — сказал отец Валентин.

— Не только, — уточнил иеромонах Вениамин. — Преосвященный Иосиф составил проект объявить себя заместителем местоблюстителя вместо митрополита Сергия.

— А, вот, этого совсем не нужно, — покачал головой Михаил Александрович. — Митрополит Иосиф человек недостаточно решительный, заменить патриарха Тихона он не сможет. Подобное самопровозглашение не имеет достаточных оснований и сделает нас уязвимыми для ударов наших противников. Довольно и того, что владыка Иосиф незадолго до ареста назначил себе трёх заместителей по примеру митрополита Петра, на что не имел законных полномочий.

— Увы, Михаил Александрович, наши иерархи вскормлены синодальным периодом, — развёл руками Свенцицкий. — Церковью они, даже лучшие из них, пытаются управлять, как армией...

— Вы считаете это ошибкой? — приподнял бровь отец Вениамин.

— И роковой ошибкой, отче. Именно это и делает церковь уязвимой!

— Предпочитаете партизанскую тактику?

— Вы, кажется, в прошлом офицер, не так ли?

Иеромонах утвердительно кивнул.

— Ну, в таком случае, да. Если использовать военную терминологию, то я за партизанскую тактику. Ведь если некая территория оккупирована, то регулярная армия на ней действовать не может, а только небольшие отряды. В переводе на язык церковный — тайные общины. Вы не согласны?

— Пожалуй, — согласился немногословный отец Вениамин.

— А разве нельзя ограничиться простым непоминанием, как, например, отец Сергей? — робко спросила Лидия, остро переживавшая за родной маросейский приход.

— Дорогая Лидочка, Истина не терпит половинчатости, — ответил Новосёлов. — Всякая половинчатость в этом вопросе обращается лукавством. Честные отцы апеллировали здесь военными понятиями. Ну, так вот, главное и самое роковое понятие для наших епископов и клира — это *дисциплина*! Тон, конечно, задает иерархия, начиная с возглавляющих ее, но, как понятие, заключающее в себе целое стройное учение, слово «дисциплина» несется и по самым отдаленным от правящих церковных верхов рядам «верных», только уже, увы, не в собственном христианском смысле, а верных той же мертвящей дисциплине. Дисциплина мешает епископу войти в меру своего архиерейского величия и оставляет его на положении простого орудия чужой воли там, где он должен быть сознательным, живым и деятельным членом живого Тела Святой Церкви и пастырем такого же разумного, а не бессловесного стада. Дисциплина же закрывает ему глаза и на те великие полномочия, которые дает разобранное соборное правило даже мирянину, делая его разумным зрителем и участником дел Божиих даже тогда, когда они принимают почти апокалипсические размеры. Но рабу дисциплины невозможно представить падение предстоятеля, так как это бросает тень и на него самого, поэтому всякое проявление собственного разума в подчиненных он спешит представить как бунт против начальства.

— Не слишком ли всё же строг такой суд, дяденька? Кое-кто у нас на Маросейке говорит, будто бы старцы осуждают разделение...

— Какие же именно старцы? Я встречался с несколькими. Один сказал, что не принял бы меня, если бы я был с Сергием, другой, что лавирование оборачивается ложью, и ложной станет Церковь, если пойдёт за Сергием. А оптинский старец Нектарий не велел посылать в Козельск к другим оптинцам в случае его смерти, так как Козельск стал на ложный путь. И, вообще, дорогая Лидочка, должен сказать, что за последнее буквально время у нас развелось слишком много «старцев». И всё потому, что мало разбирающиеся в духовных вопросах люди, особенно — не в обиду вам — женщины, жадно и неразборчиво ищущие, к чьим стопам припасть, награждают титулом старца лиц... весьма сомнительной духовности. Им бы следовало иметь на памяти наставление святителя Игнатия³⁴: «Весьма благоразумно делаешь, что не сводишь близкого знакомства ни с одним духовным лицом: такое знакомство может очень легко послужить ко вреду и весьма редко к пользе. Советуйся, с книгами Святителя Тихона, Димитрия Ростовского и Георгия Затворника, а из древних — Златоуста; говори духовнику грехи Твои — и только. Люди нашего века, в рясе ли они, или во фраке, прежде всего внушают осторожность». Ещё когда сказано было! То ли дело теперь! — Новосёлов махнул рукой.

— Скажите, отче, а как вам показалось, относительно проекта провозглашения себя Заместителем — владыка Иосиф был настроен решительно? — беспокойно спросил Свенцицкий, возвращаясь к прерванной теме.

— Мне трудно судить, — пожал плечами иеромонах. — Окончательно, мне показалось, ещё ничего не решено.

— Несомненно, не решено, — кивнул Новосёлов. — Преосвященному всегда требуется немало времени,

чтобы принять решение. Он и на окончательное отделение решился не сразу.

— Всё же стоило бы упредить его... Такое решение, действительно, стало бы ошибкой.

— Не беспокойтесь, отче. Я сам съезжу к владыке и, полагаю, смогу убедить его отказаться от этого проекта.

— Дай Бог, — с некоторым облегчением кивнул отец Валентин.

— А вы, дорогая Лидочка, — Новосёлов снова обратился к Лидии, — не сомневайтесь в выборе пути! И вы, юноша, — перевёл он взгляд на Мишу, смотрящего на него и отца Валентина с благоговением, — тоже! Нас будут клеймить раскольниками и отщепенцами, проклинать, запрещать. Но это всё ничто! Преподобный Феодор Студит много веков назад уже ответил за нас нашим обличителям, — Михаил Александрович говорил ласково, но твёрдо, словно давая последний завет-наставление перед разлукой, после которой мало надежд на новую встречу. То же самое говорил дочери и сам Кромиади, но она всё ещё колебалась, и теперь Аристарх Платонович надеялся, что слова дяденьки убедят её. А тот оседлал любимого конька и цитировал своим слушателями преподобного Феодора. Некогда Кромиади сам бы мог приводить эти изречения, но теперь терялось всё в слабнущей памяти и знакомое прежде ныне звучало из чужих уст откровением: — «Мы не отщепенцы, святая глава, от Церкви Божией, да не случится этого с нами никогда. Хотя мы и повинны во многих других грехах, однако мы православны и питомцы кафолической Церкви, отвергающие всякую ересь и принимающие все признанные вселенские и поместные соборы, равно как и изреченные ими канонические постановления. Ибо не вполне, а наполовину православный тот, кто полагает, что содержит правую веру, но не руководствуется

божественными правилами. Так как я, не имея епископского достоинства, не могу обличать, то для меня достаточно оберегать себя самого и не входить в общение с ним и с теми, которые заведомо служат вместе с ним, пока не прекратится соблазн (то есть до покаяния митрополита Сергия)»... Мы «составляем одно тело с нею (Святой Церковью) и вскормлены божественными догматами и правилами ее, и постановления стараемся соблюдать... Мы писали и к самому Архиерею (то есть что если прекратится соблазн)... то мы тотчас войдем в общение с ним... Поэтому знай, что у нас не отделение от Церкви, а защищение истины и оправдание божественных законов».

Глава 3. Никита

Зимы в этом году бывший капитан Громушкин не увидел. Лишь белый отсвет её сквозь тюремное окно. Обитателей рабочего коридора выгоняли на двор чистить снег. Не Бог весть какое привычное занятие для интеллигентного человека, но в тюрьме — не повинность, а подарок! На свежем воздухе лопатой или метлой помахать, размять требующие движения мышцы — куда как хорошо было бы!

Но Никита ещё не входил в число обитателей коридора, а был подследственным, которого сперва испытывали одиночкой, а потом всё-таки переместили в общую, к людям...

Первое время всего более волновало Никиту, знают ли они о Ярославле?.. Расстрелянный пятью годами раньше Перхуров никогда бы не назвал имён своих соратников. Но ведь были и другие, о судьбе которых ничего неизвестно. Что если они?..

Если о Ярославле ГПУ не знает, то есть надежда. Царский офицер, выходец из купеческого сословия — это, конечно, худо, но на серьёзную кару не тянет. Всё же не восемнадцатый год. «Минус шесть»³⁵ — максимум. Но если дознаются о Ярославле... Тогда шабаш, минимум червонец лагерей неминуем. А каково придётся семье!

На допросах Никита взвешивал каждое слово, опасаясь хоть чем-то выдать себя и стараясь понять причину ареста, которая так и не была ему названа. Следователь расспрашивал его о знакомых, в частности, о Георгии Осоргине, арестованном ещё два года назад и содержавшемся в рабочем коридоре. Между прочим, осведомился о некоем отце Вениамине из Ленинграда, давно ли знакомы. Тут-то и ёкнуло

сердце, и влёт нужно было сообразить, что отвечать, чтобы не выдать бывшего командира. Соврал, что прежде вообще не знал его, но однажды пустил на ночлег по просьбе добрых друзей семьи. Говорил, а у самого кололо в груди: ведь про «друзей семьи» тоже бы не надо?.. Хотя старик Кромиади и без этого «показания» личность в ГПУ известная, и на фоне других его «заслуг» просьба приютить некоего священника не может играть большой роли. Мало ли таких священников находит приют под его собственной крышей! А вот о прежнем знакомстве с отцом Вениамином никак нельзя говорить. Если отец Вениамин может получить максимум срок на Соловках, то полковник Арсентьев будет немедленно отправлен в расход.

Личность Вениамина, видимо, сильно занимала ГПУ. И Никита стал подозревать, что именно связь со старым боевым товарищем стоила ему свободы. Так или иначе, но о Ярославле ГПУ, судя по всему, не знало, и это отчасти успокаивало.

Внушало надежду и то, что Варя, надо полагать, не сидела сложа руки, а добивалась освобождения мужа. Через Пешкову, своего дядюшку — приятеля Горького, через сестру и её... Однако же, не в этом ли причина? Не в шурине ли всё дело? Ходили же упорные слухи, что он работает не только на военное ведомство, но и на ГПУ. И даже Варя верила им и старалась меньше общаться с сестрой. Как раз принесла его нелёгкая, помнится, в тот день, когда полковник остановился у них... Стало быть, донёс? Очень может быть.

Но было это без малого год назад. Отчего же ГПУ зашевелилось именно сейчас? Или прежде фигура отца Вениамина не занимала их? Впрочем, последние месяцы что-то неладное происходило в Церкви, пахло расколом. Бывший полковник Арсентьев служил как раз в мятежной ленинградской епархии. Зная его, нетрудно

предположить, чью сторону он принял. И столь же нетрудно догадаться, что, приняв эту сторону, старый офицер, пусть и принявший монашество, вступил в сражение отнюдь не в арьергарде. Вот, стало быть, откуда такой интерес...

На очередном допросе следователь, белобрысый юнец со змеиным выражением лица предложил Никите подписать бумагу о готовности оказывать ГПУ посильную помощь. Никита отодвинул лист:

— Предлагаете мне работать на вас?

— Предлагаю вам исполнить долг *гражданина*.

— Я далёк от политики и не хочу иметь с нею ничего общего.

— Вам и не предлагают заниматься политикой.

— Да, вы всего лишь предлагаете мне стать доносчиком, — усмехнулся Никита.

— Резко.

— Зато точно. Послушайте, Дмитрий Павлович, я не стану подписывать этой бумажки даже если от этого будет зависеть моя жизнь.

— Вот как? Стало быть, вы не поддерживаете Советскую власть?

— Я поддерживаю власть рабочих и крестьян, так как с уважением отношусь и к тем, и к другим, и вообще к людям труда.

— Так помогите ей!

— Охотно. Если рабочие и крестьяне обратятся ко мне с какой-либо нуждой, я готов соответствовать.

— Иронизируете? — прищурился следователь.

— Ни в коей мере. Я и моя жена...

— Дочь помещика!

— ...и помещицы, старой, больной женщины, которую жестоко убили ваши коллеги, — вспылил Никита, но сразу взял себя в руки. — Так вот, я и моя жена все эти годы ведём жизнь лояльных граждан. И

намерены вести её дальше. Но доносчиков ищите в другом месте.

— Государству мало лояльности. Государству нужна поддержка, нужно соучастие граждан в его делах.

«Сообщничество!» — чуть было не брякнул Никита, но вовремя прикусил язык.

— Я уже сказал вам своё решение.

— Оно неправильно и весьма вредно для вас. Вы понимаете, чем вам грозит отказ помогать нам?

— Тем, что Бог даст, — пожал плечами Никита, не отличавшийся особой религиозностью, но не нашедший лучшего ответа в данной ситуации.

С той поры о нём как будто бы забыли, а первое дыхание весны неожиданно распахнуло перед ним двери тюрьмы. Никто не встречал его, и он спокойно доехал на трамвае до дома, где, наконец, смог обнять жену, разбившую от неожиданности тарелку.

Как и предполагал Никита, Варя употребила все возможные рычаги для его освобождения. Главную же роль сыграла дружба дядюшки Дира с Горьким. Классик молодой советской литературы не только лично отвёл племянницу к бывшей супруге другого классика, которая тотчас отправила соответствующий запрос в надлежащие инстанции, но и сам побывал на приёме у Енукидзе, попросив его помощи. Что и говорить, как ни негодуй по адресу советских литераторов, но весьма полезно иметь таковых в родне.

С жадностью поглощая жирные щи, поданные к столу расторопной Варей, Никита заметил, что жена отчего-то мнётся, словно боится сказать о чём-то, держит камень за пазухой.

— Что-то случилось, Варюшка? — озабоченно спросил Никита.

— Да... — Варя помедлила. — Не хотела расстраивать тебя, но ты всё равно узнаешь. Аделаиду Филипповну убили...

Никита выронил ложку и вскочил:

— Как убили?

Варя промокнула глаза краем фартука:

— Две недели назад. Соседей дома не было. Только одна девушка. Грабители, угрожая ножом, велели ей постучать к Аделаиде Филипповне. А когда та открыла, ударили её по голове.

— А девушка что?

— Её тоже чем-то ударили, но она жива.

— А как грабители оказались в доме?

— Девушка и открыла...

— Ты была на квартире?

Варя кивнула:

— Ничего ценного там, конечно, не осталось. Но фотографии, книги и оставшиеся вещи я забрала. Я и схоронила её... Пришлось одалживать деньги у Ляли.

Никита ударил кулаками по столу с такой силой, что тот едва не перевернулся, а остатки щей расплескались.

— Ненавижу, ненавижу! — выдохнул он. — Я должен пойти туда!

— Зачем?

— Не знаю... Должен...

Так и не доев щей, Никита отправился на Тверскую. Всё в нём kloкотало от бешенства и боли. Генеральшу Кречетову он любил, как вторую мать. Ему казалось, что, если бы он был на свободе, то с нею никогда бы не случилось столь ужасного несчастья, что он бы смог защитить её. В его отсутствие бедная Аделаида Филипповна осталась совсем одна, ей некому было помочь. Её соседи наверняка лишь обрадовались такому исходу! Освободилась долгожданная комната!

Гнев всё более захлёстывал Никиту. В камере, из которой он только что освободился, сидел старик-генерал, молодой студент, бывший чиновник министерства юстиции... Люди кристальной честности.

А разнообразная мразь заполняла улицы Москвы, свирепея год от года. Если «контру» без лишних разговоров отправляли «в расход», то уголовников *перевоспитывали*. Плоды перевоспитания делали всё более невыносимым существование простых граждан. Только недавно отгремело дело банды Васьки-цыгана, наводившего ужас на дачников. Жестокие убийства, грабежи, изнасилования — чего только ни было на счету этих выродков! «Подвиги» их и других бандитов подробно описывались в газетах.

Никогда ещё Москва не знала такого разгула преступности, как в дни торжества передового учения. На демонстрациях в качестве врагов представляли попа, офицера, буржуя, но никак не уголовника, которого «среда заела». Конечно, гражданская война, разруха — среда, которая может заесть. Но какая среда заела выродка, убившего жену и тещу, дабы те не мешали его новому браку? Или чудовище, удавившее и ослепившее, боясь остаться отражением в зрачках, беременную от него любовницу, чтобы скрыть от жены измену? Жутко становилось от процесса вычеловечивания человека, который, казалось, стал необратим.

В сущности, чему было удивляться? Когда в первые годы революции всё те же демонстрации проходили с плакатами «Да здравствует красный террор!», когда пламенные вожди требовали убивать во имя революционной сознательности, когда убийства, грабежи и насилия в отношении «бывших людей» поощрялись и воспевались? Когда царевубийцы гордились своим «деянием», и подлейшие «Известия» лишь год назад восхищались тому, как умело были сокрыты тела — научая мастерству последышей-уголовников? А в подвал Ипатьевского дома водили теперь на экскурсию пионеров — научали убивать

безоружных женщин и детей во имя революционной сознательности?

Но не только в насилии дело... Откуда такая безумная вороватость, бесстыдство явилось в людях? Прежде никому в голову не приходило красть всё, что худо лежит. В стране торжествующего социализма повальное воровство стало естественной нормой жизни. Подобно тому, как человек, переживший голод, прячет под подушку еду, так ныне люди воровали и прятали всё, что попадалось под руку. Воровали из учреждений и магазинов, из домов и трамваев, из сумок и карманов... Наконец, просто с улиц. Умудрились украсть даже два телеграфных столба из сада Голицынской больницы и асфальтовый котёл весом в тонну, находившийся у завода имени «8 марта». Воровство стало не просто пороком, но болезнью, ведущей к самым тяжким преступлениям.

Не раз приходилось волноваться Никите, когда Варя где-то задерживалась по вечерам. Однажды сам задержал воришку-карманника на сухаревском рынке. Но никогда не думалось, что жертвой мрази может стать несчастная Аделаида Филипповна.

До её дома Никита добежал, порядком запыхавшись. На его звонки долго никто не отвечал. Наконец, на пороге появилось потомственно-пролетарское лицо женского пола, которое, дыша перегаром, злорадно известило:

— Чего припёрся, буржуй? Сдохла твоя старая карга! Довольно нашу кровь пила, паразитка!

Никите стоило большого усилия не ответить мерзкому существу доброй оплеухой, и, оттолкнув оное, он вошёл в квартиру, преследуемый бранным визгом. На крики выскочили другие соседи с не менее «приятными» лицам. От их галдежа, от духоты и смрада парившихся на кухне и развешенных в коридоре пелёнок Никите сделалось дурно. Он, однако же,

прорвался в знакомую комнату, где от него в испуге отпрянула простоволосая, полуодетая девица. Здесь уже наводили свои порядки новые хозяева, и от этого стало ещё больнее.

Внезапно на руке девушки Никита углядел знакомое кольцо. Ошибиться он не мог: это было кольцо с руки Аделаиды Филипповны. Никита рванулся к девице и схватил её за руку:

— Откуда у вас это кольцо?! Отвечайте!

Девица истошно завизжала, призывая на помощь. Подскочивший парень набросился на Никиту, и в завязавшейся потасовке он не заметил появления милиционеров. Те же со всей пролетарской сознательностью нанесли ему сзади два крепких удара и потащили к выходу. В дверях, однако, их задержал пожилой крепко сбитый мужичок в штатском:

— Но! Но! Что опять происходит в этой чёртовой квартире?

Милиционеры внезапно выпрямились, взяли под козырёк:

— Да, вот, хулигана задержали, товарищ начальник! Никита вскинул голову:

— Здесь была убита женщина, и у меня есть сведения по этому делу!

— Отпустить, — сделал знак своим подчинённым начальник.

Расправив выкрученные руки, Никита указал на стоявшую поодаль девушку:

— На ней кольцо Аделаиды Филипповны!

Девушка показала руки, изобразила изумление:

— На мне никакого кольца нет!

— Значит, она спрятала его в суматохе! Прикажите её обыскать!

— Вы Громушкин Никита Романович? — осведомился начальник.

— Откуда вы знаете?

— Имел беседу с вашей супругой. Моя фамилия Скорняков. Тимофей Лукьянович. Я расследую дело об убийстве генеральши Кречетовой. Панкратов, — обратился он к одному из милиционеров, — побеседуй тут с гражданкой по поводу кольца, объясни ей, что скрывать краденые вещи не только нехорошо, но и уголовно наказуемо.

— Да он всё врёт! — воскликнула девица, но Скорняков не обратил на её возглас внимания:

— А мы пока с гражданином Громушкиным побеседуем. Следуйте за мной, — кивнул на входную дверь.

Никита был рад покинуть зловонный вертеп и вышел за Скорняковым. На улице тот закурил папиросу и сказал:

— Вы сейчас сделали большую глупость, Никита Романович. Зачем вы пришли сюда?

— Надеялся что-нибудь узнать. Разобраться хотел...

— Органам дознания вы, стало быть, не доверяете?

— Кречетова была дворянка, вдова генерала. А милиция у нас рабоче-крестьянская...

— Поосторожнее в выражениях, — нахмурился Скорняков. — Мерзавец за подобное отправит вас туда, откуда вы только что вышли, а порядочному человеку такое обобщение — незаслуженное оскорбление.

— Простите, не хотел вас обидеть. Вы верите, что я не сочинил про это кольцо?

— Верю. Тем более, что я видел его на руке этой девки неделю тому назад, но не знал, что оно принадлежало вашей знакомой.

— Это они убили её! — воскликнул Никита.

— Соседи?

— Кто же ещё?! Они ненавидели Аделаиду Филипповну!

— Допускаю. Однако, они могут быть просто мародёрами. В городе действует не одна банда

грабителей.

— Зато камеры переполнены честными людьми!

— Это не к нам упрёк, — сухо ответил Скорняков. — Мы занимаемся ворами и убийцами, а политика не по нашей части. Какой чёрт вас дёрнул наброситься на эту стервотинку? Почему бы вам было не прийти и не изложить свои подозрения? Или, может, вы собирались устроить самосуд?

— Я не подумал... Когда увидел у неё кольцо, в голове помутилось.

— Худо, что не подумали. Кольцо — вещь мелкая, его в считанные минуты можно спрятать так, что не отыщешь.

Никите стало стыдно перед этим кряжистым служакой, как будто, в самом деле, не питавшим никаких классовых симпатий и антипатий, чуждым всякой идеологии.

— А что, Тимофей Лукьянович, на задержание хулиганов теперь начальство выезжает? — полюбопытствовал он.

Скорняков прищурился:

— Да нет, хлопчики по вызову приехали, а я сам по себе — прояснить одно обстоятельство. У дверей столкнулись на ваше и вашей жены счастье. Иначе ночевали бы вы сегодня снова не в супружеской постели. Скажите-ка мне лучше вот что: очень близка вам была убитая Кречетова?

— Она мать моих друзей и была для меня родным человеком.

— Стало быть, для вас важно, чтобы убийц нашли?

— Вы ещё спрашиваете?!

— Тише, — Скорняков поправил кепку. — Значит, цели наши совпадают. Я уверен, что здесь действовала банда. Я знаю её почерк. Однако, не исключаю, что кто-то из соседей мог помогать. За этой бандой я охочусь не первый месяц. Но след наметился только сейчас.

Возможно, нам может понадобиться ваше содействие. Готовы ли вы к этому?

Никита насторожился:

— Хотите, чтобы я подписал какую-нибудь бумагу?

— Нет, не хочу, — с усмешкой ответил Тимофей Лукьянович, мгновенно угадав причину вопроса. — Моя цель — поимка банды. Вы в этом можете оказать мне содействие. Если, конечно, захотите.

— Я готов, — решительно сказал Никита. — Если я могу хоть чем-то помочь поимке этих выродков, то только скажите!

В этот момент из подъезда выбежал один из милиционеров, доложил радостно:

— Нашли! Товарищ начальник, нашли!

— Хорошо! — Скорняков потёр руки и ринулся следом за подчинённым.

Никита пошёл было за ним, но Тимофей Лукьянович остановил его:

— Вам там делать нечего. Идите домой, пока не натворили ещё чего-нибудь. А я вас найду, когда вы понадобится.

Немного задетый, Никита, однако же, смирился и, поблагодарив Скорнякова, побрёл обратно, ругая себя за излишнюю горячность и за то, что не удосужился спросить жену, где похоронили генеральшу, чтобы навестить её хоть там, в последнем её пристанище...

Глава 4. В изгнании

Белая Россия провожала своего Героя. Человек без гражданства, генерал без армии, политик, никогда не участвовавший в выборах и не боровшийся за симпатии избирателей, он был гораздо больше, нежели генерал или политик. Он сделался олицетворённой идеей Белой России. Честь и достоинство, вера и верность, мужество и доблесть — он был живым воплощением всех этих качеств. Недаром писала бельгийская «Насьён Бельж»: «Русские люди, оказавшиеся за пределами своей родины, понесли тяжёлую утрату, поскольку генерал Врангель олицетворял для них единство, честь и надежду». Ни одна особа «императорской крови» не могла и близко стать рядом с ним по уровню своего авторитета. Два Великих Князя состязались друг с другом за право считаться наследниками престола Царя, которого оба они предали. Два высочайших труса и себялюбца: один, не решившийся встать на защиту Трона и Отечества, но ожидавший подачки от самозванцев и ими обманутый, другой, лишённый каких-либо наследственных прав покойным Государем и из первых нацепивший красный бант. Оба они чернили своего царственного племянника и кузена, а ещё больше Государыню, но, когда те, очернённые, обвинённые в измене и самых невероятных грехах, приняли смерть в ипатьевском подвале, преспокойно отсиживались за пределами гибнущей России и делили... наследство. Кто бы пошёл за этими ничтожными людьми? Горстка холуёв, столь же глупых, что и они, и оттого рассчитывающих на место в «императорской свите»? Горстка фанатиков, для которых принцип монархизма выше его существования? Советы понимали это и оттого позволяли претендентам

на престол спокойно и с удовольствием предаваться излюбленной забаве всех пустых, никчёмных, но спесивых людей: дележу шкуры медведя, которому никогда не быть убиту.

Белый Рыцарь — дело иное. Хотя в последний год он внешне отошёл от дел, остался в изоляции, ненавидимый великокняжескими партиями, но Советы понимали: этому человеку в нужный час довольно будет просто возвысить свой командный голос и отдать приказ. И тысячи бывших воинов, прозябающих в рудниках, ставших таксистами и половыми, оскорблённых и лишённых всего, сомкнут ряды и двинутся в атаку за своим Вождём. О, сколько сердец жило этой надеждой! Этой безумной грёзой о том, что настанет такой день!

Теперь ему уже не суждено было настать никогда...

Когда пришла тревожная весть о тяжёлой болезни Главнокомандующего, генерал Тягаев побледнел и, едва разжимая губы, проронил одно только слово:

— Добрались!

Петр Сергеевич ни мгновения не верил, что сорокадевятилетний генерал, отличающийся отменным здоровьем, мог вдруг слечь по естественным причинам. К тому же Врангель предчувствовал подобный исход. Незадолго до того он говорил о том, что нужно внимательнее относиться к еде, подозревал возможность отравления. Можно было только удивляться, откуда этот человек, не имеющий не то что своей агентурной сети или охраны, но даже секретаря, который помогал бы ему разбираться с многочисленными письмами, с такой неизменной точностью угадывал всё, что оставалось под покровом тайны для других.

К примеру, как долго удавалось чекистам водить за нос не только Великого Князя Николая Николаевича, но и генерала Кутепова с их соратниками! А попутно ещё

обмануть и ликвидировать террориста Савинкова и одесского еврея, английского шпиона Рейли. Только год назад «монархист» Якушев был разоблачен своим же подельником Опперпуттом, обнародовавшим в прессе подноготную операции «Трест». При этом сам Опперпутт, дабы доказать чистоту собственных помыслов, стал призывать к активным террористическим действиям на территории Триэсерии. Его со всей яростью своей горячей натуры поддержала Мария Захарченко. Дворянка, смолянка, эта женщина в Четырнадцатом году бросила всё и отправилась на фронт — воевать за Россию. И так и воевала с той поры, получая раны и георгиевские кресты за отвагу... Весь крестный путь Белой армии она прошла, не таясь в тылу, но оставаясь на передовой. В эмиграции Мария Владиславовна вошла в руководство РОВС. Отважная и бескомпромиссная, она не ведала страха перед опасностями и не знала пощады к врагам. Ей было тридцать лет, и на организацию Якушева она возложила все надежды, заявив, что, если они не оправдаются, то жить ей незачем. Надежды рухнули, и Захарченко вверилась новому «вождю» — Опперпутту и поехала с ним в Россию. Воевать и погибнуть... Война окончилась неудачным поджогом общежития чекистов на Лубянке, а гибель осталась покрыта туманом: то ли была Мария Владиславовна застрелена при задержании, то ли застрелилась сама.

История с «Трестом» не отрезвила эмиграцию. И Александр Павлович Кутепов так и не внял предупреждениям о Скоблине, которого Врангель отрёшил от командования Корниловцами, заподозрив в измене. Тягаев, проведший тайное расследование, лично докладывал Кутепову о странном покровителе супруги Скоблина певицы Надежды Плевицкой. Покровителем этим был друг Зигмунда Фрейда психиатр Макс Эйтингон. Можно было бы поверить в любовь к искусству немецкого мецената, если бы не

одно «но». Этим «но» был брат Эйтингона Леонид, подданный СССР, промышлявший в Лондоне сбытом советской пушнины и, как следовало из добытых сведений, не только этим... Но Александр Павлович не мог допустить и мысли, чтобы его боевой товарищ, отважный офицер, проливавший кровь за Россию, Корниловец, мог оказаться агентом ГПУ. Такое подозрение казалось ему постыдным.

Врангель со своей исключительной интуицией, казалось, видел людей насквозь. И это делало его ещё опаснее для Советов. Равно как и его вера, воспламеняющая и животворящая другие души. За несколько месяцев до кончины, в первый день своего последнего года он писал в приказе армии: «Ушел еще год. Десятый год русского лихолетия. Россию заменила Триэсерия. Нашей Родиной владеет интернационал. Но национальная Россия жива. Она не умрет, пока продолжается на русской земле борьба с поработителями Родины, пока сохраняется за рубежом готовая помочь в ее борьбе зарубежная Армия... Не обольщаясь привычными возможностями, но не смущаясь горькими испытаниями, помня, что побеждает лишь тот, кто умеет хотеть, дерзать и терпеть, будем выполнять свой долг». Человек, олицетворявший «единство, честь и надежду» (что может быть более грозно для Советов?..), человек, воплощающий Белый Идеал, человек которого нельзя ни запугать, ни купить, ни обмануть, *должен был умереть...*

Трудно было представить, чтобы ещё молодой, полный сил генерал предчувствовал скорую кончину. Однако, некий переворот всё же происходил в его душе. Весь последний год его жизни был как будто неосознанным приготовлением к вечности. Он жил теперь в Брюсселе, где его тёща приобрела небольшой дом. Жить приходилось весьма скромно за неимением

средств. Слуг не держали за исключением денщика. Простота и скромность быта не угнетали Петра Николаевича, но вынужденное бездействие для него, привыкшего к сражениям и работе без устали, стало испытанием. Впрочем, оно же дало время на размышлений о собственном жизненном пути, на переоценку отдельных его моментов. Генерал стал спокойнее, мягче и снисходительнее к людям. Прежде он забывал личные симпатии и чужие просчёты для дела, а теперь стал многое извинять от души. Даже свои воспоминания Пётр Николаевич сократил, убрав большую часть резких оценок, в первую очередь, по адресу Деникина.

Хотя Врангель продолжал внимательно следить за всем происходящим, чётко и ясно оценивая события, руководить небольшой подпольной организацией, состоявший из верных единомышленников, повторять дорогие сердцу идеи, но чувствовалась за всем этим какая-то внутренняя отрешённость. Казалось, что он живёт уже немного над миром. И, может, именно оттого так поразительно ясно видит сущность в оном происходящего.

И, вот, наступила развязка... Генерал Тягаев немедленно выехал в Брюссель, где, преодолевая отчаяние, перво-наперво расспросил домочадцев Главнокомандующего, был ли кто-то посторонний в доме. Сперва они, подавленные горем, растерянно отвечали, что сторонних не было. Но затем вспомнили: аккуратно накануне того, как Пётр Николаевич заболел, у денщика Яши гостил целый день брат. Что за брат? Никто не ведал. Заехал проездом из Триэсерии...

Тягаев только зубами бессильно скрипнул.

Почти сорок дней эмиграция, затаив дыхание, следила за последним сражением генерала Врангеля. Следила и Европа, в которой многие, начиная от высокопоставленных политиков и военных и кончая

рядовыми гражданами, успели проникнуться симпатией и уважением к русскому генералу, к его Делу. Увы, скоротечная чахотка, вызванная, по-видимому, подсыпанным в пищу туберкулином, не тот противник, которого возможно одолеть смертному, даже если он силён и отважен. Пётр Николаевич угасал от сжигавшей его сорокаградусной температуры.

— Меня мучает мой мозг, — измождено признавался он. — Я не могу отдохнуть от навязчивых ярких мыслей, передо мной непрерывно развертываются картины Крыма, боев, эвакуации... Мозг против моего желания лихорадочно работает, голова все время занята расчетами, вычислениями, составлением диспозиций... Меня страшно утомляет эта работа мозга. Я не могу с этим бороться... Картины войны все время передо мной, и я пишу все время приказы... приказы, приказы!

До последнего часа все мысли его были обращены к России. «Я готов служить в освобожденной России хотя бы простым солдатом...», — говорил генерал. Он сознавал, что от этой болезни ему не суждено подняться, отдавал последние распоряжения, причастился Святых Тайн... Его последними словами были: «Я слышу колокольный звон. Боже, храни армию!»

Европейские газеты откликнулись на скорбную весть некрологами, в которых отдали дань ушедшему Рыцарю. «Благодаря личному обаянию, благородству стремлений, безупречной репутации и нескончаемой энергии он заслужил восхищение армии и простых людей от Каспия до Украины. Военные успехи он подкрепил демократическим, но твёрдым гражданским правлением, в котором проявил то же стремление к реформам и заботу о простых людях...» — отмечала «Дейли телераф». Ему вторила «Таймс»: «Это был выдающийся человек. Вспомним добрым словом храброго офицера, верно служившего делу союзников,

и главнокомандующего, который потерпел поражение только из-за трагического стечения обстоятельств». В русских храмах и домах — от Парижа и Берлина до шахтёрских городков Бельгии и Франции, от Софии и Белграда до балканских деревушек — прошли поминальные молитвы... Армия лишилась сердца. И всего пронзительнее написал об этом в своей предсмертной записке застрелившийся офицер: «Для меня его смерть означает конец всего, надежды вернуться в Россию больше нет».

Когда бы ни неусыпная забота Евдокии Осиповны, может статься, что и генерал Тягаев поступил бы также. Во всяком случае, именно эту мысль прочёл Родион Аскольдов на его почерневшем, состарившемся, ещё более исхудалом, чем обычно, лице, когда он возвратился с похорон Главнокомандующего. Её же, по-видимому, с испугом прочла Евдокия Осиповна и опрометью бросилась следом за мужем, успев пройти за ним в его кабинет прежде, чем он захлопнул дверь.

— Оставь меня, пожалуйста, Дуня, — глухо сказал генерал, трясущейся рукой закуривая папиросу. — Я должен побыть один.

— Нет, — ответила она, — я тебя не оставлю. Слышишь? Я не отойду от тебя ни на шаг, пока твоё лицо перестанет быть таким страшным, как сейчас.

Тягаев медленно прошёл к окну и вдруг согнулся вполювину, словно пронзённый насквозь, простонал хрипло:

— Господи, ну, почему же он? Лучше бы я лишился второй руки и остался слеп! Лучше бы... я замёрз в тайге... Зачем я живу? Если нет Врангеля? Нет Каппеля? Они ушли с одними и теми же словами на устах: «Боже, спаси армию!» Они ушли... И теперь никого нет, кто обязан был жить и вести за собой! А я — жи-ву! Проклята такая жизнь!.. — он не мог больше говорить, содрогаясь всем телом от разрывающих грудь рыданий.

Евдокия Осиповна подхватила мужа под руку, усадила в кресло, прижала его голову к своей груди, заговорила торопливо:

— Не смей, не смей так говорить! Слышишь? Никогда не смей! Если бы тебя не было, то и я бы не жила. Неужели ты хочешь моей смерти? Ты... всё, что у меня есть!

Пока она говорила, пытаюсь успокоить Петра Сергеевича, Родион бесшумно скользнул к письменному столу, вынул из него револьвер и спрятал за пояс. Евдокия Осиповна поблагодарила его блестящими от слёз глазами.

Между тем, Тягаев овладел собой и поднял голову. Протерев стёкла очков, он проронил безнадежно:

— Кончено... Теперь уж точно кончено. Бог проклял Россию и нас и поэтому отзывает всех, кто способен был что-то сделать. Император Александр, Столыпин, Корнилов и Марков, Каппель... А теперь... — Пётр Сергеевич закурил папиросу. — Значит, нет надежды.

— Надежда есть всегда, — тихо сказала Евдокия Осиповна. — Самый отчаянный грешник может покаяться и по милости Божьей стяжать святость. И Россия может.

— Может-то она может, — согласился Тягаев. — Только не захочет. Оглянись кругом, Дуня! Наша эмиграция наводнена агентами ГПУ. И если бы только политическая её часть! Там сплошь деятели известного рода. Но армия! Армия наводнена ими же! Бывшие офицеры идут на службу ГПУ! А ведь это, Дуня, отнюдь не худший материал нашего Богом отвергнутого народа! Это люди, сражавшиеся за Отечество, имевшие идеалы! Если они столь гнилы, то что ждать от других? От тех, кто ежесекундно отравляется гнусной пропагандой Триэсерии? Они ли раскаются и стяжут себе святость? Единственное, что они могут себе стяжать — это иудину петлю!

— Если люди так легко предают свои идеалы, значит, идеалы эти были слишком... недостаточны, — заметил Родион и по памяти процитировал строки Ивана Савина:

— Дурман заученного смеха
И отрицанья бред багровый
Над нами властвовали строго
В нас никогда не пело эхо
Господних труб. Слепые совы
В нас рано выклевали Бога.

И вот он, час возмездья черный,
За жизнь без подвига, без дрожи,
За верность гиблому безверью
Перед иконой чудотворной,
За то, что долго терем Божий
Стоял с оплеванной дверью!

Россию, Пётр Сергеевич, сгубила, в первую очередь, духовная болезнь. Расслабленность, безбожие... Но носителями этой болезни были отнюдь не только большевики. Поэтому она расцвела и в России, и здесь. Даже самые прекрасные идеалы, не имеющие глубокого духовного фундамента, оказываются призрачны. И человек, поражённый такой болезнью, по каким-то причинам разочаровавшийся, потерявший свой идеал, отличавший его от других больных, устремляется к подобным себе. К тем самым другим больным. К большевикам.

— Большевики, однако же, продолжают кадить своему истукану.

— Так ведь их истукан пока что набирает силу, насасываясь крови. Но, как только он начнёт слабеть,

его поклонники изумят всех полным отсутствием каких-либо идеалов.

Тягаев помолчал. Его страдальческое лицо нервно подрагивало.

— Колокольный звон... — произнёс он негромко. — Его должна была встречать колокольным звоном Москва. А в итоге встретили там... А Москва... Мне последнее время всё чаще она снится, Аскольдов. Улицы моего детства... До мельчайших подробностей! Я и не думал, что так хорошо их помню. Каждую лавку, церквушку, дом — вслепую бы отыскал! И всё это утрачено навсегда, недостижимо. Или, может, очертя голову, броситься в омут? А, Родион Николаевич? Пройтись по матушке-Москве да и сгинуть на Лубянке! Жизнь, воистину, копейка, так к чему и жалеть её?

— Не смей! — строго повторила Евдокия Осиповна.

— Прости, — Пётр Сергеевич поднёс её руку к губам.

Грёзами о Москве генерал, сам того не зная, задел чувствительные струны в душе Родиона. Схожая мысль не раз уже посещала его, а с кончиной Главнокомандующего — стала точить.

Сбежав из соловецкого ада в Европу, он и представить себе не мог, что душа его вновь замутится химерой возвращения. Но так и случилось. Европа с каждым днём всё больше раздражала его. Эмиграция — ещё больше. При жизни Врангеля была надежда если не на возвращение и победу, так хоть на некую осмысленную деятельность здесь, которая и начиналась же в сколачиваемой подпольной организации. Теперь этой надежды не стало. Так для чего же Европа? Вернее сказать, для чего он, Родион Аскольдов — в Европе? Только для спасения своей драгоценной жизни от большевиков? В таком случае, стоило бы отправиться куда-нибудь в Мексику или Канаду — подальше от большевистской Москвы и сменовеховского, политиканствующего Парижа. Но это

ничего не изменит. В Канаде, в Мексике или в Австралии — везде он будет ни к чему, ни для чего. Нигде нет у него настоящего дела, нигде нет человека, которому он был бы нужен. Разве что... в России? По каналам Международного Красного Креста Родион смог узнать, что сёстры его живы. Вот только, спустя столько лет, нужен ли он им со своим послужным списком?..

Год тому назад Родион имел надежду обрести смысл своего существования на чужбине. Им могла стать Наталья Фёдоровна. Эта прекрасная женщина была создана природой для самой возвышенной, поэтической любви. Всегдашняя печаль шла ей, придавая благородной её красоте особую глубину и утончённость. Родион восхищался Натальей Фёдоровной с момента знакомства. Не раз выпадало ему счастье сопровождать её во время прогулок или похода за покупками. Немало времени возился он с её сыном, смышленным мальчуганом, которого дядя-генерал определил в кадетский корпус. Наталья Фёдоровна была с ним приветлива и доверчива, как с давним другом, с которым можно обращаться запросто.

Но стоило попытаться самую малость сократить установленную меж ними дистанцию, как муза в испуге отшатнулась:

— Дорогой друг, я всем сердцем благодарна вам за ваше отношение, но умоляю вас оставить всякую мысль о возможности чего-то большего между нами... Прошу вас, не обижайтесь! Мне было бы нестерпимо больно лишиться вашей дружбы.

В голос её звучала мольба, глаза увлажнились. Женщина из поэтических грёз века девятнадцатого, она покоряла своей беззащитностью и ранимостью. Родион обезоружено развёл руками:

— Ваше слово для меня закон! Простите мою бестактность.

В самом деле, глупо было и начинать... Такой женщине немыслимо было предложить интрижку, положение возлюбленной, а только замужество. Но Родион не имел точных сведений о судьбе жены...

Он невольно завидовал Тягаеву, их отношениям с Евдокией Осиповной. Пожалуй, найдись такая женщина и для него, и можно было бы сквозь пальцы смотреть на всю гнусность эмигрантского существования. Хотя... Ни Наталью Фёдоровну, ни кого бы то ни было ещё Родион не смог бы полюбить с той силой, с какой любил свою жену генерал. Не смог бы оттого, что это чувство пришло в его сердце много лет назад и с той поры так и не угасло. И в глубине души не только о судьбе родных жаждал узнать Родион, но и о судьбе той, которую он пытался забыть все эти годы, но безрезультатно.

Оставив Петра Сергеевича наедине с женой, Родион прошёл к себе, улёгшись на кровать, взял с тумбочки недавно присланную из Финляндии книгу. Иван Савин, «Ладанка». Книгу эту прислала ему вдова Ивана Ивановича в память о муже, которому отпущен был на этой страшной земле краткий лермонтовский век. Поэт-страстотерпец окончил свою мученическую жизнь чуть меньше года назад в больнице, где ему неудачно сделали операцию. Все свои силы, жар души и талант он отдал России, исполнив своё высшее предназначение, ради которого Господь сберёг его в большевистских застенках... Родион преклонялся перед тем, как, несмотря на страдания, Савин продолжал любить Россию, веровать, надеяться на ее возрождение. «Только тогда, в те голгофские годы, я почувствовал в себе, осязал и благословил камень твердости и веры, брошенный мне в душу белой борьбой», — какую невероятную силу и высоту духа нужно иметь, чтобы говорить так после всего пережитого!

За полтора года белая Россия потеряла своего первого певца и своего вождя. Зияющие пустоты

образовались на их месте, и их ничем невозможно было заполнить. В самом деле, к чему цепляться за жизнь, если она пуста до отвращения? Не лучше ли ещё раз сыграть в русскую рулетку? Не в неё ли играла бедная Мария Владиславовна? Не та же ли самая пустота заставила её решиться на отчаянный шаг? Что ж, она, как и мечтала, погибла в бою...

Смерть давно перестала быть страшна. Однако, кроме смерти есть СЛОН. Вот, куда нельзя попасть вновь ни при каких обстоятельствах. Но если иметь под рукой пистолет или яд, то такого исхода нетрудно избежать. И не придётся год за годом сходить с ума в безопасной безысходности европ и америк...

Родион отогнал от себя растревоженные Тягаевым мысли и, раскрыв на первой попавшейся странице «Ладанку», стал читать:

Он душу мне залил мятелью
Победы, молитв и любви...
В ковыль с пулеметною трелью
Стальные летят соловьи.
У мельницы ртутью кудрявой
Ручей рокотал. За рекой
Мы хлынули сомкнутой лавой
На вражеский сомкнутый строй.
Зевнули орудия, руша
Мосты трехдюймовым дождем.
Я крикнул товарищу: «Слушай,
Давай за Россию умрем».
В седле подымаясь как знамя,
Он просто ответил: «Умру».
Лилось пулеметное пламя,
Посвистывая на ветру.
И чувствуя, нежности сколько
Таили скупые слова,
Я только подумал, я только

Заплакал от мысли: *Москва...*

Глава 5. Покаяние

Служба уже подходила к концу, когда Александр Порфирьевич нерешительно переступил порог маросейского храма и тотчас поймал на себе несколько укоризненных старушечьих взглядов. Припомнилось из детства, как отчим всегда отчитывал тех, кто опаздывал на литургию или же уходил раньше её окончания. «Неблагодично!» — говаривал в таких случаях старик.

Замётов решил обождать в притворе, чувствуя себя неуютно в храмовых стенах. В церкви он не бывал с детских лет. Пока жив был отчим, подчинялся и ходил с ним на службы, внутренне приходя в бешенство от бездарности подобного времяпровождения. В переплёт молитвослова он приспособился вставлять сочинения Чернышевского, Маркса, Ницше... Проскальзывали между ними и произведения более чем фривольного содержания, при чтении которых юный гимназист чувствовал лихорадочный жар и, прерываясь, раздражал воображение бурными фантазиями. Знал бы об этом богомольный старик! Верно, прибил бы. Но ему не суждено было узнать.

Когда отчима не стало, Александр исполнил давнишнюю злую мечту: сразу после причастия отправился в кабак и, потребовав там себе «крови Христовой», напился до выворачивания кишок. После этого кощунственного деяния нога его не переступала порога храма. Даже с Аглаей венчался он на дому, мотивировав это нежеланием, чтобы узнали товарищи по партии. На предшествующей венчанию исповеди Замётов, само собой, толком ничего не рассказывал, отделавшись общими фразами: не хватало ещё пускаться в откровенности с полуграмотным попом!

Но, вот, несколько дней тому назад внезапно слегла Аглая. Болезнь, начавшаяся, как обычная простуда, и, как таковая, пренебрегаемая, переросла в двухсторонний крупоз. Сосед-доктор, осмотрев её, был крайне обеспокоен и заявил, что больной нужна немедленная госпитализация. Но Аглая, ещё находясь в сознании, запротестовала, потребовав сначала позвать священника, чтобы он приобщил её Святых Тайн. Доктор считал промедление опасным, но она ничего не желала слушать.

Делать было нечего, и Александр Порфирьевич отправился на Маросейку, куда в последнее время ходили жена с дочерью. Любого попавшегося попа Аглая также не желала видеть, а требовала, чтобы пришёл именно отец Сергей.

Службы в ту пору не было, батюшка находился у себя на квартире. Дверь Замётову открыла матушка, добродушная, милая женщина с участливым, ласковым взглядом. Из-за её подола высывались две детские мордочки, в комнатах резвилось ещё несколько малышей.

— Нешто все ваши? — спросил Александр Порфирьевич, отвлекшись от своего дела.

— Нет, — мягко улыбнулась матушка. — Женщины в нашем приходе работают и приводят деток ко мне для пригляда. А вы проходите! Батюшка сейчас к вам выйдет!

Замётов так и не двинулся дальше прихожей, чувствуя пронзительное покалывание в сердце, но ещё не собравшись с мыслями, чтобы истолковать его причины. Через несколько минут показался сам отец Сергей, ещё молодой священник, лёгкая полнота которого сочеталась с болезненностью бледного лица с крупными, в тёмных обочьях глазами.

— Чем могу помочь вам?

Александр Порфирьевич торопливо изложил свою нужду, томимый желанием скорее уйти из этого дома, словно что-то гнало его отсюда.

— Сейчас буду, — коротко кивнул батюшка и, действительно, был готов минут через десять. Дети выбежали провожать его. Отец Сергей перекрестил их, и его и без того печальное лицо затуманилось ещё большей тоской.

До дома добрались в почти полном молчании. А, когда после исповеди и причастия больной, Замётов, поразмыслив, решил всё-таки дать батюшке на прокорм семейства (как-никак всякий труд должен вознаграждаться), тот резко и категорически отказался:

— Причастить больную — мой долг. И денег за это я не возьму. Истратьте их лучше на лечение жены.

— По крайней мере, возьмите хоть на извозчика...

— Благодарю, не нужно.

Когда отец Сергей ушёл, Александр Порфирьевич подумал, что Аглая наверняка рассказала ему, что было между ними, и оттого батюшка попросту побрезговал взять из его рук деньги. От этой мысли стало особенно тошно.

Впавшую в бесчувственность Аглаю отвезли в больницу, доктор честно признал, что положение крайне серьёзное, и он ни за что не ручается. От этих слов Замётова обдало холодом и, уйдя к себе, он застонал, как раненый зверь. Эту женщину он не раз хотел убить сам, не раз представлял себе, как убивает её, но угроза её ухода привела его в неопишное отчаяние. Жизни без неё не существовало, не могло существовать, потому что сама она, принёсшая ему столько терзаний, и была его жизнью.

Хотя всё разрешается легко... Одна пуля, один выстрел в висок — и больше никаких страданий, всё закончится в один миг. Или?.. Пронеслись перед

глазами образы матери и отчима, и молодого батюшки с болезненным лицом. В комнате Ани и сейчас, должно быть, лампада теплится. Аглая всегда заправляла и зажигала её, научив тому и девочку.

Замётов осторожно встал и, чуть приоткрыв дверь, заглянул в соседнюю комнату. Аня была не одна. С нею делили горе её задушевный друг Петруша с матерью. Дети стояли на коленях, а женщина — впереди них, в полный рост, чтобы свет лампы освещал небольшую книгу, которую она держала, читая вслух. Замётов не мог определить, что именно читает Надежда Петровна: акафист ли, канон ли. Её негромкий голос распевно проговаривал стихиры, а дети частили вослед «Господи, помилуй!» или «Слава Отцу и Сыну...» Молились о здравии болящей...

Александр Порфирьевич отошёл к окну и закурил. Или... Конечно, верить в Бога в век науки и технического прогресса — это чистое безумие, но... Ведь взять, скажем, Менделеева. Уж на что учён! На что голова! А ведь — *верил*... А Паскаль? А сам Дарвин, наконец? Ярко светились звёзды на ледяной глади зимнего неба, но нисколько не желали раскрыть тайну.

Или! Вспомнилось, как так же, как теперь Аня, елозил он на коленках у образа вместе с матерью, а отчим скрипуче вычитывал стихиры по толстенной книге, самым им переплетённой. Как ненавидел он этот скрипучий голос, эти нелепые славянизмы церковных текстов — всё, решительно всё!

И ещё отчётливее припомнилось — изблёванное с вином и водкой причастие. Словно вчера только было... И зачем такую глупость вытворять понадобилась? Даже если и нет никакого Бога.

Снова переметнулись мысли к отцу Сергию. Отчего-то не могло называть этого молодого священника попом, и на ум невольно приходило непривычное, почти стыдное — батюшка. Говорили о нём, как об учёном

человеке, философе и медике одновременно. Такого не обзовёшь полуграмотным попом...

Всколыхнулся давнишний укол. Вот, оказывается, отчего так тяжело было на квартире отца Сергия: от уюта и чистоты, в ней царящего. От той простосердечной открытости, с которой смотрела матушка, не подозревая в госте дурного. От возни и смеха малышни... От того, наконец, как жена и дети смотрели на мужа и отца, как провожали его.

Кабы так жить!.. Замётов тускло оглядел погружённую в темноту комнату, представил играющих детей, хлопчущую Аглаю. Вот, оказывается, каково лицо счастья, счастья, которого ему, Александру Порфирьевичу, не видать никогда. Никто не протянет к нему пухлых ручонок с лепетом «папа!», никто не проводит и не встретит ласковым взглядом. А как же хочется этого! Вся душа в тугой узел скручивается от тоски по простому человеческому теплу, по взгляду участливому.

И что за собачья жизнь вышла... Только одно единственное существо и любило его — мать. Только от неё и видел настоящую ласку. А от прочих — или безучастие, или презрение, или насмешка, или — ненависть. Ежедневно читать пусть и глубоко затаённую, скрытую, подавленную, но всё же неизбывную ненависть в глазах любимой до безумия женщины, собственной жены — это особого рода мука!

Правда, ещё одно существо всё же относится к нему с теплотой, пожалуй, даже привязано к нему. Дочь ненавистного соперника... Девочка, которая в это мгновение — единственная, кто в полной мере разделяет его отчаяние и страх за женщину, которую считает своей матерью.

Замётов снова на цыпочках подошёл к двери и заглянул в соседнюю комнату. На этот раз чуткая Аня

заслышала шорох, оглянулась и бросилась к нему, воззрилась заплаканными глазами:

— Дядя Саня, ведь мама не умрёт, правда?

— Конечно, она скоро поправится, — откликнулся Александр Порфирьевич.

Девочка прильнула щекой к его руке, и Замётов закусил губу, чувствуя, как защемило сердце. Подошла и мать Петруши, ещё молодая, приятная женщина.

— Александр Порфирьевич, не нужно ли вам что-нибудь? Не хотите ли чаю? Вы можете рассчитывать на меня, если что-то потребуется по хозяйству в отсутствие вашей жены. И за Аней я присмотрю.

Она говорила с неподдельным участием, и Замётову вновь сделалось тошно. Знала бы эта милая женщина всю историю их отношений с женой... Содрогнулась бы и руки не подала, побрезговала бы, как отец Сергей. С этакой-то проказой словно от людей отрезан стал. Болью своей не поделишься — сочтут извергом и отшатнутся с гадливостью от вскрывшейся грязи, чтоб не запачкаться. Выходит, живи, затаив в себе всё, что нестерпимо болит... Как в одиночном заключении, хоть и среди людей.

На другой день Александр Порфирьевич и сам не заметил, как ноги привели его к маросейскому храму. Не сразу решился он переступить порог, а сперва долго бродил вдоль улицы, пытаюсь разобраться, зачем, собственно, пришёл, урезонить себя. Из больницы сообщили, что предстоящая ночь станет решающей. Если больная переживёт её, то есть надежда на лучшее. О худшем думать не было сил...

Когда служба кончилась, к батюшке стали по очереди подходить люди. С кем-то он говорил подолгу, с другими — наскоро. Время утекало, и Замётов, озлобясь, собрался уходить. В этот момент отец Сергей неожиданно сделал знак своей прихожанке подождать

и, быстро пройдя через храм, подошёл к Александру Порфирьевичу:

— Вы очень спешите? Обождите, пожалуйста. Я скоро освобожусь.

Замётов был сильно удивлён таким вниманием, полагая дотоле, что батюшка вовсе не видел его.

— Если хотите, можете пройти ко мне на квартиру и обождать там.

— Нет-нет, благодарю. Я лучше здесь... — пробормотал Александр Порфирьевич.

— Тогда посидите там, — кивнул отец Сергей на лавочку у стены храма. — Я освобожусь и подойду.

Замётов нерешительно последовал приглашению и стал ждать.

Батюшка освободился через четверть часа. Он заметно устал. Несмотря на прохладу, царившую в церкви, на лбу его выступила испарина. Глаза при этом казались ещё выразительнее.

— Итак? Что вас привело ко мне? — отец Сергей сел рядом. В опустевшем храме его голос звучал гулко, отражаясь эхом от стен.

— А вы, Сергей Алексеевич, не догадываетесь?

Такое обращение, по-видимому, нисколько не удивляло батюшку. За десять лет советской власти священники успели привыкнуть к именованию их помирскому.

— Ваша жена ведь жива? — без тени сомнений уточнил отец Сергей.

— Пока да...

— В таком случае, догадываться я не могу. Я ведь не цыганка.

— Моя жена вам разве не рассказала обо мне?

— На исповеди обычно говорят о себе.

— Так что же она сказала?

— Это тайна исповеди.

— Ах да... — Замётов наморщил лоб. — Но можете ли вы сказать мне одно только: она говорила что-либо обо мне? Только «да» или «нет»?

— Ваша жена ничего не говорила о вас. Она говорила только о своих согрешениях.

— Не может быть... — озадаченно произнёс Александр Порфирьевич.

— Вы только за этим пришли?

— Н-нет...

Замётов поднял глаза на священника. Молодой ещё... Не монах, конечно, но и от мира в нём малость лишь. И перед ним-то срамоту свою разоблачать? Разве ж поймёт такой? Он и знать, поди, не знает, что такое страсти человеческие... И даже жаль его как будто. На его чистую душу грязь свою переливать, смущая её. К чёрту, что ли, послать?

Или же?.. Или же наоборот выплеснуть всё? Как-то тогда этот святоша поглядит да разговаривать станет? Пожалеет, небось, что позволил порог храма переступить? Так рассказать же! Пусть содрогнётся! От этой мысли сердце наполнило злорадство: пусть, пусть возмутится духом! Так оно и надо! Не привыкать Замётову к презрению — он ему посмеётся только!

— Стало быть, жена вам ничего не рассказала... Ну, так я расскажу! А вы послушайте, Сергей Алексеевич, если терпения вам достанет!

И Александр Порфирьевич стал рассказывать отцу Сергию всю свою жизнь. О детстве упомянул он кратко, остановившись лишь на изbleвании причастия, но последующее живописал, не опуская ни единой подробности, не стараясь подбирать приличных выражений. Своё главное преступление Замётов описал в красках, до того детально вспомнил, точно пережил вновь ту ночь. Рассказывая о содеянном насилии, он неотрывно смотрел на отца Сергия, ожидая, что тот, наконец, прервёт его и изгонит прочь. Но батюшка

молчал. Только живое страдание наполняло его глаза, всё лицо.

По ходу повествования Александр Порфирьевич чувствовал, как изначальная злоба оставила его, уступив место одной только боли и, наконец, раскаянию. Это было вызвано ещё и тем, как спокойно и смиренно слушал его молодой священник.

Кончив рассказ, Замётов ощутил полное изнеможение сил. Всё ещё подозрительно относясь к «служителю культа», он спросил с деланной едкостью:

— Что скажите, отче? Вот, каков человек перед вами сидит! Насильник и развратник! Лютый зверь и изверг! А вы ещё чем помочь спрашивали! Что ж вы молчите теперь? Брезгуете и слова такому негодяю сказать?

— Я теперь молиться о вас буду, чтобы Бог вам простил содеянное вами зло, — тихо сказал отец Сергей, и в тоне его не было ни йоты негодования или презрения, что поразило Замётова. — А вы, — с твёрдостью продолжал священник, — не должны отчаиваться. То, что вы совершили, страшно. Но Бог способен простить всё за единую слезу покаяния. Разбойник на кресте покаялся и первым вошёл в Царство Небесное. Это всем нам назидание в том, что исправиться никогда не поздно, доколе мы живы. А вы к тому же так страдали сами! Вы делали зло другим, но сжигало и сжигает оно вас самого. Страшную вы муку принимаете... И ваше покаяние... Нужно большое мужество иметь, чтобы так рассказать всё, не тая ничего. Иной ведущий жизнь подобающую по гордости на исповеди мелочь утаивает, лукавит, стыдясь священника, а вы такую бездну раскрыть не побоялись. Благослови вас Господь на новом пути! Первый и самый трудный шаг вами сделан, дальше станет легче, и душа ваша постепенно начнёт выздоравливать. Только не останавливайтесь!

— Отец Сергей, — не повернулся язык на сей раз гражданским порядком обратиться, — я ведь, сюда идя, не знал даже, верю ли сколь-нибудь в Бога.

Батюшка чуть заметно улыбнулся краешками губ:

— Да ведь Он вас за руку вёл сюда! Вы сюда по Его зову и Его милосердию к вашим мукам пришли!

Это было сказано с такой уверенностью, что Александр Порфирьевич почти согласился.

— А я думал, отче, вы, не дослушав, меня вон прогоните. Неужто не мерзко вам рядом с таким человеком, как я, находиться? Говорить?

— С человеком всегда говорить надо. Когда я только начал служить, то бывал очень строг к людям. Я желал соблюдения порядка во всём вплоть до мелочей, не сообразуясь со сложностью каждого отдельного человека, жизни... Так однажды своим законничеством едва не отвратил от церкви страждущую душу. Отец был тогда ещё жив и урезонивал меня. Он-то как раз был чужд бездушному «порядку», не пытался в него укладывать живых людей. Потому что в каждом человеке видел человека со всеми его крайностями, несообразностями, страстями. И в каждом видел образ Божий. И меня он этому учил. Надеюсь, не совсем впустую.

— А что, часто ли вам подобную грязь выслушивать случается?

— Случается и худшее выслушивать...

— Трудная, выходит, служба у вас, — задумчиво произнёс Замётов. — Если этак от каждого выслушивать, то и самому недолго душой расстроится. Как вы выдерживаете...

— Так ведь Господь помогает.

— Ах... Ну, да...

На прощанье отец Сергей благословил Александра Порфирьевича, наказал приходить на службу и добавил:

— Жена ваша поправится, но вы впредь не должны причинять ей ни малейшей обиды, должны смирить себя.

Замётов ничего не обещал, пребывая в состоянии растерянном и потрясённом. Когда он переступил порог квартиры, навстречу ему тотчас выбежала радостная Аня, известила счастливо:

— Маме лучше стало!

Вышедшая следом Надежда Петровна подтвердила:

— Доктор заезжал. Сообщил, что Аля пришла в себя. Жар резко спал, и ей много лучше. Доктор сказал, что с точки зрения медицины, это практически чудо.

При слове «чудо» Александр Порфирьевич вздрогнул. Вспомнилось тихое, вкрадчивое последнее обетование и наставление священника: «Жена ваша поправится...» Это, стало быть, в те самые минуты она в себя пришла?.. На лбу Замётова проступил пот. Значит, всё-таки «или»? И если так, то и наказ отца Сергия выполнить надлежит? Совсем замутился ум, замер перед непостижимой Тайной.

Глава 6. Одиночество

Никогда ещё эта лестница не казалась Лидии столь длинной. Никогда не спускалась она по ней так медленно, точно щупая и запоминая стопой каждую ступеньку. Никогда не прятала глаз от встречных, зная, что точно так же прячут их в землю они, и не желая видеть этого.

Хотя лишение избирательных прав действовало в СССР с первых лет его существования, Лидии отчего-то наивно казалось, что её семью эта чаша минет. Ведь не было в оной ни офицеров, ни промышленников, ни землевладельцев. Даже громкого титула не носил никто. Любопытно, сколько наивных полагало также до этого, 1928 года, когда власти, вдохновляемые Губельманом-Ярославским, начали проводить повсеместные чистки, и лишение прав обрело должную массовость. И в одночасье выяснилось, что отец профессора Кромиади занимал высокий пост в ведомстве юстиции, что сам Аристарх Платонович — монархист и реакционер. В сущности, надо благодарить Бога, что дело ограничилось лишением прав, и отца даже не арестовали. А ведь могли — было бы желание...

Разумеется, дочь лишенца, автоматически переходящая в ту же категорию, не могла больше преподавать в школе имени Льва Толстого. Её не выставляли к позорному столбу, как многих, ей сочувствовали другие педагоги, её даже пытались отстоять, боролись не одну неделю, надеясь дотянуть хоть до конца учебного года... Но, когда директора Дарского сменил коммунист Резник, положение сделалось безнадёжным. И не только для Лидии. Резник взялся за чистку с бешеным энтузиазмом, написав донос в райком едва ли ни на большую часть

преподавателей, оказавшихся выходцами из «не тех сословий». Реакция не заставила себя ждать...

Первый раз Лидия поднималась по этой лестнице много лет назад — девочкой гимназисткой с длинной смоляной косой, в которую была вплетена белая лента. Тогда школа была женской гимназией, носившей имя супругов Алфёровых, основавших её в 1896 году. Гимназия сперва размещалась на Арбате, а затем переехала сюда, в Ростовский переулок в специально построенное трёхэтажное здание.

По подбору педагогов, организации обучения и составу учащихся гимназия заметно выделялась в Москве, считалась одной из лучших. Здесь обучались дочери состоятельных, родовитых и известных родителей. Среди прочих — сёстры Голицыны и Гагарины, дочери Шаляпина и Нестерова, Марина Цветаева... На здешних воспитанницах всегда лежал какой-то особенный отпечаток: их узнавали не только по синим беретам, но по манере держать себя. Алфёровскую гимназию сравнивали с не менее знаменитой мужской гимназией Флерова в Мерзляковском переулке. Мальчики-«флеровцы» были ориентированы на естественные науки, а девушки-«алфёровки» получали серьёзное гуманитарное образование. Главными предметами были литература и история.

Литературу преподавал сам директор, Александр Данилович Алферов, которого Лидия очень любила. Это был лёгкий, приветливый, симпатичный человек, преданный своему делу, понимающий и любящий детей. На школьных праздниках именно он задавал тон, водил хороводы вокруг ёлки на Новый год с младшими, ничуть не боясь «уронить авторитет». Александр Данилович высоко оценивал способности Лидии, в старших классах подробнейшим образом разбирал с нею её сочинения.

Его жена, Александра Самсоновна была женщиной более строгой, хотя, возможно, Лидии так казалось оттого, что преподаваемая Алфёровой математика давалась ей куда хуже литературы.

В целом, отношения между учениками и учителями были доброжелательными и доверительными. Юные гимназистки могли без стеснения задавать волнующие их вопросы о вере, об учении Толстого и многом другом, спорить о вопросах социальных и политических. Алфёровы, будучи людьми либеральных убеждений, придерживались мнения, что их подопечные должны учиться мыслить самостоятельно, быть внутренне свободными. Не внешние правила прививались в их заведении, но глубокая воспитанность, такт, самостояние и самодостаточность, как естественное состояние, не на уровне мысли, но на уровне внутреннего инстинкта. Гимназия недаром славилась своими учителями. Все свое время, все силы, всю энергию они отдавали детям, стремясь воспитать просто хороших людей.

Супругам Алфёровым, искренне приветствовавшим падение монархии, суждено было оказаться среди первых жертв ненасытного молоха под названием большевизм. Зимой 1918/19 года за ними пришли и увели под конвоем. А вскоре осиротевшие учителя и гимназистки прочли в газетах их фамилии в списке расстрелянных. Ни следствия, ни суда не было, позже выяснилось, что педагогов расстреляли по ошибке, перепутав с однофамильцами. Александра Самсоновна Алфёрова написала в тюрьме письмо-завещание: «Дорогие девочки! Участь моя решена. Последняя просьба к вам: учитесь без меня так же хорошо, как и при мне. Ваши знания нужны будут Родине, помните постоянно об этом. Желаю вам добра, честной и интересной жизни».

Ореол мученичества вокруг супругов Алфёровых с годами не тускнел в покинутой ими гимназии. Новые поколения учеников продолжали с благоговением хранить память об этих благороднейших людях. Их дух словно продолжал жить в родных стенах, оберегая прежнюю атмосферу, руководя служившими вместе с ними и пришедшими позже учителями.

Когда одного из них, крупнейшего русского педагога Василия Порфирьевича Вахтерова, многолетнего председателя Российского союза учителей и автора нескольких хрестоматий и учебников, Луначарский пригласил работать в Наркомпрос, тот ответил, что не может сидеть за одним столом с теми, у кого «руки в крови».

Это высокое чувство собственного достоинства и долга отличало практически всех педагогов Алфёровской гимназии. Большею частью то были одинокие женщины, посвятившие всю жизнь просвещению юных душ. Таковы были три сестры Золотаревы — Маргарита, Лидия и Людмила Ивановны. Первая режиссировала школьные спектакли, вторая преподавала рисование, третья учила младшие классы. До революции сёстры имели свой детский сад, в котором обучали иностранным языкам, и откуда дети поступали в первый класс гимназии. Такой была Антонина Николаевна Пашкова, заместитель директора по воспитательной части, жившая в самой гимназии на втором этаже. Такими были Елена Егоровна Беккер, учительница географии, также жившая в гимназии, и Ольга Николаевна Маслова, преподавательница русского языка. Эта пожилая, очень некрасивая женщина с выдающейся нижней челюстью, носила старомодный шушун с раструбами на рукавах и старенькое пальто. К высокой причёске она прикалывала столь же старомодную шляпку с перьями. Довершало портрет чеховское пенсне. Жила Ольга

Николаевна в Антипьевском переулке, откуда ежедневно приходила на службу пешком. По пути её неизменно окружали дети, которым она что-то рассказывала всю дорогу и, в итоге, входила в гимназию окружённая гурьбой ребят.

Историю в гимназии преподавал ученик Василия Осиповича Ключевского, профессор МГУ Сергей Владимирович Бахрушин, читавший курс лекций, начиная с образования Руси и до образования СССР. Он замечательно рассказывал про быт славян, сопровождая рассказ изображениями оружия и утвари, которые сам же мастерски рисовал на доске.

Также курсы лекций читали физик Млодзиевский, историк Сергеев, философы Шпет и Лосев...

Лидия вернулась в родную гимназию в качестве преподавателя недавно. Сюда же устроила и детей. И, вот, всё рушилось, рассыпалось в прах. Лишение избирательных прав — это лишь лживое название. Что от них — от прав избирательных? Жалеть не приходится! Но с ними отнимается всё — право на работу в учреждениях, право на высшее образование для детей... Человек становится словно прокажённым, и помощи ждать ему неоткуда.

...Вот и захлопнулись за спиной двери. Лидия медленно обернулась, окинула прощальным взглядом родную гимназию, заметила в окнах двух сестёр Золотарёвых и утирающую платком глаза Ольгу Николаевну, которой в скором будущем также предстояло покинуть родные стены. Помахала им рукой, бодрясь, и пошла, не оглядываясь больше, в сторону Плющихи.

Плющиха! Когда снег плющит — оттепель, начало весны... Как же там примета учит? Если на Евдокии-Плющихе снег лежит — к урожаю, а если тепло — то к сырому лету?.. А что у нас было на Евдокию? Не вспомнить уже...

По щекам вопреки воле покатались горячие слёзы. Лидия остановилась и быстро утёрла их, тоскливо поглядела на любимую с детства улицу. Широкая, тихая, застроенная деревянными домами, она была похожа на улицу уютного провинциального городка. Лидия ещё застала время, когда по Плющихе утром и вечером пастух гонял своё стадо на Девичье поле, хлопая кнутом и играя на рожке... Как же давно это было! И как сказочно прекрасно!

Домой идти не хотелось. Дома ждали нарочно не водимые эти дни в гимназию дети. А перед ними нельзя предстать такой растрёпанной! Сперва нужно собраться с силами, привести в порядок мысли. Мелькнула мысль зайти к сёстрам Сафоновым, живущим тут же, на Плющихе. Но с ними не близкая дружба была, чтобы запросто так вторгаться. Так куда же? К кому-нибудь с Маросейки? Тоже не годится. Там только и разговоров, что о распре церковной, а Лидии не до неё было. Да, вот, разве к Ляле в театр? Пожалуй, к ней всего лучше. С нею и о самом больном поговорить можно, потому что кому как не ей такую боль понять...

Остро почувствовала Лидия, как не хватает ей в этот момент опоры, поддержки, широкой спины, как ни банально звучит. Дома её ждали дети. Ждал старик-отец. А муж — не ждал...

Никто так болезненно не воспринял лишение прав, как Серёжа. После собрания, на котором партийный «прокурор» обрушил на него целый шквал обвинений в самых немыслимых проступках и настоял на его немедленном увольнении со службы, он вернулся домой, как убитый. Кто-то другой, возможно, смог бы стерпеть безвинное и хамское поношение, обиду, вспомнив хотя бы глумления над Спасителем, но не Серёжа. Для его и без того натянутых до предела нервов это стало слишком жестоким ударом.

Первые дни он почти ни слова не говорил, был погружён в себя. Это состояние сменилось лихорадочным возбуждением, во время которого Серёжа написал письмо в соответствующие инстанции с требованием восстановления своих прав, так как лишён он их против закона.

Это письмо было зачитано всем домочадцам. И тут бы проявить мягкость, такт, а отец, нисколько не обращая внимания на состояние зятя, у которого дрожали руки, отвесил коротко и жёстко:

— Чушь!

— Почему? — побелел Серёжа.

— А ты не понимаешь? Кому ты пишешь всё это? «Я всегда имел только одно желание — служить моей Родине!» «Я всегда верно служил Родине!» *Кому ты об этом возвещаешь? Ты врагам своей Родины сообщаем о том, что ты её верный сын, и на этом основании просишь к себе милости! Ты врагам, которые расхищают достояние нашей страны, сообщаем о том, сколько предметов сего достояния ты спас от переплавки, продажи за рубеж и прочего! От них — спас! Из их лап — вырвал! Пишешь вора, сколько добычи вырвал из их лап, и просишь милости! Ты, мы все — враги для них, уразумей это, наконец, и не будь младенцем!*

— Я никому не хочу быть врагом! Я хочу только справедливости! — болезненно вскрикнул Серёжа и, порвав и бросив письмо, скрылся в своей комнате.

Он потерял сон, не находил себе места, сочинял письма в различные инстанции и рвал их, наконец, попытался вернуть утраченное равновесие при помощи спиртного, но, не имея навыка к последнему, лишь сильнее раздражил истрёпанные нервы.

Лидия была в отчаянии. Прежде она кинулась бы за помощью к Стёпе Пряшникову, но тот несколько

месяцев назад уехал в Батум и прийти на выручку не мог.

Серёжа слёг с нервной горячкой, и в этот момент помощь всё-таки пришла. Ею оказался пожилой врач, приведённый Аглаей. Именно он, осмотрев больного, назначил ему лечение и сам же принёс необходимые лекарства, отказавшись от вознаграждения за свои услуги. Аглая позже сообщила, что доктор — по убеждениям социалист и не верит в Бога. Тем удивительнее было оказанное им поистине христианское милосердие. Он заходил затем ещё дважды, предупредил, что в случае неблагоприятного развития болезни необходим будет стационар, и он готов оказать всяческое содействие. С внутренним холодком Лидия представила себе Дом Канатчикова и долго молилась, чтобы пребывание в нём минуло её мужа.

Молитвы были услышаны: предписанное лечение помогло, и Серёжа стал приходить в себя. Вот, только дома ему не сиделось. Положение «прокажённого» невыносимо угнетало его, и он решился уехать в Посад, где с отъездом Стёпы пустовал дом. Лидия предполагала сдать его в наём дачникам — деньги были бы совсем не лишними. Но Серёжа словно вовсе не услышал её доводов. И измученная Лидия смирилась, не стала препятствовать его отъезду. С того времени ни сил, ни желания не было у неё съездить проведать мужа. Укатали Сивку крутые горки... Вроде и питалась скудно, а откуда-то грузность набираться стала, и сердце заходило предательски, и во рту — сушь. Даже тот доктор заметил неладное, предложил осмотреть. Отказалась... Неловко было ещё и собой обременять хорошего человека. А, может, и зря?

Семейная жизнь разлаживалась всё больше. Это началось не вдруг, а нарастало день за днём. Отчуждённость, непонимание, размолвки, вечный

поединок гордых характеров. Взяв в свои руки решительно всё в доме, Лидия раздражалась, когда что-то происходило без её ведома, вразрез с её волей. С великим трудом таща на себя неподъёмный воз, она ощущала почти предательством, когда кто-то выходил из-под её контроля. Виду не показывала, но твёрдо и не обращая внимания на возражения, гнула своё. Такое отношение воспринималось Серёжей, как пренебрежение, вызывало обиду. Лидия чувствовала это, но уже не могла перемениться. Всё чаще ловила она себя на появлении командных ноток в тоне, в чрезмерной резкости в отношении домочадцев. Совсем не хотелось ей быть такой, а снова стать мягкой и покладистой не выходило. Вошла в привычку неженская решительность и жёсткость...

День за днём Лидия чувствовала, как теряет мужа, несколько раз собиралась поговорить с ним, как бывало прежде, пыталась быть мягче, но не удавалось. Серёжа занял оборонительную позицию, в штыки принимая любое её слово. Она же не могла смирить себя, чтобы не давить на него своей волей, и не могла позволить оказывать давление на себя. Так и существовали в обстановке тлеющего конфликта.

Всё чаще Серёжа уходил из дома, всё реже рассказывал о своих делах, советовался. Беспокойство о себе он воспринимал, как очередное проявление диктата, любой совет — как вмешательство в свою жизнь, которая всё более становилась отдельной от жизни семьи.

Возможно, его болезнь была последним шансом что-то исправить, но издёрганная Лидия, занятая поиском дальнейших путей выживания в бесправных условиях, его упустила. У постели страждущего сидела в этот раз не она, а Тая...

Результат не замедлил сказаться. Окончательно подавленный таким невниманием и отсутствием

проявлений сочувствия, Серёжа решил уехать. Коротко пояснил, что не может больше существовать под гнётом и терпеть домашнюю деспотию, что должен побыть один и многое обдумать.

За три недели от мужа не было ей ни единого письма. Их только один человек и получал от него в доме — Тая. Тая, не отходявшая от него всё время болезни, Тая, смотревшая на него с собачьей (да простится такое сравнение) преданностью, Тая, с которой он целый год часами занимался, чтобы она поступила в институт. И поступила же! И ей не грозило исключение из него, так как её, сироту, прав не лишили... О чём писал ей Серёжа? Лидия не знала. Девочка драгоценные письма прятала, зачитывая из них лишь то, что приписками адресовалось жене и детям.

Дети недоумевали, не понимали такой обойденности. Лидия смотрела на происходящее бесстрастно. Так истомилась она, что овладела ею какая-то апатия, равнодушие к тому, что происходило между этими двумя...

А девочка-то волновалась. Неловко ей было и перед детьми, и перед Лидией, прятала свои округлённые глаза, краснела. И без Серёжи тосковала заметно. И за него — тревожилась. Однажды даже высказала Лидии:

— Что же вы не поедете к нему?

— А что, разве должна?

— Вы же знаете, что ему одному нельзя быть...

— А он не один, — немного раздражилась Лидия. — Это я — одна. И у меня, *одной*, дети, которых, действительно, нельзя оставить, и больной, слепнувший отец, которому уж точно невозможно быть одному. А Сергей Игнатьевич... Навести ты его, если тревожишься.

— Я ведь, в самом деле, поеду, если вы не поедете, — как-то странно сказала Тая.

Лидия лишь устало пожала плечами.

А дней десять назад нагрянул внезапно свёкор — привёз гостинцев деревенских: яиц, свинины... Дела в деревне в гору шли, и Игнат Матвеич, хозяин опытный, в последние годы положение своё поправил. Дочку любимую, Полю, старик просватал и в столицу приехал приглядеть ей какой-нибудь особенный подарок к свадьбе да заодно на старших внуков поглядеть. Их строго наказал он летом непременно хоть на месяц привезти к нему погостить, дабы приобщились к здоровой крестьянской жизни.

Огорчился Игнат Матвеич, не застав сына. Лидия телеграммой дала знать мужу о приезде отца, но даже это не заставило его вернуться...

— Что это, кошка меж вас пробежала? — хмуро спрашивал свекор, дую на вылитый в блюдечко чай.

— Просто Серёжа очень переживает наше положение...

— Положение! — старик фыркнул. — Бороться надо! Отстаивать свои права!

— Полноте, Игнат Матвеич, мало ли таких, как мы? И борются, и требуют — и всё без толку!

— Что верно, то верно. У нас в деревне тоже три семьи прав лишили. За то, что они работников когда-то нанимали... Тьфу! Бесово отродье... Где такое писано, чтобы работника нельзя было нанять? Кабы их, голытьбу, не нанимали, так чем бы они кормились? Да ну! — Игнат Матвеич раздражённо махнул жилистой рукой. — Поверишь, дочка, живу, как на пороховой бочке. Только и жду, что они какой новый декрет измыслят, или какой-нибудь сукин сын о моих прошлых «грехах» вспомнит и донесёт, куда надо, чтоб моё имущество волосатой лапищей загрести. Было б не то, так сговорил бы тебя с моим лоботрясом в деревню перебираться от Москвы вашей подальше. Думал даже сговорить... А потом думаю, а ну как завтра самого прижмут? А если до моих партизанских подвигов

докопаются, то не зашшитой я вам стану, а куда большей угрозой, чем твой, дочка, родитель. Ладно, что об этом говорить — душу травить зазря! Сказывай уж лучше по правде, как вы с Серёжкой моим живёте-можете?

— Да, вот, живём...

— Живёте? — свекор прищурился. — Знатно живёте. Он там, ты тут. Глашка писала, будто есть у него кто?

— Она ошибается. Греха ещё нет...

— Ишшо? — Игнат Матвеич поднялся и, плотно закрыв дверь, придвинул стул ближе к Лидии. — Стало быть, может дойти?

Лидия опустила голову, не ответив.

— А ты чего ж смотришь, ждёшь?

— А что же я делать должна?

Свекор пристукнул ладонями по острым коленям, развёл руками:

— Ишшо новости! Да кабы я от моей Катерины на сторону только один глаз скосил, она б уж мне всю бороду выщипала! А ты что ж?

Лидия невольно рассмеялась:

— Что ж мне, бить его, что ли?

— И побей, если надо! В детстве, знать, он науки этой не узнал — так вот и сказывается!

— Разве силой поправишь то, что в душе происходит? В обеих душах?

— Ты жена ему или что? Как же ты можешь греху мужа своего потворствовать?

— Если бы я, действительно, могла препятствовать, я бы воспрепятствовала. А просто устраивать скандалы я не хочу. Унизительно это...

— Конечно! Гордые больно... Всё-то у вас не как у людей, всё-то с вывертом! Правду мне Глашка писала, будто *эта* под твоей крышей живёт?

— Правда.

— Почто не выгонишь?

— За что? Она и так мучается.

— За что! А хлеб-соль твою лопать, а потом с твоим же мужем воловодиться — это, значит, не грех?

— Я не осуждаю её, — тихо ответила Лидия. — Её вины здесь нет. Разве это вина — полюбить человека?

— Человека — нет. А чужого мужа — да. Его ты тоже не винишь?

— Меня он не любил никогда... Выходя за него замуж, я обещала ему, что не осужу, если он полюбит другую. Правда, я верила, что смогу привязать его к себе, что он, в конце концов, полюбит меня. Я была самонадеянна!

— Обоих, значит, оправдываешь, — заключил свекор.

— Жалею...

— Чего ж их, сукиных детей, прости Господи, жалеть ишшо?

— А то, что не будут они счастливы. Для них обоих лучше бы остановиться сейчас, но они не остановятся. Они должны до конца дойти, до края, а иначе не успокоятся. Но счастья они не узнают.

— Почему так?

— Потому что они оба обладают слишком чуткой совестью. Даже самые светлые их часы будут отравлены сознанием греха. А когда первый дурман рассеется, и они смогут трезвее воспринять действительность, то совсем худо будет. Им и теперь худо. Он поэтому и не приехал...

— Застыдился меня?

— Он не только вас стыдится. Он даже отца Сергия стыдится. Знает, что тот строг, что одним словом всю суть человека раскрывает, и уже больше полугода избегает его. Со времени раскола и вроде как из-за него.

— Раскол... — машинально повторил Игнат Матвеич. — Раскол... Ему бы свой раскол одолеть. Всё

больше склоняюсь я, что зря позволил барыне взять его на воспитание. Что, спрашивается, вышло из этого? Ничего доброго! Он и из своего сословия выбился и к тому не пристал. Ни мужик, ни барин. А что-то неопределённое между ними. Раздвоенный человек, который не может найти своего места, сам мытарится и других мытарит. Эх... Не сумел я сына воспитать. Прости уж, дочка...

Так и уехал старик, сына не повидав. Позже Сергей отписал, что был сильно простужен и что непременно съездит к отцу летом — погостит там с детьми. Написал впервые не припиской к письму, адресованному Тае, а напрямую.

Лидия не лукавила, когда говорила, что не питает недобрых чувств к Тае, но всё же тягостно становилось её присутствие. Тягостно не столько обидой почти истреблённому самолюбию, но тем, что дети были уже достаточно взрослыми, чтобы догадываться о происходящем, и уж, само собой, понимал всё отец. И перед ними было стыдно — и за Серёжу, и за собственное положение.

Этот стыд вряд ли кто мог понять лучше, чем Ляля Аскольдова. О её муже Жорже говорили разное. И в этом разном многочисленные любовницы были отнюдь не самым страшным злом. К примеру, Надёжин и Мария были убеждены в содружестве Жоржа с ГПУ. Как выдерживала всё это Ляля? Какие мысли и чувства терзали её, знала лишь сама она, замкнутая, немногословная, боявшаяся поверять кому-либо сокровенное.

Годы сделали Лялю очень похожей на одну из старых учительниц — высохшая, старомодная, в некрасивых очках, она выглядела старше своих лет и ничуть не заботилась об этом. Казалось, что вся жизнь её происходила лишь по инерции. По инерции каждое утро она приходила в театр, по инерции рисовала

эскизы будущих костюмов, по инерции уходила домой, давно утратив чувство дома.

Лидию Ляля встретила приветливо, провела в почти пустой в дневное время буфет, заказала чай с пирожными, сказала перво-наперво, теребя в руках перчатку:

— Я могу поговорить с Жоржем, чтобы он похлопотал... Насчёт вашей семьи.

— Не стоит, спасибо.

Не доставало ещё мешать в дело человека, который, может статься — агент ГПУ. От такой помощи, пожалуй, лишишься последнего права — видеть небо, не заштрихованное прутьями решётки.

— Ясно... Тоже боишься его? — Ляля скомкала перчатку и бросила её на стол, продолжила, не ожидая ответа. — Может, и правильно делаешь. Знаешь, я его целыми неделями не вижу. Рива сказала, что у него роман с какой-то певичкой. Рива знает! Всегда удивлялась, откуда она всё знает? Словно только и следит за чужой жизнью... — она прервалась, снова схватила перчатку. — Если вам что-то понадобится, ты не стесняйся. Деньги... У меня есть...

— Тяжело тебе? — сочувственно спросила Лидия.

— А тебе легко ли? — Ляля закусила губу. — Я, наверное, слабая, прости... Я удивляюсь, как живёшь ты, другие. Среди всего этого... А я не могу так больше! Я уже который месяц зову смерть. Знаешь, вышла недавно на дорогу, и вижу — прямо на меня мчится извозчик. Мне бы отскочить, а я стою и жду. Чтобы он не остановился, понимаешь? Только он, — Ляля горько усмехнулась, — остановился... Кричал на меня непотребно...

— Полно, возьми себя в руки! — Лидия беспокойно смотрела на страдальческое лицо подружки.

— Не могу! Я пытаюсь, но больше не могу... Раньше театр помогал, а теперь исчерпано и это средство. Все

прежние знакомые обходят меня стороной. Или же старательно говорят на отвлечённые темы. Даже когда *его* нет рядом! Неужели они думают, что я...

— Сейчас и при родных-то не обо всём решаются говорить...

— Оставь! Я же всё понимаю... Сама-то ты неужто без опасений пришла? Неужто не рассуждала, что можно мне сказать, а о чём лучше умолчать?

— Если бы я так рассуждала, то не пришла бы вовсе. Я сегодня не в том состоянии, чтобы заниматься подобными играми.

— Прости... Неужто и впрямь доверяешь?

— Да, доверяю.

— Спасибо... Мне ведь даже родная сестра доверять перестала. Потому что я не уйду от Жоржа. А я не могу уйти! Хотя и понимаю, что ничего не изменится, что он не переродится. Я смотрю на него и мне страшно. Страшно подумать, до чего он дойдёт... Есть ли, вообще, предел человеческому падению... Прости... Я всё говорю о своих бедах, а ведь у тебя самой их не счесть. Скажи, почему всё так? За какие вины мы осуждены так мучиться? Что такого преступного сделала я? Или ты?

— Меня так, видно, Бог смиряет... — задумчиво ответила Лидия. — За гордость... Гордым Бог противится, а я была гордой и самонадеянной. Я была недурна собой, умна, как мне казалось, образована, самодостаточна. Я не мечтала о замужестве, рассуждая, что, уж если и выходить замуж, то только за самого достойного человека. Мой муж обязан был быть сильным, мудрым, отважным, цельным и так далее... Таким, как мой отец, только моложе и виднее собой. А полюбила я человека, совсем мало общего имеющего с моим идеалом. Да так, что никакой идеал уже не смог бы перебить этой моей любви. Когда-то я осуждала многие человеческие слабости и пороки, считала не

должным прощать их, мириться с ними, презрительно взирала свысока. Но, вот, выяснилось, что многие слабости свойственны человеку, которого я люблю. И что же? И простила, и примирилась. И простив и примирилась с ними в нём, перестала осуждать и других, перестала возноситься надменно. Только так я и смогла понять, что если не прощать и не мириться с недостатками других, то крошечный ад настанет. А ещё я думала, что со своим умом и волей сумею твёрдо держать в руках всё и всех в своей семье. Тоже не получилось! Выяснилось, что нельзя чужую волю своей поработить... Святые отцы учат, что Бог каждому создаёт условия, наиболее отвечающие задаче нашего спасения, и, исходя из этого, мы должны оценивать всё происходящее с нами. Если мы столь неразумны и слабы, что не можем сами блюсти себя, то Бог нас направляет, поправляет, когда мягко, а когда болезненными ударами. Надо стараться улавливать первые мягкие поправки и исправляться самим, не дожидаясь более весомых указаний.

— Если бы я могла понять, что хочет от меня Бог... — вымолвила Ляля. — У тебя всё выходит стройно и понятно, а я не понимаю, не вижу в моей никчёмной жизни ни знаков, ни указаний, а одну только глупость и позор. И выхода я не вижу...

Лидия не нашлась, что ответить. Выхода не видела и сама она. Словно в трясине завязла: чем больше дёргаешься, тем глубже засасывает. Значит, остаётся одно: обождать, предоставить жизни идти своим чередом, а там, глядишь, и проявится что-то, откроется путь.

Глава 7. Тая

«Очистительные» мероприятия, набирая обороты, шли который месяц. Со страстью искали идейные борцы, а пуще них пролазы и подхалимы окопавшихся в среде советских служащих и учащихся врагов. Те, кому не повезло носить знатную фамилию, либо состоять в родстве с царскими офицерами, фабрикантами и прочими лишними в советской стране людьми с дрожью поглядывали на вывешиваемые в коридорах списки обнаруженных «врагов», страшась увидеть в них свои имена.

Тая не имела привычки читать эти списки. В институт она поступила лишь по настоянию Сергея Игнатьевича, и учёба там уже давно тяготила её. Даже и не учёба, а та атмосфера, в которой проходила она. Учебное заведение в советской стране — это кузница кадров. И не абы каких, а идейно своих. Последнее куда важнее, чем таланты и знания. Куда бы ни поступал человек, он обязан был вы зубрить наизусть тома учений Маркса и Энгельса вкупе с историей ВКП(б), сдать экзамен по этому главнейшему из главных предмету и углублённо изучать его в продолжение всей учёбы. Приправлялось это проработками, устраиваемыми комсомольскими активистами, и по новой моде — «чистками».

Конечно, если человек имеет призвание и цель, то можно вынести всё наносное во имя получения необходимых знаний. Но Тая не чувствовала никакого призвания. Она со спокойной и радостной душой пошла бы работать лаборанткой, нянечкой, санитаркой... Да мало ли кем ещё! А на большее, знать, не дал Бог ума простой крестьянской девушке. К чему же ломать себя?

Выбывание из числа студентов нисколько не огорчило бы её.

А другие волновались до дрожи, и Тая искренне сочувствовала им. Когда на курсе объявили о внеочередном собрании по выявлению «лишних элементов», как выразился секретарь комсомольской ячейки Васюта, Тая внутренне сжалась. Знать бы загодя — не пришла, сказала бы больной. А тут не отвертись. Попыталась было отпроситься, сославшись на недомогание, но не вышло.

Меньше всего думала Тая о происходящем на собрании. Летели её идущие вразброд мысли прочь. Накануне от Сергея Игнатьевича пришло очередное письмо. И если в прошлых говорил он едва уловимыми намёками, которым робкая Тая не решалась верить, то в этом прорвалось открыто: плохо ему без неё, она ему нужна. Всю ночь после этого не могла Тая сомкнуть глаз. Нужна! Нужна! Да ведь самое горячее и, как казалось, несбыточное желание её было: быть ему нужной. Это желание она гнала от себя, как греховное, неправильное. Но прошедшей ночью, поднося к губам дорогое письмо, и не пыталась гнать. И одно только чувство с того момента владело ею: ехать к нему, не медля, не откладывая, и будь что будет — лишь бы видеть его, быть с ним рядом!

Из дома Тая нарочно ушла чуть свет, чтобы не встречаться с Лидией и остальными домочадцами. Их, вообще, избегала она последнее время. Если Лидия ни единым взглядом не выразила порицания, то в глазах детей и старика-профессора сквозил постоянный укор. Но стыднее всего именно перед Лидией было. И легче бы дышалось, если бы она обвиняла, выгнала из дому. Но этого не происходило, и для Таи становилось невыносимо есть хлеб и жить под крышей человека, перед которым вина её растёт с каждым днём, как

снежный ком. После нового письма подобное положение стало невозможным окончательно.

До начала занятий Тая бродила по любимившимся московским улочкам, побывала на утрени в храме Никола Большой крест, помолилась, чтобы Господь вразумил и её, и Сергея Игнатьевича. В душе её боролось два чувства: счастье обретённой взаимности и страх будущего, страх преступления. Чтобы не случилось его, следовало бежать как можно дальше, заглушить в себе запретное чувство. Но побега, разлуки Тая не вынесла бы. Да и Сергея Игнатьевича оставить — разве не предательство? Сердце велело быть с ним, совесть — бежать прочь.

В этом расколоте состоянии Тая слушала лекции в институте, не слыша ни одного слова из них и не находясь ответить на задаваемые вопросы. Уже не первый раз владела ею такая маята, и именно она была причиной неудовольствия и угрозы провала надвигающихся экзаменов. К экзаменам требовалось готовиться, всецело погрузиться в учёбу, а Тая, открывая учебник, видела перед собой строки писем, затверженных наизусть. И даже предупреждения педагогов не могли отрезвить её. Отрезвить мог лишь один человек, но он-то и звал её теперь, он-то и не давал сосредоточиться на учёбе.

Как ни погружена была Тая в свои переживания, а к середине собрания очнулась, увидев, что к позорному столбу позвали Витю Путятину, лучшего ученика на курсе, добрейшей души и исключительной воспитанности юношу. Витя имел один единственный, но страшнейший «порок» — графский титул. За него-то и расправлялись теперь с ним.

«Графчик», как ласково называли его друзья, был не готов к такому испытанию. Мягкий, тонкий, застенчивый молодой человек, писавший чудные лирические стихи и всё ещё живущий в идеальных

грёзах отгоревшего века, как мог он противостоять бульдожьему натиску комсомольских активистов? Те, сменяя друг друга, оглашали «вины» изобличённого «врага». К титулу добавилось «неправильное» стихотворение, неучастие в ряде коллективных мероприятий и ещё какая-то откровенная ложь... Всех более усердствовал «потомственный пролетарий» Васюта, на дух не выносивший «пыльных аристократов» вообще и Витю в частности. Он так и норовил ударить бедного «графчика» по-больнее, унизить как можно сильнее.

Витя не знал, куда деваться. Его благообразное лицо сделалось пунцовым, губы подрагивали, на глазах, которые он старался спрятать, наворачивались предательские слёзы. Вначале он пытался защищаться, объяснять, что его отец даже не был землевладельцем, затем сломлено замолчал, поник, судорожно теребя рукава плохонького, обтрёпанного пиджака, справленного ему матерью на последние гроши.

Тая с изумлением косилась на лица сидящих вокруг. Неужели никто не остановит эту гнусность? Не вступится? Ведь не все в комсомоле состоят, не все дисциплиной повязаны. Нет, молчали. Молчали те, которые вчера считались друзьями, боясь стать следующими. Молчали те, кому наивный, нищий граф, не умеющий отказывать, одалживал деньги и не смел по интеллигентности напомнить о долгах. От этого трусливого, безвольного и подлого молчания Таю начало лихорадить. Ей подумалось, что, вот так же беспомощно и беззащитно стоял у позорного столба Сергей Игнатьевич, и никто не поддержал его.

— Ставлю на голосование! Кто «за»?

Трусливый частокол рук... Впрочем, не все подняли, иные воздержались, по-пилатовски умыли руки. Дескать, не причём они...

— Кто против?

Неужто ни единой руки? Собралась с духом Тая: будь что будет!

— Климентьева, ты против? — удивлённо-недобро спросил Васюта. И десятки глаз устремились на неё, похожую на подростка из-за худобы, незаметную прежде студентку.

— Да, я против, — отозвалась Тая, поймав единственный удивлённо-благодарный взгляд затравленных, покрасневших глаз «графчика».

— Так поднимись, выскажи свою позицию, — предложил один из заседавших в президиуме.

Тая легко поднялась:

— У нас на курсе Путятин — лучший ученик. Не просто отличник, а талант, человек, болеющий за своё дело. С нужными знаниями он, может, открытие какое-нибудь сделает, продвинет вперёд нашу науку. Неужто это нашей стране не нужно? А вы его на улицу! А кого оставите? Тех, что без шпаргалки ни одной задачи не решат? И вообще... Закон законом, но в каком законе указано оскорблять человека?

— Да что её слушать! Она сама у лишенцев приживалка! Её саму надо прав лишить!

Как хлыстом по глазам ударили, всколыхнулась Тая:

— Да! Я живу у людей, лишённых избирательного права! Живу после того, как все мои родные, бывшие простыми крестьянами, умерли от голода, а эти люди меня, умиравшую, спасли и вырастили! Много здесь среди вас таких, кто спас чью-нибудь жизнь? — голос её сорвался, но она докончила: — Кто не имея достаточно хлеба для себя, отдавал этот хлеб другому? Если мою семью и лишили прав, то это ошибка, которую наше молодое советское государство обязательно исправит!

Под гул голосов, частью враждебных, частью сочувственных, Тая бегом покинула аудиторию. Немного отдышавшись в коридоре, она поняла, что больше не вернётся в этот институт. Если не в этот раз,

то в другой ей непременно вспомнят, что она живёт у лишенцев, вспомнят защиту «пыльного аристократа» и выдворят с позором. Так уж лучше уйти теперь: самой и с головой поднятой, а не оплётанной и растоптанной, как несчастный «графчик».

Соответствующее заявление Тая подала, не откладывая: что решено, то решено, как любит говорить Лидия... Выйдя на улицу она с наслаждением глотнула свежего воздуха, успела пройти метров сто и слышала позади топот бегущих ног.

— Тая!

Тая обернулась и увидела запыхавшегося «графчика», догонявшего её.

— Исключили? — полуутвердительно спросила она.

Тот безмолвно кивнул.

— Ну и... Бог им судья... У тебя голова светлая, ты не пропадёшь!

— Светлоголовым-то сейчас нигде и не рады, — промолвил Витя. — Спасибо тебе! Я даже не знаю, что сказать... Как благодарить...

— Никак не благодари. Моё выступление ничего не изменило.

— Нет, изменило. Если бы не ты, я, наверное, сегодня потерял бы веру в людей.

— И напрасно. Люди себе подобных не травят. Так что считай, что людей там не было.

«Графчик» печально улыбнулся:

— Боюсь, что это как раз были люди... И таких большинство. Всем им есть, что терять. И тебе не стоило меня защищать. Ведь они тебе не простят этого! Они теперь и тебя изгонят.

— Не изгонят, — беззаботно ответила Тая. — Я сама изгнана, чему, признаться, очень рада. А если бы я сегодня промолчала, то мне бы было слишком тошно и стыдно потом.

— Ты странная, — заметил Витя. — И всё же не нужно было... Тем более, что я, наверное, не смог бы поступить так же, я бы промолчал. Мне стыдно в этом признаться, но соврать тебе было бы ещё стыднее.

— Что ж, может, ты и прав насчёт людей, — вздохнула Тая. — Все мы знаем, как надо, но далеко не всегда умеем следовать этому знанию.

— Но ведь ты последовала...

— Я просто не умею рассуждать. Сначала чувствую, потом делаю, и только потом рассуждаю, — Тая пожалала плечами. — Видимо, я просто глупая.

— Что же ты теперь будешь делать? — спросил «графчик».

— Я же глупая, — улыбнулась Тая, — а не светлоголовая. Тёмному человеку чёрной работы всегда достанет, а я к ней привычная.

На душе заметно полегчало, затуманенные утром мысли прояснились. Вернувшись домой, Тая сразу стала укладывать немногочисленные вещи в чемодан. Больше она не имеет права жить здесь, пользоваться добротой Лидии, находиться на её иждивении тогда, когда семья едва ли ни бедствует. Нужно начинать самостоятельную жизнь, искать работу. Но прежде увидеть Сергея Игнатьевича... Чтобы всё разрешилось...

— Что ты делаешь? — слышался ровный голос Лидии за спиной.

— Я уезжаю, Лидия Аристарховна, — ответила Тая.

— К нему?

— Нет... То есть... Я съезжу к нему, я должна... А потом вернусь и где-нибудь устроюсь.

— Не вернёшься, — спокойно сказала Лидия. — Сядь...

Тая покорно присела на край кровати, упёрлась ладонями в по-детски сомкнутые колени. Лидия опустила напротив в кресло.

— Я ждала этого, — произнесла она. — И боялась. Ты, дитя, живёшь сейчас одними только чувствами, сердцем. Но не жди от него того же. Просто потому, что в нём чувств слишком много, и он сам не может в них достаточно разобраться. Я не собираюсь увещевать тебя, удерживать от твоего решения. Но хочу, чтобы ты всё-таки попыталась подумать. Сломать что-то всегда просто. Довольно бывает одного неосторожного слова. Но что-то выстроить — задача очень сложная. Сейчас ты полна любви, а любовь покрывает любой изъян в тех, кого мы любим. Но насколько постоянно твоё чувство? Выдержит ли оно испытание реальной жизнью? Уверена ли ты, что через несколько лет не угаснет оно, раздавленное усталостью?

— Как угасло ваше?

— Моё? — Лидия приподняла бровь. — Мои чувства как раз постоянны, как и мысли. Я не помню, чтобы хоть какие-то из них серьёзно менялись. Так что за себя я могу ручаться. Мои чувства к мужу выдержали очень многое и выдержат всё, что ещё предстоит. И, что бы ни случилось, он всегда сможет вернуться, здесь его дом, и я приму его. Можешь ли ты сказать то же? Не отвечай. Потому что не можешь. Тебе едва исполнилось восемнадцать, и ты ещё не можешь достаточно знать саму себя.

— Зачем вы всё это мне говорите?

— Предпринимаю последнюю попытку воззвать к рассудку. Если не его, то твоему. Подумай, ни ты, ни он не можете быть уверенными в прочности и постоянстве своих чувств. Что если это только страсть? Она ведь пройдёт, и тогда придётся собирать осколки... Впрочем, я, кажется, зря теряю время. К рассудку сомнамбул взывать бессмысленно.

— Вы не хотите, что бы я ехала? — Тая с трудом сдерживала слёзы. — Тогда поезжайте сами! А я всё равно уйду. Куда-нибудь! Но здесь не останусь!

— Я лишь сказала то, что обязана была сказать, — всё также спокойно отозвалась Лидия и, поднявшись, вышла из комнаты.

Несколько минут Тая неподвижно сидела, до крови кусая губы и вцепившись ногтями в колени, затем схватила чемодан и опрометью выбежала из квартиры. Она бежала по улице так быстро, словно боялась, что Лидия погонится за нею и всё-таки остановит.

Немного легче стало лишь, когда поезд отошёл от Ярославского вокзала, и его двери отрезали путь назад. Ехать до Посада было недолго, но путь этот показался бесконечным. К концу его чем-то далёким и не бывшим сделалось и утреннее собрание, и монотонно-рассудительная речь Лидии. И сердилась Тая на тяжесть своей поклажи, оттягивающую руку и замелявшую шаг.

Наконец, показался знакомый дом, утонувший в бело-розовом кружеве яблоневого цвета. Тая с замиранием сердца отворила покосившуюся, скрипучую калитку, бесшумно поднялась на крыльцо, ступила на залитую кремовым отсветом заката террасу и поставила чемодан. В тот же миг послышались шаги на лестнице, ведущей вверх. Тая повернула голову и встретила глазами с изумлённым взглядом Сергея Игнатьевича. Оправившись от неожиданности, он сбежал вниз, крепко стиснув ладони Таи, заговорил, путаясь в словах:

— Всё-таки приехала! Как же это... чудесно! Как... Я ждал... Я скучал по тебе... А что же, — по лицу его промелькнула тревожная тень, — ты только на выходные?..

— Нет, не только... — тихо отозвалась Тая.

Ответ был воспринят с удовлетворением, но не рассеял тревожной недоверчивости.

— А как же институт?..

— Я ушла из института. И из дома я ушла. Вы... знаете сами, почему.

Руки Сергея Игнатьевича едва заметно дрогнули и ещё крепче сжали её ладони.

— Я получила ваше письмо и приехала. Надеюсь, вы меня не прогоните, а в Посаде найдётся для меня какая-нибудь работа...

— Тая, Тая, о чём ты говоришь. Мне тебя прогнать? Я же каждый день представлял, как ты открываешь калитку, как переступаешь порог... Я все эти дни ждал тебя!

— Что же вы не написали мне об этом раньше? Я ведь боялась, что не нужна вам...

— А я боялся, что тебе покажется глупым и смешным... всё это... А может и хуже...

Тая безмолвно уткнулась лбом в его грудь и тотчас почувствовала прикосновение губ к своим волосам, расслышала дрожащий от волнения шёпот:

— Я люблю тебя, Тая... За эти недели я понял это окончательно. Понял и решил... Что бы там ни было, но без тебя я не могу...

Тая вслушивалась в этот хрипло-отрывистый шёпот и чувствовала, будто отрывается от земли, неодолимой силой увлекается ввысь так, что захватывает дух и сладко сосёт под ложечкой. Погружающаяся в сумрак терраса, благоухающий за окном сад и выползающая из бездны опасно багровая луна — всё это расплылось в неосязаемое пространство, весь мир обратился первозданным хаосом, в котором существовало лишь два человека, не находящие в себе сил разделить сомкнутые руки.

Глава 8. Без выбора

Есть люди, которым судьба предоставляет на выбор множество путей. Для многих такая свобода становится тяжёлым испытанием, так как ничего нет страшнее, нежели ошибиться в столь серьёзном деле. К другим судьба проявляет гуманизм и не испытывает их здравомыслия, загоняя в жёсткие рамки и не позволяя отклониться в сторону. Таковые, впрочем, обычно бывают недовольны «безвыходностью» своего положения...

Миша Надёжин раздваивался. Сердце его, уязвлённое, как сказали бы в старых романах, стрелой амура, плакало от «безвыходности», а дух возносил благодарные молитвы Создателю за то, что не позволил отклониться от уготованной стези.

Воспитанный в глубоко верующей семье, с ранних лет погружённый в атмосферу церковной, молитвенной жизни, Миша рано ощутил тягу к служению Богу, к отрешению от мира. К этому звали его благолепная тишина Козельска, куда однажды ездили с отцом, парение духа в уцелевших скитах в окрестностях Посада, встречи с праведной жизни людьми. Но новая явь в лице советского строя поколебала тягу Миши. Монастыри закрывались, в Церкви росли нестроения, и уже не приходилось рассчитывать найти покой за стенами какой-нибудь обители. И укреплялся Миша в мысли, что спастись ему надлежит в миру, как и отцу, так и не ставшему священником, и тётке Мари, так и не принявшей постриг, несмотря на свою монашескую жизнь. Отчего бы и нет? Разве в миру спастись нельзя? И устроить свою жизнь, согласно евангельским заповедям?

Именно об этом неустанно говорил отец Валентин. Он напоминал, что именно «монастырь в миру» является живым воплощением аскетического идеала, данного Богом Церкви. Утверждал возможность и необходимость подвижнического духовного делания в условиях повседневной жизни в миру, организации своей жизни по подобию монашеской. Основываясь на библейских и святоотеческих наставлениях, отец Валентин разъяснял, к чему должно стремиться при таком устройении жизни: борьбе со страстями и преодолению их, очищению души от всякой скверны, ведению духовной брани с тёмными силами, укреплению в добре, возрастанию в любви к Богу и ближним, просвещению ума, стяжанию смиренномудрия... Таким путём духовного совершенствования вёл батюшка свою паству. В «монастыре в миру» при церкви Никола Большой Крест не давалось обетов, но вставшие на избранный путь люди внутренне воздвигали монастырскую стену между своей душой и миром, во зле лежащем, не допускали его суете, его злу захлестнуть и засосать свою душу. В расхристанном мире, в безбожной стране — что может быть тяжелее такого пути? В монастырских стенах всё пропитано молитвой, всё защищает тебя и твою совесть. Мир же воет против тебя всякий миг, но ты, внешне живя в нём, как все, или почти как все, внутренне не принимая в себя его ядовитых спор, веди беспощадную брань с ним.

К такому пути отец Валентин призывал своих духовных чад. Ему посвятил двадцать пространных бесед с ними. Эти беседы посещало много людей, кое-кто записывал их от руки, чтобы не забыть, не утратить драгоценных слов. Среди прочих вела записи уже очень пожилая женщина, не пропустившая ни одну из бесед, рядом с которой нередко оказывался Миша, запомнивший сосредоточенное выражение умного

морщинистого лица. Женщина всегда приходила одна, несколько раз после бесед подолгу разговаривала с отцом Валентином. Один из служек пояснил Мише, что это мать высланного из страны вместе с другими философами и учёными известного правоведа Ивана Ильина.

Миша познакомился с отцом Валентином в доме Кромиади и с первого же дня проникся самым глубоким благоговением перед этим мудрым, много пережившим в своей отнюдь не всегда ровной жизни пастырем. Может, благодаря пережитому, познанию глубин страстей человеческих через опыт личный, он, сумевший преодолеть их в себе, умел так чутко наставлять на этом пути других?

В то время отец Валентин ещё служил близ Сухаревки в храме священномученика Панкратия, и Миша стал его постоянным прихожанином. Каждую среду батюшка проводил беседы о преподобном Серафиме. Постскриптумом к ним стало паломничество батюшки со своими духовными чадами в Саров. На протяжении всего пути в вагоне поезда, в котором катили от Москвы до Арзамаса, шесть десятков паломников пели псалмы и молитвы. Отец Валентин служил в пути. От Арзамаса шестьдесят километров преодолели на подводах. Зной в те летние дни был столь силён, что некоторые обгорели до волдырей. Но никто не жаловался. Старый батюшка в облачении мерно шёл впереди, словно не замечая палящего жара. Двигались от деревни к деревне, у входа в каждую, а также на пригорках среди полей останавливались и служили. Вокруг собирались окрестные крестьяне, выносившие хлеб-соль, угощавшие молоком и всем, что послал Бог, зазывавшие к себе. На глазах оживала та настоящая Россия, Святая Русь, образ которой померк, забылся под железной пятой совдепа. Когда солнце уже клонилось к закату, впереди показался окрашенный

багрянцем вековой Предсаровский сосновый лес. Прочли очередной акафист, и вот уже показалась колокольня и белые стены обители... Как сказочный сон была та поездка. Не только Преподобному это был поклон, но и всему святому, что сохранилось на Русской земле. Поклон прощальный...

В Дивеево блаженная Мария Федина предсказала отцу Валентину скорый переход в другой храм, что вскоре и исполнилось. Батюшка стал настоятелем церкви Никола Большой Крест. А Миша, последовавший за ним, сделался алтарником в этом храме, снова возвращаясь к мысли о принятии сана. На новом месте отец Валентин снова занялся устройением «монастыря в миру», повёл бескомпромиссную борьбу с проникновением мирского в Божий храм. Никакого сбора пожертвований с тарелочкой, никакой платы за требы, свечи за всенощной — бесплатны для всех.

— Молитва — это одно. Деньги — это другое, — говорил батюшка. — Деньги необходимы для пропитания. Но надо решительно разрушить ту безобразную форму, «оплату» молитвы, которая вошла в наш церковный быт.

На Рождество он на извозчике объезжал всех, кто загодя записался, прося не отказать в посещении, и ни с кого ничего не брал за это.

Церковь должна очиститься от всего наносного, лишнего, дурного, что пристало к ней за века, но вернуться к идеалу первых веков христианства, — такова была главная идея отца Валентина.

Большое впечатление произвели на Мишу печальные события Двадцать седьмого года. Что-то трагическое и одновременно величественное было в том мгновении, когда в Глинищах после прочтения с амвона отцом Романом Медведем Декларации несколько человек молча, не сговариваясь, выбежали из

храма, чтобы более не вернуться в него. Таких сцен был немало по России.

На собрании клира и мирян в церкви Большой Крест было принято решение об отложении от митрополита Сергия и переходе под управление епископа Димитрия Гдовского, почитаемого отцом Валентином одним из немногих истинно православных епископов Русской Церкви. Следом за церковью на Ильинке об отделении заявили настоятели Крестовоздвиженского храма на Воздвиженке и Троицкого в Никитниках.

Настоятель Троицкого храма, иначе именуемого храмом Грузинской Божьей Матери, отец Сергей Голощапов стал заместителем отца Валентина в руководстве московской паствой. Вскоре после этого в Никитники прибыл служить провинциальный епископ. Во время службы он, согласно предписанию, помянул в качестве главы Церкви митрополита Сергия. Тотчас один из молящихся на спине у другого написал краткую и решительную записку, которая по рукам была передана в алтарь архиерею. Через несколько минут епископ вышел из алтаря и, быстро пройдя между расступившимся народом, покинул храм.

Ответные действия в отношении не подчинившихся не заставили себя ждать. Об угрозах прещения отец Александр Сидоров с Воздвиженки, столь же ревностно хранивший дом молитвы от мирского духа, что и отец Валентин, известил епископа Димитрия. Ответ владыки был оглашён пастве. В нём епископ Гдовский объявлял распоряжения митрополита Сергия недействительными и наставлял: «Доколе останется хоть один твёрдо православный епископ, имейте общение с таковым. Если же Господь попустит и Вы останетесь одни, без епископата, — да будет Дух Истины, Дух Святой со всеми Вами, Который научит Вас решать все вопросы, могущие встретиться на Вашем пути, в духе Истинного Православия».

В мае духовных чад отца Валентина постигла глубокая скорбь: батюшка был арестован и выслан в Тракт-Ужет. Его место в храме занял срочно рукоположенный в священники владыкой Димитрием иеромонах Никодим (Меркулов), дотоле бывший диаконом в церкви Большой Крест.

В то же самое время Мишу постигло ещё одно горе. Надежде Петровне было предписано покинуть занимаемую ею жилплощадь и саму Москву в связи с лишением избирательного права. Дворянке, внучке богатого домовладельца и мецената, дочери царского и белого офицера — ей и её сыну не было места в столице. Напрасны были хлопоты её соседей: добрейшего доктора Григорьева и инженера Замётова — слишком страшен был список «вин» Надежды Петровны, чтобы власти могли простить её.

— В сущности, — сказал Замётов при общем прощании, — вы ещё счастливо отделались. С такими родственниками вас могли бы, как минимум, услатить в какую-нибудь Тмутаракань.

— Хорошая логика! — вспыхнул Миша. — Тебя гонят из дома, а ты благодари, что не сослали на Северный полюс? Сошлют на полюс, поклонись, что не поставили к стенке? А тем, кого поставят, тоже возблагодарить за что-нибудь?

— Но! Но! — нахмурился Александр Порфирьевич. — Не устраивайте митинг, мой юный друг. Вы не у себя в храме. Да и там не советую. Среди вас непременно отыщется гнилой человек, который составит список всех ораторов вроде вас и передаст, куда следует. И отправитесь вы в Среднюю Азию или на Соловки.

— Спасибо на добром слове, — раздражённо бросил Миша. Ему был глубоко антипатичен этот похожий на высохший гриб человек, по-видимому, не ведавший ни единого доброго слова и сочившийся желчью. Однако, приходилось смиряться перед ним. Только благодаря

Замётову он имел работу чертёжника, дававшую ему кусок хлеба.

Все хлопоты по устройству Надежды Петровны на новом месте Миша взял на себя. Место определилось почти случайно. По поручению отца Валентина ему случилось побывать в Серпухове. Этот старинный русский городок не пожелал подчиняться митрополиту Сергию и ещё зимой объявил о своём отходе. Текст заявления, оглашённого местным духовенством, был составлен «таганским старцем», главным врачом Таганской тюрьмы Михаилом Александровичем Жижиленко, духовным чадом отца Валентина, одновременно с отцом Никодимом рукоположенным во священники владыкой Димитрием.

Будучи в Серпухове и уже зная о несчастье Надежды Петровны, Миша обратил внимание на двухэтажный дом на Рождественской улице, расположенный в окружении сразу трёх действующих церквей: Троицкой, Крестовоздвиженской и Печорской Иконы Божией Матери. В доме сдавалась уютная, светлая комнатка...

Надежда Петровна согласилась перебраться в Серпухов и к назначенному дню уложила весь свой невеликий скарб. Больше всех огорчалась её с сыном отъезду дочь Аглаи Аня, горько плакавшая из-за разлуки с лучшим другом. Мальчик, как настоящий мужчина, держался стойко и старался утешить её. Утешала и Аглая, обещая, что они будут непременно ездить в гости к тёте Наде и Петруше. Но девочка не хотела успокаиваться.

— Почему они должны уезжать? — непонимающе всхлипывала она.

И никто не отвечал на горький вопрос блестящих слезами васильковых глаз.

В самом деле, трудно объяснить ребёнку, что правила жизни, в которую он только вступает, задают

негодяи и дураки, а ведь по ним придётся жить!

Слёз не могла сдержать и Аглая, подарившая изгнаннице свою шубу к заметному, но не высказанному недовольству мужа. Обнимая напоследок подругу, она обещала помогать всем, чем сможет, и непременно навещать, наказала писать. Надежда Петровна благодарной улыбкой благодарила всех и была единственной, кто никого не винил и не жаловался, смиренно принимая данный крест. Миша восхищался ею.

Подводы тронулись. Аглая с Аней шли за ними до конца улицы, утирая слёзы и маша руками. Миша, провожавший изгнанников до нового места жительства, сперва молча шёл рядом с подводой, а затем, когда миновали заставу, поместился рядом с Надеждой Петровной. Изгибы московских улиц сменила загородная ширь, палимая солнцем. Живо вспомнилась поездка в Саров. Тогда было также жарко, также гудели осы и слепни, слетающиеся на лошадиный пот, также скрипели медленно ползущие подводы, и что-то бормотали себе под нос возницы... И травяная гладь, украшенная россыпью благоухающих полевых цветов, шла волнами при дуновениях ветра...

Миша соскочил с подводы, проворно нарвал охапку цветов и вручил букет Надежде Петровне:

— Не грустите, Надежда Петровна! Всё наладится, вот увидите! Серпухов — чудесный город с чудесными людьми! И я буду помогать вам!

— Спасибо вам, Мишенька, — мягкие, правильно очерченные губы тронула ласковая улыбкой. — И без того уж мы перед вами в неоплатном долгу. Столько у вас забот с нами!

Петруша убежал вперёд, детски радуясь открывшимся просторам и тёплому дню. Надежда Петровна поправила широкополую шляпу, защищавшую от солнца лицо, вдохнула аромат цветов. Миша

любовался ею до стеснения в груди. По одному её слову он бы расстался с мыслями о священничестве, забыл бы обо всём, а она молчала, смотрела ласково, но видела лишь... мальчишку. Знала бы она, что сделалась главным грехом его исповедей! Благоговевая перед ней, он не мог не питать к ней самого земного, плотского влечения. Ни один мужчина не смог бы! И это влечение рождало в воображении куда как далёкие от целомудрия фантазии. Мысленно он уже не раз был с этой женщиной и, вспоминая об этом рядом с нею, каждый раз стыдился себя, чувствовал себя грязным перед нею.

— Столько у вас забот с нами! — словно острой иглой в грудь кольнула.

Миша не выдержал, тронул горячими губами кончики её пальцев, сказал негромко:

— Я бы хотел заботиться о вас каждую минуту моей жизни до самого последнего её часа! Если бы вы только позволили мне! Надежда Петровна, знайте, что моя жизнь принадлежит вам, вы вольны распоряжаться мною!

Она мягко отняла руку, опустила лицо, так что его вовсе не стало видно под полями шляпы. В этот миг к подводе подбежал Петруша с пригоршней земляники в ладонях. Протянув ягоды матери, предложил:

— Угощайся, мама!

До конца пути они говорили лишь об отвлечённых предметах. По приезде в Серпухов Миша помог Надежде Петровне устроиться на новом месте, познакомил её с отцом Александром Кремышенским, ставшим инициатором серпуховского отхода. Последний обещал помогать изгнаннице на первых порах освоиться в городе. Когда Миша уже собирался уезжать, Надежда Петровна сказала виноватым тоном:

— Мишенька, я хотела вам сказать... Вы очень дороги мне. Вы стали мне за два года близким

человеком. Вы мне... — она помедлила, — как брат, которого у меня никогда не было. Но не ждите, прошу вас, большего. Я люблю только одного человека: моего мужа. Только в надежде на то, что он жив, я не уехала из России. И я... буду верна ему до конца. А если не ему, то его памяти. Простите меня! Менее всего я хотела бы вам причинить боль. Простите!

— Это вы простите меня, — ответил Миша, скрепя сердце. — Я не должен был забываться. Как бы то ни было, одно остаётся в силе: что бы ни случилось, вы всегда можете рассчитывать на меня. Мою преданность вам не изменит ничто.

— Спаси вас Господь, Мишенька! — впервые за этот тяжёлый день на глазах Надежды Петровны блеснули слёзы.

В Москву Миша возвращался опустошённым. Горько ощутилось отсутствие отца Валентина, всегда умевшего найти единственное нужное слово. Как хотелось увидеть его! Выплакать перед ним всё раздирающее душу! Но и этого утешения был лишен он. И даже молитва не давала облегчения...

На другой день после службы на Ильинке было собрание, посвящённое нехватке пастырей в истинной Церкви ввиду их учащающихся арестов. Всем было ясно, что отцу Никодиму, сменившему отца Валентина, недолго оставаться на свободе. В условиях развернувшихся гонений необходим был резерв священнослужителей, которые могли бы заместить арестованных и ссыльных исповедников. Вопрос ставился, по существу, как призыв к верным пополнить ряды. Практически записаться в смертники...

И, вот, при воцарившемся скорбном и тревожном молчании из рядов прихожан выступило несколько молодых людей, готовых принести себя в жертву.

Судьба решилась, не дав выбора, не терзая предложением разных путей. Та, ради которой не жаль

было жизни, осталась верна другому, а, значит, остался один путь. Путь изначальный... Лишь бы отец Валентин благословил!

Перекрестившись, Миша выступил на середину храма...

Глава 9. Расплата

Ещё только скрипнули под мерными, тяжёлыми шагами ступеньки, а он уже внутренне вздрогнул, тотчас узнав грузноватую поступь.

Жена приехала неожиданно, рано утром, когда Таи не было дома. С самым невозмутимым видом вошла в дом, осматриваясь, словно что-то ища. После продолжительной разлуки она показалась ему старше, чем прежде. Или просто прежде привычка мешала рассмотреть? Нет, всё та же прямота в ней, та же поднятость темноволосой головы, тот же всё замечающий, цепкий взгляд... Только мешки набрякли под глазами, а продолговатый овал греческого лица портил наметившийся второй подбородок.

— Лида? А что ты здесь делаешь?

По тонким губам скользнула усмешка:

— Вообще-то, здесь как будто мой дом. Ты не забыл?

— Прости. Почему ты не предупредила, что приедешь?

— А разве должна была? — Лидия невозмутимо отодвинула от стола стул и, опустившись на него, воззрилась неморгающим взглядом на Сергея.

Этот неотрывный взгляд он никогда не мог выносить долго, и она знала это. Как ни взволнован был Сергей, а всё же с долей облегчения отметил, что жена приехала без поклажи, а, значит, пытка долго не продлится.

— Ты один? Где Тая? — при этом вопросе не один мускул не дрогнул в лице этой словно изваянной из камня женщины.

— Она на работе. Она работает... Тут недалеко... В больнице...

— Санитаркой, ясно, — констатировала Лидия, обладавшая непостижимой способностью угадывать всё. — А ты?

— Ты знаешь, что лишенцам трудно найти работу.

— В самом деле.

— Впрочем, я всё же собираюсь подать заявление о восстановлении в правах, — торопливо сказал Сергей. — Я уже составил его. Буду подавать снова и снова, пока не добьюсь справедливости.

— Тоже занятие, — согласилась жена, монотонно постукивая кончиками пальцев по столу.

Её ледяная бесстрастность начинала выводить Сергея из себя. Ни проблеска чувства! Ни обиды, ни ревности! Точно к постороннему человеку приехала! Что за убийственное равнодушие? Как только прожили вместе столько лет? Хотя... Вместе ли? «Вместе» было разве что в первые годы, а затем одно лишь обоюдное одиночество.

— Зачем ты приехала, Лида?

— Не бойся, не в гости, — холодно ответила жена и положила на стол несколько купюр, разделив их на две стопки. — Я получила письмо от твоего отца. Любушка через неделю выходит замуж. Детей я отправила туда погостить десять дней назад. Твой отец пригласил нас обоих на свадьбу, но я поехать не смогу. Папа болен и нуждается в присмотре. Поэтому, я надеюсь, что съездишь ты. Здесь, — она кивнула на деньги, — на подарок Любе и немного для детей.

— Ты, как обычно, уже всё решила? — раздражённо спросил Сергей.

— Ну, что ты. Ты теперь человек самостоятельный, всё решаешь сам, — в тоне Лидии звучала скрытая ирония. — Только я подумала, что ты не захочешь оскорбить собственного отца. К тому же ты обещал, что наведишь детей. Или я что-то путаю?

Нет, разумеется, она не путала. Она, как всегда, была права. Только правота эта выразалась таким тоном, что безумно хотелось поступить наперекор ей.

Лидия поднялась, заметила, не меняя интонации:

— Затворничество дурно отразилось на твоих манерах.

— Что ты имеешь ввиду? — напрягся Сергей, готовясь отразить удар.

— Я имею ввиду, что, как бы ты ни был не рад моему визиту, но, как человек воспитанный, мог хотя бы предложить мне с дороги чаю.

— Прости... Ты слишком неожиданно появилась... Я сейчас поставлю.

— Не суетись, обойдусь, — Лидия спокойно подошла к стоящей у двери кадке, зачерпнула ковшем ледяной воды, сделала несколько глотков и, повесив ковш на место, спокойно подытожила: — А всё-таки ты негодяй.

Когда бы хоть эти слова сказала она в сердцах! Когда бы навернулись слёзы на её бесчувственные глаза! Нет, она и их сказала тоном выносящего приговор судьи! И от этого ударили они ещё сильнее, прозвучали ещё уничижительнее.

— Может быть, и так! — вскрикнул Сергей. — Но виной этому твоя бессердечность! Твоя чёрствость! Ты даже сейчас, даже сейчас смотришь на меня, как на пустое место! Тебе не было и нет дела до того, что происходит в моей душе, словно её у меня нет! А я живой человек, понимаешь?! Я живой! И я не мог больше существовать так! Не мог терпеть такого отношения к себе! Я не твоя комнатная собачка!

— Что правда, то правда, — хладнокровно отозвалась жена. — Комнатные собачки не изменяют своим хозяевам.

— Ты измучила меня своими оскорблениями!

— По-моему, до сего дня я не позволила себе ни одного грубого слова в твой адрес.

— Лучше бы ты позволяла себе эти слова! Но они бы рождались от чувств! От обиды, от чего-то ещё! Но ты ничего не чувствуешь! Потому что для этого надо любить! А ты меня не любила! Почему бы не признаться в этом? Ты совершила ошибку! Вышла замуж не за того человека, который был тебе нужен! Но твоя гордость не позволяет тебе этого признать! И ты придумала себе подвиг, и любишь им, любишь своей жертвенностью по отношению ко мне! Только я не просил твоих жертв! Ты не оскорбляла меня — действительно! Только каждую минуту своим тоном, своим поведением, отношением унижала меня, показывала мне, что я ничто, что моё мнение ничего не значит, что я ни на что не имею права! И я почти привык к этому, живя в таком ужасном вечно подавленном состоянии!

— Слишком много слов для самооправдания, — невозмутимо сказала Лидия, выходя на крыльцо. — Друг мой, ты, конечно, будешь сейчас искать во мне всевозможные пороки и непременно найдёшь, потому что это необходимо тебе для извинения собственного преступления. Но я не собираюсь вдаваться в разбирательства, кто из нас больше виноват. Пользы от этого никакой, к тому же подобные выяснения отношений — моветон. Я искренне желаю, чтобы твоя новая любовь, наконец, дала тебе то, что так и не смогла дать я, — она взглянула на небо, уронившее первые капли надвигающегося дождя, раскрыв зонт, сошла со ступени, и докончила: — Однако, если однажды ты наиграешься ею, или она, повзрослев, наиграется тобой, знай: я остаюсь твоей женой, как бы ни сложилась жизнь, и мой кров всегда будет твоим. А теперь прощай! Не забудь про сестру и детей.

Уже под частым дождём Лидия вышла за калитку и неспешно пошла по дороге, ничуть не боясь гроыхающей совсем близко грозы.

Сергей с раздражением швырнул деньги в ящик комода, заходил по комнате, обхватив себя руками. Как же умела эта ледяная женщина разбередить все раны! Словно нарочно, методично сыпала на них соль! Что ни слово — ищи подковырку! Мир не видел ещё подобных ей! Нет, её не упрекнёшь в отсутствии заботы, неверности или иных пороках. Наоборот, в этом смысле она может служить образчиком, воплощением Долга. Но даже забота её оказывалась какой-то механической, бездушной! Не женщина, а машина. Машина, в систему которой заложен набор обязанностей, которые она выполняет безукоризненно, не давая сбоев. Но эта механичность не способна считаться с личностью, личности для неё не существует, а только голая система.

Болезненные воспоминания обид и раздражённость на Лидию сменила печаль. Припомнились первые годы совместной жизни. Правду сказать, и тогда было в жене чересчур много неженской решительности, стремления подчинять всё и всех своей железной воле, но тогда была же и нежность в ней, и ласковость, была общность интересов, полное взаимопонимание. Куда только улетучилось всё это?

Прибежала из больницы Тая. Зонт не взяла с собой, пронеслась промельком по саду, прикрывая до плеч стриженную, не знающую завивки головку «простынёй» «Известий», вбежала в дом, вымокшая до нитки.

— Что-то случилось? На... тебе лица нет.

Она до сих пор стеснялась говорить ему «ты», и эта мелочь почему-то умиляла.

— Ничего особенного, просто задумался не о том, о чём следовало бы. А, вот, ты, если сию секунду не переоденешься, рискуешь схватить ангину.

— И ничего я не схвачу! — беззаботно отмахнулась Тая. — Ты же знаешь, что простуды ко мне не пристаю!

Это была сущая правда. Миниатюрная, с виду хрупкая, после пережитого голода не могшая хоть немного располнеть из-за какого-то нарушения в организме, Тая отличалась исключительной крепостью здоровья. Её мягкие руки ласково обвили плечи сидевшего на диване Сергея, от чего на душе немедленно потеплело, губы коснулись уха:

— Не грусти, пожалуйста. Всё обязательно будет хорошо.

Они жили вместе уже много дней. Точнее сказать, под одной крышей, ибо, несмотря на уверенность Лидии, отношения их так и не преодолели последней запретной черты. Этому мешала память. Память, в которой жила Тая-ребёнок, каким она была совсем недавно, и к которому Сергей относился отечески.

Новое чувство, постепенно вытеснившее то, явилось в нём не спонтанно, а возрастало медленно в течение последних полутора лет. Готовя Таю к поступлению в институт и много времени проводя с нею, он сперва угадал нечто в её глазах, обращённых к нему. Никто прежде не смотрел на него так. Постепенно пришло осознание того, что Тая из девочки-подростка превратилась в юную девушку, живущую уже совсем не детскими чувствами. Долгое время Сергей старался заглушить пробуждающееся в сердце влечение, твердя себе, что сам он обременён семьёй, а Тая ещё ребёнок, что подобное влечение преступно и стыдно. Но сердце, как уже бывало, повиноваться отказывалось. Со всей остротой он понял серьёзность положения во время болезни, всё время которой Тая преданно ухаживала за ним. И, оправившись, не столько от Лидии сбежал Сергей в Посад, сколько от Таи. Он решил проверить чувство разлукой, расстоянием. Если всё это химера, то и улетучится быстро, а если нет, то... Что будет в таком случае, Сергей не решил твёрдо. Он бежал,

положившись на судьбу. И судьба исполнилась так, как исполнилась...

Все недели разлуки Сергей не находил себе места от одиночества и тоски. Одиночество было полным, так как в Посаде не осталось никого из прежних знакомых. Весной минувшего года был разгромлен созданный в Лавре музей. В «Рабочей газете» вышла огромная, на целую страницу, статья с фотографиями и мерзкими текстами о каждом сотруднике музея, начиная с директора фон Дервиза, бывшего помещика. Всех сильнее досталось научному руководителю музея Юрию Александровичу Олсуфьеву, крупнейшему ученому искусствоведу, специалисту по древнерусскому литью и иконам. Для советской власти этот замечательный человек был лишь бывшим графом, землевладельцем, окопавшимся врагом... Прочие сотрудники оказались сплошь сыновьями попов, бывшими дворянами и купцами, а также монахами Лавры. Олсуфьева посадили, остальных просто выгнали.

Осенью того же года страна отмечала десятилетие Октября. Сергей в те дни нарочно старался не выходить на улицу, чтобы не видеть повешенных всюду красных флагов и транспарантов. По Пречистенке целых два часа подряд шла демонстрация, несшая портреты Ленина, карикатуры на капиталистов, белогвардейцев и нэпманов, и горланившая революционные песни, превосходившие своей гнусностью любую матерщину. «Посмотрите, как нелепо раскривилась рожа нэпа», — так начиналась одна из них.

В Посаде же, получившем гнусное наименование «Загорск», в целях чистки засевших в городе «бывших» устроили провокацию: кто-то выстрелил в окно дома, в котором проживал секретарь укома. По этому делу арестовали тридцать человек — бывших купцов, бывших дворян, духовенство... В «преступлении» никто

не сознался, а один из арестованных, восемнадцатилетний юноша, заявивший себя монархистом, прямо сказал, что он бы промашки не дал. Дело разрешилось относительно благополучно. Арестованные отделались запретом жить в шести крупнейших городах России...

Посад опустел. Опустели и его окрестности, практически очищенные от монахов, дотоле ещё живших в немногочисленных скитах. Это запустение навело на Сергея чувство безысходной хандры. И тем сильнее становилась тяга к той, от которой бежал он в надежде остудить чувства и которую, сбежав, стал засыпать письмами, не писать которых не мог...

Тае было восемнадцать, хотя по миниатюрности своей она легко сходила за подростка. Таких, как она, в театрах называют травести. Последний год Сергей подчас не смел смотреть на неё, а теперь не смел прикоснуться. Однако, затянувшаяся пауза требовала быть прерванной, и внезапно он ощутил, что прерванной она должна быть именно сейчас.

Чувствуя сухость во рту, Сергей повернулся к Тае. Она сидела перед ним, едва заметно дрожа от холода. Летнее платье из голубого ситца, промокнув, прилипло к телу, и под его покровом угадывались небольшие всхолмья груди, изящный изгиб тончайшей талии. Сергей осторожно опустил руки на плечи Таи. В своей трогательной беззащитности, чистоте и распахнутости навстречу она вдруг сделалась для него желанной до помрачения рассудка. Он склонился к ней, коснулся губами тонкой, белой, нежной шеи, в который раз повторяя многократно высказанные за эти дни признания. Она всё поняла и вдруг проворно отстранилась.

Сергей похолодел, взглянул на Таю со смесью недоумения, разочарования и обиды. Она чуть улыбнулась, стыдливо опуская глаза:

— Не здесь... Пожалуйста... Здесь слишком много света...

В маленькой спальне свету места не оставили, плотно зашторив окно и затворив дверь, и в создавшейся темноте Сергей уже не мог разглядеть, а лишь угадывал испуганно-счастливое выражение лица Таи...

Полдень, должно быть, давно остался позади, когда она, всё ещё не решаясь отдернуть занавеску, затеплила ночник и, застенчиво запахнув белую сорочку, повернулась к Сергею:

— Я так счастлива! Я теперь всё-всё смогу вынести, лишь бы только быть рядом с тобой.

Он ласково погладил её по тонким, пушистым волосам:

— Милая Тая, ведь за наше счастье нам придётся платить...

— Я бы согласилась на любую цену, лишь бы платить пришлось мне одной, — горячо сказала Тая, коснувшись губами его ладони.

Сергей приподнялся и, вдохновлённый моментом, предложил:

— А хочешь — поедем с тобой по Волге? В Углич, Ярославль, Кострому? Забудемся хоть ненадолго ото всего и ото всех! Ты не представляешь, какой живительной силой обладают путешествия!

— Это было бы чудесно, но как мы поедем? Ведь у нас денег...

— Они есть! — торжественно воскликнул Сергей. Вскочив с постели, он сбегал в гостиную, вынул из ящика комода беспорядочно брошенные туда купюры и, возвратившись, показал их Тае: — Вот! Их достанет на поездку, если мы будем бережливы, и наши ноги будут достаточно крепки для длительных пеших походов! Отправляемся завтра же!

Она не спросила, откуда взялась такая сумма, когда ещё вчера не было ни гроша, не стала рассуждать о том, не лучше придержать их на чёрный день, что непременно сделала бы Лидия, а с радостным вскриком бросилась ему на шею, забыв застенчивость.

Их путешествие продолжалось две недели. Отправились напрямиком из Посада и к вечеру были уже в Ярославле. Оттуда продолжили путь на пароходе, что привело Таю в особенный восторг, так как ни разу прежде ей не приходилось путешествовать по воде.

На другое утро засияла золотом куполов своих пятидесяти семи церквей Кострома. На высоком холме показались мощные белые стены Ипатьевского монастыря, откуда некогда был призван на царство отрок Михаил Романов, позади него — кремлёвские стены и башни. Во всех уголках города свечками взмывали к небесам стройные колокольни: белые, розовые, жёлтые, шатровые и высокие со шпилями. Всё это великолепии тонуло в зелёных кудрях многочисленных садов.

Берега Волги были усыпаны, словно самоцветными камнями, старыми русскими городками, каждый из которых был подобен Костроме в миниатюре: те же благоухающие сады, те же колокольни и купола, те же деревянные домики, украшенные затейливой резьбой...

В Нижнем Новгороде, сильно напоминавшем Москву, любовались древними, тёмно-красными кремлевскими стенами с мощными башнями, опоясывавшими гору и уходившими вглубь вдоль оврага. Внутри Кремля, как и в Первопрестольной, взмывала ввысь белокаменная красавица-колокольня, а рядом белели два огромных с золотыми куполами пятиглавых собора. Сколько же всего церквей было россыпью разбросано по городу, сосчитать оказалось сложно. Сорок сороков — не иначе: на набережной Оки, на косогорах и меж оврагов, за

рекой... Все и осмотреть не успели: нужно было на окский пароход спешить.

Путешествуя по Оке, навестили Муром и Касимов, Елатьму и Рязань, все столь дорогие и родные уже одним именем своим русскому сердцу города.

Большое счастье было созерцать всю эту неизъяснимую красоту. Но куда большим — ежеминутно ощущать подле себя тепло любимой и любящей женщины, видеть её сияющее лицо, целовать его. Лёгкая и быстрая, Тая порхала, как маленькая пташка или бабочка, словно вовсе не касаясь земли в своей окрылённости. И рядом с нею забывалось абсолютно всё...

Две недели прошли в упоённости друг другом, в совершенном растворении друг в друге. Но всё хорошее имеет горькое обыкновение заканчиваться, тем более, когда это хорошее незаконно крадётся у судьбы.

По возвращении в Посад Сергей получил оглушительную телеграмму от жены. Дочь Ика серьёзно разбилась, упав с лошади. Отец срочно отвёз её в районную больницу в очень плохом состоянии. Лидия выехала туда и просила незамедлительно выслать оставленные ею деньги, необходимые для переезда Ики в Москву и дальнейшего лечения.

Читая эту телеграмму, Сергей чувствовал, как земля уходит из-под ног. В глазах потемнело. Он бессильно опустился на стул и, закрыв лицо руками, заплакал. Неужели эта и есть цена? Расплата? Но почему Ика? Ведь она-то невинна! Каждое слово телеграммы прожигало насквозь. Господи, и зачем только оставила Лидия эти злосчастные деньги! Лучше бы глаза их не видели вовсе...

Прибывшая Тая испуганно бросилась к нему:

— Что случилось? Что с тобой? Да не молчи же, умоляю!

Сергей поднял голову и безмолвно посмотрел на неё. Пролетели перед взглядом прошедшие счастливые недели. И как ей сказать теперь?.. Ведь презирать станет... Ведь подлецом сочтёт, и справедливо...

— Господи, да что же произошло? У тебя глаза — страшные...

— Я преступник, Тая, — хрипло сказал Сергей. — Я Икочку убил...

Тая побледнела:

— Что ты говоришь такое? Объясни же ради Бога!

Он молча кивнул на валявшуюся на полу телеграмму:

— Прочти...

Тая быстро подняла её, прочла, осторожно положила на стол и тихо спросила:

— У нас совсем ничего не осталось от этих денег?

Сергей мотнул головой, искоса посмотрел на Таю:

— Презираешь меня?

— За что же? — сплеснула руками она.

— Да знаешь ли ты, что я эти деньги должен был отвезти детям? Да подарок на них купить к сестриной свадьбе? Я же... Я же подлец после этого! Хуже подлеца... Я... — Сергей задыхался от отчаяния. — Я только несчастья всем приношу! Ничего не выходит у меня... И нельзя меня не презирать! Поэтому лучше уходи...

Он не успел закончить фразу, как тёплая ладонь Таи заслонила ему рот. В её лице не было ни тени укора, а лишь одно живое сострадание:

— Ты жизнь мне спас и счастье подарил, выше которого быть не может. И никуда от тебя я не уйду. Не казни себя так. Икочка, Бог даст, поправится. Она здоровая, крепкая девочка!.. Деньги, конечно, мы должны вернуть.

— Мы?

— Мы, — повторила Тая. — Если бы не я, они были бы целы.

— Да как же мы вернём их? — развёл руками Сергей, немного успокоенный её участием. — Тем более, они нужны срочно! Нельзя и дня промедлить!

— При такой срочности остаётся только одолжить... — предложила Тая.

— Одолжить? Но у кого же? Если бы Стёпа был здесь... Но он приедет из Сухума не раньше октября! А больше... мне никто не даст. Кто поверит в долг безработному лишенцу?!

— Твоя сестра поверит.

— Аглая?

Что ж, это выход был. У Аглаи попросить не так стыдно, как у других. Столько самой ею было пережито, столько тайн сокрыто, что с укором не взглянет. К тому же и материальное положение её благополучно, и не станет для неё такая сумма серьёзным ущербом. И с возвратом не такая удавка выйдет...

Через несколько часов Сергей уже отправлял нужную сумму по назначению. Сестре он ничего не сказал о растрате, спросив лишь денег на лечение дочери, и та без единого звука удовлетворила его просьбу, предупредив участливо:

— О возврате не думай. Не чужие, чай, чтоб считаться. И если что-то нужно будет, сразу говори. И Лидии дай знать, чтобы, как Илочку привезёт, сразу сообщила. Я доктора нашего попрошу, что к тебе ходил. Он и сам осмотрит, и в больнице устроит получше. Непременно передай ей это!

Сергей растроганно расцеловал сестру.

Отправив деньги, он так и не решился поехать сам. После всего случившегося невыносимо тяжело было смотреть в глаза Лидии, детям, отцу... А ещё того хуже чувствовать на себе их и других вопросительные, порицающие взгляды. Сергей с болью осознал, что этот

барьер, отделивший его от семьи, ему уже не преодолеть, что отныне он станет лишь расти, обращаясь стеной отчуждения между ним и родными, от которых он сам себя отторг. Так начиналась расплата...

Глава 10. Дно

Фарфоровый китайчонок лукаво улыбался: то ли посмеивался, то ли ободрял перед трудным делом.

— Что, Конфуций? — Никита покрутил статуэтку в руках. — И не скажешь ведь, «что сбудется в жизни со мною». Твоя хозяйка говорила, что ты приносишь удачу и охраняешь дом... Зря она отдала тебя мне. Может, ты бы охранил её? Ладно... Теперь, что бы ни случилось, оправдай её слова, береги этот дом.

— С кем ты разговариваешь? — спросила Варя, входя.

— Так... С самим собой.

— Это на тебя непохоже, — жена посмотрела пристально. — Ты куда-то собираешься?

— Да, Лёва Маслов пригласил посидеть в одном местечке... Бог знает сколько не виделись!

— Ты какой-то загадочный в последнее время. Сам не свой... — Варя по-детски закусила губу. — Ты ничего от меня не скрываешь?

— Бог с тобой! — Никита нарочито весело чмокнул жену в лоб, легко приподняв её и снова поставив. — Я чист, как слеза младенца! Прости, я должен бежать. Лёва ждёт!

— Когда ты вернёшься? — этот нервный вопрос Вари застал Никиту уже на пороге и заставил его вздрогнуть:

— Я точно не знаю... Я, возможно, заночую у Лёвы... Бог знает сколько не виделись... Не волнуйся, я позвоню!

Бедная Варя, она и предположить не могла, куда он отправляется. А узнай, верно, не пустила бы, не позволила бы рисковать. Именно поэтому, мучаясь тем, что впервые в жизни обманывает её, огорчает,

заставляет ревновать и волноваться, Никита всё-таки не говорил ей правды.

Прошло больше двух месяцев с его визита на квартиру Аделаиды Филипповны, и за это время никто не вспомнил о нём, ничего не было слышно о ходе следствия, и он уверился, что оное так и не стали проводить. Но однажды смутно знакомый голос окликнул его на улице:

— Никита Романович!

— Гражданин начальник... — сразу признал Скорнякова Никита.

— Можно «товарищ», вы не подследственный. А лучше по имени отчеству. Этот «начальник» мне уже порядком набил оскомину. Дурацкое обращение.

Эта нарочная или естественная простота и открытость сыщика невольно располагали к нему.

— Я вас слушаю, Тимофей Лукьянович. Не ждал уже вновь вас увидеть.

— Я не имею обычая бросать слова на ветер. Надеюсь, и вы также?

— Я в вашем распоряжении.

— Отлично. Тогда перейдём к делу.

Дело у Скорнякова было нешуточным. Требовался не «засвеченный» человек для проникновения в один из московских притонов, где, как выяснило следствие, бывает подозреваемый в ряде ограблений и убийств бандит Сашка-Шрам.

— Прежде чем соваться в это осиное гнездо, нам нужно изнутри разузнать, что в нём творится. Вам не придётся участвовать в каких-то действиях, внедряться в банду или что-то в этом роде. Вам нужно будет только осмотреться и сообщить нам всё, что вам удастся заметить, — объяснял сыщик.

Никита, разумеется, был готов на всякое содействие.

С той поры вот уже два месяца он вёл двойную жизнь и открывал для себя страшный мир нового «дна». Никакие газеты не дадут сколь-либо достаточного представления о нём. Всю чёрную пропасть его можно понять, только погружаясь в неё. Никита был поражён количеству притонов в столице некогда Святой Руси. Прежде он был наслышан о притонах в китайских прачечных. Китайцы, которых насчитывалась добрая тысяча в Первопрестольной, жили согласно своим обычаям, но это не мешало им приторговывать опиумом, способствуя духовному и физическому разложению «аборигенов». После печальных событий на КВЖД власти, как водится, не утруждаясь формальностями, попросту репрессировали всех московских китайцев и таким образом покончили как с прачечными, так и с притонами.

Но что там китайцы, когда было ещё столько своих «заведений»... Местом дислокации Никиты стала чайная в Волконском переулке, соединявшем Божедомку с Самотечной улицей. Держала его некая Касатка, одноглазая баба, которую побаивались даже матёрые воры. Заведение имело даже не двойное, а тройное дно. Под видом чайной — и это было достаточно известно — скрывался бордель или «салон». «Салон» имел высокую репутацию, его завсегдатаями были представители так называемой интеллигентной публики. В ассортимент заведения входило спиртное, опиум, женщины и карты. Особо взыскательным предлагалась даже литература в виде брошюры француза Фаррера «В грёзах опиума». Впрочем, кошмары советских замордованных жизнью кокаинистов мало походили на описываемые Фаррером грёзы. Именно опиум и азартные игры, требовавшие немалых денег, толкали многих из салонной публики на преступления.

О третьем дне чайной Касатки знали лишь немногие. Это третье дно было уже настоящим

«волчатником», где собирались матёрые уголовники, хранилось и сбывалось краденое. Вот, это-то дно и интересовало Скорнякова. И чтобы узнать о нём подробнее ему требовался человек, способный легко вписаться в «интеллигентную публику» дна второго. Среди милицейских сотрудников таковых наблюдалась явная нехватка. Даже несмотря на чистки двадцать пятого года, многие сотрудники до сих пор едва знали грамоту. Милиция комплектовалась, начиная с революции, по классовому принципу: только из рабочих и крестьян. Опыт и знания были вторичны. Что же мог наработать вчерашний деревенский или фабричный балбес? Учить и учить такого! А по случаю торжества «свободы и равенства» сколько среди новых стражей порядка оказалось лиц, осознавших своё «право» в такой степени, что оно вылилось у них в произвол над подвластными гражданами? Пьянства, вымогательства, насилие над женщинами — подобных безобразий в царской полиции невозможно было вообразить. Милиция советская дала довольно таких печальных примеров. А НЭП к тому дал толчок взяточничеству, с которым объявлена теперь была бескомпромиссная борьба. В честь этого «Известия» пропечатали стихотворный опус одного из стражей:

Стою на страже революционной
И на борьбу всегда готов.
Я власть Советов охраняю
От нападения врагов,
А их у нас в стране немало,
Бандит, буржуй, лохматый поп,
Но я на страже... Не проморгаю,
А если нужно, то пулю в лоб!
...Пусть верит Коминтерн, что...
За кровавый пот, за кровь трудящихся
Всех в мире рас и наций...

Жестоко отомстят... наш обновлённый флот,
Стальная армия и силы авиации!

Объективно оценивая своих подчинённых, Скорняков, не один год прослуживший ещё в сыске царского времени, понимал, что мало кто из них способен сыграть нужную роль. А к тому имел место риск быть опознанными кем-то из бандитов. Для Никиты такого риска как будто не существовало, но случилось вовсе неожиданное.

В третий свой визит в салон Никита, как обычно, сперва сыграл несколько партий за карточным столом (средства на это выдал Скорняков), а затем примостился у стойки, заказав вина и не без огорчения подумав о том, что Варя может заподозрить его в пьянстве и ещё худших прегрешениях. Вдруг кто-то негромко спросил его:

— Никита Романыч, что вы здесь делаете?

Стараясь не выдать волнения, Никита повернул голову. Справа от него сидел щегольски одетый, коротко стриженный молодой человек. Никита припомнил, что в прошлый раз заметил его за карточным столом, как подозрительно удачливого игрока. Вблизи лицо молодого человека было как будто смутно знакомым. Никита напряг память. Кто же это? Голоса слышать не приходилось никогда, но лицо... Чей-то сын, похожий на отца? Нет, не то... Кто же тогда? И как током ударило — Ярославль! Мальчик-доброволец, с которым отмерили столько вёрст по нехоженой чаще... Илюша... С Восемнадцатого и не видел его. После пожара в Глинском Никита был слишком занят Варей, находившейся в ужасном состоянии. А неуёмный мальчонка жаждал, во-первых, сражаться, а, во-вторых, отыскать мать и сестру, оставленных в городе. Никита пытался увезти его с собой в Москву, но Илюша

заупрямился и в назначенный день просто исчез. Если бы не состояние Вари, Никита не оставил бы брата боевого товарища без призора и отыскал бы его, но приходилось выбирать...

— А вы что здесь делаете, Трифонов?

— Хорошая у вас память... Только меня нынче Басмановым кличут, а чаще — Гришка-Валет.

— Так и я здесь Калугин... Выпьем, что ли, за знакомство?

— Непременно, господин капитан... Только, если вам будет угодно, через два часа. Дом в конце Выползова переулка. А здесь нам лучше не знать друг друга. До встречи.

Илья залпом выпил стопку водки и, не закусывая, прошёл к карточному столу.

Никита решил рискнуть и принять его приглашение. Он не верил, что бывший лицеист, выведенный им из горящего города, предаст его. А поговорить было необходимо. Не для дела, но чтобы понять, что произошло с некогда желавшим сражаться за свободу Родины мальчиком.

В назначенный час Никита был у указанного ему дома. «Гришка-Валет» появился спустя четверть часа. Ни слова не говоря, он постучал в окно. В доме вспыхнул свет, и в отворившейся двери появилась заспанная девица в ночной сорочке и шали. Илья потрепал её по щеке:

— Вот, встретил приятеля. Иди спать, а мы потолкуем.

Девица насупилась, но покорилась. «Басманов» провёл Никиту в небольшую комнатушку, достал бутылку с мутной жидкостью и горбушку чёрного хлеба:

— Садитесь, господи капитан, — он плеснул в стаканы подозрительное зелье: — Самогон высшей пробы. Люся сама варит.

— За это теперь срок дают.

— Но вы же не донесёте на Люсю?

— Не донесу, — согласился Никита.

Выпили, не чокаясь, как на поминках, и Илья спросил:

— А на меня донесёте?

— Надеюсь, что нет...

— Надеетесь? Отрадно! А на кого же тогда вы собираетесь доносить?

— С чего вы решили, Трифонов, что я собираюсь доносить?

— Не верю, что вы пришли к Касатке просто поразвратничать и понюхать какой-нибудь отравы.

— Мне тоже трудно поверить, что я разговариваю с шулером. Я должен был позаботиться о брате моего друга и не смог этого сделать... Скажите, Трифонов, что с вами случилось? Я приезжал в Ярославль два года спустя, искал вас и ваших родных, но безуспешно.

— Естественно, — лицо Ильи дёрнулось. — Мои родные к тому времени были давно мертвы. Невестку расстреляли, а мать умерла в тюрьме.

— А вы?..

— А меня отправили в сиротский приют. Я был мальчишка, поэтому к стенке меня не поставили, о чём я очень сожалею. В приюте вначале били меня, потом научился бить я. Воровать я научился там же, потому что все мы были голодны, как стая волчат. Дважды я убегал, но меня ловили, пока, наконец, не отправили перевоспитываться в ИТЛ. Там я пробыл полтора года. Куда мне было идти по освобождению? Сперва я устроился подсобным рабочим на одном складе. Но там, как на грех, случилась покража. Обвинили, само собой, меня. Мне ничего не оставалось, как сбежать в очередной раз. У меня не было ничего: ни денег, ни документов. Случай свёл меня с приютским приятелем... Тут-то всё и началось. Приятель мой был уже опытным вором и его «таланты» довели нас до

Москвы. Здесь мы сперва обретались на Сухаревке... Знаете ли вы, что такое Сухаревка? Дыра почище Хитровки. День и ночь в подземных уборных, среди грязи и смрада взрослые и дети занимались там тем, что пили, баловались кокаином и играли в карты. На кон ставили всё вплоть до исподнего. Проигравшись, одалживали у других что-либо прикрыть срам, шли на рынок и, своровав там что-нибудь, снова ставили на кон. Я поставил себе целью, во что бы то ни стало, вырваться из этого ада. Один старый картёжник выучил меня кое-каким трюкам. Учеником я оказался способным и потому скоро покинул опротивевшую Сухаревку. Год спустя я уже имел поддельные документы, приличный костюм и довольно денег на существование. Вот, собственно, и вся нувелла.

— Если бы вы пришли ко мне...

— Я не знал вашего адреса. И потом чем вы, офицер и купеческий сын, могли бы мне помочь? Вы сами по лезвию ходите.

— Есть человек, который может вам помочь! — воскликнул Никита, подумав о Скорнякове.

— Легавый, что ли? Нет уж, покорнейше благодарю. Я преступник, господин капитан. И уже не по советским законам, а по всяким человеческим, равно как и по божеским.

— Вы не виноваты, Трифионов, вы жертва этого страшного времени...

— В самом деле? А публика, что собирается в волчатнике? Они тоже — жертвы?

— Зачем вы сравниваете? Убийцы, грабители, насильники — это же совсем другое дело! Это не люди!

— Так ведь и я вор. Крови на мне нет, правда. Но вполне могла бы быть, кабы карта иначе легла. Так что мы все — не люди. И тут вы правы.

— Так не должно быть! — страдальчески вымолвил Никита. — И я себе не прощу, что ваша судьба...

— Довольно! — резко бросил Илья. — Не терплю этой высокопарной патетики! Однако же, я вам откровенно всё рассказал о себе. Долг платежом красен, как вы считаете?

— Я готов отвечать вам.

— Вы работаете на легавых?

— Нет. Я связан с ними, правда. Но сюда меня привело моё дело.

— Нельзя ли яснее?

— Несколько месяцев назад был убит дорогой для меня человек. Беззащитная, больная, старая женщина. Я хочу, чтобы убийцы были наказаны. Поэтому я здесь.

— Это, часом, не генеральша с Тверской?

— Вы знаете?..

Илья на минуту вышел из комнаты и возвратился назад с чемоданом. Когда он открыл его, Никита смертельно побледнел, узнав вещи Аделаиды Филипповны.

— Откуда?.. — хрипло выдавил он.

— Не бойтесь. Моей Люське иногда оставляют на хранение... Формально, она ни сном, ни духом не ведает, что это за вещи. А на самом деле знает, разумеется, что они краденые.

— Как же вы, Трифонов, можете помогать им?.. — спросил Никита, задыхаясь. — Ведь на месте этой несчастной старухи могла быть ваша мать...

— Я часть их мира, господин капитан, — сказал Илья. — А у этого мира свои законы. Тому, кто их нарушает, делаютambu быстрее, чем по приговору ревтрибунала. Вам, стало быть, нужен Шрам?

— Вы его знаете?

— Как не знать... — «Валет» усмехнулся, выпил наполненный до краёв стакан и, помолчав, произнёс: — Ну, вот что, Никита Романович, я вам помогу. Но с условием. Про Люську вы будете молчать. Чемодан этот у неё скоро заберут. Кто, я вам скажу. Его пусть ваши

друзья и берут. И когда Шрам будет в чайной, я тоже дам вам знать.

— Зачем вам это, Трифонов?

— Считайте, что мне крайне несимпатичны люди, опускающиеся до нападений на беззащитных старух, — ответил Илья и добавил со скрытой болью: — А ещё больше те, что в своей похоти измываются над сиротами, пользуясь их голодным и беззащитным положением.

— О чём это вы?

— У Шрама была... любовница. Он её подобрал, когда она, оставшись сиротой, побиралась на улице. Она была ещё ребёнком, господин капитан, — при этих словах Илья побледнел. — А он растлил её, а потом сделал из неё... — он судорожно сглотнул. — А, чтобы не сопротивлялась, приучил к этой белой гадости. Недавно она умерла. Ей не было и восемнадцати!

— Вы хорошо знали её?

— Знал, когда сам ещё был голоден и бос. Я обещал ей, что непременно вырвусь из грязи и вытащу её... Но я опоздал! Опоздал! На считанные недели...

— И после этого вы можете с этим выродком?..

— Я многое могу, — зло ответил Илья. — Но вам я помогу, Никита Романович. Раз уж так карты сошлись...

— Вас ведь могут убить за это.

«Валет» пожал плечами:

— Что ж... Может, и к лучшему. Жить мне пришлось по-скотски, так хоть подохну человеком... Идите, господин капитан. Утро уже... И не вздумайте своего легавого обо мне просить. Сделайте одолжение.

Своё слово бывший лицеист Трифонов сдержал. Накануне он украдкой предупредил о том, что в волчатнике ждут Шрама. Голубой платок в кармане пиджака — этим знаком Илья обещал дать знать, когда бандит будет в чайной.

Именно в надежде увидеть этот знак и в волнении перед тем, что должно было последовать в случае такового, Никита покинул встревоженную жену и отправился в Волконский...

Илья, как обычно, коротал время за карточным столом. Вид его был невозмутим, взгляд полностью сосредоточен на игре, а из кармана торчал голубой уголок платка. Никита, также сохраняя спокойствие, сперва прошёл к стойке и неспешно выпил свой обычный бокал вина. Небрежно заплатив, он подошёл к окну и, отдёрнув занавеску, некоторое время смотрел на улицу. Занавеска была условным знаком дежурившим снаружи агентам. В сущности, миссия бывшего капитана Громушкина на этом исчерпывалась, и он должен был спешно покинуть чайную до начала операции. Но Никита замешкался, следя за Ильёй. Он надеялся, что «Валет» уйдёт также. Но тот вместо этого безмятежно доиграл партию и, забрав выигрыш, направился вовсе не к выходу, а во внутренние помещения притона, куда допускались только «свои».

Никита мысленно обругал Илью дураком и скрипнул зубами... На душе было скверно. Ему хотелось принять участие в задержании бандитов лично, но Скорняков строго-настрого запретил лезть на рожон. Никита уже думал уходить, как вдруг в «салон» вошла женщина. Он столкнулся с нею у дверей и вздрогнул, узнав ту самую девицу, что украла кольцо Аделаиды Филипповны. Её так и не арестовали, так как на допросе она показала, что генеральша сама подарила ей перстень, а спрятала она его с испугу, вызванного нападением на неё «незнакомого мужчины». Никаких улик против девушки, которая к тому же сама пострадала при ограблении, не было, а без таковых в стране торжествующей справедливости можно было давать сроки только честным людям.

Девушка также узнала Никиту и, неприятно ухмыльнувшись, положила руки ему на плечи:

— Ба! Куда это вы так спешите? Мы ведь, кажется, не договорили в нашу прошлую встречу? О старухином кольце?

Никита отбросил с плеч её руки, но пути к отступлению были уже отрезаны — у дверей возникли две фигуры не вызывающей сомнений наружности и таких же намерений. Они надвинулись на незваного гостя, оттесняя его вглубь чайной. Бывший капитан осторожно нащупал в кармане наган, отступил на шаг, краем глаза оценивая поле предстоящей схватки. В спину ему упёрлось что-то острое:

— Шагай, куда скажут!

— Приказам подонков никогда не подчинялся, — ответил Никита и, мгновенно развернувшись, отшвырнул угрожавшего бандита прочь. На него немедленно навалилось ещё несколько, но и их он разбросал, как котят, не без удовольствия ощутив прежнюю уверенную силу в могучих руках. Однако, нападавших оказалось многовато, и несколько увесистых ударов Никита всё-таки получил, не оставшись, впрочем, в долгу.

В разгар драки у дверей раздались крики, и в волчатник ворвались милиционеры. Публика бросилась врассыпную. Многие надеялись спастись, выпрыгивая в окна, но там их уже ждали. Среди визга и шума грянули первые выстрелы. Всё перемешалось в глазах Никиты: остервенелые лица бандитов, вывороченная рука с ножом, опрокинутый стол, разбитый о чью-то голову стул. Из рассечённой брови правый глаз заливала кровь. Внезапно он услышал рядом с собой возглас:

— Никита Романыч, осторожно!

Дальнейшее произошло в долю секунды: Никита резко обернулся, успел увидеть нацеленный на себя пистолет, и тотчас его заслонил знакомый клетчатый

пиджак. Грянул выстрел, и Илья, вздрогнув, повалился на пол. Стрелявший в следующее мгновение был схвачен работниками милиции...

Никита склонился к смертельно раненому «Валету», крепко пожал его холодеющую руку:

— Простите меня, Трифионов...

— Шрам... — прошептал Илья. — Он не должен уйти.

— Он не уйдёт, — сказал Никита. — Здесь всё оцеплено.

Мимо протащили отбивавшуюся воровку, в злобе плюнувшую в сторону бывшего капитана.

— Хорошо... — едва шевеля губами, произнёс Илья. — Эх, господин капитан, господин капитан... Где теперь наша ярославская сотня...

Никита закрыл остановившиеся глаза бывшего лицеиста и, подняв взгляд, увидел уводимого милицией бандита с изуродованной щекой, бросившего на него полный ненависти взгляд.

— Это Шрам? — спросил Никита у подошедшего Скорнякова.

— Собственной персоной, — довольно кивнул Тимофей Лукьянович. — А это?..

— Брат моего покойного друга...

— Тот самый добровольный помощник, которого вы так и не пожелали назвать? Что ж, земля пухом. А вам, я похлопочу, чтобы выдали премиальные. Жене-то хоть теперь расскажете, чем занимались эти месяцы?

— Не знаю...

Непринуждённый вид и довольный тон сыщика коробили Никиту, чьи мысли в этот момент были обращены к убитому Илье и своей вине перед этим юношей. Он поднялся и протянул Скорнякову руку:

— Спасибо, Тимофей Лукьянович. Я пойду...

— Э, нет, — сыщик качнул головой. — До дома мы вас подбросим. И не спорьте!

Спорить с начальником милиции — дело бессмысленное. К тому же добираться в ночной час до дома было делом нелёгким. Автомобиль же промчался по безлюдным улицам с изумительной быстротой.

— Вид у вас, конечно... — заметил Скорняков, пожимая Никите на прощанье руку. — Лучше бы ваша супруга спала, а не то всполошится.

Но Варя, как и следовало ожидать, не спала. Увидев растерзанное состояние мужа, она побледнела и сказала со слезами:

— Теперь ты объяснишь мне всё!

— Да, — кивнул Никита, — теперь я, действительно, всё объясню тебе. Только сначала позволь мне умыться...

Но Варя не позволила, а сама промыла и перевязала его раны в то время, как он рассказывал ей захватывающую повесть о том, как ему привелось побывать в роли милицейского агента. Жена слушала, то всхлипывая, то ругая его за безрассудство, а под конец сказала:

— Ты безумный человек, Громушкин! Но я... горжусь тобой! Потому что твоё безумие рыцарское... — и, заплакав, поцеловала.

Глава 11. Аксиос!

— Приводится боголюбнейший, избранный и утверждённый хиротонисаться во епископа богоспасаемого града Серпухова! — густым басом возгласил отец протодьякон, и владыка задал следующий по чину вопрос:

— Чесо ради пришел еси и от Нашея Мерности чесога просиши?

— Хиротонию архиерейския благодати, Преосвященнейший!

— И како веруеши?

Отец Максим стал громко читать Символ Веры. Год назад он принял рукоположение сперва во диакона, а на другой день — во священника. На той хиротонии было людно. Присутствовал на ней и Михаил Александрович Новосёлов, с которым впервые познакомились тогда. В Москве двум москвичам не случилось встретиться, а в сердце Церкви-исповедницы сошлись пути. Та хиротония проходила во Храме Воскресения на Крови, нынешняя — в небольшой пригородной церкви Св. Александра Ошевенского, что подле платформы Пискарёвка, подальше от людских глаз. Издревле епископы поставлялись гласно и при стечении народа, но епископу тайному надлежит до времени скрывать своё епископство, пока не настанет черёд...

Вот, уж не думал отец Максим, что ему суждено облечься в архиерейские одежды. Когда в октябре владыка Димитрий срочно вызвал его в Ленинград и сделал такое предложение, он всячески отказывался, указывая на своё недостойнство и отсутствие опыта. Но епископ Гдовский счёл иначе, и отец Максим

подчинился. Но, подчинившись, доселе робел, не считая себя достойным столь высокого сана.

Его отец прочил обоим своим сыновьям юридическую стезю. Сам он, воспитывавшийся в гатчинском сиротском институте, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Отдав пять лет преподаванию русского языка в родном институте, твёрдо обратился к юриспруденции, став сперва судебным следователем при Белозерском окружном суде, затем — товарищем прокурора в Санкт-Петербурге, и, наконец, прокурором в Калише. В этом польском городе и появился на свет Михаил.

Отцовским стопам последовал только старший сын, Александр, которым юный Миша всегда гордился. Закончив тот же факультет, что и отец, брат за большие успехи был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию, для изучения проблем уголовного права командирован в Германию, где занимался у знаменитого профессора Франца фон Листа.

К сорока двум годам Александр был уже доктором права, экстраординарным профессором Санкт-Петербургского университета и профессором Высших женских курсов, товарищем председателя и председателем уголовного отделения Юридического общества при Санкт-Петербургском университете, членом комитета Русской группы Международного союза криминалистов, членом комитета Литературного фонда, членом редколлегий «Журнала уголовного права и процесса» и газеты «Право» — всего и не перечислить!

Профессор Жижиленко считался одним из основателей отечественной криминологии. После февральской революции Временное правительство назначило его, как человека прогрессивных взглядов, начальником Главного тюремного управления.

Александр выступал за гуманизацию порядков в подведомственных ему учреждениях и уважение личного достоинства заключённых.

Советская власть отнеслась к брату благосклонно, несмотря на то, что в двадцать втором году он выступал общественным защитником сразу шестерых обвиняемых по «делу митрополита Вениамина»: епископа Венедикта (Плотникова), архимандрита Сергия (Шеина), адвоката Ковшарова, профессора права Огнева, священников Чельцова и Зенкевича. Александр продолжал оставаться профессором — теперь уже Института советского права, в который преобразовали юридический факультет, одновременно преподавал в Институте народного хозяйства, был членом президиума Ленинградской секции воздушного права, участвовал в деятельности организованного при Ленинградском губернском суде криминалистического кабинета, работал в Главархиве и в Публичной библиотеке, где занимался систематизацией книг по судебному праву...

Судьба брата походила на чёткую, выверенную линию, всё в ней было систематизировано, словно то была одна из его диссертаций. Жизнь же Михаила складывалась много сложнее.

Не испытывая тяги к юриспруденции, он поступил на медицинский факультет Московского Университета и вскоре женился на юной слушательнице женских курсов. В отличие от многих курсисток, чьё поведение сделало это слово нарицательным для обозначения молодых революционно настроенных особ, избранница Михаила отличалась глубокой верой и чистейшим сердцем. Господь, однако, послал их общей вере тяжелейшее испытание. О том, что жене нельзя иметь детей, Михаил узнал, когда она уже была в положении. Врачи настаивали на принятии мер в связи с невозможностью перенести беременность. Михаил был

в отчаянии. Мысль о том, что любимая жена, юная и цветущая, с которой прожили они считанные месяцы, скоро покинет его навсегда, была невыносима. Принесение в жертву ребёнка могло её спасти... Чувства любящего мужа мучительно боролись с долгом христианина. Может быть, они одержали бы верх, если бы жена не оказалась более высокой христианкой, нежели он. А она оказалась праведницей... Вдвоём они решили положиться на Божию волю и принять её, что бы ни было.

Прожив в браке ровно полгода, Михаил остался вдовцом. Ребёнка спасти не удалось также. С той поры жизнь утратила для него всякую привлекательность. Душа его тяготела к уединению, к удалению от мира. Он мечтал о монашестве, но, видя разруху в монастырской жизни, не принимал постриг, понимая, что обители в их нынешнем состоянии — совсем не то, о чём томится его душа. Не раз думал Михаил оставить всё и уехать на Афон, а до тех пор работал врачом министерства путей сообщения сперва в Благовещенске, а затем — в Москве.

Война подала скорбящей душе доктора Жижиленко надежду. С первых дней её и вплоть до января восемнадцатого он участвовал в боевых действиях в Галиции врачом Кубанского пластунского батальона. Михаил нарочно отправлялся на самые опасные участки, надеясь, что шальная пуля или осколок, наконец, положит конец его мучке. Но гибли другие, а он оставался невредим, подобно отрокам в печи...

Чем невозможнее оказывалась смерть, тем сильнее становилась тяга к духовной жизни. Но порвать с миром не выходило. После окончания войны Михаил занимал различные медицинские должности. Не минула и служба в красной армии, будучи главным врачом полевого госпиталя которой, Михаил попал в плен к казакам генерала Мамонтова. По возвращении в Москву

доктор Жижиленко сделался главным врачом Таганской тюрьмы...

В ту пору у него появился совершенно особенный пациент и Друг. Им был патриарх Тихон. Михаил глубоко почитал Святейшего и, само собой, не мнил себя достойным, чтобы входить в его ближний круг. Однако, патриарх проникся к доктору большим доверием и самой сердечной дружбой. В последние годы своей жизни он не раз удостаивал Михаила откровенных бесед, в которых делился самыми наболевшими чувствами, потаёнными мыслями. Не всегда бывало меж ними согласие. Святейший, несмотря ни на что, долго сохранял упование, что все ужасы советской жизни еще могут пройти и что Россия еще может возродиться через покаяние. Доктор Жижиленко, однако, слабо верил в подобный счастливый исход и полагал, что последние дни предапокалиптического периода уже наступили. Со временем и патриарх стал всё больше склоняться к пессимистической оценке событий. Незадолго до своей кончины Святейший пригласил его к себе. Он долго говорил о тяжелейшем положении Церкви. Болью и страхом за её судьбу был пронизан его голос, наполнены усталые глаза.

— Путь уступок не может быть бесконечен, — с горечью рассуждал патриарх. — Потому что никакие наши уступки не будут им достаточны. За каждым новым шагом у нас немедленно станут требовать следующий. И так — до самого конца! Пока не уведут Церковь в пропасть. В этом их цель, и они не остановятся.

— Но как же быть? — негромко спросил доктор Жижиленко.

— По-видимому, единственным способом для Русской Православной Церкви сохранить свою верность

Христу станет в ближайшем будущем уход в катакомбы, — ответил патриарх.

Эта идея, неоднократно высказываемая ему прежде архиепископом Феодором (Поздеевским), по-видимому, давно и прочно укоренилась в Святейшем. Ещё в 1920 году он издал указ, предписывавший правящему епархиальному архиерею в случае прекращения деятельности законного Высшего Церковного Управления Русской Церкви войти в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях. В условиях отсутствия архиереев, с которыми можно вступать в общение, епархиальный архиерей должен был перейти на самоуправление и взять на себя всю полноту власти в своей Епархии до образования свободного церковного управления. В случае же «крайней дезорганизации церковной жизни, когда некоторые лица и приходы перестанут признавать власть епархиального Архиерея, последний не слагает с себя своих иерархических полномочий, но организует из лиц, оставшихся ему верными, приходы и из приходов — благочиния и епархии, представляя, где нужно, совершать богослужения даже в частных домах и других приспособленных к тому помещениях и прервав церковное общение с непослушными».

Во время ареста патриарха и обновленческого самочиния эта форма церковного управления уже вводилась по указанию митрополита Агафангела. Но лишь в новых обстоятельствах, когда в лице членов «временного синода» митрополита Сергия обновленцы де-факто захватили власть снова, вполне осозналась прозорливая глубина давнего указа Святейшего. Этим документом он загодя заложил законную основу для образования катакомбной церкви, загодя утвердил

каноническое положение тех, кто не пожелает смешивать Христа с велиаром и отойдёт от смешавших.

Анафематствовав ещё на заре большевизма Советскую власть и её сторонников, патриарх так и не снял этой анафемы, несмотря на вынужденное покаянное письмо из заключения. И если для атеистической власти письмо казалось важнее, то для верующих оно не имело серьёзного значения, доколе сохранялась анафема. Под неё-то и суждено оказалось подпасть «мудрому Сергию» и единомысленным с ним.

Именно в ту, как оказалось, последнюю, прощальную встречу патриарх Тихон дал Михаилу благословение принять тайное монашество, а затем, в случае, если в ближайшем будущем высшая церковная иерархия изменит Христу и уступит советской власти духовную свободу Церкви, стать тайным епископом... Последнее тогда потрясло доктора Жижиленко. Ни разум, ни душа не допускали, что однажды это завещание исполнится.

Монашество он так и не решился принять, всё колеблясь и выжидая чего-то. Однако в минувшем году Господь посетил его сильнейшей болезнью, от которой коллеги уже не сулили ему подняться. Было время, когда Михаил искал смерти, но теперь она показалась ему страшна, ибо не оставляла времени исполнить завещанное Святейшим, исправиться. Соборовавшись, доктор Жижиленко дал обет, что, если поправится, то незамедлительно примет сан.

Болезнь отступила, и надлежало исполнить обещанное. Однако, за время его недуга многое переменилось в положении Русской Церкви... Некогда брат Александр получил степень магистра за диссертацию «Подлог документов. Историко-догматическое исследование». В ней, рассмотрев историю и теоретическую разработку понятия подлога, а также вопрос о лжи, как средстве совершения

преступлений, он дал новое определение подлога, как «умышленного искажения подлинности письменного удостоверительного знака с целью употребления его под видом настоящего». Нечто в этом роде произошло в Двадцать седьмом году — умышленное искажение церковного духа с целью употребления его под видом настоящего.

Духовник доктора Жижиленко отец Валентин Свенцицкий убедил Михаила в том, что Сергей, являясь руководителем Православной Церкви, в своих действиях как бы заигрывает с властью, старается Церковь приспособить к земной жизни, но не небесной. Действительно православным епископом отец Валентин называл Дмитрия Гдовского. К нему и отправился доктор Жижиленко.

Принятие священнического сана было для Михаила лишь ступенью. Приняв его, он вернулся в Москву и ещё несколько месяцев работал врачом, после чего в сентябре вновь отправился в Ленинград к владыке Дмитрию, упросил его посвятить себя в монахи и принял постриг с именем Максим в честь преподобного Максима Исповедника.

Спустя месяц владыка вызвал его уже сам...

Лёгкая благоговейная дрожь прошла по телу, когда на склонённую голову опустилось тяжёлое разогнутое Евангелие, и словно издали донёсся, сквозь вызванный волнением стук в ушах голос владыки Дмитрия:

— Избранием и искусом боголюбнейших архиереев... Божественная благодать, всегда немощная врачуящи и оскудевающая восполняющи, проручествует Максима... во епископа: помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа...

Священнослужители трижды пропели «Господи, помилуй», а импровизированный хор — «Кирие, элейсон». Епископ Гдовский трижды благословил склонённую главу отца Максима и стал читать две

тайные молитвы. По окончании их Евангелие было отнято, и новопосвящённому епископу последовательно поднесли саккос, омофор, крест, панагию и митру. Принимая каждое из одеяний, владыка благоговейно целовал его.

— Аксиос! — пропел хор.

— Аксиос, — повторил епископ Димитрий, братски обнимая и целуя владыку Максима.

Глава 12. Мария

Род лукавый ждал знамения с небес, но оно не далось ему до той поры, пока вода не истекла из пронзённой копьем груди Распятого. Россия недостатка в знамениях не знала. В 1927 году её поразила страшная засуха. «Правда» сообщала о жаре на Украине: «Вследствие рекордной за десятилетие жары, достигающей до 48 градусов и месячного отсутствия дождей, озимая посевная кампания развивается замедленным темпом». В Туркмении жара доходила до 72 градусов по Цельсию. В Азербайджане засуха привела к массовому падежу скота. Полыхали торфяные болота и леса в Ярославской, Вологодской, Ленинградской и других областях. Выгорали леса в районе Мурманской железной дороги. А в Нижегородской области среди жары ураганный ливень унёс водой тридцать четыре здания, пять рабочих помещений, одиннадцать грузовых построек и шесть мостов...

Сильные ливни обрушились на Закавказье. В Грузии градом уничтожило виноградники. Мощный шторм бушевал над Ленинградом. Сильными волнами несколько судов было затоплено и выкинуто на берег. У Финляндского моста напором воды разорвало караван барж, следовавший за буксиром... В окрестностях Ленинграда ураганом поломало деревья, ветер свирепствовал несколько часов. Необычайным подъемом воды в Оби оказались затоплены луга и поля. В результате дождей произошёл разлив рек на Северном Кавказе. В районе Армавира был снесен большой мост. Над владивостокским округом бушевал ливень, по своей силе равный тайфуну, снесший постройки, мосты и заборы. В результате наводнения на

Дальнем Востоке убытки превысили семь миллионов рублей.

26 июня в Крыму произошло землетрясение. В отдельных местах его сила достигла семи баллов. В Балаклаве, Форосе и Алушке образовались большие трещины в земле. Произошли обвалы скал в Ореанде и Кичмене. Западная сторона Ай-Петри опустилась. Грандиозные обвалы произошли в районе Севастополя. В Одессе, Днепропетровске, Запорожье и Киеве ощущались подземные толчки. На горе Кагель близ Алушты обрушилась скала «Чертов Палец». Обвалились скалы между Симеизом и Ласточкиным Гнездом, в том числе знаменитая скала «Монах».

28 июня землетрясение произошло в Иерусалиме. Им был уничтожен древнейший храм Иоанна Крестителя и другие греческие храмы. От этого землетрясения купол и стены Храма Воскресения дали такие трещины, что Богослужение в нем было прекращено, было много убитых и раненых.

29 июня над европейской частью СССР наблюдается солнечное затмение...

Казалось, что сами силы природы противились совершению неисправимого зла, взывали к ослепшим душам: «Аще не покаетесь, тако же погибните!»

— Что-то будет, — задумчиво говорил Алексей Васильевич, пробегая глазами скупые газетные сводки.

И что-то свершилось. В эти апокалиптические дни была обнародована Декларация митрополита Сергия.

— В церкви, где будут поминать Страгородского, мы ходить не будем, — таков был вердикт Алексея Васильевича.

По счастью, отец Леонид также категорически не принял Декларации и отказался выполнять указ о поминовении. По мере того, как нарастала волна сопротивления незаконным актам, батюшка всё более колебался относительно дальнейших шагов. Его, как и

многих, тяготила мысль о нарушении единства Церкви, выходе из повиновения собственному священноначалию. Для такого шага необходима большая свобода духа и мужество. Но и терпеть нараставшее бесчинство становилось всё тяжелее.

Декларация положила конец как будто устоявшемуся, размеренному течению жизни в Перми. Трудна была эта жизнь, но Мария принимала все тяготы бодро, радуясь уже тому, что может быть подле Алексея Васильевича. Поперву нелегко было найти работу, но с этим устроилось. Алексей Васильевич подрабатывал частными уроками, а Мария со своим опытом сестры милосердия устроилась в одну из местных больниц. Жить приходилось скромно, но к этому привыкать не приходилось. Общество милейших Анны Прокофьевны и её дочерей, отца Леонида и других прихожан Слудской церкви обеспечивали благотворную среду для души.

Таким образом, через полгода пребывания в Перми Мария уже вполне освоилась на новом месте, словно жила здесь давным-давно. И закрадывалось в душу тайное мечтание-надежда: вот, так бы и доживать здесь век тихо, не навлекая на себя новых несчастий. Но, зная, не то время стояло на дворе, когда можно тихо отсидеться. На две войны уходила Мария добровольно, а третья пришла, её не спросясь. Третья — война духовная, страшнейшая двух прежних, ибо нет врага более жестокого и лукавого, чем тот, с которым приходится бороться на ней.

«Церковь Христова, это невеста без пятен и порока, это светозарное явление, представляющее в последние времена положительный результат всей истории человечества, не одна стоит на последнем плане настоящего домостроительства, но рядом с нею поднимаются другие фигуры, и все они темные сыны мрачного царства.

Драгоценные дары Божии, данные человеку, попораны; христианство выродило из себя любодейцу, государство превратилось в лютого зверя, напрягающего против Христа все свои силы, а наука и образованность сделались лжепророком...

Эти три проявления неверия последних времен соответствуют трем составным частям человеческой природы: первый зверь — телу, лжепророк («другой зверь» — Апок. XIII, 2) — душе, а любодейца — духу...

Но если антихристианство последних времен должно проявить себя под этими тремя главными формами, то не менее верно, что эти формы можно сократить в две, потому что лжепророк есть такой зверь, и между ним и первым зверем, как между душой и телом, есть внутренняя связь. Церковь падшая и мир падший, ложное христианство и антихристианство — таковы два явления, которыми оканчивается история греха. Часто спрашивают, в чем будет состоять последнее великое восстание: за искажением ли Евангелия или в открытой брани на Евангелие? Наш ответ такой: последнее восстание будет состоять в соединении ложного христианства с антихристианством, ибо любодейца сидит на звере», — так три четверти века назад писал протестантский богослов Оберлен в сочинении «Пророк Даниил и Апокалипсис св. Иоанна». И, вот, вживе воплощалось предугаданное им...

Алексей Васильевич убеждал отца Леонида проявить решимость и отмежеваться от Страгородского. Сам он чутко прислушивался ко всем долетавшим вестям и изнывал от невозможности ввиду положения административно ссыльного поехать в очаги сопротивления, всё доподлинно узнать на месте.

Один из таких очагов, между тем, явился недалеко от Перми: по всей России слышался голос епископа Ижевского и Вотского Виктора, непримиримо

обличавшего политику Страгородского. Много лет назад владыка Виктор, некогда начинавший свой путь, как миссионер в среде старообрядцев, под псевдонимом опубликовал в старообрядческом журнале статью «О новых богословах», в которой подверг самой жёсткой критике богословские изыскания двух известнейших архиереев — митрополитов Сергия (Страгородского) и Антония (Храповицкого). В их чрезмерном упоре на нравственный аспект Христова учения владыка увидел выхолащивание духовной, мистической сути христианства, подмену оной некими нравственными догмами, возведёнными во главу угла. Владыка Виктор предрекал, что эти взгляды ещё потрясут церковь.

Теперь же, когда потрясение свершилось, его письма и воззвания в многочисленных списках расходились по рукам. «Преступления митрополита Сергия, — говорилось в одном из них, — заключается не в одних лишь канонических правонарушениях в отношении церковного строя, но, как уже было не раз показано в различных обращениях к нему, и в особенности в одном подробном учёном разборе всего дела митрополита Сергия, оно касается самого существа Церкви. Именно в своей декларации митрополит Сергей как бы исповедал, а в делах осуществляет незаконное слияние Божьего и Кесарева, или лучше Христова с антихристовым, что является догматическим грехом против Церкви и определяется как грех апостасии, т. е. отступничества от нея».

Уже зимой епископ Виктор был запрещён в служении, но число его сторонников лишь увеличивалось. Отдельные приходы переходили к нему и в Пермской епархии. Среди них — Усть-Клюкинский монастырь, расположенный в Сивинском районе. Его игуменья матушка Феофания развила энергичную миссионерскую деятельность. Она не раз посещала

владыку Виктора в Глазове, объезжала окрестные приходы, разъясняя суть происходящего в Церкви. Дважды побывавшая в Усть-Клюкинском Мария получила от матушки сразу несколько документов, которые она на свой страх и риск привезла в Пермь и по благословлению отца Леонида распространила среди прихожан Слудской церкви. Было среди тех списков и пространное письмо владыки духовенству, которое Алексей Васильевич впервые зачитал вслух ближнему кругу на квартире у батюшки.

«Отступники превратили Церковь Божию из союза благодатного спасения человека от греха и вечной гибели в политическую организацию, которую соединили с организацией гражданской власти на служение миру сему, во зле лежащему (2 Иоан. V, 19), — говорилось в письме. — Иное дело лояльность отдельных верующих по отношению к гражданской власти, и иное дело внутренняя зависимость самой Церкви от гражданской власти. При первом положении Церковь сохраняет свою духовную свободу во Христе, а верующие делаются исповедниками при гонении на веру; при втором положении она (Церковь) лишь послушное орудие для осуществления политических идей гражданской власти, исповедники же веры здесь являются уже государственными преступниками. Все это мы и видим на деятельности Митрополита Сергия, который в силу нового своего отношения к гражданской власти вынужден забыть каноны Православной Церкви, и вопреки им он уволил всех епископов-исповедников с их кафедр, считая их государственными преступниками, а на их места он самовольно назначил непризнанных и непризнаваемых верующим народом других епископов. Для Митрополита Сергия теперь уже не может быть вообще самого подвига исповедничества Церкви, а потому он и объявляет в своей беседе по поводу «воззвания», что всякий священнослужитель,

который посмеет что-либо сказать в защиту *Истины Божией* против гражданской власти, есть враг Церкви Православной.

Что это, разве не безумие, охватившее прельщенного. Ведь так рассуждая, мы должны будем считать врагом Божиим, например, Святителя Филиппа, обличившего некогда Иоанна Грозного и за это от него удушенного; более того, мы должны причислить к врагам Божиим самого великого Предтечу, обличившего Ирода и за это усеченного мечом. И к такому печальному положению привело отступников то, что они предпочли нашей духовной свободе во Христе иметь внешнюю земную свободу, ради соединенного с нею призрачного земного благополучия. И если архиепископ Павел кричит и клянется, что он, подписываясь под «воззванием», мыслил о ненарушении им догматов и канонов Православной Церкви и что он не отрекался от нее, то пусть простит, — и Пилат устами выдавал себя за неповинного в убиении Христа, а тростью (пером) утвердил смерть его. Для антицерковников — отступников от Церкви — сохранение ими догматов и канонов ее является делом уже сравнительно маленьким. Отрубивший голову не оправдывается тем, что не повредил волос на голове; думать иначе — достойно смеха. А они все твердят: «У нас все по-старому». Верно, обличие у них осталось православное, и это многих смущает; но не стало с ними *духа жизни, благодати Божией*, следовательно, и вечного спасения человека. Вот почему эта лесть и горше первых».

В конце письма владыка Виктор остерегал пастырей от опасности быть «увлеченными духовными зверями». Это обращение произвело большое впечатление на отца Леонида и стало последней каплей, подтолкнувшей его к решению об отмежевании.

Уже в мае ижевский епископ-исповедник был в очередной раз арестован. К тому времени к его и единомысленных с ним голосам присоединились ещё многие...

На исходе года Мария засобиравалась в Москву. Хотелось провести крестника Мишу и племянниц. Однако, была и ещё одна, не менее важная причина. Отцу Леониду нужно было передать письмо епископу Димитрию Гдовскому, сам же он не мог отлучиться из Перми. Накопилась корреспонденция и у матушки Феофании, поддерживавшей связь с владыкой. Мария решила выступить в качестве связной.

Она отправилась на другой день после Рождества, бережно спрятав письма в специально пришитый с внутренней стороны видавшего виды жакета карман. До Москвы добралась спокойно, хотя всякий случайный пассажир, самый обычный вопрос заставляли сбивать сердце. Мария никогда не испытывала страха за себя. Но сейчас, когда она была нужна Алексею Васильевичу и крестникам, ей менее всего хотелось оказаться в застенках ГПУ.

Москва встретила её морозом и порывистым ветром. Ничто не напоминало здесь о праздничных днях, как бывало когда-то. Унылый извозчик, всю дорогу жаловавшийся на горькую долю, довёз её до дома Кромиади, под кровом которого Мария, наконец, вздохнула свободно. Всего два года, как покинула она его, а сколько успело перемениться! И совсем не в лучшую сторону... Лидия, как водится, держалась бодро, ни на что не жаловалась. А, между тем, намётанный глаз сестры милосердия сразу определил, что она больна. Больна настолько, что, как ни старается скрыть, а видно, что уже и ходить ей трудно.

— Тебе бы в госпиталь надо, — заметила Мария.

— А отца с детьми на кого оставить? — невесело усмехнулась Лидия.

— Так ведь если совсем занеможешь, то ещё хуже будет.

— Бог даст, не слягу. Пока, во всяком случае... Знать, зачем-то нужно, чтобы так всё было. Надо терпеть.

— А Серёжа что же?

— У него теперь другая жизнь. Стёпа по осени помог ему с восстановлением в правах... Так что он теперь трудоустроен. Занимается своим прежним делом: пытается спасти памятники старины. В этом он видит чуть ли ни миссию свою. Благородно, конечно, да только в наши дни это всё равно что становиться на пути у лавины. Впрочем, мы все на её пути стоим. С семнадцатого года.

— Неужели он не видится даже с детьми?

— С Икой видится. Она всегда была его любимицей. А Женя сам не хочет его видеть. Слишком оскорблён предательством отца.

От Аристарха Платоновича и Миши Мария узнала все последние новости жизни церковной. Старый Кромиади дал ей рекомендации, к кому и куда обратиться в Ленинграде. Арест отца Феодора Андреева, бывшего ближайшим советником и секретарём епископа Димитрия, а также связующим звеном разрозненного «иосифлянского» движения, нанёс последнему значительный удар, внеся сумятицу в прежде действовавшие схемы. Аристарх Платонович адресовал Марию к иеромонаху Вениамину, обещав, что тот непременно поможет ей.

Времени было в обрез. В оставшийся московский день Мария успела навестить племянниц и Аглаю с Аней. Этим летом девочка гостила у неё в Перми целых десять дней, успев крепко подружиться с младшим сыном Алексея Васильевича, который с тех пор скучал по ней и передал для неё с крёстной подарок —

собственноручно вырезанную из дерева птицу-«феникс».

В Ленинграде всё сошлось удачно. Отец Вениамин оказался в городе и, прочтя записку Кромиади, без лишних слов отвёл Марию на квартиру владыки Димитрия. Старец-епископ произвёл на неё самое отрадное впечатление пламенностью своей веры, какую редко можно было встречать во всё более охлаждающихся к Богу людях, и отеческой теплотой отношения. Несмотря на занятость и усталость, он уделил Марии два часа времени, внимательно выслушав её рассказ о положении в Пермской и окрестных епархиях, ответив на тревожащие её вопросы.

Мария нарочно задержалась в Ленинграде ещё на день, дабы побывать на службе владыки Димитрия в храме Воскресения на Крови. В Москву она возвращалась, увозя ответные письма епископа Гдовского, но теперь, получив его благословение, укрепившее её, чувствовала себя много спокойнее.

В столице Марию ожидало непредвиденное огорчение. Елена Александровна Озерова прислала письмо, в котором извещала о скоропостижной кончине своего мужа Сергея Александровича Нилуса, отошедшего ко Господу в самый первый день нового года...

Последний год они, изгнанные из Чернигова, прожили в селении Крутец, недалеко от городка Александрова Владимирской области. Алексей Васильевич поддерживал переписку со своим наставником, делился своими переживаниями о судьбе Церкви. Сергей Александрович полностью разделял их. В последнем письме он дал свою оценку происходящего, уподобив Страгородского Каиафе и Анне, бывшим столь же каноничными, как он, с точки зрения ветхозаветного формального правоверия, когда осудили Господа на распятие. «Таково в глазах моих (да

и не одних моих) деяние митр. Сергия и иже с ним от 16/29 июля 1927 года, — писал Нилус. — Деяние это, по бесовски меткому выражению советского официоза, «Известий», есть попытка «построить крест так, чтобы рабочему померещился в нём молот, а крестьянину — серп». Иными словами: заменить крест советской печатью — печатью «зверя» (Апок. XIII, 16). Что же понудило м. Сергия к такому греху против Церкви Русской? Очевидно, желание этим путём добиться легального существования церковных организаций, вопреки примеру Господа, решительно отвергшего путь сделок с совестью ради получения возможности иметь поддержку в силах мира сего (Мф. IV, 8-10). М.Сергий сам заявляет об этом результате печатно в дополнение к «Обращению» («Изв.» за 19 авг.27 г.) Сам м. Сергий сознаётся, что «его усилия, как будто не остаются бесплодными, что с учреждением Синода укрепляется надежда не только на приведение всего церковного управления в должный строй, но возрастает уверенность в возможность мирной жизни». Он не уверен даже в том, что легализация распространится далее Синода, а только надеется, т. е. кроме туманных, посулов и неопределённых обещаний покамест ничего не получено. Печальный итог даже с точки зрения житейских соображений».

Алексей Васильевич не раз сокрушался, что не может покинуть места ссылки и навестить Сергея Александровича, надеялся сделать это, как только срок ссылки истечёт. Теперь же, получив горькую весть, Мария решила поспешить в Крутец — проститься с почившим и обнять Елену Александровну.

Всю дорогу размышляла она о судьбе Нилуса, о которой столь много рассказывал ей Алексей Васильевич. Путь кающегося грешника, обуреваемого страстями, из глубин грехопадений поднимающегося до

духовных высот — не это ли самый что ни на есть русский путь?

Семья Сергея Александровича отличалась крайним либерализмом и материализмом, отвергающим всё церковное. Будучи гимназистом, юный Нилус постоянно получал единицы по Закону Божию, а однажды явился на исповедь безобразно пьяным. Кажется, что же могло вырасти из подобного отрока? Было, однако, нечто, что дало его душе противовес воинствующему материализму: родовое гнездо Золоторёво с его дивной природой и старая няня, подобная Арине Родионовне, хранившая простосердечную народную веру.

В четвёртом классе гимназии на экзаменах, чувствуя свою неподготовленность, Нилус дал обет совершить паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. Но сразу по окончании оных забыл и думать о том, став клятвopеступником. С той поры прошли годы. Сергей Александрович окончил Университет и сделался судебным следователем на Кавказе. Однажды он слишком быстро погнал лошадь по горной дороге, и та сбросила его на острые камни. Нилус уцелел чудом, и чудо это заставило его вспомнить о нарушенном обете.

Через некоторое время он вернулся домой и вступил в управление имением. Крестьяне избрали его церковным старостой, и это сподвигло Сергея Александровича исполнить давний зарок. В Лавре, молясь у раки Преподобного Сергия, он вдруг с ужасом узрел в схиме живой лик святого с устремленным на него грозным взором. По мере горячих покаянных молитв, взор этот стал умягчаться и, наконец, исчез.

Несмотря на решительное обращение души к вере, страсти ещё имели над Нилусом слишком большую силу. Ещё в совсем юные годы ему случилось полюбить женщину, бывшую старше него на двадцать лет, замужнюю, воспитывавшую четверых детей. Вспыхнувшая страсть была взаимна, и плодом её стал

сын, усыновлённый обманутым мужем. Наталия Афанасьевна была богатой помещицей, и развод вовсе не входил в её планы. Терять же возлюбленного она не желала также. Год за годом эта женщина старательно расстраивала все его попытки жениться и обрести, наконец, покой.

Однако, Господь не оставил Сергея Александровича. Случайная встреча с бывшим келейником старца Амвросия привела его в Кронштадт к Батюшке Иоанну. К нему Нилус приехал холодным февральским днём весь в жару, потерявший голос от сильной простуды. Ехать в таком состоянии было смертельно опасно, но ничто не могло удержать его. Когда отец Иоанн обратился к нему с вопросом, он не мог издать ни звука, лишь с отчаянием смотрел на Батюшку. Тот дал страждущему поцеловать крест, и, положив его на аналой, двумя пальцами правой руки провел три раза за воротом рубашки, по горлу. Лихорадка в тот же миг оставила Нилуса, и голос вернулся к нему. Сергей Александрович со слезами упал в ноги праведнику и более получаса говорил ему о своих скорбях, открывая самые тёмные тайники грешной души и принося покаяние во всем, что неподъёмной кладью лежало на сердце. Много позже Сергей Александрович вспоминал: «Трудно обнаружить себя перед Богом при свидетеле и преодолеть эту трудность, отказаться от своей гордости — это и есть вся суть, вся таинственная, врачующая с помощью Божественной благодати сила исповеди. Впервые я воспринял всей душой сладость этого покаяния, впервые всем сердцем почувствовал, что Бог, именно Сам Бог, устами пастыря, Им благодатствованного, ниспослал мне Свое прощение, когда мне сказал отец Иоанн: «У Бога милости много — Бог простит».

Какая несказанная радость, каким священным трепетом исполнилась душа моя при этих

любвеобильных, всепрощающих словах! Не умом я понял совершившееся, а принял его всем существом своим, всем своим таинственным духовным обновлением. Та вера, которая так упорно не давалась моей душе, несмотря на видимое мое обращение у мощей Преподобного Сергия, только после этой моей сердечной исповеди у о. Иоанна, занялась во мне ярким пламенем.

Я сознал себя верующим и православным».

Скорбями и утешениями возвращает Господь заблудшие души на истинный путь. Забрав у Нилуса земную привязанность — имение Золоторёво, попечение о котором связывало его, Он послал ему опору на новой, праведной стезе, спутницу всей жизни — Елену Александровну Озерову.

Эта женщина, бывшая старше его годами, была как будто предназначена к тому, чтобы помочь ему закрепиться на новом пути и твёрдо идти по нему, не сворачивая. В отличие от него Елена Александровна была с детства воспитана в строгом послушании Церкви, обладала цельным характером и была подлинной твердыней христианского долга. Не отличаясь красотой, она обладала высочайшей культурой, тонкостью и мудростью. Будучи фрейлиной Императрицы, Елена Александровна по настоянию своего духовника после тридцати лет перестала принимать участие в светских мероприятиях, посвятив жизнь заботе о престарелом отце и благотворительности. Она была попечительницей одной из Патриотических школ и фельдшерских женских Рождественских курсов. На этих курсах ей и суждено было повстречаться с будущим мужем, который бывал у их начальницы — Олимпиады Федоровны Рагозиной. Поняв и приняв сложную, многогранную натуру Сергея Александровича, эта женщина посвятила себя ему, мягко поддерживая и направляя с исключительной

тактичностью, никогда не оспаривая при этом его мнения.

По желанию Императрицы, с которой Елену Александровну особенно сблизила забота о страждущих во время Японской кампании, она сделалась председательницей Красного Креста в Царском Селе и заведовала всеми благотворительными учреждениями Государыни. Благодаря высочайшей милости состоялась и её свадьба с Сергеем Александровичем. Выходя замуж, Елена Александровна по закону теряла отцовскую пенсию, на которую жили осиротевшие племянники Озеровы, а также престарелые слуги отца. По личному распоряжению Императрицы половина пенсии была ей сохранена. Близкие считали брак Елены Александровны со столь странным человеком, хотя и замечательным собеседником, но прямолинейным и впечатлительным, как дитя, чистой воды безумием и всячески отговаривали её, но она, оживившаяся и расцветшая подле него, не изменила своего решения.

В ту пору Нилус, вдохновлённый обретенной, наконец, истиной, твёрдо ставший на путь духовного делания, решил принять священство и отправиться служить в одно из селений Волыни. Архиепископ Антоний (Храповицкий) лично определил место его будущего служения и дату рукоположения в диакона и иерея в Казанском соборе. И тут-то прошлые грехи напомнили о себе...

«Новое Время» докопалось до подробностей жизни Сергея Александровича. Его связь с Натальей Афанасьевной была подана в виде невероятной грязи. Общество, изначально посчитавшее Нилуса карьеристом, женившимся на пожилой фрейлине, дабы пробраться в царские духовники, с восторгом подхватило скандальную историю. К ней добавилась масса сплетен и слухов, в которых Сергей

Александрович представлял порочным и развратным человеком.

Молва беспощадна везде и способна уничтожить любого. Люди, порочные сами, счастливы бывают бичевать пороки других, обретая в этом занятии своеобразное самооправдание. И никогда не допустят они мысли о том, что человек способен перемениться, возродиться душой. Более того, сделают всё, чтобы помешать ему в этом, затоптать в грязь, из которой он стремится вырваться.

Владыка Антоний, узнав о несчастной истории, пришёл в гнев и отменил рукоположение. Помышлять о священстве более не приходилось. Все знакомые отвернулись от новобрачных, сторонились их, как прокажённых. И в этих условиях Елена Александровна проявила себя настоящей опорой и утешением гонимому мужу, разорвав ради него все прежние связи даже с самыми дорогими и близкими людьми. Вдвоём они покинули столицу и отправились в далёкий Бабаевский монастырь на берегу Волги, где кончил свои дни святитель Игнатий Брянчанинов. И тут после тяжких испытаний Господь послал им нечаянную радость: на одном пароходе с ними плыл отец Иоанн Кронштадтский. Батюшка утешил их своим любовным отношением и участливой беседой, поддержав на избранном многотрудном пути.

Так началась новая жизнь: сперва на «Бабайках», затем на Валдае и, наконец, в Оптиной. В Оптиной Господь помог Сергею Александровичу одолеть ещё один свой порок. С третьего класса гимназии Нилус пристрастился к курению. За долгие годы организм так привык к никотину, что не мог и часу продержаться без него, а всякая попытка отказаться от него оборачивалась такой тоской и озлоблением, что грех лишь усугублялся. Страдая от удушливого кашля, Сергей Александрович не раз сетовал старцу

Варсонофию на безуспешность попыток отстать от греховного навыка. Отец Варсонофий запретил предпринимать подобные попытки впредь, лишь ограничив ежедневную порцию никотина пятнадцатью папиросами вместо обычного несчётного количества. «Придет ваш час, — сказал старец, — и куренью настанет конец». А отец Иосиф присовокупил: «Надейся, не отчаивайся: в свое время, Бог даст, бросишь». Всё произошло в точности по их слову. Внезапно занедужила Елена Александровна. Врачи не могли поставить диагноза, а болезнь, между тем, снедала её на глазах. В глубоком страхе потерять Богоданную жену Нилус со слёзным молением припал к образу Божией Матери Одигитрии Смоленской, прося исцелить Елену Александровну, обещая бросить курить и для этого также прося помощи Богородицы. На другой день жена поправилась, а ненавистное пристрастие отстало от Сергея Александровича, словно его не бывало.

Между тем, прошлое подготовило им новое испытание. Овдовевшая и отвергнутая собственными родными Наталья Афанасьевна обратилась к Нилусу с просьбой взять её к себе. Елена Александровна, исполненная жалости к старухе и считая себя невольной причиной её горя, решила принять её. Сергей Александрович очень тревожился, как уживутся они, зная тяжёлый характер Натальи Афанасьевны. Но жена своей неиссякаемой добротой и вниманием укротила даже её.

Однако, появление этой женщины в Оптиной обернулось большим несчастьем. В обитель приехала некая Мария Булгак, бывшая начальница женской гимназии в Гродно. Эта отталкивающей наружности особа имела дурную репутацию. В одном монастыре её собаки врывались в церковь, и только полиции удалось пресечь безобразия. В Оптиной Булгак возгорелась

обожанием к отцу Варсонофию и пообещала сделать завещание в его пользу на сумму в сто тысяч рублей. Когда же старец не позволил ей устанавливать у него свои порядки, обожание молниеносно сменилось ненавистью. Бросившись в столицу, Булгак распустила там самые чудовищные сплетни о семье Нилуса и старце Варсонофии, ему покровительствующем. Салонная публика, само собой, с удовольствием сплетни подхватила. Теперь в Оптину направилась ещё одна особа — графиня Игнатьева, которая добавила масла в огонь. Старец принял её в обществе супруги варшавского губернатора, которая почти безвыездно жила в Оптиной в собственном доме, будучи смиренной старицей, удалившейся от мира. Её-то присутствие и дало повод графине разнести слух, что в келье старца хозяйничают женщины.

Для разбирательства в Оптину был послан архиепископ Серафим Чичагов. Ничего не исследовав, он первым делом произнёс перед лицом братии обличительную проповедь по адресу отца Варсонофия и настоятеля обители отца Ксенофонта. Отец Ксенофонт сумел доказать свою невиновность, но был так потрясён, что вскоре скончался. От старца же Варсонофия потребовали, чтобы он произнес осуждение Нилуса в блудной жизни. Старец отказался наотрез и должен был покинуть Оптину. Разлуки с родной обителью отец Варсонофий не вынес и через год отошёл ко Господу.

Сергею Александровичу с женой и Натальей Афанасьевной пришлось вернуться на Валдай. Никто не пёкся об этой женщине больше, чем Елена Александровна. В тяжёлом двадцать пятом году она попыталась отправить её к дочери. Но зять потребовал забрать старуху, угрожая принять самые жёсткие меры. Лишь перебираясь в Крутец, Елена Александровна

оставила Наталью Афанасьевну в Чернигове, вверив заботе хороших людей, и сама же переживала о ней.

Крутец располагался в трёх верстах от Александрова. Марии никогда не доводилось бывать в этом городе. Сойдя с платформы вокзала и перекрестясь на поблёскивающий неподалёку крест церкви во имя преподобного Серафима, она стала искать, у кого бы спросить дорогу. Проезжавший в розвальнях мужичок за небольшую плату согласился подвезти её до места.

Пегая кобылёнка понуро трусила вверх по дороге, и Мария задумчиво разглядывала окрестности. Миновали Рождественский собор у центральной площади, а вскорости с возвышенности открылась глазу чудная картина: обступленная деревянными домиками и деревцами река Серая, над которой возвышались белокаменные стены слободы с зеленоватыми башнями, а за ними — мощный тёмный шлем Троицкого собора и Распятская церковь-колокольня. Залюбовалась Мария древней обителью, некогда ставшей пристанищем Ивана Грозного и его чёрного братства. В этой реке безумный царь утопил одну из своих жён, через эту стену перелетел холоп Никита, посаженный за своё изобретение на бочку с порохом... А смотришь на светлые стены под лазоревым небом — и не верится, что творились здесь такие ужасы.

Местность, по которой пришлось ехать, оказалось холмистой. Старая кобылёнка шла медленно, понукаемая сердитым хозяином. Наконец, на очередном пригорке из расступившегося ельника показалось селенье.

— Приехали, мамаша, — сказал мужик, останавливая лошадь.

Порядком замёрзшая Мария спешила и, поблагодарив его, отправилась искать нужный дом. Над простыми избами гордо высился бревенчатый особняк с

верандами и мезонином, некогда принадлежавший местному барину. Неподалёку на возвышении стоял деревянный Успенский храм с каменной колокольней. Недолго думая, Мария направилась к нему.

Из писем Нилуса Алексею Васильевичу она знала, что жил он в доме священника Василия Смирнова. Два года назад, получив «минус шесть», Нилусы впервые приехали в Александров. Московские знакомые направили их в селение Велехово, к своим знакомым. Но те побоялись поселить у себя столь опасных гостей и послали к отцу Михаилу, зная, что он живет один в большом доме, и думая, что он не побоится пустить их жить у себя. Но священник испугался также. О создавшемся трудном положении он рассказал своему другу — отцу Василию. Зять последнего был большим почитателем Нилуса и, узнав обо всём, бросился в Москву, чтобы пригласить гонимую чету в дом тестя. Но Сергей Александрович уже отбыл в Чернигов, откуда прислал в ответ на пригласительное письмо благодарность и обещание воспользоваться приглашением, если будет нужда.

Через два года нужда настала, и отец Василий не усомнился принять у себя изгнанников. В Крутец Сергей Александрович приехал уже тяжело больным человеком. Сердце его не выдерживало перенесённых лишений. Притеснения же, чинимые ему, не прекратились и на новом месте обитания. Обыски, угрозы, наглость комсомольских активистов — всё это пришло вместе с ним в дом отца Василия.

Мария дошла до храма и сразу увидела свежую могилку, чернеющую в снегу возле южной стены колокольни. Рядом стояла бедно одетая старица, сразу отличающаяся от обычных деревенских старух благородной осанкой. Мария сразу узнала её и, приблизившись, окликнула:

— Елена Александровна!

Бывшая фрейлина обернулась, и её некрасивое лицо озарилось радостью:

— Вот уж не ждала вас! Спаси Христос, что приехали! Два дня, как схоронили Сергея Александровича... — она глубоко вздохнула. — Представьте, отошёл в канун праздника Преподобного. Как предчувствовал... Он, знаете ли, показал как-то на образ Батюшки: «Вот, — говорит, — Батюшка идет с палочкой и указывает мне дорогу. Куда он приведет меня, там я и буду». И так и ушёл, когда во многих местах служили всенощную Преподобному! — Елена Александровна старалась говорить спокойно, но было видно, как тяжело она переживает утрату. — Всё так скоро случилось: были у обедни, потом завтракали. Перед обедом стало нехорошо. Два припадка прошли благополучно. Он сидел и разговаривал с нашими хозяевами, поиграл с маленьким внуком, т. е. говорил и смеялся. Опять припадок, и после трех сильных вздохов — все было кончено. И такое чудное лицо у него было! Просветлённое... Я всю ночь провела с ним. Одна читала псалтирь, всех просила лечь. Ему теперь хорошо, я знаю. Он был очень готов. Каждый день говорил про смерть. Благодарю Бога, что умер на моих руках... Я всегда боялась, что это случится без меня...

— Что вы станете делать теперь?

— Должно быть, отправлюсь в Чернигов. Нужно позаботиться о Наташе... — Елена Александровна помолчала. — Представьте, на похороны всё село пришло. Даже комсомольцы. Сергей Александрович умел даже их расположить к себе, даже до их сердец достучаться. Есть тут две женщины, мать с дочерью. Со всеми в ссоре они, все их злыми считают. А нас они ни разу и словом не обидели, приветливы были. И дочь, комсомолка, даже гроб помогла опустить в землю... Рядом с ним люди преображались в последнее время. Снова становились людьми...

Стоя над могилой Божия ратника, одержавшего самую главную победу в жизни — победу над собственными духовными немощами, Мария думала, что никакие правильные слова и прельстительные идеи не могут иметь большего влияния на душу, нежели живой пример одного праведника. Если только душа это — ещё русская, ещё не переродившаяся. Некогда встреча с отцом Иоанном Кронштадтским обратила на спасительный путь Нилуса. Прошло время, и уже встречи с ним самим стали воскрешать Божий образ в падших, запутавшихся людях. Доколе являются ещё подобные светоносцы, зло не имеет силы восторжествовать, и оттого так лютует тьма против них, норовя поглотить. Мария, сотворив крестное знамение, поклонилась могильному холму. Вспомнилось наставление Нилуса, часто повторяемое Алексеем Васильевичем: «Чем гуще мрак, обступающий нас, тем светлее должны становиться наши сердца, дабы не позволить тьме сгуститься окончательно». Да будет так!